

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР,
ИСКУССТВО
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ СЛАВИСТОВ

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР,
ИСКУССТВО
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Доклады советской делегации

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

(София, сентябрь 1963)

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва 1963

Г л а в н ы й р е д а к т о р
академик *Б. А. РЫБАКОВ*

Р е д а к т о р ы т о м а:
доктор филологических наук *Б. Н. ПУТИЛОВ*,
кандидат исторических наук *В. Д. КОРОЛЮК*,
кандидат филологических наук *И. М. ШЕПТУНОВ*

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
V Международной съезд славистов
(София, сентябрь 1963)

И. И. Третьяков

**ФИННО-УГРЫ, БАЛТЫ И СЛАВЯНЕ
В ОБЛАСТИ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ
ДНЕПРА И ВОЛГИ**

Введение

В течение нескольких столетий, накануне средневековья, область верхнего течения Днепра и Волги являлась ареной большого культурно-исторического и этнического состязания, участниками которого были финно-угорские, восточно-балтийские и восточно-славянские племена. В итоге сильнейшими оказались славяне, достигшие к тому времени более высокого уровня социально-экономического и политического развития. Они и направляли последующий этногенетический процесс в области верхнего течения Днепра и Волги по пути формирования северной ветви древнерусской народности.

Начальная летопись сохранила некоторые данные, характеризующие заключительные моменты этого этнического состязания, развернувшегося на окраинах — на севере Новгородских земель и в восточной части Волго-Окского междуречья. Данные летописи позволяют заключить, что периферийные земли древней Руси на рубеже I и II тысячелетий н. э. были освоены славяно-русским населением путем массовой колонизации, опиравшейся на возникавшую феодальную государственность, на вооруженные дружины и древнерусские торгово-ремесленные города.

Совсем иначе протекали культурно-этнические процессы в предшествующее время, когда их главные центры лежали в области Верхнего Поднепровья. Вековое движение славянских племен из Среднего Поднепровья на север не являлось тогда колонизацией в обычном значении этого слова. Это было стихийное расселение небольших групп земледельцев, еще не объединенных государственной властью даже в форме древних «кня-

жений». Встречи с местным балтийским и финно-угорским населением приводили в этих условиях к самым различным результатам. И если в конце концов славянское этническое начало одержало верх, то этому предшествовали столетия подлинного соотязания в области культуры и речи, протекавшего с переменным успехом.

Сейчас уже совершенно очевидно, что известные по летописи северные племена — кривичи, словене, вятичи, в какой-то части — радимичи и северяне — это не столько славянские, сколько древнерусские объединения, небольшие народцы, включавшие в свой состав значительный процент восточных балтов и какую-то часть поволжского, северного и прибалтийского финно-угорского населения. Причем речь здесь идет не только о политических объединениях и связях, повсюду возникавших в тот период, но и о таких формах совместной жизни, которые были результатом глубокой этнической инфильтрации, приводившей к созданию в той или иной степени смешанной культуры и, вероятно, двуязычия. В этих условиях древние балты и финно-угорские племена отнюдь не исчезли бесследно в течение непродолжительного времени, а оказались участниками создания древнерусской средневековой культуры и государственности. Они внесли свой посильный вклад в процесс формирования северной ветви древнерусской народности.

Основным источником изучения древних этнических отношений и связей — балто-финно-угорских, балто-славянских и славяно-финно-угорских — до последнего времени служили данные языка и топонимики (гидронимики).

На основании изучения следов древних языковых контактов стало возможно представить картину первоначального размещения финно-угорских, славянских и балтийских племен по отношению друг к другу. Контакты между балтами и финно-уграми восходят, по-видимому, к глубокой древности. Полагают, что их начало может быть датировано временем распространения скотоводческого хозяйства в Прибалтике и области верхнего течения Днепра и Волги, т. е. II тысячелетием до н. э.¹ Не менее древними были балто-славянские связи, характер которых является ныне предметом дискуссии между сторонниками и противниками гипотезы о существовании в далеком прошлом балто-славянской языковой общности². Славяно-финно-угорский кон-

¹ П. А. А р я с т е. Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития. Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956, стр. 12—18.

² См. статьи: В. Г е о р г и е в (София). Балто-славянский, германский и индо-иранский; В. К. М э т ь ю с (Лондон). О взаимоотношениях славянских и балтийских языков; С. Б. Б е р н ш т е й н (Москва). Балто-славянская языковая общность. Славянская филология. Сборник статей, вып. 1, М., 1958; Б. В. Г о р н у н г (Москва). К дискуссии о балто-славянском языковом и этническом единстве. Вопросы языкознания, 1958, № 4.

такт, напротив, признается большинством лингвистов относительно молодым. Как убедительно показал В. Кипарский, в финно-угорских языках среди многочисленных славянских заимствований не обнаруживаются праславянские, а в славянских языках нет следов старофинских форм³. Очевидно, славяне первоначально не соприкасались с финно-уграми, отделенными широким балтийским заслоном. Контакт между ними возник позднее, лишь после того, как славянские племена продвинулись в глубину восточнбалтийских земель в бассейне верхнего течения Днепра и Оки, войдя в непосредственное соприкосновение с финно-угорским миром.

Здесь уместно упомянуть также о сохранившихся в славянских языках следах древних соприкосновений с иранскими языками, почти отсутствующих в языках балтийской группы. Очевидно, славяне составляли такую же преграду для балто-иранских контактов, как древние балты для контактов славяно-финноугорских.

Еще более определенную картину размещения древних племен позволяют нарисовать данные гидронимики, в отличие от материалов языка более или менее точно локализуемые на карте.

Работы К. Буга, М. Фасмера и других исследователей определили в общих чертах ареал расселения восточных балтов, центральной областью которых являлся бассейн Верхнего Днепра⁴. На севере граница их поселений, отделявшая балтов от прибалтийско-финских племен, шла от Рижского залива к верховьям Западной Двины; восточная граница — рубеж балтов и поволжских финно-угров — проходила сначала по верховьям Волги и по волжско-днепровскому водоразделу, а затем, пересекая р. Оку где-то между устьями рек Угра и Осетр, шла на юг к верховьям р. Сейма. Бассейн Верхней Оки и ее протоков Угры и Жиздры находился в пределах территории восточных балтов. В поречье р. Сейма граница их расселения круто поворачивала на запад; в области днепровского Правобережья она лежала примерно вдоль Припяти. Южными соседями балтов в бассейне Днепра, судя по данным гидронимики, являлись славянские племена. На юго-востоке, в бассейне р. Сейма, возможно предполагать наличие некоторого балто-иранского (балто-скифского) контакта.

Большой интерес представляет опубликованное недавно новое исследование верхнеднепровской гидронимики, предпринятое

³ В. Кипарский. О хронологии славяно-финских лексических отношений. *Scando-slavica*, т. V, 1958.

⁴ К. Буга. 1) *Kalbu mokslas bei mūsų senovė. Ateities leidinys*, N 10, Kaunas, 1913; 2) *Rinkiniai raštai*, т. 1, Vilnius, 1958; М. Васмер. Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas, 1, Die Osgrenze der baltischen Stämme. «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse». Berlin, 1932 и другие исследования.

В. Н. Топоровым и О. Н. Трубачевым⁵. От предшествующих работ в этой области оно отличается особенно полной мобилизацией фактического материала и его глубоким лексическим анализом, что позволило авторам высказать ряд новых соображений. Они, по-видимому, разделяют уже не раз представленную в литературе точку зрения на днепровских балтов как на племена, близкие по языку не столько литовцам, сколько древним пруссам, отмечая в то же время значительное своеобразие лексики днепровских племен, составлявших скорее всего особую балтийскую ветвь. Очень интересными и открывающими широкие перспективы для будущих исследований являются наблюдения В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева, указывающие на возможность существования в границах Верхнего Поднепровья не одного, а нескольких балтийских языков или диалектов, особенности которых сказываются в материалах гидронимики. Значительная плотность и хорошая сохранность балтийской гидронимики в области Верхнего Поднепровья приводит авторов исследования к мысли, что балты составляли основное население многих районов этой области вплоть до позднего времени — до кануна средневековья. А изучение некоторых форм словообразования, по их мнению, позволяет говорить в ряде случаев о длительном тесном сожительстве славянского и балтийского населения.

В бассейне р. Десны, по наблюдениям В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева, гидронимика имеет значительные особенности, отсутствующие в других частях Верхнего Поднепровья. Пласт балтийской гидронимики носит здесь черты «стёртости» еще в отдаленном прошлом. Его покрывает и, очевидно, обуславливает эту «стёртость» относительно ранняя гидронимика славянского характера. Это интересное наблюдение подтверждает высказанные уже давно мысли о том, что именно Десна была наиболее древним путем проникновения восточных славян из Среднего Поднепровья к северу.

Так как В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев ограничились в своей работе материалами бассейна Верхнего Днепра, не привлекая данных балтийской гидронимики из области верхнего течения р. Оки и западной части Волго-Окского междуречья, они не могли дать ничего нового по вопросу о восточной границе балтов. Зато в их работе имеется ряд важных наблюдений, касающихся их южной границы. Территорию балтийских племен в юго-восточном направлении они доводят до верхнего течения Сейма, где лежал неширокий участок балто-иранского контакта. Последний иллюстрируется большим числом новых примеров. Более того, по мнению В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева, этот восточный участок Поднепровья (добавлю от себя — лежащий на

⁵ В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Днепра. М., 1962.

границе леса и степи) являлся своего рода узлом древних этнических контактов. Здесь сталкивались между собой не только иранцы-скифы и балты, но и славяне, а также финно-угры. В целом не возражая В. Кипарскому и другим лингвистам, отметившим отсутствие в языковом материале следов древних связей славян и финно-угров, В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев указывают, что кое-какие славяно-финно-угорские связи в древнюю (пра-славянскую) эпоху все же имелись. Местом, где они осуществлялись, скорее всего, было поречье Верхнего Сейма.

Южную границу балтийских племен в области днепровского Правобережья В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев, как и все их предшественники, связывают с поречьем Припяти. Но несколько балтийских гидронимов они обнаружили и южнее, в местах, где основную массу древней гидронимики составляют славянские наименования.

В настоящее время появилась возможность еще более уточнить и конкретизировать историческую картину взаимоотношений древних финно-угров, балтов и восточных славян путем привлечения археологических данных и сопоставления их с данными языка и топонимики. Несмотря на фрагментарность, а иногда и случайность этих данных, они позволяют в ряде случаев значительно более точно, чем факты гидронимики, наметить расположение древних этнических границ и, что особенно важно, подойти к ним исторически, с учетом изменений этих границ во времени. Изучение процессов в области культуры различных племен и культурных взаимоотношений этих племен между собой позволяет подойти к характеристике того этнического соревнования между финно-уграми, балтийскими племенами и восточными славянами, речь о котором шла выше.

Сопоставление археологических данных с материалами языка и гидронимики представляет большой интерес также и с методической стороны. Как известно, между лингвистами и археологами при попытках изучения этногенетического процесса возникает обычно много разногласий⁶. Среди лингвистов широко распространено мнение, что археологические данные отнюдь не являются полноценным источником для изучения этногенетического процесса, так как ареалы древних культур якобы не отражают этнических общностей. Археологи же, защищающие ценность своих источников, часто бывают склонны считать произвольными все те реконструкции языковедов, которые касаются далекого дописанного прошлого.

Я не сомневаюсь, что разногласия между лингвистами и археологами (и этнографами) являются временными. Их порождает неразработанность фактических данных и общая теоретическая

⁶ Г. С. Кнабе. Вопрос о соотношении археологической культуры и этноса в современной зарубежной литературе. СА, 1959, 3.

слабость этногенетических исследований. Когда то и другое будет преодолено, разногласия исчезнут, и лингвисты найдут общий язык с историками культуры.

Конечно, развитые языки и культуры далеко не тождественны между собой, а то и другое не тождественно этническому развитию. Но все эти явления тем не менее тесно взаимно связаны; они отражают как общие закономерности исторического развития, так и конкретные условия существования того или иного человеческого коллектива.

При этногенетических исследованиях историками культуры — археологами и этнографами — рассматриваются в первую очередь те стороны культуры, которые являются этническими признаками, обладают этнической спецификой. К ним относятся, например, своеобразные приемы домостроительства, формы одежды и украшений, особенности культа и погребальной обрядности, мотивы орнамента и многое другое, что, кроме языка, позволяет отличать друг от друга племена и народности, в том числе стоящие на одной ступени культурно-исторического развития. Эти этнические специфические особенности культуры изменяются во времени совсем иначе, чем все то, что непосредственно отражает основные ступени исторического процесса. Этнические особенности в культуре нередко переживают очень долго; здесь очень сильны традиции. В этом отношении их «жизнь» напоминает «жизнь» слов в языке, которые при всей их устойчивости также рано или поздно изменяются во времени.

О древнейших археологических памятниках финно-угорских и восточнобалтийских племен

Могут ли быть указаны такие археологические культуры, границы которых соответствовали бы рубежам между древними балтами и племенами финно-угорской группы, намечаемым по данным гидронимии? Да, такие культуры могут быть указаны. Более того, их границы являлись весьма определенными и устойчивыми на протяжении более чем тысячелетия, начиная с конца II тысячелетия до н. э. и кончая первыми веками н. э.

При настоящем состоянии знаний наиболее древнюю этнокультурную карту центральных областей Европейской части СССР можно составить применительно к неолитической эпохе — к III—началу II тысячелетий до н. э. В работах М. Е. Фосс и других исследователей охотничье-рыболовческое неолитическое население этих лесных областей представлено в виде трех обширных групп, культура которых имела свои специфические особенности⁷. Центральная, или Волго-Окская, область включала

⁷ М. Е. Фосс. Древнейшая история севера Европейской части СССР. МИА, № 29, 1952, стр. 153—193; Х. А. М о о р а. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете археологии.

в свои пределы бассейн Оки и Верхней Волги, захватывая на юге верховья Дона, а на западе поречье Верхней Десны. Восточная область, неолитические памятники которой стали известны за последнее время главным образом по работам О. Н. Бадера, Н. В. Чернецова и А. Х. Халикова может быть названа Уральско-Камской⁸. В пределы третьей, западной, области М. Е. Фосс включала неолитические памятники, расположенные западнее линии Ладожское озеро — верховья Волги — верховья Десны. Мне представляется, что западную область следует разделить на две: Восточно-Балтийскую, охарактеризованную в работах финляндских и эстонских археологов⁹, и Балтийско-Днепровскую, лежащую между южным побережьем Балтийского моря и верхним течением Днепра. Эту область выделяет в своей работе А. Гардавский под наименованием Днепровско-Эльбской¹⁰. По моему мнению, он не совсем прав, расширяя пределы этой области вплоть до Эльбы, так как неолитическая культура северных частей Польши и Германии имеет свои особенности, неизвестные в Верхнем Поднепровье и на территории Литовской и Латвийской ССР.

В течение II тысячелетия до н. э. обрисованная выше картина расселения древних охотничье-рыболовческих племен подверглась значительным изменениям. В поречье нижнего течения Оки, на Волге от ее верховьев до устья Камы, в западной и центральной части Волго-Окского междуречья и в более северных областях, занятых ранее племенами Волго-Окской неолитической культуры, появились племена с культурой камско-уральского типа — со специфическими присущими им формами жилищ, своеобразными орнаментами на глиняной посуде, с обрядом погребения в могильниках, неизвестных местному населению характерными формами каменных орудий и предметами уральско-камского неолитического искусства.

По мнению А. Я. Брюсова, передвижение племен с востока на запад имело место и раньше, еще в мезолите и раннем неолите. Отдельные потоки камско-уральского населения, участвовавшие в первичном заселении лесных областей Европейской части СССР проникали тогда вплоть до Восточной Прибалтики, о чем говорят

Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956, стр. 61; А. А. Ф о р м о з о в. Этнокультурные области на территории СССР в каменном веке. М., 1959, стр. 97—106.

⁸ О. Н. Б а д е р. Стоянки Нижнеадигевская и Боровое озеро I на р. Чусовой. МИА, № 22, 1951; е г о ж е. Археологические памятники Прикамья. Пермь, 1950, стр. 39—46. В. Н. Ч е р н е ц о в. Древняя история Нижнего Приобья. МИА, № 35, 1953. А. Х. Х а л и к о в. Неолитические памятники в Казанском Поволжье. МИА, № 61, 1958.

⁹ Л. Ю. Я н и т с. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги. Таллин, 1959, стр. 329—340.

¹⁰ А. G a r d a w s k i. Zagadnienie kultury «ceramiki grzebykowej» w Polsce, «Wiadomości archeologiczne», XXV. Warszawa, 1958.

данные не только археологии, но и антропологии¹¹. Передвижение камско-уральских племен во II тысячелетии до н. э. было еще более значительным. Оно сломало обрисованную выше этнокультурную карту, существовавшую в течение тысячелетия. Древние племена с культурой волго-окского типа были оттеснены, уничтожены и, вероятно, ассимилированы на большей части их основной территории. Лишь в верховьях Оки и на Десне, куда волна камско-уральских переселенцев не достигла, они сохранили свою специфику.

Я предполагаю, что движением камско-уральских племен на запад было положено начало волго-окским, северным и прибалтийским финно-угорским племенам. Западная и юго-западная границы их расселения, уже тогда, во II тысячелетии до н. э., приблизились к интересующей нас северо-восточной границе балтйской гидронимики. В последующее время, судя по археологическим данным, каких-либо передвижений населения из камско-уральской области на восток не отмечалось¹².

Распространение уральско-камских племен в западном направлении не было единственным изменением этнического характера, наблюдавшимся во II тысячелетии до н. э. в лесной полосе Европейской части СССР. В это время во многих областях Европы, особенно в пределах ее южной зоны, происходили неоднократные передвижения земледельческо-скотоводческих племен, по общему уровню культуры стоявших на более высокой ступени, чем их северные соседи, сохранявшие охотниче-рыболовческий быт. Главные центры этих племен в Средней и Восточной Европе находились в области Северного Причерноморья и на Балканском полуострове. Ряд исследователей приходит к мысли, что именно здесь, в этих областях, следует искать истоки древних индоевропейцев.

Передвижения земледельческо-скотоводческих племен затронули и лесную область Европейской части СССР. На рубеже III и II тысячелетий до н. э. из области Среднего Поднепровья вверх по Днепру стали продвигаться пастушеские племена так называемой среднеднепровской культуры. Их культура, совсем непохожая на местную неолитическую, была одним из ответвлений так называемой культуры «шнуровой керамики», носители которой появились в то время во многих областях Средней и Восточной Европы. В последнее время большинство исследователей указывают на Северное Причерноморье и южные области Поднепровья, как на наиболее вероятный ареал их первоначальных поселений. Племенам «шнуровой керамики» посвящена

¹¹ А. Я. Брюсов. Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху. М., 1952, стр. 25—41; его же. К вопросу о заселении севера Европейской части СССР в неолитическую эпоху. КСИИМК, вып. 49, 1953.

¹² П. Н. Третьяков. У истоков этнической истории финно-угорских племен. СЗ, 1961, 2.

огромная литература. Они рассматриваются обычно в качестве одной из ветвей древних индоевропейцев, имеющей ближайшее отношение к этногенезу германцев, славян и балтов.

Из Верхнего Поднепровья где-то в начале II тысячелетия до н. э. среднеднепровские племена проникли в Верхнее Поволжье, где их памятники получили наименование фатьяновских. Их собратья, расселившиеся из Поднепровья к северу в область Восточной Прибалтики, называются в археологической литературе племенами культуры «боевых топоров» или «одиночных могил». Среди пастушеских племен, проникших в Восточную Прибалтику, имелись, по-видимому, не только верхнеднепровские, но и более западные, расселяющиеся по бассейну р. Вислы.

Если продвижение на запад уральско-камских племен привело к смене населения на обширных территориях, то появление пастушеских племен в большинстве областей завершилось иначе. Местное охотничье-рыболовческое население было расселено в лесных областях как бы островками в местах наиболее благоприятных для рыболовства и охоты. Пастушеские племена, чуждые местному населению по языку, культуре и образцу жизни, не смешивались с ним и не оказали на местную жизнь никакого влияния. Вскоре как в Верхнем Поволжье, так и в Восточной Прибалтике пастушеские племена исчезли, не оставив после себя никаких следов. Они либо отступили из этих областей, либо были уничтожены местным населением.

К иным результатам привело расселение пастушеских племен в области Верхнего Поднепровья и в юго-восточной Прибалтике, где они были более многочисленными и куда из южных областей проникали все новые и новые их группы. Так же, как и в Средней Европе, пастушеские племена в конце концов одержали здесь верх над местным населением. С их появлением скотоводческое хозяйство распространилось среди местного населения, что послужило экономической основой сближения местных жителей и пришельцев. На том основании, что в прибалтийско-финских языках древнейшая терминология, связанная со скотоводством, распространившимся во II тысячелетии до н. э., происходит из балтийских языков, П. А. Аристе и Х. А. Моора полагают, что пастушеские племена, обосновавшиеся в Верхнем Поднепровье и Юго-Восточной Прибалтике, являлись никем иным, как древними балтами¹³.

Таким образом, к концу II тысячелетия до н. э. в северной половине Европейской части СССР сложились два этнокультурных массива, различных по происхождению и облику культуры, граница между которыми в основных чертах проходила по той же

¹³ П. А. Аристе. Формирование прибалтийско-финских языков. . . , стр. 12 и след.; Х. А. Моора. О древней территории расселения балтийских племен. СА, 1958, 2.

линии, что и гидронимическая граница между балтами и финно-уграми.

Конец II тысячелетия до н. э. должен быть охарактеризован, однако, лишь как время формирования в северной половине Европейской части СССР двух культурно-этнических массивов — балтийского и финно-угорского. Вряд ли так же можно предполагать, что балтийская топонимика Верхнего Поднепровья сложилась в то отдаленное время, когда балты были пастушескими племенами. Скорее всего ее следует связывать с последующим культурно-историческим периодом — временем от VII—VI вв. до н. э. и до первых веков н. э., которое является по археологической периодизации «ранним железным веком».

Если II тысячелетие до н. э. было периодом значительных передвижений племен, то тысячелетие «раннего железного века» в лесной полосе Восточной Европы не знало никаких существенных передвижений населения и никаких вторжений извне. Сложившийся повсюду скотоводческо-земледельческий быт прочно привязал людей к своим территориям, границы расселения племен стабилизировались. Господствующей формой поселений стали укрепленные валами и рвами «городки», призванные защищать новое богатство — стада домашних животных и запасы хлеба. Их остатки археологи называют городищами. Новая экономика и появившиеся металлы привели к созданию новой культуры, совсем непохожей на старую — охотниче-рыболовецкую.

В ходе возникновения новой культуры видоизменились, естественно, и те ее стороны, которые составляли этническую специфику. Но новые специфические особенности культуры еще с большей определенностью, чем старые, разделили население интересующих нас областей на две части, граница между которыми целиком совпадает с северо-восточной и восточной границей балтийской топонимики (гидронимики).

Область поселений поволжских финнов по р. Оке охватывала ее нижнее и среднее течение, приблизительно до впадения Угры или Осетра. Здесь известно несколько десятков городищ таких же, какие имеются на Цне, Мокше и Суре и в прилегающих районах Среднего Поволжья. В археологической литературе они известны под наименованием городецких городищ или городищ городецкой культуры, названных так по имени древнего городища у с. Городец на Оке¹⁴.

Верхнее Поволжье и Волго-Окское междуречье — это область дьяковских городищ, очень близких предыдущим по облику культуры, но имеющих и свои особенности¹⁵. Для тех и других

¹⁴ Н. В. Трубникова. Племена городецкой культуры. Труды ГИМ, вып. 22. М., 1953.

¹⁵ П. Н. Третьяков. К истории племен Верхнего Поволжья в I тыс. н. э. МИА, № 5, 1941; е го же. Древнейшие городища Верхнего

особенно характерны «текстильные» орнаменты на керамике, состоящие из отпечатков грубых тканей или их имитации. В городищской культуре особенно часто встречаются отпечатки на посуде ткани в виде рогожи («рогожный орнамент»).

К северо-западу от верховьев Волги поселения с «текстильной» керамикой имеются в верховьях Западной Двины, на Мсте и других притоках оз. Ильмень, в бассейне Чудского озера, вокруг Ладожского и Онежского озер, на территории Эстонии, на юге Финляндии. Севернее и северо-восточнее обитали племена, сохранявшие в «раннем железном веке» охотничье-рыболовческий быт и имевшие соответствующие особенности в культуре.

В пределах ареала балтийской топонимики на территории СССР имеются четыре группы городищ I тысячелетия до н. э. и начала н. э., уже не раз охарактеризованные в литературе¹⁶.

Наиболее значительной среди них является литовско-белорусская группа или, как ее часто называют, группа городищ с штрихованной керамикой. Она занимает территорию Литвы и Южной Латвии, область нижнего и среднего течения Западной Двины, бассейн Березины, поречье Днепра на участке Орша — устье Березины и верхнее течение левых притоков Припяти. Первоначально, когда археологические памятники в области Верхнего Поднепровья были изучены еще недостаточно, представлялось, что область городищ с штрихованной керамикой — это и есть область древних балтов¹⁷. Дальнейшие исследования и сопоставление археологических данных с гидронимикой показали, что это не так, что древним балтам принадлежали и другие культуры Верхнего Поднепровья, расположенные в южной и восточной частях верхнеднепровского бассейна. Одно время автором этих строк они ошибочно рассматривались как раннеславянские, так как с областями их распространения связываются наиболее древние в Верхнем Поднепровье следы предполагаемой раннеславянской (зарубинецкой) культуры¹⁸. Дальнейшие исследования позволили четко разграничить древности местных племен от памятников раннеславянской культуры и определить их отношение друг к другу, речь о чем будет идти ниже.

На северо-востоке Верхнего Поднепровья теперь хорошо известна культура древних городищ Смоленщины. Она занимает поречье Днепра с притоками от верховьев и до Орши, верхнее течение Сожа и Десны и отдельные участки в верховьях Западной Двины. Городища этого типа имеются и на правобережье Двины

Поволжья. СА, IX, 1947; О. Бадер. Древние городища на Верхней Волге, МИА, № 13, 1950.

¹⁶ П. Н. Гретьяков. Локальные группы верхнеднепровских городищ и зарубинецкая культура. СА, 1960, 1.

¹⁷ П. Н. Гретьяков. Северные восточнославянские племена. МИА, № 5, 1941, стр. 91—93.

¹⁸ П. Н. Гретьяков. Указ. соч., стр. 83—90.

в районе г. Себеж¹⁹. Ближайшим вариантом смоленской культуры являлась культура древних городищ бассейна Верхней Оки, где как известно, гидронимика имеет ясно выраженную балтийскую окраску.

Поречье Десны, приблизительно от Брянска до низовьев, принадлежало третьей группе. Городища этой области, имеющие свои своеобразные особенности, носят наименование юхновских²⁰. В их культуре имеются некоторые черты, свидетельствующие о контактах с населением левобережья Среднего Днепра, относящемся к скифскому миру.

Наконец, последняя, четвертая группа верхнеднепровских городищ, так называемая милоградская, расположена в области нижнего течения Припяти, на Днестре между Припятью и Березиной, в нижнем и среднем течении Сожа и Ипути²¹. Эта же культура известна, по-видимому, и в северной Волыни, в низовьях некоторых правых притоков Припяти. Из всех верхнеднепровских городищенских культур, в общих чертах схожих между собой, милоградская культура является наиболее своеобразной. Обширные городища, могильники с трупосожжением, круглодонная керамика и ряд других черт выделяют ее среди соседних культур.

Было бы чрезвычайно интересно сопоставить границы верхнеднепровских археологических культур «раннего железного века» с локальными особенностями («диалектами») балтийской гидронимики, о возможности изучения которых говорят В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев. Сами они к этой задаче по сути дела не приступили, отметив большое число трудностей и возможных ошибок, стоящих на пути изучения гидронимических «диалектов». Но совершенно бесспорно, что состав гидронимов в разных частях верхнеднепровского бассейна оказался неодинаковым. Карты, приложенные к работе В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева, не оставляют в этом отношении никаких сомнений. Гидронимика западной части Верхнего Поднепровья, где распространены городища с штрихованной керамикой, оказалась несколько иной, чем гидронимика северо-восточной части бассейна Верхнего Днепра, принадлежащая культуре древних смоленских городищ. Территории юхновских и милоградских городищ так же, ка-

¹⁹ П. Н. Третьяков. Городища-святилища левобережной Смоленщины. СА, 1958, 4, стр. 170—186; Е. А. Шмидт. Некоторые особенности культуры городищ верховьев Днепра во второй половине I тыс. до н. э. Материалы по изучению Смоленской обл., вып. IV. Смоленск, 1961; С. А. Гараканова. Себежские городища и курганы. Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции, т. 1, И., 1959.

²⁰ М. В. Воеводский. Городища верхней Десны. КСИИМК, вып. XXIV, 1949.

²¹ О. Н. Мельниковская. Древнейшие городища Южной Белоруссии. КСИИМК, вып. 70, 1957; е е же. Могильник милоградской культуры у дер. Горошков в Южной Белоруссии. СА, 1962, 1.

жется, имеют свои особенности в составе гидронимики. К сожалению, работа В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева ограничивается рамками днепровского бассейна, тогда как ареалы археологических культур древних балтов почти повсюду выходят за его пределы. Все это заставляет отложить сопоставление территорий археологических культур с данными гидронимики на будущее время, рассматривая исследования в данном направлении как одну из задач, решение которой будет достигнуто совместной работой лингвистов и археологов.

Зарубинецкая культура и ее распространение в область Верхнего Поднепровья

Расположение археологических культур, сложившееся в области верхнего течения Днепра и Волги в первой половине I тысячелетия до н. э., как уже указывалось, сохранялось без изменений в течение почти тысячи лет, вплоть до рубежа и первых веков н. э. Именно в это тысячелетие в условиях оседлого земледельческо-скотоводческого быта и стабильности культурно-этнических групп в области Верхнего Поднепровья и по ее периферии могла сформироваться основная масса балтийской гидронимики, а в более восточных и северных дьяковских и городецких областях — финно-угорской и так называемой волго-окской²². На рубеже и в начале новой эры, судя по археологическим данным, культурно-этническая картина приобрела новые очертания, уже не соответствующие границам древней гидронимики. Это явилось результатом проникновения в область Верхнего Поднепровья племен зарубинецкой культуры, главные центры которых лежали южнее — в Среднем Поднепровье, на Припяти и в поречье Нижней Десны.

Зарубинецкая культура появилась в области Среднего Поднепровья во II в. до н. э. Ее создателями были земледельческо-скотоводческие племена, хорошо знакомые с обработкой железа и цветных металлов. Их поселения располагались на берегах рек, обычно на высоких местах, удобных для обороны. При раскопках встречаются остатки жилищ — наземных или несколько углубленных в почву, хозяйственные ямы, керамика, изделия из металла. Характерными для зарубинецкой культуры являются «поля погребений» — могильники без курганных насыпей, содержащие захоронения остатков трупосожжений²³.

По общему облику и уровню развития зарубинецкая культура не отличалась от синхронных ей средневропейских культур, возникших по периферии кельтского и гето-дакийского миров.

²² В междуречье Оки и Волги имеются многочисленные следы гидронимики «дофинно-угорского» времени, на которые в последнее время обратили внимание Б. А. Серебряников и В. А. Никонов.

²³ См. сб. Зарубинецкая культура в Поднепровье. МИА, № 70, 1959.

Но она имела и ряд своих специфических особенностей в формах и орнаментации керамики, украшениях из бронзы (фибулы зарубинецкого типа) и деталях погребальной обрядности.

В среднем Поднепровье зарубинецкая культура просуществовала свыше 300 лет, до конца II в. н. э., а в более северных областях — вплоть до IV—V вв. н. э. Об обстоятельствах ее исчезновения речь пойдет ниже.

Вопрос о создателях зарубинецкой культуры все еще продолжает оставаться дискуссионным, хотя большинство советских и польских археологов видит в них раннеславянские племена. Какой-либо другой точки зрения на зарубинецкую культуру в настоящее время, собственно говоря, не имеется. Противники славянской атрибуции этой культуры указывают лишь на то, что археология еще не располагает достаточной суммой достоверных фактов, позволяющих установить наличие прочных генетических связей между зарубинецкой культурой и бесспорными восточнославянскими культурами второй половины I тысячелетия н. э. В последних археологи — противники «славянства» зарубинецкой культуры — хотят видеть древнейших славян на территории СССР.

В начале нашего века, после открытия первых зарубинецких памятников в районе Киева, мнению В. В. Хвойки и А. А. Спицына, относивших создателей этой культуры к славянам, противостояла мысль немецких ученых о ее германском происхождении. Но теперь, когда стало известно, что зарубинецкая культура занимала широкие пространства в Среднем и Верхнем Поднепровье, которые не могут быть связаны с древними германцами ни по историческим сведениям, ни по данным гидронимии, эта мысль полностью отпала. Зарубинецкая культура не могла принадлежать также и древним балтам: она совсем не похожа на древности балтийских племен, а ее основная территория лежала вне пределов балтийской гидронимии. То же самое можно сказать об отношении зарубинецкой культуры к синхронным ей скифо-сарматским (иранским) и финно-угорским древностям. Археологам, считающим ее славянское происхождение еще не доказанным, остается предположить, что зарубинецкая культура принадлежала каким-то совсем неизвестным племенам, что вряд ли возможно допустить.

В пользу того, что зарубинецкая культура принадлежала славянам, говорит совпадение ее основного ареала с областью древнейшей в пределах СССР славянской топонимии. На это обращали внимание еще исследователи конца XIX—начала XX в., в частности Л. Нидерле. В настоящее время мы располагаем не только топонимическими данными, свидетельствующими о глубокой древности славянских поселений в области лесостепных пространств между Верхним Днестром и Средним Днепром, но и рядом других, подтверждающих топонимику, лингвисти-

ческих и «географо-лингвистических» доказательств, суммированных недавно К. Мошинским и Ф. П. Филиным²⁴. Установленный за последние годы факт распространения зарубинецкой культуры на север, в область балтийских земель, что происходило в первые века новой эры, также полностью соответствует лингвистическим данным. Зарубинецкие племена шли на север не вдоль Днепра, а восточнее — по поречью Десны, т. е. там, где балтийская гидронимика отличается «стёртостью» и где ее перекрывает хорошо заметный слой древних славянских гидронимов²⁵.

Если же мы обратимся к славянским археологическим памятникам второй половины I тысячелетия н. э., то область их распространения уже не будет отвечать ареалу древней славянской топонимики. В этот период славяне во многих местах перешагнули границы не только восточнобалтийских, но и финно-угорских племен, не говоря уже о славянском продвижении на юг, в поречье Дуная.

Отсутствие бесспорных связей между зарубинецкой культурой и славянской культурой второй половины I тысячелетия н. э., на что указывают противники «славянства» зарубинецких древностей, является, как мне кажется, следствием недостаточной изученности фактических данных. Нужно иметь в виду, что славянские археологические памятники VI—VII вв. стали известны между Днестром и Днепром лишь в самые последние годы. Собранный материал сравнительно невелик и его хронологическая классификация еще не разработана. Плохо изучен и поздний этап зарубинецкой культуры, развитие которой в южных частях ее ареала в III—IV вв. н. э. было усложнено появлением ряда новых черт или культурных элементов, распространившихся в области Северного Причерноморья в скифо-аланской, гето-дакийской, а также, по-видимому, и готской среде после завоевания Дакии Траяном и известных под общим наименованием черняховской культуры.

Кроме того, следует иметь в виду, что середина I тысячелетия н. э. была временем, когда характер культуры резко изменился во всех областях Европы, лежащих по периферии рухнувшей Римской империи. Падение империи не отразилось на общем уровне производства и культуры европейских племен, но оно повлекло за собой как бы огрубение культуры, за счет исчезновения того поверхностного лоска, который был результатом связей с Римом и его провинциями.

²⁴ K. Moszyński. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego. Wrocław—Kraków, 1957. (Я имею в виду лишь фактические материалы, доказывающие древность пребывания славян между Верхним Днестром и Средним Днепром, но отнюдь не разделяю «восточной гипотезы» происхождения славян, развиваемой К. Мошинским); Ф. П. Филин. Образование языка восточных славян. М. 1962.

²⁵ В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев. Указ. соч. Карта 9.

Принимая все это во внимание, мне представляется, что черты сходства между зарубинецкой культурой и славянской культурой VI—VII вв., отмеченные на Южном Буге П. И. Хавлюком, на Волини Ю. В. Кухаренко и И. С. Винокуром, на Десне в материалах из Кветуньского могильника, исследованного Л. В. Артишевой, уже сейчас могут рассматриваться как серьезное доказательство существования генетических связей между зарубинецким населением и славянами последующих столетий²⁶. Эти черты сходства налицо в керамике и в погребальном обряде. Существенным является также и то, что характерный для славянской культуры второй половины I тысячелетия н. э. тип жилища — полуземлянка, складывается, по-видимому, в поздnezарубинецкое время (Великие Дмитровичи, памятники волинской группы полей погребений).

Решение вопроса о зарубинецкой культуре затрудняется еще и тем, что до сих пор остаются не выясненными ее истоки. В археологической литературе по этому поводу высказано два основных мнения. Представители того и другого продолжают накапливать фактические данные для обоснования своих взглядов.

По мнению одних исследователей, зарубинецкая культура распространилась в Среднее Поднепровье с запада, из области северо-восточного Повисленья, являясь одним из ответвлений так называемой поморской культуры, сыгравшей, как полагают польские археологи, большую роль в славянском этногенезе. Помимо общих соображений о средневропейском облике зарубинецкой культуры, особенно ее погребального обряда, защитники этого мнения основываются на материалах северо-западной группы зарубинецких памятников, в культуре которых представлены позднепоморские элементы. Особенное значение имеют здесь материалы Ю. В. Кухаренко, в течение ряда лет производившего раскопки в верхнем течении Припяти, в пределах Брестской области²⁷. Ю. В. Кухаренко полагает, что некоторые исследованные им памятники относятся к более раннему времени, чем зарубинецкие могильники и поселения Среднего Поднепровья, не имеющие поморских черт. Отсюда делается вывод, что зарубинецкая культура постепенно распространялась с запада на восток вдоль поречья Припяти.

²⁶ П. И. Хавлюк. Раннеславянские поселения Южного Побужья. СА, 1961, 3, стр. 220; Ю. В. Кухаренко. Славянские древности V—IX веков на территории Припятского полесья. КСИИМК, вып. 57, 1955, стр. 37—38; С. Винокур. Старожитності східної Волині першої половини I тис. н. е. Праці комплексної експедиції Чернівецького університету, т. VIII, вып. I. Чернівці, 1960, стр. 71; материалы Л. В. Артишевой хранятся в Институте археологии в Москве.

²⁷ Ю. В. Кухаренко. К вопросу о происхождении зарубинецкой культуры. СА, 1, 1960; е го ж е. Памятники железного века на территории Полесья (свод археологических источников). М., 1962.

Хронология зарубинецких древностей, принятая Ю. В. Кухаренко и некоторыми другими исследователями, полагающими, что верхнеприпятская группа зарубинецких памятников является более древней, чем приднепровская, не является, однако, бесспорной. В зарубинецкой культуре более или менее точно могут быть датированы лишь фибулы латенских типов. Из них наиболее ранние, среднелатенской схемы, относятся ко второй половине II—I вв. до н. э. Они представлены одинаково как на Верхней Припяти, так и на Среднем Днепре. Что касается наиболее массового материала — керамики, отличающейся разнообразием и своеобразием форм, то она не может служить твердой вехой для хронологии. Во всяком случае, нельзя безоговорочно утверждать, что отсутствие поморских элементов в среднеднепровской зарубинецкой керамике свидетельствует о ее более позднем возрасте. В керамике, происходящей из наиболее ранних поселений и могильников Киевского Поднепровья — Сахновки, Пилищенковой горы, ранних погребений Корчеватовского могильника и других — также налицо весьма ранние особенности, восходящие, однако, не к западным, а к местным традициям скифского и предскифского времени. Местные традиции прослеживаются здесь не только в керамике, но и в формах жилищ, в облике хозяйственных ям-хранилищ, в некоторых формах железных изделий.

Все это и послужило основанием для представлений о местном происхождении зарубинецкой культуры на среднем Днепре, о том, что предками ее создателей были многочисленные племена, обитавшие между Днестром и Средним Днепром еще в конце II и начале I тысячелетий до н. э. (белогрудовская и чернолеская культуры), позднее оказавшиеся на северо-западных границах скифского мира, под вуалью скифской культуры. Такова другая точка зрения на происхождение зарубинецкой культуры, представленная в настоящее время в археологической литературе. Если Ю. В. Кухаренко и его единомышленники полагают, что зарубинецкие племена — наиболее древние славяне в пределах территории СССР, то их противники, среди которых прежде всего следует назвать А. И. Тереножкина, приходят к мысли, что древнейшими славянами в области Среднего Поднепровья являлись племена позднего бронзового века — конца II тысячелетия до н. э.²⁸

Автор этих строк, долгое время колебавшийся, какой точке зрения следует отдать предпочтение, в настоящее время пришел к выводу, что спор о происхождении зарубинецкой культуры обеими сторонами ведется с неверных позиций. Если обратиться

²⁸ А. И. Тереножкин. К вопросу об этнической принадлежности лесостепных племен Северного Причерноморья в скифское время. СА, XXIV, 1955; его же. Предскифский период на днепровском Правобережье. Киев, 1961, стр. 240 и след.

к изучению эпохи, в условиях которой складывалась зарубинецкая культура, к другим синхронным этому процессу культурно-этническим образованиям «раннего железного века», возникшим по периферии античного мира Южной Европы, то станет ясным, что в этот период каждая из известных впоследствии этнических групп — гето-даки, кельты, германцы, скифо-сарматы — была представлена не одной, а несколькими археологическими культурами, принадлежавшими, вероятно, отдельным племенам или долговременным племенным объединениям. Балтийские племена, как мы видели выше, также были представлены в то время несколькими археологическими культурами.

На рубеже нашей эры, когда возвышалась Римская империя, кельты достигли порога классового общества, а все другие европейские племена стояли на пути к этому, главным содержанием этногенетического процесса являлась не дифференциация племен и культур, а их интеграция или консолидация, охватывающая прежде всего родственные, а иногда, при определенных условиях, и чуждые друг другу племена. Это были первые шаги на длительных и сложных путях образования народностей.

Трудно представить себе, чтобы славянские племена — одно из крупнейших этнических образований Европы — составляли здесь какое-либо исключение. В первом тысячелетии до н. э. они были представлены не одной археологической культурой, поиски которой, как показал опыт, являются явно безрезультатными, а большой группой близких друг другу культур, на основе которых на рубеже н. э. сложились пшеворская (ямная) культура в Повисленье и Северном Поднестровье и зарубинецкая между Днестром и Средним Днепром. Обе эти новые культуры сложились в условиях охватившего в тот период всю Среднюю Европу латенского (кельтского) влияния.

Предками зарубинецкого населения являлись, очевидно, белогрудовские и чернолесские племена в Днестровско-Днепровском междуречье, позднекомаровские и высокоцкие племена в Северном Поднестровье, а также синхронные им племена Восточного Повисленья. Очевидно, именно они — все эти племена, во многом сходные между собой, положили начало древнейшей славянской топонимике между Вислой и Средним Днепром.

Я не сомневаюсь, что только признав такой путь этнического развития, отказавшись от бесплодных поисков единого предка, археологическая наука сумеет решить вопрос о происхождении зарубинецкой культуры.

Что касается генезиса перечисленных выше древних культур, восходящих к концу II—началу I тысячелетий до н. э., то этот вопрос еще очень далек от своего решения. Представляется, что в их возникновении главную роль сыграли племена так называемой тшинецкой культуры середины II тысячелетия до н. э.

Совсем другая картина отношений зарубинецкой культуры с предшествующими ей культурами откроется перед нами за пределами Среднего Поднепровья, вне границ древней славянской топонимики. В области верхнего течения Днепра зарубинецкая культура была чуждым явлением, не имевшим ничего общего с местными балтийскими традициями.

Памятники зарубинецкой культуры в области Верхнего Поднепровья обнаружены совсем недавно, в последнее десятилетие, и еще сравнительно мало исследованы. Тем не менее, уже сейчас их расположение и хронология в различных районах позволяют сделать ряд интересных выводов, которые, как уже указывалось, совпадают с результатами исследований в области верхнеднепровской топонимики.

По Днепру, выше впадения Десны и Припяти, зарубинецкие поселения распространились сравнительно недалеко, не дальше устья Березины, лишь в пределах той территории, которую занимали племена милоградской культуры, известные по многочисленным городищам. При раскопках на расположенных здесь городищах — Чаплинском, Горошковском, Милоградском и других — выяснилось, что непосредственно на слоях с остатками милоградской культуры в их пределах лежат остатки зарубинецкой культуры. Более того, создалось впечатление, что зарубинецкое население в течение некоторого времени находилось в тесном контакте с местными обитателями. На Милоградском городище, например, были открыты остатки жилища рубежа новой эры, в пределах которого найдены как милоградские, так и зарубинецкие вещи. На Чаплинском городище была отмечена преемственность в расположении жилых и хозяйственных построек милоградского и зарубинецкого времени. На многих городищах в слоях зарубинецкого времени были встречены в большем числе орнаментированные глиняные пряслица, широко распространенные в милоградской культуре. Но наряду с этим нельзя не отметить, что все основные элементы материальной культуры милоградских и зарубинецких племен были настолько различными, что не может быть и речи о генетических связях между ними²⁹.

То же самое следует сказать о зарубинецких памятниках в области среднего и верхнего течения Десны, куда они проникли в последующие столетия — в I—III вв. н. э., что определяется фибулами позднелатенских и прибалтийских типов. Среднелатенские фибулы II—I вв. до н. э. и I в. н. э. на деснинских зарубинецких поселениях ни разу не были найдены. С появлением зарубинецкого населения прекратилась жизнь на многочисленных

²⁹ П. Н. Третьяков. Локальные группы верхнеднепровских городищ. СА, 1, 1960, стр. 39—40; О. Н. Мельниковская. О взаимосвязи милоградской и зарубинецкой культур в Южной Белоруссии. СА, 1, 1963.

городищах юхновской культуры, а в самом верхнем течении Десны — древней смоленской культуры. Очевидно, местное население было вытеснено пришельцами из поречья Десны, а, может быть, частично ассимилировано. Остатки зарубинецких поселений известны сейчас на всем протяжении поречья Десны. В ее верховьях, выше Брянска, обнаружено более 15 пунктов. Отсюда они проникали на Днепр, о чем говорит поздnezарубинецкое «поле погребений», находящееся у д. Казичина, около Смоленска. Большая группа остатков зарубинецких поселений найдена на р. Судости, правом притоке Средней Десны. Ф. М. Заверняевым здесь исследовано поселение у г. Почена, а А. К. Амброзом — поселение у с. Синькова³⁰. Зарубинецкие поселения области нижнего течения Десны известны по работам украинских археологов. Бесспорно, что в первой половине I тысячелетия н. э. зарубинецкие племена являлись господствующей группой населения в поречье Десны.

Очень интересные наблюдения были сделаны при раскопках древних городищ в бассейне Верхнего Сожа и Днепра, в районах, куда зарубинецкая культура не распространялась. Оказалось, что по соседству с зарубинецкими поселениями культура местных балтов подверглась сильному влиянию со стороны пришельцев, выразившемуся в появлении в местной среде зарубинецких форм глиняной посуды и металлических изделий. Чем дальше от районов, занятых зарубинецкими поселениями, тем это влияние было слабее. На городище Новые Батеки, на Днепре ниже Смоленска, зарубинецкое влияние было очень слабым, а на городищах, расположенных в бассейне Западной Двины, оно почти совсем не ощущалось. Культура развивалась там на основе старых восточно-балтийских традиций.

По-видимому, такое же точно явление наблюдалось и в области верхнего течения Оки, где обитали балтийские племена, близкие смоленским, и в западных частях Волго-Окского междуречья, где жило население финно-угорского происхождения, относящееся к культуре дьяковских городищ. В первых веках новой эры в облике культуры населения этих районов произошли большие изменения как за счет появления зарубинецких элементов, так и за счет распространения в финно-угорских областях культурных элементов днепровскобалтийского происхождения. К первым принадлежат главным образом типы железных изделий и формы глиняной посуды. Элементами балтийского происхождения

³⁰ Е. А. Шмидт и Ф. М. Заверняев. Археологические памятники бассейна Верхней Десны. Материалы по изучению Смоленской области, вып. 3. Смоленск, 1959; Е. А. Шмидт. Могилиник у д. Козичина около Смоленска. МИА, № 70, 1959; Ф. М. Заверняев. Поченское селище первых веков новой эры, СА, 1960, 4; его же. Селища бассейна р. Судость. СА, 1960, 3; материалы А. К. Амброза хранятся в Институте археологии в Москве.

являются характерные бронзовые украшения с эмалью, некоторые другие украшения, грузики «дьякова типа». Балтийские элементы в культуре позднедьяковских городищ начала новой эры являются настолько бесспорными, что крупнейший знаток восточноевропейского «железного века» Х. А. Моора пришел к мысли, что в Верховьях Волги и западной части Волго-Окского междуречья «должны были обитать балты»³¹.

Я воздержался бы от столь категорического утверждения, но полагаю, что в обстановке распространения в поречье Десны зарубинецких племен, в результате чего местные жители должны были покинуть довольно значительные пространства, равные по площади среднему европейскому государству, какая-то часть балтов, а вместе с ними и зарубинецкий этнический элемент, неизбежно должны были проникнуть в западные части Волго-Окского междуречья, обусловив возникновение здесь этнически смешанной культуры.

Если бы в финно-угорской среде междуречья появились лишь железные орудия и бронзовые украшения, происходящие из Верхнего Поднепровья, это можно было бы объяснить торговыми связями. Но когда здесь распространяются чужие формы керамики и глиняные грузики «дьякова типа», т. е. элементы материальной культуры, явно не служившие в ту эпоху предметами торговли, необходимо допустить наличие интенсивной этнической инфильтрации.

Картине инфильтрации племен в области западной части Волго-Окского междуречья, обрисованной на основании археологических данных, отнюдь не противоречат данные гидронимики. Как известно, балтийско-финно-угорская гидронимическая граница в этих местах очень неотчетлива. Отдельные балтийские гидронимы имеются в области Верхнего течения Волги, а на территории междуречья доходят на востоке до Москвы. Можно думать, что это является результатом проникновения отдельных групп балтов на финно-угорскую территорию в условиях славянского (зарубинецкого) расселения.

Детальное исследование смешанной культуры, образовавшейся по широкой периферии расселения зарубинецких племен, позволит, возможно, нарисовать более конкретную картину происходящих здесь этногенетических процессов, прежде всего — процессов ассимиляции, главенствующей силой которых в разных местах были, очевидно, различные племена — финно-угры, балты и славяне — носители зарубинецкой культуры. Во всяком случае в этот отдаленный период, когда славянский этнический элемент по поречью Десны впервые проник в область верхнего течения Днепра, финно-угры и особенно балты были еще очень

³¹ Х. А. Моора. О древней территории расселения балтийских племен. СА, 1958, 2, стр. 23.

сильны в культурно-этническом отношении. Упомянутые выше исследования древних городищ в бассейне Верхнего Сожа и в Смоленском Поднепровье показали, что отмеченное выше зарубинецкое влияние на местную культуру вне пределов расселения зарубинецких племен было временным, отнюдь не приведшим к каким-либо коренным изменениям этнического характера. В третьей четверти I тысячелетия н. э. в культуре этих племен балтийские элементы снова взяли верх. Так, культура племен Верхнего Посожья, попавших в первые века новой эры под влияние зарубинецкой культуры, в последующее время утратила эти чуждые ей черты и не отличалась от культуры населения более западных областей, лежащих между Днестром и Западной Двиной, не испытывавших на себе прямого зарубинецкого влияния. По-видимому, к другим результатам привело зарубинецкое влияние в области верхнего течения Оки. Около середины I тысячелетия н. э. на основе смешанной культуры там сложилась так называемая мощинская культура, во многом продолжавшая зарубинецкие традиции. По нашему мнению, в последующие столетия мощинская культура легла в основу раннесредневековой культуры древнерусского племени вятичей. В частности, последние унаследовали у обитателей мощинских городищ их своеобразный погребальный обряд — трупосожжение с последующим помещением остатков кремации в деревянной «домовине», помещенной под курганной насыпью.

Приведенные выше данные, касающиеся этногенического процесса в отдельных районах, являются лишь некоторой иллюстрацией, далеко не вскрывающей всей сложности процессов, происходивших в зоне смешанной культуры. Их детальное изучение невозможно без значительных новых исследований.

Необходимо отметить также, что и зарубинецкая культура, оказавшаяся в области Верхнего Поднепровья в балтийском окружении, в свою очередь подверглась некоторому влиянию. Например, на зарубинецких поселениях на Десне были встречены железные и бронзовые украшения балтийских форм; зарубинецкими племенами были усвоены, кажется, некоторые местные приемы домостроительства. Но этот вопрос еще далеко не исследован. Он представляет большую сложность вследствие того, что около середины I тысячелетия н. э. на всей территории распространения зарубинецких племен и других близких им племен Восточной и Средней Европы повсюду происходили большие изменения в облике культуры. Как уже указывалось, они были вызваны к жизни крупнейшими культурно-историческими процессами, последовавшими за падением Римской империи. Пока эти изменения в облике культуры не будут детально изучены, нельзя как следует оценить роли балтийского влияния на зарубинецкую раннеславянскую культуру в ходе ее продвижения в восточные области Верхнего Поднепровья.

Несколько замечаний об археологических памятниках восточнобалтийских и древнерусских племен второй половины I тысячелетия н. э.

Археологическая карта культурно-этнических образований — племен или племенных групп, занимавших во второй половине I тысячелетия н. э. Среднее и Верхнее Поднепровье, Верхнее Поволжье и их широкую периферию, публиковалась и комментировалась уже неоднократно. В основных чертах она вполне соответствует данным «Повести временных лет» о расселении древнерусских племен и соседних с ними «иных язычей» накануне возникновения Древнерусского государства³². Не останавливаясь более на этой карте, отмечу здесь лишь то новое, что внесли в ее освещение археологические исследования последних лет.

Наиболее интересные новые данные о культуре восточнославянских племен VI—VIII вв. были получены за последние годы в результате археологических раскопок, произведенных в области Среднего Поднепровья, на коренной восточнославянской территории. Остатки поселений того времени исследовались в нескольких пунктах на правом берегу Днепра ниже Киева и на Северо-Восточной Волыни. Там и здесь были открыты многочисленные землянки прямоугольной формы с очагами в углу, грубая лепная керамика и некоторые другие изделия, свидетельствующие о сельском земледельческом быте. Такого же рода поселения, с такими же точно землянками оказались на Южном Буге. Наиболее древние из них датируются VI—VII вв. на основании найденных в землянках бронзовых изделий³³.

Новые данные подтвердили высказанную ранее мысль о значительном однообразии культуры восточнославянских племен южной группы. Повсюду — на землях волянян, дрегвичей и других племен — были распространены более или менее одинаковые формы жилищ в виде прямоугольных полужемлянок с печами в углу, однородные формы глиняной посуды; все южные племена первоначально погребали остатки кремации своих умерших на «погребальном поле» так же, как это было в зарубинецкое время, а затем в третьей четверти I тысячелетия н. э. перешли к курганному обряду захоронения. В этом отношении племена южной группы заметно отличались от северных восточнославянских племен — кривичей, словен, вятичей, которые, наряду с общими чертами в культуре, имели и значительные различия,

³² П. Н. Третьяков. Восточнославянские племена. М., 1953, стр. 217—260; е г о ж е. Итоги археологического изучения восточнославянских племен. Исследования по славянскому языковедению. М., 1961, стр. 311—315.

³³ Сборник «Славяне накануне образования Киевской Руси». МИА, № 108, 1963.

в частности в формах погребальных сооружений. Здесь имеются в виду «длинные курганы» кривичей, «сопки» — словен, курганы с деревянными домовинами и оградами, распространенные у вятичей и северян. В керамике северных племен также наблюдалось больше различий, чем на юге.

Указывая в свое время на эту разницу в культуре южных и северных восточнославянских племен, я объяснял ее тем обстоятельством, что южные и северные племена жили в различных исторических условиях. Кривичи, словени и вятичи обитали в глубине северных лесов, на далекой периферии тогдашней Европы, в то время как южные племена принимали непосредственное участие в «великом переселении народов», в движении на Балканский полуостров, тиверцы переселились с Днепра на Днестр, дулебов «примучили» авары и т. д. В этих беспокойных условиях, порождавших разнообразные контакты, культура южных племен неизбежно должна была развиваться по пути большей интеграции³⁴.

Эти соображения несомненно были в основном правильными, тем более, что подобная же культура была свойственна также и славянскому населению на Дунае, в Трансильвании, на территории Чехословакии, т. е. всем племенам антов и склавинов, которые участвовали в военных и политических событиях, развернувшихся на северных рубежах Восточноримской империи в VI—VII вв.

Вместе с тем, в свете новых данных, мне представляется, что сравнительное однообразие культуры южных восточнославянских племен объясняется еще и тем обстоятельством, что она возникла, вероятно, на общей основе — на основе зарубинецкой и пшеворской культур, весьма близких между собой, особенно в поздний период их развития. В то же время культура северных восточнославянских племен впитала в себя мощный местный субстрат — восточнобалтийский и отчасти финно-угорский, различный в разных районах Верхнего Поднепровья и его периферии. Об этом свидетельствуют не только отдельные элементы балтйской культуры в культуре северных восточнославянских племен (формы металлических украшений, детали погребальной обрядности и другие), но прежде всего то, что границы северных восточнославянских (древнерусских) племенных образований второй половины I тысячелетия н. э. в ряде случаев совпадали с границами охарактеризованных выше древних восточнобалтийских культурно-этнических образований.

Так, выше уже указывалось, что в сложении культуры древнерусских вятичей участвовал, вероятно, местный восточнобалтийский субстрат, известный по материалам древних верхнеокских

³⁴ П. И. Третьяков. Восточнославянские племена. М., 1953, стр. 246—247.

городищ. Границы расселения вятичей на севере, востоке и юге во многом совпадали с границами древних балтийских культур. В частности, вятичи обитали в верховьях Десны приблизительно до Брянска, т. е. до северной границы древней юхновской культуры, с территорией которой в области верхнего и среднего течения Десны совпадала земля летописных северян. Интересно, что разграничительная линия, пересекающая поречье Десны около Брянска, отделявшая смоленскую культуру древних городищ от юхновской, а позднее — землю вятичей от северянской земли, сохранилась как диалектная граница вплоть до настоящего времени.

Культура кривичей сложилась не без участия древних балтов северо-западных областей, прежде всего тех балтийских племен, предки которых входили в пределы культуры «штриховой керамики». В «длинных курганах» и на городищах кривичей в изобилии встречаются предметы балтийского происхождения, прежде всего бронзовые украшения характерных типов. Формы их керамики в третьей четверти I тысячелетия н. э. сохраняли формы, свойственные посуде «штриховиков». Словени новгородские, в отличие от кривичей, жили на территории древних финно-угорских племен.

Нам думается, что дальнейшее изучение культуры северных восточнославянских племен откроет и другие факты, говорящие о преемственности их границ с внутренними границами местного этнического субстрата.

Начальная русская летопись, запечатлевшая на своих первых страницах этногеографическую картину Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства, не сохранила никаких сведений о восточнобалтийских племенах в пределах Верхнего Поднепровья. Авторы летописи хорошо помнили, что в области Белоозера, Ростова и Мурома первоначально жило нерусское население — племена веси, мери и муромы. Но они уже успели забыть о древнем населении более западных областей Северной Руси, полагая, что словени были первыми насельниками в Новгороде, а кривичи в Полоцке. Из этого можно было бы сделать вывод, что в период образования древнерусской государственности восточных балтов уже не существовало, что они к этому времени были полностью ассимилированы славянами.

Такой вывод был бы, однако, преждевременным. Как известно, в дальнейший текст летописи, повествующий о событиях 1058 г., попало сообщение о победе Изяслава над голядью, а из сообщения 1147 г. узнаем, что «люди голядь» обитали где-то на р. Протве, левом притоке р. Оки. Очевидно, голядь, в которой справедливо видят балтийское племя, сохраняло до XI в. (или восстановило в это время) свою политическую самостоятельность, которую Изяслав сломал силой оружия. Другие восточнобалтийские племена утратили политическую независимость значительно раньше

и, очевидно, только благодаря этому не попали на первые страницы летописи. Но их этнические особенности в той или иной форме сохранились не только в IX—X вв., в период возникновения Древнерусского государства, но и в последующие столетия. Об этом убедительно свидетельствуют археологические данные.

Археологические раскопки, проведенные в области Верхнего Поднепровья за последние годы, показали, что во многих северных и западных частях этой области восточные балты оставались господствующей этнической группой вплоть до VII—VIII вв. Например, на Смоленщине — в верховьях Сожа, на берегах Днепра и в междуречье Днепра и Западной Двины — были открыты многочисленные поселения и городки-убежища восточнобалтийских племен, отличающиеся своеобразной «архитектурой»³⁵. На некоторых из них открыты остатки своеобразных круглых святилищ. Известны также могильники с трупосожжением, принадлежащие этим племенам. В конце VII—VIII вв. хозяевами Смоленского Поднепровья стали славяне-кривичи, известные по многочисленным «длинным курганам». Остатки пожарищ на городищах местных балтов указывают, возможно, на то, что появление здесь кривичей, как предполагает В. В. Седов, пришедших на Смоленщину с запада³⁶, сопровождалось военными столкновениями с местным населением. Несмотря на это, восточнобалтийское население продолжало здесь жить и в последующее время. В «длинных курганах» смоленских кривичей как более ранних — конца VII—начала VIII вв., так и более поздних, относящихся к началу IX в., постоянно встречаются вещи, особенно украшения, балтийских типов³⁷. Интересной группой древних памятников Смоленщины являются так называемые «болотные городища» — расположенные среди болот маленькие округлые или овальные укрепления, обнесенные валами и рвами. Их исследования показали, что они относятся к IX—X вв., а быть может, и к более позднему времени и повторяют в своем устройстве основные черты «архитектуры» более древних балтийских городков-убежищ³⁸. Миниатюрные размеры «болотных городищ» и некоторые другие особенности позволяют видеть в них места языческих святилищ. Очевидно, после того как господствующей силой в Смоленском Поднепровье стали славяне, местное население было вынуждено перенести свои святилища в труднодоступные глухие заболоченные места. Интересно также и то, что в XI—XII вв., когда на Смоленщине, в ходе укрепления феодаль-

³⁵ Раскопки автора 1954—1962 гг. Материалы публикуются в изданиях Академии наук СССР.

³⁶ В. В. Седов. Кривичи. СА, 1960, 1.

³⁷ Е. А. Шмидт. Длинные курганы у дер. Цурковки в Смоленском районе. СА, 1958, 3.

³⁸ Исследования автора 1960—1961 гг.

ных порядков, стали возникать многочисленные укрепленные усадьбы-замчища, принадлежащие землевладельческой знати, в устройстве этих городков-замчищ наблюдалось много общего с более древними городками-убежищами местных балтийских племен. Можно думать, что в числе непосредственных строителей этих городков были крестьяне-балты, познакомившие своих новых хозяев с местными дедовскими строительными традициями.

В. В. Седов обратил внимание на интересную особенность в погребальном обряде XI—XII вв. на территории северо-западных древнерусских земель. Оказалось, что мужские погребения нередко имеют здесь «обратную» ориентировку — умершие положены головой не на запад, что было обычным для того времени, а на восток. Занявшись этим вопросом, В. В. Седов предполагает, что «обратная» ориентировка мужских захоронений была характерной чертой погребального обряда славянизированного балтийского населения. Составленная им карта показывает, что балтийская погребальная традиция сохранялась во многих местах в пределах ареала древней восточнобалтийской топонимики. Правда, мнение В. В. Седова оспаривается Г. Ф. Соловьевой.³⁹

Трудно сказать, конечно, на какой ступени ассимиляции находилось население Верхнего Поднепровья, сохранявшее в XI—XII вв. балтийские особенности в погребальном обряде. Возможно, что оно уже не говорило в это время на своем старом языке. Но так или иначе процесс ассимиляции восточных балтов был весьма длительным, он завершился лишь в условиях Древней Руси.

Если первоначально, в период существования зарубинецкой культуры, проникшие в Верхнее Поднепровье славянские племена составляли там меньшинство, окруженное местным населением, то позднее роли переменились. Относительно малочисленное местное население сохранялось в виде островков среди господствующего славянского элемента, шаг за шагом утрачивая свою этническую специфику. Словом процесс шел здесь в основных чертах теми же путями, что и на северо-востоке в земле древней финно-угорской мери, где он сравнительно хорошо освещен письменными источниками. Вплоть до XIV—XVI вв. около Ростова, Костромы, Кинешмы и в других местах сохранялись районы, принадлежащие мерянскому населению. Нередко они были выделены в качестве особых административных единиц — «мерский стан» около Костромы, «Мериновская волость» около Кинешмы и др.⁴⁰ Места этих «станов» и «волостей» до сих пор

³⁹ В. В. Седов. Следы восточнобалтийского погребального обряда в курганах Древней Руси. СА, 1961, -2; Г. Ф. Соловьева. К вопросу о восточной ориентировке в курганах XI—XIII вв. СА, 1963, 2.

⁴⁰ Е. И. Горюнова. Этническая история Волго-Окского междуречья. МИА, № 94, 1961, стр. 248.

сохраняют особенно плотную финно-угорскую топонимику, причем не только в названиях рек или озер (гидронимика), но и в названиях населенных пунктов и урочищ.

В Верхнем Поднепровье картина подобного рода наблюдалась на три-четыре столетия раньше. Темпы ассимиляции также были здесь другими, что соответствовало дофеодальным историческим условиям и относительно медленному накапливанию славянского этнического элемента.

LES FINNO-AUGRIENS, LES BALTES ET LES SLAVES DANS LES REGIONS DU HAUT DNEIPE ET DU HAUT VOLGA

Résumé

Les données archéologiques permettent de diviser la préhistoire des régions de la Haute Volga et du Haut Dniepr en deux grandes périodes du développement culturel, qui peuvent être en même temps considérées comme étapes principales de l'ancienne histoire ethniques de cette vaste région où s'est formée plus tard (au Moyen Âge) la nationalité grand-russienne.

La première période de l'histoire des peuples primitifs du Haut Dniepr et de la Haute Volga a duré assez longtemps. Elle s'est achevée à la fin de l'époque de la bronze, à la fin du second millénaire avant notre ère. Des migrations considérables ont eu lieu durant cette période. D'abord elles étaient étroitement liées avec l'installation dans les régions forestières des tribus mésolithiques et néolithiques qui s'occupaient de la chasse et de la pêche. Plus tard, à la veille de la période postérieure, au II millénaire avant notre ère, les migrations avaient pour cause la pénétration dans la zone forestière des tribus de bergers des régions méridionales. Les migrations les plus importantes ont été: 1. Le mouvement partant des régions de la Kama et des monts Ouraliennes dans la direction Ouest des tribus du type «mongoloïde modéré» (et «laponioïde») de la fin de l'époque mésolithique et du néolithique. Ces tribus ont pénétré dans les régions de la Haute Volga et dans le nord de la zone forestière jusqu'à l'Est de la région baltique et ont joué évidemment un rôle important dans la formation de la population finno-ougriennes des ces régions. 2. Le mouvement daté du II millénaire avant notre ère de la population de bergers des régions du Bas et Moyen Dniepr dans la direction Nord — vers le Haut Dniepr, dans la partie Sud-Est des régions baltiques et partiellement vers la Haute Volga. La culture de ces tribus représentait une variété orientale des cultures caractérisées par une céramique ornementée à l'aide de lacet (Schnurkeramik). La migration de ces tribus vers le Nord de l'Europe Orientale est considérée par la majorité des savants

comme un fait de l'histoire des peuples indo-européens — un fait qui a donné naissance au groupe balte de ces peuples.

Ainsi, vers la fin du II millénaire avant notre ère deux grands massifs culturels et ethniques se sont formés dans la région du Haut Dniepr et de la Haute Volga. Ils différaient par leur origine et par leurs échanges culturels. La frontière entre ces deux massifs ethniques coïncidait, grosso modo, avec la ligne qui séparait les anciens Baltes et les Finno-Ougriens d'après les données hydronymiques.

La fin du II millénaire avant notre ère ne doit être considérée que comme l'époque de la formation dans la zone forestière de l'Europe Orientale de deux massifs culturels et ethniques — balte et finno-ougrien. Il est aussi peu probable que les hydronymes baltes et finno-ougriens se soient formés à cette époque éloignée lorsque les finno-ougriens ont été chasseurs et pêcheurs et les baltes — bergers. Il serait plus juste de rapporter cette ancienne toponymie (spécialement hydronymie) balte et finno-ougrienne à une période historique et culturelle postérieure — depuis les VII—VI siècles avant notre ère jusqu'aux premiers siècles de notre ère, c'est à dire au «premier siècle de fer» d'après la périodisation archéologique. Cette seconde grande période de la préhistoire de l'ancienne population de la zone forestière de la partie européenne de l'URSS doit être caractérisée par l'élevage et l'agriculture comme mode principal de production, par l'absence de grandes migrations et par la stabilité des aires des cultures anciennes. La frontière qui séparait les groupes culturels et ethniques s'étant formée vers la fin de la période antérieure restait très distincte pendant toute la durée du «premier siècle de fer». Elle séparait: 1. le groupe finno-ougriens dans la région de la Volga et dans la partie orientale des régions baltiques; 2. le groupe balte dans le Haut Dniepr et dans la partie Sud-Est des régions baltiques. Cela signifie que durant plus d'un millénaire cette frontière passait par la ligne suivante: le golf Riga — la Daugava (Dvina occidentale) — la ligne du partage des eaux du Dniepr et de la Volga. Cependant cette ligne retranchait au bassin de la Volga les régions de la Haute Oka et de son affluent Ougra. Dans les confins de chaque grande région on peut distinguer nettement des groupes locaux de la population représentés par des cultures archéologiques proches l'une à l'autre (Diakovskaia et Gorodetskaia dans la région du Volga; Youkhnovskaia, Milogradskaia, Smolenskaia et la culture des vestiges des bourgs contenant une céramique ornementée «en hachures» dans le bassin du Haut Dniepr).

Comme il a été mentionné, cette frontière coïncide avec la limite qui sépare les régions de l'hydronymie balte et finno-ougrienne (y compris celle qu'on distingue comme «Volgookskaia»). Plus encore, les dernières recherches sur l'hydronymie du Haut Dniepr ont montré qu'il y a une certaine correspondance entre les aires de certains «dialectes hydronymiques» baltes et les aires des

variétés locales des cultures archéologiques de ce bassin aquatique. Cela permet de supposer que la couche principale de l'hydronymie pré-slave du Haut Volga et du Haut Dniepr se rapportent au «premier siècle de fer», d'autant plus que dans des périodes postérieures nous ne trouvons aucune correspondance entre les données archéologiques et hydronymiques.

La correspondance ci-décrite entre les données archéologiques et hydronymiques a été déséquilibrée au début de notre ère, lorsqu'une nouvelle population possédant une culture plus avancée que celle des aborigènes notamment la culture du type «Zaroubinetskaia», a fait son apparition dans le Haut Dniepr. La culture «Zaroubinetskaia» est considérée par la majorité des archéologues comme celle des anciens Slaves Orientaux. Sans nous arrêter sur le problème discutable des origines de cette culture ayant son aire principal de l'expansion dans le bassin du Moyen Dniepr (qui se distingue d'ailleurs par la caractère slave de son ancienne toponymie) nous pouvons nous restreindre à dire que dans le Haut Dniepr cette culture a été étrangère et n'avait aucune racine locale. La population «Zaroubinetski» s'est répandue en amont du Dniepr jusqu'à l'embouchure de la Bérézina. La principale voie que suivait cette population dans la direction Nord a été non pas le Dniepr, mais la Desna. Au II—III-èmes siècles de notre ère les vestiges des bourgades du type «Zaroubinetski» se sont répandues le long du cours du Dniepr jusqu' à la Haute Desna. Cette observation basée sur des données archéologiques coïncide sur tout les points avec les résultats des études hydronymiques. La région de la Desna, contrairement aux bassins des autres affluents du Haut Dniepr, se caractérise par une hydronymie balte plus «effacée» et par la présence d'une ancienne couche hydronymie slave.

La diffusion de la population «Zaroubinetski» dans le bassin de la Desna a joué évidemment un rôle important dans l'histoire et l'histoire de la culture de la population locale de tout le bassin du Dniepr et partiellement au-delà de cette région. Aux premiers siècles de notre ère les nouveau-venus ont absorbé (assimilé, repoussé) les tribus du type «Milogradski» qui occupaient le bassin de la Pripiat et la région de Gomel de même que les tribus du type «Youkhnovski» dans le courant moyen et inférieur de la Desna. Dans la Haute Desna, ils ont absorbé et repoussé à l'Est, au Nord et au Nord-Est les tribus du «premier siècle de fer» de la culture dite Smolenskkaia. Ces régions dans lesquelles les tribus «Zaroubinetski» n'ont pas pénétré, montrent tout-de-même une forte influence de leur culture sur la population locale. Cette culture a influencé non seulement les Baltes du Dniepr, mais aussi une partie de la population finno-ougriennes du Haut Volga et de l'Oka. Mais il faut dire qu'il n'y avait pas de contacts étroits entre la population «Zaroubinetski» (les slaves) et les Finno-Ougriens. Il faut noter que plus une région était éloignée de l'aire principale de la culture «Zaroubinetskaia»,

moins a-t-elle subi son influence. Sur la rive droite du Dniepr et vers la ligne du partage des eaux Dniepr-Dvina cette influence n'avait presque pas lieu. La population «Zaroubinetski» a subi à son tour une certaine influence des Baltes de la région du Dniepr qui a été plus forte au milieu du I millénaire de notre ère.

Dans certaines régions du Haut Dniepr la population balte avec ses traditions culturelles continuait à vivre jusqu'au VI—VII siècle de notre ère. A cette époque de nouvelles vagues de la population slave ont amené à la formation du tableau ethnographique dépeint par l'auteur des premières annales russes («Poviest vremennykh let»). C'est dans ces conditions qu'on peut observer une assimilation intense des Baltes du Dniepr par les Slaves dans le domaine de la culture et probablement de la langue. Mais dans certains endroits du Haut Dniepr les éléments de la culture balte ont survécu jusqu'à la première moitié du Moyen-Age russe (IX—XIII siècles) durant laquelle l'élément ethnique slave est devenu prédominant non seulement dans ces régions, mais dans tout le bassin Volga-Oka.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГИМ	— Государственный Исторический музей
КСИА	— Краткие сообщения Института археологии АН УССР
КСИИМК	— Краткие сообщения Института истории материальной культуры
МИА	— Материалы и исследования по археологии СССР
СА	— Советская археология
СЭ	— Советская этнография

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
V Международный съезд славистов
(София, сентябрь 1963)

Б. А. Рыбаков

РУССКАЯ ЭПИГРАФИКА X—XIV вв.

(Состояние, возможности, задачи)

1. Русская средневековая эпиграфика — это неотъемлемая часть славянской кирилловской (а отчасти и глаголической) эпиграфики, тесно связанная прежде всего с письменностью южных славян и в первую очередь Болгарского царства.

Ранний этап славянской эпиграфики IX—X вв. недостаточно представлен собственно русскими материалами, тогда как болгарские надписи на камне, керамике и штукатурке древних зданий дают нам замечательные образцы вроде серии преславских надписей (в том числе записи строителя церкви Павла Хартофилакса), текекозлуджской плиты, добруджанской надписи Жупана Дмитрия 943 (951) г., исключительно интересного надгробия «чегрубилы» Мостича, надгробия Тудоры и др.¹

Совместные усилия всех славянских ученых должны привести к ясному решению вопроса о происхождении и истоках славянских азбук — кириллицы и глаголицы².

При этом следует учитывать, что романтика славянской архайки привлекает к этому вопросу большое количество дилетан-

¹ Кр. М и я т е в. Симеоновата църква в Преслав и нейният епиграфичен материал. Бълг. преглед, т. I, кн. I, София, 1929; е го ж е. Эпиграфические материалы из Преслава. «Byzantinoslavica», т. III, вып. 2, Praha, 1931. М. Н. С п е р а н с к и й. Из славянской эпиграфики. Доклады Академии наук СССР, № 3, 1930; Ст. С т а н ч е в, В. И в а н о в а, М. Б а л а н. Надпись на чьругбиля Мостич. София, 1955; Д а м ь я н П. Б о г д а н. Добруджанская надпись 943 г. «Romanoslavica», 1, 1958.

² Е м и л Г е о р г и е в. Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. София, 1952; J. V a j s. Rukovět hlholské paleografie. Praha, 1932; Е. Э. Г р а н с т р е м. О происхождении глаголической азбуки. ТОДЛ, XI. М.—Л., 1955; A n d r é V a i l l a n t. L'alphabet vieux slave. Revue des études slaves, XXXII. Paris, 1955; В. А. И с т р и н. Развитие письма. М., 1961, стр. 258—307.

тов и фальсификаторов, постоянно наводняющих литературу новыми «открытиями»³.

Одной из задач славянской эпиграфики является серьезное исследование ранних этапов письменности и по возможности полная публикация всех подлинных памятников, относящихся к этой важной проблеме.

2. Накопление большого и многообразного эпиграфического материала, знакомящего нас с различными сторонами быта разных социальных слоев древнерусского города, требует определения самой эпиграфики как науки. Обычно эпиграфика состоит в списке «вспомогательных исторических дисциплин», долженствующих помогать историкам, работающим над источниками. Однако самый список вспомогательных дисциплин сильно изменен ходом жизни за последние десятилетия: некоторые из них, как например археология и нумизматика, превратились в самостоятельные разделы исторической науки со своей методикой и кругом решаемых ими общих вопросов. Другие же, как например дипломатика или генеалогия, окончательно оформились как узко-справочные дисциплины, навсегда обреченные на второстепенную роль вспомогательных.

Эпиграфику нередко рассматривают как придаток к палеографии или ее особый раздел — «вещевую палеографию».

Отличие палеографии от эпиграфики состоит в том, что первая исследует лишь форму начертаний, не вникая по существу в содержание написанного, тогда как вторая имеет дело не только с характером надписей на разном материале, но и с содержанием их. Эпиграфика владеет самостоятельным разделом своеобразных исторических источников, исследуя их целиком, и палеографически, и исторически: от особенностей почерка до исторических лиц или событий, упоминаемых в эпиграфической записи.

Вот это сочетание формы и содержания в эпиграфическом анализе и выделяет эпиграфику из разряда вспомогательных исторических дисциплин, приближая ее к истории, делая ее небольшим разделом источниковедения.

Можно предложить такое определение: русская средневековая эпиграфика — раздел исторической науки, занимающийся фор-

³ Н. А. Константинов. О начале русской письменности. Нева, 1957, № 7; е го же. Черноморские загадочные знаки и глаголица. УЗ ЛГУ, 1957, вып. 23; George Vernadsky. The origins of Russia. Oxford, 1959, стр. 310, рис. 1—3. Г. Вернадский доверчиво отнесся к фальсификации Ю. Арбатского и опубликовал в своей книге отрывки подложного «Жития Владимира Красного Солнышка». Открытие «Прапольской азбуки» бронзового века сделано в альбоме «Artyzm w wyrobach Z metalu», Warszawa, 1954 (см. Z. Otchlan wieków 1957, N 5, стр. 294). В разных изданиях в 1960 г. освещалось с неумеренными похвалами мнимое открытие Н. В. Энгватовым древнейшей русской азбуки. См. об этом: Б. А. Рыбаков и В. Л. Янин. По поводу так называемых «открытий» Н. В. Энгватова. СА, 1960, 4, стр. 239—240.

мой и содержанием надписей, сделанных не на основном письменном материале (пергамен, воск, береста, бумага), а на различных предметах или случайных, не предназначенных для этого поверхностях. Граффити на стенах древних зданий — важная составная часть эпиграфики.

Отличительной особенностью эпиграфического материала является его лаконичность, завершенность, конкретность. Эпиграфическая запись — это живой голос древнерусского горожанина — гончара, ювелира, воина, князя, церковного певчего, поломника, девушки-пяхи, епископа, княжеского казначея или ловчего. Надписи удостоверяют имя мастера, изготовившего вещь, владельца вещи, содержат заклинания, шутки, эпиграммы и даже летописные записи о событиях.

Исторический интерес этих «малых источников» огромен, и это обязывает к тщательному изучению их.

3. Внимание к русской эпиграфике было привлечено впервые находкой в 1792 г. знаменитого Тмутараканского камня с записью об измерении широты Керченского пролива Глебом Святославовичем в 1068 г.

Второй эпиграфической находкой был золотой змеевик Владимира Мономаха, потерянный им, вероятно, на охоте на берегах Белоуса, под Черниговом (1078—1094 г.), и найденный в 1821 г.

Тмутараканский камень и черниговская гривна породила целую литературу, послужившую основой дальнейшего изучения русской эпиграфики.

В 1851 г. было задумано широкое собрание древних надписей⁴.

В осуществлении этих замыслов И. И. Срезневский опубликовал перечень известных в то время надписей XI—XIV вв.⁵

Хороший образец научного издания надписей дал известный палеограф В. Н. Щепкин⁶⁻⁷.

Специально эпиграфикой занимался И. А. Шляпкин, преподававший палеографию и эпиграфику в Петербургском археологическом институте⁸. Лекции И. А. Шляпкина, единственное в дореволюционной России издание специально по эпиграфике, представляют собой краткое пособие с описанием 23 памятников,

⁴ Н. П. Сахаров. Записка для обозрения русских древностей. СПб., 1851.

⁵ И. И. Срезневский. Древние памятники русского письма и языка. СПб., 1882.

⁶⁻⁷ В. Н. Щепкин. Новгородские надписи graffiti. «Древности». Труды Московского археологического общества, т. XIX, вып. 3, М. 1902; Его же. Описание надгробий. Отчет Исторического музея в Москве за 1906 г. Приложение. М., 1907; Отчет Исторического музея в Москве за 1911 г. Приложение. М., 1912.

⁸ И. А. Шляпкин. Русская палеография. СПб., 1913. Главное внимание здесь уделено эпиграфике и сделана первая, не особенно удачная попытка изобразить азбуку «вещевой палеографии».

«знание которых вполне удовлетворяет требованию, предъявляемому профессорам по русской палеографии»⁹.

Большим вкладом в русскую эпиграфику должен был стать корпус новгородских надписей XI—XIV вв., над которым И. А. Шляпкин работал с 1895 г. до конца своей жизни в 1919 г.

После смерти И. А. Шляпкина предполагалось издание его труда под редакцией А. А. Шахматова и А. Н. Вершинского. Значительное место в труде занимали граффити новгородских церквей, в частности Софийского собора. Издание, к сожалению, не увидело света; только часть граффити Софийского собора была опубликована В. Н. Щепкиным.

В 1952 г. промелькнуло в печати сообщение о том, что «у М. К. Каргера подготовлен к печати корпус новгородских и псковских надписей XI—XVII вв.»¹⁰

К сожалению, несмотря на оживление интереса к новгородской эпиграфике после замечательных открытий А. В. Арциховского в 1951 г. — берестяных грамот, обещанный свод надписей не был сдан в печать.

Первым изданием, которое приблизило изучение русской эпиграфики к научному уровню, была справочная книга А. С. Орлова, давшая почти исчерпывающую библиографию 303 надписей XI—XV вв.¹¹

Выход этой книги в 1936 г. был большим событием для всех русских историков, и данные эпиграфики стали широко использоваться при изучении истории культуры, хозяйства и быта древней Руси¹².

Накопление эпиграфического материала (в частности, путем раскопок в древнерусских городах) шло так быстро, что вскоре потребовалось второе, сильно расширенное издание книги А. С. Орлова¹³.

На основании перечня А. С. Орлова и рукописи И. А. Шляпкина проф. А. Н. Вершинский написал в 1940 г. общую работу

⁹ Памятники русской вещевой палеографии. Составил М. И. Михайлов. СПб., 1913, стр. 3. Важный эпиграфический материал исследован И. А. Шляпкиным в его большой статье «Древнерусские кресты». ЗОРСА, СПб., 1906.

¹⁰ М. П. Сотникова. Дополнения к «Библиографии русских надписей XI—XV вв.» М.—Л., 1952, стр. 220. Автор сообщает также о подготовке свода в 600 надписей Северо-Западной Руси Н. Г. Порфиридовым.

¹¹ А. С. Орлов. Библиография русских надписей XI—XV вв. М.—Л., 1936.

¹² М. Н. Тихомиров. Городская письменность в древней Руси XI—XIII вв. ТОДЛ, т. IX. М.—Л., 1953, стр. 51—66; Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948; Л. В. Черепнин. Русская палеография. М., 1956, стр. 117—125, 179—191.

¹³ Б. А. Рыбаков. К библиографии русских надписей XI—XV вв. Исторические Записки, № 4, 1938, стр. 250—257. А. С. Орлов. Библиография русских надписей XI—XV вв. М.—Л., 1952. Второе издание (было дополнено М. П. Сотниковой за счет библиографии печатей и новых находок надписей; объем издания вырос на одну треть (стр. 183—236).

«Исторические надписи как источник по истории СССР», объемом около 5 печатных листов. Эта работа, посвященная эпиграфике XI—XVII вв., к сожалению, в свое время не была опубликована, а в настоящее время в значительной мере устарела¹⁴.

4. Обильный эпиграфический материал дали археологические раскопки и в особенности исследования Великого Новгорода. Однако открытые А. В. Арциховским берестяные грамоты едва ли следует сливать воедино с остальным эпиграфическим фондом. Этот эпистолярно-юридический архив был написан на обычном, широко распространенном в то время писчем материале — на бересте и должен составлять, пожалуй, особый раздел палеографии, а не эпиграфики¹⁵.

Бесследно исчез из поля зрения палеографов и эпиграфистов многочисленный фонд надписей на воске, являвшийся, наравне с берестой, широко распространенным писчим материалом. Но о письменности на бересте и воске свидетельствуют многочисленные стили — «писала», находимые в разных городах во время раскопок¹⁶.

Много интересных новинок дало изучение надписей-граффити XI—XIII вв. В последние годы центр изучения переместился из Новгорода в Киев¹⁷.

Особый интерес представляют открытия С. А. Высоцкого, систематически расчищающего граффити Софийского собора в Киеве, историческое значение обнаруженных им надписей XI—XII вв. превосходит значение берестяных грамот¹⁸.

¹⁴ Экземпляр рукописи А. Н. Вершинского хранится в Институте археологии АН СССР под № 1840, р. 2.

¹⁵ Новгородские грамоты публикуются А. В. Арциховским в многотомной серии «Новгородские грамоты на бересте». Палеографический анализ небольшого числа грамот произведен Л. П. Жуковской (см. сборник «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот», М., 1955, стр. 13—78). Расхождения в датировках ряда берестяных грамот между лингвистами и археологами вызвано тем, что А. В. Арциховский несколько занижал, удвоял дату слоев XI—XIII вв. в Новгороде. См. Б. А. Рыбаков. К вопросу о методике работ Новгородской экспедиции. СА, 1959, 4; Б. А. Рыбаков. Что нового вносит в науку статья А. В. Арциховского. СА, 1961, 2. После дискуссии, привлекавшей и палеографический материал, и после новых исследований Б. А. Колчина по дендрохронологии (см. Б. А. Колчин. Дендрохронология Новгорода. СА, 1962, 1, стр. 113—139) А. В. Арциховский был вынужден изменить датировки и теперь его расхождения с лингвистами значительно сократились.

¹⁶ Jan Żak. Wczesnośredniowieczne rylce do pisania na tablicach woskowych. Dawna kultura, вып. I, 1954. Б. А. Тимощук. Об инструментах для письма («стилях»). КСИИМК, вып. 62, 1956, стр. 155—156. Jan Żak. Z dziejów znajomości pisma Polsce. Slavia Antiqua, t. V. Poznań, 1956. А. Ф. Медведев. Древнерусские писала X—XV вв. СА, 1960, 2, стр. 63—88.

¹⁷ Б. Рыбаков. Іменні написи XII сторіччя в Київському Софійському соборі. Археологія, I, Київ, 1947, стр. 53—64.

¹⁸ С. А. Висоцкий. Граффити XI в. в Софии Киевской. СА, 1959, 1, стр. 217; е го же. Датированные граффити XI в. в Софии Киевской.

Ряд новых надписей обнаружен и на музейных предметах XII—XIV вв.¹⁹

Раскопки древнерусских курганов, городов, селищ ежегодно пополняют быстрорастущий фонд русской эпиграфики за счет надписей на амфорах, пряслицах, ножах, крестиках, сапожных колодах, бочках, измерительных локтях, денежных слитках, печатах²⁰.

Объем эпиграфического материала в настоящее время настолько возрос, что приведение его в систему, классифицирование, размежевание с палеографией, выработка принципов датировки и сопоставление с южнославянской кирилловской эпиграфикой стали настоятельно необходимы.

5. Институт археологии Академии наук СССР, издающий новые эпиграфические находки в своей серии «Нумизматика и эпиграфика», предполагает в ближайшее время (1963—1964) издать в одном из выпусков «Свода археологических источников СССР» корпус датированных эпиграфических памятников древней Руси X—XIV вв., публикация которого должна облегчить датировку массового эпиграфического материала.

При подготовке такого издания встает ряд классификационных вопросов и среди них — вопросы объема эпиграфики и размежевания эпиграфики с палеографией. Безусловно, к разряду эпиграфики должны быть отнесены надписи на монетах и печатах. Нумизматика и сфрагистика имеют много специфических методов и задач и зачастую пренебрегают эпиграфическим методом датировки, а от внимания специалистов по эпиграфике обычно ускользает ценный материал монет и печатей, порою очень точно датировемый.

Ближе к палеографии стоят рисованные красками подписи к фрескам, обычно рассматриваемые в разделе эпиграфики. Художники-фресчисты не создавали своих особых видов начерта-

СА, 1959, 4, стр. 243—244; Б. А. Рыбаков. Запись о смерти Ярослава Мудрого. СА, 1959, 4, стр. 245—249; С. А. Высоккий. Надписи в Софии Киевской времени княжения Святополка Изяславича. История СССР, 6. М., 1960, стр. 139—146.

¹⁹ Т. В. Николаева. Произведения мелкой пластики XIII—XVII вв. в собрании Загорского музея. Загорск, 1960.

²⁰ Д. А. Авдусин, М. Н. Тихомиров. Древнейшая русская надпись. Вестник АН СССР, 1950, IV, стр. 74 и след.; П. Я. Черных. Две заметки по истории русского языка, 2. К вопросу о гнездовской надписи. Известия АН СССР. Отделение лит-ры и языка, 1950, т. IX, вып. 5, стр. 398—401. E. V. Mareš. Dva objavy starých slovanských napisů. Slavia, 1951, ročník XX, sešit 4; А. В. Арциховский. Археологическое изучение Новгорода. МИА, № 55. М., 1956; Andrzej Poppe. Zabytek epigrafiki staroruskiej z Drohiczyzna. Studia Źródłoznawczy, t. 1. Warszawa, 1957, стр. 89—108. Б. А. Рыбаков. Раскопки в Любече в 1957 г. КСИИМК, вып. 79. М., 1960, стр. 27—34; Т. В. Равдина. Надпись на корчаге из Пинска. КСИИМК, вып. 70, 1957, стр. 150—153; А. Л. Монгайт. Старая Рязань. МИА, № 49. М., 1955, стр. 188.

ний букв, а просто в увеличенном масштабе воспроизводили книжный почерк своей эпохи.

На рубеже палеографии и эпитафистики стоят надписи на бересте. По законченности и жизненной конкретности своего содержания многие берестяные записи близки к обычному эпитафическому фонду, но в то же время надписи на бересте никак не связаны с предметом — со свитком бересты. Береста — только удобный и привычный материал для письма, как пергамен или бумага.

Л. В. Черепнин правильно поступил, включив сводку начертаний на бересте в свой курс палеографии²¹, но только в хронологическое распределение грамот XII—XIII вв. теперь должны быть внесены существенные коррективы, связанные с передатировкой археологических слоев и «ярусов». Начертания на бересте несомненно имеют свою специфику.

Надписи-граффити на штукатурке, на глине, кирпичах и камнях должны остаться в ведении эпитафистики, так как по своему содержанию они нередко связаны с тем местом (зданием или определенным помещением), где они сделаны. Таковы, например, все заклинательные надписи, содержащие варианты формулы «господи, помози!»; они все связаны с церковными, культовыми постройками²².

С другой стороны, среди привычного палеографического материала есть много коротких записей, иногда совершенно не связанных с текстом, но имеющих прямое отношение к книге, как объекту труда. Это — приписки писцов на полях и последних листах, сообщающие о том, что писцу хочется спать, что его одолевает «дремота непременная», что ему попало «лихое перо» или что у него на дворе, в то время как он переписывал шестоднев, «родила свинья поросят». По формальным признакам эти записи — удел палеографии, но по самостоятельному характеру своего содержания, по законченности мысли они ближе к тем лаконичным, субъективным и живым записям, с которыми обычно имеет дело эпитафистика.

6. Для эпитафического материала сопоставление с рукописями и чернильными начертаниями на пергамене и бумаге может дать лишь приблизительную хронологию. Очень важно учесть специфику начертаний и специфику их эволюции в зависимости от материала и способа нанесения надписей. Сочетание этих двух признаков позволяет дать следующую классификацию надписей:

²¹ Л. В. Черепнин. Русская палеография. М., 1956, табл. 3, 6—7.

²² Обычай использовать церковные стены для магических целей подвергался осуждению еще в древней Руси: «... церковная табта: мертвеци сволочать, крест посекут или на стенах режут. . . или что неподобно в церкви подееть. . .» (2-я редакция церковного устава Владимира. Памятники русского права, вып. 1, М., 1952, стр. 241).

- а) написанные «писалом» по мягкому материалу (сырая глина, воск, свежая береста);
- б) процарапанные коническим острием (штукатурка, обожженная глина, кирпич, камень, металл, дерево);
- в) резанные (металл, кость, дерево);
- г) гравированные резцом по металлу;
- д) долбленные и чеканные (камень, металл, литейные формы);
- е) резные в дерево;
- ж) выпукло-резанные (камень, дерево, кость, матрицы для набойки);
- з) выпукло-накладные (восковые модели литых изделий);
- и) шитые;
- к) проволочные напаянные;
- л) писанные золотом на меди.

Практически приходится иметь дело с первыми шестью группами надписей, остальные способы встречаются редко.

Сочетание свойств материала и пишущего орудия приводит к выработке особых приемов в каждом случае и сильно влияет на окончательную форму букв. Особенно это относится к написанию округлых элементов, завитков, к передаче нажимов.

7. При анализе особенностей эпиграфических начертаний и их хронологии очень важно отметить наличие двух разных стилей — торжественного и бытового.

Торжественный стиль применялся чаще всего мастерами золотых и серебряных дел для написания имени заказчика, обстоятельство изготовления вещи, даты изготовления или для богослужебных текстов вроде формулы евхаристии. Надписи носят орнаментальный характер, тщательно выполнены, иногда выделены или черневым заполнением или штриховкой фона; нередко применялся двойной контур.

Надписи торжественного стиля обычно очень близки к современным им книжным начертаниям.

Совершенно иное — простой бытовой стиль. Здесь мы видим стремление быстро и ясно записать необходимое; авторы упрощают начертания, дают только основную схему букв, известных нам по пергаменным рукописным книгам. Этот деловой почерк меняется с веками, но, кажется, эти изменения происходят несколько медленнее, чем в рукописном деле, так как наличие простых и удобных форм позволило дольше пользоваться ими без изменений.

Основой для самостоятельной эпиграфической датировки должен быть упомянутый выше свод русских датированных надписей X—XIV вв., включающий предметы с точно написанными датами и косвенно датируемые достаточно узким промежутком времени.

На этой основе создана полная азбука датированных надписей, дающая в с е в а р и а н т ы начертаний каждой буквы в каждой надписи. Такой принцип исключает возможность случайного отбора.

Диаграмма показывает нам тот достоверный фонд надписей, который положен в основу сводной азбуки (рис. 1).

Абсолютно точным материалом могут служить только надписи, содержащие написанную дату. Косвенно же датируемые надписи сами еще подлежат проверке и изображены на таблице пунктиром.

Хронологический диапазон эпиграфической шкалы может быть расширен в сторону X и даже IX в. путем привлечения болгарской кирилловской эпиграфики, изученной К. Миятевым, В. Ивановой-Мавродиновой и С. Станчевым.

Небольшая группа надписей относится к середине XI в.; вторая группа охватывает первую треть XII в., затем наблюдается скопление надписей в 1160 годы; следующее скопление их падает на предмонгольские годы. Далее следует перерыв в 80 лет, связанный с общим упадком после татарского разгрома, новая группа датированных надписей относится уже к 1320—1390 гг.

9. Помимо палеографической датировки, основанной на форме начертаний (с поправкой на материал надписи), эпиграфические памятники могут быть датированы стилистически, типологически, стратиграфически и в том случае, если они содержат указания на определенных лиц или на события, исторически.

Датировка по стилю художественных произведений (резные иконки, энколпионы, чеканные оклады или сосуды) или по типу археологических вещей (сосуды, пряслица) не отличается особой точностью и только в редких случаях может сузить дату, полученную путем палеографического анализа.

Большую точность может при благоприятных условиях дать стратиграфический метод датировки по условиям залегания находки в определенных археологических слоях. Стратиграфическая датировка отдельной вещи дает время попадания вещи в культурный слой, прекращение ее бытования (поломка вещи, утеря, пожар), но не всегда может определить время происхождения надписи на вещи. Известны случаи, когда печати X в. оказывались в слоях XII в., это означает, что древний документ, скрепленный печатью, дожил до XII в.

Знаменитая чара черниговского князя Владимира Давыдовича найдена в слоях XIII в. в татарском городе Сарае-Берке, тогда как надпись могла быть сделана только в 1140—1151 гг.

В некоторых случаях стратиграфическая датировка упрочняется количеством находок в разных местах. В качестве примера можно привести несколько десятков крестов-энколпионов, отлитых в одной литейной форме и найденных во многих русских

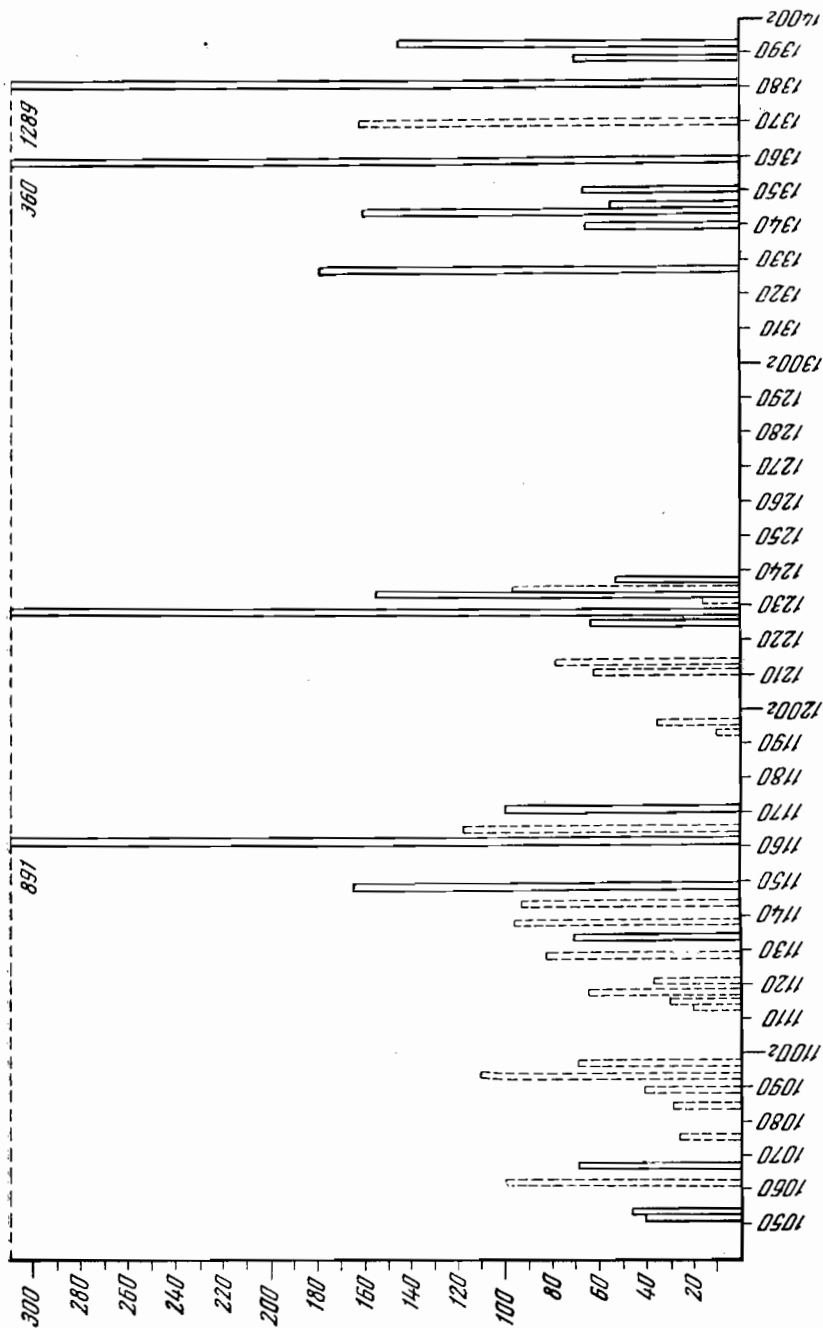


Рис. 1. Диаграмма. По горизонтали нанесены годы (от 1050 до 1400), по вертикали — количество букв в каждой надписи

городах всегда в слоях, связанных с пожарищами эпохи Батыя (1237—1240)²³.

Как мы видим, для того, чтобы эпитафия стала на прочное научное основание, необходимо: создание азбуки точно датированных надписей, выявление специфики разных способов написания, тщательный стилистический, типологический и стратиграфический анализ. Выполнение этих формальных требований позволит использовать обильный эпитафический материал в качестве своеобразного, яркого и подчас незаменимого исторического источника.

10. Датировка эпитафических материалов по упоминаемым в них именам или событиям является уже и анализом их по существу содержания.

Имена и изображения христианских патронов дают в наши руки нити связей с летописным или сфрагистическим материалом, но при всех логических построениях нужно помнить об условности тех или иных сближений. Окончательно можно принимать в науку только те гипотезы, где сближения обосновываются с нескольких разных позиций.

Так называемая «черниговская гривна» — тяжелый золотой змеевик с именем Василия — давно уже связана с Владимиром-Василием Мономахом. Здесь как раз мы видим пример обоснования гипотезы с нескольких позиций:

- а) палеографически «гривна» относится к XI—XII в.;
- б) имя Василия носил Владимир Мономах;
- в) дорогой золотой предмет весом в две гривны золота (около 186 г) соответствовал княжескому достоинству. (Змеевик Василия по стоимости равнялся размеру годичной княжеской дани с города средних размеров);
- г) змеевик найден на р. Белоусе в окрестностях Чернигова, где в 1078—1094 гг. постоянно охотился Мономах и где туры поднимали его на рога, лось топтал ногами, рысь прыгала на бедра, а вервь «на бедре меч оттял». Потеря золотой гривны в охотничьих угодьях по Белоусу вполне естественна.

Менее обоснована гипотеза о принадлежности потира из Переяславля Залесского князю Юрию Долгорукому. Она основана

²³ Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948. — На литейной форме мастер вырезал надписи прямо и поэтому на бронзовых отливках они получились обратными, «зеркальными». В связи с эмиграцией части русского населения во время татарского разгрома, некоторое количество таких энколпионов оказалось в Западной Европе. Они есть, например, в средневековом отделе Ватиканского музея в Риме. Зеркальность надписей затрудняла чтение, и эти энколпионы иногда принимались за греческие. Энколпион 1330-х гг. был найден в могиле одного католического епископа вместе с жезлом-пасторалом, потиром и диском. См. Witold Hensel. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski Wczesnohistorycznej, т. II. Poznań, 1953, стр. 59, табл. IV. — Русские обратные надписи приняты автором за греческие.

только на предании. Потир XII в. имеет в числе других изображение св. Георгия. Очень вероятно, что потир — вклад Георгия Владимировича в построенный им собор, но настаивать на этом нельзя.

Для того чтобы показать трудность определения исторических вещей, интересно привести различие мнений по поводу известного шлема Федора, найденного на месте Липицких битв (1177 и 1216 гг.)

А. Н. Оленин еще в 1832 г. связал шлем с князем Ярославом-Федором Всеволодичем, бежавшим с Липицкой битвы 1216 г. в одной «первой сорочице», без доспеха. А. В. Арциховский обратил внимание не только на надпись на прилбице, но и на подбор святых на шишаке (Георгий, Василий и Федор), считая их патронами самого Ярослава-Федора и его братьев. В. Л. Янин убедительно опроверг это мнение и высказал верную мысль о том, что первоначальным владельцем шлема был какой-то князь XII в., а Ярослав-Федор был его последним владельцем²⁴.

Предположение В. Л. Янина можно подкрепить и техническими и эпиграфическими соображениями — прилбица с изображением арх. Михаила и просьба о помощи *деворѣ*²⁵ наклепана позднее на готовый уже чеканный орнамент тульи. Рука писца и стиль изображений здесь сильно отличаются от четырех клейм на шишаке. Однако в расшифровке трех имен в этих клеймах (которые, возможно, обозначали деда, отца и самого владельца шлема) и в поисках имени первоначального владельца шлема В. Л. Янин допускает целую цепь натяжек. Во-первых, из четырех возможных порядковых комбинаций

Георгий, Василий, Федор;
Федор, Василий, Георгий;
Георгий, Федор, Василий;
Федор, Георгий, Василий,

исследователь произвольно выбирает четвертую, отбрасывая без рассмотрения все остальные. Во-вторых, не найдя подходящего князя Федора Георгиевича, Васильева внука в летописи и обратившись к новгородской сфрагистике, В. Л. Янин еще раз произвольно сузил круг поисков, ограничившись только «Юрьевичами», а найдя печать с изображениями Георгия и Федора, он решил, что это и есть печать искомого князя Федора Георгиевича (а почему не Георгия Федоровича?).

Третью натяжку В. Л. Янин совершает, признавая владельца печати сыном Юрия Долгорукого — Мстиславом (крестное имя

²⁴ В. Л. Янин. О первоначальной принадлежности шлема Ярослава Всеволодича. СА, 1958, 3, стр. 54—60.

²⁵ Все древние надписи воспроизведены условным шрифтом, не отражающим действительной формы букв. Расположение строк тоже условное. Для удобства чтения произведено деление строк на слова.

которого нам неизвестно) и отождествляя его с предполагаемым владельцем шлема. Это доказывается тем, что из двух сыповей Долгорукого, крестные имена которых нам неизвестны, один, Ростислав, как кажется автору, носил имя Николая и «поэтому только Мстиславу возможно приписывать печати с изображениями святых Феодора и Георгия. . .»²⁶.

Необходимое для этого построения определение крестного имени Ростислава Юрьевича сделано В. Л. Яниным в другой статье тоже ценою столь значительного количества предположений, что заставляет нас настороженно отнестись и к самому фундаменту гипотезы и к тому, что на этом фундаменте воздвигнуто²⁷.

Приведем перечень этих дополнительных натяжек:

- а) встретив печать с изображением Николая и княжеским знаком, подобным знаку на Золотых Воротах Владимира, Янин объявляет этот знак принадлежащим не Андрею, строителю ворот, а Ростиславу, умершему за 8 или за 14 лет до постройки Золотых Ворот;
- б) обнаружив в Новгороде печать с изображениями Николая и Василия, Янин решает, что это — печать сына именно того самого Николая, которому только что был приписан знак Андрея. При помощи этих доказательств определяется крестное имя Ярополка Ростиславича — Василий;
- в) создав остроумную теорию использования в XIII в. «усеченных» княжеских знаков, Янин впадает в резкое противоречие с самим собой, приписывая «большому гнезду», сыновьям Всеволода, знаки, происходящие не от отцовского всеволодова знака, а от знака их дяди Андрея Боголюбского²⁸. Верная по существу мысль о двух владельцах шлема при

²⁶ В. Л. Янин. Указ. соч., стр. 59.

²⁷ В. Л. Янин. Княжеские знаки Суздальских Рюриковичей. КСИИМК, вып. 62. М., 1956, стр. 3—16.

²⁸ В построении В. Л. Янина есть два пункта, основанные на очень плохой сохранности печатей. Одно из необходимых звеньев базируется на печати «посредственной сохранности. . . без словесных пояснений» и без атрибутов у святого, изображенного на ней. Тем не менее, автор включает эту печать в свое построение в качестве одного из оснований, называя безымянную фигуру Иоанном Предтечей (стр. 10). Второе звено (тоже основополагающее) связано со знаками сыновей Всеволода: «. . . есть основания думать, что этот святой — царь Константин; несмотря на плохое клише издания, на голове заметны остатки изображения венца». Рисунок в статье В. Л. Янина (рис. 5—3) не имеет ничего общего с иконографией Константина Великого. Все будет обстоять значительно яснее и проще, если оставить знак Золотых Ворот за Андреем Боголюбским, а знак на кивории в Боголюбове (аналогичный знаку на печати со св. Николаем) признать за знак его брата Всеволода. Тогда все о п р е д е л и т ь е знаки сыновей Всеволода (без сомнительного Константина) будут действительно усеченной формой отцовского знака. Печать со знаком Андрея и изображением Николай могла принадлежать одному из его сыновей, например Изяславу, крестное имя которого нам тоже неизвестно.

ее конкретизации обросла таким количеством допущений, что почти утратила вероятность²⁹.

Приведенный пример показывает, как трудно подчас бывает решать вопросы исторической интерпретации вещей с надписями и как много дискуссий и уточнений предстоит еще провести в будущем.

Привлечение сфрагистического материала, оказавшееся в данном примере опасным соблазном, иногда дает блестящие результаты. Так, например, тот же В. Л. Янин путем тонких наблюдений установил точную дату изготовления знаменитого новгородского сиона — время архиепископства Нифонта (1130—1156 гг.³⁰).


11. Список вещей, связанных с теми или иными историческими лицами, в настоящее время можно пополнить.

При раскопках в Пинске на территории княжеского дворца XI—XII вв. был обнаружен фрагмент корчаги с надписью [а]рополукъ вино³¹. Т. В. Равдина связывает эту надпись с князем Ярополком Изяславичем (убит в 1086 г.), владевшим Владимиром Волынским и временно Туровом; предполагается, что и Пинск мог входить в его княжество. Однако был еще один князь Ярополк, непосредственно связанный с Пинском, но живший на сто лет позже. Уточнение даты позволит решить возникшую дилемму.

Эпиграфическая дата надписи очень широка — XI—XII вв. — и не может служить основанием для проверки.

Археологическая датировка тоже расплывчата, но некоторые основания все же дает. Культурный слой Пинска делится на 16 го-

²⁹ Быть может, более действенным ключом к разгадке окажется миниатюра Радзивилловской летописи, изображающая итог первой Липицкой битвы 27 июня 1177 г. (лист 223, об.): Всеволод Большое Гнездо разбил войска своего племянника Мстислава Ростиславича; рядом с самим Всеволодом показан воин, демонстративно поднимающий одной рукой стяг с монограм-

мой  т. е. *Феодора*. Ни ко Всеволоду-Дмитрию, ни ко дню победы

(день Самсона-страноприимца) имя Феодора не имеет отношения. Если стяг с монограммой по замыслу художника изображал знамя побежденного Мстислава (о его «поверженных стягах» речь шла в летописи, в описании предшествующей битвы), то, значит, крестное имя Мстислава было Федор, и он может претендовать и на новгородские печати (он был новгородским князем) и на шлем с меньшим количеством натяжек, чем его дядя Мстислав Юрьевич, рано уехавший в Византию и там, вероятно, умерший. Если же стяг с именем Феодора принадлежал войску Всеволода, то имя Феодора можно толковать только символически, как имя одного из покровителей княжеского рода, а тогда открывается простор и для истолкования оставшихся двух изображений на шлеме.

³⁰ В. Л. Янин. Из истории русской художественной и политической жизни XII в. СА, 1957, 1, стр. 113—131.

³¹ Т. В. Равдина. Надпись на корчаге из Пинска. КСИИМК, вып. 70. М., 1957, стр. 150—153.

ризональных пластов; надпись найдена в десятом. Заметный по вещевым находкам рубеж домонгольской эпохи и эпохи татарского ига должен проходить где-то на уровне 8—9 пластов, т. е. в ы ш е интересующей нас находки ³².

В одном горизонте с надписью обнаружено большое количество фигурной майолики для своеобразной керамической мозаики, характерной для конца XII в. (во Владимире 1185—1189 гг., а в Суздале — 1194 г.). Тем самым время фрагмента с надписью определяется как конец XII в. Именно в это время и упоминается пинский князь Ярополк Георгиевич, справлявший свою свадьбу в Пинске в 1192 г.³³ Не ему ли и принадлежало «Ярополче вино», налитое в корчагу? ³⁴

Второй пример приурочения надписей можно привести из области граффити.

В алтарной части Софийского собора в Киеве обнаружена на древней штукатурке надпись всего из 10 букв: **помози марг...** (рис. 2). Однако, несмотря на ее фрагментарность, есть ряд данных, позволяющих датировать ее с точностью до года:

- а) надпись содержит обычную формулу . . . «Господи, помози». Марг . . . начало какого-то имени (Мартин, Мартемьян, Мартирий);
- б) над надписью есть погрудное изображение бородатого мужчины без нимба, но в епископском полиставрии, что определяет заказчика надписи как епископа;
- в) надпись вся выполнена великолепными заглавными буквами тератологического стиля XII—XIII вв.;
- г) просматривая все материалы о русских епископах XII—XIII вв., которые могли бы иметь отношение к торжественной записи в Софии Киевской, мы находим только одно имя — Мартирия Новгородского, ставленника боярской партии, приглашенного в Киев митрополитом «с великою честью» в 1192 г. и помещавшего впоследствии на своих печатях киевскую оранту.

³² Т. В. Равдина проводит этот рубеж между 6 и 5 пластами, но приведенная ею стратиграфическая таблица должна быть истолкована по-другому: шиферные пряслица, как показывает новгородская стратиграфия, продолжают бытовать после монгольского нашествия еще многие десятки лет, а корчаги киевского типа обрываются более резко на середине XIII в. По отношению к Пинску Т. В. Равдина провела рубеж ровно по горизонту последних находок пряслиц в 6 пласте, и он оказался оторванным от верхних, последних по времени находок корчаг 8 пласта (см. рис. 79 на стр. 151). Наиболее вероятным рубежом, отвечающим времени Батыя, является 9 пласт. Этому соответствуют и вещевые находки.

³³ ПСРЛ, т. II, стр. 141.

³⁴ Исторические соображения не позволяют признать хозяином вина Ярополка Изяславича, стольным городом которого был Владимир Волынский; лишь недолго в его владении был Туров, отошедший к его брату. При перечислении «всей его жизни», т. е. его домена, упоминаются земли на Волыни и под Киевом, очень далекие от Пинского Полесья. ПСРЛ, т. II, стр. 82.

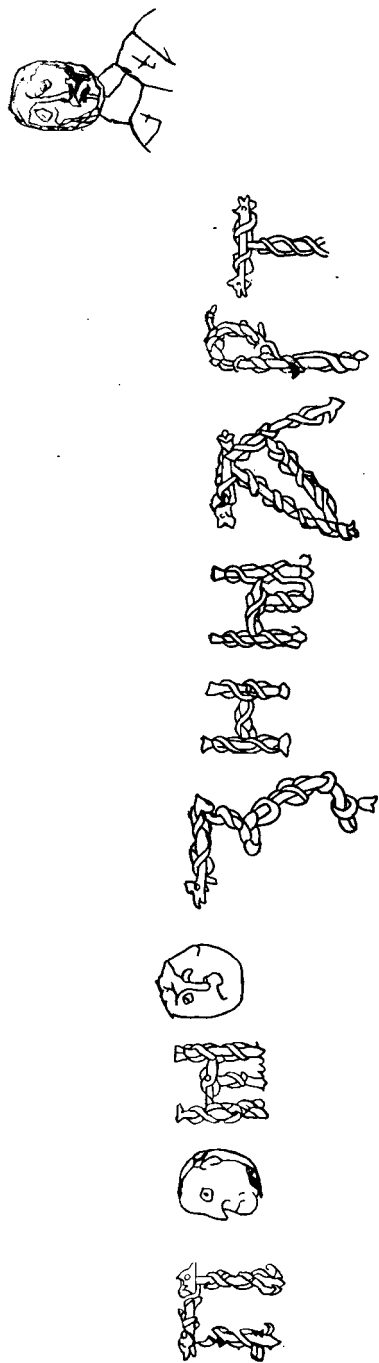


Рис. 2. Надпись с именем Мартирия из Киевского Софійского собора



Рис. 3. Панагия из коллекции Н. М. Постникова

Возможно, что одним из элементов «великой чести» было изготовление огромной полутораметровой надписи из инициалов в ризнице Софийского собора в честь новопоставленного архиепископа ³⁵.

Третий пример предположительного отнесения вещи к определенному историческому лицу нам дает анализ так называемой панагии из коллекции Н. М. Постникова, дважды опубликованной, но не комментировавшейся ³⁶ (рис. 3).

Подлежащие учету при датировке и атрибуции особенно самой вещи и аналогичных ей таковы:

- а) лицевая сторона украшена изображением античной Ники с венком победы в руках. Надпись называет ангела победы архистратигом Михаилом. Эпиграфически можно датировать ее XIII в.;

³⁵ Б. А. Рыбаков. Именные надписи XII ст. в Киевском Софийском соборе. Археология, т. I. Київ, 1947, стр. 56—61.

³⁶ А. И. Некрасов. Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937.

- б) дата рельефа с Никой, очевидно, очень близка ко времени нашествия Батые, так как чрезвычайно сходная костяная пластинка есть среди находок в Увеке, ставке Батые. Можно утверждать, что такая костяная пластинка (возможно, византийского происхождения) послужила основой для уникальной русской панагии;
- в) очень важно отметить, что сама панагия пережила татарское нашествие и бытовала в Северо-Восточной Руси в XIII—XIV вв., так как в коллекциях исторического музея в Москве есть механически полученная (путем оттирка в глине) отливка с нее, снабженная дополнительным орнаментом XIII—XIV вв.;
- г) обратная сторона панагии содержит менее изысканное, наспех сделанное изображение Иоанна Крестителя и отдельно его отрубленной головы. Особый интерес представляет надпись: *iw[an] копнеть г[агол]а: покантеса в[р]а[ть]а, оуже ко прикантиса ц[а]р[ст]во н[е]в[е]с[но]к. Писавший дважды ошибся, написав «В» вместо нужного «Б». Эпиграфическая дата надписи — первая половина XIII в. Аналогичный текст о приближении времени покаяния есть в летописи в связи с нашествием татар;*
- д) серебряная панагия (или гривна) с именем Иоанна могла принадлежать какому-то знатному лицу по имени Иван, возможно полководцу (лицевая сторона содержит надпись о «воеводе небесных сил архистратиге Михаиле», изображенном с нагрудным венком). Судя по надписи, гривна изготовлена тогда, когда уже знали о приближении каких-то «последних времен», очевидно, нашествия Батые;
- е) искать заказчика гривны можно только среди лиц, участвовавших в борьбе с татарами, но уцелевших после разгрома, так как гривна копировалась в XIII—XIV вв.

Если владельцем гривны был князь, то единственным лицом, удовлетворяющим всем требованиям, является князь Иван Стародубский (1198—1246), сын Всеволода Большое Гнездо, оставшийся в живых после боев с Батыем. Во время поездки его брата Ярослава в Каракорум к хану Иван заменил его в качестве великого князя. К нему было адресовано послание папы Иннокентия IV, написанное после Лионского собора 1245 г.

12. Не умножая примеров сложного и не всегда убедительного анализа вещей с надписями, проводимого ради выяснения их точного исторического места, можно привести общий список исторических лиц, с которыми достоверно или предположительно связаны те или иные надписи. Ограничим список только домонгольским временем ³⁷.

³⁷ Означеніе «Ор. № 1» указывает на «Библиографию» А. С. Орлова. Буква «В» — открытия С. А. Высоцкого. В этот список не включены печати и монеты.

- Князь Ярослав Мудрый. 1054 г.
 Князь Святослав Ярославич. 1076 г. (В).
 Князь Всеволод Ярославич. 1093 г. (В).
 Княгиня Олисава, жена Изяслава Ярославича. 1060-е годы (В).
 Князь Святополк Изяславич. 1093 г. (В).
 Князь Глеб Святославич. 1068 г. (Ор. № 1).
 Князь Олег Святославич. 1097 г. (В).
 Князь Владимир Всеволодович Мономах. 1078—1094 гг.
 (Ор. № 2); 1097 г. (В).
 Епископ Лука Белгородский. После 1089 г. (В).
 Епископ Никита Новгородский. 1108 г. (Ор. № 6).
 Епископ Даниил Юрьевский. 1114 г. (В).
 Боярин Ставр Гордятич. 1118 г.? (В).
 Боярь Борис Всеславич. До 1128 г. (Ор. № 68, 69, 70).
 Посадник Иванко Павлович. 1133 г. (Ор. № 15).
 Архиепископ Нифонт Новгородский. 1148 г. (Ор. № 16).
 Князь Владимир Давыдович. До 1151 г. (Ор. № 20).
 Князь Юрий Владимирович Долгорукий. 1150-е годы
 (Ор. № 43).
 Княжна Евфросиния. 1161 г. (Ор. № 18).
 Боярин Петрила Микульчич. 1130—1134 гг. (Ор. № 44).
 Князь Рогволод Борисович. 1171 г. (Ор. № 17).
 Игумен Варлаам Хутынский. 1192 г. (Ор. № 23).
 Князь Ярополк Георгиевич. 1192 г.
 Архиепископ Мартирий Новгородский. 1192 г.
 Архиепископ Антоний Новгородский. 1211 г. (Ор. № 80).
 Князь Ярослав Всеволодич. 1216 г. (Ор. № 81).
 Князь Святослав Всеволодич. 1234 г. (Ор. № 83).
 Князь Иван Всеволодич. 1238 г.?

Исследовательская работа над обширным эпиграфическим фондом несомненно позволит исправить и уточнить те приурочения надписей, которые существуют сейчас и, конечно, значительно расширить приведенный выше список.

13. Обрисовка исторической ценности эпиграфического материала сильно затруднена его одновременностью и многообразием. Приходится разбивать его на условные группы без строгой хронологической последовательности.

Надписи мастеров. Эпиграфические данные открывают нам доступ в такие уголки древнерусской жизни, которые никогда не освещались рукописной книжностью. Одним из них является мир ремесленников, мастеров золотых и серебряных дел, «плинфотворителей» — гончаров, токарей по камню, литейщиков, сапожников. Их надписи, сделанные нередко в процессе производства, свидетельствуют о широком распространении грамотности в среде городских «черных людей».

Литейная форма киевского мастера начала XIII в. помечена

именем **максимов**³⁸. Очевидно, этот предмет назывался в древней Руси в мужском роде (может быть, Максимов «колыбель»?).

Рязанский кирпичник вырезал на формовочной доске свое имя: **яковъ тв**³⁹. Очевидно — Яковъ тв(ориль)?

По поводу знаменитых Вщижских арок XII в. высказывались предположения об их иноземном, романском происхождении. Однако на обороте их есть русские надписи, сделанные самим мастером в процессе изготовления модели: **гн помози [р]а[боу] с[коє]м[оу] кост[антин]у**, что удостоверяет русское происхождение изделий и одновременно говорит о трудности их отливки⁴⁰.

Давно известные подписи двух новгородских мастеров середины XII в. Братилы-Флора и Константина, сделанные на днищах двух почти тождественных сосудов, наводят на мысль о преднамеренном воспроизведении образца, что постоянно наблюдалось в средние века во время цеховых испытаний на звание мастера, когда испытуемый готовил свой *chef d'oeuvre*⁴¹.

Из надписей на кресте Евфросиньи Георгиевны Полоцкой 1161 г. мы узнаем не только имя замечательного художника-ювелира — Лазаря Богши (Богуслава?), но и стоимость материала и работы: **а кованє его золото и серебро и каменьє и жыуюгъ къ р гривнъ а ла[женъ] м гривнъ**, т. е. весь материал стоил 100 гривен, а исключительная по тонкости работа оценивалась довольно высоко — в 40 гривен⁴².

Крест XIII—XIV вв. из Загорска имеет подпись мастера — владельца: **кртъ семеново з[латна]о[у]къ**⁴³. Семен, вероятно, и сам был причастен к ювелирному делу, судя по его прозвищу «Золотило».

Подписи трех мастеров есть на кованом медном ларце, хранящемся в Кракове. Ларец украшен гравированными изображениями разных святых и сценами из жития Кузьмы и Демьяна. Дата — XIV в.; место изготовления, возможно, Новгород. В палеографическом отношении интересно частое применение лигатур. На крышке ларца подписи: **гн помози самонло[ви] кузницю канскєви пис[цю] левонтьєви писцю**. Кузнец, художник-гравер и чеканщик надписей увенчали красивый ларец своими именами⁴⁴.

³⁸ М. К. Каргер. Древний Киев, т. 1. М.—Л., 1958, стр. 385.

³⁹ К. Л. Монгайт. Раскопки в Старой Рязани. КСИИМК, вып. XXXVIII, 1951, стр. 18.

⁴⁰ Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948, стр. 253—254.

⁴¹ Там же, стр. 295—300.

⁴² Л. В. Алексеев. Лазарь Богша — мастер-ювелир XII в. СА, 1947, № 3.

⁴³ Т. В. Николаева. Указ соч., стр. 110.

⁴⁴ П. Н. Жолтовский. Ларец мастера Самуила. СА, 1958, № 4, стр. 209—213.

К тому же времени, к XIV в., относится интересное надгробие кузнеца Саввы Тарасина, найденное на западной окраине Новгородской земли в с. Войнослоове.⁴⁵

Этот раздел можно закончить надписью мастера шиферных пряслиц, токаря по камню из Любеча. Трогательной интимностью веет от надписи на крошечном детском пряслице: **иванкъ създаль тее ю одна дщ[ерь]**, т. е. «Иванко сделал это тебе, единственная дочь». Пряслице стратиграфически датируется серединой или третьей четвертью XI в., когда на месте будущего княжеского замка Мономаха (1078—1096 гг.) существовали ремесленные мастерские.

Токарь по камню оставил здесь целый ряд предметов из розового овручского шифера — жернова, точильные камни, бруски, которые обычно делались из другого материала. Обилие овручского камня может быть, объяснено только тем, что мастер-камнерез, точивший шиферные пряслица, жил здесь, в самом Любече, работая на привозном материале. Мастер Иванко, отец единственной дочери, удостоверял это своей надписью на подарке, изготовленном им самим для дочери⁴⁶.

На денежных слитках-гривнах XII—XIV вв. часто встречается надписание имен, иногда с краткими пояснениями.

М. П. Сотникова, специально изучавшая эти слитки, пришла к выводу, что надписи делали мастера-литейщики, переливавшие в слитки чужое серебро. Имя заказчика, владельца серебра, и надписывалось.

Можно привести несколько примеров:

ПАКЕЛЪ	СЕМЕНА
оннсимо	паръфильевъ
ѡхрѣмъ шитковъ	итрка
настасья	юренинъ
неронова матч	родивонова
дедора	у мнанда взал

Всего на слитках новгородских, черниговских и литовских 104 надписи⁴⁷.

14. Надписи женщин, прявших пряжу. Две причины могли побудить древнерусских девушек (или тех, кто дарил им) старательно помечать метками, буквами и полными именами маленькие каменные пряслица для веретен.

⁴⁵ В. В. Седов. Войнословский крест. СА, 1962, 3, стр. 312.

⁴⁶ Б. А. Рыбаков. Раскопки в Любече в 1957 г. КСИИМК, вып. 79. М., 1960, стр. 32—33.

⁴⁷ М. П. Сотникова. Серебряные платёжные слитки Великого Новгорода (автореферат). Л., 1958, стр. 9—10.

Во-первых, на «беседах», на девичьих посиделках, когда прыденье прерывалось играми и песнями, веретена могли перепутаться. Некоторые старинные игры требовали, чтобы от каждой девушки на посиделках брался какой-то приметный предмет и когда вынимали «счастье» нужно было сразу опознать его; прыслица с тамгой или надписью были особенно удобны для этой цели.

Во-вторых, по тем же этнографическим данным хорошо известно, что прялки и веретена являлись у славян предсвадебным подарком жениха невесте; с этим связана богатая символика орнамента на донцах прялок. В этом случае мы вправе ожидать, что надпись на прыслице сделана дарителем. К первой группе относится ряд надписей, возглавленных болгарской надписью **ЛОАНИ ПРАСЛЕНЪ** из Преслава⁴⁸. Болгарская надпись, во-первых, дала нам точное наименование самого предмета «прыслень», а во-вторых, позволила исправить неверное чтение на одной русской находке: в Киеве в составе богатого княжескогоклада XII—XIII вв. было найдено несколько прыслиц, надпись на одном из них читалась так:

тврн нѣ прамо [а] послень,

хотя это чтение и не давало смысла. Преславская находка помогла прочесть надпись так:

потврннѣ прасльнь.

Имя Потвора может быть объяснено как «чародейка», «волшебница», может быть, это было только прозвище⁴⁹.

На прыслицах (правильнее было бы — на прысленях) мы встречаем разные имена (Ульяна, Зоя, Ромада? и др.).

Одна надпись была сделана грамотной внучкой, чтобы отличить прыслице от других: **БАВННО ПРАСЛЬНЕ**⁵⁰

На одном прыслице из Любеча написаны почерком XI в. первые девять букв русской азбуки, возможно, это было связано с какими-либо играми или гаданьями вроде новогодних гаданий об имени жениха.

Вторая группа прыслиц-подарков тоже может быть начата болгарской находкой надписи **прнни**, где имя Ирины стоит в дательном падеже. Затем можно назвать прыслице из Любеча: **стпнанді**; другое любечское прыслице прямо указывает на подарок мужчины — **от нежнловца**. Другие надписи (**молоднло**, **марътына**, **нікола**) содержат мужские имена. Прыслице из Вышгорода с надписью **некестоуъ** было, очевидно, подарком невесте⁵¹.

⁴⁸ К. Миятев. Эпиграфические материалы из Преслава. *Byzantinoslavica*, t. III. Praha, 1931.

⁴⁹ Б. А. Рыбаков. Овручские прыслица. Доклады и сообщения исторического факультета МГУ. М., 1946, стр. 28.

⁵⁰ Л. В. Алексеев. Три прыслица с надписями из Белоруссии. *КСИИМК*, вып. 57. М., 1955, стр. 130. Прыслице из Витебского музея.

⁵¹ Известен еще ряд разных надписей, но не все они еще расшифрованы.

Надписи на пряслицах свидетельствуют о грамотности разных слоев городского населения, дают нам новые древнерусские имена и интересные для диалектологов особенности написания: отсутствия «Ѣ» в слове «невесточъ», написание «Стипанида» через «и», замена «ъ» на «о» и наоборот, чтение «ъ» как «е».

15. Надписи на амфорах-корчагах. На двуручных корчагах X—XIII вв. для вина и масла мы встречаем множество меток, знаков, отдельных букв и надписей. Это объясняется тем, что амфоры-корчаги были торговой тарой.

Древнейшая русская надпись X в. — **гору хца** — обнаружена именно на такой корчаге, положенной в погребальный курган⁵².

В надписях мы видим иногда имена (например, **олькъси**), иногда обозначения количества (**золотник... зде**)⁵³, иногда пожелания полноты сосуду (**благодат] неша плана корчага си**)⁵⁴.

Находка в Пинске среди развалин дворца фрагмента корчаги с надписью **[п]рополуе вино** позволила связать дворец с князем Ярополком Георгиевичем, свадьба которого состоялась в Пинске весною 1192 г.

В Старой Рязани обнаружена надпись на корчаге XII в.: **новое вино добрило послааъ княз[ю] богоуника**. По всей вероятности «добрило» — сорт вина.

16. Надписи на серебряной утвари. Те немногие образцы роскошной пиршественной посуды, которые дошли до нас в целом виде, всегда снабжены теми или иными надписями.

Надписи иногда отмечают владельца вещи, как это было с чарой Владимира Давыдовича, на которой эпиграфическим уставом сделана круговая заздравная надпись.

На великолепной чаре восточной работы из княжеского дворца в Чернигове есть малозаметная надпись **наумъ**; она едва ли обозначает владельца, а скорее купца, привезшего или подарившего эту драгоценность князю.

На серебряной чаре XII в. из Киева есть две глухих владельческих надписи: зачеркнутая — **къ княжа** и надписанная сверху **спас[о]ва**. Можно думать, что эта романская вещь была сначала в княжеском владении (очевидно, в роду Всеволода Ярославича), а затем оказалась в церкви Спаса на Берестове⁵⁵.

Наибольший интерес представляет надпись на поддоне серебряной братины восточной работы: **въ полъуе тьрьтадесате**

⁵² Д. А. Авдусин и М. Н. Тихомиров. Указ. соч.

⁵³ Материалы Черниговского музея. Ф. Д. Гуревич. Об околном городе летописного Новгородка X—XIII вв. СА, 1962, 2, стр. 243.

⁵⁴ Б. А. Рыбаков. Надпись Киевского гончара XI в. КСИИМК, вып. XII, 1946, стр. 134—138.

⁵⁵ Г. Ф. Корзухина построила такую цепь догадок по поводу чаши:

гривнѣ. «Тридцать пять гривен» не могут быть обозначением веса серебра, так как вес чаши (около 980 г) немногим более 6 гривен серебра. Очевидно, надпись имела в виду стоимость богато украшенной братины, как художественного произведения.

Татищев сохранил нам интересную запись о выкупе князя Ростислава Володаревича в 1122 г. из польского плена за 800 гривен серебра, взамен которых было послано «50 сосудов великих серебряных дивной греческой и венгерской работы»⁵⁶. В среднем эти сосуды ценились по 16 гривен; наша чаша, быть может, несколько более поздняя, стоила вдвое больше.

17. Надписи с цифровыми расчетами. В этот раздел можно было бы включить и запись о стоимости креста Евфросины Полоцкой (100 гривен материал и 40 гривен работа) и надпись на восточной чаше о ее стоимости в 35 гривен, но они уже рассмотрены выше в другой связи.

Интересные бухгалтерские записи середины X в. дали раскопки в Тмутаракани.

В одном из домов близ центральной городской площади был найден кувшин для нефти, использованный для записей. Записи велись по разграфленной сетке; вертикальная линия в левой части отделяла графу для обозначения лиц (на первом месте **кат**, может быть, **катѣпанъ**?), помеченных в большинстве случаев тамгами, известными и на керамической таре. Далее, вслед за тамгой каждая горизонтальная строчка содержала самые разнообразные цифры в разном порядке. Цифры то уменьшались, то возрастали без всякой системы, колеблясь от 50 до 286; они всегда округлены до десятка. По всей вероятности, это многократные записи или о долгах жителей Таматархи или о количестве каких-то однородных товаров.

Стратиграфическая дата совпадает с палеографической, установленной по греческим средневековым рукописям. В Тмутаракани в слоях X в. есть русские надписи (например, **бат...**), но применительно к этой бухгалтерии на кувшине трудно сказать, является ли она русской или греческой, так как цифровые системы одинаковы. Фрагменты кувшинов с такими записями по графам есть и в Белой Веже — Саркеле.

1. Чаша попала из Южной Италии в Венгрию.
2. Евфимия Владимировна в 1112 г. привезла ее в Киев.
3. В 1139 г. Евфимия завещала чашу церкви Спаса на Берестове.
4. В 1169 г. чашу украли из монастыря.
5. До 1240 г. чаша вместе с серебряными украшениями была зарыта как клад. (Г. Ф. Корзухина. Серебряная чаша из Киева с надписями XII в. СА, XV. М., 1951).

Едва ли следует серьезно относиться к подобным построениям. Можно лишь заметить, что фигура Евфимии здесь совершенно не при чем — ведь надпись говорит о том, что чаша «княжа», а не княгинина.

⁵⁶ В. Н. Татищев. История Российская, т. II. М., 1773, стр. 226.

Рабочие цифровые пометки делались кровельщиками, обивавшими позолоченной медью купол Успенского собора во Владимире. Медные листы, очевидно, пригонялись друг к другу на модели купола внизу, на земле и заранее были аккуратно размечены цифрами и стрелками, определявшими порядок направления листов. Например, *у* и *к* [52]. В. Н. Щенкин датировал буквы 1160-ми годами, а это означает, что они относятся к постройке Андрея Боголюбского 1158—1160 гг.

18. Эпиграфические данные о феодальной титулатуре. В различных надписях XI—XIII вв. выступают разные слои русского общества. В церковных граффити светские люди (даже князья) называют себя «рабами божьими», а духовенство никогда не применяло этой формулы, ограничиваясь саном: чернец, поп, епископ.

Светская терминология представлена в эпиграфике такими словами, как «емец», «воин», а в сфрагистике — «тиун», «протопроедр» (советник). Но наибольший интерес представляют такие высокие титулы, как «великий князь», «каган», «цесарь» (или «царь»).

М. Д. Приселков, занимавшийся титулатурой, высказал такую мысль: «До 1186 г. ... ни один еще русский князь (подразумевается — кроме Киевского) не носил титула великого князя со времени установления на Руси в 1037 г. императорской власти»⁵⁷.

Первый тезис о времени возникновения великокняжеской власти вне Киева ни у кого из историков не вызвал возражений, но он, как увидим, решительно опровергается эпиграфическими данными.

Второй тезис об установлении в Киевской Руси императорской власти, наоборот, не был принят нашей исторической наукой, а эпиграфика блестяще подтверждает плодотворную гипотезу Приселкова. Надпись на заздравной чаре черниговского князя Владимира Давыдовича (1140—1151) называет его «великим князем» и «господарем». Значит, мнение Приселкова о том, что первым великим князем был Всеволод Большое Гнездо, должно быть отброшено.

Подтверждение же другой мысли этого ученого нашлось на стенах Софийского собора в Киеве: *въ ѡѡѡѡ мѣдѣ фѣѣрлрл кѣ жсѣпнѣкѣ црѣ нашго въ въскрсѣснѣ* в (неделю мученика) *дѣвѣдѣ* (рис. 4). В ночь с субботы на воскресенье 20 февраля 6562—1054 г. скончался в Вышгороде великий князь Киевский Ярослав Мудрый⁵⁸.

⁵⁷ М. Д. Приселков. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, стр. 81.

⁵⁸ Б. А. Рыбаков. Запись о смерти Ярослава Мудрого. СА, 1959, № 4, стр. 245—249. Надпись была открыта С. А. Высоцким, публикация которого помещена в этом же номере журнала, стр. 243—244.

—
 В
 — — —
 ВЪ СФЪЪ МА
 7 10 11 А ФЪ ВРЪР
 —
 ВЪ ЖЕ ЗПЪ И
 10 11 12 13 14 15
 Г Д ВЪ ВЪ
 16 17 18 19 20 21
 В Е Д Т
 —
 Т Е О Д Р А
 —————
 —————

Рис. 4. Запись о смерти Ярослава Мудрого 20 февраля 1054 г. в воскресенье

Ни к кому другому, кроме Ярослава, эта безымянная эпитафия относиться не могла, так как византийский «цесарь» Константин Мономах умер 11 января 1054 г., а 20 февраля в летописи указано как день смерти Ярослава.

Запись об «успении царя нашего» объясняет нам ряд летописных обращений к великим князьям Киевским как к царям (1149 г., 1151 г., 1199 г.).

М. Д. Приселков был прав — Ярослав, ставший после смерти брата Мстислава «самовластцем во всей Русской земле», принял императорский титул, выражавшийся словами «царь» или «цесарь».

Византийский титул пришел на смену восточному наименованию великих князей Киевских «каганами». В том же Софийском соборе на одном из столбов северной галереи была надпись **спасн гн кагана нашего С...**⁵⁹.

Заглавная буква С, стоящая в конце сохранившейся части надписи, может указывать на Святослава Ярославича или Святотополка Изяславича; более вероятно первое допущение.

19. Тайнопись новгородских стригольников. После серьезных исследований М. Н. Сперанского, выяснившего различные системы тайнописи, оставался нерасшифрованным один из интереснейших эпиграфических памятников Новгорода — Людогощинский крест 1359 г. Характер изображений и текст надписи позволяют связывать его с движением стригольников, для которых 1359 г. был годом облегчения, так как тогда ушел на покой их гонитель архиепископ Моисей. Надпись призывает божье благоволение на всех христиан «на всяком месте молящая тебе верою чистым сердцем...» (рис. 5).

Тезис о «чистых сердцем», имеющих право обращаться к богу не в церкви, не через посредников, а «на распутьях градных», «на всяком месте», был тезисом чисто стригольническим. Изображения святых, обращавшихся непосредственно к небу, к богу (Илья в пустыне, Герасим в пустыне, Самсон, Симеон Столпник), или борющихся с драконом Зла, на кресте 1359 г. дополняют еретический смысл надписи.

Имя мастера, резавшего этот великолепный крест зашифровано тайнописью, которую в настоящее время, когда крест очищен от наслоений красок, можно раскрыть:

«...и мнѣ написавшем[у]
ф[у]иимлаасс · ррлксс · т[сг]вввм
ррмлаасс+...»

⁵⁹ Надпись зарисована пишущим эти строки в 1935 г.

ВЛЪ 2 Ѡ 3 3 ННДН ВІ.
 ПОС ТАВАЕ НЪ БЫ КРЪТЪСН
 ГНІСХЕ ПОМНАУНЕСА ХРЪТЪ ГИНЫ.
 НАВСАКОМЪ МЪ С ТЪ МОЛА ЦАСАТЪ БЪ
 ВЪ РОЮ УТЪ МЪ С РДЦЕМЪ Н РАБОМЪ БЪ Ч
 НМЪ ПО МЪ ЗН ПОСТАВЕНВШНМЪ КРЪТЪСН
 ЛЮДОГОЩНУАМЪ НМНЪ НА ПИ С А В Ш Е М У
 Ф У П М А А С С Р Р А К С Т Е В В З М А Р Р М А
 А С С + - ' Р А : :

Рис. 5. Надпись на Людогощинском кресте 1359 г.

Буквы записи, как и в современных им рукописях XIV в., зашифрованы по принципу деления надвое их цифрового значения: так, для того чтобы зашифровать букву «д», писец раскладывал ее числовое значение — 4 — на два слагаемых — 2 + 2 и получал буквенное выражение «кк». Для того чтобы прочитывать эти парные сочетания достаточно сложить их числовое значение и написать букву, выражающую значение суммы: $\phi + \gamma = 500 + 400 = \text{а}$

Пользуясь этой системой, мы можем определить имя своеобразного художника, резчика по дереву, связанного, очевидно, со стригольнической общиной Людогощей улицы: ... н мне написавшему якову · снѹ · федосову +. Людогощин Яков Федосов — новое имя в списке русских скульпторов, ставшее нам известным благодаря эпиграфике.

20. Церковные граффити заклинательного характера. Несмотря на то, что по древнему закону вырезание надписей на церковных стенах приравнивалось к чародейству, выкапыванию мертвецов и языческим молениям, все стены древнерусских церквей Киева, Новгорода, Смоленска, Пскова и других городов покрыты широким поясом записей XI—XIV в., а поверх них и более поздних.

Писали все — от простого горожанина до князя, и от бойкого церковного певчего до митрополита. Церковное начальство уже в XI—XII вв. вынуждено было зачеркивать слишком игривые

или прямо нецензурные записи богомольцев и клира (например, в жертвеннике Софийского собора в Киеве).

Единственной категорией надписей, содержание которых было прямо связано с церковью, как священным местом, являются граффити, начинающиеся с установившейся формулы: «Господи, помози рабу своему!». Тысячи таких надписей представляют большой интерес, несмотря на их однотипность. Они дают нам славянские имена, особенности диалектов, бытовое применение глаголицы.

Среди небольшого количества новгородских граффити, опубликованных В. Н. Щепкиным, можно насчитать ряд новых, неизвестных дотоле имен: **кРОВАГЪ**, **ДАДАТА**, **ДОВРОЖИТЪ**, **МЪТКШНР**, **НЪАДКО?**. **АСНГЪ** и др.

А. Н. Вершинский в своей рукописи упоминает новгородские надписи, сделанные по особому поводу: «... в беде писал» «Господи помози рабу своему оклеветанному».

К разделу заклинательных надписей относятся и такие роскошные тщательно нарисованные произведения, как полутораметровая надпись [гн] **помози март[иринѣ архуепископоу]**, снабженная портретом архиепископа Мартирия Рушанина и подписью автора: **наконъ ѡлѣ урнѣць**. Вероятно, кому-то из очень видных лиц XI в. принадлежит столь же большая надпись на внешней стене Выдубицкого собора 1089 г.: [гн по] **милун ма грѣшнаго рава своего стефана [грешнѣ]шаго пауѣ всѣх [ъ у]блѣнѣкъ словѣмъ (на?) и дѣ[ло]мъ и помъшлѣ[ннѣмъ]**.

Длина надписи около 176 см, и помещена она на высоте 230 см от уровня земли XI в. близ северного портала. Имя Стефана заставляет вспомнить об известном церковном деятеле епископе Стефане, бывшего игуменом Печерского монастыря и строителем церкви на Кievo в Кieve. Став епископом Владимиро-Волинским, он при князе Всеволоде в 1091 г. принимал активное участие в киевских делах. Настаивать, однако, на этом сближении нельзя.

21. Бытовые надписи граффити. Один из самых интересных разделов массового материала церковных граффити — это надписи бытового характера, многообразные и острые, как говор толпы.

Здесь и восклицания по поводу плохого настроения: **оухъ тырѣкно дѣи грѣшнѣ**. **аснѣкъ пѣлѣ**, и смешное прозвище (**кузьма пороса**), выцарапанное тонкой иглой в самом алтаре собора под полочкой для дарохранительницы.

Здесь может встретиться даже эниграмма:

**акнме стол оускне
а рѣта и о каменѣ не ростепе.**

А иногда — запись путешественника, который, несмотря на свое военное положение, щеголял знанием глаголицы: ...

Иногда на церковных стенах решались космогонические споры, отрывки которых можно разглядеть, к сожалению, с трудом: ... ле въскъ нбѣ ... и(?) ра(?)звѣдръ ... д здд(?) ... потрѣсоша облаци реуе въ то сътворн. В этой новгородской надписи XII в. речь идет, очевидно, о том, кто управляет небом, кто может его «разведрить» (т. е. прояснить), кто может потрясти облака — бес или бог? Ответ, разумеется, дан: «въ то сътворн»⁶⁰.

Эти рассуждения вполне в духе тех дискуссий церковников с язычниками о бже Саваофе и «бесе» Роде и том, кто из них является творцом мира и жизни, которые велись в XII в. (см. «Слово Исаяи» и «Слово о вдуновении духа»). Иногда в записях киевских монахов-печерников, живущих в вырытых ими в береговом лёссе пещерах-кельях, сквозят пессимистические ноты. На стенах такой пещеры, открытой в 1853 г. и принадлежавшей «Ивану Печернику», отрывочно сохранилась надпись XII в.: ... в нѣсъка[хъ] ... претерыгѣ[хъ] бо... ла скѣтъць зъ (т. е. 7?) ... ца бѣ дѣла... зъльхъ...⁶¹.

Несмотря на фрагментарность подписи, читателю ясно, что Иван Печерник, который претерпел «бога деля», в «песках» много злых напастей, цифра 7 после упоминания светца, быть может, говорит о том, что какой-то обвал песков оставил его без освещения на семь дней? В Зверинецких пещерах близ Выдубицкого монастыря есть ряд интересных записей, процарапанных на лёссе и между ними — список игуменов Зверинецкого монастыря, написанный в XII в.: [нгү]мєнн звєриньнсьцн лєвоньтъа, ма[р]къана мнхана[а], минны, кнлмєньтъа, мануїла.

При полном отсутствии сведений о Зверинецком монастыре этот помянник (если он достоверен) интересен тем, что сообщает нам имена шести игуменов, а это косвенно может указывать на древность монастыря, возникшего, вероятно, в середине XII в.

Целым музеем древнерусской эпиграфики XI—XII вв. является кафедральный собор столицы Киевской Руси — Софийский. Мраморный саркофаг Ярослава Мудрого представляет собой своеобразную «книгу посетителей» собора; на его плитах расписывались многие сотни людей: от киевлян XI в. до поляков XVII в.

Надписи есть в нефах, галереях, на хорах и даже в алтаре.

⁶⁰ В. Н. Щепкин. Указ. соч., табл. VII, № 35, стр. 32. Предложенное здесь чтение отличается от того, которое дал Щепкин.

⁶¹ И. Срезневский. Пещера Ивана Грешного и Феофила. Известия Археологического общества, т. II. СПб, 1861, вып. 1, табл. II, рис. 2.

Особенной живостью отличаются граффити в жертвеннике. Здесь во время богослужения толпились служки, певчие и это наложило свой отпечаток на характер надписей. Именно здесь пришлось поработать церковной цензуре XI—XII вв., зачеркивая частыми птрихами все то, «что неподобно в церкви подееть».

В надписях здесь мы видим то просто подражание смеху: «хо — хо...», то смех целенаправленный:

Хо — Хо — Хо
крькляшанннннхъ святн
богородннн.

Междометие «хо — хо» и удвоение гласных, как бы имитирующее растягивание гласных при пении, явно указывают на такой случай, когда в Софийском соборе цели клирошане «Святой богородицы», т. е. Десятинной церкви, а местные софийские клирошане чертили на стене насмешливые надписи по их адресу.

Несколько раз здесь встречена надпись: *да козоу мою*. Ее можно в этих условиях истолковать только в переносном смысле; очевидно, речь шла о пюпитре для нот. «Коза» — пюпитр навела какого-то клирошанина на очень вольные мысли, и он тут же, в алтаре, написал совершеннейшую непристойность о козе и о бесе, но не успел ее закончить⁶².

Эти фольклорные мотивы представляют большой интерес для науки.

22. Граффити летописного характера. Новый этап в изучении надписей Софийского собора в Киеве наступил тогда, когда ими специально занялся сотрудник Софийского музея С. А. Высоцкий. Ему удалось отыскать целую серию исключительных по своему значению надписей, представляющих собой нечто вроде летописи от середины XI до начала XII в. Еще не все участки стен собора систематически исследованы, не везде сохранилась древняя штукатурка, и поэтому мы не можем представить себе всего объема этой летописи.

Надписи писались крупно, четко, на большой высоте и, разумеется, не только с разрешения церковных властей, но, может быть, и по их инициативе⁶³.

⁶² Б. А. Рыбаков. Уменні напси XII ст. в Київському Софійському соборі. Археологія, т. 1. Київ, 1947, стр. 54—55.

⁶³ Эпиграфическую летопись допускал еще А. А. Шахматов, предполагавший, что в Печерском монастыре мог составляться княжеский синодик, основанный на надписях на надгробиях. См. А. Н. Насонов. Начальные этапы киевского летописания (Проблемы источниковедения, т. VII, М., 1959, стр. 437). А. Н. Вершинский в своей рукописи приводит пример летописных записей-граффити в Софийском соборе Нов-

Летопись была начата еще при Ярославе Мудром, очевидно, вскоре после росписи собора:

1052 г. 3 марта. Текст самой надписи отрывочен и неясен.

1054 г. 20 февраля. Запись о смерти Ярослава Мудрого («об успении царя нашего...»).

После 1076 г. (март 1077 г.?) Запись о том, что «Д ЛЕТА КЪНАЖИТЬ СКАТОСЛАВЪ»⁶⁴.

1093 г. С. А. Высоцким обнаружена неопубликованная еще надпись, которая истолковывается им как запись о погребении Всеволода Ярославича. К этому же году он относит надпись «ПРИДЕ КНЯЗЬ СТОПЪЛЪКЪ», которая может относиться к приходу Святополка Изяславича из своего Турова на великое княжение в Киев 24 апреля 1093 г.

1089—1113 гг. «МЦА АВГЪГОУСТА КЪ КЪ ПРЕСТАВНСА РАВЪ БЖИИ ЛВКА ЕП[И]С[КО]ПЪ БА[Д]ЖЕНЪИ БЕЛОГОРОДЪСКИИ».⁶⁵ Епископ Лука последний раз упоминается в летописи под 1089 г. Епископ Никита II был поставлен в 1113 г., но нам неизвестно, когда Лука умер и кого сменил Никита.

1104 г. МЦА ДЕКЕМБРА КЪ Д СЪТВОРИША МИРЪ НА ЖЕЛАНИ СКАТОПЪЛЪКЪ ВОЛОДНИМРЪ И ОЛЫГЪ.

Ни одна из летописей не сообщает нам о таком мире.

С. А. Высоцкий отнес предположительно эту запись к 1097 г.⁶⁶ Указанные три князя могли заключать мир на протяжении 20 лет от 1093 до года смерти Святополка в 1113 г.

Для установления вероятной даты разберем летописные сведения год за годом.

1093 г. Святополк стоял на Желяни, но не в декабре, а 23 июля, и воевал, а не мирился. 1094 г. Олег нападает на Владимира и мир невыносим. 1095 г. «Бысть межи ими (троими князьями надписи) ненависть».

1096 г. Олег с сентября по великий пост 1097 г. воюет в Суздальщине с сыновьями Владимира. 1097 г. После ослепления Василька Святополку пришлось заключать мир с коалицией

города. Летопись под 1313 г. сообщает о том, что «иде Волхов река назад три дня». Среди граффити Новгородского Софийского собора проф. И. А. Шляпкину удалось найти надпись, которая сообщала о том же самом.

⁶⁴ Князь Святослав Ярославич вокняжился в Киеве еще при жизни старшего брата Изяслава: «А Святослав седе в Киеве, прогнав брата своего, преступив заповедь отню, паче же божью». Это произошло 22 марта 6581 г. (1073). Умер Святослав 27 декабря 6584 г. (1076). Таким образом, княжил он неполных 4 года (без 86 дней).

⁶⁵ С. А. Высоцкий. Древнерусские граффити Софии Киевской. Нумизматика и эпиграфика, т. III. М., 1962.

⁶⁶ С. А. Высоцкий. Надписи Софии Киевской... История СССР, 1960, № 6, стр. 144.

князей, но, во-первых, в ее составе был и Давид Святославич, не упомянутый в граффито, а, во-вторых, мир был заключен в Городце, в совершенно противоположной стороне от Киева, чем Желянь. Под 1098 г. повторено описание этого же мира. 1099 г. Сведений нет о князьях. 1100 г. съезд в Витичеве (Уветичах), где также участвует Давид Черниговский. 1101 г. Снова объединение четырех князей. 1102 г. Конфликт Святополка с Владимиром из-за новгородского стола. 1103 г. В марте состоялся Долотский съезд князей перед походом на половцев. Олег не был на съезде и «не восхоте» участвовать в походе.

1104 г. На протяжении этой летописной статьи упомянуто восемь точных дат в строгой хронологической последовательности; в том числе три события в декабре (6-го, 13-го, 18-го), но о съезде князей не говорится. Совместные действия Святополка, Владимира и Олега относятся к концу года, т. е. к февралю 1105 г. Раздел летописи с таким обилием дат внутри года можно связывать с первоначальным текстом «Повести временных лет» Нестора 1113 г. 1105 г. Описаны только церковные дела. 1106 г. О съезде князей не говорится.

1107 г. 12 августа все трое князей со своими вассалами разбили Боняка и Шарукана под Лубнами. Давид Святославич на этот раз не упомянут.

1108 г. и 1109 г. Нет сведений о князьях.

1110 г. В походе на Воинь не упомянут Олег.

1111 г. В шаруканском походе не участвовал Олег.

1112 г. Нет сведений о князьях. 1113 г. В начале года умер Святополк.

Как видим, союзнические отношения Святополка, Владимира и Олега оговариваются промежутком времени 1104—1107 гг. После отказа Олега от союза весной 1103 г. и до совместных действий всех трех князей зимой 1104—1105 гг. (6612 ... сего же лета исходяща...) должно было состояться примирение всех троих.

Наиболее вероятно, что мир на Желяни 3 декабря был заключен в 1104 г. непосредственно перед совместным походом на Минск. Желянь находилась как раз на западной окраине Киева, где в настоящее время начинается Брестское шоссе, ведущее в те самые земли, где войска Святополка, Владимира и Олега воевали зимой 1104—1105 гг.

Запись в Софийском соборе не была использована печерским летописцем Нестором, и в его летопись не попала, равно как и детальные записи этих лет, сделанные Нестором, на стенах собора не обнаружены.

23. **Граффити-автографы.** Проблема автографов известных исторических лиц впервые была поставлена в нашей эпиграфике на примере богатой коллекции граффити Софийского собора в Киеве в 1947 г.

Тогда автором этих строк было сделано предположение, что крупные, четкие надписи в самом алтаре собора близ престола принадлежат весьма значительным лицам.

Две соседние надписи с именем Василия (русская) и Никифора (греческая) были истолкованы как надписи Владимира-Василия Мономаха и его современника митрополита Никифора-грека⁶⁷. Надпись с именем Василия (рис. 6) состоит из двух частей, представляющих связный текст, но написанных разными руками и с разной орфографией:

I гн помози ра
боу свѣтому
василквн
II грецинкоу помози кмѹ гн.

Первая часть написана более старательно, весь текст как бы вписывается в четкий прямоугольник, она выполнена рукою писца-профессионала⁶⁸.

Вторая часть начинается с определения Василия как грешника и написана менее убористым, менее красивым почерком. В слове «помози» второй писец вставил омегу, слово «кмѹ» написал с йотованным «е» и дифтонг «оу» упростил до одного «у», проявив этим иные орфографические навыки, чем у писавшего первую часть. Эту вторую, самоуничижительную, часть алтарной надписи можно, разумеется предположительно, считать автографом Владимира-Василия Мономаха, подчиненные которого не решались дополнить стандартную формулу признанием грешности киевского цесаря.

⁶⁷ Б. А. Рыбаков. Именні написи. . . стр. 62—64. На руси в XII в. было, однако, два одинаковых сочетания князя с крестным именем Василия и Митрополита Никифора: Мономах и Никифор I, и Рюрик Ростиславич и Никифор II — в конце XII в. Вопрос решается в пользу первой пары как эпиграфически, так и сфрагистически. Н. П. Лихачев относит к Мономаху печати с той же самой формулой «Господи помози рабу своему Василию князю русскому». Эта же формула есть и на черниговском змеевике, эпиграфически очень близком к софийской надписи.

⁶⁸ В ряде случаев у нас есть доказательство того, что некоторые надписи делались по поручению заказчика другими лицами. Такова рисованная запись от имени архиепископа Мартирия, рядом с которой есть и подпись писца.

Под крупной надписью на княжеских хорах: гн помози рабу своему коледициву на мѣнѣга мѣта и пр. . ., которую тоже предположительно можно связать с Мономахом, есть подпись: иванъ Члѣ.

Такому писцу могла принадлежать первая часть записи о Василии в алтаре собора.

ГН ПОМОЗН РА
 БОУ СВШ ЕМОУ
 ВАСН ЛКВН
 ГРА ШН НКОУ ПОМШЗН К
 М У ГН

Рис. 6. Надпись с именем Василия из Киевского Софийского собора. Возможно автограф Владимира Мономаха

Бесспорным автографом является интереснейшая надпись, тоже найденная на хорах (в их женской половине) С. А. Высоцкий:

ГН ПОМОЗН РАВѢ СВОЕИ
 ОЛІСАВѢ С[Е]АГОПОЛЧЪИ МА[Т]ЕРИ
 РУСЬСКИ КНЯГИНИ
 А АЗЪ ТО ПСАЪ СЫНЪ І СУЦИ

Рядом есть надпись:

ГН ПОМОЗН РАВУ СВОЕМУ МИХАНУ,

написанная тем же почерком, но более наклонно, что объясняется местоположением надписи на столбе. С. А. Высоцкий правильно связывает надписи со Святополком Изяславичем. Святополк-Михаил был сыном великого князя Изяслава Ярославича; родился в 1050 г. и в 1069 г. впервые получил в княжеский удел Полоцк. Пожелание добра «Святополчъей матери» выражено так своеобразно, вероятно, потому, что князь Изяслав был женат не единожды, и Святополк хотел точнее определить Олисаву не только как «русскую княгиню», но как свою мать, а себя обозначил как «сын и сущи», т. е. настоящий, родной, а не пасынок.

Обе надписи сделаны, вероятно, тогда, когда Святополк не только еще не был князем, но еще ходил с матерью в церковь на женскую половину хор. Датировать их надо, по всей вероятности, началом 1060-х годов, когда княжичу Святополку было лет 10—12⁶⁹.

⁶⁹ Святополк всегда славился своей книжностью: «Сей великий князь (имел) зренье острое, читатель был книг и вельми цыятеп, за

В первой надписи особенно ощущается неустойчивость и невыработанность почерка, неверное применение титла и чисто детское выпячивание слова «сын», превратившегося почти в подпись.

Самым интересным удостоверенным автографом является запись Ставра Гордятинича:⁷⁰

ГН ПОМОЗН РАВУ СВОЕМУ СТАВЪРОВН
НЕДОСТОННОМ[У] РАВУ ТВ[ОЕМУ].

Имя писавшего сразу воскрешает в памяти летописного боярина Ставра, новгородского сотского, которого Владимир Мономах вызвал в Киев в 1118 г. и посадил в погреб вместе с другими новгородскими боярами. Этого летописного Ставра обычно сопоставляют с былинным героем Ставром Гоудиновичем (Гординовичем), богатым боярином из Новгорода или из «Ляховицкой земли», который был, согласно былине, тоже посажен в погреб, но потом вызволен своею молодой женой.

Относить софийское граффито именно к этому боярину Ставру было бы слишком мало оснований, если бы рядом не было второй надписи, удостоверяющей первую:

Щль ставръь гордяти[н]ичъ.

Эта надпись сделана другим почерком, резко отличным от уверенного и выработанного почерка самого Ставра. Писал ее киевлянин, а не новгородец, так как нет типичного новгородского цоканья. Он разъяснил своим современникам, какой именно Ставр сделал соседнюю запись, добавляя его отчество—Ставр Гордятичь (или, может быть Гордятинич)⁷¹.

Автографом Ставра Гордятича можно считать только первую надпись.

Боярин Гордята жил в старой аристократической части города. Его двор, как всем известный ориентир, служил летописцу 1070-х годов для обозначения древних районов Киева. Ставко Гордятич, очевидно сын этого Гордяты, в те же годы уже воеводствовал и вместе с юным Владимиром Мономахом уезжал из Киева в походы; судя по уменьшительному имени, Ставко тоже был еще молод.

многая бо лета бывшая мог сказать, яко написанное...» (Татищев. Указ. соч., т. II, стр. 211).

⁷⁰ Пользуясь случаем принести благодарность С. А. Высоцкому, разрешившему мне сослаться на надпись до публикации открывателем. В настоящее время статья С. А. Высоцкого опубликована в издании «Нумизматика и эпиграфика», т. III. М., 1962.

⁷¹ В подготовленной к печати статье С. А. Высоцкий правильно сопоставляет Ставра Гордятича со Ставком Гордятичем, упомянутым Мономахом в своем «Поучении», но, к сожалению, рассматривает только одну эту надпись, а не обе в их совокупности. Совместное рассмотрение обеих надписей позволяет сделать более широкие выводы.

Много лет спустя Ставр, к этому времени боярин и сотский Новгорода Великого, прогневил Мономаха и был вызван в Киев. Здесь летописный лаконичный рассказ сплетается с красочным повествованием былины. «В лето 1118. Того же лета приведе Володимирь с Мстиславом вся бояре новгородчкые к Киеву и заводи я к честному кресту и пусти их домов, а иные у себе остави.

И разгневался на ты, оже грабили Даньслава и Ноздрьчу и на сочького на Ставра и заточи я вся»⁷².

Былина «Ставр Гоудинович» (иногда Гординович) или «Ставр боярин» рассказывает о том, как в Новгороде привольно живет богатый боярин Ставр Гоудинович:

«В Нове-городе живу да я хозяином
Я хозяином живу да управителем.
.....
Золота казна у нас не тощится».

Расхваставшегося боярина оговаривают перед князем Владимиром и тот приказывает заточить его

«... Ставер боярин во Киеве
Посажен в погребы глубокие»⁷³.

В итоге мы располагаем следующими данными о Ставре Гордятиче:

- | | |
|--|---|
| а) Летописный свод Никона 1073 г. | «Град же бе Киев, иде же есть ныне двор Гордяти и Никифоров» |
| б) «Поучение» Владимира Мономаха, написанное в конце XI в. | Ставко Гордятич дружинник Владимира Мономаха (1069—1070 гг.) |
| в) Новгородская 1-я летопись | Боярин Ставр, новгородский сотский, вызван в Киев князем Владимиром и заточен (1118) |
| г) Былины | Ставр Гординович, новгородский боярин, вызван в Киев князем Владимиром и заточен. Впоследствии освобожден своей женой |
| д) Граффито № 1 Софийского собора в Киеве (предполагаемый автограф Ставра) | ги помози ставърокн... |
| е) Граффито № 2 | Писал ставъркъ городатиннуй... |

⁷² Новгородская 1 летопись. М.—Л., 1950, стр. 204—205.

⁷³ Былины Печоры и Зимнего берега. М.—Л., 1961, стр. 112.

После этих сопоставлений можно с достаточной степенью уверенности говорить о собственноручной надписи боярина Ставра Гордятича, сделанной им в соборе, возможно, в 1118 г.; для точной датировки у нас нет данных. Боярин писал убористо, твердо, с индивидуальными особенностями (буква «Б» с выступающей влево верхней перекладной), обнаруживая давнюю привычку к письму. Ставру, как и Владимиру Мономаху, было, вероятно, к 1118 г. далеко за 60 лет. Неизвестный киянин, удостоверявший автограф, писал небрежно, быстро, размашисто, но самый факт такого внимания к записи Ставра свидетельствует о повышенном интересе к этому опальному боярину.

* *
*

В беглом обзоре русского эпитафического материала были рассмотрены далеко не все его категории, но даже частичные извлечения показывают, что русская эпитафика обладает разнообразными историческими источниками ⁷⁴.

Задачи дальнейшего изучения сводятся к следующему:

- а) научная разработка «эпитафической палеографии» на основе датированных памятников;
- б) приведение в систему и датировка массового материала;
- в) продолжение систематических расчисток граффити во всех древнерусских городах и публикация корпуса надписей;
- г) сравнительное изучение лингвистами и историками всех памятников, писанных кириллицей и глаголицей, с учетом болгарских и сербских материалов;
- д) использование данных эпитафики в общеисторических работах и в работах по истории культуры, языка и быта.

L'ÉPIGRAPHIE RUSSE DES X—XIV SIÈCLES

Résumé

L'épigraphie russe est une partie autonome des sources historiques. Elle est importante aussi bien pour les historiens que pour les linguistes. L'épigraphie russe la plus ancienne (9—10^{mes} siècles)

⁷⁴ В этот обзор не вместились надписи на змеевиках, энколпионах, ковчегах, надписи на придорожных крестах и пограничных камнях (по Зап. Двине) и ряд других важных разделов эпитафики. Не включены сюда и надписи на монетах и печатях, которые хотя бы своей буквенной стороной должны входить в эпитафику.

Хронологические ограничения сказались в том, что материал XIV в. лишь в очень малой степени затронут в докладе, хотя он представляет не меньший интерес, чем более ранний. Все это объясняется тем, что задача доклада состояла не в исчерпывающей характеристике материала, а в постановке общего вопроса о месте и роли эпитафики в системе источниковедения.

continue directement l'épigraphie cyrillienne et glagolitique de la Bulgarie et de la Serbie.

Pour transformer l'épigraphie russe en une science, il faut préciser les méthodes de dater les inscriptions. La création d'un alphabet général à la base des inscriptions datées avec précision, en est un des moyens pour atteindre ce but. Il importe également de continuer à déterminer les dates d'après les noms des personnages historiques et les événements. Nous connaissons, rien que pour la période pré-mongolique, les mentions de 28 personnages historiques (sans compter les légendes sur les sceaux.)

L'institut de l'archéologie de l'Académie des Sciences de l'URSS prépare la publication d'un code général des inscriptions des X—XIV siècles avec les dates précises ou approximatives de chaque inscription.

Les textes épigraphiques contiennent de nombreuses données sur le caractère de la langue de diverses couches de citoyens et sur les dialectes de l'ancienne Russie.

L'importance historique des inscriptions sur les objets et des graffitis ressort du sommaire même du code en préparation: signatures des artisans, inscriptions des filandières, appellations des vins et des huiles sur les récipients, notes des prix des ustensiles, titulatures des féodaux, cryptographie, formules magiques dans les églises, inscriptions des ermites, sentences et épigrammes burlesques, inscriptions de caractère chronical, autographes des personnages historiques.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ЗОРСА РАО — Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
СА — Советская археология
ТОДЛ — Труды Отдела древнерусской литературы
УЗ ЛГУ — Ученые записки Ленинградского государственного университета

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь 1963)

Ю. В. Бромлей

К ВОПРОСУ О СОТНЕ, КАК ОБЩЕСТВЕННОЙ ЯЧЕЙКЕ У ВОСТОЧНЫХ И ЮЖНЫХ СЛАВЯН В СРЕДНИЕ ВЕКА

Общезвестно, что десятичная система организации войска (десятки, сотни, тысячи) характерна на определенной стадии общественного развития, если не всем, то во всяком случае подавляющему большинству народов, например, германцам, славянам, монголам, народам Кавказа, скандинавским народам и т. д.¹

Известно также, что военному делению на сотни у отдельных народов, в частности у германцев, соответствовали специальные общественные ячейки, именуемые на древнем верхненемецком языке *huntari*, т. е. «сотня». «Насколько источники позволяют проникнуть в прошлое, — писал Ф. Энгельс, — мы находим повсюду в Германии большее или меньшее число сел, соединенных в одну общину-марку. Однако над этими союзами, по крайней мере в первое время, стояли еще более обширные союзы-марки, охватывающие сотни или округа»².

Характеризуя структуру «сотен», Ф. Энгельс отмечал, что «земля, на которую не притязало село, оставалась в распоряжении сотни. . . Каждое село имело сельскую общинную землю (*byz almänningar*), и наряду с этим существовала общинная земля сотни (*härad*)»³.

Эта характеристика древнегерманской сотни была подтверждена и конкретизирована в ряде специальных исследований, в частности, в сравнительно недавно опубликованной статье советского медиевиста Н. Ф. Колесниченко. Суммируя свои наблюдения по интересующему нас вопросу, автор пишет: «Сотенное устройство являлось в свое время повсеместным судебно-адми-

¹ Б. Д. Греков. Киевская Русь. М., 1953, стр. 313—317 (здесь же дана и литература вопроса).

² Ф. Энгельс. Марка. В кн.: Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии. М., 1953, стр. 115.

³ Там же, стр. 114.

нистративным и военным устройством на территории Германии. Остатки его мы можем обнаружить во всех областях Германии еще в X и XI вв.». «Остатки сотенного устройства засвидетельствованы повсюду. Но самое это устройство, в его старом значении как местной судебно-административной организации, по всей вероятности, исчезло уже в X—XI вв. В большинстве. . . случаев сотни выступают уже не как составной элемент общей системы административного устройства государства, а как принадлежность вотчинной власти. Возглавлявшие эти сотни сотники (*centurio, hunno, castaldo*) были служащими или вассалами вотчинников. . .»⁴.

Письменные памятники многих славянских народов (правда, главным образом позднесредневековые) хорошо знают термины, производные от названия второго подразделения десятичной системы организации войска (сотня, сотник, *centurio* и т. п.). Исказания эти уже давно привлекали внимание медиевистов-славистов. Отдельные их наблюдения по данному вопросу будут приведены ниже. Здесь же лишь отметим два обстоятельства. Во-первых, все эти наблюдения, как правило, основаны на материалах, относящихся к одному из славянских народов (например, или только русских, или только хорватских источников). Во-вторых (и это особенно следует подчеркнуть), хотя некоторыми историками и высказывалось мнение, что у отдельных славянских народов, как и у германцев, сотня была одной из основных общественных ячеек⁵, однако, это мнение до сих пор по существу не получило признания. Достаточно сказать, что во всех посвященных средневековью томах недавно вышедших обобщающих работ по истории отдельных славянских народов, в том числе и по истории русского народа, мы не найдем указаний на существование у этих народов общественной ячейки, подобной древнегерманской сотне⁶.

⁴ Н. Ф. Колесницкий. Эволюция раннефеодального областного и местного государственного устройства и рост вотчинной власти в Германии в IX—первой половине XII в. Сб. «Средние века», IX. М., 1957, стр. 149—150.

⁵ Н. П. Павлов-Сильванский. Феодализм в удельной Руси. Пг., 1924, стр. 59.

⁶ Правда, в некоторых из этих трудов встречается упоминание сотни, но при этом она ни разу не рассматривается как общественная ячейка, аналогичная древнегерманской *huntingar*. Так, например, о сотне как военной единице говорится в «Очерках истории СССР» (Очерки истории СССР. Период феодализма IX—XV вв. В двух частях, 1, М., 1953, стр. 98—99) и в макете обобщающего труда по истории Чехословакии (*Préhled Československých dějin. Díl. I. Praha, 1958, str. 100*), причем в последнем случае она характеризуется как военная организация, введенная венграми в Словакии. В «Очерках» упоминается также сотня в связи с характеристикой новгородской купеческой организации (там же, стр. 150). О сотниках идет речь и в первом томе обобщающего труда по истории народов Югославии, при этом в одном случае указываются их административные функции, однако вопрос о существовании соответствующих административных единиц даже не ставится (*Historija naroda Jugoslavije. I, Zagreb, 1953, str. 263—264*).

Это объясняется, на наш взгляд, целым рядом обстоятельств. Прежде всего следует иметь в виду, что, если у одних славянских народов сохранилось относительно много сведений, которые в той или иной мере могут быть использованы при решении вопроса о существовании у них сотенного устройства, то у других таких сведений почти или совсем нет; к тому же и сохранившиеся сведения имеют, как правило, характер косвенных свидетельств. Немалую роль, видимо, сыграло и то, что до сих пор из находящихся в распоряжении исследователей материалов не выявлены некоторые показания, которые, судя по тому, что известно о сотне у германцев, могут пролить дополнительный свет на интересующий нас сюжет. Наконец, особо следует отметить отсутствие попыток сравнительно-исторического изучения свидетельств о сотне, относящихся к различным славянским народам. Между тем, есть основание полагать, что в силу указанного выше состояния источниковедческой базы как раз такое изучение может содействовать дальнейшему продвижению в решении вопроса о существовании в древности у славянских народов сотенного устройства.

Рассматривая данное сообщение как первый шаг в этом направлении, мы ограничиваемся преимущественно анализом и сопоставлением разнообразных (прямых и косвенных) свидетельств о сотне средневековых ⁷ русских и хорватских источников, поскольку именно в них и сохранилось больше всего таких свидетельств ⁸.

Начнем с материалов, относящихся к периоду раннего средневековья.

В этой связи прежде всего следует отметить широко известный факт упоминания сотников в русских летописях. Так, в Лаврентьевской летописи под 996 годом сообщается, что князь Владимир в этом году угощал в своем киевском дворце «бояр, гридей, сот-

⁷ Разумеется, позднейшие данные о сотне (например, о казачьих сотнях) не имеют никакого отношения к данной теме; мы оставляем в стороне также материалы о новгородских купеческих сотнях, поскольку априори очевидно, что они не представляют прямой аналогии сотенному устройству древних германцев (о новгородских купеческих сотнях см. М. Н. Тихомиров. Древнерусские города. М., 1946, стр. 224).

⁸ Большинство из этих сведений, как уже говорилось, неоднократно привлекало внимание исследователей, затрагивавших, однако, вопрос о сотне, как правило, в связи с рассмотрением других более широких проблем общественного и политического строя восточных и южнославянских народов. (Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси, кн. 1. М., 1952, стр. 69—70, 291—292, 304—302, 306, 337, 398). Из известных нам работ специально сотне и сотникам у восточных и южных славян посвящены следующие: Т. Ефименко. К вопросу о русской «сотне» княжеского периода. «Журнал Министерства народного просвещения», июнь 1910; Б. А. Рыбак о в. Деление Новгородской земли на сотни в XIII веке. «Исторические записки», 2, 1938; D. K l e n. Ustanova «satnika» i «cète» s naročitim obzirom na te ustanowe u Barbanu. «Jadranski zbornik», god. III. Rijeka—Pula, 1958.

ских, десятских и нарочитых мужей»⁹. Иными словами, летопись либо включает сотских в число «нарочитых людей», либо (что вероятнее) относит их к более высшему разряду. Между тем известно, что церковный устав Ярослава рассматривает самих «нарочитых людей», как привилегированную группу населения по сравнению с «простой чадью»¹⁰. Впрочем, определить конкретные функции «сотских» по данным восточнославянских раннесредневековых источников, насколько нам известно, довольно трудно, хотя большинство исследователей не сомневалось относительно исполнения ими военных и даже административных обязанностей¹¹.

Относительно более обстоятельные данные о сотниках содержат хорватские раннесредневековые источники. Так, в хорватских грамотах только за период с 1076 по 1086 г. мы встречаем около десятка упоминаний сотников¹². В этих грамотах сотники (setnic, sitnic, setenic, setinic) фигурируют, как правило, в качестве свидетелей королевских дарений или же свидетелей по различным сделкам (продажа земли, сервов). В этом качестве они обычно выступают вместе с жупанами и другими приближенными к королю лицами. Следовательно, мы вправе предположить, что сотники хорватских грамот XI в. — это люди, относящиеся к высшему слою общества; тот факт, что они, как правило, являясь свидетелями по делам, связанным с передачей земельной собственности, заставляет думать, что сотники имели какие-то административные функции¹³. В этом нас окончательно убеждают показания о сотниках летописи попа Дуклянина (XII в.), «представляющей начальную сербскую и хорватскую хронику»¹⁴. Из этой летописи следует: 1) каждый бан в Дуклянской державе имел семь сотников, а каждый жупан — одного сотника (satnik, centurio); 2) сотники были судьями и сборщиками налогов; 3) сотники являлись представителями знати — «centuriones ex nobilioribus»¹⁵.

Рассмотрим теперь материалы периода развитого феодализма. Среди русских источников XIII—XVI вв. в интересующей нас связи, пожалуй, прежде всего следует отметить грамоту галицко-

⁹ Примерно то же в данной связи говорится и в Новгородской летописи: «и приходиги бояром и гридем и сочым и десячьским и нарочитыи мужа».

¹⁰ Памятники русского права, вып. 1, М., 1952, стр. 259, 266—267.

¹¹ См. обзор литературы по данному вопросу в кн.: Б. Д. Греков. Киевская Русь, стр. 313—314.

¹² F. Rački. Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia. Zagrabiae, 1877, p. 80, 82, 84, 90, 98, 128, 130, 131.

¹³ В том, что эти сотники исполняли военные и административные функции, был уверен еще один из первых исследователей общественного строя раннесредневековой Хорватии — Фр. Рачки (F. Rački. Nutarnje stanje Hrvatske prije XII stoljeća, «Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti», knj. 99 str. 102—103).

¹⁴ Letopis popa Dukljanina. Prereditio, napisao uvod i komentar V. Mošin. Zagreb, 1950, str. 12.

¹⁵ Там же, стр. 55.

волинского князя Мстислава Даниловича 1289 г.¹⁶ По этой грамоте население «ста», т. е. «сотни», было обязано коллективно выплачивать определенные натуральные поборы¹⁷. Из грамоты также следует, что население это было прежде всего сельским¹⁸, оно противопоставляется горожанам, с которых поборы собирались лишь в денежной форме. На той же территории (в Берестянах), что в грамоте 1289 г., мы встречаем «сотню» в грамоте 1506 г.¹⁹ Существенно отметить, что обе грамоты относятся к княжеским, королевским владениям.

Сотники упоминаются также в источниках конца XV—начала XVI в., относящихся к другим землям Юго-Западной Руси. Например, «сотников и притом в качестве представителей отдельных волостей мы встречаем в той части Киевской земли, которая некогда входила в состав Северской (земли), а именно, в повете Путивльском. Эти сотники были из местных крестьян»²⁰ и, следовательно, «возглавляли» сельское население; показательно также, что и в этом случае сотник упоминается в связи с княжескими людьми²¹. Сохранились сведения о существовании в конце XV в. сотников в велико-княжеских владениях под Брянском и в Люботском повете Чернигово-Северской земли. Кроме того, известно, что в Торопецком повете Смоленской земли сотники в это время ведали повинностями крестьян²².

Однако в целом ознакомление с материалами периода развитого феодализма, относящимися к Юго-Западной и Западной Руси, оставляет впечатление, что сохранившиеся в них сведения по интересующему нас вопросу имеют спорадический характер.

¹⁶ Памятники русского права, вып. II, М., 1953, стр. 29.

¹⁷ Это обстоятельство было отмечено еще А. И. Линиченко (А. И. Л п н и ч е н к о. Черты из истории сословий в Юго-Западной (Галицкой) Руси XIV—XV вв. М., 1894, стр. 111—112). Характеризуя в целом согенное устройство на Руси в XIII—XV вв., А. И. Линиченко высказал (заслуживающее, на наш взгляд, внимания) предположение, что «данные о сотных людях и сотнях XV в. . . . указывают на обломки старинной русской организации крестьянского населения в княжеский период Руси». При этом, однако, он сделал оговорку, что «сотня» «не была *общей организацией всего низшего населения, а лишь специальной организацией подзамкового населения и ближайших к замку поселений*» (там же, стр. 116; курсив автора. — Ю. Б.) Мнение А. И. Линиченко о коллективной ответственности членов сотни за исполнение повинностей было поддержано Б. Д. Грековым (см. Б. Д. Г р е к о в. Крестьяне на Руси, кн. I, стр. 292).

¹⁸ На это, в частности, обратил внимание Б. Д. Греков: «ясно, — пишет он, — что берестяне-сельчане организованы в сотни» (там же, стр. 302).

¹⁹ Литовская метрика, кн. Записей VI, л. 10—11 (см. М. К. Л ю б а в с к и й. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства. М., 1892, стр. 339).

²⁰ М. К. Л ю б а в с к и й. Областное деление. . . , стр. 431 (при этом автор ссылается на публикацию «Акты, относящиеся к истории Западной России», т. I, СПб, 1846, № 178 и Литовскую метрику кн. Записей XI, л. 152).

²¹ См. там же, стр. 431.

²² Там же, стр. 432.

Значительно чаще такие сведения встречаются в актах Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв. Иногда в них прямо называется сотня. Так, например, в одном документе первой половины XVI в., зафиксировано заявление крестьян, что они «про ту деревню не ведают. . . потому, что де они не в одной сотне живут»²³. Правда, термин «сотня» встречается в актах Северо-Восточной Руси сравнительно редко. Но зато они буквально пестрят упоминаниями «сотников» (сотский, сотской, соцкий, соцкий, съотский). Термин этот употребляется обычно в сочетании с волостью, причем «сотнику» выступает в таком случае в качестве представителя волостной княжеской администрации²⁴. В отдельных актах «сотник» фигурирует как представитель такой административной единицы как «земля»²⁵, которая иногда отождествляется в грамотах с волостью²⁶. Имеются в актах Северо-Восточной Руси и другие свидетельства о том, что в ведении сотников находилось сельское население²⁷; при этом удается установить, что сотник осуществлял свои функции над населением нескольких деревень (иногда свыше 10)²⁸, следовательно, на территории значительно превосходящей размеры обычных сельских общин.

Сохранившийся актовый материал позволяет определить некоторые функции «сотников» в Северо-Восточной Руси XV—XVI вв. Судя по косвенным данным княжеских жалованных грамот, одной из обязанностей «сотников» было собирание различных поборов с сельского населения²⁹. Но особенный интерес представляют показания источников о том, что, подобно хорватским сатникам, русские сотники очень часто выступают в качестве свидетелей по различным поземельным сделкам, размежеваниям земли и тяжбам, причем последние главным образом касаются пустошей³⁰, т. е. общинных земель. Весьма показательна в этом отношении «правая грамота» 1485—1490 гг. В ней зафиксировано судебное разбирательство спора между Сергиево-Троицким монастырем и черносошными крестьянами из-за пустоши, которую

²³ А. Федотов-Чеховский. Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней России, т. 1. Киев, 1860, № 91, стр. 257.

²⁴ Там же, № 71, стр. 186; Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси (далее — АСЭИ), т. 1, М., 1952, № 219, № 30.

²⁵ АСЭИ, т. 1, № 440.

²⁶ АСЭИ, т. 1, № 430.

²⁷ См. прим. 33 на стр. 79. Вместе с тем на сотни, возглавляемые сотниками, делилось и посадское население городов Северо-Восточной Руси. См., например, Акты феодального землевладения и хозяйства (далее — АФЗХ), М., 1956, ч. II, № 380, а также Н. Е. Носов. Очерки по истории местного управления Русского государства первой половины XVI века. М.—Л., 1957, стр. 263.

²⁸ Так, согласно жалованной тарханной грамоты волоцкого князя Федора Борисовича 1505 г. из ведения соцкого изымалось 11 деревень и одно село. АФЗХ, ч. II, № 34, см. также № 4, 14, 55; АФЗХ, ч. 1, М., 1951, № 96.

²⁹ См. прим. 33 на стр. 79.

³⁰ АСЭИ, т. 1, № 430, 525, 540, 595, 604; АФЗХ, ч. 1, № 103.

сами крестьяне называют: «пустышь наша тяглая волостная». Весьма интересна следующая деталь этой грамоты: когда судья спросил старосту, что он может сказать по данному делу, последний заявил: есть «у нас на то Семен сотский»³¹. Иными словами, надзор за пустошью, т. е. общинными землями, — одна из обязанностей сотских. В этой связи нельзя не отметить и того факта, что по свидетельству так называемых разводных грамот Северо-Восточной Руси XV в. при определении границ волостей или «земель», как правило, участвовали сотники³².

Наконец, следует подчеркнуть, что сотники Северо-Восточной Руси так же, как сотники Юго-Западной Руси, фигурируют в источниках, относящихся преимущественно к великокняжеским владениям. О том, как происходило изъятие из-под ведения сотников земель, переходящих в руки частных вотчинников, наглядно свидетельствует следующая стереотипная формула великокняжеских жалованных грамот: «Ни к дворскому, ни к сотскому не надобе им (пожалованным крестьянам — Ю. Б.) тянуть ни во что»³³. Иными словами, как и в Германии, так и на Руси, разрушение сотенного устройства было прежде всего результатом приобретения или присвоения феодальными землевладельцами иммунитетных прав³⁴. Вместе с тем в Северо-Восточной Руси, подобно тому, как это имело место в Германии³⁵, известны отдельные случаи использования института сотников крупными феодалами: включения сотников в систему вотчинного аппарата³⁶.

Наряду с Северо-Восточной Русью термины «сотня» и «сотник» в период развитого феодализма хорошо известны были также Северо-Западной Руси — новгородским и Псковским землям. Правда, нередко здесь эти термины связаны с городским населением³⁷. Однако сохранился ряд свидетельств и о существовании

³¹ АСЭИ, т. 1, № 525.

³² Там же, № 440, 473, 504.

³³ АСЭИ, т. 1, № 29. Аналогичные формулы встречаются почти во всех великокняжеских жалованных грамотах XIV—XVI вв., относящихся к Северо-Восточной Руси. АФЭХ, ч. 1, № 96, 97, 123, 145, 172, 212; АФЭХ, ч. II, № 3, 4, 14, 17, 18, 34, 45, 48, 55, 62, 63, 79, 87, 103, 115, 130, 133, 135, 137, 171. При этом наряду с сотниками и дворскими в жалованных грамотах часто упоминаются десяцкие (десяцкие, десятцкие).

³⁴ Н. Ф. Колесницкий. Указ. соч., стр. 150.

³⁵ Там же, стр. 150—151.

³⁶ Весьма интересное в этом отношении свидетельство приведено Н. Е. Носовым в монографии, посвященной исследованию местного управления на Руси в XVI в. Мы имеем в виду так называемую губную грамоту Троицко-Сергиевского монастыря 1541 г., которой проводившаяся московским правительством в 30—40-х годах XVI в. реформа местного управления (губная реформа) приспособлялась к интересам данного крупного вотчинника. Грамота, в частности, предписывала монастырским крестьянам выбрать в помощь «приказчику» старост, сотских и десяцких (Н. Е. Носов. Указ. соч., стр. 277).

³⁷ См. М. Н. Тихомиров. Древнерусские города. М., 1946, стр. 224.

в Северо-Западной Руси «сельских» сотен и сотских. Наибольший интерес представляют показания о сотнях «Устава Ярослава князя о мостех», датируемого обычно XIII в. Специальный обстоятельный анализ этих показаний позволил Б. А. Рыбакову убедительно доказать, что наряду с 10 сотнями, относящихся к самому Новгороду, и основная новгородская территория делилась на сотни, расположенные «секторами вокруг самого города»³⁸. О тесной связи некоторых новгородских сотских с жизнью сел свидетельствует проект договора короля польского и великого князя литовского Казимира IV с Новгородом (1470—1471 гг.), специальная статья которого рассматривает вопрос об убийстве сотского в селе³⁹. Не менее существенны и показания Псковской судной грамоты (памятника XIV—XV вв.), из которой следует, что в Псковской земле, как и в Северо-Восточной Руси, одной из важнейших обязанностей сотских было участие в поземельных спорах⁴⁰.

Заканчивая рассмотрение данных русских источников о сотне и сотниках, считаем не лишним подчеркнуть, что, по мнению исследователей, сотник на Руси чаще всего лицо выборное⁴¹.

Как и на Руси, так и в Хорватии, источники XIII—XVI вв. содержат значительно более обстоятельные сведения по занимающему нас вопросу чем раннесредневековые письменные памятники. Большинство этих сведений относится к Хорватскому Приморью (включая соседние острова) и населенной преимущественно хорватами восточной части Истрии⁴². В частности, термин «сатник» неоднократно фигурирует в документах, касающихся Сены, Винодола, Крка, Риеки, Кастава, Вепринаца, Мощениц, Лабина, Барбана⁴³. Особенно подробные данные о сатниках имеются в Винодольском законе 1288 г., который, по наблюдениям Б. Д. Грекова, свидетельствует, что «сатник — это несомненно сотник. . . Сотник официально представлял свою общину»⁴⁴, именуемую

³⁸ Б. А. Рыбаков. Указ. соч., стр. 150. Мнение Б. А. Рыбакова о связи части сотен «Устава» с «областными» территориями было поддержано А. Н. Насоновым, который, однако, склонен приравнивать данные сотни не к «полупятинам» XVI в., как это делает Б. А. Рыбаков, а к древним новгородским «волостям». (А. Н. Насонов. «Русская земля» и образование Древнерусского государства. Историко-географическое исследование. М., 1951, стр. 124—126).

³⁹ Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.—Л., 1949, № 77.

⁴⁰ Памятники русского права, вып. 2, стр. 296.

⁴¹ Г. Е. Кочин. Материалы для терминологического словаря древней Руси. М.—Л., 1937, стр. 336.

⁴² При этом следует подчеркнуть, что, если большая часть первой из этих территорий в рассматриваемый период находилась по существу лишь в номинальной зависимости от венгерских королей, то вторая вообще никогда не была под их властью, и, следовательно, нет оснований полагать, будто наличие здесь сотенного устройства — результат влияния венгерской военно-административной организации.

⁴³ D. K l e n. Ustanova. . . , стр. 260—264.

⁴⁴ Б. Д. Греков. Винодольский статут об общественном и политическом строе Винодола. М.—Л., 1948, стр. 69.

в законе «община града». «...Сотник является защитником материальных интересов общины»⁴⁵. «Сатник ... доставлял в суд обвиняемого»⁴⁶. К этому следует добавить, что в судебном отношении сами винодолские «сатники» подпадали «под закон и правду кметску»⁴⁷.

Как свидетельствует ст. 14 Врбанского статута, датируемая 1382 г., на острове Крке, как и в Винодоле, сатников также имел каждый «град»⁴⁸, т. е. «община града»⁴⁹. В Приморской Хорватии и в восточной части Истрии сатники в XIII—XVI вв., видимо, как правило, — лица выборные, о чем сохранились прямые указания в Вепринацком законе (1507 г.)⁵⁰, Мощеницком статуте⁵¹ и статуте Риеки (1530 г.)⁵². Судя по косвенным данным Грижанского урбария 1544 г. (Грижаны — один из винодолских «градов»), сатник выбирался на год — на «лето свога официја»⁵³, т. е. службы. Урбарий Гробника 1642 г. (также одного из «градов» Винодола) называет сатников — «oficiali ručki»⁵⁴, что заставляет думать об их избрании из простонародья. В пользу этого говорит и указание Грижанского урбария об освобождении сатников от повинностей на время исполнения ими своих служебных функций⁵⁵. Вместе с тем несомненно, что в период развитого феодализма сатники входят в состав низшей господской (княжеской) администрации⁵⁶.

Под властью феодалов, как это справедливо подчеркивает Д. Клен, те функции сатников, которые они имели до XII в., неизбежно подверглись изменению и ограничению: «феодалные господа приобрели решающее слово в судебных и военных делах»⁵⁷. «От военной функции сатников, которая исчезла еще до XII ст.,

⁴⁵ Там же, стр. 69.

⁴⁶ Там же, стр. 76.

⁴⁷ Hrvatski pisani zakoni. Uredili F. Rački, V. Jagić i I. Črnić. (Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium, vol. IV). Zagreb, 1890, str. 11 (далее — HPZ).

⁴⁸ HPZ, str. 151.

⁴⁹ D. Klen. Ustanova. . ., str. 260.

⁵⁰ O. Mandić. Osnove pravnog uređenja veprinačke općine u XVIII stoljeću. Rad JAZU, knj. 306, str. 112.

⁵¹ A. Šepić. Zakon kastela Mošenice. Rad JAZU, knj. 315, str. 295.

⁵² Z. Herkov. Statut grada Rijeke. Zagreb, 1948 (Цит. по ст.: D. Klen. Ustanova. . ., str. 260).

⁵³ Hrvatski urbari. Sabrao i protumačio R. Lopašić (Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium, vol. V.). Zagreb, 1894, str. 87. Показательна в этом отношении и формула Трсатского урбария 1610 г. (Трсат также один из «градов» Винодола) — «satnik od leta» (там же, стр. 156).

⁵⁴ Hrvatski urbari, str. 195.

⁵⁵ Там же, стр. 87.

⁵⁶ В грамоте винодолского князя от 1430 г. сатники наряду с подкнежником, судьей и дворником включены в число княжеских служилых людей (официалов). См. также свидетельство Трсатского и Гробникского урбариев об утверждении сатников высшими представителями господской администрации (Hrvatski urbari, str. 163, 194).

⁵⁷ D. Klen. Ustanova. . ., str. 262.

мы находим после этого следы только в некоторых местах, как, например, в Риеке и Каставе, где сатник заботится о содержании стражи» и соответственно об исполнении сторожевой службы. «От прежних судебных функций сатника, — отмечает далее Д. Клен, — нет и следа, если не считать его обязанностей по исполнению судебных решений»⁵⁸. Впрочем, на эти же прежние функции, на наш взгляд, косвенно указывает право сатников на часть штрафов, фиксированное в Каставском статуте 1490 г. и в Трсатском урбарии 1610 г.⁵⁹ Но особенно наше внимание привлекает то обстоятельство, что некоторые административные обязанности хорватских сатников в период развитого феодализма были аналогичны тем, что исполнялись в этот период русскими сатниками, например, сатники также были причастны к сбору налогов и других платежей (в том числе натуральных), о чем сохранились многочисленные свидетельства⁶⁰. Участвовали хорватские сатники, подобно русским сотникам и при заключении различных поземельных сделок и при рассмотрении поземельных споров, в том числе об общинных землях. Так, в акте 1413 г., согласно которому община Башки на острове Крке подарила землю монастырю, в качестве представителя общины отмечен сатник Иванола⁶¹. Еще более показательна относящаяся к Винодолу грамота 1309 г., из которой следует, что участие сатника было обязательным при разборе поземельных споров между «общинами града». Согласно этой грамоты, в такой тяжбе смежных «общин града» интересы одной из них (Леденицкой общины) должен был представлять сатник Ногаль, но он на суд не явился и данная община проиграла дело⁶². Судя по одному позднему акту (1690 г.), сатник в Мощеницах отвечал за сохранность леса, расположенного в окрестностях этого «града»⁶³.

Весьма важное значение для решения вопроса о сотенном устройстве у хорватов имеют, на наш взгляд, материалы описи владений кн. Ст. Франкопана 1558 г.⁶⁴ Большая часть фигурирующих в этой описи владений непосредственно примыкала к территории Винодольского княжества, который, кстати сказать, принадлежал тем же Франкопанам.

Анализируя показания описи 1558 г. в своей работе, посвященной истории аграрных отношений в позднесредневековой

⁵⁸ Там же, стр. 203

⁵⁹ HPZ, str. 183; Hrvatski urbari, str. 156.

⁶⁰ См., например, Риекский статут 1530 г. (D. K l e n. Ustanova. . . , str. 260), Грижанский урбарий 1544 г. (Hrvatski urbari, str. 85, 86), Трсатский урбарий 1610 г. (Hrvatski urbari, str. 162).

⁶¹ Б. Д. Греков. Винодольский статут, стр. 69.

⁶² D. Š u r m i n. Hrvatski spomenici, sv. I (Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium, vol. VI). Zagreb, 1898, str. 74—75.

⁶³ A. Š e p i ć. Zakon. . . , str. 247—262.

⁶⁴ E. L a s z o w s k i. Popis i procjena dobara kneza-Stjepana Frakopana-Ozaljskoga god. 1558. «Starine JAZU», kn. XXX, Zagreb, 1902.

Хорватии ⁶⁵, мы пришли к следующим основным выводам относительно структуры фиксированных в описи владений. Эти владения состояли из восьми крупных вотчин, под которыми мы понимаем самостоятельные организации для присвоения ренты. Центром каждой вотчины был замок (castrum) с посадом (орpidum).

Территория вотчины, как правило, делилась на судебные округа (judicatus), состоявшие из одного или нескольких сел. Каждый из округов имел свои общинные земли, т. е. по существу представлял сельскую общину — марку.

Кроме общинных земель судебных округов, на территории вотчины имелись приписанные к замку общинные угодья, именовавшиеся *tergae communes* и состоявшие из пастбищ, леса и кустарников.

Исходя из того, что неразделенные угодья, приписанные к замкам, по данным описи 1558 г., значительно превосходили общинные земли отдельных сельских общин, в указанной статье сделано предположение: не стоит ли принадлежность сельских угодий к замку в связи с узурпацией в прошлом феодалами, собственниками замков, прав на общинные владения так называемой сотни? ⁶⁶

Это предположение находит подтверждение в показаниях о неразделенных угодьях, «приписанных» к замку-граду, тех хорватских источников, которые нами уже привлекались, в связи с рассмотрением вопроса о функциях сатников ⁶⁷. О таких угодьях, например, свидетельствует статут града Кастава 1490 г., который в одной из своих статей упоминает об отводе кметам сенокосов в пределах принадлежащих граду общинных земель (*communiatadi*) ⁶⁸. Подобные угодья известны также статуту Вепринада ⁶⁹. Но особенно важно для нас свидетельство об этих угодьях статута Трсата ⁷⁰ — одного из винодольских градов, относительно которых установлено, что они являлись центрами так называемых «общин града» и «объединяли весь сельский округ, тянущий к своему граду» ⁷¹, т. е. по своей структуре были, видимо, аналогичны «вотчинам» описи 1558 г. Как мы видели выше, в каждом из указанных «градов-общин» (Каставе, Вепринаде и Трсате) был свой сатник. Следовательно, в общественной ячейке, в пре-

⁶⁵ Ю. В. Бромлей. Из истории аграрных отношений в Хорватии второй половины XIV—XVI вв. «Византийский временник», т. XII, стр. 120—124.

⁶⁶ Там же, стр. 124.

⁶⁷ При этом свидетельства хорватских источников о такого рода угодьях, относящихся к «градам», в связи с которыми не сохранилось известий о сотниках, мы оставляем в стороне.

⁶⁸ HPZ, str. 189.

⁶⁹ Там же, стр. 214—215.

⁷⁰ Там же, стр. 225—226.

⁷¹ Б. Д. Греков. Винодольский статут... , стр. 51.

делах которой осуществлял свои функции сатник, имелись неразделенные уголья, которые в отличие от алменды сельских общин были «приписаны» к замку-граду. Иначе говоря, в Приморской Хорватии и в восточной части Истрии неразделенные уголья, подобные *hårdas* германской *huntari*, существовали в рамках общественной ячейки, надзор за которой (в том числе за этими угольями), как и в *huntari*, осуществлял сотник. Судя по Новиградскому сборнику XVI в., и на хорватской территории к югу от Велебита в позднее средневековье сохранялись неразделенные уголья (леса), находившиеся в распоряжении не одной сельской общины, т. е. уголья, очевидно, имевшие характер «сотенных» земель ⁷².

Наряду с хорватскими источниками встречаются упоминания о сотниках и в сербских средневековых памятниках. Так, согласно грамоты 1186 г. «setnicus» Юра был представителем великого жупана Стефана Немани в Которе ⁷³. По свидетельству хронистов, в 1196 г. при интронизации Стефана Первовенчанного присутствовали в числе других военачальников также «сатники» ⁷⁴. Наконец, в одном документе 1254 г. сообщается, что «сотник» Воислав Радосевич стоял во главе «града» Имоте, представляя здесь интересы захумского жупана Радослава ⁷⁵. На этом, насколько нам известно, обрываются показания сербских средневековых источников о сотниках. И не будь соответствующих свидетельств летописи Дуклянина, можно было бы на основании одних только что приведенных отрывочных данных о сотниках вообще легко усомниться относительно сколько-нибудь широкого распространения этого института в средневековой Сербии.

Еще менее ясен вопрос о существовании института сотников в средневековой Словении. Мнения исследователей по этому вопросу далеко не единодушны. Если Ф. Кос ⁷⁶ и Й. Мал ⁷⁷ считали, что у словенцев существовали сотники, то Б. Графенауер, совсем недавно затронувший данный сюжет, придерживается несколько иной точки зрения. Он полагает, что проведение Й. Малом параллели между терминами «*decania*», «*auctor*», «*joran*», фигурирующими в одном документе 777 г., и наименованиями

⁷² M. B a g a d a. *Starohrvatska seoska zajednica*. Zagreb, 1957, str. 71; М. М. Ф р е й д е н б е р г. «Новиградский сборник» как источник по социально-экономической истории Хорватии. «Славянский архив», М., 1962, стр. 45.

⁷³ *Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, Ed. T. S m i č i k l a s, vol. II. Zagreb, 1904, N 194.

⁷⁴ К. Ј и р и ч е к., Ј. Р а д о н и ч. *Историја срба*. кн. II. Београд, 1952, стр. 106.

⁷⁵ F. M i k l o š i ć. *Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii*. Viennae, 1858, p. 45.

⁷⁶ F. K o s. *Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku*. Št. III, str. 23, op. 3.

⁷⁷ J. M a l. *Probleme aus der Frühgeschichte der Slovenen*. Ljubljana, 1939, S. 87—96.

должностных лиц десятичного деления войска (десятник, сотник, тысячник), хотя может быть и не ошибочно, но во всяком случае не доказано⁷⁸. Действительно, документ 777 г. (Б. Графенауер, как и Й. Мал, имеет в виду только его) не дает достаточных прочных оснований для такой параллели.

По существу открытым остается вопрос о существовании десятичной системы организации войска и сотенного административного устройства в средневековой Болгарии. Насколько нам известно, до сих пор не обнаружено соответствующих прямых свидетельств. Не исключено, однако, что это объясняется стечением двух обстоятельств: во-первых, чрезвычайной малочисленностью сохранившихся источников по истории первого Болгарского царства; во-вторых, тем, что византийское господство привело не только к почти полному вытеснению славянской военно-административной терминологии греческой, но и к нарушению «единства в административном устройстве»⁷⁹. Вместе с тем в данной связи представляется небезынтересным тот факт, что термин «сотник» часто встречается в средневековых молдавских памятниках, написанных на славянском языке. Согласно показаниям этих источников, в Молдавии XV в. сотники сохранились на землях, населенных свободными общинниками-крестьянами резешами. Сотники были лицами выборными. Наряду с другими представителями общинных властей (старостами, князьями и жупанами) сотники были обязаны «самолично или на мирской сходке распределять между резешами часть общинных земель, производить раскладку и сбор государственных податей, регулировать пользование общинными угодьями, вести от имени общины переговоры с властями, защищать интересы общинников в высшем суде»⁸⁰.

Но так или иначе, очевидно, имеется достаточно оснований полагать, что сотня как единица военной организации, оставила далеко не одинаковый след в административном устройстве различных южнославянских народов. Конечно, не исключено, что у некоторых из них в отдельных случаях, как мы отчасти пытались показать выше, эти следы быстро исчезли под воздействием позднейших, в том числе внешних факторов. Однако несомненно, что наиболее глубокий и прочный отпечаток сотня — военная единица наложила на административное устройство хорватов — единственного из южнославянских народов, который, как это склонно считать большинство исследователей, только в начале VII в., т. е. несколько позднее других, переселился на Балкан-

⁷⁸ B. Grafenauer. Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih slovencev. Ljubljana, 1952, str. 487.

⁷⁹ Г. Г. Литаврин. Болгария и Византия в XI—XII вв. М., 1960, стр. 307.

⁸⁰ Ф. А. Грекул. Социально-экономический и политический строй Молдавии второй половины XV века. Кишинев, 1950, стр. 152.

ский полуостров⁸¹. По существу аналогичное явление наблюдается и у восточных славян и, видимо, не случайно в период развитого феодализма наиболее отчетливые следы сотенной организации обнаруживаются в северных районах их расселения.

В данной связи небезынтересно также отметить, что в средневековых письменных памятниках западных славян почти не встречается сведений, которые могут быть истолкованы как свидетельства существования сотенного общественно-административного устройства. Правда, в польских источниках имеется целый ряд показаний о децимах (decimi), объединенных подчас в сотни, а также о так называемой «пестрой сотне» (varium centum, pstre sto), но показания эти, к сожалению, чрезвычайно скудны. Между тем все исследователи, начиная с Ф. Пекосиньского и кончая современными историками-марксистами, рассматривают децимы как рабов, военнопленных по происхождению, и такое их название объясняют тем, что при осаживании рабов на землю в целях лучшего учета применялась десятичная система⁸²; с рабами-децимами связывается обычно в исторической литературе и происхождение «пестрых сотен». Хотя в силу отмеченной скудости показаний польских источников о десятично-сотенной организации такая ее трактовка, на наш взгляд, не представляется совершенно бесспорной, в распоряжении исследователей нет и достаточных данных, говорящих в пользу того, что эта организация была аналогична сотенному устройству германцев. Впрочем, привлекает внимание одно любопытное совпадение показаний польских источников о децимах с тем, что нам известно о сотне и сотниках по русским и хорватским материалам: все польские документы, в которых упоминаются децимы, свидетельствуют, что первоначально их непосредственным господином был князь⁸³.

Что касается Чехии, то хотя исследователями уже давно высказывались предположения, что существовавшие здесь в средние века округа (burgwardum, pagus) соответствовали немецким сотням⁸⁴, однако, насколько нам известно, в сохранившихся источ-

⁸¹ См. *Historija naroda Jugoslavije*, I, str. 91—92; В. Grafenauer. *Prilog kritici izveštaja Konstantina Porfirogeneta o doselenju Hrvata. «Historijski zbornik», god. V. Zagreb, 1952, str. 1—56.*

⁸² F. Piekosiński. *Ludność wieśniacza w Polsce w dobie piastowskiej. Kraków, 1896, str. 107; R. Grodecki. Książęca włość trzebnicka na tle organizacji majątków książęcych w Polsce w XII wieku. «Kwartalnik historyczny», t. XXVII. Lwów, 1913, str. 18—19; D. Poppe. Ludność dziesiętnicza w Polsce wczesnośredniowiecznej. «Kwartalnik historyczny», t. LXIV. Warszawa, 1957, № 1, str. 15; Л. В. Разумовская. *Очерки по истории польских крестьян от древних времен до XV века. М.—Л., 1958, стр. 113—118.**

⁸³ Л. В. Разумовская. Указ. соч., стр. 115.

⁸⁴ Такое предположение было высказано еще в конце прошлого столетия Эд. Шульце относительно округов Мишенской области (см. E. O. Schulze. *Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen*

никах нет свидетельств, подтверждающих это предположение. Нет достаточных оснований считать исключением в данном отношении и Словакию. Правда, в средневековых памятниках, касающихся ее территории, подчас упоминаются сотники (*centurio*)⁸⁵, но такие упоминания относятся к периоду венгерского господства и поэтому весьма трудно возражать против уже отмечавшегося выше мнения, что эти сотники связаны с венгерской военно-административной организацией⁸⁶.

Таким образом, в целом западнославянские материалы как будто не противоречат нашему, основанному на показаниях восточно- и южнославянских источников, наблюдению, что наиболее прочный и глубокий отпечаток сотня — военная организация наложила на общественно-административное устройство славян там, где они появились относительно поздно⁸⁷.

Вместе с тем, подводя итог, следует подчеркнуть, что в этих областях расселения южных и восточных славян институт сотников имел особенно много общих черт, отдельные из которых, впрочем, обычно обнаруживаются и в тех случаях, когда имеются сведения о данном институте, относящиеся и к другим территориям, населенным славянскими народами.

Суммируя в целом рассмотренные материалы и сопоставляя их с тем, что известно о сотниках и сотне у германцев, мы, очевидно, можем отметить следующее:

1) На двух противоположных концах славянского мира — в России и Хорватии — общественное положение сотника претерпело удивительно совпадающую эволюцию. В ранние средневековье и здесь и там сотник находится на довольно высокой ступени социальной лестницы: это в одном случае — человек либо входящий в состав привилегированных «нарочитых мужей», либо стоящий даже над ними; в другом — первое лицо после жупана, представитель знати. В период развитого феодализма хорватские и русские сотники — уже всего лишь рядовые члены низшей княжеской администрации, а иногда и аппарата частного крупного вотчинника. То же самое наблюдалось в Германии,

Saale und Elbe. Lpz., 1896, S. 61—69, 310—316. К этому мнению впоследствии присоединился и А. Н. Ясинский (см. А. Н. Я с и н с к и й. Очерки и исследования по социальной и экономической истории Чехии, т. 1. Юрьев, 1906, стр. 122).

⁸⁵ L. Fejérpataky. Kalman Király Oklevelei. Budapest, 1892, p. 42—43.

⁸⁶ См. стр. 74, прим. 6.

⁸⁷ Интересно, что по существу аналогичное явление наблюдается в средние века и в странах Западной Европы. Как известно, среди этих стран наибольшим развитием и прочностью сотенной административной системы отличается Англия. Между тем общепризнано, что появление здесь этой системы связано с англо-саксонским завоеванием, закончившимся по сравнению с другими передвижениями германских народов относительно поздно — в начале VII в.

где в условиях завершения процесса феодализма сотники выступают как принадлежность вотчинной власти⁸⁸.

2) Почти идентичны на Руси и в Хорватии основные функции сотников и изменения этих функций. Пожалуй, наименее отчетливо обнаруживаются их военные обязанности. Если на основании раннесредневековых источников еще можно полагать, что данная обязанность для них была одной из важнейших, то в более позднее время в лучшем случае имеются лишь свидетельства об ее явном ограничении. В аналогичном направлении эволюционировали у восточных и южных славян также судебные функции сотников, хорошо известные и по германским материалам⁸⁹. Вместе с тем источники (русские и хорватские) периода развитого феодализма свидетельствуют, что важнейшее место в деятельности сотников занимали фискальные обязанности.

3) Как на Руси, так и в Хорватии административно-территориальная единица, в рамках которой осуществлял свои функции сотник, охватывала земли нескольких поселений (в том числе иногда города — «града»). По своим размерам эта территориальная единица, подобно древнегерманским *huntari*, несомненно больше обычной соседской общины-марки, состоящей из материнского и дочерних сел. Кроме того, хорватские источники позволяют установить, что административно-территориальные единицы, представленные сотниками, имели неразделенные угодья, превосходящие по своим размерам земли, которые находились непосредственно в коллективном владении отдельных сельских общин. Другими словами, перед нами та же структура неразделенных общинных угодий, что и в германской сотне. Весьма показательно также, что не только в Хорватии, но и на Руси сотники принимали самое активное участие в решении различных дел, связанных с общинными землями. Правда, сведения о неразделенных угодьях, подобных древнегерманской *härads*, в русских источниках прослеживаются значительно менее отчетливо, зато в этих источниках интересующая нас административно-территориальная единица подчас прямо называется «сотня».

Все сказанное, очевидно, позволяет заключить, что в период развитого феодализма в Хорватии и на Руси так же, как в Германии, сохранились остатки сотенного устройства — общественной ячейки, уходящей своими корнями в далекое прошлое. В древности этой общественной ячейки нас дополнительно убеждает следующее:

1) Наличие термина «сотник» в русских и хорватских источниках X—XI вв., т. е. почти в самых ранних из сохранившихся у этих народов собственных письменных памятников.

⁸⁸ Н. Ф. Колесницкий. Указ. соч., стр. 150.

⁸⁹ Там же, стр. 149.

2) Выборность сотников — явление, ведущее, вероятнее всего, свое происхождение от времен военной демократии.

3) И, наконец, тот факт, что остатки сотенной организации наиболее прочно сохранились в крупных феодальных владениях, в княжеских землях. Одним словом, там, где архаичные формы управления могли быть легче приспособлены к новым условиям. Наиболее разрушающее воздействие на остатки сотенного устройства, по убедительному свидетельству русских источников, оказывало так же, как и в Германии, развитие иммунитета частной вотчины (особенно средних размеров).

Констатируя архаический характер сотенной организации у славян, следует вновь напомнить, что по нашим же наблюдениям наиболее прочные следы этой организации обнаруживаются на территории, сравнительно поздно заселенной ими. И в этой связи невольно возникает вопрос: не следует ли искать объяснение последнему обстоятельству в том, что сотенная организация войска, заменив родо-племенную на последней стадии развития первобытнообщинного строя, наложила отпечаток на общественно-административное устройство славян лишь на тех территориях, которые были ими заселены уже после перехода к этой новой военной системе, т. е. там, где у славян при наличии сотенной военной организации вместе с тем отсутствовали устойчивые общественно-административные территориальные ячейки, выросшие непосредственно из родо-племенного строя.

ZUR FRAGE ÜBER DIE HUNDERTSCHAFTEN («SOTNJA») ALS GESELLSCHAFTSZELLEN BEI DEN ÖSTLICHEN UND SÜDLICHEN SLAVEN IM MITTELALTER

Zusammenfassung

Es ist allbekannt, daß viele Völker auf einem bestimmten Stadium der Gesellschaftsentwicklung das Dezimalsystem der Heeresorganisation hatten. Es ist ferner bekannt, daß den auf Hundertschaften aufgebauten Militärteilen bei einzelnen Völkern auch administrative und territoriale Einheiten entsprachen (bei den alten Germanen hieß sie «huntari»).

Fachausdrücke, abgeleitet von der zweiten Einteilung des Dezimalsystems der Heeresorganisation («sotnja», «sotnik», centurio), findet man oft in den mittelalterlichen Quellen der meisten slavischen Völker. Aus diesem Grunde nahmen einige Historiker an, bei den slavischen Völkern wie auch bei den Germanen sei die Hundertschaft eine der hauptsächlichsten Gesellschaftszellen. Diese Meinung wurde aber bis jetzt nicht anerkannt. Und das geschah nicht zufällig.

Das vom Verfasser analysierte Material zwingt zu der Feststellung, daß die Hundertschaft als Militärorganisation den Gesell-

schafts- und Administrativaufbau der Slaven nur dort beeinflusste, wo die Slaven relativ spät ansässig wurden, d. h. in den nordöstlichen und nordwestlichen Teilen des ostslavischen Gebietes, sowie auch bei den Kroaten.

Zugleich zeugt die vergleichende Forschung der entsprechenden Zeugnisse der ostslavischen und kroatischen mittelalterlichen Quellen davon, daß auf zwei gegenüberliegenden Randgebieten der slavischen Welt — in Rußland und in Kroatien — das Institut der «sotniki» viele gemeine Züge hatte und eine erstaunlich ähnliche Evolution durchmachte. Im frühen Mittelalter befanden sich die «sotnik» hier und da auf einer ziemlich hohen Stufe der Sozialtreppe; in der Periode des entwickelten Feudalismus sind kroatische, russische sowie auch germanische «sotniki» nur einfache Glieder der niedrigsten Administration. Fast völlig gleich sind in Rußland und in Kroatien die Hauptfunktionen der «sotniki» und die eingetretenen Änderungen dieser Funktionen.

Sowohl in Rußland, als auch in Kroatien umfasste die administrative und territoriale Einheit, in dessen Grenzen die «sotniki» ihre Funktionen ausführten, das Gebiet mehrerer Siedlungen (darunter manchmal auch eine Stadt — «grad»). In ihren Ausmassen ist diese Territorialeinheit, wie auch die altgermanischen «huntari», zweifellos größer als die gewöhnliche nachbarliche Gemeinde-Mark, die aus einem Mutterdorf und Töchterdörfern bestand. Ausserdem lassen die kroatischen Quellen die Feststellung zu, daß die von den «sotniki» vertretenen Administrativ-Territorialeinheiten unteilbaren Boden hatten, der in seinen Ausmassen den Boden, der sich unmittelbar im Gemeinbesitz der einzelnen Landgemeinden befand, überboten. Es ist auch sehr charakteristisch, daß sowohl in Kroatien als auch in Rußland die «sotniki» aktiven Anteil an der Entscheidung verschiedener Fragen, die mit dem Gemeinboden verbunden waren, nahmen. Wohl ist es schwerlich in russischen Quellen einen der altgermanischen «härads» ähnlichen unteilbaren Boden zu finden, aber auch in diesen Quellen wird die uns interessierende Administrativ-Territorialeinheit manchmal als «Hundertschaft» (sotnja) bezeichnet.

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V Международны́й съезд славистов

(София, сентябрь 1963)

А. А. Зимин

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМАЦИОННО-ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ XIV—XVI вв.

За последние годы судьбы реформационно-гуманистического движения в России XIV—XVI вв. стали все больше и больше привлекать к себе пытливое внимание исследователей. Расширился круг ученых (историки и литературоведы, историки науки и искусствоведы), которых волнуют проблемы истории русского свободомыслия в феодальную эпоху. В трудах М. П. Алексеева и Д. С. Лихачева поставлена проблема проявления гуманизма на русской почве и намечена связь гуманистического движения с ересями конца XV—XVI вв.¹ Как показал М. Н. Тихомиров, даже такое важнейшее культурно-историческое событие, как введение книгопечатания, может быть понято только с учетом широкого распространения ересей в середине XVI в.²

В исторической литературе последних лет (работы Н. А. Казаковой, В. И. Корецкого, Л. В. Черепнина) реформационное движение рассматривается как одна из форм антифеодального протеста народных масс³. Обращаются к этим сюжетам также

¹ М. П. Алексеев. Явления гуманизма в литературе и публицистике древней Руси (XVI—XVII вв.). В сб. «Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике». М., 1960, стр. 175—207; Д. С. Лихачев. Культура русского народа X—XVII вв. М.—Л., 1961, стр. 80—81.

² М. Н. Тихомиров. Начало книгопечатания в России. В кн.: «У истоков русского книгопечатания». М., 1959, стр. 20—21.

³ Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала XV в. М.—Л., 1955; Л. В. Черепнин. Из истории еретических движений на Руси в XIV—XV вв. «Вопросы религии и атеизма», вып. VII, М., 1959; В. И. Корецкий. К вопросу о социальной сущности «нового учения» Феодосия Косого. «Вестник МГУ» (историко-филологическая серия), 1956, № 2, стр. 105—124; А. А. Зимин. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958.

историки философии, политических учений, экономической мысли, историки науки (астрономии, психологии и др.)⁴.

Среди наиболее значительных трудов в интересующей нас области в первую очередь хочется назвать фундаментальные монографии А. И. Клибанова и Я. С. Лурье, в которых подведены итоги их многолетних исследований в области истории русской общественной мысли XIV—XVI вв.⁵ Обе книги составляют своего рода гармоническое целое, дополняя одна другую. А. И. Клибанов дает читателю как бы вертикальный разрез истории реформационного движения с XIV по XVI в. включительно, останавливаясь по преимуществу на характеристике социальной и историко-философской сущности этого движения, связи его со становлением гуманизма на Руси. Основное внимание он уделяет разбору памятников, вышедших из-под пера самих волюнтерцев. В своей монографии Я. С. Лурье изучает новгородско-московскую ересь конца XV—начала XVI в. как бы в горизонтальном разрезе. Он рассматривает ее на широком фоне всех аспектов идеологической борьбы в русской литературе того времени, в тесной связи с политической борьбой периода становления централизованной государственности на Руси. Основным источником по истории ереси для Я. С. Лурье остаются сочинения ее общинников.

Проблематика русского реформационного движения волнует не только ученых Советского Союза, но и многих ученых за его пределами⁶.

⁴ История философии, т. I, М., 1957, стр. 274; Ю. Ф. Сальников. Основные направления русской общественно-политической мысли конца XV—начала XVI в. «Ученые записки Всесоюзного юридического заочного института». М., 1957, вып. III; История русской экономической мысли. М., 1955, т. 1, ч. I, стр. 129—138 (автор соответствующих разделов А. И. Пашков); Л. М. Мордухович. Очерки истории экономических учений. М., 1957, стр. 76—78 и др.

⁵ А. И. Клибанов. Реформационные движения в России в XIV—первой половине XVI в. М., 1960; Я. С. Лурье. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV—начала XVI в. М.—Л., 1960. Наличие в монографии Я. С. Лурье обстоятельного историографического раздела, посвященного новгородско-московской ереси конца XV в., избавляет от необходимости давать подробный обзор литературы по вопросам реформационного движения в России.

⁶ G. Mülpfordt. Zur Ketzergeschichte Rußland im Mittelalter. «Jahrbücher für Geschichte der UdSSR», Bd. 4, 1960; K. O n a s c h. Renaissance und Vorreformation in der byzantinischlawischen Orthodoxie. «Aus der byzantinischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik», Bd. 1. Berlin, 1957, S. 288—302; J. L. T. F e n e l l. The Attitude of the Josephians and Trans-Volga Elders to the Heresy of the Judaizers. «The Slavonic and East European Review», vol. XXIX, № 75, June, 1951, p. 486—509; G. S t ö k l. Das Echo von Renaissance und Reformation in Moskauer Rußland. «Jahrbücher für Geschichte Ost im Moskauer Rußland. «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas», Bd. 7, Hf. 4, 1959, S. 413.—430; H. P r o c h á z k o v á. Po stopách dávneho přátelství, Praha, 1959.

Словом, сделано много, причем учеными различных отраслей знания, исследователями, обладающими своеобразными творческими почерками. Поэтому настало время подвести предварительные итоги проделанной работе, уяснить себе реальные достижения последних лет, уже вошедшие в фонд нашей науки, выявить проблемы, остающиеся все еще спорными и, наконец, хотя бы наметить дальнейшие пути исследования и вопросы, которые еще ждут своего разрешения. Всему этому и посвящается доклад.

* *
*

Одна из наиболее сложных задач, с которыми сталкивается историк реформационного движения—необходимость пополнения состава источников, раскрывающих это примечательное явление в русской истории. Долгое время в обращении находился один и тот же круг сведений о русских еретиках конца XV—XVI в. Исследователи судили о взглядах русских вольнодумцев по существу только по сочинениям их идейных противников из числа воинствующих церковников. Высказывались даже сомнения, что какие-либо творения еретиков вообще будут найдены⁷. Однако в последнее время упорные поиски историков и литературоведов привели к неожиданным и очень обнадеживающим результатам. А. И. Клибанов нашел в дошедших до нас рукописных сборниках XV—XVI вв. драгоценные памятники, принадлежащие перу русских вольнодумцев. Он установил, что автором грамматического трактата «Написание о грамоте» можно считать или еретика Федора Курицына, или одного из его последователей. В «Написании» развивается передовая для того времени мысль о том, что сила человека состоит не в сумме книжных знаний, а в его разуме. Да и сама «грамота состроена от ума человеческого божим промыслом. . . И от грамоты учение и память, а крепость от ума»⁸.

Обнаруженные А. И. Клибановым приписки «еретика» Ивана Черного к Еллинскому летописцу раскрывают важные стороны идеологических представлений русских еретиков конца XV в.

А. И. Клибанов выявил и впервые изучил как памятники реформационной литературы книги «еретика» Ивана Черного, в том числе Еллинский летописец 1485 г., лествицу Иоанна Лествичника, сборник библейских книг и др. Русский вольнодумец для глосс на полях своих рукописей охотно применял особый вид тайнописи — пермский алфавит. Эта особенность рукописей Ивана Черного, равно как и некоторые другие другие палеографические данные, позволили А. И. Клибанову с достаточной убедительностью

⁷ Е. Е. Голубинский. История русской церкви. М., 1900, т. II, стр. 605.

⁸ А. И. Клибанов. Написание о грамоте. «Вопросы истории религии и атеизма». М., 1955, сб. III, стр. 377—378.

связать с именем Ивана Черного и ряд других памятников (сборник библейских книг из собрания Ундольского, № 1, книга ветхозаветных пророчеств — Ф. I, № 3). В них были обнаружены и прямые антицерковные произведения (например, сочинение против монашества) и тексты книг священного писания, помещенные глоссами «зри», «удобно» и «дивно», которые использовались еретиками в их борьбе с господствующей церковью⁹.

В сборнике библейских книг помещен перевод сочинения о мысленном рае, принадлежащего византийскому писателю Никите Стифату. Проникнутое духом мистико-аскетического богословия, это сочинение ставит задачу доказать отсутствие «чувственного рая» и утвердить представление о рае, как некоем духовном состоянии человека. В данном случае средневековая мистика использовалась как средство для критики официальных догм православия.

Ю. К. Бегунов подверг тщательному анализу кормчую, написанную другим еретиком конца XV в., братом Федора Курицына, Иваном Волком¹⁰. Я. С. Лурье удалось найти весьма интересную покаянную челобитную одного из идеологов новгородских еретиков Дениса митрополиту Зосиме¹¹. Обнаружена была и ранняя редакция сочинений И. С. Пересветова, содержащая ряд неизвестных дотоле текстов этого писателя-воинника середины XVI в.¹² Некоторые из них расширяют наши представления о социальных взглядах Пересветова, о критике им холопства и кабальной зависимости.

Это, конечно, еще сравнительно немного. Но принципиальное значение находок последних лет велико. Они позволяют по-новому подойти к старым, хорошо известным материалам. Впрочем, увеличилось и число памятников, которые, хотя и вышли из-под пера врагов ереси, но сохранили интересные сведения о драматических событиях идейной борьбы конца XV—начала XVI в. Я. С. Лурье опубликовал неизвестное дотоле послание новгородского архиепископа Геннадия и анонимное «Сказание о «скончании» седьмой тысячи», в которых содержится разбор представлений еретиков о «конце мира»¹³. Эти и некоторые другие новые памятники позволили Я. С. Лурье по-новому осветить

⁹ Опубликовано А. И. Клибановым в приложении к книге Н. А. Казаковой и Я. С. Лурье. Антифеодалные еретические движения на Руси XIV—начале XVI в., М.—Л., 1955, стр. 280—299 (Пермские глоссы), стр. 299—305 (сочинение против монашества).

¹⁰ Ю. К. Бегунов. Кормчая Ивана-Волка Курицына. «Труды Отдела древнерусской литературы» (далее — ТОДРЛ). М.—Л., 1956, т. XII, стр. 141—159.

¹¹ Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Указ. соч., приложения, стр. 386—388.

¹² Сочинения И. Пересветова. Подготовил текст А. А. Зимин, М.—Л., 1956.

¹³ Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Указ. соч., приложения, стр. 388—414.

вопрос об источниках «Просветителя» — важнейшего памятника по истории реформационного движения конца XV—XVI вв. Ю. К. Бегунов выявил и изучил такой своеобразный материал, как анафематствования повгородско-московских еретиков, которые нашли отражение в тексте соборных приговоров по делам о русских вольнодумцах¹⁴.

В настоящее время большую работу по расширению круга источников по истории реформационного движения середины XVI в. ведет В. И. Корецкий. Он обратил внимание на «Слово об Ипатии Гангрском», которое принадлежит, очевидно, известному обличителю ереси Феодосия Косого Зиновию Отенскому. В этом житии много места уделено антитринитарным спорам¹⁵.

Поиски новых источников, конечно, будут продолжаться и в последующий период. Особенно следует обратить внимание на так называемые анонимные памятники, «слова» и «поучения», приписываемые отцам церкви. Некоторые из подобных «переводов» на самом деле являются или коренной переработкой оригиналов или даже просто самостоятельными произведениями, безвестные сочинители которых лишь прикрылись авторитетным именем «отцов церкви».

Введение в научный оборот новых памятников сочетается с тщательным источниковедческим анализом хорошо известных источников. Мастерский исторический анализ более ста сохранившихся списков «Просветителя» позволил Я. С. Лурье проследить историю его текста в связи с идейно-политической борьбой в Русском централизованном государстве. В настоящее время следует усовершенствовать методы источниковедческого анализа произведений, вышедших из-под пера воинствующих церковников. В самом деле, в какой степени можно доверять показаниям идейных врагов русских вольнодумцев? Каковы критерии проверки достоверности сведений, почерпнутых из официальной церковной литературы? Я. С. Лурье делит произведения врагов ереси на обличительные сочинения, имевшие целью обвинить и опорочить еретиков (такие, как соборный приговор 1490 г.) и полемические, «целью которых был реальный спор с конкретным противником». Название «обличительные сочинения» для судебного-следственных материалов, на наш взгляд, не совсем удачно. К тому же и они, не в меньшей степени, чем полемические, имели дело с живыми противниками, хотя разница между этими типами источников велика¹⁶.

Дело усложняется, если мы вспомним, что к XV—XVI столетиям сложилась многовековая традиция борьбы с ересями.

¹⁴ Ю. К. Бегунов. Соборные приговоры, как источник по истории повгородско-московской ереси. ТОДРЛ, М.—Л., 1957, т. XIII, стр. 214—224.

¹⁵ Работа В. И. Корецкого печатается в XI томе «Вопросы истории религии и атеизма».

¹⁶ Я. С. Лурье. Идеологическая борьба, стр. 122.

Поэтому, обвиняя своих идейных противников в антиринита, ризме или других отступлениях от ортодоксального христианства-русские обличители часто приписывали им те взгляды, которые высказывались еще противниками раннего христианства или «еретиками» X—XIV вв. Так, Зиновий Отенский приводит следующее рассуждение, якобы принадлежавшее Феодосию Косому: крест, как и всякое дерево, святости не имеет. Ведь если кто-нибудь убьет сына какого-либо человека палкой, то не будет же отец убитого любить эту палку. Он даже возненавидит того, кто любит ее и целует. Так и бог ненавидит крест, ибо на нем убит его сын и гневается на тех, кто его почитает¹⁷. Но это рассуждение совпадает целиком и полностью с аргументами богомилов, излагавшимися пресвитером Козьмой (X в.)¹⁸. Известно, что Козьму Пресвитера с интересом читали русские еретики конца XV в.¹⁹ Один из сохранившихся текстов этого произведения относится именно к этому времени²⁰. Перед исследователем встает сложная задача — попытаться определить, взял ли Зиновий всю эту аргументацию из сочинений Козьмы, зная выступления русских еретиков против поклонения кресту, или Феодосий Косой был знаком с рассуждениями богомилов, а быть может, он самостоятельно пришел к аналогичным выводам.

Решить этот и подобные вопросы можно не только путем перекрестных сопоставлений источников (контрреформационных и реформационных), но и путем изучения самой сущности реформационного движения на том или ином этапе. Для этого нельзя рассматривать взгляды Феодосия Косого или, скажем, Федора Курицына изолированно, а необходимо посмотреть, как те представления, которые им приписываются, соотносятся с уровнем общественно-политической мысли изучаемого времени, с предшествующим и последующим этапами антицерковных движений. Но и этого мало. В последнее время ставится более широкая задача — сравнительно-историческое изучение реформации во всех европейских странах и особенно в странах Восточной и Центральной Европы²¹. Это, конечно, поможет разобраться и в уровне развития реформационных идей в различных странах и лучше понять характер сохранившихся источников и вопросы культурной и идеологической взаимосвязи между народами.

¹⁷ Зиновий Отенский. Истини показания. Казань, 1869, стр. 509—510.

¹⁸ Козьма Пресвитер. Слово на еретики. «Памятники древней письменности». СПб., 1907, т. 167, стр. 8.

¹⁹ Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Указ. соч., стр. 320.

²⁰ М. Г. Попруженко. Козма Пресвитер и новгородские еретики XV в. Сборник в честь проф. Л. Милетич. София, 1933, стр. 321—333.

²¹ А. Л. Хорошкевич, рец. на кн. А. И. Клибанова. Реформационные движения в России. «История СССР», 1961, № 4, стр. 202.

Как известно, Иосиф Волоцкий связывает само возникновение еретического движения в Новгороде с приездом из Киева в свите литовского князя Михаила Олельковича некоего Схарии²². Правда, в последнее время раздаются голоса, считающие этого Схарию мифической личностью на том основании, что имя его упоминается только в сравнительно позднем источнике — «Сказании о новоявившейся ереси», сложившемся около 1503 г.²³ С этим трудно согласиться. Вряд ли прибытие Схарии могло быть измышлено Иосифом Волоцким для обвинения еретиков в «иудействе», просто оно было им использовано в тех же целях²⁴. Можно в этой связи привести один малоизвестный факт, на который обратил внимание Д. Богдан: сестрой Михаила Олельковича, с которым приехал из Киева Схария, была мать «еретички» Елены Стефановны²⁵. Исследователи считают, что ко времени правления Михаила Олельковича в Киеве могут относиться те элементы ренессанса, которые обнаруживались в украинской культуре конца XV в.²⁶

Примечателен и еще один факт. В октябре 1490 г. Геннадий сообщал митрополиту Зосиме, что ересь в Москве началась, «как Курицын из Угорские земли приехал»²⁷. Федор Курицын находился в посольстве в Молдавии и Венгрии в 1482—1484 гг., где протекала деятельность так называемых «чешских братьев». Возможно, что общение с гуситами оказало влияние на формирование его взглядов²⁸. Во всяком случае, в настоящее время уже доказано, что за рубежом Курицын познакомился с легендами о Владе Цепеше, на основе которых он создал такое замечательное произведение, как «Повесть о Дракуле»²⁹.

В середине XVI в. Матвея Башкина обвиняли в том, что он свое «злое учение. . . перенял от Литвы», точнее от «латынников» — аптекаря Матюшки и Андриюшки Хотеева³⁰. Конечно, осифлян-

²² Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Указ. соч., стр. 469.

²³ Я. С. Лурье. Идеологическая борьба, стр. 129 и след.

²⁴ Попытки Эттингера найти черты иудейзма в учении русских реформаторов конца XV в. не опираются на сколько-нибудь серьезное исследование источников и свидетельствуют лишь о крайней тенденциозности их автора. S. Ettinger. *Yewish Influence on the Religious Ferment in Eastern Europe at the End of the Fifteenth Century*—F. Jitzhak Bauer Jubilee Volume. Jerusalem, 1960, p. 228—247.

²⁵ D. Bogdan. *Pomeñnicul dela Bistrița și dela Kiev și dela Moscova ale lui Ștefan cel Mare*. București, 1940, p. 14—19.

²⁶ См. рец. М. Ноерфнер на кн.: «D. Čiževsky. Istorija ukrajinskoj literatury, Bd. II, Praga, 1942». «Zeitschrift für slawische Philologie», Bd. XIX, Hf. 2, S. 463—468.

²⁷ Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Указ. соч., стр. 377.

²⁸ V. Stroeov. *Zur Herkunftsfrage der Judaisierenden*. «Zeitschrift für slavische Philologie», 1934, Bd. XI, H 34, S. 341—345.

²⁹ Я. С. Лурье. Идеологическая борьба, стр. 400 и след.

³⁰ ПСРЛ, т. XIII, 1-я полов., стр. 232. — «Матюшка-аптекарь» — это, конечно, тот самый Матиас Лях, с которым вел полемику об иконах дьяк Иван Висковатый.

ские гонители вольнодумия с нарочитостью стремились доказать иноземное происхождение «еретических» идей. Однако этим не снимается необходимость сравнительного изучения характера реформационных движений в странах Восточной Европы и возможности идейного воздействия передовых реформационных идей на развитие русского свободомыслия XV—XVI вв.

Совсем недавно Г. Штекль, ограничившись лишь констатацией фактов пребывания Федора Курицына в Молдавии и Пересветова в Литве, сделал отсюда вывод о том, что на Руси XV—XVI вв. можно обнаружить лишь отзвук или эхо европейских реформационных идей³¹. Однако к одним фактам биографии Федора Курицына и Ивана Пересветова сводить дело очень трудно. Необходимо тщательное сравнение самих представлений русских вольнодумцев со взглядами их собратьев из других европейских стран.

Есть еще один немаловажный момент. Источники, вышедшие из-под пера врагов ереси, входят в состав полемической литературы или являются судебно-следственными материалами. Отсюда проистекает необходимость изучения особенностей древнерусской полемики и древнерусского судопроизводства. Знание не специфических черт этих разновидностей источников поможет выяснить степень достоверности изложения взглядов еретиков их идейными противниками. В настоящее время Н. А. Казакова ведет плодотворную работу по изучению материалов судебных процессов по делу о Максиме Греке и Василии Патрикееве.

В средние века, когда существовало «верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности», все революционные доктрины представляли собою одновременно и богословские ереси³². Борьба шла вокруг церковных догматов, которые одновременно являлись и политическими аксиомами. В сочинениях русских вольнодумцев XV—XVI вв. тексты из «священного писания» и их интерпретация занимают центральное место. Взгляды Ивана Черного, например, приходится реконструировать на основе библейских и других текстов, выделенных им пометками «зри», «дивно», «удобно». Собственные представления Волка Курицына в его «Мериле Праведном» могут быть восстановлены лишь при сопоставлении кормчей, написанной его рукою, с другими текстами этой редакции, а также с редакциями, бытовавшими в осифлянской среде. Отсюда очень существенно установить, в какой степени мы имеем право отождествлять взгляды того или иного вольнодумца с идеями, развивавшимися

³¹ G. Stöckl. Das Echo von Renaissance und Reformation im Moskauer Russland. «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas», 1959, Bd. 7, Hf. 4, S. 413—430.

³² Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 360—361.

в тех произведениях, которые он переписывал или включал в свои сочинения.

Историю русского реформационного движения можно разделить на три этапа, имеющие свои специфические черты. Первый этап — конец XIII—середина XV в. Он еще может быть характеризован как предреформационный. Многие особенности русских ересей этого периода были впервые раскрыты Н. А. Казаковой, А. И. Клибановым и Л. В. Черепнинным.

В конце XIII—первой половине XIV в. в обстановке антифеодальных и противомонгольских выступлений в Новгороде, Ростове, Твери и других русских городах возникают антицерковные движения. Уже тогда намечаются два пути церковной реформы: один из них состоял в стремлении «сверху» достигнуть централизации церкви, упорядочения системы культа и ликвидации наиболее вопиющих злоупотреблений духовенства. Эта реформа должна была осуществляться на чисто феодальной основе. Другой путь избирали представители демократических слоев русского общества, в том числе и социальных низов, предусматривая ликвидацию самой церковной иерархии и монашества. Именно он и являлся реформационным, а проводиться он должен был на антифеодальной основе³³.

Владимирский церковный собор 1274 г. и Переяславский собор 1312 г. созывались в обстановке подъема антицерковного движения. Смысл этого движения состоял в протесте против симонии («поставления по мзде») и в требовании удешевления и демократизации церкви. Идейное обоснование предлагавшимся реформам содержалось в сочинениях, проповедующих начала того религиозного индивидуализма и рационализма, которые позднее нашли развитие в учениях еретиков конца XV в. и особенно в «новом учении» Феодосия Косого. В изданном недавно «Слове о живых учителях» (около 1274—1312 гг.) А. И. Клибанов справедливо усматривает наличие критики духовенства, доведенной до отрицания самого института церкви³⁴. Именно в этом сказывается стихийный антицерковный протест представителей демократических кругов русского общества.

Правда, в конце XIII—первой половине XIV в. подобные явления были еще эпизодами, но уже сам факт их существования весьма примечателен.

Первое более или менее широкое антицерковное движение, связанное с народными массами, падает на вторую половину XIV—первую половину XV в. В литературе оно получило наименование «стригольников». Это название, вероятно, произошло от особой (дьяческой) стрижки для мирских людей, незаконно присваивавших себе роль священника. Ношение этой стрижки,

³³ А. И. Клибанов. Реформационные движения, стр. 93—94.

³⁴ Е го же. Слово о живых учителях. «Исследования и материалы по древнерусской литературе». М., 1961, стр. 300—312.

пишет А. И. Клибанов, было своеобразным «символом принципиального отрицания священства как таинства»³⁵.

Ересь стригольников получила распространение в Новгороде и Пскове, т. е. в городах со сравнительно высоким уровнем развития экономики. Здесь дело доходило до открытых действий еретиков против официальной церкви³⁶.

В борьбу с русским вольномыслием уже в конце XIV в. включается константинопольский патриарх Нил, написавший около 1382 г. специальное послание с критикой стригольничества³⁷. Стригольники не признавали церковную иерархию как поставленную «по мзде». Они подвергали жестокой критике весь строй жизни духовенства, его пьянство, сребролюбие и стяжательную деятельность. Этот тезис лишь позже, в конце XV в., доведен до отрицания прав духовенства на владение недвижимым имуществом. Учение стригольников было проникнуто духом рационалистической критики церковной литературы, стремлением опереться на авторитет «Евангелия». Стригольники отвергали ряд таинств православной церкви (причащения, крещения и покаяния), что являлось следствием отрицания духовенства как особого сословия³⁸. Феодальной церкви стригольники противопоставляли «дешевую церковь», лишенную богатств, пышных обрядов и касты духовенства. Их движение, следовательно, представляло городскую ересь, которая требовала восстановления строя раннехристианской церкви и упразднения корпоративной замкнутости сословия священников.

Мистику таинств они хотели заменить «книжными словесами», подобранными из евангельских и других священных текстов. Это уже был новый элемент в антицерковном движении. Антицерковные выступления дополняются критикой христианских «таинств» и охватывают более широкие круги городского населения.

Если о стригольниках в литературе упоминалось уже давно, то о выступлениях еретиков XIV—XV вв. в других русских городах до последнего времени вообще ничего не было известно. Но оказывается, что в конце XIV в. в Ростове жил некто Маркиан, который высказывал антиринитарные и иконоборческие мысли³⁹.

А. И. Клибанов обнаружил следы религиозного критицизма в тверской литературе второй четверти XIV в. И это совершенно естественно, ибо Тверь тогда после Москвы была самым развитым

³⁵ А. И. Клибанов. Реформационные движения, стр. 135.

³⁶ Л. В. Черепнин. Из истории еретических движений на Руси в XIV—XV вв. «Вопросы истории религии и атеизма». М., 1959, сб. VII, стр. 257 и след.

³⁷ Н. А. Казакова и Я. С. Дурье. Указ. соч., стр. 233—234.

³⁸ Н. А. Казакова и Я. С. Дурье. Указ. соч., стр. 46—48.

³⁹ А. И. Клибанов. Реформационные движения, стр. 157—166.

в экономическом отношении городом Северо-Восточной Руси⁴⁰. Уже в полемике тверского епископа Федора Доброго с новгородским архиепископом Василием Каликой⁴¹ (середина XIV в.) А. И. Клибанов нашел отзвуки варлаамо-паламитских споров, происходивших незадолго до этого в Византии. Василий Калика в духе реакционного учения Григория Паламы отстаивал зримость «царства божия», т. е. возможность опытного познания сверхъестественных явлений. Б. А. Рыбаков считает, что представления Василия Калики, проникнутые идеей земного рая, шли вразрез с католическими представлениями⁴². Стремление Калики объяснить сверхъестественные явления земными Л. В. Черепнин рассматривает как известное воздействие на него народной (антифеодальной) идеологии⁴³. Так или иначе, но паламитские идеи на новгородской почве приобретали иной оттенок, чем в Византии.

В противоположность Калике Федор Добрый утверждал, что земной рай погиб и существует только как «мысленный», т. е. как духовное состояние человека. Он, следовательно, пытался рационалистически переосмыслить христианско-православное вероучение. Паламиты стремились вовлечь русскую церковь в борьбу с Варлаамом. Последний после своего отъезда из Византии сделался учителем Петрарки и Бокаччо, сыграв, видимо, роль в становлении гуманистической мысли в Италии. «Идеи Варлаама, — пишет А. И. Клибанов, — оказываются источником, общим для интересов итальянских гуманистов и передовых русских людей в первой половине XIV в.»⁴⁴.

Эпизод с Федором Добрым не был единственным. Во второй половине XIV в. в Твери выступал с критикой церковных институтов епископ Ефимий Вислень. Но все эти выступления отличались от движения стригольников тем, что они не затрагивали всю совокупность церковных догматов. Такие представители высшей иерархии, как Федор Добрый и Ефимий Вислень, не были заинтересованы в демократическом решении вопросов реформы церкви. Широтой воззрений отличался замечательный русский путешественник Афанасий Никитин. Он фактически сводил понятие правой веры к монотеизму: «праву веру, — писал он, — бог ведаеть, а правая вера бога единого знати, или его призывать на всяком месте чисту»⁴⁵.

⁴⁰ А. М. Сахаров. Города Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. М., 1959, стр. 114.

⁴¹ ПСРЛ, т. XXI, ч. II, стр. 388—390.

⁴² Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948, стр. 770.

⁴³ Л. В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV веках. М., 1960, стр. 529.

⁴⁴ А. И. Клибанов. Реформационные движения, стр. 150—151.

⁴⁵ Хождение за три моря Афанасия Никитина 1466—1472 гг. М.—Л., 1958, стр. 27.

А. И. Клибанов и Я. С. Лурье сопоставили взгляды Афанасия Никитина с мыслями новгородских и московских реформаторов конца XV в.⁴⁶ Это сопоставление не во всех звеньях является достаточно убедительным⁴⁷. Но несомненно прав А. И. Клибанов, считающий, что религиозная веротерпимость Никитина перерастала в проповедь идеи равенства вер и народов. Характерно, что клерикальный редактор «Хождения за три моря», живший в XVII в., подверг весь текст этого памятника сильной редакционной правке с целью искоренения из него следов вольнодумия.

Наибольшего подъема реформационное движение достигло в конце XV—начале XVI вв., т. е. на его втором этапе. Это было время, когда, по словам Иосифа Волоцкого, «и в домах и на путех и на тръжищех иноци и мръстии и вси сомняться, вси о вере пытаются. . . от еретиков»⁴⁸. В этот период два основных очага движения находились в наиболее экономически развитых центрах Руси — Новгороде и Москве⁴⁹.

Традиции вольномыслия в Твери не умерли и в XV веке. Следы религиозного брожения, тринитарных споров в 70-х—80-х годах обнаруживаются и там. Здесь, как можно судить по посланию Иосифа Волоцкого архиепископу Вассиану, еретики пытались «троицу утаити»⁵⁰. Как мы попытаемся показать ниже, возможно, тверские вольнодумцы были связаны с московскими «еретиками».

Социальный состав и идеологическая направленность новгородского и московского кружков были неодинаковы. В Новгороде еретиками были по преимуществу представители белого духовенства⁵¹. Здесь связь вольнодумцев с городскими массами несомненна. Ведь плебейской части духовенства, как выходцам из бюргерской или плебейской среды горожан, были достаточно близки условия жизни народа. Из их рядов не только на Руси, но и в других европейских странах выходили теоретики и идеологи еретических движений. Поэтому антифеодальные и в первую очередь реформационные мотивы в новгородском кружке звучали особенно четко. Именно здесь отчетливо раздавались голоса антитринитариев, возникали христологические сомнения, критиковались иконопочитание и симония.

⁴⁶ Я. С. Лурье. Афанасий Никитин и русская общественная мысль XV в. В кн.: «Хождение за три моря Афанасия Никитина 1466—1472 гг.». М.—Л., 1958, стр. 138 и след.

⁴⁷ Н. К. Гудзий. Рец. на кн. А. И. Клибанова. «Известия Отделения русского языка и литературы», т. XX, вып. 6, 1961, стр. 371—378.

⁴⁸ Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Указ. соч., приложения, стр. 429, 506.

⁴⁹ Там же, стр. 436, 438.

⁵⁰ Послания Иосифа Волоцкого, М.—Л., 1959, стр. 142.

⁵¹ А. А. Зимин. О политической доктрине Иосифа Волоцкого. ТОДРЛ. М.—Л., 1953, т. IX, стр. 164; Ю. К. Бегунов. Соборные приговоры, стр. 215; Я. С. Лурье. Идеологическая борьба, стр. 179—180.

Несколько отличалась идеология «московского» кружка. Среди лиц, обвинявшихся в еретическом вольномыслии, мы находим великую княгиню Елену Стефановну, главу Посольского приказа Федора Курицына и его брата Ивана Волка, сына боярского Митю Коноплева, двух купцов (Игната Зубова и Семена Клепова) и, наконец, чиновников-дьяков, писцов и т. д.⁵² Все они миряне, а не представители духовенства. Московские и тверские вольнодумцы подвергали критике отдельные стороны церковных преданий. Единой идеологии у них не было. Одни из еретиков выступали против монашества, другие, вероятно, отрицали только право монастырей на владение недвижимой собственностью.

Судя по пометам Ивана Черного, в московском кружке высказывались резкие суждения против почитания «икон» как кумиров, проповедовались евангельские идеи любви к ближнему⁵³. Так, в приписке к Еллинскому летописцу Иван Черный писал, ссылаясь на «писание» (евангелие): «весь закон единым словом скончается, ежи любити бога и ближнего»⁵⁴. Пожалуй, самое интересное в идеологии русских вольнодумцев конца XV в. — связь реформационных и гуманистических идей. Кружок Федора Курицына и Ивана Черного Д. С. Лихачев считает даже кружком гуманистов⁵⁵. Проповедь Федора Курицына о «самовластии души», т. е. идеи абсолютной ценности человеческой личности, перекликалась с известным манифестом итальянских гуманистов XV в. «Речь о достоинстве человека» Джованни Пико делла Мирандола⁵⁶.

Одной из наиболее сложных проблем русского реформационного движения конца XV—начала XVI в. является его политическая программа. Неоднородность социальной базы движения в условиях острой борьбы за создание единого государства несомненна.

Как известно, в 70—80-е гг. XV в. Иван III склонен был осуществить некоторые из требований новгородских вольнодумцев (он перевел из Новгорода в Москву и сделал протопопами кремлевских соборов «еретиков» Дениса и Алексея). Секуляризационные выводы из еретических учений отвечали реальным социально-политическим устремлениям великокняжеской власти, которая с 1475—1476 по 1499 гг. неоднократно проводила конфискацию

⁵² Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Антифеодальные еретические движения, приложение, стр. 380—381, 471—473.

⁵³ А. И. Клибанов. Указ. соч., стр. 228—151; Я. С. Лурье. Идеологическая борьба, стр. 172—178.

⁵⁴ Н. А. Казакова и Я. С. Лурье. Указ. соч., приложение, стр. 280.

⁵⁵ Д. С. Лихачев. Культура русского народа X—XVII вв. М.—Л., 1961, стр. 80—81.

⁵⁶ А. И. Клибанов. Указ. соч., стр. 342, 348—350.

громадных земельных богатств владыки и крупнейших новгородских монастырей⁵⁷. В современной историографии нет еще установившегося единого представления о политической ориентации «московского» кружка еретиков. Некоторые исследователи считали его рупором «старого боярства»⁵⁸, другие обратили внимание на наличие среди его представителей дворянских и купеческих элементов⁵⁹. Не вдаваясь в разбор сложной политической ситуации конца XV—начала XVI вв., отмечу лишь следующее. В острой династической борьбе претендентов на московский великокняжеский трон сложились две группы феодальной знати: знаменем одной явился Дмитрий — внук Ивана III, второй — Василий Иванович, сын Софьи Палеолог. Еще отец Дмитрия Иван Иванович Молодой после присоединения Твери в 1485 г. был пожалован тверским княжением⁶⁰. Напомню, что он приходился по матери внуком великого князя тверского Бориса Александровича, а его жена была племянницей супруги последнего Тверского князя Михаила Борисовича. Тверь сделалась, очевидно, надолго опорой семьи Ивана Ивановича Молодого. Здесь, кстати, в судебных делах этого князя принимал участие и Федор Курицын после своего возвращения из Венгрии⁶¹. После смерти Ивана Ивановича Молодого (март 1490 г.) Тверь была передана не его малолетнему сыну Дмитрию, а Василию Ивановичу⁶². Речь шла, очевидно, о последовательном наступлении на остатки тверской обособленности. Василий Иванович уже именуется не «великим князем», как его предшественник, а просто князем⁶³. В 1492 г. в Тверь были посланы писцы —

⁵⁷ Подробнее см. В. Н. Бернадский. Новгород и новгородская земля в XV веке. М.—Л., 1961, стр. 314 и след.

⁵⁸ Н. М. Никольский. История русской церкви. М., 1931, стр. 140; И. И. Смирнов. Рец. на кн. К. В. Базилевича. «Вопросы истории», 1952, № 11, стр. 142—143 (этой точки зрения в свое время придерживался и автор настоящих строк).

⁵⁹ Я. С. Лурье. Идеологическая борьба, стр. 183.

⁶⁰ Полное Собрание Русских Летописей, т. XV, стр. 500; Псковские летописи, вып. 1, стр. 126.

⁶¹ Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XV в., т. I, М., 1952, № 513.

⁶² Он выдает и подтверждает тверские грамоты в октябре 1490 г. (Акты Юшкова, № 333) и в 1490—1491 гг. (АСЭИ, т. II, № 281). На эти факты мое внимание обратил Б. Н. Флоря, которому я, пользуясь случаем, выражаю свою глубокую благодарность.

⁶³ Это можно проследить не только на актовом, но и нумизматическом материале. На смену тверским монетам с надписью «Великого князя Ивана Ивановича» приходят монеты Василия Ивановича уже без слова «великого». А. Орешников. Русские монеты до 1547 г. М., 1898, № 313—330, ср. № 331—332; е го же. Материалы о русской нумизматике доцарского периода. М., 1901, № 7. Достоверных данных о чеканке монет Дмитрия Ивановича у нас нет. (Ср. А. В. Орешников. Две древнерусские монеты. «Археографические известия и занятия», 1897, т. V, стр. 383—385).

«писати по московски в сохи»⁶⁴. Утверждение московских порядков, связанное с деятельностью Василия Ивановича, конечно, не могло прийтись по вкусу сторонникам сохранения тверских вольностей. И совершенно естественно, что свои чаяния они связывали с именем Дмитрия Ивановича, «законного» претендента на тверское княжение.

Коронация в 1498 г. Дмитрия Ивановича означала полное признание его прав на Тверь и была встречена с энтузиазмом всеми его сторонниками. Вероятно, в связи с венчанием 1498 г. создается «Сказание о князьях владимирских» (в первоначальной редакции)⁶⁵. Это Сказание и связанное с ним «Послание тверича Спиридона-Саввы», как обратили внимание Р. П. Дмитриева и Я. С. Лурье, основано во многом на тверской литературной традиции⁶⁶. Идею о происхождении московских государей от римского «кесаря» Августа сторонники Елены Волошанки и Дмитрия-внука противопоставили византийским традициям Софьи Палеолог. Ведь еще при дворе Стефана Великого придворные сочинители усиленно расцветывали легенду о происхождении молдаван от римлян. Теперь получалось, что от римского императора ведет свой род и сам монарх «всей Руси». Для реформаторов кружка Елены Стефановны эта мысль была соблазнительной еще и потому, что превращала Дмитрия-внука в наследника императоров раннехристианских времен в противовес «испроказившимся» грекам и латинянам. При дворе Дмитрия-внука составлена была в 1498 г. особая редакция тверского летописного свода, пополненная как московскими, так и тверскими известиями⁶⁷.

Уже Я. С. Лурье подметил, что в похвальном «слове», приписанном иноку Фоме, упоминалось о венчании «царским венцом» тверского «самодержца» Бориса Александровича, а на монетах его сына находится уже тот самый двуглавый орел, который появляется на печати Ивана III только в 1497 г. Кстати говоря, эта печать привешена к грамоте, составленной Федором Курицыным в присутствии бояр И. Ю. и В. И. Патрикеевых⁶⁸.

⁶⁴ ПСРЛ, т. 26, стр. 287.

⁶⁵ А. А. З м и н. Рец. на кн. Р. П. Дмитриевой. Сказание о князьях владимирских. «Исторический архив», 1956, № 3, стр. 236—237.

⁶⁶ Я. С. Л у р ь е. Рец. на кн. Р. П. Дмитриевой. Сказание о князьях владимирских. «Известия Академии наук. Отделение литературы и языка», т. XV, вып. 3, 1956; Р. П. Д м и т р и е в а. О некоторых источниках «Послания Спиридона Саввы». ТОДРЛ, т. XIII, стр. 443—445.

⁶⁷ А. Н. Н а с о н о в. Летописные памятники тверского княжества. «Известия АН СССР», VII серия, 1930, № 10, стр. 741 (АСЭИ, т. 1, № 518, 519, 535. Иван Иванович был в Твери в 1485 и 1488 гг.).

⁶⁸ Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.—Л., 1950, № 85, стр. 344; Я. С. Л у р ь е. Идеологическая борьба, стр. 360, 361, 391.

Тверская группировка Дмитрия-внука и близких к ним Патрикеевых и Ряполовского⁶⁹ во внешней политике являлась сторонниками сближения с Литвой⁷⁰. В этой связи можно вспомнить и факт тесных родственных связей Елены Стефановны с князьями литовского дома, на который мы уже обращали внимание. Изучение тверской среды, поддерживавшей еретический кружок Федора Курицына и Елены Стефановны, интересно и потому, что помогает установить преемственность их идей. Как установил А. И. Клибанов, традиции еретического волюнтаризма в Твери имели глубокие корни, а в конце XV в. именно Тверь была одним из очагов реформационного движения⁷¹. В год тверского взятия (1485 г.) «еретик» Иван Черный, вероятно по распоряжению Ивана III, переписал «Еллинский летописец» в связи с возросшим интересом к предьстории величия Москвы. Отмечая этот факт, Л. В. Черепнин поставил очень интересный вопрос: не делал ли Иван III «попытки приблизить к себе и тверских еретиков»⁷². К сожалению, конкретных данных о составе тверских еретиков у нас нет, но благожелательное отношение московского великого князя в 80—90-х годах XV в. к их высоким покровителям из семьи Ивана Ивановича Молодого очевидно.

Сейчас еще трудно точно определить, какие силы стояли за спиной княжича Василия и Софьи Палеолог. Уже С. Б. Веселовский обратил внимание на проуглицкие симпатии одного из наиболее преданных их сторонников — Владимира Гусева⁷³. Возможно, глухое упоминание одной из летописей о том, что сторонники Василия хотели пограбить цареву казну на Вологде и Белоозере, может указывать и на стремление их обосноваться в этих старых удельных центрах⁷⁴. Совершенно определенно поддерживал Софью Палеолог новгородский архиепископ Геннадий, находившийся в тесных связях с ее боярами — греками Траханиотами. Поэтому пожалование 21 марта 1499 г. Василия Ивановича великим княжением Новгородом и Псковом было, вероятно, подготовлено предшествующими контактами княжича

⁶⁹ Интересно, что после того, как в феврале 1498 г. в опалу попали Патрикеевы и Ряполовский, в апреле того же года «пойман» был некий «тверитин» Андрей Горобов (ПСРЛ, т. XXVI, стр. 291). Зато врагом Твери, очевидно, был Владимир Гусев, один из лидеров группировки, выдвигавший кандидатуру Василия Ивановича. Еще в 1483 г. тверичи не пустили его в свой город (ПСРЛ, т. XV, стр. 499).

⁷⁰ Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. 2, М., 1951, стр. 315, 316; Р. В. Базилевич. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV в. М., 1952, стр. 374.

⁷¹ А. И. Клибанов. Реформационные движения, стр. 180 и след.

⁷² Л. В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. М., 1960, стр. 895.

⁷³ С. Б. Веселовский. Владимир Гусев — составитель Судебника 1497 г. «Исторические записки», 1939, кн. 5, стр. 39—40.

⁷⁴ ПСРЛ, т. VIII, стр. 234.

с новгородцами⁷⁵. Зато у псковичей, давнишних новгородских недругов, это вызвало явный протест. Псковичи не дали Геннадию совершить службу, потому что он якобы хотел «молити бога за князя великого Василья». Противоборство псковичей вызвало недовольство Ивана III, который жестоко наказал направленную к нему псковскую депутацию⁷⁶.

Своеобразное «равновесие сил» между двумя претендентами на московский престол продолжалось три года (до апреля 1502 года⁷⁷) и закончилось полным торжеством княжича Василия и Софьи Палеолог. Падение кружка Елены Стефановны объясняется в первую очередь его пролитовской ориентацией, которая в обстановке начавшейся войны с Великим княжеством Литовским стала противоречить внешнеполитическому курсу Ивана III. Словом, за столкновением Ивана III в конце XV—начале XVI вв. с княжичем Василием, а затем с Дмитрием, возможно, скрывается последняя вспышка борьбы тех же самых сил, которые выступали еще во время феодальной войны третьей четверти XV в., когда Москве противостоял углицко-новгородский блок при благожелательном нейтралитете Твери.

Третий период реформационного движения в России относится к середине XVI в. и совпадает по времени с волной городских восстаний и выступлений крестьян. Правительство Алексея Адашева, в котором большим влиянием пользовался фактический глава нестяжателей протопоп Сильвестр, стремилось провести мероприятия по укреплению централизованного государства за счет наступления на привилегии монастырей-вотчинников. Снова, как и в 1503 г., встал вопрос о ликвидации недвижимой собственности черного духовенства. И на этот раз питательной средой секуляризационных идей явилось реформационное движение.

Но время было другое — иные мотивы звучали и в еретических учениях. Только в середине XVI в. внутри реформационного движения происходит размежевание направлений, в результате которого возникает так называемая плебейская ересь. Ее идео-

⁷⁵ ПСРЛ, т. VI, стр. 243; т. VIII, стр. 237.

⁷⁶ Псковские летописи, вып. I, стр. 83. Возможно, только 29 июня Василий Иванович официально провозглашен великим князем (ПСРЛ, т. XXVI, стр. 291).

⁷⁷ Впрочем, уже в марте—августе 1501 г. Василий Иванович именовался великим князем «всех Руси» (АСЭИ, т. I, № 637; т. II, № 305), т. е. титулом, ранее присвоенным Дмитрию-внуку. Возможно, этот поворот произошел в 1499—1500 гг., когда Василий Иванович «отъехал» в Вязьму, а его отец в результате всего «даша ему великое княжение над собою, а князя Дмитрия поймаша и с матерю. Я. С. Л у р ь е. Первые идеологи московского самодержавия. «Ученые записки ЛГУИ», т. 78. Л., 1948, стр. 99). Во всяком случае, в феврале 1501 г. Дмитрий-внука упоминается в Посольских книгах уже после Василия Ивановича. На этот факт мое внимание обратил Б. Н. Флоря (сб. РИО, т. 35, стр. 310, 324).

логом выступает Феодосий Косой⁷⁸. Если ранее социальные и политические представления реформаторов облекались по преимуществу в богословские одежды и выступали в виде борьбы по догматическим вопросам, то Феодосий Косой сформулировал требования равенства народов и отрицал всю систему феодального господства и подчинения. Был; таким образом, сделан логический вывод из догматических споров: социальные и политические идеи, призванные переустроить общество, в учении Косого отчетливо видны сквозь богословские одежды.

Середина XVI в. была отмечена подъемом реформационного движения не только в России, но и в ряде других славянских стран, в том числе и в Польше. На Руси, как и в Польше, в силу слабости экономического развития города идеологами этого движения выступали наиболее дальновидные представители дворянства (Матвей Башкин). Приближался к этим реформаторам и самый блестящий представитель русской общественной мысли XVI в. И. С. Пересветов. Еще не все в творчестве Пересветова вполне ясно. Отдельные его суждения по-разному оцениваются исследователями. Для Г. Э. Прохазковой Пересветов — «борец за равенство и свободу всего народа», который почти вплотную подходил к идеалам чешских гуситов⁷⁹. Зато А. Л. Саккетти вообще отказывается видеть в мировоззрении Пересветова какие-либо следы вольнодумия⁸⁰. Если даже не впадать в подобные крайности, то все же в сочинениях Пересветова можно обнаружить следы начавшегося процесса высвобождения общественной мысли из пут церковной идеологии. И дело даже не в том, что пересветовское «не веру бог любит, а правду» противоречило ортодоксальному православию. Весь строй мысли этого писателя-воинника с его апелляцией к мудрому правителю и «правде», как основе светского правопорядка, ставит Пересветова в один ряд с такими выдающимися европейскими идеологами сильной королевской власти, как Макиавелли, Жан Боден, Ульрих фон Гуттен и Андрей Фрич Моджевский⁸¹.

⁷⁸ Р. Г. Лапшина. Феодосий Косой — идеолог крестьянства XVI в. ТОДРЛ, т. IX. М.—Л., 1953, стр. 235—250; Д. К. Шелестов. Свободо-мыслие в учении Феодосия Косого. «Вопросы истории религии и атеизма». М., 1959, сб. II, стр. 194—217; В. И. Корецкий. К вопросу о социальной сущности «нового учения» Феодосия Косого. «Вестник МГУ» (историко-филологическая серия), 1956, № 2, стр. 105—124; А. А. Зимин. И. С. Пересветов и его современники, стр. 182—214; А. И. Клибанов. Реформационные движения, стр. 266—302.

⁷⁹ Н. Ргошáзковá. Указ. соч., стр. 42, 47 и др.

⁸⁰ А. Л. Саккетти, Ю. Ф. Сальников. О взглядах И. Пересветова. «Вопросы истории», 1957, № 1, стр. 17 и след.; А. Л. Саккетти. Из истории русского права. «Вестник МГУ» (Серия экономики, философии, права), 1959, № 3, стр. 203—206. Разбор точки зрения А. Л. Саккетти см. А. А. Зимин. К изучению взглядов И. С. Пересветова. ТОДРЛ, т. XVI, М.—Л., 1960, стр. 639—646.

⁸¹ Подробнее см. А. А. Зимин. И. С. Пересветов и его современники, стр. 433—440.

Не остался в той или иной степени чужд новым идеям¹ и великий русский первопечатник Иван Федоров. Введение книгопечатания в официальных церковных кругах рассматривалось как средство борьбы с религиозным разномыслием⁸². Однако книгопечатание сразу же сделалось не тормозом новых идей, а одним из средств их распространения. И между тем, что свои вольнолюбивые идеи Матвей Башкин выводил из текста «Апостола», и тем, что «Апостол» Иван Федоров сделал своей первопечатной книгой, была несомненная связь. Ведь сам первопечатник был дьяконом той самой церкви Николы Гостунского, в которой произошло «чудо исцеления» во время собора по делу Башкина. Позднее Иван Федоров в послесловии к другому (Львовскому) «Апостолу» 1574 г. объяснял, что ему пришлось покинуть Русь, потому что многие «священноначальники» на него «многия ереси умышляли хотячи благое (скорее всего печатное дело. — А. З.) в зло превратити и божие дело в конец погубити». И действительно, «ересью» реакционные церковники могли рассматривать уже тот подрыв идеологической монополии духовенства, который произошел после введения книгопечатания. Происходил процесс демократизации «книжного слова», становившегося доступным для более широких кругов читателей⁸³. Такие книги, как изданные Федоровым «Часовник» и «Букварь», являлись в то время руководствами для первоначального обучения грамоте. Сложная филологическая работа по исправлению дефектов рукописных книг также находилась на грани дозволенного⁸⁴. Напомним, что подобная же работа явилась поводом для обвинения в ереси Максима Грека и Вассиана Патрикеева.

Интерес к грамматическим сочинениям, обнаруживаемый в «Букваре» Ивана Федорова⁸⁵, роднит первопечатника и со смелыми идеями «Написания о грамоте» (ею в переработанном виде Федоров несомненно пользовался) и с трудами Максима Грека. Для украшения своих книг Федоров, наряду с многовековой русской традицией, смело привлекал мотивы итальянского Возрождения в его балканском и немецком вариантах⁸⁶.

В 1566 г., когда митрополитом сделался своенравный Филипп Колычев, Ивану Федорову пришлось покинуть Москву.

⁸² М. Н. Тихомиров. Начало книгопечатания в России, стр. 20—23.

⁸³ А. И. Клибанов. Рец. на кн. «У истоков русского книгопечатания». «История СССР», 1960, № 1, стр. 202.

⁸⁴ О ней см. Г. И. Колыда. Работа Ивана Федорова над текстами «Апостола» и «Часовника» и вопрос о его уходе в Литву. ТОДРЛ, т. XVII, М.—Л., 1961, стр. 225—254.

⁸⁵ R. Jakobson. Ivan Fedorov's Primer. «Harvard Library Bulletin», 1955, vol. IX, N 1, p. 45.

⁸⁶ А. И. Некрасов. Первопечатная русская гравюра. В сб.: «Иван Федоров-первопечатник». М.—Л., 1935, стр. 73—93; Е. В. Зацепина. К вопросу о происхождении старопечатного орнамента. В сб.: «У истоков русского книгопечатания», стр. 102—154.

Многие русские вольнодумцы конца XV—XVI в. кончили свою жизнь в огне инквизиционных костров или в мрачных кельях осифлянских монастырей. Очевидно, в 1504 г. была замурована велико княжеская «Либерия», содержавшая замечательное собрание античных писателей⁸⁷. Но идеи гуманистов и „еретиков“ осветили путь не одному поколению русских людей, открыли им новый мир духовной жизни человека. Д. С. Лихачев отметил, что для литературы XVI в. характерен «повышенный интерес к биографиям крупных исторических деятелей»⁸⁸. В этом историзме были некоторые примечательные черты: исторические одежды становились только прикрытием для человека XVI в. и его идеалов, воплощавшихся в героях прошлых лет. В самом деле, ни Дракула не воспроизводил свой исторический прототип (Влад Цепеш)⁸⁹, ни пересветовский Магмет-салтан не напоминал Мехмеда II Завоевателя. В литературе происходил процесс открытия самоценности человеческой личности⁹⁰, который на примере образа Бориса Годунова во «Временнике» Ивана Тимофеева показала О. А. Державина и на более позднем материале Д. С. Лихачев⁹¹.

Мунтянский воевода Дракула — человек полный кипучих страстей. Он «зломудр». Но, наряду с изощренной жестокостью, и ему присуще врожденное чувство справедливости: «никто да не будет нище в моей земли, но все богаты»⁹². Дракула ненавидит несправедливость, хотя и сам подчас творит злое. Сильная личность воеводы Дракулы, вырывающегося из привычных норм жизни, противостоит религиозному миропониманию (да и само имя Дракулы расшифровывается как «дьявол»).

Несколько иными чертами характеризуется образ Магметсалтана в публицистических памфлетах Пересветова. Он «неверный», он не менее жесток, чем Дракула. Но вместе с тем он уго-

⁸⁷ А. А. Зимин. Века и книги. «Неделя», 1962, № 38 стр. 19.

⁸⁸ Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. М.—Л., 1958, стр. 107.

⁸⁹ Об источниках повести о Дракуле см. Striedter J. Die Erzählung vom walachischen Vojevoden Drakula in den russischen und deutschen Überlieferung. «Zeitschrift für slavische Philologie», 1961, Bd. XXIX. Hf. 2, S. 398—408.

⁹⁰ Интересные соображения об этом высказал Я. С. Лурье («Русские повести XV—XVI вв.». М.—Л., 1958, стр. 425—426).

⁹¹ О. А. Державина. Анализ образов повести XVII в. о царевиче Дмитрии Угличском. «Ученые записки МГПИ». М., 1946, т. VII, стр. 30.; Д. С. Лихачев. Указ. соч., стр. 151—161; Профессор И. И. Полосин обратил внимание, что новгородские современники дьяка Ивана Тимофеева, площадные подьячие и дьяки умели давать яркие портретные характеристики кабалным людям при записи служилых кабал в регистрационные книги. (И. И. Полосин. Социально-политическая история России XVI— начала XVII в., М., 1963, стр. 246—262).

⁹² А. Д. Седелников. Литературная история повести о Дракуде. «Известия по русскому языку и словесности Академии наук», т. II, ч. 2, Л., 1929, стр. 654—655.

ден богу, ибо «бог не веру любит — правду»⁹³. Наконец, третий образ, уже более близкий к своему историческому оригиналу, — Иван Грозный в «Истории о великом князе Московском» Курбского. Он нарисован более однотонно, черные краски здесь преобладают. Но объясняются его поступки — его «прирождением», естественным, а не вмешательством высших сил.

Философской основой осознания самоценности человека в русской литературе было развитие гуманистической идеи суверенности человеческой личности в реформационном движении конца XV—XVI вв., о которой в последнее время писал А. И. Клибанов⁹⁴. Федор Курицын, как известно, был еретиком, а Иван Пересветов испытал влияние реформационных идей. Конечно, перед нами только этап в длительном процессе открытия человека в русской литературе, но этап, определивший самые пути к утверждению литературы нового времени.

Новым мироощущением проникнут и чуть ли не единственный для XVI в. памятник бюргерской литературы — «Домострой». В этом памятнике обособленная семья зажиточного горожанина уже является самостоятельной ячейкой, как бы противостоящей всему феодально-иерархическому строю общества. Своей личной инициативе, а не рождению от «благородного корени» обязан «господин» преуспеваю. Для него жизнь исполнена радостей созидания. На смену аскетическому отрицанию жизни и труду, как аскетическому подвигу, приходит уже приятие жизни и новое отношение к труду, как основе накопления «прибытков». Словом, не будучи памятником реформационно-гуманистического движения, «Домострой» отразил в то же время сдвиги в психологии зажиточного горожанина, которой тесно было в рамках церковной регламентации.

Давно уже подмечен факт, что русская литература конца XV—XVI в. носит публицистический характер, что проблема исторических судеб Русского государства находилась в центре внимания русских писателей. Обычно это связывается с тем процессом создания и укрепления централизованной государственности, который происходил в изучаемое время⁹⁵. В общей форме это, конечно, справедливо. Но ведь те же процессы образования крупных феодальных монархий происходили и в других европейских странах и, однако, там (например, во Франции, Польше), наряду с публицистикой, получили развитие и другие литературные жанры, начиная с лирической поэзии и кончая драматургией. Ключ к пониманию этого явления, на мой взгляд, лежит в особенностях реформационно-гуманистического движения в России XVI в. Гуманизм, как известно, складывался как своеобразная форма

⁹³ Сочинения И. Пересветова, стр. 181.

⁹⁴ А. И. Клибанов. Реформационные движения, стр. 330—350.

⁹⁵ Д. С. Лихачев. Иван Пересветов и его литературные современники. В кн.: «Сочинения И. Пересветова», стр. 28—29.

бюргерской идеологии. В нем новое светское мировоззрение было противопоставлено религиозно-схоластическому, идея свободного развития человеческой личности — церковному авторитаризму. В России же XVI в. удельный вес бюргерских элементов как в общественно-политической, так и в культурной жизни был невелик. В силу этого в реформационном движении значительную роль сыграли дворянские элементы. Все это наложило отпечаток и на развитие русской гуманистической мысли. Становление нового, светского миропонимания происходило в форме противопоставления духовной диктатуре церкви идеи сильного централизованного государства. Мудрый и сильный человек в сочинениях Федора Курицына и Ивана Пересветова и других русских писателей, на которых оказали воздействие гуманистические идеи, отождествлялся с монархом или с его сподвижниками⁹⁶.

Я. С. Лурье недавно очень убедительно показал, что еретическое движение тесно связано было со светским направлением в русской литературе конца XV в., а победа контрреформации на Руси существенно затормозила развитие этого направления⁹⁷. Действительно, светские памятники переведенной беллетристики исчезают из обихода эрудированного читателя. Но традиции «Поэсты о Дракуле» не гаснут, приобретая лишь иной характер.

Далеко еще не распутаны тончайшие нити, связывающие русское искусство XIV—XVI вв. с реформационно-гуманистическим движением.

В литературе много писалось о русском Возрождении в архитектуре конца XV—начала XVI в. Бессмертны творения Аристотеля Фиоравенти, Пьетро Соляри, Марко Руффо, псковских и московских мастеров, создавших великолепный архитектурный ансамбль Кремля. В них нашли отзвуки и национальные русские традиции и освежающие веяния итальянского Ренессанса.

Особенностью русского Возрождения было воскрешение традиций древней Руси (Киевской и Владимирской). Это, кстати говоря, характерно не только для архитектуры, но и для литературы (сказание о князьях Владимирских) и эпоса (проникновение былинных мотивов в летописи)⁹⁸. Много еще неясного в процессах, протекавших в русской живописи. Но вряд ли можно сомневаться в том, что идейной основой ее развития были явления, связанные с религиозно-философскими раздумьями. Так, А. И. Клибанов обратил внимание на логическую и идейную связь гениальной «Троицы» Андрея Рублева с тринитарными спо-

⁹⁶ Подробнее см. А. А. З м и н. И. С. Пересветов и его современники, стр. 404—405.

⁹⁷ Я. С. Л у р ь е. Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. ТОДРЛ. М.—Л., 1961, т. XVII, стр. 167—168; е г о ж е. Идеологическая борьба, стр. 501—502.

⁹⁸ Д. С. Л и х а ч е в. Летописные известия об Александре Поповиче. ТОДРЛ. М.—Л., т. VII, 1947, стр. 38—51.

рами XIV—XV вв. В настоящее время М. В. Алпатов в книге об иконе «Апокалипсис» и М. А. Ильин, изучающий творчество Феофана Грека, показывают, что вне философской проблематики, волновавшей русских реформаторов, нельзя понять многие шедевры живописи XV в.

Недавно М. В. Щепкина датировала замечательный памятник древнерусского шитья — пелену, на которой изображен Иван III и все его семейство. Это одна из первых светских картин древней Руси, возникла в окружении Елены Стефановны около 1498 г.⁹⁹ Елена Волошанка с ее кружком гуманистов и реформаторов чем-то напоминает польскую королеву Бону, окруженную итальянскими гуманистами¹⁰⁰. Мотивы итальянского и южнославянского искусства можно обнаружить в роскошных орнаментированных рукописях конца XV в. (Буслаевская псалтырь, книга Григория Богослова, принадлежавшая кн. Пожарскому). Не исключено, что на некоторых из них наложили также отпечаток вкусы молдавской княгини Елены¹⁰¹.

В изображениях русских «святых», появляющихся за немногим исключением только в XVI в., можно уже обнаружить черты портретного сходства¹⁰². Это также показывает постепенное проникновение в иконопись элементов реалистического миропонимания.

В росписи царских палат в Кремле, сделанной после пожара 1547 г., также чувствовалось влияние образцов великих мастеров эпохи Возрождения. Изображение идей и символов в виде лиц и событий было шагом вперед на пути к изживанию схоластических представлений в живописи. Недаром дьяк Висковатый «вопил» против изображения бесплотных «духов» в человеческих образах, усматривая в новых иконах несомненные следы заимствования у «латынников» и влияние русских еретиков¹⁰³.

Русские ереси оказали сильное, и во многом еще недостаточно изученное, воздействие на бурный рост научных знаний. Вольнодумцев волновали вопросы истории, философии, логики и психологии¹⁰⁴. Еретик Иван Черный в 1485 г. переписал один из обобщающих памятников исторического повествования древней

⁹⁹ М. В. Щепкина. Изображение русских исторических лиц в конце XV в. М., 1954, стр. 19.

¹⁰⁰ Wl. Rosiecha. Królowa Bona. Poznań, 1949, t. I—II.

¹⁰¹ Е. В. Зацепина. К вопросу о происхождении старопечатного орнамента. «У истоков русского книгопечатания». М., 1959, стр. 129.

¹⁰² Y. Myslivets. К иконографии русских святых. «Byzantinoslavica», Прага, 1932, г. XV, стр. 425.

¹⁰³ Подробнее см. Н. Е. Андреев. О деле дьяка Висковатого. «Seminarium Kondakovianum», т. V, Прага, 1932, стр. 191—241; Б. В. Михайловский и Б. И. Пурришев. Очерки истории древнерусско-мемориальной живописи. М.—Л., 1941, стр. 60 и др.

¹⁰⁴ М. В. Соколов. Борьба вокруг философско-психологических вопросов в России в XIV—XVI вв. В сб.: «Из истории русской психологии», М., 1961, стр. 3—59.

Руси «Еллинский летописец»¹⁰⁵. Не меньшим был их интерес к астрономическим сочинениям («Шестокрылу» и т. д.)¹⁰⁶. Споры о «конце света» дали толчок к распространению пасхалей. В это же время появляются грамматические сочинения («Написание о грамоте») и некоторые другие.

Искра, зажженная реформаторами конца XV в., не угасла. На смену физически истребленному поколению русских вольнодумцев уже в 10—30-х гг. XVI в. пришли их идейные наследники. Если религиозно-философские темы на некоторое время сделались запретным плодом, то пытливая мысль новой волны передовых людей России занялась по преимуществу естественнонаучными сюжетами. Реформатора Федора Курицына сменил гуманист Федор Карпов с его глубоким интересом к астрономии, политическим учениям и научным знаниям вообще. Споры на естественнонаучные темы между Федором Карповым и Максимом Греком, немчином из Любека Николаем Булевым (составитель первого на Руси лечебника) и псковским дьяком Мисюрем Мунехином помогали передовым людям того времени по-повому понять отношение человека к природе. В очень искаженных формах, но не менее явственно звучали гуманистические мотивы в посланиях афонского старца Максима Грека (некогда ученика Мирандолы Ласкариса)¹⁰⁷. Именно 10—30-е гг. XVI в. подготовили новый подъем реформационных идей, падающий на середину века.

В борьбе с реформационным движением складывается и оформляется идеология воинствующих церковников. Одно из примечательных наблюдений исследований последних лет сводится к тому, что первоначально и Геннадий, и Иосиф Волоцкий выступают с воззрениями, явно противостоящими централизаторским тенденциям великокняжеской власти и близких к ней в конце XV в. реформаторов. «Меч духовный» объявляется выше «меча телесного» в «Слове кратком» доминиканца Вениамина, а белый клубок новгородского архиепископа «честнее» самого «царского венца»¹⁰⁸. В ранний период своего творчества, находясь под покровительством волоколамского князя, Иосиф Сания в «Послании некоему вельможе» (ок. 1494 г.) прославляет удельных братьев Ивана III («четверосветлый светильник») и в иносказательной

¹⁰⁵ Д. С. Лихачев. Еллинский летописец второго вида и правительственные круги Москвы XV в. ТОДРЛ, т. VI. М.—Л., 1948.

¹⁰⁶ H. R a a b. Über die Beziehungen Bartholomäus Ghotans und Nicolaus Buellews zum Genadij Kreis in Novgorod. «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostok». Gesellschafts und Sprachwissenschaftliche Reihe, Hft. 3. 1958—59, S. 419—422; А. А. Зими́н. Доктор Николай Булев — публицист и ученый-медик. «Исследования и материалы по древнерусской литературе». М., 1961, стр. 78—86.

¹⁰⁷ Б. А. Воронцов-Вельяминов. Очерки истории астрономии в России. М., 1956, стр. 30—34.

¹⁰⁸ А. А. Зими́н. О политической доктрине Иосифа Волоцкого. ТОДРЛ, т. IX, М.—Л., 1953, стр. 164—174; Я. С. Лурье. Идеологическая борьба, стр. 212—284.

форме обличает самого московского самодержца¹⁰⁹. Осифляне уже на раннем этапе своей деятельности выступали выразителями интересов крупного черного духовенства¹¹⁰. Но этого мало. Церковь, как мощная феодальная корпорация, обладавшая множеством прав и привилегий, являлась как бы государством в государстве. Ее полусамостоятельное положение в обществе являлось наследием феодальной раздробленности, с которым великокняжеская власть не могла мириться. Поэтому вся история взаимоотношений московского правительства с высшей церковной иерархией в XVI в. была борьбой за включение церкви в централизованный аппарат власти. В таких условиях понятно, почему естественным союзником церкви в борьбе с централизаторскими тенденциями великокняжеской власти выступают или удельные князья или Новгород с его сильными традициями былого обособления.

Реформационное движение нанесло сильный удар по церковному сепаратизму. Официальная церковь вынуждена была поступиться своими многими привилегиями и выступить с идеологией обожествления царской (великокняжеской) власти с тем, чтобы сохранить самые основы своего положения в феодальном обществе. Разгром «ереси» и чрезвычайные события начала XVII в. лишь на некоторое время отодвинули тот час, когда церковь окончательно была включена в бюрократический аппарат абсолютистского государства.

Реформационное движение оказало огромное влияние на поступательное развитие русской общественной мысли во всех ее важнейших аспектах.

В годы его подъема в конце XV в. складывается одно из идейных течений, которое в дальнейшем оказало значительное влияние на русскую общественную мысль — речь идет о так называемых нестяжателях. Много еще неясного в нестяжательной идеологии. В литературе еще существуют разные мнения по вопросу о социальной сущности этого течения (см. работы Я. С. Лурье, Н. А. Казаковой, Г. Н. Моисеевой и др.)¹¹¹, а также о взаимоотношениях нестяжателей с еретиками (с одной стороны) и с осифлянами (с другой).

Автору настоящего доклада представляется правильной высказанная в свое время И. У. Будовницом мысль о близости взглядов Нила Сорского к умонастроениям патриархального крестьянства¹¹². Не случайно позднее верный продолжатель дела

¹⁰⁹ Я. С. Лурье. Послание вельможе Иоанну о смерти князя. «Slavia», 1958, год. XXVII, № 2, стр. 216—225.

¹¹⁰ Е г о ж е. Идеологическая борьба, стр. 259—260.

¹¹¹ Я. С. Лурье. Идеологическая борьба, стр. 343; Г. Н. Моисеева. Об идеологии «нестяжателей». «История СССР», № 2, стр. 101; Н. А. Казакова. Вассал Патрикеев и его сочинения. М.—Л., 1960, стр. 132.

¹¹² И. У. Будовниц. Русская публицистика XVI в. М.—Л., 1947, стр. 81.

Нила Сорского старец Артемий стал учителем самого радикального мыслителя России XVI в. Феодосия Косого. Идеиную и даже личную связь ранних нестяжателей с кружком Федора Курицына отрицать очень трудно. Критика «не божественных писаний», мистическое понимание молитвы навеяны рационалистическими спорами конца XV в. Примечательно, что первый дошедший до нас секуляризационный акт — жалованная грамота пермскому епископу Филофею 1490 г. с распоряжением вернуть черносотным крестьянам их земли — подписан «еретиком» Федором Курицыным¹¹³.

Не вдаваясь в разбор этого очень сложного вопроса, хочу обратить внимание лишь на один момент, как-то выпадавший из поля зрения исследователей. В литературе принято говорить о том, что нестяжатели выступают против монастырского землевладения. Это не совсем точно. Речь шла о владении монастырями «селами», населенными землями, т. е. об эксплуатации труда крестьян.

Еще Нил Сорский в переводе жития Николая Студита избегал употреблять термин «монастырское село» в отличие от осифлянских «Великих четий миней». Это соответствует общему отрицательному отношению Нила к стяжанию плодов чужого труда («стяжание же, иже от чужих трудов събираема, вносити отнюд есть нам на пользу»)¹¹⁴.

Вассиан Патрикеев выступал против того, чтобы «села многонародна стяжавати и порабошати христиан братии, и от сих неправедне сребро и злато събирати»¹¹⁵. Хорошо известно, что пафос Максима Грека, обличавшего монахов-стяжателей, направлен на борьбу с нищетою и страданиями порабощенных селян»¹¹⁶. И у него все «нестроение» монашеской жизни происходит из-за владения «селами». В Валаамской беседе все время подчеркивается, что «вотчин и волостей со христианы отнюдь иноком не подобает давати» или «иноков села и волости со христианы жаловати не достоин»¹¹⁷. Итак, речь идет в первую очередь о недопустимости эксплуатации монахами крестьянского труда. В середине XVI в. один из последователей нестяжательства Сильвестр в «Домострое» доведет эту мысль до необходимости замены труда зависимых слуг вольным наймом. А его сподвижник игумен Филипп Колычев попытается перестроить хозяйство Соловецкого монастыря так, чтобы основную рабочую силу на мона-

¹¹³ Историко-филологический сборник Коми филиала АН СССР, вып. IV, Сыктывкар, 1958, стр. 248—252.

¹¹⁴ Нила Сорского предания и устав, СПб., 1912, стр. 6.

¹¹⁵ Н. А. Казакова. Вассиан Патрикеев и его сочинения, стр. 255.

¹¹⁶ Подробнее см. В. Ф. Ржига. Опыт по истории русской публицистики XVI в. ТОДРЛ, т. I, Л., 1934, стр. 11—13.

¹¹⁷ Г. Н. Моисеева. Валаамская беседа. М.—Л., 1958, стр. 162, 163, 170, 172 и др.

стырских варницах составляли «казаки» (наймиты) из «гуляющих людей» и крестьян околмонастырских селений. Идеология нестяжательства зародилась в северно-русских условиях, где «заволжские старцы» вынуждены были считаться с напряженной борьбой черносошного крестьянства против попыток монастырей-вотчинников возложить на него иго эксплуатации. Скорбя по поводу непомерного угнетения монахами крестьян, монахи из основных корпораций нестяжателей (как это можно судить по деятельности Кирилло-Белозерского и Соловецкого монастырей) отнюдь не отказывались от приобретения земель и расширения вотчинного хозяйства.

Теперь как будто уже большинство исследователей согласны в том, что складывание официальной идеологии единоподданного государства первоначально было прямо связано с деятельностью московских реформаторов или близкой к ним средой. Так, близкий к еретикам митрополит Зосима в своем «Изложении Пасхалии» впервые отчетливо сформулировал мысль о Москве, как о «новом граде Константине», составляющую ядро теории «Москва — третий Рим»¹¹⁸. В кружке Дмитрия-внука составлены были «Чин венчания», «Родство литовских князей», первоначальная версия «Сказания о князьях владимирских» (Чудовская повесть)¹¹⁹. В этих публицистических сочинениях утверждался суверенный характер власти великих князей, покоящийся на вполне светских, а не церковных основах. Уже Федор Карпов понимал, что государство не может основываться на церковной доктрине. Позднее, как мы знаем, с апофеозом сильной власти мудрого и грозного Магмет-салтана выступил И. С. Пересветов. Даже Иван Грозный, находившийся в целом в кругу ортодоксально-православных идей, подчеркивал, что «нигде же обрящещи, еже не разор царству еже от попов владому»¹²⁰.

Все это совершенно понятно. Идеология суверенного государства не может всецело основываться на церковной доктрине. Для «русского клерикализма», говоря словами В. И. Ленина, характерны следующие черты: «Церковь выше государства, как вечное и божественное выше временного и земного. Церковь не прощает государству секуляризации церковных имуществ. Церковь требует себе первенствующего и господствующего положения»¹²¹.

Разгром реформационного движения на Руси привел к тому, что в XVI в. процесс создания абсолютистской идеологии, основанный на светских началах, оказался незавершенным.

¹¹⁸ РИБ, т. VI, стб. 797—799; Я. С. Лурье. Идеологическая борьба, стр. 375—384.

¹¹⁹ А. А. Зимин. Рец. на кн. Р. П. Дмитриевой. «Исторический архив», 1956, № 3, стр. 236—237.

¹²⁰ Послания Ивана Грозного, стр. 72.

¹²¹ В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 384.

Реформационное движение было раздавлено соединенными усилиями церкви и государства. Это значительно затормозило дальнейший процесс секуляризации общественной мысли. Вторая половина XVI в. — наиболее мрачная эпоха в развитии литературы на Руси. Почти замирает летописание, не появляются новые памятники повествовательной прозы, а старые не переписываются. Разгром «ересей» явился одной из причин, обусловивших поражение крестьянской войны начала XVII в., которая не слилась в России с реформационным движением. И несмотря на все это, будущее принадлежало тем передовым идеям, которые появлялись у русских вольнодумцев конца XV—XVI вв. Их традиции можно обнаружить и в антирелигиозных выступлениях XVII—XVIII вв., когда завершался процесс освобождения общественной мысли от церковной оболочки, процесс, столь определенно обнаруживающийся уже в период становления русского централизованного государства.

LES PROBLÈMES ESSENTIELS DE L'HUMANISME ET DE LA RÉFORME EN RUSSIE (XIV—XVI s.)

Résumé

Le sort du mouvement de l'humanisme et de la Réforme en Russie de XIV jusqu'à XVI s. a été étudié récemment par les historiens généraux, ainsi que par les historiens de la littérature de l'art et de la science.

Des nouvelles sources ont été révélées, y compris les œuvres des réformateurs. Le mouvement de la Réforme est étudié de nos jours en comparaison avec les faits analogues dans les autres pays de l'Europe Orientale et Occidentale.

La première période de l'histoire de ce mouvement dure depuis la fin du XIII s. jusqu'au milieu du XV s., et peut être caractérisée comme une étape pré-réformatrice quand des éclats isolés d'une activité réformatrice n'étaient pas encore coordonnés. Pendant la seconde période (depuis la fin du XV s. jusqu'au commencement du XVI s.) le mouvement réformateur a atteint le point le plus élevé de son développement. Les centres principaux de ce mouvement c'étaient Novgorod, Tver, Moscou.

A Novgorod les idéologues des «hérésies» étaient représentés par le clergé séculier, lié à la population urbaine. A Tver et à Moscou c'étaient les plus prévoyants représentants de la classe dominante qui servaient de base sociale pour les «hérésies». Les milieux progressifs de la noblesse ont joué le rôle principal dans le mouvement réformateur. La part de la bourgeoisie dans ce mouvement était moindre à cause de la faiblesse de la culture urbaine. C'est le trait caractéristique du mouvement réformateur en Russie et dans certains autres pays slaves.

Le milieu du XVI s. doit être considéré comme la troisième période quand nous assistons à la formation du courant le plus radical «des hérésies». Ce radicalisme répond aux intérêts des couches inférieures de la bourgeoisie et des paysans («L'hérésie» de Théodose le Louche).

Le mouvement réformateur en Russie n'a pas eu de succès définitifs mais il a exercé une énorme influence sur l'évolution ultérieure de la pensée sociale, de la science, de la littérature et de l'art.

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР И ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь 1963)

И. С. Миллер

РУССКО-ПОЛЬСКИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СВЯЗИ В ПЕРИОД ВОССТАНИЯ 1863 г.

Восстание 1863 г. замыкает большой период в истории польского национально-освободительного движения. Среди различных проявлений этого движения — публичных выступлений и печатных призывов, конспиративной деятельности и пропаганды — высшей формой, которой были подчинены все иные формы, были восстания, попытки в открытой борьбе добиться восстановления национальной независимости. Начиная с «инсурекции» 1794 г. через весь XIX век вплоть до 1863 г. следуют одна за другой повстанческие попытки; крупнейшие из них — 1830—1831, 1846, 1848, 1863—1864 гг. — составляют наиболее значительные вехи этого периода истории польского народа. Будучи прямым продолжением длительной борьбы, вбирая в себя все ее богатые традиции, восстание 1863 г. по своему масштабу и значению, по роли, которую ему суждено было сыграть в национальной истории, превосходит все предшествовавшие ему восстания. Такая оценка восстания 1863 г. определяется многими причинами; остановимся на двух из них, наиболее важных.

Все польские национально-освободительные восстания (восстание 1863 г. не представляет собою исключения) выражали в той или иной мере стремление к преобразованию общества, к социальным переменам. Эта социальная прогрессивность движения, равнозначная в ту эпоху антифеодальной направленности, была выражена тем ярче, чем более широким было участие в движении народных масс — крестьянства и городских низов, чем значительнее была роль в организации восстания и в его руководстве сознательных выразителей интересов этих слоев нации. И объективные исторические условия, и анализ опыта национально-освободительной борьбы, особенно после восстания 1830—1831 гг., толкали все участвовавшие в ней течения к при-

знанию необходимости социальных преобразований (конечно, их масштаб и глубина определялись различными по социально-политическому облику течениями по-разному). Преобразование общественных отношений имело важнейшее значение и с точки зрения задач национального освобождения, ибо от него прежде всего зависело быть или не быть независимой Польше. До восстания 1863 г. органическое единство национально-освободительных и социальных задач особенно отчетливо было осознано в краковском восстании 1846 г. той партией, которая получила признание и поддержку величайшего революционного документа XIX столетия, партией, «которая ставит аграрную революцию условием национального освобождения...»¹.

Дальнейшее общественное развитие, все более настоятельно требующее коренных социально-экономических перемен, все более массовый и острый по своим проявлениям протест народных масс против отжившего феодального строя определили облик восстания 1863 г. Социальное значение борьбы на этот раз не только не терялось, не оставалось на втором плане, как это было в 1831 г., не растворялось в так называемом общенациональном действии, но фактически превращало это национально-освободительное восстание, продолжающее дело предшествующих восстаний, в опрокидывающую феодальный строй революцию, какой не смогло стать ни одно восстание ранее. И хотя провозглашенная им программа была менее последовательной в своей антифеодальной направленности, чем программа Эдварда Дембовского или даже более ограниченный правительственный манифест Краковского восстания, тем не менее в революционном кризисе 1861—1864 гг. размах борьбы, ее массовость, ее упорство, ее общенациональное значение далеко превосходят все более ранние польские революционные движения. Именно в 1861—1864 гг. впервые в польской истории создались реальные условия для осуществления в национальном масштабе буржуазно-демократической, аграрной революции, единственно способной в ту эпоху создать независимую и демократическую Польшу.

Расстановка классовых и политических сил внутри самой польской нации являлась важнейшим фактором, от которого зависел успех или поражение национально-освободительного движения, важнейшим, но не единственным. Второе место по значимости занимали «внешние» факторы, т. е. сила противников польского национально-освободительного движения и сила его возможных союзников. И в этом отношении восстание 1863 г. также имело существенные отличия от предыдущих.

И восстание 1794 г., и восстание 1830 г. возникали в моменты, когда буржуазные революции во Франции в какой-то мере отвлекали внимание и силы противников от восставшей Польши.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 458.

Однако в обоих случаях эта взаимосвязь оказывалась значительно более благоприятной по своим последствиям для Франции, чем для Польши. Еще менее благоприятными были внешние условия во время повстанческих попыток 1833 и 1846 гг. Лишь в 1848 г., когда революционная волна, прокатившаяся через европейский континент, захлестнула также Пруссию и Австрию, польское освободительное движение получило лучшие возможности для борьбы с этими своими противниками и нашло союзников в лице революционных сил Европы. Однако неудачи союзников 1848 г., в особенности быстрая консолидация сил контрреволюции в Пруссии, вместе с энергичными действиями «жандарма Европы» — русского царизма — и на этот раз создали непреодолимые трудности для освободительной борьбы польского народа и исключили, в частности, возможность развертывания ее на той части польской территории, которая играла ведущую роль во всей экономической и общественной жизни нации, на территории Королевства (Царства) Польского.

Революционное движение пачала 60-х гг., переросшее в дальнейшем в восстание 1863 г., возникло в условиях, когда впервые была серьезно поколеблена мощь самого страшного противника польского освободительного движения — русского царизма, когда сложилась первая общероссийская революционная ситуация. Все предшествующие поражения, понесенные, несмотря на героические усилия польских борцов за освобождение, подтверждали значение этого исторического момента, открывавшего небывало благоприятные возможности для борьбы за социальное и национальное освобождение польского народа и ставившего одной из центральных задач объединение революционных сил Польши и России.

Именно круг вопросов, связанных с этой стороной восстания 1863 г., составляет тему настоящего доклада.

* *

*

Первыми историками проблемы русско-польских революционных связей 60-х годов стали непосредственные их участники. Уже в «Письмах к противнику», а затем в VII части «Былого и дум» Герцен выступал не только как мемуарист, зафиксировавший бесценные для историка мысли и впечатления участника событий и очевидца, но именно как историк, стремящийся выявить последовательность, взаимосвязь и зависимость фактов и оценить их значимость. Большое место заняли вопросы русско-польских революционных связей в том очерке истории первой «Земли и Воли», который нарисовал Н. Утин в своей статье «Пропаганда и организация. Дело прошлое и дело нынешнее»². Не приходится говорить о том, что написанные по горячим следам со-

² «Народное дело», № 1—3, Женева, 1868.

бытий эти произведения полны недомолвок, но основные оценки событий, принципиальные позиции авторов выражены ими с четкостью, не допускающей ложных толкований.

Между тем уже в эти годы подручными Муравьева-«вешателя» была сформулирована та «концепция» событий 60-х годов, которая стала основой всех последующих черносотенных писаний на эту тему. Гогели и цыловы, не смущаясь, вносили в свои «исторические труды» и то, что им, несмотря на все старания и пресловутые виленские методы следствия, не удалось внушить подследственным. Благоденствующую, по их словам, под кроткой властью царя-освободителя Россию опутал чудовищный польский шляхетско-ксецдзовско-иезуитский и т. п. заговор, преступными пособниками которого стали отщепенцы из числа русских, поджигатели и нигилисты. И хотя русский народ был един в своем отвращении к этой польской интриге, бог весть что стало бы с Россией, если бы не мудрая строгость Муравьева и истинно-русское отрезвляющее слово Каткова. Сегодня, может быть, и не было бы нужды ворошить эту грязь, если бы не то, что именно она представляла официальное и узаконенное освещение событий 60-х годов в царской России³, на рубеже XX века воздвигавшей памятники Вешателю.

А в ответ на это представители русского либерализма, стремившиеся изобразить Герцена своим идейным предшественником, сокрушались по поводу допущенной Герценом по легковерию или великодушью ошибки — его поддержки «польского дела» в 1863 г. По-иному аргументируя, этот вывод поддерживал и широко пропагандировал Драгоманов.

Грязными инсинуациями против русских революционеров не брезговала и шляхетско-буржуазная националистическая польская историография⁴. Ее взгляды накладывали отпеча-

³ Даже такое отнюдь не пропольское и не проповстанческое произведение, как «Записки о польских заговорах и восстаниях. 1831—1864» Н. В. Берга, не могло быть издано в России без существенных купюр и было отпечатано автором в Познани (в 1884—1885 гг.).

⁴ Этому не противоречит, разумеется, что некоторые из этих изданий по содержащемуся в них фактическому материалу сохраняют определенную ценность для исследователя. Это прежде всего относится к монументальной истории восстания В. Пшиборовского (Z. L. S.) — *Historia dwóch lat. 1861—1862*. 5 t. Kraków, 1892—1896; *Dzieje 1863 roku*. 5 t. Kraków, 1897—1919; *Ostatnie chwile powstania styczniowego*. 4 t. Poznań, 1887—1888, а также к книге А. Гиллепа *Historia powstania narodu polskiego w 1861—1864 r.* 4 t. Paryż, 1867—1871, и его публикации «*Polska w walce*». 2 t. Paryż, 1868. Kraków, 1875.

Много ценного содержат для рассматриваемой нами проблемы мемуары участников восстания, а также некоторые подготовленные ветеранами 1863 г. документальные издания, такие как *Wydawnictwo materiałów do historii powstania 1863—1864 r.* 5 t., Lwów, 1888—1894 (актовые повстанческие и мемуарные материалы) и *W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego*. Lwów, 1903 (преимущественно мемуарные материалы).

ток даже на такие труды, авторы которых, как, например Болеслав Лимаковский⁵, субъективно выражали симпатию и уважение к Герцену и русским революционерам-шестидесятникам.

Так дворянско- и буржуазно-националистической историографией были воздвигнуты огромные препятствия на пути к научной разработке вопросов истории революционного движения 60-х годов.

Здесь путь марксистской исторической науке был расчищен и указан В. И. Лениным.

Своей характеристикой эпохи 60-х годов, своей оценкой революционного подвига Герцена, своим анализом значения польского освободительного движения и по-ленински прямым и гневным словом по адресу тех, кто оценивал это движение с высот навозной кучи узкого национализма, Ленин не только дал историкам-марксистам надежный компас, помогающий ориентироваться в сложной самой по себе и предельно запутанной дворянско-буржуазной историографией проблематике, но и раскрыл ее громадную научную и политическую значимость, прямо поставил перед историками задачу ее исследования.

Марксистско-ленинская историческая наука сделала уже немало для осуществления этого ленинского указания. Знаменательно и глубоко символично то, что в исследовании русско-польских революционных связей 60-х годов советские и польские историки-марксисты идут рука об руку, что исследования Б. П. Козьмина⁶, И. М. Белявской,⁷ А. Ф. Смирнова,⁸ В. А. Дьякова,⁹ Т. Г. Снытко¹⁰ и других советских историков перекликаются с трудами Яна Витковского,¹¹ Романа Верфеля,¹² Юзефа

⁵ B. L i m a n o w s k i. Historia powstania narodu polskiego 1863 i 1864 r. Wyd. 2-e. Lwów. 1909 (1-e wyd.—1882).

⁶ Б. П. К о з ь м и н. «Казанский заговор» 1863 г. М., 1929.

⁷ И. М. Белявская. А. И. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х годов XIX в. М., 1954; е е ж е. Польское национально-освободительное движение и Герцен (1860-е гг.). «Литературное наследство», т. 64, М., 1958.

⁸ А. Ф. С м и р н о в. Революционные связи народов России и Польши (30—60-е годы XIX века). М., 1962; е г о ж е. Сигизмунд Сераковский. М., 1959; е г о ж е. Константин Калиновский. М., 1959.

⁹ В. А. Д ь я к о в. Материалы к биографии Сигизмунда Сераковского. «Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов». М., 1960; е г о ж е. Сигизмунд Сераковский. М., 1959.

¹⁰ Т. Г. С н ы т к о. Студенческое движение в русских университетах в начале 60-х годов и восстание 1863 г. «Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов». М., 1960.

¹¹ J. W i t k o w s k i. Powstanie 1863-roku i rosyjski ruch rewolucyjny początku 1860-tych lat. Mińsk. 1931.

¹² R. W e r f e l. Demokracja rosyjska i powstanie 1863 roku. «Nowe widnokrepi», 1941, N 1.

Ковальского¹³, Зыгмунта Млынарского, Анджея Слиша, Петра Лоссовского¹⁴ и других польских историков, что освещение этих проблем в обобщающих трудах по истории Польши, изданных в СССР и Польше¹⁵, совпадает во всех основных принципиальных моментах.

Важным фактором, способствующим изучению русско-польских революционных связей 60-х годов, а в немалой мере и определяющим его перспективы, являются успехи изучения истории самого русского революционного движения этого времени и в особенности «Земли и Воли». Существенно продвинувшаяся, особенно в послевоенные годы, благодаря введению в научный оборот многих ранее недоступных ценных источников, благодаря исследованиям М. В. Нечкиной, Б. П. Козьмина, Я. И. Линкова, В. И. Неупокоева, Р. А. Таубина, Е. Г. Бушканца и других советских историков, разработка проблем революционной ситуации конца 50-х—начала 60-х годов в России, революционно-демократической идеологии и революционных организаций создала те условия, в которых тема русско-польского революционного союза может быть поставлена во всей ее широте.

Исследовательская работа естественно сочеталась с публикацией документальных материалов. Большое число источников русского революционного движения, многие из которых имеют прямое отношение к вопросам русско-польских связей, опубликовал в своих комментариях к сочинениям Герцена М. К. Лемке¹⁶. Из последующих публикаций наибольшее значение имеют осуществленные в герценовско-огаревских (тома 39—40, 41—42, 61, 62, 63, 64) и некоторых других томах «Литературного наследства». Важнейшими событиями для всех изучающих эпоху 60-х годов являются издание нового 30-томного собрания сочинений А. И. Герцена, уже приближающееся к завершению, и начатое фототипическое переиздание «Колокола».

Круг опубликованных материалов широк, но далеко не исчерпан и весьма неравномерно освещает различные стороны рассматриваемых проблем.

Если попытаться оценить состояние изучения отдельных вопросов из истории русско-польских революционных связей 60-х

¹³ J. K o w a l s k i. Rewolucyjna demokracja rosyjska a powstanie styczniowe. Warszawa, 1949 (2-e wyd. — 1955).

¹⁴ Z. M ł y n a r s k i i A. Ś l i s z. Andrzej Potiebnia bohater wspólnej sprawy. Warszawa, 1955; P. Ł o s s o w s k i i Z. M ł y n a r s k i. Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym. Wrocław, 1959.

¹⁵ История Польши, т. II. М., 1955 (раздел написан У. А. Шустером); Historia Polski, t. II, cz. 3, Warszawa, 1959 (раздел написан Стефаном Кеневичем).

¹⁶ А. И. Г е р ц е н. Полное собрание сочинений и писем. 22 т. М.—Пг., 1915—1925. Ряд важных источников приведен или изложен Лемке также в его работах: Очерки освободительного движения 60-х годов. СПб., 1908 и Политические процессы 60-х годов. М., 1923.

годов ¹⁷, то можно отметить существенные результаты, разумеется, не исчерпывающие, но далеко продвинувшие вперед изучение таких проблем, как взгляды выдающихся представителей русской революционной демократии на польское освободительное движение и польский вопрос в целом, как их практически-политические выступления по польскому вопросу, их польские связи, их роль в складывании русско-польского революционного союза накануне восстания 1863 г.

В последние годы значительно продвинулось изучение Петербургской офицерской организации, некоторых вопросов связей польского освободительного движения с «Землей и Волей» и русско-польских связей в студенческом движении. Много сделано в области изучения революционных связей применительно к общественному движению того времени в Литве и Белоруссии, отчасти и на Украине.

Несмотря на наличие ряда работ, остается спорным даже в самых основных своих элементах вопрос о так называемом «Казанском заговоре».

Почти совершенно не подняты еще такие существенные вопросы, как история Комитета русских офицеров в Польше, как русско-польские связи в революционном подполье в России в период восстания 1863 г. и после его поражения.

В ценной работе об участии русских, белорусов и украинцев в восстании 1863 г. неиспользованными остались (разумеется, это не упрек авторам) многочисленные источники, хранящиеся в советских архивах.

Этот беглый перечень говорит не только о достигнутых больших положительных результатах, но и о значительном объеме еще не решенных задач, а в силу этого и о сохраняющейся фрагментарности освещения проблемы в целом. Одним из важнейших условий успешного продолжения этой работы является расширение ее документальной базы, привлечение и введение в научный оборот возможно более широкого круга источников. С этой целью Институтом славяноведения Академии наук СССР подготовлен в рамках издаваемой совместно с Институтом истории Польской Академии наук многотомной документальной серии «Восстание 1863 г.» двухтомник материалов и документов по истории русско-польских революционных связей, находящийся в настоящее время в печати.

¹⁷ Подробные характеристики историографии восстания 1863 г. в целом и рассматриваемой проблемы см. в указанной марксистской литературе, а также в специально посвященных этому статьях: S. K i e - n i e w i c z. Historiografia polska wobec powstania styczniowego. «Przegląd historyczny», 1953, z. 1—2; Ег о ж е. W przededniu setnej rocznicy powstania styczniowego. «Kwartalnik historyczny», 1962, N 4; M. T a n t y. Polsko-rosyjskie stosunki rewolucyjne doby powstania styczniowego w świetle historiografii. «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego», 1956, N 2 (15).

Предлагаемый доклад, дающий естественно лишь суммарное освещение проблемы, опирается на результаты коллективной работы, итогом которой является названная двухтомная публикация и ряд частных исследований членов коллектива.

* *
*

Одной из сторон революционной ситуации являлась, как известно, невозможность для «верхов» управлять по-старому, кризис правительственной политики. Другой, определяющей стороной ее был натиск «низов», подъем революционной активности народных масс, формирование революционного ядра сознательных представителей интересов народа, деятелей революции. Таким образом, сложившееся в России положение характеризовалось не только ослаблением царизма — силы, враждебной польскому освободительному движению, но и значительным ростом мощи союзника этого движения — русских революционных сил; объективно же благоприятствующим освобождению Польши фактором становилась вся совокупность общественных процессов, происходивших в России.

О взаимосвязи событий с наибольшей, неопровержимой силой говорят факты. Возьмем такое яркое проявление кризиса правительственной политики в Польше, как «40 дней свободы», «*polskie czasy*», последовавшие за расстрелом манифестации в Варшаве 15 (27) февраля 1861 г. Немногого достиг бы историк, который ограничил бы анализ политики царизма в этот момент сопоставлением убеждений, характеров и привычек Николая I и Александра II или наместников Паскевича и Горчакова. Не разрешит вопроса, а лишь перенесет его в несколько плоскость и характеристика военной неподготовленности царизма к подавлению народного движения в Польше в феврале-марте 1861 г. Лишь вспомнив, чем был для царизма февраль-март 1861 г. во всей Российской империи, в момент объявления манифеста о крестьянской реформе, в этот, по меткому выражению Герцена, «день страха», можно понять растерянность перед лицом варшавских событий не только наместника Горчакова, но всего Совета министров империи¹⁸.

Объективное значение революционной ситуации в России для польского освободительного движения, неоспоримое и очевидное для нас, осознавалось и современниками событий. В свидетельствах этого нет недостатка. Не касаясь пока взглядов представителей революционного лагеря, процитируем мнение деятеля, которого менее всего можно заподозрить в пристрастии к России и ее революционным силам, — кн. Владислава Чарторыского. Свои воспоминания он начинает именно с характеристики общественного движения в России после Крымской войны и, упомянув далее о реформах в Австрии, заключает: «Под этим двойким влия-

¹⁸ П. А. В а л у е в. Дневник. М., 1961, т. I, стр. 83—87.

нием начал пробуждаться национальный дух и в Польше. Особенно молодежь начала думать и говорить о свободе и независимости, поддерживаемая в этом русской молодежью»¹⁹. Оставим на совести автора его утверждение, будто национальный дух в Польше только пробуждался. Существеннее то, что он и не представляет возможности рассматривать события 1860—1864 гг. в Польше без учета событий, происходивших в России. То обстоятельство, что мемуары Чарторыского написаны 30 лет спустя, после подавления восстания 1863 г. и после поражения революционного движения 60-х годов в России, лишь подчеркивает выразительность этого признания. Объективную связь событий видел и стремился использовать Мерославский в своих планах восстания, намечая выступление на весенние месяцы 1861 г.²⁰

Но если значение революционной ситуации в России для польского национально-освободительного движения понимали представители и тех течений, которые открыто выражали свою неприязнь к идее русско-польского революционного союза, то неизмеримо большую роль играло понимание этой взаимосвязи событий в России и в Польше в надеждах и планах, во всем мировоззрении сторонников этого союза. К началу 60-х годов и с польской и с русской стороны эта идея имела уже прочную традицию, в годы революционного кризиса она быстро и прочно завоевала умы и сердца лучших представителей обоих народов.

Со времен декабристов и польского Патриотического общества планы совместной борьбы против царизма, идеи русско-польского революционного союза получили значительное развитие. Они нашли выражение в прекрасном девизе, начертанном на повстанческих знаменах 1831 г. — «За нашу и вашу свободу!», их провозглашали выдающиеся представители прогрессивной польской общественной мысли Иоахим Лелевель, Адам Мицкевич, Станислав Ворцель, Тадеуш Крემповецкий, Шимон Конарский, Петр Сцегенный.

Та дань глубокого уважения к подвигу декабристов, которую выразила в январе 1831 г. восставшая Варшава, вызвала «из глубины сибирских руд» сердечный отклик А. И. Одоевского. Чувства передовых русских людей к освободительной борьбе поляков проявились в самоотверженной попытке молодого офицера А. П. Кузьмина-Караваева прийти на помощь заключенному в виленскую тюрьму Ш. Конарскому. В канун революции 1848 г. с трибуны польского митинга в Париже идея русско-польского революционного союза была впервые публично провозглашена русским ре-

¹⁹ Wł. Czartoryski. Pamiętnik 1860—1864. Warszawa, 1960, str. 23.

²⁰ L. Mierosławski. Pamiętnik 1861—1863. Warszawa 1924, str. 91. В 1862 г., анализируя военные возможности царизма, среди факторов, их ограничивающих, Мерославский называет необходимость для царизма «подавления уже непобедимых (дай боже!) волнений русского народа» (см. L. Mierosławski. Instrukcja powstańcza. Warszawa, 1958, str. 57).

волюционером М. А. Бакуниным. Однако эти яркие и политически значимые факты были еще лишь отдельными эпизодами, предысторией революционного союза народов. Его реальную историю открыла в 50-х годах деятельность А. И. Герцена.

Уже само основание в Лондоне в тесной идейной и организационной связи с типографией Польского Демократического общества первой в истории русского общественного движения Вольной русской типографии было выдающимся событием русско-польских революционных связей. В первых же листах, выпшедших из-под пресса Вольной русской типографии, в воззвании «Братьям на Руси», в листовке «Поляки прощают нас», в специальном письме в редакцию газеты «Демократа польский», Герцен призвал к взаимопониманию, дружбе, единству, союзу «во имя русской и польской свободы».

Начатое в 1853 г. дело пропаганды русско-польского революционного союза Герцен настойчиво продолжал из года в год на страницах издававшейся с 1855 г. «Полярной звезды» и в особенности на страницах «Колокола», первый номер которого вышел 1 июля 1857 г. Полностью разделял чувства и взгляды Герцена его ближайший друг и единомышленник соредактор «Колокола» Н. П. Огарев, выражая это в таких программных значениях документах, как статьи «На Новый год 1861» или «Ответ на «Ответ «Великорусу», как воззвание «Что надо делать войску».

Собранные воедино статьи, заметки, письма по польскому вопросу, принадлежавшие перу Герцена (особенно, если к ним присоединить произведения Огарева), составили бы несколько обширных томов. Этот большой комплекс, занимающий важное место во всем мировоззрении и учении Герцена, уже не один раз освещался в исследованиях советских и польских историков²¹. Он несомненно и впредь будет привлекать внимание исследователей. Чрезвычайный интерес представляло бы в частности изучение развития взглядов Герцена по польскому вопросу в связи с развитием всей системы его политических и историко-социологических воззрений и с конкретными историческими событиями.

Говоря о существовании позиции издателей «Колокола» по польскому вопросу, необходимо отметить, что в ней прежде всего находило выражение благородное чувство возмущения угнетением польского народа царизмом и осуждение этого гнета. Многочисленные отклики польских читателей «Колокола» на такие статьи Герцена, как «Vivat Polonia», «Mater dolorosa», присылаемые ими адреса с выражением благодарности, такие не единичного значения факты, как заявление офицера-поляка Ясевича царским следователям, что единственная газета, которую стоит

²¹ Помимо ряда общих работ о Герцене, в которых с большей или меньшей полнотой освещается данная проблема, см. названные специальные исследования Ю. Ковальского и И. М. Белянской.

читать, — это «Колокол»²², все это свидетельство того как воспринималось это теплое слово искреннего друга. Значение этого прямого и безоговорочного осуждения русского царизма русскими людьми, решительного их выступления в защиту польского народа было огромно. Но оно ни в коей мере не исчерпывает ни существа взглядов русских революционеров на польский вопрос, ни значения этих взглядов.

Выступления Герцена по польскому вопросу — это отнюдь не только непосредственные отклики на события в Польше, это органическая и существенная часть того, что было делом всей его жизни, что составляло основной смысл его деятельности — борьбы за революционное преобразование России. Именно в глубоком понимании взаимосвязи судеб России и Польши — источник силы герценовского протеста против угнетения Польши, источник влияния «Колокола» на польское общество, значительно превосходившего (по их собственному признанию) влияние органов собственно польской демократической печати²³.

«Колокол» провозглашал, что Польша «имеет неотъемлемое, полное право на государственное существование, независимое от России»²⁴ и доказывал, что свободы Польши требуют интересы не только польского, но и русского народа. «Колокол» доказывал, что жизненные интересы русского и польского народов не создают между ними никаких существенных противоречий, а, напротив, диктуют необходимость сближения и единого, союзного революционного действия, что «освобождение Польши, освобождение прилежащих областей и освобождение России — нераздельны»²⁵. Против общего угнетателя — царизма — Россия и Польша должны бороться вместе. Этот принцип — основу позиции русской революционной демократии по польскому вопросу — Герцен со всей силой подтвердил и в дни восстания 1863 г.: «Мы с Польшей, потому что мы за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польше, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих»²⁶.

Взгляды Герцена по польскому вопросу составляли неотъемлемую часть его программы и его стратегии революции в России. В то же время предлагавшиеся им решения неизменно учитывали интересы польского народа и в полной мере им соответствовали. Герцен отстаивал и те жизненные интересы польского народа, которые не были прямо связаны с задачами российской револю-

²² ЦГИА Литовской ССР, ф. 378, ПО, 1862, д. 51, лл. 1—2.

²³ «Demokrata polski», 31. III 1860; Z. Miłkowski. *Od kolebki przez życie*. Kraków, 1936, т. II, str. 248.

²⁴ А. И. Герцен. Собр. соч., т. XIV, стр. 18

²⁵ Н. П. Огарев. Ответ на «Ответ «Великорусу». см. Избр. произв., т. I, М., 1952, стр. 539.

²⁶ А. И. Герцен. Прокламация «Земли и Воли». Собр. соч., т. XVII, стр. 91.

ции, неоднократно заявляя о поддержке стремления поляков воссоединить свою расчлененную родину, освободить ее от гнета и царской России, и Пруссии, и Австрии.

В братском соединении русских с поляками Герцен видел залог успеха их совместной борьбы против самодержавия и феодализма. Этот союз Герцен провозглашал, сознавая гигантскую потенциальную мощь революционных сил России, убежденный в том, что их помощь может стать решающим фактором освобождения Польши. Но вместе с тем Герцен признавал огромное значение для русской революции польского освободительного движения, ценил его традиции, его опыт, его роль революционного фермента для России и не только для России. Это была правильная оценка, нашедшая впоследствии подтверждение в словах В. И. Ленина, который писал: «Пока народные массы России и большинства славянских стран спали еще непробудным сном, пока в этих странах не было самостоятельных, массовых, демократических движений, *шляхетское* освободительное движение в Польше приобретало гигантское, первостепенное значение с точки зрения демократии не только всероссийской, не только всеславянской, но и всевропейской»²⁷.

Герцену принадлежит заслуга подготовки русско-польского революционного союза, вместе с Огаревым он неутомимо развивал и пропагандировал эту идею. На страницах «Колокола» находили свое выражение взгляды всего русского революционного движения, здесь провозглашалась та программа революционного единства народов России и Польши, которая не могла найти открытого выражения на страницах цензурной печати в России. Лишь в косвенной форме мог выражать свое отношение к польскому освободительному движению «Современник», но зато в полный голос оно зазвучало в листках подпольной печати, впервые появившихся в России в 1861 г. и явившихся рупором тех общественных сил, идейным вождем которых был Н. Г. Чернышевский.

Сочувствие и поддержка, оказываемые русскими революционными демократами освободительной борьбе польского народа, были выражением всей совокупности их взглядов на национальный вопрос и межнациональные отношения. Вместе с тем можно сказать, что перед русской революционной демократией национальный вопрос в своей конкретности и остроте возник прежде всего как польский вопрос. Великой заслугой русской революционной демократии было то, что она не ограничилась признанием права самостоятельно решать свою судьбу за народом, имевшим вековые традиции независимого государственного существования и своей борьбой доказавшим уже свое стремление к независимости, но сумела еще в ту эпоху, когда процесс формирования наций и национального самосознания многих народов России был далек

²⁷ В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 403.

от завершения, провозгласить всеобъемлющий принцип права каждого народа на свободное национальное развитие вплоть до государственного отделения, если такова будет его воля.

Значение этого принципа для развития русско-польских революционных связей было чрезвычайно велико. Он выбивал оружие из рук тех сознательных противников совместного русско-польского революционного действия и тех скептиков, которые, будучи бессильны заглушить мощный голос герценовского «Колокола», пытались внушить мысль о будто бы преходящем, конъюнктурном характере позиции русских революционеров и хотели посеять недоверие к ним, превратно интерпретируя идею Герцена о будущем братском союзе свободной Польши со свободной Россией.

Вместе с тем признание русскими революционерами права каждого народа, а следовательно, и народов Украины, Белоруссии, Литвы определять свою судьбу выдвигало перед польским освободительным движением проблему первостепенного значения. До этого времени не только сознательно националистические элементы, но и демократически настроенные, прогрессивно мыслящие участники польского освободительного движения традиционно именовали Польшей всю территорию, входившую в состав Речи Посполитой до ее разделов. Каковы бы ни были причины этого — сила ли традиции или незнание территорий, о которых идет речь, и их населения, непонимание и недооценка быстро развивающихся процессов формирования национального самосознания народов или пережитки представления, будто национальный облик территории определяют «культурные», «образованные» слои ее населения (т. е. господствующие классы), пусть даже они являются национальным меньшинством²⁸, эти ошибочные взгляды, находившиеся в разительном противоречии и с действительным положением вещей и с потребностями революционного движения, могли лишь причинять вред борьбе за освобождение польского народа. Поставка этого важнейшего вопроса перед польским обществом, помощь в освобождении от предрассудков и ошибочных взглядов была реальной и существенной помощью польскому освободительному движению.

Другой существенной стороной взглядов русских революционных демократов на национальный вопрос было выявление его социального существа и социальной обусловленности. Когда Герцен в полемике с польским корреспондентом доказывал, что «экономический вопрос» — ликвидация феодализма, освобождение крестьян с землей — есть вопрос главнейший, существнейший²⁹, когда Чернышевский язвительно высмеивал национальную бестактность и народную бестолковость тех, кто пытается

²⁸ См. полемику Герцена. Собр. соч., т. XIV, стр. 34.

²⁹ А. И. Герцен. Собр. соч., т. XIV, стр. 32—33.

внушать украинскому народу, будто все поляки — его враги, а любой украинец — друг, и показывал единство интересов трудящихся независимо от их национальности³⁰, они указывали путь, который вел к осуществлению национальных чаяний всех народов, путь совместной борьбы против самодержавия и феодализма.

В своей политической деятельности русские революционеры не избегали контактов и сотрудничества с различными оппозиционными царизму течениями, в том числе и такими польскими группами, как «Отель Лямбер» или сторонники Мерославского. Однако подлинными единомышленниками и союзниками русские революционные демократы считали тех, чья программа сочетала революционную борьбу против самодержавия с борьбой против феодализма, тех, кто, борясь за свободу своего народа, признавал интересы и права других народов.

Несомненно, что в представлениях русских революционных демократов о будущих государственных отношениях славянских народов были черты утопизма, прямо связанные с их утопическими представлениями о перспективах социального развития России и славянства, о роли общинного строя. Но несомненно также и то, что этот утопизм выражал благородные идеалы, ни в какой мере не уменьшавшие реальности и действенности непосредственной революционной программы, являвшейся в тех исторических условиях наиболее прогрессивной программой преобразования России.

* *
*

На рубеже 50-х и 60-х годов XIX в. Россия переживала глубокий революционный кризис, который Маркс и Энгельс расценивали как одно из величайших явлений современности³¹. Все нарастающая сила народного движения принудила господствующий класс пойти на проведение крестьянской реформы 1861 г. Эта реформа, как показал дальнейший ход событий, сыграла предназначенную ей политическую роль предохранительного клапана, спасающего царизм и господствующий класс от революционного взрыва. Однако непосредственная реакция крестьянства на грабительскую реформу, проведенную руками крепостников, была чрезвычайно острой — в весенние и летние месяцы 1861 г. крестьянское движение, являвшееся уже ответом на реформу, достигло своего апогея.

Во второй половине 1861 г. крестьянское движение заметно уменьшилось, но в эти месяцы уже не было в Европейской России

³⁰ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 775—783, 828—848.

³¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXII, стр. 337, 362, 364, 468—469, 474, 475.

уголка, где бы из уст в уста не передавалась весть о «слушном часе», о том, что вместо нынешней ненастоящей, «малой» воли через два года (это был срок, на который по «Положениям 19 февраля» сохранялось так называемое временно-обязанное состояние) новый царский манифест принесет крестьянам «большую», чистую волю и землю. Вера в «слушный час», в которой нашел свое проявление наивный монархизм крестьянства, резко ослабила волну крестьянского протеста³². Но она же предвещала его новый подъем через два года, когда крестьянство убедится в беспочвенности своих надежд на царскую милость. Из того, что весна—лето 1863 г. принесут новый подъем крестьянского движения, исходили в своих планах и действиях революционеры, этого серьезно боялись и царские власти.

Между тем острота внутривосточной обстановки в России сохранялась. К этим уже послереформенным месяцам в полной мере относится характеристика всех проявлений революционной ситуации и заключительный вывод в известном ленинском положении: «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови заставлять принять «Положение», обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников применять *такое* «Положение», студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»³³.

Вера в возможность революционного взрыва, ожидание крестьянского восстания определяли всю деятельность русских революционеров в 1861—1862 гг. Именно в это время происходит возникновение и оформление «Земли и Воли», общероссийской организации, вобравшей в себя многочисленные революционные кружки и группы; получает широкое развитие и распространение подпольная печать, которая, наряду с «Колоколом», выступала с прямым призывом к революции. И в конспиративной деятельности «Земли и Воли», и в листках «Великоруса», «Русской Правды», «Молодой России» находят ясное выражение поддержка революционной Россией освободительной борьбы польского на-

³² Наиболее подробное освещение этого вопроса дано М. Найденовым в работе «Классовая борьба в пореформенной деревне (1861—1863)», М., 1955.

³³ В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 26—27.

рода, готовность к совместному революционному штурму самодержавия.

Замыслы русских революционеров в основном сводились к подготовке революционного выступления, которое должно было совпасть с новым подъемом крестьянского движения весной и летом 1863 г. и придать крестьянскому движению целеустремленность и организованность. Особое внимание было обращено при этом на революционную работу в армии с целью не только ослабления вооруженной мощи царизма, но и создания того организующего ядра, вокруг которого могли бы формироваться силы будущего военно-крестьянского восстания. Предполагалось, что восстание начнется в тех районах, где крестьянство наиболее активно выступило в 1861 г. против грабительской реформы, где имелись значительные прослойки оппозиционно настроенного и сохраняющего вольнолюбивые традиции русского населения (староверы, казачество), где широко развертывалось национально-освободительное движение других народов; начавшись с периферии, это «идущее строем» восстание (термин Огарева) должно было двигаться на Москву и Петербург, охватывая всю страну и привлекая к себе народные массы и еще не вовлеченные в движение части армии. Одним из элементов этого плана была агитационно-пропагандистская деятельность, направленная на то, чтобы использовать все потенциальные возможности оппозиционности различных социальных и политических групп общества и во всяком случае сузить до минимума ту базу, на которую могло бы опереться самодержавие в борьбе против революции. Естественно, что вопрос о русско-польском революционном союзе в этих условиях приобретал уже не только идейно-теоретическое, но и практически-политическое содержание, становился вопросом первоочередной политической значимости. Между тем, элементы этого складывающегося союза были в это время уже налицо.

Одним из важнейших центров русско-польского общения были русские высшие учебные заведения³⁴. Отмена николаевских ограничительных правил привела к тому, что состав студенчества после Крымской войны значительно расширился и существенно демократизировался. Велико было число устремившейся в русские университеты польской молодежи, лишенной возможности приобретать высшее образование на родине. Совместное обучение, совместное обсуждение наиболее волнующих общественных вопросов создавало условия для сближения и взаимопонимания русских и поляков, для формирования в студенческой среде лишенного национальной ограниченности типа революционера-шестидесятника. Гиллер, весьма далекий от энтузиазма, по этому поводу, писал впоследствии, что в России польские студенты «учились столь необходимой в их положении солидар-

³⁴ Вопрос этот широко освещен Т. Г. Снытко в указанной выше работе.

ности и проходили — сами того не зная — настоящую политическую школу. Непосредственный источник событий 1861—1863 гг. следует искать в русских университетах»³⁵. Пусть последний вывод мы и оценим как преувеличение, несомненно, что роль студенчества в подъеме революционного движения в Польше в 60-х годах была очень велика. В русских университетах поляки учились не только солидарности в своей собственной среде, но и получали навыки сотрудничества с русскими сотоварищами. Горячий протест студентов-русских против зверств царских властей в Польше, массовое выражение сочувствия освободительной борьбе польского народа, совместное участие в широком студенческом движении осенью 1861 г. закладывали основы русско-польского революционного союза. Студенты-поляки за годы учения в русских университетах знакомились с Россией, они несравненно лучше, чем другие их соотечественники, имели возможность узнать и понять не официальную, казенно-чиновническую Россию, а Россию народную, Россию революционную, ее нужды, ее чаяния, ее отношение к польскому народу. Более того, вместе со своими русскими товарищами они искали ответа на волнующие их вопросы у Герцена и Чернышевского, они формировались как революционеры не только под влиянием традиций польского освободительного движения, но и под влиянием русской революционной демократии, они становились убежденными интернационалистами, приверженцами идеи русско-польского революционного союза. Об этом поколении польских революционеров писал в дни Парижской Коммуны Юлиан Клячко: «Боже, ты знаешь, что те чувства и мысли, которые сейчас их объединяют с Коммуной, они вынесли из московских университетов и петербургских казарм»³⁶.

Обратимся и мы от университетов к казармам. То широкое общественное движение в России, отражением и составной частью которого было студенческое движение, действительно сильно затронуло русскую армию и в первую очередь высшие военно-учебные заведения — академии, находившиеся в Петербурге. Здесь уже на рубеже 1857 и 1858 гг. возник кружок прогрессивных офицеров, за которым в литературе закрепилось название «кружок Сераковского-Домбровского»³⁷. Ядро этого кружка составляли офицеры-поляки, но он не был ни исключительно офицерским, ни исключительно польским. Но не столько состав этого кружка, сколько его направленность и деятельность делают его

³⁵ Polska w. walce, t. II, Kraków, 1875, str. 7.

³⁶ Цит. по: С. В о б і њ с к а. Marks i Engels a sprawy polskie. - Wyd. 2. Warszawa, 1955, str. 222.

³⁷ В. Р. Лейкина-Свирская и В. С. Шидловская. Польская военная революционная организация в Петербурге (1858—1864 гг.). «Русско-польские революционные связи 60-х годов и восстание 1863 г.». М., 1962, стр. 7—48, а также названные работы А. Ф. Смирнова и В. А. Дьякова.

важным звеном в истории складывания русско-польского революционного союза. Организатор и руководитель этого кружка Зыгмунт Сераковский, близкий друг Чернышевского и Добролюбова, позднее во время своих зарубежных командировок близко сошедшийся с Герценом и Огаревым, и другие члены кружка были убежденными сторонниками совместного русско-польского революционного действия и непосредственно участвовали в русской общественной жизни, в русском революционном движении. В дальнейшем кружок превратился в Петербургскую офицерскую организацию, объединившую революционные кружки в военных академиях, училищах, кадетских корпусах, в частях и учреждениях столичного гарнизона. Петербургская офицерская организация была связана с такими первыми проявлениями оппозиционных настроений в армии, как «история» в Инженерной академии (коллективный протест 115 офицеров против отчисления из академии их сотоварища) и публичный протест 106 офицеров против сторонников сохранения телесных наказаний в армии; она сыграла значительную роль в революционизировании передового офицерства, в подготовке командных кадров будущей революционной армии. Несомненно, что деятельность этой организации, тесно связанной с «Землей и Волей», не только отвечала плану «повсюдного» военно-крестьянского восстания в 1863 г., но явилась одним из факторов, определивших само возникновение этого плана, отводившего армии столь значительную роль в общероссийском штурме самодержавия.

Оппозиционные царизму настроения, возмущение карательной политикой принимали особенно широкий характер в русских войсках, расположенных в Польше. Здесь в непосредственном общении с польским народом, убеждаясь в справедливости его освободительных стремлений, проникаясь отвращением к той роли, которую им навязывал царизм, передовые офицеры становились сознательными революционерами. К осени 1861 г. относится возникновение «Комитета русских офицеров в Польше», организации, объединявшей русских, поляков, украинцев, представителей других народов для совместной революционной борьбы. Знаменательно совпадение времени возникновения Комитета с временем создания «Земли и Воли», с одной стороны, и руководящего центра складывающейся партии красных, с другой. Комитет был связан с Петербургской офицерской организацией, один из руководителей которой — Ярослав Домбровский — вскоре, получив назначение в Царство Польское, вошел в состав руководства Комитета и одновременно в состав Городского (в дальнейшем Центрального Национального) комитета красных. Комитет русских офицеров развернул энергичную агитационно-пропагандистскую деятельность. На протяжении 1862 г. ячейки Комитета возникли во всех соединениях и частях русской армии в Царстве Польском. Революционные офицеры не ограничивались

своей средой, они все шире развешивали пропагандистскую работу среди солдат.

Естественно, что революционные настроения в армии вызвали особую тревогу и пристальное внимание царских властей. Начались аресты среди офицеров. В июне 1862 г. по приговору военного суда, предопределенному лично Александром II, были расстреляны три армейских революционера: Аригольдт, Сливичский и Ростовский. Это были первые (после казни в 1861 г. вожака крестьянского восстания в Бездне Антона Петрова) политические казни 60-х годов.

Комитет русских офицеров решил перейти к решительным действиям. Возник план восстания, вошедший в историю под названием плана Домбровского. Этот план намечал совместное выступление красных и армейской революционной организации, овладение варшавской цитаделью и крепостью в Новогеоргиевске (Модлине) и использование находившихся там арсеналов для массового вооружения повстанцев. Исходящий из совместного русско-польского революционного действия план Домбровского предусматривал и дальнейшее развитие русско-польского революционного союза: освобожденная польская территория должна была стать базой формирования русской революционной армии, которая понесет знамя восстания в глубь России. Восстание Комитет намечал на лето 1862 г.

Было бы ошибкой считать, что план этот возник лишь в связи с угрозой, нависшей над армейской революционной организацией после арестов в феврале—апреле 1862 г. Возникновение плана Домбровского, очевидно, связано с обозначившимся в весенне-летние месяцы 1862 г. переходом царизма в контрнаступление. Вслед за арестами армейских революционеров власти временно запретили легальные демократические органы — «Современник» и «Русское слово». Началась волна арестов, 7 (19) июля были арестованы Н. Г. Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич. Воспользовавшись майскими пожарами в Петербурге (на их удивительную «своевременность» с точки зрения властей сразу же указал Герцен), либералы открыто начали переходить в правительственный лагерь и развернули травлю революционеров. Царизм принял новый курс политики в Польше — установление согласия с польскими помещиками и буржуазией в целях решительного подавления демократического движения; реализаторами этого курса должны были стать новый наместник великий князь Константин Николаевич и начальник гражданского управления Королевства Польского маркиз Велешпольский.

В условиях начавшегося наступления реакции армейские революционеры решили не ожидать отдаленного и заранее известного противнику срока — весны 1863 г. — и, несмотря на еще недостаточную подготовленность, ускорить выступление. Это был смелый и, несомненно, весьма рискованный план, но он не был

лишен ни здравой оценки положения, ни шансов на успех. Однако, когда Ярослав Домбровский от имени военной организации предложил этот план действия комитету красных, он встретил серьезное сопротивление.

Не останавливаясь подробно на внутренней борьбе в партии красных и на диверсии белых, следствием чего было переформирование Центрального Национального комитета (ЦНК) и отказ от плана Домбровского, отметим лишь, что этот революционно-демократический по своему содержанию и духу план был неприемлем для значительной части сил, входивших в тот блок, каким являлась по существу партия красных. План Домбровского поддерживали те революционно-демократические элементы, которые были тесно связаны с народом, прежде всего с рабоче-ремесленными кругами варшавской городской организации красных. Но в руководстве организации были сильны приверженцы Мерославского, пользовавшиеся популярностью из-за своего, по существу весьма поверхностного, социального радикализма, которые, не отвергая курса на национально-освободительное восстание и даже демагогически требуя его ускорения, были решительно враждебны союзу с русскими революционерами. Добавим к этому, что на партию красных и на само ее руководство оказывали через своих сознательных или невольных агентов сильное влияние белые — помещики и крупная буржуазия, враждебные восстанию, революционным переменам, русскому народу и именно в это время, накануне приезда нового наместника, рассчитывавшие добиться путем сговора с царизмом максимальных уступок. Для всех этих сил план Домбровского был нежелательной и опасной неожиданностью.

План Домбровского был отвергнут, и восстание отодвинуто на неопределенный срок. Однако правым не удалось полностью овладеть ЦНК. Вопрос о русско-польском революционном союзе не был снят с повестки дня. Его необходимость провозглашала польская демократическая эмигрантская печать (в мае-июне 1862 г. «Демократа польский» опубликовал большую статью М. Акелевича, так и называвшуюся «О необходимости союза между Польшей и революционной Россией»), выражая мнение не только «старой» эмиграции, но и активного и влиятельного общества «Польская молодежь». Вскоре необходимость шагов в этом направлении ощутили даже некоторые из тех руководителей красных, кто, как, например, Гиллер, активно препятствовал принятию плана Домбровского. Здесь в разной степени сыграли роль несколько причин. Программа уступок, привезенная Константином Николаевичем и Велепольским, не удовлетворила белых, а это в свою очередь ослабило оппозиционность в отношении планов восстания тех элементов из руководства организации красных, которые были близки к белым. ЦНК отнюдь не сбрасывал в своих планах со счета помощь русских революционеров и особенно армейской

организации, но контакт с ней после июньского переворота в ЦНК, а особенно после ареста Домбровского 2 (14) августа был нарушен, и восстановление доверия было не простой задачей. Наконец, непрестанные интриги Мерославского, стремившегося подчинить себе ЦНК, диктовали принятие мер для укрепления авторитета ЦНК. Так создались условия для переговоров о русско-польском революционном союзе. Переговоры эти от имени ЦНК должны были вести Гиллер и кооптированный в состав ЦНК Зыгмунт Падлевский. Очевидно, что включение в состав ЦНК и делегирование в качестве его представителя для переговоров Падлевского, члена Петербургской офицерской организации, одного из руководителей общества «Польская молодежь», уже лично известного Герцену, должно было послужить гарантией революционной линии ЦНК и искренности предложения о союзе.

Между тем, Комитет русских офицеров в Польше, еще в конце 1861 г. пытавшийся установить контакт с издателями «Колокола», в мае-июне 1862 г. достиг этой цели. Сложность обстановки, сложность взаимоотношений с польской повстанческой организацией побуждали Комитет искать совета и содействия у Герцена.

Такова была предыстория лондонских переговоров, состоявшихся в сентябре 1862 г. В них приняли участие представители ЦНК, Герцен, Огарев и Бакунин и уполномоченный Комитета, один из его организаторов и душа армейской революционной организации А. А. Потебня.

Результатом лондонских переговоров было достижение соглашения и опубликование на страницах «Колокола» важнейших документов — письма ЦНК издателям «Колокола» и ответа на него, а также письма Герцена и Огарева русским офицерам в Польше.

Два месяца спустя Падлевский и Потебня встретились в Петербурге с представителями ЦК «Земли и Воли». При встрече были окончательно определены отношения «Земли и Воли» и Комитета русских офицеров в Польше, который был признан автономной военной организацией «Земли и Воли». Переговоры в Петербурге в полной мере подтвердили и закрепили достигнутое в Лондоне союзное согласие между русской и польской революционными организациями.

На чем основывался этот союз? Он не ограничивался признанием единства интересов народов в борьбе против угнетающего их царского самодержавия. И письмо ЦНК, известное нам в своей окончательной форме, явившейся результатом бесед с Герценом, и ответ на него издателей «Колокола» подчеркивали, что вступающая в союз с русскими революционерами польская партия принимает в качестве своего основного принципа право крестьян на землю, обрабатываемую ими, признает право народов, чья территория входила некогда в состав Речи Посполитой, на свободное решение своей судьбы. Таким образом, торжественно признанные демократические основы польской революции — ее антифеодаль-

ная направленность, т. е. демократическая программа в отношении своего народа, и новое содержание, вкладываемое в традиционный по форме лозунг борьбы за восстановление Польского государства, т. е. демократическая программа отношений с другими народами, составляли неотъемлемую часть достигнутого соглашения, более того, его принципиальную основу. Объективно это был союз между русской и польской революционной демократией, союз на общей идейной основе. «Нам легко с вами идти. . . — писали Герцен и Огарев. — Это наши основы, это наши догматы, наши знамена». Идейную, принципиальную основу союза подчеркивал и документ, завершивший петербургские переговоры, и крупнейшее выступление «Земли и Воли» по польскому вопросу — так называемый журнал «Земля и Воля».

Заключая этот союз, русские революционеры не закрывали глаза на то, что и в самой партии красных далеко не все искренне разделяют революционно-демократические взгляды и готовы придерживаться их (вспомним выразительные строки «Былого и дум» о Гиллере), не говоря уже о том влиянии, которым пользовались откровенные и явные противники революционно-демократической программы и русско-польского сотрудничества. Мерославский ответил на лондонские переговоры яростной атакой против «предателей» из ЦНК и против русских революционеров. Герцен видел те трудности, которые стояли на пути польских друзей и союзников, но несмотря на это, а точнее — именно учитывая это, считал необходимым оказать им всемерную поддержку.

В буржуазной польской литературе, а отчасти и мемуаристике, имел широкое хождение тезис о том, будто русские революционеры дезориентировали поляков преувеличенным представлением о степени революционного брожения в России, нереальными посулами широкой помощи польскому восстанию и «подталкивали» их к восстанию. Это совершенно фальшивое, а у некоторых авторов, несомненно знавших как было дело, и сознательно клеветническое утверждение. Русские революционеры верили в подъем революционного движения в России весной 1863 г., но они никогда не давали на этом основании каких-либо гарантий своим польским друзьям, никогда не навязывали им инициативу выступления и не только не благословляли их восстание в Польше ранее упомянутого срока, но всеми силами пытались убедить польских союзников воздержаться от преждевременного выступления³⁸. Это истина, которая подтверждается всей перепиской Герцена и Огарева в те месяцы, всеми (в том числе и польскими) документами о лондонских и петербургских переговорах. Следует

³⁸ Необходимо сделать оговорку в отношении позиции Бакунина, авантюристические черты которой резко осуждали и Герцен, свидетельством чего являются многие страницы «Былого и дум», и Огарев, писавший Бакунину 31 октября 1862 г.: «Если ты ищешь себе занятия, хотя бы по пути погибла надолго русская свобода и рост внутренней организации народа, — я враг тебе» (см. Избр. прозв., т. II, стр. 475).

заметить, впрочем, что особых споров относительно момента выступления и не возникало, так как переговоры в Лондоне проходили до известия о рекрутском наборе, с особой остротой поставившего вопрос о восстании, а в момент переговоров в Петербурге сам ЦНК придерживался мнения о необходимости, несмотря на рекрутский набор, планировать восстание на весну 1863 г.

Чрезвычайно интересно в этом отношении высказывание осведомленного деятеля, участника лондонских переговоров — Гиллера, который, как известно, руководствовался в вопросе о союзе с революционной Россией не идейными, а тактическими соображениями и отнюдь не был другом и единомышленником русских революционеров. Мы приводим ниже выдержку из его, без сомнения откровенного письма Ю. И. Крашевскому; письмо датировано 13 марта 1877 г., т. е. относится ко времени подъема народнического движения, которому Гиллер не симпатизировал (отсюда его выпады против «нигилистов»). Вот что говорится в письме: «Герцен и Огарев не конспировали в России. Из Лондона они распространяли революционные принципы в своем народе и Вы знаете, каким влиянием они пользовались. Они, можно сказать, подготовили революцию в России. В конце 1861 и в 1862 гг. среди русских образовался первый большого масштаба заговор. Его образовали русские, но под влиянием поляков, главным образом Домбровского. Впрочем, это несущественно. Этот заговор не был еще нигилистическим, хотя позднее превратился в таковой. Его целью было свержение царизма, республика и осуществление демократическо-социальных принципов. Собственности они еще не отвергали полностью как нигилисты. В отношении Польши этот заговор был дружественен. Он признавал права поляков и их право распоряжаться собою. Поляков трактовали как союзников. При посредничестве поляков Герцен установил связи с этим обществом. Его главный центр был в Петербурге. Ответвления и филиалы были разбросаны по всей России. Почти независимый филиал этого заговора существовал в Варшаве среди военных. Неправда, будто Герцен, Бакунин и этот заговор подстрекали поляков к восстанию. Неправда и то, будто они предали поляков. Не предал ни один, даже из тех, кто не помогал полякам. Палачи и угнетатели вербовались из русских либералов, разновидности национал-либералов. Заговорщики, т. е. настоящие революционеры, не заслужили упрека, какой после им у нас делали, будто из подстрекателей они стали палачами. Они опасались восстания в Польше и, как и Герцен, предсказывали, что из-за недостаточной подготовки почвы в России, недостаточности революционных приготовлений царь одной речью фанатизирует народные массы, посеет в них ненависть к полякам и испортит всю работу революционеров. Так и случилось»³⁹.

³⁹ Biblioteka Jagiellońska rkp. 6502/IV, t. 42, str. 505—506.

Нет нужды здесь исправлять допущенные Гиллером очевидные неточности, не место также анализировать некоторые — в ином плане — весьма любопытные его соображения. Важно то, что и Гиллеру претила националистическая клевета по адресу русских революционеров, хотя он и не выступил против нее в печати.

Как мы уже отметили, в момент петербургских переговоров ЦНК был против ускорения восстания. Однако полностью исключить эту возможность в той напряженной и быстро меняющейся обстановке было невозможно. Вопрос этот был предметом обсуждения и нашел отражение в документе, подытожившем результаты переговоров: «ЦНК признает, что Россия еще не настолько подготовлена, чтобы оказать помощь восстанием польской революции, если только она вспыхнет в скором времени. Но он рассчитывает на активную диверсию со стороны его русских союзников, чтобы воспрепятствовать царскому правительству послать свежие войска в Польшу». Этот пункт не только подтверждает, что ЦК «Земли и Воли» не вводил в заблуждение своих польских союзников и не толкал их на восстание, о чем была речь выше, но говорит и о стремлении землевольцев в меру возможности оказать им содействие в случае начала восстания.

Соглашение между ЦНК и ЦК «Земли и Воли» предусматривало поддержание постоянного контакта и оказание взаимной помощи. Это получило реальное воплощение вскоре после петербургской встречи. Находившаяся в Петербурге под угрозой типография ЦК «Земли и Воли», перед которой стояла ответственная задача выпуска программного документа общества для распространения его ко дню 19 февраля 1863 г., была перемещена в ближайший к Петербургу опорный пункт польской организации — Мариенгаузен.

Наступил январь 1863 г., а с ним и восстание в Польше.

* *
*

Принимая решение о проведении рекрутского набора по именным спискам, царские власти и инициатор «бранки» Велепольский рассчитывали на то, что им удастся обезвредить основные кадры повстанческой организации и подорвать авторитет ее руководителя — ЦНК. Но уже сам факт объявления о предстоящем наборе задолго до его проведения свидетельствует о том, что в значительно большей мере целью этих действий было вызвать революционеров на открытую борьбу, спровоцировать восстание в момент, когда приготовления были не завершены, навязать революции бой в невыгодных для нее условиях и разгромить ее. Провокационный характер действий царизма и его союзников из среды польского господствующего класса был очевиден, и ЦНК, поддерживаемый в этом отношении русскими революционерами, был

твёрдо настроен не поддаваться на провокацию, принять все возможные меры для сбережения кадров организации, но не связывать срока восстания с моментом рекрутского набора.

И тем не менее конкретные условия, сложившиеся в январе 1863 г., вынудили ЦНК принять решение о немедленном восстании. Если обстоятельства, сопровождавшие это решение, в целом относительно хорошо известны, и мы знаем и о спорах в рядах организации, и о колебаниях ЦНК, и о внутренней борьбе, какую переживали в этот момент сами руководители повстанческой организации, то сведения, которыми мы располагаем о сношениях польских и русских революционеров в эти напряженные дни, крайне скудны. Между тем сношения эти были. По вызову ЦНК в Варшаву приехал член ЦК «Земли и Воли» А. А. Слепцов, который находился здесь и в момент начала восстания. В Варшаве находился и А. А. Потехня, поддерживавший постоянную и тесную связь с руководством повстанческой организации. Нам неизвестно содержание их бесед с представителями ЦНК. Очевидно, что само решение о начале восстания уже не могло составлять предмет дискуссии. Речь могла идти о планах совместных действий в той новой обстановке, которую создавало восстание, планах как непосредственно на первые же дни, так и имеющих более длительный и широкий характер. Представление о них мы можем составить лишь ориентировочное на основании отдельных сообщений, прямо или косвенно относящихся к рассматриваемому вопросу.

Одной из острейших потребностей в канун восстания было обеспечение оружием. Попытка закупки его за границей была предпринята незадолго до этого и еще не дала результатов; во Франции полиция, не без участия агентов III отделения, помешала деятельности эмиссаров ЦНК и арестовала их. Число членов повстанческой организации, готовых выступить в первый же момент, намного превышало наличное количество оружия. В этот момент Домбровский, находившийся в заключении в варшавской цитадели, но наладивший оттуда связь с «волей», напомнил ЦНК о своем плане захвата модлинского арсенала. О попытке овладеть варшавской цитаделью уже не приходилось думать: и город, и цитадель были переполнены войсками, в числе которых была гвардейская дивизия, остававшаяся еще, судя по всему, вне сферы влияния армейской революционной организации. Но план захвата Модлина был признан, несомненно, после совещания с Потехней, осуществимым. Члены армейской организации из находящейся в крепости юнкерской школы, а возможно, и размещенного здесь Низовского пехотного полка должны были облегчить внезапный захват крепости отрядам варшавских повстанцев, которые начали с 3 (15) января собираться в Кампиносских и Сероцких лесах. Туда же направился для руководства повстанцами Падлевский. Покинул Варшаву одновременно с выходом из города

повстанцев и Андрей Потебня⁴⁰. Но уже в ближайшие два дня стало известно, что план нападения на Модлин неосуществим, и целью действия собранных отрядов стал Плоцк, взятие которого могло иметь определенный морально-политический эффект, но ничуть не способствовало решению задачи вооружения повстанцев.

Какие известия из Модлина заставили изменить планы, что произошло там в эти дни? Известные до сих пор источники не дают нам точного ответа. Глухие строки статьи Огарева «Надгробное слово» говорят о неудаче, постигшей Потебню в эти дни: «Потебня собрал отряд. . . Несчастный случай разрушил его. . .»⁴¹. Быть может, речь шла о неудаче плана овладения Модлином.

Армейская революционная организация несомненно планировала активные действия с самого начала восстания. Эти действия могли иметь различный характер в зависимости от обстановки: прямой переход к повстанцам самих революционных офицеров, а там, где их предшествующая деятельность подготовила к тому возможности, и переход вместе с ними групп солдат или целых подразделений; содействие повстанцам в самых различных формах — от снабжения оружием и сообщения о планах царских властей до прямой помощи во время боев. Особое значение имели первые же действия в первые дни восстания. При этом армейская организация «Земли и Воли» в Польше должна была оказать всемерное содействие освободительному восстанию в Польше, а «не распуститься в польском деле» (выражение Герцена), а стать ядром русской революционной армии, нести знамя восстания на Днепр и Волгу, на Дон и Урал.

Отсутствие достаточной организованности, недостаток времени для разработки и согласования планов, являвшиеся важной причиной почти повсеместных неудач повстанцев в первую ночь восстания с 10 (22) на 11 (23) января, в еще большей мере сказались отрицательно на координации действий повстанцев с армейской организацией. Так, попытка капитана Галицкого пехотного полка Доброгойского, который вывел из Келец на соединение с повстанцами свой батальон, оказалась неудачной, поскольку в условленном месте повстанцев не оказалось. Доброгойский был вынужден вернуться; позднее он примкнул к повстанцам, но на этот раз с ним был уже только один офицер. Жертвами некоторых нападений, совершенных в первую ночь на русские гарнизоны, оказались офицеры и солдаты, сочувствовавшие освободительной борьбе польского народа.

Реакционная русская печать всемерно раздувала события ночи 10—11 (22—23) января, преувеличивала потери, понесенные

⁴⁰ R. B ł o Ń s k i. Pamiętnik z Augustowskiego 1863 r. «Polska w walce», t. II. Kraków, 1875, str. 358; Z. Chądzyński. Wspomnienia powstańca z lat 1861—1863. Warszawa, 1963, str. 69.

⁴¹ Н. П. О г а р е в. Избр. произв., т. I, стр. 648.

русскими войсками во время этой «варфоломеевской ночи». Демагогически-агитационный смысл этих воплей был тогда же разоблачен русскими революционерами. Но нельзя закрывать глаза на то, что и сам факт этих нападений и развернутая вокруг него агитация оказали значительное влияние на русские войска в Польше, существенно затруднив деятельность армейских революционеров. Надежда на то, что с самого начала польского восстания удастся создать русские революционные отряды — ядро революционной армии, которые могли бы самим фактом своего существования оказать воздействие на находящиеся в Польше русские войска, не оправдалась. Сама армейская организация оказалась в тяжелом положении, конспиративные связи были нарушены, перспектива действия неясна. Необходимостью выработать новый план была продиктована февральская поездка Потебни в Лондон вслед за Слепцовым, а может быть, и одновременно с ним.

Говоря о планах действия повстанцев, мы упомянули лишь о непосредственной задаче, которую наметил ЦНК для первого момента восстания. Но существовал и более широкий, стратегический план, намечавший основное направление удара — на северо-восток. При оценке этого плана обычно его задачи определяются как содействие развертыванию восстания в Литве и нарушение коммуникаций царских войск в Польше с империей, в частности перехват только что сданной в эксплуатацию важнейшей магистрали — Петербургско-Варшавской ж. д. Не подвергая сомнению правильность этих выводов, мы полагаем, что значение этого сформулированного Падлевским плана ими не ограничивается. План исходил из более широких и более длительных перспектив, он имел целью содействие переносу революционного пожара в глубь России и установлению прямой связи с русским революционным движением. Такое понимание плана Падлевского основывается как на его предшествующих и относящихся непосредственно ко времени разработки этого плана контактах с русскими революционерами, так и на событиях ближайших месяцев.

Начало восстания в Польше существенно изменило обстановку для русских революционеров. Никаких сомнений или колебаний в своем отношении к восстанию они не испытывали. Их позиция безоговорочного сочувствия борьбе польского народа и его поддержки была определена и провозглашена с самого начала восстания и оставалась непоколебимой.

Как мы уже говорили, русские революционеры свои предположения о подъеме революционной волны в России весной 1863 г. связывали с тем возмущением, которое должно было вызвать у крестьянства крушение надежд на издание нового царского манифеста, предоставляющего настоящую, полную волю, манифеста, ожидаемой датой издания которого должен был быть «царский день» — 19 февраля (ст. ст.). В том, что никакого царского

манифеста о земле и воле не появится, революционеры не сомневались. Но жадное ожидание народом заветного печатного слова в день 19 февраля учитывалось революционерами, которые решили воспользоваться созданным положением для агитации. О том, каково должно было быть по первоначальным планам направление этой агитации, дает представление прокламация, написанная и литографированная В. И. Кельсиевым в Константинополе⁴². Если внешнее оформление этой прокламации, ее стиль и некоторые второстепенные элементы содержания можно отнести за счет личных убеждений и вкусов Кельсиева, то вся основная сформулированная в ней программа несомненно соответствовала общим землепользовательским планам. Прокламация эта начиналась напоминанием о «случном часе» и имела дату «19 февраля».

К 19 февраля готовил свое обращение к народу и ЦК «Земли и Воли». Мы не знаем, был ли составлен текст такого обращения до начала польского восстания, но с конца января или первых дней февраля в типографии в Мариенгаузене набирался документ, известный нам под скромным названием журнала «Земля и Воля»⁴³. Это было программное выступление русской революционной организации, в котором давалась оценка всей политической обстановки, ясно определялось отношение к польскому восстанию, опровергались клеветнические нападки на поляков, прямо говорилось о состоявшихся переговорах с польскими революционерами и провозглашалась идея русско-польского революционного союза. Новая обстановка потребовала такого выступления с документом, обращенным не непосредственно к народным массам, а к прогрессивно мыслящим представителям так называемого образованного общества. Однако и этот документ должен был выйти в свет к 19 февраля, и ему придавалось значение революционного манифеста; во всяком случае именно так называли его в своих показаниях лица, связанные с его публикацией⁴⁴.

Издание журнала «Земля и Воля», как известно, не было завершено, и распространения он не получил. Те же взгляды, те же идеи, что и журнал «Земля и Воля», выражала землепользовательская листовка, специально посвященная польскому восстанию, распространение которой началось 18 февраля. Она была написана Слепцовым и начиналась словами: «Льется польская кровь, льется русская кровь. . . Отчего же и для чего она льется?». Листовка призывала к союзу с борющимся польским народом и обращению оружия против «виновника всех народных бедствий—императорского правительства». Таково же было содер-

⁴² А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. XVI. Пг, 1920, стр. 105, а также «Литературное наследство», т. 41—42, М., 1941, стр. 362.

⁴³ Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1960, стр. 537—542.

⁴⁴ ЦГИА Литовской ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 60, т. III, лл. 77—79, 231—232, 261—264.

жание и изданной за рубежом листовки Огарева, начинавшейся словами: «Братья солдаты, ведут вас бить поляков. За что?»⁴⁵

Так же, как и землевольцы в самой России, с момента первого известия о начале польского восстания твердо и определенно выражал программу русско-польского революционного союза «Колокол». В подтверждение этого можно было бы привести десятки страниц, написанных с герценовской силой и страстью.

Следует сказать, что и на перспективу преждевременного восстания в Польше, и на возможности уже начавшегося восстания русские революционеры смотрели без особого оптимизма. Это не находило и не могло находить выражения в их выступлениях в печати, но отражено в их переписке и позднейших источниках, в полной мере эти опасения высказывались перед польскими друзьями. Но сомнения эти несколько не влияли ни на принципиальную позицию русских революционеров по отношению к восстанию, ни на их готовность к выполнению своего союзнического долга. В феврале — это стоит, очевидно, в прямой связи с последним приездом Потебни в Лондон — возникает план создания «русского легиона» (или, как называл его возражавший против наименования «легион» Огарев, — русской дружины) в восстании, т. е. измененный с учетом неудачи первых дней восстания план создания ядра русской революционной армии уже не из перешедших на сторону восстания воинских частей, а из добровольцев-революционеров и взятых повстанцами в ходе военных действий пленных. С этим планом Потебня возвратился в Польшу и направился в отряд Лянговича; этот план составлял основное существо того письма Бакунина, которое уже после гибели Потебни привез Лянговичу-диктатору Юлиан Лукашевский. О судьбе этого плана мы будем говорить в дальнейшем.

Обращает внимание то обстоятельство, что именно в это время — в конце февраля — начале марта (ст. ст.) — вместо строк, полных скорби и пессимизма, которые раньше заносил в свой дневник Герцен, которые звучали в письмах его и Огарева, теперь в письмах обоих друзей начинают все более определенно звучать иные, оптимистические ноты: «польское дело, вопреки всему, держится и скорее идет в гору»⁴⁶. Вслед за этим тон писем еще более повышается: «Какие события! Раскачивается трон и тает ледяной дом на Неве»⁴⁷, «Революция не только не погасла, но увеличилась; вести из России благоприятны, и наши труды не пропадут даром»⁴⁸. Необычайно знаменательно, что такое же изменение оценки

⁴⁵ «Литературное наследство», т. 41—42, М. 1941, стр. 91—92.

⁴⁶ А. И. Герцен — Н. П. Огареву 3 (15) февраля 1863 г. Полн. собр. соч., т. XVI, стр. 68.

⁴⁷ А. И. Герцен — М. И. Жихареву 24 февраля (8 марта) 1863 г. «Литературное наследство», т. 39—40, М., 1941, стр. 244.

⁴⁸ А. И. Герцен — В. И. Касаткину 15 (27) марта 1863 г. Полн. собр. соч., т. XVI, стр. 149.

перспектив восстания с чрезвычайно близкой аргументацией мы находим в это же время в переписке Маркса и Энгельса, которые, как известно, не поддерживали личного контакта с издателями «Колокола».

Каковы же эти благоприятные вести из Польши и России, возрождавшие надежды на благоприятный исход борьбы?

Восстание, начавшееся преждевременно, т. е. раньше ожидаемого подъема крестьянского движения в России, не погасло, не подавлено и распространилось на Литву. Среди тех, кто стоит у руля восстания, значительное влияние имеют союзники — польские революционные демократы, стратегия которых, находящая уже реальное воплощение в действии, исходит из потребностей совместной борьбы, отражает программу русско-польского революционного союза. Не только план Падлевского, несомненно известный Герцену от Потебни и Слепцова, и не только начало восстания в Литве подтверждали это. На глазах русской революционной эмиграции, при ее содействии и участии шла подготовка военной операции, прямо связанной с планом Падлевского — экспедиции в Литву на пароходе «Ward Jackson». Директива о подготовке этой экспедиции была дана вскоре после начала восстания Стефаном Бобровским.

Сроки реализации экспедиции в Литву, сроки развертывания широкого повстанческого движения в Литве и Белоруссии и сроки планируемых активных действий в самой России были связаны между собою. Все они приходились на конец марта — апрель (по ст. ст.). Вряд ли найдется исследователь, который сочтет это лишь простым совпадением, тем более, что и люди, стоявшие в начальный период во главе восстания в Польше, — Падлевский, Бобровский, и руководители Литовского провинциального комитета, и уже намеченные будущие военные руководители восстания в Литве и Белоруссии — Калиновский, Сераковский, Звездовский — были убежденными сторонниками русско-польского революционного союза, на протяжении ряда лет связанные с русским революционным движением.

План восстания, его основная стратегия сложились еще до принятия ЦНК решения о начале восстания в январе 1863 г.⁴⁹ Наиболее вероятно, что в основных своих чертах этот план был определен во время поездки Падлевского и Потебни в Петербург, когда в совещаниях участвовали представители всех заключающих революционный союз организаций: «Земли и Воли», Комитета русских офицеров в Польше, ЦНК и Петербургской офицерской организации, а по пути в Петербург Падлевский и Потебня имели в Вильно встречу с членами Литовского провинциального

⁴⁹ О плане Падлевского знал Бр. Шварце, арестованный 10 (22) декабря 1862 г. См. его полемическую брошюру против IV тома «Wydawnictwa materiałów do historii powstania 1863—1864 r.», str. 45—46.

комитета. План был рассчитан на одновременное или согласованное в сроках выступление весной 1863 г. и залог его успеха революционеры видели в повстанческих действиях на территории Литвы и Белоруссии и перенесении борьбы на территорию коренных русских губерний.

Принятие вынужденного решения начать восстание в январе изменило исходную ситуацию, поставило новые задачи перед польской повстанческой организацией и армейской революционной организацией в Польше, но не аннулировало ранее согласованного плана и даже не изменило его основных черт. Он остался в силе с той существенной поправкой, что теперь условием его реализации становилась способность восстания в Польше, начавшегося ранее намеченного времени, устоять и усилиться. Именно то обстоятельство, что, несмотря на все трудности, начавшееся в крайне неблагоприятных условиях восстание не было подавлено, изменило взгляды на его перспективы у Маркса и Энгельса, Герцена и Огарева.

«Поляки — молодцы. И если они продержатся до 15 марта, то по всей России пойдут восстания», — пишет Энгельс Марксу 17 февраля (н. ст.) и добавляет: «Вначале я страшно боялся, что дело пойдет плохо. Но сейчас шансы на победу уже почти превышают шансы поражения»⁵⁰. В чем же залог успеха? «Литовское движение — сейчас самое важное, так как оно 1) выходит за границы конгрессной Польши, и 2) в нем принимают большое участие крестьяне, а ближе к Курляндии оно приобретает даже прямо аграрный характер», — пишет Энгельс Марксу 8 апреля (н. ст.)⁵¹.

А вот размышления Огарева: «Если революционная Польша не восстановит народа, она не выиграет дела. А восстановить его она может только отдачей ему земли. И вот вопрос польской свободы становится на один уровень с вопросом русской свободы.

Зачем же они враждуют? Где возможно примирительное соприкосновение?

Смело отвечаю: в Литве»⁵².

И примерно в те же дни: «Я думаю, что польская революция действительно удастся только тогда, если восстание польское перейдет соседними губерниями в русское крестьянское восстание . . . Остается для фермента одна Литва»⁵³.

Из сказанного очевидно, что путь к победе и основоположники марксизма и издатели «Колокола» видели в придании движению подлинно народного, крестьянского, аграрного характера и в осу-

⁵⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIII, стр. 135.

⁵¹ Там же, стр. 142.

⁵² Письмо В. С. Печерину 29 марта 1863 г. (н. ст.). Н. П. Огарев. Избр. произв., т. II, стр. 477.

⁵³ Записка «Три вопроса». Там же, стр. 116. Заметим, однако, что и у Энгельса, и у Огарева их высказывания второй половины марта (по ст. ст.) вновь окрашены ногой пессимизма. О причинах этого ~~речь~~ пойдет ниже.

пешествлении революционного союза народов против царизма. Очевидно также, что их высказывания являются одобрением стратегического плана, которого придерживались польские и русские революционные демократы.

Какое же место занимали в этом совместном плане революционные действия в самой России? Мы уже не один раз отмечали, что «Земля и Воля» верила в подъем крестьянского движения весной 1863 г. и рассматривала будущее восстание как «военно-крестьянское», т. е. такое, в котором крестьянский протест не выльется в рядах стихийных, локальных, легко подавляемых «бунтов», а найдет организующую и направляющую силу в революционных военных отрядах. Следует отметить, что все революционные прокламации этого времени, начиная с прокламации Чернышевского «Барским крестьянам», хотя и не увидевшей свет, но несомненно сыгравшей важнейшую роль в определении характера революционной пропаганды в народе, не содержали призыва к немедленному восстанию, а, напротив, предостерегали от поспешных, неподготовленных действий. Готовиться и ждать сигнала или вестей о действиях народного войска — таковы указания, которые давали крестьянам и «Долго давили вас, братцы», и «Всему народу русскому, крестьянскому», и кельсиевская прокламация.

Таким образом, сигнал к действию должны были дать русские «дружины», созданные на территории, уже охваченной восстанием. Так определялась для революции в России роль Литвы. Но восстание в России мыслилось не только как военно-крестьянское, но и как «шовсюдное», как идущее не только с западной окраины, но с разных периферий разом. Включал ли общий план восстания 1863 г. какие-либо иные замыслы, кроме действий созданных в Польше и Литве «дружин», видел ли он возможность организации подобного же повстанческого эпицентра в глубине России? Мы полагаем, что на вопрос этот надо ответить утвердительно. Свидетельство этого — попытка организации восстания в Поволжье и Приуралье, известная под названием «казанского заговора».

Литература, посвященная этому важному для истории русско-польского революционного союза эпизоду, относительно обширна, однако единой точки зрения пока не существует и расхождения в оценке «казанского заговора», в особенности его генезиса, очень велики⁵⁴. Существенным недостатком имеющихся исследований, от которого не вполне свободно и последнее из них — статья В. Р. Лейкиной-Свирской, заключается в том, что «казанский заговор» не рассматривается в неразрывной связи

⁵⁴ Эти разногласия обстоятельно и глубоко проанализированы в последней, посвященной этому вопросу, статье В. Р. Лейкиной-Свирской «Казанский заговор» 1863 г. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.», стр. 423—449.

со всей деятельностью «Земли и Воли» и со всей проблематикой русско-польского революционного сотрудничества. В результате у некоторых авторов⁵⁵ получается, будто сама мысль о восстании в Поволжье впервые обсуждалась на собрании враждебных революционному движению белых в Вильно в январе 1863 г. и что «казанский заговор» был вызван к жизни лишь в марте 1863 г. сомнительными по своему политическому значению и методам действиями Иеронима Кеневича. Представляется, что построения, рисующие «казанский заговор» как нечто чуждое или неорганичное для истории русско-польского революционного союза в 1863 г., в значительной мере объясняются влиянием на исследователей документов царского следствия, последовательно проводившего курс на то, чтобы представить этот эпизод, как «польскую интригу». Оказывает влияние также наличие данных о том, что ЦК «Земли и Воли» был против организации восстания в Поволжье, представление, будто инициатор «казанского заговора» Иероним Кеневич был не более как агент белых, мистификатор и обманщик, наконец, очень сложный вопрос о распространении подложного царского манифеста.

«Земля и Воля», как известно, не была в полной мере централизованной партией, она представляла собою скорее федерацию революционных кружков, ни формально, ни по существу не лишенных свободы инициативы. Некоторые из местных организаций (и в частности казанская) самостоятельно подготавливали и издавали революционные листовки, сами определяли свою организационную структуру и т. п. Поэтому сведения об отрицательном отношении ЦК «Земли и Воли» к плану Кеневича вовсе не исключает возможности его сотрудничества с местными землевольческими организациями, которые несомненно знали о результатах декабрьских переговоров в Петербурге и стремились внести свой вклад в дело реализации русско-польского революционного союза. Сотрудничество Кеневича с московской, а опосредствованно и с казанской организациями «Земли и Воли» неоспоримо, и закрывать на это глаза по меньшей мере несерьезно.

Представление о том, будто Кеневич был агентом белых и т. п., ошибочно, оно основывается на некритическом отношении к некоторым явно односторонним источникам, на игнорировании всего, что им противоречит.

Что же касается использования в качестве средства агитации подложного манифеста от имени царя, то оценка его не вызывает сомнений. Ошибочность, ложность такого пути была сразу же отмечена и Герценом, и многими рядовыми землевольцами. Возникновение идеи об издании подобного манифеста стоит в прямой связи с отмеченными выше ожиданиями народа. Необходимо отметить, что и эта несомненно ошибочная идея была не собственно

⁵⁵ J. K o w a l s k i. Указ. соч., 2-е изд., стр. 367 и др.

польской, а совместной: текст лжеманифеста был написан землевольцем Бензенгером, а в дальнейшем (еще до отпечатания лжеманифеста) землевольцы не отвергли решительно его использования, а настояли на отпечатании и одновременно распространении воззвания «Земля и Воля. Свобода вероисповедания. Временное народное правление». Появление мысли о составлении лжеманифеста и само его составление относятся ко времени до начала восстания в Польше, по-видимому, к декабрю 1862 г. Он побывал в руках видных деятелей и ЦК «Земли и Воли» и польского ЦНК, он, независимо от его принципиальной ошибочности, был фактом в цепи совместных русско-польских действий.

Нас не должна смущать дата, поставленная на манифесте, она ни в какой мере не связана ни со временем его написания, ни с моментом печатания. Она была подсказана ожиданиями самого народа, в представлении которого день обнародования манифеста должен был быть особым, торжественным днем. Один такой день мы уже знаем — это 19 февраля, другим таким днем в 1863 г. был день православной пасхи — 31 марта (ст. ст.). И именно этой датой обозначены и лжеманифест, и воззвание «Временное народное правление», и знаменитая «Золотая грамота»⁵⁶.

Многочисленные источники говорят о том, что весной 1863 г. взоры русских и польских революционеров были обращены на Казань, что они ожидали возникновения восстания в Поволжье. Это подтверждают не только сведения, исходящие от ЦНК или от Звездовского, которые были в той или иной мере осведомлены о деятельности Кеневича, об этом говорят и письма Герцена. Что особенно важно, об этом свидетельствует деятельность самих казанских землевольцев — «апостолов» еще до приезда в Казань Максимилиана Черняка.

Поволжье, район наиболее сильного крестьянского движения в 1861 г., и Приуралье, где было многочисленное раскольниковое население (а веру в революционный потенциал раскола разделяло большинство русских революционеров 60-х годов) и существовали богатые, еще незабытые традиции крестьянского и национально-освободительного движения, безусловно могли рассматриваться как один из исходных рубежей «повсюдного» восстания в России. Может быть, польские союзники указали возможное военное ядро предстоящего выступления — революционных офицеров и солдат казанского гарнизона, преимущественно из поляков, и источник вооружения — Ижевский завод. Но это отнюдь не делает весь поволжский план «польским замыслом», «польской интригой».

⁵⁶ Издатели лжеманифеста хорошо разбирались в психологии не только крестьян, но и правителей царской России. В день православной пасхи 1863 г. действительно был издан манифест к. . . полякам, обещавший амнистию тем подстанцам, которые в течение месяца сложат оружие.

Были ли окончательно согласованы эти замыслы еще в конце 1862 г. или они остались в стадии изучения, этого мы не знаем. Но во всяком случае и польскими революционерами, и значительной частью землевладельцев подготовка восстания в Поволжье и Приуралье рассматривалась как решенное дело, как часть общего революционного плана⁵⁷. Некоторые источники дают основания предположить, что намечались и иные районы восстания — Дон и Украина, великорусский север (Вологда), но материал для суждения здесь очень ограничен и фрагментарен.

Что же в этот момент, когда казалось бы самый трудный, начальный этап восстания в Польше уже был позади, когда восстание в Литве развивалось по восходящей линии, когда донос предателя еще не сорвал попытки восстания в Поволжье, что было причиной сомнений в успехе движения, высказанных Огаревым и Энгельсом?

Начальный этап восстания был не только чрезвычайно трудным и ответственным с точки зрения чисто военной и организационной, это было время определения социального и политического облика движения. Если первые действия повстанческого правительства — издание аграрных декретов — свидетельствовали о сохранении принципиальной линии, определенной лондонской декларацией ЦНК, то предоставление Мерославскому полномочий диктатора, несмотря на решительное сопротивление влиятельных представителей польской революционной демократии, создавало серьезную опасность перерождения руководства восстанием. Мерославскому не удалось воспользоваться предоставленными ему полномочиями и, хотя драгоценное для развития восстания время уходило бесплодно, руководство движением еще оставалось в руках его инициаторов. И тогда на сцену выступили белые. Сначала методом закулисных интриг совместно со своими единомышленниками из состава самого повстанческого правительства они организовали захват диктаторской власти Лянгевичем, а после провала диктатуры сумели, не изменяя внешне форм руководства восстанием, захватить его руль в свои руки.

Приход к власти белых был губителен для судеб восстания. Но нигде их влияние не проявилось с такой быстротой, как в вопросе взаимоотношений с русскими революционерами. Решительные противники революционного союза народов, они саботировали его. Еще Лянгевич заявил Лукашевскому, доставившему ему письмо Бакунина, что он «не доверяет русским либералам и убежден в бесплодности всего союза с ними»⁵⁸. Рушился

⁵⁷ М. В. Нечкина. Новые материалы о революционной ситуации в России (1859—1861 гг.). «Литературное наследство», т. 61, М., 1953, стр. 483—489.

⁵⁸ J. Łukaszeński. Zabór pruski w czasie powstania styczniowego 1863 i 1864 r. Jassy, 1870, str. 285.

план создания русских дружин — основы союзного революционного действия. Дело не в том, что белые не видели нужды в союзниках в борьбе против царизма, но этих союзников они искали отнюдь не в лагере революции. Возложив все надежды на дипломатическую и вооруженную помощь Франции, Англии и даже Австрии, они превращали освободительное восстание в вооруженную демонстрацию в ожидании иностранной интервенции, они были крайне озабочены тем, чтобы не прогневить монархов-покровителей связями с Герценом и Маццини, Кошутом и Гарибальди. Единство взглядов, единство целей, доверие и контакт — все то, что является необходимым условием союза, все то, что существовало между русскими и польскими революционными демократами, с приходом к власти белых было утрачено.

В это же время, на протяжении одного месяца сходят со сцены те, кто был живым воплощением идеи союза с революционными силами России: попадают в плен и гибнут от руки палачей Зыгмунт Падлевский и Зыгмунт Сераковский, погибает в гнусно подстроенном поединке-убийстве Стефан Бобровский. Лишившиеся многих своих сотоварищей, отстраненные от руководства движением революционные демократы в Польше, Литве, Белоруссии продолжали борьбу за возвращение восстания на покинутый путь социальной, народной революции и революционного братства народов, но эта самоотверженная борьба уже не дала успеха.

Весна 1863 г. принесла тяжелые удары и русским революционерам. Аресты в Казани, усиление бдительности властей сделали невозможными планы выступления в Поволжье. Полицейские преследования сковывали деятельность «Земли и Воли», понесла серьезный урон ее Московская организация, а ЦК, уже ранее ослабленный отъездом за границу Слещова, в мае потерял своего наиболее деятельного члена — Утина, вынужденного под прямой угрозой ареста эмигрировать. Но основное было не в этих, хотя и болезненных, но не решающих ударах.

Именно в это время определилась та новая, ранее неподдававшаяся точному анализу расстановка сил, которая означала завершение, исчерпание революционной ситуации. Царизм, уже в 1862 г. перешедший в контрнаступление, не только не оказался политически изолированным, его активной опорой стали фронтеры и либералы — «конституционалисты» из среды помещиков и буржуазии. Именно эта «орава русских либералов», как презрительно аттестовал их Ленин, развернула бешеную травлю против польских повстанцев и русских революционеров, вопила о «защите отечества», всемерно используя при этом и националистические декларации и действия белых, и раздуваемую угрозу войны со стороны западных держав. Главарем и символом этого отвратительного похода стал публицист Катков, который со своими подголосками славил как «спасителя отечества» дикого сатрапа Муравьева-вешателя. Все это было подтверждением того,

что кризис «верхов» уже миновал, что силы реакции вновь консолидировались.

Не оправдались и предположения о новом подъеме крестьянского движения. Реформа, обманувшая чаяния народа, тем не менее сыграла свою роль, она спасла самодержавие и господствующий класс от взрыва народного гнева, отсрочила его на десятилетия.

Те надежды и те планы, которые связывались с русско-польским революционным союзом, потерпели крушение. Оставался революционный долг, дело чести русской демократии, и она его выполнила.

Не только в первый момент восстания, но на всем его протяжении, деля с повстанцами их долю и недолю, сражались в их рядах члены армейской организации офицеры Краснопевцев, Иванцов, Ельчанинов, унтер-офицеры Лёвкин, Павлов. В ходе восстания к повстанцам присоединились и командовали повстанческими отрядами офицеры Безкишкин, Никифоров, юнкер Подхалюзин. Десятки русских солдат, оказавшись в повстанческих отрядах в результате побега или попав в плен, проявили себя как стойкие, надежные бойцы. Эти простые люди не были сознательными революционерами, но их пример показывал, что надежды и планы армейских революционеров были небеспопеченны. В ряды повстанцев отправлялись студенты, представители русской эмиграции. Известное уже число повстанцев-русских составляет несколько сот⁵⁹. По отношению к ним, в особенности когда речь шла о военнослужащих, каратели были беспощадны.

Частыми, многократно отмечаемыми мемуаристами-участниками восстания были факты помощи со стороны русских офицеров скрывающимся повстанцам. Значительное число офицеров осуждало карательные оргии царизма и стремилось помочь повстанцам избежать расправы.

Несмотря на неистовство реакционной печати, ей не удалось внушить массе русского народа полонофобские настроения. Почти все поляки-повстанцы, прошедшие тернистый путь ссылки и каторги, отмечают в своих воспоминаниях сердечное и человеческое отношение простых русских людей, помогавших им в тяжелые годы изгнания.

Связи русских и польских революционеров не оборвались. Несмотря на происки националистов и провокации жандармов, они продолжали существовать и в эмиграции, и в условиях подполья в самой России, и в сибирской ссылке. Дружба и доверие не были поколеблены и были той атмосферой, в которой даже в глубине Сибири в 1865—1866 г. рождались смелые планы активного революционного действия.

⁵⁹ См. указ. соч. П. Лоссовского и З. Млынарского.

Неизменно и непоколебимо выступала в поддержку и защиту борющейся Польши вольная русская печать. В изданном летом 1863 г. своем последнем листке «Свобода» № 2 «Земля и Воля» решительно протестовала против инспирируемой правительством и рептильной печатью кампании подачи верноподданных адресов Александру II и с возмущением и гневом осуждала палачей Польши и угнетателей России. Гневом и болью были проникнуты статьи Герцена. На протяжении 1863 г. «Колокол» вел беспрецедентную по своей силе борьбу против русского царизма, в поддержку польского народа.

Герцен по праву мог сказать в своей статье «В вечность грядущему 1863 году»: «Польскому делу мы принесли, что могли. . . Мы горды той бранью, той клеветой, той грязью, которой бросали в нас за Польшу ярыги патриотизма и *содержанцы* III отделения. Ни нападения подлых врагов, ни сожаления слабодушных и слабоумных друзей не своротили нас с дороги. . . Мы остались, вопреки всему, верными польскому делу и верными русскому народу»⁶⁰.

«Герцен спас честь русской демократии»⁶¹. Эту ленинскую оценку разделяет со своим духовным учителем вся когорта русских революционеров, подобно Герцену оставшихся верными знамени революционного братства.

* *
*

Русско-польский революционный союз в восстании 1863 г. не смог добиться победы. Это не было виной его инициаторов и осуществителей. Еще не созрели те общественные силы, которые могли осуществить мечту революционеров 60-х годов — опрокинуть ненавистное самодержавие, принести свободу польскому народу и всем народам России. Но смешны и жалки филистеры, осмеливавшиеся осуждать героический порыв борцов 1863 г., пытавшиеся чернить священное знамя революционного братства народов.

Та славная традиция, которую заложили революционеры 60-х годов, традиция русско-польского революционного союза не умерла вместе с ними. Ее приняло и подняло новое поколение революции — пролетарские революционеры, она восторжествовала, она жива и ныне. Это революционное братство народов, сто лет назад бывшее идейным достоянием и жизненным кодексом еще немногочисленных лучших представителей наших народов, сегодня объединяет миллионы русских и поляков, миллионы свободных строителей коммунизма. И сегодня нам близок и дорог

⁶⁰ А. И. Герцен. Собр. соч., т. XVII, стр. 296.

⁶¹ В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 13.

подвиг тех, кто сто лет назад, провидя счастливое будущее наших народов, свою мысль, свою борьбу, всю свою жизнь отдавал для приближения этого будущего.

RUSSIAN-POLISH REVOLUTIONARY RELATIONS IN THE PERIOD OF THE REVOLT OF 1863

Summary

In the report is discussed objective trends in the development of the liberation movement in Poland in the beginning of 1860's which grew into the insurrection of 1863—1864 and its connections with the revolutionary situation in Russia. At that time the idea of revolutionary alliance between Russia and Poland, propagated by Herzen and Ogaryev and shared by the Polish revolutionary democrats, found its expression in the plans of joint actions based on the expectations of the new rise of peasants movement in the spring of 1863.

In spite the defeat of Russian and Polish revolutionary movement in 1863—1864 this alliance found its expression in the participation of Russian revolutionaries in the insurrection, in the preparation of insurrection in the Volga and Ural regions, in Herzen's activity who, by his defence of Poland, «saved the honour of Russian democracy» (Lenin). Russian-Polish revolutionary links in the period of the 1863 insurrection had enriched the traditions of the joint struggle against tsarism.

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
V *Международный съезд славистов*
(София, сентябрь 1963)

С. А. Никитин

**РУССКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЮЖНЫХ СЛАВЯН В 50—70 ГОДЫ XIX в.**

По вопросу о международных отношениях на Балканском полуострове в 50—70 годы XIX в. и об отношении европейских государств, в том числе России, к национально-освободительному движению южных славян много писали историки разных стран. Автор настоящего доклада не рассматривает взгляды ученых по этому вопросу; лишь иногда он отмечает ошибочность отдельных положений.

Автор не предполагает рассказать о всех фактах национально-освободительной борьбы южных славян и об отношении к этим проявлениям национального движения русского правительства и русских дипломатов. В данном сообщении дается позитивное изложение этого вопроса на основе не только опубликованных материалов, но и неопубликованных документов советских архивов; излагаются общие тенденции и задачи русской политики на Балканском полуострове и выясняется, как она соотносилась с национально-освободительным движением, которое рассматривается только в основных его проявлениях.

* *
*

Крымская война внесла существенные изменения как в соотношение сил в Европе, так и в положение России. Расстановка сил европейских государств, установившаяся после Венского конгресса, коренным образом изменилась. После Парижского мира возросло значение Франции, а так как связь России с Австрией была нарушена, и Россия оказалась в изоляции, было естественным наметившееся еще на Парижском конгрессе сближение России с Францией, диктовавшееся интересами обеих сторон. Изоляция России, естественно, ослабляла ее значение в решении

вопросов европейской политики. И знаменитые слова депеши кн. А. М. Горчакова: «Россия не дуется, а сосредоточивается» («La Russie ne boude pas. La Russie se recueille»), подчеркивавшие воздержание от активного вмешательства в европейские дела, и сделанное в той же депеше заявление об отказе от поддержки принципов священного союза и переходе к реальной политике были неизбежным результатом изменения соотношения сил, произошедшего в Европе.

Крымская война лишила Россию прежнего исключительного влияния на Балканском полуострове, она ослабила ее позиции на Черном море, отодвинула от Дуная. Все это не могло не побуждать к изменению характера русской балканской политики.

В то же время русская дипломатия учитывала и то новое, что проявилось во взаимоотношениях между европейскими странами и Балканским полуостровом: «Тесные коммерческие сношения связали Восток с Европою. Расстроенные турецкие финансы попали на откуп европейским банкирам». В результате экономических связей и роста образования распространилось западное влияние среди христианских народов Турции. Один из русских дипломатов отмечал рост национального движения среди народов Балканского полуострова и указывал на такую перемену в русской политике: «Исключительное поддерживание принципов православия оказывается недостаточным. Вопросы национальные играют ныне и на Востоке слишком значительную роль, чтобы мы могли оставаться им чуждыми. Ныне уже не обуславливается, как прежде, национальность вероисповеданием»¹. Для русской политики после Крымской войны характерны поиски контакта с державами, стремление придерживаться решений Парижского договора и требовать того же от других, усиление интереса к национально-освободительной борьбе на Балканском полуострове и готовность оказывать ей содействие в меру возможностей, определявшихся интересами России и международной обстановкой, одновременно усиливая здесь свое влияние. Русская дипломатия, увеличивая консульскую сеть, стала уделять большое внимание общественным каналам для усиления русского влияния. Изменение обстановки, задач и методов русской политики на Балканах проявилось и в тех требованиях, какие предъявлялись русским правительством к своим агентам. Так, инструкция консулу в Сараеве требовала от него точных сведений о Боснии и Герцеговине, «которые поставят императорское правительство в возможность распространить и в этом крае на наших единоверцев свое благотворительное участие и облегчить для них борьбу с мусульманским фанатизмом и с происками римско-католической пропаганды»².

¹ АВПР, Гл. архив VA₂, 1867 г., д. 534, л. 22.

² Там же, 1857 г., д. 525, л. 93 об.

Действительно, в рассматриваемый в докладе период, известны, помимо поддержки тех или иных крупных проявлений освободительной борьбы, многочисленные факты спасения отдельных деятелей национального движения и в Боснии, и в Болгарии, и Герцеговине от турецкого суда и расправы, переправа их в Россию и т. п.

Крымская война, таким образом, вызвала изменение в международной обстановке и повела к изменению методов русской политики на Балканах.

В то же время Россия не отказалась от участия в делах Европы. Встречающееся в литературе мнение, что, потерпев поражение на Западе, Россия устремляется на Восток³, не соответствует действительности. Русская активность второй половины 50-х гг. XIX в., хотя и связана с Крымской войной в том отношении, что последняя показала необходимость укрепления позиций России, началась значительно ранее и до сложения ситуации, возникшей в период Крымской войны. В частности, это касается продвижения в Средней Азии. Русская внешняя политика стала более осторожной, что хорошо сформулировано в частном письме посланника в Константинополе А. П. Бутенева применительно к русским действиям на Балканском полуострове. Его формулировка была признана и Горчаковым и Александром II точным выражением и их взглядов. «В моем длительном опыте в Турции, — писал Бутенев, — я всегда думал, что для избежания риска отступления следует продвигаться вперед лишь на верное. . . Не следует рисковать скомпрометировать цель или ослабить действенность нашего влияния»⁴.

Таковыми стремлениями проникнута, в частности, вся политика сближения с Францией, так осторожно и удачно проведенная Горчаковым.

Период франко-русского сближения был началом нового этапа политики России на Балканском полуострове. Для первых лет после Крымской войны характерно, с одной стороны, стремление, к совместным действиям с Францией, чтобы ослабить позицию Австрии, Англии и Турции, с другой, всегда присутствовавшее у русской дипломатии понимание невозможности действительного союза с империей Наполеона III, так как цели последней и России не были тождественны. Все это очень отчетливо проявилось в переговорах по черногорскому вопросу в годы, непосредственно следующие за заключением Парижского мирного договора.

Французский историк Шарль Ру впервые подробно изложил дипломатическую историю вопроса, но изобразил правительство Наполеона III естественным защитником национальных интере-

³ А. Лобанов-Ростовский. *Russia and Europe 1825—1878*. Ann Arbor, Mich. 1954 p. 218.

⁴ АВПР, Канцелярия. Константинополь, 1858 г., д. 45, л. 449.

сов Черногории⁵. Такая трактовка отразилась и в книгах В. Поповича и В. Чоровича⁶. Пересмотр этого вопроса в работе советского историка Р. И. Рыжовой⁷ показывает действительный ход событий. Рыжова правильно поняла основные черты балканской политики России этой поры, она их видит в том, чтобы «добиться отмены Парижского трактата, особенно его статей о нейтрализации Черного моря, и вернуть утерянные позиции на Балканском полуострове»⁸. Это облегчалось в какой-то степени тем, что внутреннее положение Турции не улучшилось во второй половине XIX в. Вместо одностороннего, а потому более слабого русского протектората над христианским населением Турции, Парижский договор установил опеку держав над последней (ст. 7), что, как известно, повело за собою неоднократно вмешательство в турецкие дела. В то же время рост освободительной борьбы подвластных Турции народов не прекращался. Характерно, что внимательный наблюдатель событий на Балканском полуострове, каким был Ф. Энгельс, писал в 1858 г.: «Христианское население Европейской Турции как греческое, так и славянское, более, чем когда-либо, стремится сбросить с себя турецкое иго и более, чем когда-либо, видит в России своего единственного защитника»⁹. Посмотрим в какой степени Россия выполняла эту роль.

Упорно борющаяся за независимость Черногория остро ощущала недостаток пригодных для земледелия земель. Зная о том, что в процессе переговоров в Париже турецкий уполномоченный назвал Черногорию провинцией Турции, а русский представитель, чтобы не осложнять положение Черногории, которой политически изолированная Россия не могла оказать эффективной поддержки, заявив, что связи между двумя странами лишены политического содержания, князь Данило обратился к великим державам, прося признания черногорской независимости, прирезки земли со стороны Герцеговины и Албании, а также передачи морского порта¹⁰. Франция увидела в обращении князя Данилы удобный повод продемонстрировать свое влияние. Однако свою поддержку в территориальном вопросе Наполеон III обус-

⁵ F. Charles Roux. Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon III. Paris, 1913.

⁶ В. Поповић. Политика Француске и Аустрије на Балкану у време Наполеона III. Београд, 1925; В. Чоровић. Лука Вукаловић и херцеговачки устанци от 1852—1862 гг. Београд, 1923, стр. 50.

⁷ Р. И. Рыжова. Из истории русско-черногорских отношений. Дипломатическая борьба 1857—1858 гг. вокруг вопроса о независимости Черногории. Ист. зап. М., 1958, т. 63.

⁸ Р. И. Рыжова. Указ. соч., стр. 126.

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 637.

¹⁰ В. Ђорђевић. Црна Гора и Аустрија 1814—1894. Београд, 1924, стр. 100; Бр. Павићевић. План књаза Данила за регулисање односа са Портом 1856 године. Историски Записи 1960 књ., XVII, св. 1.

ловил признанием Черногорией верховной власти султана. Шарль Ру объясняет французскую позицию замыслом сохранить фактическую независимость ценой формальной уступки¹¹. Вероятнее, однако, что реализация такого условия ослабила бы позиции княжества.

Русская дипломатия не бездействовала. Русский консул в Дубровнике (Рагузе) П. Н. Стремоухов убеждал черногорского князя не отрекаться от независимости, а русскому посланнику в Константинополе было предложено настаивать на формальном признании независимости Черногории и Турцией и державами. За Черногорию началась борьба. Александр II обусловил выплату традиционной субсидии отказом от переговоров о признании сюзеренитета султана. Но подстрекаемый французскими агентами кн. Данило заявил, что русская субсидия не может быть сравниваема с выгодами, какие получит его страна за счет Турции при помощи западных держав. А когда Черногории понадобился хлеб, и он был предложен русским правительством, французский консул в Цетинье Геккар (М. Нескварт) закусил его в Турции. Русский посол в Вене Будберг писал: «Наши отношения со славянскими народами, право же, важнее наших отношений с европейскими державами и стоят того, чтобы о них серьезно заботились»¹². Но международно-политическое положение побуждало Россию поддерживать хорошие отношения с Францией. К тому же, в среде французских дипломатов по черногорскому вопросу не было полного единства взглядов. Французский представитель в Петербурге Морни убеждал министра иностранных дел Франции Валуевского в нецелесообразности при наличии добрых отношений с Россией вмешиваться во второстепенный с точки зрения французских интересов вопрос, который может испортить отношения с Петербургом¹³. Соображения Морни побудили Валуевского дать России успокоительные разъяснения. Пошла навстречу России Франция и в вопросе о конференции в Париже, где она предлагала рассмотреть черногорский вопрос, и участвовать в которой Россия отказалась. Однако полного единства в позиции России и Франции все же не было: совет, данный Валуевским Даниле — договариваться в Константинополе с поддержкой Франции и России — не был согласован с последней. И хотя Бутеневу было затем дано указание действовать вместе с Тувенелем в Константинополе, однако только в том случае, если признание турецкого сюзеренитета не будет обязательным условием переговоров.

На свидании в Штутгарте в сентябре 1857 г. за обещание нейтралитета во франко-австрийской войне Франция решила занять более приемлемую для России позицию. Валуевский отклонил англо-

¹¹ F. Charles Roux. Указ. соч., стр. 189.

¹² Р. И. Рыжова. Указ. соч., стр. 132.

¹³ F. Charles Roux. Указ. соч., стр. 190.

австрийское предложение решения черногорского вопроса о разграничении с одновременным признанием сюзеренитета Порты.

Отвергая требование признания Черногорией турецкого сюзеренитета, Россия имела в виду давнюю фактическую независимость княжества, которое она хотела бы видеть и формально независимым. Россия желала бы, как свидетельствует записка о Черногории Е. П. Ковалевского, видеть территорию ее более широкой и обеспечивающей экономическое благосостояние населения, она признавала важность предоставления княжеству выхода к морю, но осуществление таких пожеланий она связывала с сохранением независимости и рассматривала принятие этих условий, как признание независимости. Но русское правительство не видело реальных возможностей для реализации своих пожеланий¹⁴. Компрометировать же позицию Черногории, важного центра национального движения, имеющего влияние в соседних землях, поддержкой политики, которая не встречала сочувствия у населения княжества¹⁵ и не могла быть популярной и в прилегающих областях, Россия не могла. Позиция русской дипломатии была гораздо более реальной и прозорливой, чем расчеты кн. Данило. Национальные интересы Черногории не могли быть осуществлены путем сомнительных дипломатических комбинаций.

В итоге двухлетней борьбы состоялось разграничение черногорских и турецких владений. К Черногории были прирезаны некоторые земли со стороны Герцеговины и Албании, выхода к морю она не получила, но было снято и требование признания турецкого сюзеренитета. Так позиция России, которую вынуждена была из-за своих европейских расчетов поддержать Франция, оказала огромное влияние на исход событий. Благодаря России Черногория сохранила независимость, и разграничение фактически «означало моральное признание Турции и Черногории воюющими сторонами, независимыми друг от друга»¹⁶.

Вслед за решением черногорского вопроса начались острые столкновения между христианами и мусульманами в Сербии. В связи с этим, в апреле 1858 г. Горчаков предложил созвать конференцию держав для обсуждения вопроса о положении христиан в Турции. Он указывал, что обещания, данные в хатт-хумайуне в 1856 г., не выполняются, и этот акт остается мертвой буквой.

Хотя Наполеон III на словах был согласен на образование единого государства из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины («принцип национальностей»), главным в его дипломатической деятельности было стремление к господствующей роли Франции в европейской, в том числе балканской политике, а вовсе

¹⁴ АВПР, Канцелярия. Константинополь, 1858 г., д. 48, лл. 357—360.

¹⁵ Б. Павичевич. Указ. соч., стр. 60.

¹⁶ Р. И. Рыжова. Указ. соч., стр. 155.

не забота о судьбах южных славян¹⁷. Вот почему предложение Горчакова было утоплено в массе казуистических вопросов и рассуждений. Через несколько месяцев русское правительство вновь подняло тот же вопрос, но и на этот раз его предложение не получило поддержки.

В середине 1860 г. Горчаков вновь настаивал на том, что «продолжительная беспечность Европы может сделаться преступлением против общего мира»¹⁸. Циркуляр русским представителям в странах Балканского полуострова был опубликован в «Journal de Saint-Petersbourg», что, однако, не способствовало ускорению решения вопроса. «Его позиция, — писал, правда, французский посланник в Петербурге Монтебелло, характеризуя политику Горчакова, — не плохая. Он спас кредит России в глазах (auprès) христианского населения, требующего выполнения обязательств. Если Европа мало делает для него, Россия хочет многого»¹⁹. Однако и на этот раз русская попытка поставить общий вопрос о положении южных славян в Турции, вполне деловая и корректная, так как речь шла об обсуждении его державами, окончилась неудачно. Франция уклонялась, Англия была против обсуждения.

* *
*

В сентябре 1860 г. к власти в Сербии пришел новый князь — Михаил Обренович. Он вступил на престол с ясной политической программой. Она заключалась в том, чтобы создать большое южнославянское государство путем освобождения от турецкой власти и объединения вокруг Сербии подвластных Османской империи югославянских земель.

Сербия, завоевавшая в двух восстаниях свободу от турецких помещиков и существенные правовые основы независимости (наследственный князь и внутренняя автономия), оставалась в вассальной зависимости от султана, которому платила дань. На сербской территории сохранялись турецкие крепости с гарнизонами в них, а вокруг крепостей продолжало жить турецкое население, не подчинявшееся сербской юрисдикции. Государственное устройство Сербии регулировалось октроированной султаном конституцией 1838 г., которая утвердила в качестве высшего органа власти наряду с князем совет из несменяемых без санкции Порты членов. Все налоги и законы могли устанавливаться только с санкции совета, а изменения в конституционном устройстве требовали согласия турецкого правительства.

¹⁷ W. G. East. The Union of Moldavia and Wallachia. Cambridge, 1935, p. 194—195.

¹⁸ Газ. Москва, 1867, № 50.

¹⁹ F. Charles Roux. Op. cit. p. 292.

Крымская война внесла существенные изменения в положение Сербии. Поражение России в этой войне позволило державам заменить исторически сложившееся в результате поддержки Россией освободительной борьбы сербского народа русское покровительство Сербии коллективной защитой стран-участниц Парижского мирного договора: России, Франции, Англии, Австрии, Пруссии, Сардинии.

После вступления на престол Михаил пытался достигнуть соглашения с Турцией об изменении конституции, но успеха не имел. Тогда он отправил со специальной миссией в Россию министра финансов И. Мариновича, который поставил тот же вопрос в Петербурге. Признавая несовершенство сербской конституции, Горчаков советовал избрать для реформы иное время, но не отказывался конфиденциально обсудить предполагавшиеся изменения. При этом Горчаков подчеркивал, что сербская конституция всегда позволяла отклонять всякие попытки нарушить автономию княжества, он указывал на ее значение как средства охраны сербской самостоятельности²⁰.

По мнению Горчакова, Сербии предстояло сыграть особую роль на Балканах. Обладая известной военной организацией и упорядоченной администрацией, «Сербия, — говорил он, — станет силою вещей, ядром, вокруг которого будет происходить группировка, или точкой опоры для христианских народов, когда они решат стряхнуть оттоманское господство»²¹.

Нельзя не отметить близкого совпадения стремлений кн. Михаила и главы русской внешней политики. Но следует иметь в виду, что природа этих стремлений вовсе не была одинаковой. Если Михаил являлся выразителем интересов сербской буржуазии, которая еще в 1844 г. пером И. Гарашанина формулировала свои объединительные, в существе своем великодержавные претензии, то иной была позиция Горчакова. России, потерявшей свой прежний авторитет в результате разгрома феодально-отсталой армии Николая I, едва начавшей восстанавливать свои позиции в системе международных отношений путем ловкой дипломатической игры конца 50-х годов, было важно оказать содействие Сербии. Россия была заинтересована в создании крупного славянского государства на Балканском полуострове, которое сложилось бы при эффективной русской поддержке и которое, естественно, находясь в постоянном конфликте с Турцией, было бы заинтересовано и далее в контакте с Россией. Такое государство могло бы обеспечить необходимую русской внешней политике опору в реализации ее дальнейших планов, с одной стороны, а, с другой, само образование такого государства было бы важным шагом

²⁰ См. наше предисловие к публикации «Европейская дипломатия и Сербия в начале 60-х годов XIX в.» «Вопросы истории», 1962, № 9, стр. 76. (Дальше — «Публикация».)

²¹ АВПР, Посольство в Париже, д. 396, л. 13.

на пути реализации задачи расчленения Османской империи и высвобождения народов Балканского полуострова из-под турецкой зависимости. Единственно, чего боялся Горчаков в условиях 1860 г. — частичных восстаний славян, которые, не давая никакого выигрыша, вели бы только к напрасной трате сил и завершались бы подавлением таких преждевременных вспышек.

Свои достаточно ясные обещания поддержки русское правительство дополнило согласием предоставить Сербии заем. Это было доказательством большого расположения России к Сербскому княжеству, так как финансовое положение первой после недавней войны, в условиях осуществления широких социальных и государственных реформ, вовсе не было легким.

Так как переговоры Мариновича в Париже и Лондоне дали менее ободряющие результаты, контакт Белграда и Петербурга был основной опорой для Сербии в развитии последовавших событий.

На Преображенской скупшине в Крагуеваце в августе 1861 г. князь Михаил провел целый ряд законов, способствовавших укреплению княжеской власти²², а также закон о создании регулярных военных сил. Хотя Англия и Австрия протестовали, международная ситуация (восстание в Герцеговине, итальянские дела, предстоявшая мексиканская экспедиция)²³ побуждала их этот вопрос не обострять. Никто не сделал каких-либо шагов, чтобы помешать осуществлению планов сербского правительства.

Возникшее уличное столкновение в Белграде между сербами и турками повлекло вскоре за собою бомбардировку незащищенного Белграда из турецкой цитадели, протесты представителей держав, а затем и конференцию держав в Канлидже близ Константинополя.

В свете данных советских архивов совершенно ясна огромная роль, которую в период этих событий сыграла русская дипломатия. Русский посланник в Берлине А. Ф. Будберг был послан в Париж для переговоров с французским правительством. Данная ему инструкция подчеркивала, что Россия в условиях осуществления реформ еще ряд лет будет стремиться к сохранению мира, будет уклоняться от дополнительных жертв ради внешнеполитических целей. В документе излагался взгляд Горчакова на Сербию как на ядро, вокруг которого будут группироваться славянские элементы обреченной на распадение Турции. Это и объясняет помощь России в развитии военных сил княжества и всего, что «сможет укрепить силу и стабильность установлений Сербии»²⁴. Несмотря на то, что позиции Франции и России во многом не сов-

²² С. Јовановић. Друга влада Милоша и Михаила. Београд, 1923, стр. 102, 124—126; 167—169.

²³ А. Дебидура. Дипломатическая история Европы, т. II. М., 1947, гл. VI—VII.

²⁴ АВПР, Канцелярия, 1862 г., № 42, л. 116.

падали, Будбергу удалось договориться с французским министром иностранных дел о соглашении и подписать протокол, касательно взаимной поддержки на конференции по вопросу о турецких крепостях и турецком населении в Сербии ²⁵.

Конференция в Канлидже окончилась компромиссным решением: некоторые крепости были уничтожены, белградская сохранена, но приняты были меры против повторения опасных инцидентов, было решено, что турецкое население покинет Сербию. Князь Михаил был вынужден принять решения конференции, но русское правительство прекрасно понимало, что княжество будет продолжать действовать в прежнем направлении ²⁶.

Замыслы сербских буржуазных деятелей связаны с первой попыткой подготовки совместных действий южных славян против Турции. Создавая сербскую армию, кн. Михаил хотел привлечь к борьбе и своих соседей, босняков, болгар ²⁷. Бомбардировка Белграда вызвала сочувствие к Сербии на Военной Границе, в Воеводине, Хорватии. С 1861 г. Г. С. Раковский начал формировать болгарский легион в Белграде. Русская дипломатия не была в восторге от этого предприятия. Оно было чревато опасностью местных восстаний, чего так боялись в Петербурге.

* * *

Хотя, как мы говорили выше, русская дипломатия после Крымской войны изменила отношение к церковным делам, она не переставала интересоваться ими, особенно, когда церковные отношения по существу своему представляли форму национального движения. Представляет интерес вопрос об отношении России к греко-болгарской церковной борьбе. Здесь не место излагать происхождение и причины этой борьбы, поскольку это не раз делалось в литературе ²⁸, но уместно отметить позицию, занятую русской дипломатией.

В ряде словесных и письменных заявлений представителей русского правительства — от Александра II до русских представителей в Константинополе — всегда звучал один и тот же мотив, одно и то же стремление. Еще за 2 года до того обострения

²⁵ Публикация, д. № 8 и 11. Л. А л е к с и й. Став Француске према Србији за време друге владе кнеза Милоша и Михаила (1858—1868). Београд, 1957, стр. 58.

²⁶ (J. Р и с т и й). Бомбардање Београда (1862 год). Београд, 1872, стр. 89; Публикация — стр. 100.

²⁷ М. Е к м е с и ђ. Pokušaj organizovanja ustanka u Bosni 1860—1862 godine — Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Hercegovine, god IX, 1957. Sarajevo, 1858; Д. К о с е в. Новая история Болгарии. М., 1952, стр. 280—284.

²⁸ С. А. Н и к и т и н. Дипломатические отношения России с южными славянами в 60-е годы XIX в. Славянский сборник. М., 1947; П. Н и к о в. Възраждане на българския народ, църковно-национални борби и постижения. София, 1929; Д. К о с е в. Указ. соч., и др.

церковной распри, какое последовало в 1860 г., Александр II сказал уезжавшему в Константинополь в качестве настоятеля посольской церкви архимандриту Петру: «Наше положение весьма трудное и щекотливое. Надобно . . . почтительно обходиться с греками и покровительствовать славян[ам]». Александр II считал позицию греческого духовенства, пренебрежавшего болгарам создать национальную иерархию, стремившегося отеснить болгар от церковных постов, неправильной. Но он считался с известным падением русского политического влияния после Крымской войны, со сложностями церковных отношений на Балканах. Не один раз он повторил во время беседы свою генеральную директиву: «Мне нужно единство церкви»²⁹. Исходя из этого положения, Горчаков указывал посланнику в Константинополе А. П. Бутеневу на необходимость стараться примирить болгар и греков на основе взаимных уступок. Бутенев неоднократно предлагал патриарху конкретные меры для установления мира между греческим духовенством и болгарскими, но его попытки не дали существенного результата.

В процессе дальнейшего развития болгарского церковного вопроса русская дипломатия оказывала решительное противодействие иноверной пропаганде, что особенно ярко проявилось в борьбе с попыткой унии в Кукуше и быстрой ликвидации униатского движения. Этим самым был предотвращен возможный внутренний разлад в Болгарии, так как в условиях турецкого ига различие церковной принадлежности вело к различной политической ориентации. Гораздо более сложным делом оказалось посредничество между Константинопольской и болгарской церквями.

В 1860 г. произошел разрыв греческой патриархии и болгарской церкви, которая, начиная с этого момента, противопоставляет себя патриархии, что, однако, не помешало России поддерживать болгарских церковных деятелей. Лобанов-Ростовский хлопотал о том, чтобы патриарх не применял строгих мер против Иллариона Макариопольского и др., он поддерживал их материально³⁰.

Чем же объяснялась эта позиция России, которая, хотя и была явно благосклонной к болгарам, но не вполне удовлетворяла их, особенно сторонников полного разрыва с патриархией. В литературе имеется попытка объяснить это греческим влиянием на русских дипломатов и на Синод, неосведомленностью оберпрокуроров (которые были генералами), недостаточно сведущими в канонической и политической стороне вопроса³¹. Бесспорно,

²⁹ Н. И. Петров. Начало греко-болгарской распри и возрождения болгарской народности. Киев, 1886, стр. 43.

³⁰ АВПР, Гл. архив VA₂, 1861 г., д. 528, л. 40—44, 45—63.

³¹ К и р и л, патриарх български. Граф Н. П. Игнатиев и българският църковен въпрос. София, 1959, стр. 26.

что в среде русских дипломатов был ряд лиц греческого происхождения (Аргиропуло, Кумани), что обер-прокуроры Синода были более государственными деятелями, чем церковными лицами, — это связано с самим смыслом существования Синода. Но русская дипломатия испытывала непосредственные влияния также и со стороны болгар, представителей умеренного буржуазного лагеря, как тех, кто был связан с русским посольством по службе (Н. Геров, Бурмов-Стоянов и др.), так и руководителем болгарского церковного движения (Илларион). Наконец, в формировании мнений Синода, а по многим вопросам и позиции дипломатии, большую роль играли мысли и внушения видных и влиятельных иерархов, например, митрополита Филарета, которого в канонической неосведомленности подозревать нет основания³².

В основе русской политики лежали две идеи. Одна касалась церковно-канонической стороны вопроса. Без согласия патриархии, явочным порядком болгары не могли создать канонически законную национальную церковь. Чтобы предупредить раскол, каким явилось бы самочинное отделение болгарской церкви от греческой патриархии, Россия стремилась к примирению, к соглашению борющихся сторон. В то же время считали, что раскол был бы опасен (в этом убеждал Кукушский опыт) и с точки зрения усиления иностранных, западных, в частности католических влияний. Второе соображение касалось политической стороны вопроса. Церковное разъединение и существование двух церквей, неизбежно враждебных друг другу, подрывало, по мнению русского правительства, то церковно-идейное единство, которое было важным с точки зрения противодействия мусульманскому владычеству. В церковном единстве видели способ консолидации всех сил христианских народов против турецкого господства.

Последнее, однако, не мешало русской дипломатии видеть, что церковный вопрос — прежде всего национальный. Она была достаточно гибкой, чтобы учитывать меняющуюся обстановку.

Поэтому, после того как митрополит Филарет высказал мысль о желательности и возможности церковной автономии Болгарии, Лобанов-Ростовский пытался убедить патриарха в целесообразности такой меры. Достигнуть этого не удалось.

Национально-политический характер греко-болгарской борьбы прекрасно понимало и русское духовенство, которое в лице митрополита Филарета признало справедливым требование национального языка в церкви и национального освобождения болгарского народа³³.

Наиболее продолжительной по сравнению с другими русскими дипломатами была деятельность Игнатьева по разрешению греко-болгарского спора. Игнатьев смотрел несколько своеобразно

³² Собрание мнений и отзывов Филарета — митрополита Московского и Коломенского по делам православной церкви на Востоке, СПб., 1887.

³³ Собрание мнений и отзывов Филарета, т. VI, стр. 361, 221.

на этот вопрос. Он считал: «Ошибка с самого начала заключалась в том, что посредством разрешения вопроса церковного думали разрешить вопрос национальностей, тогда как следовало поступать совсем иначе»³⁴. По его мнению, следовало стремиться к объединению болгарского народа с сербским. Но в его практической деятельности этот взгляд не проявлялся. Опубликованные донесения Игнатьева³⁵ отчетливо характеризуют ту же в целом примирительную линию русской дипломатии, какой она держалась и в предшествовавшее время.

У Игнатьева она вытекала из такого мотива: «Чтобы достигнуть результатов, сообразных с нашими интересами, — писал он, — в основание деятельности нашей в настоящее время, кроме поддержания православия, мы должны непременно принять поддержание принципа народностей и в особенности того чувства ненависти к одряхлевшему турецкому владычеству, на котором единственно примирятся все разнородные элементы пестрой империи»³⁶. Однако и Игнатьев оказался не в силах преодолеть остроту и напряженность национального греко-болгарского столкновения. Более того, выявилось недостаточное понимание русской дипломатией глубины национального конфликта, что проявилось в неудаче тактики примирения.

Обострение национально-освободительной борьбы в Турции, которое обозначилось с началом восстания на острове Крит, назревавший подъем освободительной борьбы южных славян побудили турецкое правительство активно вмешаться в греко-болгарский спор. Стремясь внести разъединение в среду балканских народов, так как проблема греко-болгарского национально-церковного разграничения возбудила претензии и сербов на некоторые македонские епархии, Порта выступила со своим проектом урегулирования конфликта. Расчет турецких министров оказался верен; турецкий проект обострил отношения; патриархия признала этническое определение церковных границ еретическим делом.

С этим мнением патриархии повели полемику болгарские архиереи. Обострение отношений побудило Игнатьева переменить позицию, и он поддержал болгарскую сторону в ее настоящих скорейшего решения вопроса путем, хотя и неканоническим, но верным. Фирман 26 февраля 1870 г. определял организацию и территориальный состав автономного болгарского экзархата. Русская дипломатия надеялась, что фирман сможет стать исходной точкой последующего соглашения³⁷. Однако фирман лишь обострил отношения. Созванный патриархией в 1872 г. Собор провозгласил

³⁴ АВПР, Гл. архив VA₂, 1867, г. д. 534, л. 23 об.

³⁵ К и р и л, патриарх български. Граф Н. П. Игнатиев и българският църковен въпрос, София, 1959.

³⁶ АВПР, Гл. архив VA₂, 1867 г., д. 534, л. 24 об.

³⁷ К и р и л, *патр.* български. Указ. соч., стр. 297.

болгарскую церковь схизматической и довел церковный раскол до конца. Добиться примирения сторон русской дипломатии не удалось, тем более, что английская дипломатия поддерживала наиболее крайних греческих националистов, а австрийская — болгарских ³⁸.

* * *

1866 г. был беспокойным в Европе. После нескольких месяцев напряжения в мае началась австро-прусская война. В том же месяце на о. Крит произошли выступления против турок. В августе началось восстание, а в сентябре на острове провозгласили независимость и присоединение к Греции.

Занятость Австрии немецкими делами представлялась сербскому князю Михаилу и его советникам удобной для активизации своей политики. С одной стороны, сербское правительство поднимало вопрос о ликвидации еще оставшихся турецких крепостей на территории Сербии, с другой — возникли планы более широкие. Мысль, что Сербия должна явиться центром объединения южных славян, жила и была постепенно реализуема. Развернули пропаганду восстания не только в турецких, но и в австрийских землях, населенных югославянами. В середине 1866 г. сербское правительство решило готовиться к войне с Турцией ³⁹. В 1866 г. Сербия заключила военный союз с Черногорией, в начале следующего года было подготовлено соглашение с болгарской буржуазной эмигрантской организацией в Румынии, в августе того же года был заключен союз с Грецией, а в январе 1868 г. соглашение с Румынией. Вопреки еще держащемуся мнению, опирающемуся на фальсифицированные документы ⁴⁰, что движение в славянских странах Балканского полуострова было вызвано Россией и ее агентами ⁴¹, в действительности инициатива возбуждения движения принадлежала Сербии ⁴². Эта инициатива учитывала наличие национально-освободительного движения в соседних областях и получила там поддержку. Что касается России, то первоначально в среде русских дипломатов не было единства взглядов. Н. П. Игнатьев и директор Азиатского департамента П. Н. Стремоухов относились сочувственно к сербским планам. Игнатьев оказал поддержку начавшемуся движению в среде южных сла-

³⁸ Кирил, патр. български. Екзарх Антим. София, 1956, стр. 436—448.

³⁹ Записи Еврема Грујића Б., 1922, кн. III, стр. 105.

⁴⁰ С. А. Никитин. Славянские комитеты в России. М., 1960, стр. 132—145.

⁴¹ А. Дебидур. Дипломатическая история Европы, т. II, стр. 305—307.

⁴² С. Јовановић. Друга влада Милоша и Михаила, стр. 210—211; Ј. Ристић. Спољашни одношаји Србије новијега времена, т. II, 493.

вян, давал советы сербскому правительству по вопросам военной подготовки ⁴³.

Между тем, Горчаков пытался найти общий язык с Францией и совместно добиться реформ в Турции. 18/30 августа 1866 г. он разговаривал с французским послом Талейраном, предлагая, действуя совместно с Англией, добиться от Турции уважения к обещаниям, данным ею державам, и осуществления реформы, предоставляющие внутреннюю административную автономию ее подданным.

В то же время Игнатьеву было дано распоряжение советовать Порте умеренность. Для укрепления эффекта его советов русский военный корабль был послан в воды Крита. Вторично предложение такого рода было сделано Будбергом Друэн де Люису 22/VIII—4/IX.

Тем временем, на свадьбу наследника в октябре 1866 г. в Петербург прибыл сербский представитель И. Маринович, начавший переговоры о положении на Балканском полуострове и планах Сербии. Он говорил, что основное желание Сербии заключается в том, чтобы Россия добилась невмешательства держав в события на полуострове. При этом условии, полагал сербский представитель, события смогут принять желательный для Сербии оборот.

Один из использованных нами документов так определял задачи русской политики на протяжении десятилетия 1856—1866 гг.: «1) путем комбинаций нашей общей политики привести к изменению в системе союзов и равновесия европейских сил, которые были направлены к нашему ущербу договором 1856 г.; 2) ускорять развитие христианского населения в Турции, вступление которого в политическую жизнь обещает нам естественных союзников и гарантии лучшего равновесия» ⁴⁴. Поэтому царская Россия, чтобы достигнуть большего развития национальных ресурсов южных славян, удерживала их от преждевременных и изолированных действий. Намерения Сербии в целом шли в желательном России направлении. Естественно, что переговоры завершились обещанием моральной поддержки со стороны России и заявлением готовности оказать просимую дипломатическую поддержку ⁴⁵.

Уже 16/28 ноября 1866 г. Горчаков в депеше русскому послу в Париже Будбергу излагал необходимость передачи Крита Греции, а в крайнем случае предоставления ему автономии. Предвидя возможность широкого восстания христиан Турции, он полагал, что ни одна из держав не поддержит Турцию и лучшая позиция, какую они могут избрать, — полное невмешательство, как доказательство бескорыстия ⁴⁶.

⁴³ Библиотека им. Ленина. Отдел рукописей. Воспоминания Милютина, т. XVII, № 7848, стр. 23.

⁴⁴ АВПР. Всепод. отчет за 1866 г., л. 88 об. — 89.

⁴⁵ Там же, л. 110 об.

⁴⁶ С. С. Т а т и щ е в. Имп. Александр II, т. II, СПб., 1911, стр. 60.

Франция связывала ответ на эти предложения с решением вопроса о размене услугами: поддержка русских предложений на Востоке в обмен за русскую поддержку на Западе. В процессе переговоров Россия заявила, что не стремится к приобретению каких-либо турецких территорий; ее интерес, естественно, заключался в уничтожении ограничительных условий Парижского мира. Франция же ждала русской поддержки при ее столкновении с Пруссией. Причина последующего расхождения России и Франции заключалась отчасти в этом вопросе, отчасти в различии планов по отношению к Турции. В то время как Россия понимала реформы в Турции как автономию ее христианских подданных, т. е. укрепление центробежных тенденций, Франция хотела общих реформ Турции, укрепления финансов османского государства, чтобы затем взять его под свою опеку⁴⁷. Русское министерство иностранных дел с беспокойством отмечало, что французские капиталы и предпринимательские компании забирают в свои руки государственные финансы и экономику страны, что усиливается католическая пропаганда и что к этим, враждебным интересам русского государства, действиям Франции, добавляются аналогичные меры Англии.

12/24 февраля 1867 г. французское министерство иностранных дел послало своим представителям в Петербурге и Вене составленный в смысле указанных стремлений проект⁴⁸. Он не мог способствовать успеху переговоров: «я занимаюсь только христианами», — сказал Горчаков.

То обстоятельство, что Франция к переговорам по данному вопросу хотела привлечь и Австрию, свидетельствовало о сдержанности, с какой она шла навстречу России.

В конце концов удалось достигнуть соглашения о вручении Турции коллективной ноты, переданной в апреле 1867 г. послами России, Франции, Пруссии, Италии с рекомендацией плебисцита на Крите. Нота была Турцией отклонена, но с точки зрения Горчакова важным в ней было заявление держав, что Турция не может более рассчитывать ни на их материальную, ни на правительственную помощь с целью вывести из затруднений, созданных ее упрямством⁴⁹.

Но надо сказать, что, ведя все указанные переговоры, оказывая поддержку южным славянам, русское правительство вовсе не предполагало очертя голову ринуться в водоворот Восточного вопроса. «Напрасно Вы думаете, — писал 9 февраля 1867 г. директор Азиатского департамента Стремоухов Игнатьеву, — что у нас не оценивают всей важности настоящего кризиса и не желают из него извлечь всего возможного для христиан и России; Вы

⁴⁷ J. Р и с т и њ. Спољашњи одношаји Србије новојега времена. Београд, кн. II, 1887, стр. 533.

⁴⁸ F. Charles Roux. Указ. соч., стр. 415.

⁴⁹ С. С. Т а т и щ е в. Указ. соч., стр. 61.

не забудьте, что у нас министр финансов Рейтерн, который грозит банкротством и который не допускает даже возможности каких-либо военных действий; следовательно приходится только маневрировать с помощью сил нравственных»⁵⁰. Россия не была способна по своему внутреннему, военному, транспортному и т. д., в том числе финансовому, состоянию на какие-либо активные действия. Особенно препятствовало этому отсутствие военного флота на Черном море. Не будучи в состоянии выступить сама, Россия не стремилась и к столкновению балканских народов с Турцией, так как оно могло на каком-то этапе потребовать вооруженной поддержки с ее стороны. Она хотела взять в свои руки моральное руководство движением, чтобы оно не попало в руки, ей нежелательные, по возможности предупредить развитие острой коллизии и использовать для этой цели поддержку держав. К тому же русская дипломатия очень трезво оценивала политическое положение и взаимоотношения балканских государств. Возбуждала сомнение крепость связей Греции и Сербии, вызывало опасение отсутствие между ними полного соглашения по всем вопросам. Не только степень готовности, но и сама решимость южных славян и греков к серьезной и упорной борьбе с Турцией не производила на русскую дипломатию серьезного впечатления. Возбуждала сомнение позиция Сербии; опасались, что она удовлетворится получением городов и прекратит свою алармистскую кампанию.

Возбужденный Сербией вопрос об освобождении крепостей, расположенных на ее территории, от турецких гарнизонов был поддержан Россией⁵¹. Но общая европейская ситуация, в том числе и положение на Балканском полуострове, способствовали тому, что вопрос этот остался вопросом сербско-турецких отношений, не превратившись в международный, каким он был в 1862 г.

Тем временем обещание русского правительства оказать помощь Сербии побудило сербского князя просить о помощи военной. Она была оказана и в форме консультации военных специалистов, и в обучении сербского войска, и в разработке военных планов⁵². Однако не столько слабая военная подготовка сербских войск, о которой сообщали в Петербург русские офицеры, была причиной того, что подготовленный военно-политический инструмент — Балканский Союз — остался без употребления. И внутри Сербии и вне ее складывались условия, неблагоприятные выступлению. В руководящих верхах княжества шла борьба между сторонниками различной внешнеполитической ориентации. Зальцбургское свидание Франца-Иосифа и Наполеона III в августе

⁵⁰ ЦГАОР, ф. 730, оп. 1, д. 631, л. 33 об.

⁵¹ Ј. Ристић. Спољашњи одношаји Србије новијега времена, кн. II. Београд, 1887, стр. 395 и далее.

⁵² С. А. Никитин. Дипломатические отношения России с южными славянами в 60-е годы XIX в. Славянский сборник. М., 1947, стр. 285—286.

1867 г. выяснило действительную позицию Франции в делах Балканского полуострова.

Позиция Австро-Венгрии, не желавшей распада Порты, оказалась Франции ближе, чем стремление России к освобождению христиан из-под турецкой власти. На этом и сошлись монархи в Зальцбурге, заняв тем самым враждебную позицию по отношению к Балканскому союзу. Под влиянием этого обострились расхождения в правящих сербских верхах. Гарашанин, который был идейным руководителем антитурецкой политики Балканского союза, в ноябре 1867 г. был уволен в отставку. Увольнение состоялось вопреки протесту России, которая понимала, что уход Гарашанина из министерства приведет к усилению австрофильской группировки в правительстве. Вот почему, получив сообщение об увольнении Гарашанина, Александр II приказал приостановить выдачу субсидии Сербии и отозвал оттуда русских офицеров.

Оценка перспектив Балканского союза русскими дипломатами оказалась правильной. Больше того, что было сделано, Россия сделать не могла: «Объявить одни войну Турции мы не хотим и не можем, . . . объявить ей войну вместе с нами не хочет Европа. Следовательно, остается наше нравственное содействие, старание к недопущению вредного постороннего вмешательства»⁵³. Сербия, которую провозглашали «Пьемонтом южных славян» и на которую в последние десятилетия действительно были обращены надежды, явно переставала быть им. Это проявилось в скором распаде Балканского союза, из которого первую вышла Черногория, затем Греция. Передовые болгарские круги поняли, что освобождение может быть завоевано только собственными усилиями, и стали создавать центр освободительной борьбы — БЦРК. Эта новая расстановка сил не могла не отразиться и на отношении русской дипломатии к делам Балканского полуострова.

Нельзя не отметить еще одной характерной черты, проявившейся в эти годы. Хотя русская дипломатия поддерживала Сербию, она не лишала своей поддержки и другие балканские народы. Помимо поддержки и помощи восстанию на Крите, необходимо указать на новые черты, проявляющиеся в это время в связях России с Болгарией. После совещания, созванного «Добродетельной дружиной» весной 1867 г., эта организация болгарской буржуазии обратилась к русскому правительству с просьбой о снабжении оружием. Обращение встретило в России сочувственный отклик, и на военных складах в Николаеве была подготовлена к отправке большая партия ружей (46,5 тыс.) и патронов к ним.

Поражение четы Ф. Тотю и обнаружившаяся слабая военная подготовленность Сербии побудили русские правящие круги, в полном соответствии с указанными выше целями русской по-

⁵³ ЦГАОР, ф. 730, оп. 1, д. 631, л. 38 об.

литики, в последний момент отказаться от переправки оружия ⁵⁴. Не прислушалось также правительство к тем голосам из славянофильских кругов, которые подсказывали ему активные шаги по организации военных сил болгар путем посылки для руководства ими русского генерала ⁵⁵. Все это вполне укладывается в общее русло русской политики.

* * *

*

Хотя надежды, связывавшиеся дважды в 60-е годы с Сербией и ее ролью ядра, объединяющего подвластных Турции христиан, не оправдались, среди русских представителей на Балканах не сразу потеряла кредит мысль о Сербии, как естественном центре организации борьбы против турецкого гнета. Франко-пруссский конфликт 1870 г. вновь возбудил воспоминания о 1866 г. и, хотя положение расценивали как более сложное и трудное, чем четырем годами ранее, все же некоторые русские дипломаты полагали возможным возобновление славянской борьбы. В своих письмах Игнатьеву консул в Рагузе А. С. Ионин не раз высказывал мысль о возможности подъема национального движения сербов княжества и хорватов Австро-Венгрии, но при условии, «если Россия явит себя . . . силою, предназначенною на Востоке так же все радикально переделать, как переделывается все у немцев. Но в таком случае надобно решиться действовать не только против Турции, но и против Австрии. Мыслимо ли это у нас?» ⁵⁶

Это было так же невозможно в 1870 г., как и в 1866 г. Если в отношении сухопутной армии Россия за эти годы сделала известные шаги вперед, то военного флота на Черном море по-прежнему не было, а без него никакие активные шаги на Балканском полуострове не были возможны. Поэтому русское правительство вовсе не думало о тех военных шагах, о которых рассуждал Ионин в своих посланиях Игнатьеву, а в первую очередь стремилось к уничтожению ограничений, установленных договором 1856 г.

Здесь нет надобности говорить о русской декларации и последовавших событиях ⁵⁷. Они важны в том отношении, что тяжкие условия Парижского договора ушли в прошлое. И хотя руководители русской политики понимали, что вопрос решен пока лишь на бумаге, все же это улучшало позицию России, хотя бы в чисто дипломатическом смысле. Для того, чтобы реально использовать

⁵⁴ ЦГАОР, ф. 730, оп. 1., д. 970, л. 1—9 об.

⁵⁵ ЦГАОР, ф. 730, д. 957, С. А. Н и к и т и в. Славянские комитеты. . . стр. 152—153.

⁵⁶ ЦГАОР, ф. 730, оп. 1, д. 3047, л. 37 об.

⁵⁷ К. R h e i n d o r f. Die Schwarze-Meer (Pontus) Frage vom Pariser Frieden vom 1856 bis zum Abschluss der Londoner Konferenz vom 1871. В. 1925.

создавшееся положение, предпринято ничего не было. За декларацией не последовало такого военно-морского строительства, которое развязывало бы России руки. Более того: «Главное военно-морское командование считало, что поскольку Россия не является морской державой, то черноморский флот для нее — большая роскошь, которую можно себе позволить лишь при явном избытке средств. Поэтому оборону Черноморского побережья было решено строить на основе сухопутных средств, а военно-морской флот собирались использовать в береговой обороне и то весьма ограниченно»⁵⁸. О наступательной роли флота не думали вовсе. Все это отчетливо сказалось в ходе последующих событий, разывавшихся в иной международной обстановке.

Вслед за отменой ограничений, наложенных на Россию Парижским договором, она в результате переговоров и соглашений с Германией и Австро-Венгрией добилась, с одной стороны, безопасности своей западной границы, с другой — признания принципа невмешательства в балканские дела, если бы там оказался нарушенным *status quo*, и взаимного обязательства «сговариваться» друг с другом по международно-политическим вопросам⁵⁹. Нет никаких оснований преувеличивать положительное значение «Соглашения трех императоров», в значительной мере объективно направленного против Франции и служившего потому австро-германским интересам. Да и в лице Австро-Венгрии Россия договаривалась не столько с союзником, сколько с соперником, за поведение которого было трудно поручиться. Все же эта комбинация выводила Россию из изоляции. Достоинства и недостатки этой дипломатической комбинации проявились в период Восточного кризиса.

С самого начала восстания в Боснии и Герцеговине Андраши заявил Порте, что рассматривает его как внутреннее дело Турции и не намерен вмешиваться. Но в силу ряда причин удержаться на этой позиции Австро-Венгрия не могла. Русское правительство стремилось помочь восставшим славянам. Оно полагало, что достигнуть этого можно путем соглашения, прежде всего с Австрией, как наиболее заинтересованной в силу географических и этнических причин державой⁶⁰. Очень ценилась возможная поддержка умиротворительных попыток со стороны Англии⁶¹. Но, как видно из переговоров русского посла Е. П. Новикова в Вене, первоначальное отношение австрийской дипломатии к какой-либо помощи славянам было отрицательным. На предложение Гор-

⁵⁸ Н. И. Беляев. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. М., 1956, стр. 56.

⁵⁹ Сборник договоров России с другими государствами 1856—1917 гг., Сост. И. В. Козьменко, М., 1952, стр. 124—128; История дипломатии, т. II; 1945, стр. 10—15.

⁶⁰ Освобождение Болгарии от турецкого ига, т. I, М., 1961, № 6.

⁶¹ Дневник Д. А. Милютина, т. I, М., 1947, стр. 216.

чакова о демарше трех держав Андраши отвечал согласием, если в то же время будет заявлено повстанцам, что они не получают от держав никакой помощи, а Сербии и Черногории будет сделано предупреждение, чтобы те не поддерживали инсургентов⁶².

В конце июля 1875 г. России удалось договориться в Вене о выступлении à trois «неколлективном, но однообразном» перед Портой и повстанцами. Хотя это выступление, поддержанное Францией, Италией и Англией, было безуспешно⁶³, оно говорило о некотором успехе русской дипломатии, которой удалось добиться общего выступления держав. В то же время оно не свидетельствовало о сближении позиций России и Австро-Венгрии. В разговорах с Новиковым в связи с миссией консулов в восставших провинциях Андраши сказал: «Когда повстанцы будут убеждены в бесплодности употребления оружия, они, вероятно, прибегнут к нашим консулам, которые станут тогда настоящими умиротворителями. До тех пор все демарши будут преждевременны»⁶⁴. Андраши, это очевидно из приведенных слов, всего более устраивал бы разгром восстания турками. Между тем, позиция русской дипломатии была иная. В случае, если бы христиане оказались побежденными или подверглись бы репрессиям со стороны турок, «князь Горчаков не считал возможным придерживаться принципа невмешательства»⁶⁵. Стало бы неизбежным вмешательство для предотвращения кровопролития, и Россия, как говорил Горчаков, не была бы последней в исполнении этого долга гуманности. Русская дипломатия предвидела при этом возможность расширения кризиса. Сдерживая от выступления Сербию⁶⁶, русское правительство в то же время стремилось убедить Австро-Венгрию в необходимости реформ, которые обеспечили бы восставшим провинциям автономию (по типу Румынии), близкую к независимости. Таким образом, хотя Горчаков и говорил о вмешательстве, он его рассматривал как крайнюю меру и вовсе его не хотел⁶⁷. Известно, что в итоге Андраши признал необходимость давления на Турцию с целью осуществления реформ. Но связывая стремившегося действовать в системе «Соглашения трех императоров» русского канцлера, Андраши постарался ограничить его предложения, уничтожить опасность возникновения в соседстве с Австро-Венгрией нового славянского государства, которое могло бы установить связи с Сербией и Черногорией и оказаться опасным

⁶² АВПР, Канцелярия, 1875 г., д. 112, л. 456 об., 461—462; G. H. Rupp. A wawering Friendship. Russia and Austria 1876—1878. Cambridge, 1941, p. 85—86.

⁶³ В. Чубриловић. Босански устанак 1875—1878. Београд, 1930, стр. 91—95.

⁶⁴ АВПР, Канцелярия, 1875 г., д. 112, л. 627—635.

⁶⁵ Освобождение Болгарии. . . , стр. 63.

⁶⁶ Там же, д. № 47.

⁶⁷ Дневник Милютина, т. I, стр. 225.

дуалистической империи. Из этих стремлений родилась нота Андраши, которая русским правительством вовсе не рассматривалась как действенное средство разрешения кризиса. Наоборот, опасались, что она ничего не даст⁶⁸. Позиция Андраши возбуждала у некоторых русских дипломатов предположения, что он исходит более из желания Австро-Венгрии в удобный момент захватить Боснию и Герцеговину, чем из стремления достигнуть действительного умиротворения провинций. Горчаков не согласился с этими опасениями⁶⁹, по-видимому доверяя заявлениям Андраши, не раз отрицавшего такие намерения⁷⁰.

Европейский демарш окончился неудачей: повстанцы Боснии и Герцеговины прекрасно поняли, что этот документ был результатом дипломатической игры и поисков путей подчинения их туркам, а вовсе не вел к благоприятному для них решению вопроса⁷¹.

В начале 1876 г. Горчакову стало ясно, что Сербию, Черногорию, а может быть и не только их, не удастся удержать от вмешательства в борьбу. Задача, по его мнению, заключалась в том, чтобы удержать от такого вмешательства Австрию и позаботиться, чтобы события не привели к общей европейской войне⁷². Что слова Горчакова соответствовали действительным стремлениям русского правительства, видно из организованного Россией демарша держав в целях предупреждения нападения Турции на Черногорию⁷³.

Задача, какую ставил себе в этот период Горчаков, сводилась к умиротворению восставших Боснии и Герцеговины, средство к чему он видел в удовлетворении требований повстанцев. Русская дипломатия, стремясь подготовить независимое развитие славянских народов, подчеркивала, что Восточный вопрос является вопросом европейским, который и решаться должен соглашением держав. Она не претендовала диктовать свою волю при решении его, а хотела действовать в согласии с другими государствами, прежде всего с теми, которые считались ее союзниками.

Однако переговоры в Берлине, хотя Александр II и Горчаков надеялись на них добиться согласия Андраши на автономию Босний и Герцеговины⁷⁴, вновь обнаружили существенные расхождения в стремлениях сторон. Австро-Венгрия явно хотела теперь

⁶⁸ АВПР, Канцелярия, 1875 г., д. 114, л. 173—180 об.

⁶⁹ С. С. Татищев. Указ. соч., стр. 275—276.

⁷⁰ М. Е км е ĉ и ĉ. Ustanak u Bosni 1875—1878. Sarajevo, 1960, стр. 175.

⁷¹ S. G o r i a ĩ n o v. La question d'Orient a la veille du traité de Berlin. Paris, 1948, p. 62.

⁷² Дневник Милютина, т. II, стр. 24.

⁷³ С. С. Татищев. Указ. соч., стр. 280; Дневник Милютина, т. II, стр. 25.

⁷⁴ Дневник Милютина, т. II, стр. 40, 41.

присоединить часть Боснии ⁷⁵. В силу указанного меморандум, выработанный в Берлине, оказался документом малосодержательным, а отказ Англии присоединиться к демаршу сделал его бесполезным.

Тем временем на Балканском полуострове произошли крупные события (Апрельское восстание в Болгарии, начавшаяся сербско-черногорская война против Турции), вызвавшие широкое общественное движение сочувствия и поддержки борьбы южных славян в России ⁷⁶.

Русские дипломаты понимали, что «принятые в Берлине полумеры не давали более шансов на практический выход из положения». В то время как Россия стремилась обеспечить подвластным Турции южным славянам — жителям Боснии, Герцеговины, Болгарии — широкую автономию, Австро-Венгрия хотела прекращения борьбы и мелких реформ, которые могли лишь затушить вопиющие дефекты устройства Оттоманской империи. Русские дипломаты, сдерживая выступление Сербии и Черногории против Турции, обсуждали с Андраши вопрос о провозглашении принципа полного невмешательства, но в понимании его расходились. Горчаков хотел, чтобы этот принцип был провозглашен, а Андраши настаивал на том, чтобы он остался тайной ⁷⁷, очевидно, для того, чтобы в удобный момент отказаться от соблюдения этого принципа. Русские вели эти переговоры с целью, с одной стороны, поддержать согласие с державами, хотя бы и ценою тяжелых уступок, с тем чтобы сохранить европейский мир и избежать изоляции, с другой, провозглашением невмешательства оказать реальную помощь борющимся и готовившимся вступить в борьбу Сербии и Черногории.

Россия по-прежнему не стремилась начать войну и всячески избегала ее, так как выигрыш, который она хотела бы получить от войны, являлся проблематичным, а трудностей она сулила много и на фронте и внутри страны. Нельзя забывать, говоря о русской политике, не только общественное движение сочувствия славянам, толкавшее правительство в сторону активных действий,

⁷⁵ Возможно, что на позицию Австрии оказывала воздействие явно анти-русская и в то же время антиславянская позиция Англии, так как английское правительство требовало разоружения повстанцев Боснии и Герцеговины. АВПР, Канцелярия, 1876 г., д. 126, л. 331—333 об.; д. 78, л. 51.

⁷⁶ С. А. Никитин. Славянские комитеты; его же. Русское общество и национально-освободительная борьба южных славян в 1875—1876 гг. Сб. Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии. М., 1957; И. В. Козьменко. Русское общество и Апрельское болгарское восстание 1876 г. «Вопросы истории», 1947, № 5; А. Бурилов. Към историята на руско-български връзки през 1876 г. Известия за Института на българската история, т. 1—2. София, 1951; Х. Христов. Руската общественост и българското национално-освободително движение в навечерието на руско-турската война от 1877—1878 г. Сб. Освобождението на България от турско иго. София, 1958.

⁷⁷ АВПР. Канцелярия, 1876 г., д. 129, л. 146 и об.

но и те проявления революционного брожения и крестьянского недовольства, которые имели место именно в годы Восточного кризиса и которые отчасти заставляли стремиться к войне, отчасти опасаться ее. Не следует упускать из виду и неблагоприятное положение государственных финансов.

Достигнутое в этих сложных международных и внутренних условиях Рейхштадтское соглашение, по-видимому, в силу острых противоречий между сторонами не было доведено до заключения формального акта, а осталось в частных записях. Может быть, историкам дипломатии следовало бы отказаться от названия Рейхштадтское соглашение, а говорить только о Рейхштадтских переговорах. Это точнее отображало бы существо дела.

После Рейхштадта Александр II, по словам Милютин, хотя и надеялся на сохранение мира, но не смотрел уже спокойно на будущее ⁷⁸. Действительно, было все более трудно согласовать стремление русского правительства к высвобождению южных славян из-под турецкой власти и превращению балканской территории Турции в отдельные более или менее самостоятельные государства и провинции с явным намерением Австро-Венгрии не допустить реформ и автономии провинций. Интересен факт прямого обмана России, на который пошел Андраши. В Рейхштадте он обещал представить подробную карту с указанием желательных ему приобретений в «турецкой Хорватии», но не дал ее. А затем стал по этому вопросу выражаться все более неопределенно, явно прикрывая этим австрийские аппетиты на большую часть Боснии и даже Герцеговину ⁷⁹.

В силу всех этих обстоятельств, достигнув сомнительного стовора с Австро-Венгрией, русская дипломатия продолжала усиленно искать мирного разрешения вопроса. Выдвинутая вскоре английским кабинетом программа умиротворения исходила из намерения одновременно с предоставлением административной автономии славянским областям Турции (Боснии, Герцеговине и Болгарии) утвердить английское господство в проливах. Русское же предложение укрепить автономию областей путем временной оккупации Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией, а Болгарии Россией было использовано Англией для обвинения России в желании захватить турецкие земли и в конечном счете Константинополь.

Все эти переговоры, не приводившие ни к каким результатам, отчетливо показывали ясно вырисовывавшуюся даже в глазах столь уповавшего на Андраши Горчакова изоляцию России, а вместе с тем неизбежность войны ⁸⁰. Но военные круги противи-

⁷⁸ Дневник Милютин, т. II, стр. 53.

⁷⁹ АВПР, Канцелярия, 1876 г., д. 129, л. 208 и об.

⁸⁰ Дневник Милютин, т. II, стр. 74, 76.

лись ускорению ее в условиях, «когда море во власти наших противников и когда мы не знаем еще намерений Австрии»⁸¹.

Вряд ли есть необходимость разбирать последовавшую попытку Горчакова заручиться поддержкой Германии. Ответ Бисмарка на вопрос Александра II о позиции Германии в случае войны ясно показывал опасность столкновения с Австро-Венгрией, что повлекло бы за собой войну с обеими германскими соседками. Следовало обеспечить австрийский нейтралитет. Начались переговоры в Вене, не сулившие особого выигрыша в силу возраставших австрийских претензий и усиливавшихся опасений Горчакова, что вслед за Австро-Венгрией «другие державы также захотят, быть может, присоединить клочок оттоманского государства»⁸². Он пытался ограничить эти претензии, чтобы они не ущемляли еще более интересы России, как государства, бравшего на себя тяжесть войны. Переговоры завершились заключением Будапештской конвенции⁸³. Она признавала право Австро-Венгрии в удобный момент оккупировать Боснию и Герцеговину и признавала, что «Болгария, Албания и остальная Румелия могли бы стать независимыми государствами».

Будапештская конвенция представляется значительной в двух отношениях. Она являлась шагом к войне; в то же время она означала, что роль России в решении вопросов, относящихся к Боснии и Герцеговине, минимальна. Это увеличивало интерес России к судьбе Болгарии.

Русское правительство уже вело мобилизационные приготовления, было решено формировать болгарское ополчение, обсуждалась организация гражданской части Действующей армии, но это не означало отказа от попыток урегулировать вопрос дипломатическим путем. Успех русского выступления в защиту Сербии позволил поставить вопрос о международной конференции для урегулирования Восточного вопроса.

С осени 1876 г. Россия усиленно готовилась к Константинопольской конференции. Русский вице-консул в Пловдиве кн. А. Н. Церетелев совместно с американским консулом в Константинополе Ю. Скайлером разрабатывали проект устройства Болгарии⁸⁴. Россия была готова и теперь на самые существенные уступки. Помимо проекта Церетелева-Скайлера Игнатьев подготовил проект-минимум. Если бы оба они были отвергнуты, ему поручалось все же не отклонять сразу английского проекта Солсбери. Все это имело один смысл, выраженный в депеше Горчакова Игнатьеву: «Если только наш минимум пройдет, это будет круп-

⁸¹ Там же, стр. 77.

⁸² Канцелярия, 1876 г., д. 129, л. 210 и об.

⁸³ Сборник договоров России с другими государствами, № 23.

⁸⁴ Освобождение Болгарии от турецкого ига, т. I, № 344; И. Пайотов. Към дипломатическата история на Цариградската конференция. Известия на Института за българската история, т. 6. София, 1956.

ным результатом, который избавит нас от военной кампании, всегда случайной как политически, так и материально, и в особенности тягостной своим влиянием на наше финансовое положение. Если можно избежать этого, сохраняя незатронутыми честь и достоинство императора, я аплодировал бы этому с восторгом, и наша страна была бы в выигрыше»⁸⁵.

Русская дипломатия сделала огромные усилия, чтобы договориться с Англией. На открывшейся в декабре 1876 г. в Константинополе конференции, казалось, должно было быть найдено приемлемое решение. Но английское правительство, обманув Россию, поддержало Турцию в ее позиции, враждебной реформам. Политика поддержки status quo, направленная против интересов угнетенного славянского населения Турции, окончательно возобладала, и для России не оставалось другого выхода, кроме войны.

Политика европейских держав, которая вовсе не имела в виду интересов южных славян, а преследовала задачу столкнуть Россию с Турцией, ослабить первую, пришла к желанному итогу. Русская политика поддержки освободительной борьбы славян и сохранения мира потерпела неудачу. Ее стремления привлечь державы к совместной акции для улучшения положения славянского населения Балканского полуострова показали невозможность объединенных действий. Как и 20 лет назад, Россия фактически осталась изолированной, хотя формально имела союзников. Ей предстояло одной вынести тяжелую борьбу, подорвавшую финансы империи. На Берлинском конгрессе европейские державы поступили именно так, как и предвидел Д. А. Милютин: «В случае успеха не дадут воспользоваться плодами»⁸⁶.

Не останавливаясь на истории войны, следует сделать замечание о ее результатах. Русское правительство, одержав победу над противником, осталось верным своим обещаниям и никаких захватов на территории Балканского полуострова не совершило. Главное его стремление действительно заключалось в обеспечении независимости и территориального роста Сербии и Черногории, а также в создании сильной, большой Болгарии, так как эти страны рассматривались, как будущие союзники. А противодействие Австро-Венгрии и Англии исходило из желания у одной захватить Боснию и Герцеговину и ослабить русские позиции на Балканах (возражение против возврата Бессарабии⁸⁷), а у второй — не только ослабить Россию и тем улучшить свои позиции в Средней Азии, но и укрепить свой контроль над Турцией.

Русская политика, исходившая из охарактеризованных выше целей, объективно сыграла прогрессивную и освободительную роль,

⁸⁵ Освобождение Болгарии от турецкого ига, т. I, стр. 511.

⁸⁶ Дневник Милютина, т. II, стр. 130.

⁸⁷ Там же, стр. 260.

так как привела к освобождению южных славян и других балканских народов от национального угнетения и открывала дорогу социально-экономическому прогрессу.

* * *

Двадцать лет русской политики на Балканском полуострове, политики поддержки национально-освободительных стремлений южнославянской буржуазии со стороны царской России, привели в конечном счете к несомненному успеху. Русская политика преследовала свои собственные цели. Цели дворянско-буржуазной Российской империи не были тождественны задачам южнославянского национально-освободительного движения. Русская политика рассматривала славянские народы Балканского полуострова и их освободительную борьбу как союзную силу, могущую создать более благоприятную для русских интересов ситуацию. Ослабленная после Крымской войны, стремившаяся к уничтожению ограничений, наложенных Парижским договором, Россия видела главную свою задачу в освобождении от этих сковывавших ее решений.

Западные государства продолжали подозревать Россию в тайных захватнических планах и в рассматриваемый период, хотя таких расчетов у русского правительства не было и быть уже не могло (мы не касаемся здесь других противоречий и конфликтов — в Средней Азии и пр.). Это вело к изоляции России, в условиях которой близость с южными славянами — важнейшей, хотя все еще угнетенной и растущей силой, на Балканском полуострове — главным направлением русской внешней политики — приобретала особое значение. В среде южных славян Россия могла ориентироваться только на буржуазные слои, особенно умеренные, ибо они были наиболее близки дворянской царской дипломатии. Правда, отдельные русские дипломаты (Н. П. Игнатьев) предпочли бы связь с более радикальными элементами, склонными к решительной борьбе против Турции, но такая политическая линия не получала одобрения со стороны консервативных правительственных кругов. Вот почему мы видим, что Россия, в значительной мере еще дворянская, поддерживает стремления сербских, болгарских, боснийских буржуазных кругов, а иногда, как в Боснии, готова поддержать и крестьянские требования. Это и создавало почву для ответного тяготения к России со стороны южных славян. В то же время политика сохранения феодальной Порты, проводившаяся западными державами и объяснявшаяся их экономическими и политическими интересами, шла вразрез с интересами южных славян, социально-экономическое и культурное развитие которых властно требовало национального освобождения, а с ним и уничтожения феодальных отношений.

LA DIPLOMATIE RUSSE ET LE MOUVEMENT NATIONAL
DES SLAVES MÉRIDIONAUX
PENDANT LA PÉRIODE DES ANNÉES 50—70 DU XIX SIÈCLE

Résumé

Le rapport caractérise les tendances générales et les buts de la politique russe sur la péninsule des Balkans et décrit l'attitude de la Russie envers le mouvement de libération nationale dont l'auteur montre la ligne générale et les plus apparentes manifestations.

La position de la Russie est comparée avec celle des autres Puissances d'Europe. On voit comment elle se manifestait dans la résolution de la question monténégrine en 1856—1858, au cours de la lutte de la Serbie pour la liquidation des garnisons turcs dans les forteresses se trouvant sur son territoire aux années 60. On peut voir la position de la Russie par son attitude envers le différend entre l'Eglise grèque et bulgare, envers l'Union Balkanique en 1866—1868 et enfin d'après sa politique pendant la crise Orientale des années 70.

Par la caractéristique des objectifs de la diplomatie russe, par l'explication des raisons du soutien de la lutte de libération nationale des Slaves méridionaux par la Russie, le rapport montre l'attraction mutuelle existant entre les Slaves et la Russie.

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь, 1963)

*Л. Б. Валев, Ф. Г. Зувев, В. И. Клоков,
П. И. Резонов, Г. М. Славин*

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вторая мировая война, подобно первой мировой войне, началась как империалистическая. Она была подготовлена империалистами всех стран и развязана агрессивными фашистскими государствами. Однако вторая мировая война существенно отличалась от первой. Она с самого начала развивалась по двум линиям: империалистической, отражавшей интересы монополистических кругов воюющих государств, и антифашистской, отражавшей интересы широчайших масс трудящихся всего мира. На первых порах определяющую роль играла империалистическая линия. Но постепенно в борьбе против германского фашизма на первый план все больше выдвигалась вторая, антифашистская, национально-освободительная линия. В конечном итоге именно она стала решающей для определения характера второй мировой войны.

Возможность победы фашизма в войне представляла смертельную угрозу для народов мира, для исторических судеб человечества. Фашистские государства в ходе войны добивались осуществления не только узко империалистических целей — подавления империалистических конкурентов. Фашизм выполнял социальный заказ самой реакционной империалистической буржуазии мира. В результате войны фашистские государства рассчитывали установить мировое господство, разгромить социалистический Советский Союз, удушить революционное рабочее и национально-освободительное движение.

За короткий срок фашистская Германия захватила большинство европейских государств, правящие круги которых не оказали сколько-нибудь серьезного сопротивления гитлеровцам.

Боясь, что народ развернет антифашистскую войну, они предпочли капитуляцию.

Одни страны были завоеваны германскими фашистами; другие с помощью стоявших у власти предательских антинародных клик были вовлечены в агрессивный фашистский блок и стали сателлитами гитлеровской Германии. Но как первые, так и вторые потеряли национальную независимость.

В оккупированных странах фашистские захватчики насильственно насаждали так называемый «новый порядок». Они зверски подавляли рабочее и демократическое движение, до предела усилили эксплуатацию трудящихся, ввели принудительный труд, безудержно грабили эти страны, полностью подчинили их экономикой германскому монополистическому капиталу, фашизировали общественную и политическую жизнь, внедряли расистскую идеологию. Гитлеровцы покрыли оккупированные страны тюрьмами и концентрационными лагерями, проводили массовые репрессии и казни, творили неслыханный произвол.

Фашистские захватчики вели себя особенно разнузданно в оккупированных славянских странах — Польше, Чехословакии, Югославии. На временно оккупированной территории Советского Союза зверства и злодеяния гитлеровцев приобрели чудовищный размах.

Значительную часть славян (в первую очередь интеллигенцию) фашисты намерены были истребить физически. Гитлеровцы планировали массовое переселение славян в необжитые, мало приспособленные для жизни районы, обрекая их на медленное вымирание. Часть славян, необходимая в качестве рабочей силы, должна была подвергнуться насильственному онемечиванию.

При помощи открытого насилия и массового террора гитлеровцы рассчитывали принудить славянские и другие народы оккупированных стран к рабской покорности, лишить их способности к сопротивлению. Этой же цели служила лживая геббельсовская пропаганда, призванная дезориентировать поработанные народы, заставить их поверить в миф о «непобедимости» гитлеровской армии, в «прочность» и «незыблемость» оккупационного режима.

Однако фашистские захватчики недооценили возросшую роль народных масс в жизни общества, их несокрушимое стремление к свободе, особенно усилившееся со времени Великой Октябрьской социалистической революции, их веру в могучие силы советского народа и его армии.

Народы, поработанные фашистской Германией, стремились восстановить свою национальную независимость. Без уничтожения чужеземного господства был невозможен дальнейший социальный прогресс. С особой остротой вопрос о борьбе против фашизма и завоевании независимости встал перед славянскими народами, дальнейшее национальное существование которых было поставлено под угрозу.

Во всех поработанных странах с первых дней оккупации стало разворачиваться антифашистское движение Сопротивления. Антифашистская борьба оккупированных стран являлась составной частью общей мировой антифашистской борьбы, определившей, в конечном счете, характер второй мировой войны. Славянские народы выступали в первых рядах борцов против фашизма.

Национально-освободительное движение в славянских странах приобрело всенародный характер. Это было общедемократическое, антифашистское движение, в котором участвовали разные слои народа: рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, мелкая и часть средней буржуазии. Главной силой этого движения был рабочий класс и крестьянство. Рабочий класс, вдохновляемый своим авангардом — марксистско-ленинскими партиями, первым поднялся на борьбу против фашистского порабощения и был самой активной, боевой частью антифашистского освободительного народного движения.

Между рабочим классом и крестьянством в ходе антифашистской борьбы укреплялся боевой союз, на основе которого складывался широкий национальный фронт. Коммунистические и рабочие партии стремились объединить вокруг рабочего класса все демократические, антифашистские силы нации и повести их на борьбу против фашизма, за восстановление национальной независимости. Коммунисты были самыми последовательными борцами за коренные интересы своих народов.

На первый план в программах национально-освободительной борьбы выдвигалась задача национального освобождения и завоевания национальной независимости. Однако лозунг национальной независимости не являлся абстрактным. Каждый класс, каждая социальная группа вкладывали в него свое содержание. Для рабочего класса лозунг национальной независимости предполагал демократическое государство и социальный прогресс.

Движение Сопротивления в славянских странах развертывалось в зависимости от конкретных условий каждой страны. Против фашистских захватчиков использовались самые разнообразные формы борьбы: активные и пассивные, массовые и индивидуальные.

Несмотря на особенности, присущие движению Сопротивления в той или иной стране, оно имело характерные для всех стран общие закономерности и общие черты. Развитие движения Сопротивления самым тесным образом было связано с основными этапами второй мировой войны и прежде всего с Великой Отечественной войной Советского Союза. Советский народ видел свой интернациональный долг в том, чтобы оказать всю возможную помощь делу освобождения поработанных народов. Поэтому война Советского Союза против германского фашизма закономерно должна была слиться с национально-освободительной борьбой поработанных народов.

В годы второй мировой войны Советский Союз вынес на своих плечах основную тяжесть борьбы против фашистских захватчиков. Ход Великой Отечественной войны Советского Союза определил основные этапы всей второй мировой войны.

В движении Сопротивления фашистским захватчикам в славянских странах, равно как и в других оккупированных государствах, можно выделить четыре этапа: первый этап охватывал период с начала второй мировой войны до начала Великой Отечественной войны Советского Союза; второй этап — от начала Великой Отечественной войны Советского Союза до коренного поворота в ходе войны после разгрома фашистских армий на Волге и под Курском; третий этап — от коренного поворота в ходе войны до выхода Советской Армии к западной советской государственной границе и начала освобождения стран Центральной и Юго-Восточной Европы от фашистской оккупации; и, наконец, четвертый этап охватывает период полного освобождения стран, поработанных германским фашизмом.

Антифашистское движение Сопротивления на первом этапе

Немецко-фашистская оккупация резко изменила всю внутреннюю обстановку в оккупированных странах. Произошло размежевание на патриотические, антифашистские силы и реакционные силы, вставшие на путь сотрудничества с немецко-фашистскими оккупантами. Буржуазные партии политически обанкротились. Коммунистические партии ушли в подполье и начали перестройку своей работы. Первоочередными стали задачи собирания сил, отыскания форм и методов борьбы, создания нелегальных организаций сопротивления, подготовки первых массовых антифашистских выступлений. Коммунистические и рабочие партии и сотрудничавшие с ними левые силы стремились использовать предвоенный опыт создания антифашистского народного фронта применительно к новым условиям.

Во всех оккупированных немецко-фашистскими захватчиками странах коммунисты и сотрудничавшие с ними патриотические силы стремились придать антифашистскому движению организованный характер, выработать применительно к условиям своих стран конкретную программу действий, направленную на сплочение всех патриотических сил нации. Большое внимание уделялось преодолению растерянности и подавленности, возникших у части населения поработанных славянских стран. Эти настроения были вызваны самим фактом оккупации и предательством правящих кругов этих стран.

В первый период своего развития движение Сопротивления еще не получило широкого размаха. Оно в значительной мере оставалось разрозненным и стихийным. Перспектива освобождения народов от фашистского ига была еще недостаточно ясной.

Уже на первом этапе в движении Сопротивления проявились две линии.

Буржуазия, связанная с англо-франко-американским капиталом, отказываясь признавать гитлеровское господство, основную ставку делала на победу в войне западных держав. Она не желала развертывания массового народного движения, так как опасалась, что в ходе его будут подорваны классовые позиции самой национальной буржуазии. Антигитлеровская буржуазия, учитывая глубокие сдвиги в сознании народных масс, с одной стороны, стремилась сохранить в качестве юридической основы эмигрантских правительств предвоенные конституции, а с другой стороны, чтобы представить себя выразителем интересов народных масс, политически маневрировала. Антигитлеровская буржуазия не скупилась на различные обещания. Но их претворение в жизнь откладывалось на послевоенный период.

Эта часть буржуазии занимала враждебные позиции по отношению к СССР. Не случайно в некоторых странах имела хождение теория «двух врагов».

Другое направление в движении Сопротивления было представлено демократическими силами, выдвигавшими задачу развертывания массового народного движения против немецко-фашистских захватчиков.

Перейдем к характеристике положения, сложившегося в каждой из оккупированных славянских стран.

Чехословакия раньше других государств пострадала от фашистской агрессии. Немецко-фашистские захватчики сначала расчленили Чехословацкую республику (Мюнхен), а затем совершенно ликвидировали ее (март 1939 г.), превратив одну часть страны в немецкую колонию под названием «Протекторат Чехия и Моравия», другую — в марионеточное, полностью зависимое от Германии так называемое Словацкое государство.

Окупуация коренным образом изменила обстановку в стране. Германские фашисты стали главным врагом большинства народа. Борьба против чужеземного ига, за восстановление национальной и государственной самостоятельности превратилась в основную проблему для всего народа. Но ее решение различные классы Чехословакии понимали по-разному.

Представители антигитлеровской буржуазии не верили в силу своего народа и боялись его. Они всячески тормозили развитие массового сопротивления. Иной была позиция широких народных масс. Чешские патриоты уже в момент вступления гитлеровских войск в страну стихийно выразили свой протест массовыми антифашистскими выступлениями (демонстрации, забастовки), ненавистью и презрением к немецко-фашистским захватчикам. В тот день Компартия Чехословакии опубликовала воззвание, в котором призвала членов партии самоотверженно бороться

в первых рядах за восстановление полной свободы и независимости Чехословакии.

Компартия выдвинула программу борьбы за восстановление государственного суверенитета и национальной независимости, за возрождение и расширение демократии. Она стремилась сплотить антифашистов, независимо от их социального положения, партийной принадлежности, религиозных убеждений, в широкий национальный фронт и была убеждена, что в ходе антифашистской борьбы выкуется единство всех сил народа.

В глубоком подполье в чешских областях и Словакии работали подпольные ЦК КПЧ и КПС. Они осуществляли руководство антифашистской борьбой рабочего класса. Лидеры Компартии Чехословакии, выехавшие в эмиграцию в СССР, создали в Москве руководящий центр КПЧ, сыгравший большую роль в организации движения Сопротивления, разработке вопросов стратегии и тактики в годы второй мировой войны.

Основными формами сопротивления гитлеровским захватчикам на первом этапе были забастовки, которые, правда, носили локальный характер, саботаж, диверсии. Имели место демонстрации, наиболее крупными из которых были демонстрации в Праге, Остраве, Кладно, Пльзене 28 октября 1939 г. В Праге демонстрация закончилась столкновением с оккупантами. Гитлеровцы организовали массовый террор против антифашистских сил. Наибольшие потери понесла самая активная антифашистская сила страны — Компартия Чехословакии: к июню 1941 г. фашистские власти арестовали около 5800 чешских коммунистов.

Не менее жестокое преследование было начато против антифашистских сил в Словакии.

В трагическом положении оказался польский народ. Сентябрьская катастрофа 1939 г. и поражение Франции в 1940 г. на время деморализовали антифашистские силы в Польше. Легкие победы, одержанные Германией в Европе в начальный период второй мировой войны, привели некоторые слои польского народа к мысли об отсутствии реальной силы, способной противостоять фашизму.

Польские имущие классы по-разному относились к немецко-фашистской оккупации. Представители крупного капитала, связанного с германскими монополиями, собственники неконфискованных предприятий, крупные помещики, многие представители высшего духовенства и чиновничества были готовы к сотрудничеству с гитлеровцами.

Другая часть польской буржуазии, связанная с англо-франко-американским капиталом, интересы которой серьезно пострадали в результате политики оккупантов, не желала признать верховенство германского империализма. Представители этой части буржуазии образовали в эмиграции польское эмигрантское правительство, видную роль в котором играли представители

польского монополистического капитала. В стране эмигрантское правительство создало подпольное политическое представительство-делегатуру. Одновременно создавались подпольные вооруженные силы, объединенные в Союз вооруженной борьбы (в феврале 1942 г. он был преобразован в Армию Крайову). Эмигрантское правительство верило в возможность сговора англо-французских, а затем (после разгрома Франции) англо-американских правящих кругов с фашистской Германией против Советского Союза и «мирного» разрешения «польского вопроса». Подпольным вооруженным силам приказывалось стоять «с ружьем у ноги». Внутри эмигрантского правительства, делегатуры, командования Союза вооруженной борьбы обострились разногласия по вопросу о том, кому будет принадлежать решающий голос в будущем польском государстве. Главного своего врага польская реакция видела не в лице гитлеровцев, а в лице польской демократии.

Польская демократия на первом этапе не смогла организоваться. Рабочий класс как самая крупная сила не имел марксистско-ленинской партии. Ему предстояло в условиях двойной конспирации — от немецко-фашистских оккупантов и польской реакции — восстановить боевую марксистско-ленинскую партию. В период 1939—1941 гг. была образована разветвленная сеть низовых коммунистических организаций. Шел процесс объединения также левых ИПС-овцев, которые к середине лета 1941 г. создали довольно развитую организацию.

Подпольные антифашистские группы и организации ставили задачи активной борьбы против немецко-фашистских оккупантов и их союзников из среды польских эксплуататорских классов. Саботажи, диверсии были чаще всего связаны с деятельностью сохранившихся антифашистских организаций (коммунистов, левых социалистов и левых людовцев) и отдельных патриотических групп.

В Болгарии после начала второй мировой войны народные массы вели борьбу против прогитлеровской политики своего правительства, против его присоединения к Тройственному пакту, за союз с СССР. Только в период с декабря 1940 г. по февраль 1941 г. в адрес монархо-фашистских правителей Болгарии было направлено 340 тыс. писем, телеграмм и резолюций с требованием заключить договор о дружбе и взаимной помощи с Советским Союзом. Это народное движение сыграло важную роль в срыве первоначального плана присоединения Болгарии к фашистской оси, намечавшегося гитлеровской Германией на конец ноября 1940 г. Однако правящие круги Болгарии руководствовались не национальными интересами болгарского народа. Отвергнув предложение о советско-болгарском пакте, правительство Филова 1 марта 1941 г. тайком от народа и против его воли подписало протокол о присоединении страны

к фашистской оси и допустило гитлеровские войска на болгарскую территорию. Началась оккупация Болгарии немецко-фашистскими захватчиками. Болгарский народ был фактически лишен национальной независимости.

В апреле 1941 г., после разгрома гитлеровской Германией югославской и греческой армий, к Болгарии были «присоединены» Вардарская Македония и Западная Фракия. Монархо-фашистская клика стремилась использовать этот факт для разжигания великоболгарского шовинизма и противопоставления интересов Болгарии интересам других балканских стран. Больше того, гитлеровцы, передавая царской Болгарии эти оккупированные территории, стремились высвободить свои войска для предстоявшего нападения на СССР. Болгарский народ воочию убеждался, что эта политика не имеет ничего общего с его интересами, что в оккупированных Македонии и Фракии болгарские войска вышолняют роль гитлеровского жандарма, а действия болгарских правящих кругов лишь компрометируют болгарский народ и вызывают ненависть соседних народов. Наряду с этим с каждым днем все ощутимее становился экономический гнет, который лег на плечи болгарского народа в связи с расходами по поддержанию оккупации. К нему присоединилось хозяйничанье германских монополий, добивавшихся превращения страны в аграрный придаток фашистской Германии.

Таким образом, с весны 1941 г. усиливались противоречия между немецко-фашистскими захватчиками и их болгарскими приспешниками, с одной стороны, и огромным большинством болгарского народа, включая сюда и часть немонополистической буржуазии — с другой. Складывались объективные предпосылки для объединения всех патриотических и демократических сил народа в борьбе против немецких оккупантов и их агентуры внутри страны.

В связи с новой расстановкой классовых сил и изменением общего политического положения в стране после 1 марта 1941 г. изменилась и политическая стратегия руководящей силы болгарского пролетарского и демократического движения — Рабочей партии. Теперь главный удар направлялся против немецко-фашистских оккупантов и сросшейся с ними болгарской монархо-фашистской клики. Продолжая руководить борьбой за повседневные интересы рабочего класса и других трудящихся масс страны. Рабочая партия возглавила общенародное движение за восстановление национальной независимости и суверенитета страны, против ее вовлечения в войну, за мир и дружбу с Советским Союзом, за демократические права и свободы. Под ее руководством во все больших масштабах стало разворачиваться движение сопротивления, направленное против бесчинств немецких оккупантов и их болгарских прихвостней, против режима бесправия и террора.

Огромная организаторская и разъяснительная работа, развернутая болгарскими коммунистами после прихода в страну немецко-фашистских войск, имела важное значение для правильной ориентации масс в сложной политической обстановке, для их подготовки к предстоявшей антифашистской народно-освободительной борьбе. Не случайно правящие монархо-фашистские круги Болгарии так и не решились вступить в войну с Советским Союзом на стороне фашистской Германии, хотя и находились в фашистском блоке. Уже на этом этапе движение народных масс оказалось сильнее, чем правящая монархо-фашистская клика. Для болгар СССР всегда был символом свободы и независимости.

6 апреля 1941 г. фашистские полчища вторглись в Югославию. Несмотря на героическое сопротивление отдельных частей югославской армии, война была недолгой. Уже 17 апреля югославские представители подписали акт о безоговорочной капитуляции. Столь быстрый разгром был предопределен не только военным превосходством гитлеровской Германии, но и политикой национальной измены, которую проводили правящие круги королевской Югославии.

Когда фашистские дивизии вторглись в Югославию, им немалую помощь оказала та часть югославской буржуазии, которая хотела, чтобы война закончилась как можно скорее, ибо была уверена, что найдет общий язык с фашистами. Павелич, Недич, Мачек и другие предатели открыто сотрудничали с оккупантами и помогали им устанавливать в Югославии «новый порядок». Другая часть югославской буржуазии возлагала надежды на Англию и США и ожидала возвращения созданного за границей эмигрантского правительства, пользовавшегося поддержкой западных держав. Однако сторонники «западной ориентации», несмотря на то, что организовали вооруженные отряды четников под командованием Дражи Михайловича, и не помышляли об активном сопротивлении оккупантам.

Югославские буржуазные партии в час испытания обанкротились и фактически прекратили свое существование. Только Коммунистическая партия Югославии во время национальной катастрофы была вместе с народом.

Коммунистическая партия Югославии ставила перед собой следующие задачи: добиться единства патриотических сил в борьбе за национальное освобождение; продолжить вооруженное сопротивление оккупантам путем саботажа и диверсий; разоблачать и изолировать от народных масс предателей-реакционеров всех мастей и укреплять руководящую роль рабочего класса в народно-освободительном движении; развернуть всестороннюю борьбу против оккупантов и их пособников; политически и организационно подготовить вооруженное восстание в благоприятный момент. Коммунисты выступали за объединение всех демократи-

ческих и патриотических сил в Единый народно-освободительный фронт (ЕНОФ).

В начале мая 1941 г. в Загребе ЦК КПЮ провел подпольное совещание коммунистов, прибывших из всех областей страны. На этом совещании было решено добиваться объединения югославских народов на самой широкой основе для борьбы против оккупантов и их пособников, организовывать боевые и диверсионные группы. Руководимые коммунистами боевые группы и партизанские отряды с первых недель оккупации устраивали диверсии, организовывали саботаж, вступали в вооруженные стычки с отдельными фашистскими группами в Боснии, Герцеговине, Сербии, Словении.

Однако на первом этапе народно-освободительной борьбы, сразу после национальной катастрофы Югославии, разгрома ее армии и раздела страны трудящиеся еще не были готовы к массовому вооруженному выступлению. К тому же такое выступление в момент, когда фашистские армии, захватив почти всю Западную Европу, оккупировали не только Югославию, но и соседние с нею балканские страны, имело мало шансов на успех. Гитлеровские войска после капитуляции Югославии и Греции нигде не вели серьезных боевых действий и могли быть быстро переброшены в любой пункт.

Второй этап движения Сопротивления

Начало Великой Отечественной войны Советского Союза означало коренной поворот в развитии второй мировой войны. Советский народ, руководимый Коммунистической партией и советским правительством, поднялся на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Целью этой всенародной войны являлась не только ликвидация опасности, нависшей над Советским государством и завоеваниями Великой Октябрьской социалистической революции, но и оказание помощи всем народам, попавшим под гнет фашистских оккупантов. Советские люди были уверены в торжестве своего правого дела, хотя и понимали, что борьба потребует огромных усилий и жертв.

Советский народ имел силу, способную привести его к победе, — это была закаленная в боях Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС выступила организатором и вдохновителем всенародной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

Несмотря на неудачи Советской Армии в первый период войны, германским фашистам не удалось осуществить план «молниеносной войны». В декабре 1941 г. Советская Армия нанесла немецко-фашистским войскам сокрушительный удар под Москвой. Это было решающее военное событие первого года Великой Отечественной войны и первое крупное поражение фашистских войск

в ходе второй мировой войны. Миф о «непобедимости» германской армии был развеян.

Немецко-фашистские руководители потерпели также крупное внешнеполитическое поражение. Начиная войну, они рассчитывали на изоляцию Советского Союза. Больше того, они вынашивали планы организации «крестового похода» против СССР. Но вероломное нападение на СССР окончательно разоблало истинное лицо немецко-фашистских захватчиков. Симпатии всего мира были на стороне СССР.

В ходе войны сложилась могучая антигитлеровская коалиция. Она представляла собой коалицию государств и народов, заинтересованных в разгроме фашизма и защите демократических прав и свобод.

Реальная опасность потери национальной независимости и государственной самостоятельности вынудила руководящие круги США и Англии, несмотря на противодействие внутренних профашистских сил, изменить обанкротившуюся политику и начать действительную борьбу против фашистских агрессоров. Вступив в коалицию с Советским Союзом и помогая его усилиям в разгроме гитлеровской Германии, правящие круги западных держав сохраняли при этом идейную и политическую враждебность к социалистическому государству. Это нашло свое проявление, в частности, в преднамеренной оттяжке открытия второго фронта, в сдерживании развития национально-освободительного движения в оккупированных фашизмом странах.

Руководители Советского государства выступали за всемерное укрепление антифашистской коалиции, так как победа над фашизмом означала победу прогресса и свободы над империалистической реакцией.

Начало Великой Отечественной войны и создание антифашистской коалиции явилось поворотным пунктом в развитии национально-освободительной борьбы поработанных народов, в том числе славянских.

Советский народ выступил инициатором объединения всех славян в общей борьбе с фашизмом.

10—11 августа 1941 г. в Москве состоялся Всеславянский митинг. В нем приняли участие представители всех славянских народов. В обращении участников митинга говорилось:

«Братья угнетенные славяне! Пусть пламя священной борьбы могучим шквалом встанет над всеми славянскими землями, поработанными и поработаемыми гитлеризмом! Пусть каждый клочок славянской земли станет могилой врагу и базой для освобождения от гитлеровского гнета»¹.

Обращение участников Всеславянского митинга было встречено трудящимися славянских стран с горячим сочувствием и одобрением.

¹ «Правда», 12 августа 1941 г.

С вступлением советского народа в вооруженную борьбу против фашистских государств завершился процесс превращения второй мировой войны в войну справедливую, освободительную для стран антигитлеровской коалиции.

На втором этапе движения Сопротивления все более возрастает активность народных масс. В движение Сопротивления стали втягиваться новые слои населения. Крестьянство, составившее основную массу населения, начинало включаться в активную борьбу с гитлеровцами и их пособниками. В этих условиях стало приобретать решающее значение укрепление и расширение военно-политического союза рабочего класса с крестьянством, как основы народного антифашистского фронта.

Во всех славянских странах Центральной и Юго-Восточной Европы шел процесс создания и укрепления единых национальных антифашистских фронтов. Их общей платформой являлась самоотверженная борьба против немецко-фашистских оккупантов и активное участие в этой борьбе всех патриотических слоев народа.

Единый национальный антифашистский фронт в сложившейся исторической обстановке был наиболее эффективной формой объединения представителей самых различных слоев населения для борьбы против фашистских захватчиков, за свободу и независимость своих стран.

Однако в процессе создания национальных антифашистских фронтов возникали серьезные трудности, порождаемые тем, что в их состав входили представители различных социальных слоев. Между ними не было согласованного единства по всем возникавшим вопросам. Существовали серьезные разногласия по программным вопросам будущего социально-экономического устройства. Различные социальные слои и группы по-разному представляли себе будущие общественно-экономические преобразования. Некоторые из них не были готовы безоговорочно выступить за решение даже общедемократических задач.

Между демократическими и буржуазными силами развернулась борьба за руководство движением Сопротивления, в первую очередь вооруженными силами.

После 22 июня 1941 г. в Югославии изменилась как внутриполитическая, так и военная обстановка. Югославские патриоты во главе с коммунистами правильно использовали эту новую обстановку. ЦК КПЮ в день нападения Германии на Советский Союз обратился к рабочим, крестьянам, ко всем югославским патриотам с призывом развить широкую партизанскую борьбу с тем, чтобы превратить ее во всенародное вооруженное восстание. 27 июня 1941 г. был создан Главный штаб народно-освободительных партизанских отрядов. 4 июля 1941 г. Политбюро ЦК КПЮ разработало план развития партизанских операций в Сербии и дало общие указания партизанским отрядам в других областях страны для начала вооруженного восстания.

7 июля 1941 г. в деревне Бела Црква (Западная Сербия) партизанский отряд под командованием Жикицы Йовановича вступил в бой с жандармами. Так было положено начало вооруженному восстанию в Сербии. 13 июля 1941 г. началось восстание в Черногории, 22 июля — в Словении, 27 июля — в Хорватии, Боснии и Герцеговине, 11 октября — в Македонии.

На первых порах партизанские отряды нападали на жандармские посты или отдельные воинские подразделения оккупантов, устраивали диверсии на железных и шоссежных дорогах, уничтожали средства связи, подрывали мосты. Затем они стали переходить к более крупным операциям: атаковывали небольшие гарнизоны оккупантов и ликвидировали местные квислинговские органы власти, выводили из строя промышленные объекты.

Политическим центром восстания в Югославии была Западная Сербия, где осенью 1941 г. образовалась значительная освобожденная территория. Там, где удавалось освободить более или менее значительные территории, партизаны ликвидировали органы власти, служившие оккупантам, и создавали новые, демократические органы власти — народно-освободительные комитеты. Во многих местах функции органов власти брали на себя комитеты Единого народно-освободительного фронта.

Развитие партизанского движения создало серьезные трудности для фашистского командования, которое решило предпринять более крупные операции против партизан.

С первых дней освободительной борьбы югославского народа КПЮ выступала за сотрудничество со всеми партиями и группами, готовыми участвовать в вооруженном восстании против фашистских оккупантов, стремилась договориться с четниками о совместных действиях. Однако руководство четников во главе с Дражей Михайловичем, выполняя указания эмигрантского правительства, отказывалось сотрудничать с партизанами. Как выяснилось позднее, Михайлович еще в сентябре 1941 г. заключил (с одобрения гитлеровского командования) соглашение с предателем Недичем о совместной борьбе против партизан. В результате борьба за освобождение Югославии от фашистских оккупантов одновременно носила также черты гражданской войны против эксплуататорских классов, поставлявших кадры коллаборационистов и предателей родины. В ноябре 1942 г. югославское партизанское командование приступило к формированию первых дивизий и корпусов Народно-освободительной армии Югославии. К концу 1942 г. Народная армия освободила одну пятую территории Югославии. Размах освободительной борьбы, формирование народно-освободительной армии, укрепление народно-освободительных комитетов требовали создания специального органа, который бы занимался наиболее важными военными, политическими и экономическими проблемами. Таким органом стало

избранное 27 ноября на учредительном собрании в освобожденном городе Бихаче Антифашистское вече народного освобождения Югославии (АВНОУ). С созданием Народно-освободительной Армии и АВНОУ начался новый этап в освободительной войне югославского народа.

На втором этапе антифашистской борьбы движение Сопротивления поднялось на новую ступень в чешских землях и Словакии. КПЧ призвала всех патриотов усилить борьбу против гитлеровцев, саботировать их мероприятия, разрушать и уничтожать военные объекты. Уже в первые дни после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз по стране прокатилась волна забастовок.

Во всех чешских землях развернулось массовое движение Сопротивления немецко-фашистским захватчикам.

В обстановке массового подъема национально-освободительной борьбы в начале сентября 1941 г., по инициативе компартии, было созвано совещание представителей различных организаций движения Сопротивления с целью объединения всех антифашистских сил. Созданный на этом совещании Центральный национально-революционный комитет призвал чешский народ объединиться в единый национальный фронт, формировать на местах национально-революционные комитеты.

В марте 1942 г., по инициативе Коммунистической партии Словакии, был создан Словацкий национально-революционный комитет.

С весны 1942 г. первые партизанские отряды начали боевые действия против немецко-фашистских захватчиков в чешских землях (в районе Кладно) и в Словакии. В 1943 г. московское руководство КПЧ было преобразовано в заграничное бюро Коммунистической партии Чехословакии. Бюро ориентировало партию на активизацию всех форм борьбы против оккупантов. Но главное внимание Компартия Чехословакии сосредоточила на организации вооруженной борьбы. Подпольный ЦК КПЧ создал специальную военную комиссию. Развернули активную деятельность партизанские отряды и группы в Пршибрамском, Оставском и других районах страны. Возникли новые партизанские отряды в Центральной и Восточной Словакии, в районах Горной Нитры и Штявницы, в Турце и Липтове. Широкая сеть местных национальных комитетов.

Созданный в Советском Союзе чехословацкий батальон под командованием Л. Свободы выступил на фронт и в марте 1943 г. получил первое боевое крещение у села Соколово, под Харьковом. Позднее он пополнился и развернулся в бригаду, а затем в корпус. Чехословацкие воины активно участвовали в боях на Украине.

Подъем национально-освободительного движения, самоотверженная борьба чехословацких коммунистов, огромный рост

авторитета СССР, выдающиеся успехи Советских войск заставили эмигрантское чехословацкое правительство подписать с Советским Союзом 12 декабря 1943 года договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. Под влиянием КПЧ успешно развился процесс объединения усилий чехословацкого народа в борьбе против оккупантов. В итоге на переломе 1943—1944 гг. произошло дальнейшее сплочение всех антифашистских сил страны.

Убедительным свидетельством провала гитлеровских планов в отношении использования в войне славян против славян было поведение словацких воинских частей на советско-германском фронте.

Уже в первых боях 1941 г. ярко проявилось нежелание словаков воевать против братского советского народа. Находившиеся на советско-германском фронте словацкие части стали своеобразным резервом для пополнения чехословацкой воинской части в СССР и советских партизанских отрядов. По данным командования словацкой армии, с мая 1942 по декабрь 1943 г. на сторону Советской Армии и партизан перешло 4030 словацких солдат и офицеров. Гитлеровское командование было вынуждено спешно убрать остатки словацких войск с советско-германского фронта и заменить их другими частями.

После начала Великой Отечественной войны Советского Союза активизировалась антифашистская борьба в Польше. В январе 1942 г. возникла Польская рабочая партия — марксистско-ленинский авангард польского рабочего класса. ППР стала руководящей и направляющей силой антифашистского национально-освободительного движения.

Правильно оценивая международную и внутреннюю обстановку, Польская рабочая партия выдвинула как главную задачу, стоявшую перед всем народом, — объединение всех сил для смелой и решительной борьбы с оккупантами, создание национального фронта для борьбы за свободную и независимую Польшу, за Польшу, в которой народ сам будет хозяином своей судьбы, за Польшу, в которой не будет фашизма и помещичьего гнета, не будет концлагерей и гетто, бесправия, голода, нужды и безработицы. Борясь за единый национальный фронт, ППР выступала за объединение всех прогрессивных элементов без различия их политических взглядов и партийной принадлежности. «Польская рабочая партия, — указывалось в декларации, — идет с каждым, кто выступает за борьбу с гитлеровскими оккупантами и одновременно объявляет беспощадную борьбу всем предателям польского народа, подлым агентам гитлеризма и раскольникам национального фронта»².

² «Kształtowanie się podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w latach 1942—1945». Warszawa, 1958, str. 14.

С началом деятельности Польской рабочей партии в Польше стали оформляться два противостоящих друг другу организованных политических лагеря: революционно-демократический во главе с ППР и реакционный во главе с эмигрантским правительством.

Помимо глубоких расхождений между польской демократией и польской реакцией по вопросу об отношении к немецко-фашистской оккупации, между ними существовали принципиальные расхождения по вопросу о будущей Польше.

Значительная часть народа в этот период еще не была подготовлена к принятию социалистической программы. Польская рабочая партия трезво оценила обстановку и выдвинула на первый план те лозунги, которые отвечали интересам самых широких социальных слоев.

Одним из принципиальных вопросов, определявших политическое лицо участников движения Сопротивления, был вопрос об отношении к Советскому Союзу.

Польская рабочая партия призывала польских патриотов оказывать всестороннюю помощь своему союзнику — Советскому Союзу и его героической армии. Развитие и укрепление польско-советского боевого содружества являлось решающим залогом восстановления сильной, независимой, демократической Польши. Польская рабочая партия последовательно боролась за выполнение польско-советского соглашения о совместной борьбе с германским фашизмом, разоблачала врагов советско-польского боевого сотрудничества.

Реакционные польские политики, несмотря на наличие союзных отношений между Польшей и Советским Союзом, по-прежнему были ослеплены классовой ненавистью к Советскому Союзу и продолжали проводить по отношению к социалистическому государству враждебную политику.

До мая 1942 г. в Польше шел процесс подготовки к развертыванию массовой вооруженной борьбы и создания общенационального антифашистского народного фронта. В мае 1942 г. начал боевые действия первый отряд Гвардии Людовой, что положило начало активной вооруженной борьбе польских патриотов.

Героический отпор советского народа гитлеровским захватчикам оказал огромное влияние на освободительную борьбу болгарского народа.

Уже в день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз ЦК Болгарской рабочей партии обратился к трудящимся Болгарии с воззванием, в котором разоблачал грабительский и разбойничий характер начатой гитлеровцами анти-советской войны и призвал болгарский народ подняться на энергичную борьбу с тем, чтобы не допустить использования своей земли и ресурсов для разбойничьих целей германского фашизма. 24 июня 1941 г. Политбюро ЦК БРП приняло решение взять курс

на решительное развертывание антиимпериалистического и антифашистского движения и вооруженной борьбы. Для руководства военной работой при ЦК БРП была создана Центральная военная комиссия. Политбюро поставило в качестве важнейшей и неотложной задачи создание партизанских групп, чет и отрядов, а также боевых групп для организации саботажа и диверсий на военных объектах, использовавшихся гитлеровцами в коммуникациях, предприятиях и т. д.

Наряду с усилением пассивного сопротивления болгарских патриотов и действиями диверсионных групп уже с конца июня 1941 г. начались боевые операции болгарских партизан. При помощи Центральной военной комиссии и солдат-антифашистов рабочая партия развернула революционную работу в царской армии, которая в то время являлась не только инструментом поддержки монархо-фашистского строя в Болгарии, но и орудием немецкого империализма на Балканах.

На первом этапе развития партизанского движения в Болгарии (с июня 1941 г. до весны 1943 г.) боевые действия отдельных партизанских единиц в большинстве случаев не были согласованы между собой.

Для успешной и активной борьбы против фашистских поработителей требовалось организационное сплочение масс. Исходя из этого, Рабочая партия призвала все прогрессивные и патриотические силы страны объединиться в широкий единый антифашистский фронт. В июле 1942 г. была обнародована программа Отечественного фронта, организационно закрепившего это объединение. Выражая требования и чаяния народных масс, программа выдвигала в качестве главной цели освобождение страны от гитлеровского ига и монархо-фашистской диктатуры, переход Болгарии в лагерь антигитлеровской коалиции и установление народной власти. Таким образом, на первое место были выдвинуты общенациональные демократические задачи, во имя осуществления которых могли объединиться не только рабочий, класс, трудовое крестьянство, патриоты, находившиеся в армейских рядах, и прогрессивная интеллигенция, но и мелкая буржуазия города, а также часть национальной буржуазии, интересам которой наносило ущерб господство немецких империалистов. Были определены цель и перспективы народно-освободительной антифашистской борьбы. В результате создания Отечественного фронта (в конце 1942 г. в стране уже насчитывалось 98 комитетов ОФ) в антифашистскую борьбу были вовлечены новые слои народа.

Следует отметить, что на этом этапе серьезной помехой быстрому созданию Отечественного фронта являлись правые лидеры буржуазии и мелкобуржуазных партий, которые на словах были против фашизма, а на деле выступали против национально-освободительного движения. Одни из них, страшась нарастающей

волны партизанского движения в стране, больше боялись народа, чем фашизма, и своими интригами вносили дезорганизацию в ряды Отечественного фронта. Другие, примкнув формально к Отечественному фронту, всячески тормозили его работу, создавали затруднения в организации комитетов на местах, препятствовали сплочению демократических сил страны.

Таким образом, для второго этапа движения Сопротивления характерным является начало вооруженной борьбы, а в Югославии — ее перерастание в вооруженное восстание.

Третий этап в развитии антифашистского движения Сопротивления

Великая битва на Волге (ноябрь 1942—февраль 1943 г.) положила начало коренному повороту в ходе второй мировой войны. Началось массовое изгнание немецко-фашистских захватчиков с советской земли. Летом 1943 г. немецко-фашистские войска были разгромлены в Курско-Орловской битве.

Успешное наступление Советской Армии в 1943 г. резко ухудшило хозяйственное, военно-политическое и международное положение фашистской Германии. В результате катастрофических поражений, понесенных фашистскими войсками на советско-германском фронте, а также в известной степени под влиянием поражений в Африке, гитлеровский блок стал разваливаться. Союз Германии и Италии, который рекламировался фашистской пропагандой как «стальной блок», был подорван. В июле 1943 г. пал режим Муссолини. Падение режима Муссолини и выход Италии из войны явились крупным военно-политическим поражением для фашистской Германии.

Советская Армия, развивая достигнутые успехи, в 1944 г. полностью очистила советскую землю от немецко-фашистских захватчиков и перенесла войну на территорию фашистской Германии (Восточная Пруссия).

Победы Советской Армии на советско-германском фронте не только воодушевляли народы поработанных славянских стран на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, но и облегчали эту борьбу. На третьем этапе развития движения Сопротивления борьба с немецко-фашистскими захватчиками приобрела подлинно всенародный характер.

Победы Советской Армии на советско-германском фронте обескровливали немецко-фашистскую армию. Гитлеровцы вынуждены были мобилизовать на фронт все новые контингенты, снимая их с военных и других важнейших предприятий, работавших на войну, из сельского хозяйства и заменять эти мобилизованные контингенты иностранными рабочими. Иностранные рабочие, ввозимые в Германию, в полном смысле превращались в рабов.

Подобная политика германского фашизма, с одной стороны, вела к включению в антифашистское сопротивление все новых и новых слоев населения, затрагиваемых насильственной мобилизацией, и, с другой стороны, способствовала усилению движения Сопротивления на территории самой фашистской Германии.

На третьем этапе развития движения Сопротивления стал устанавливаться тесный контакт и взаимодействие между Советской Армией и вооруженными силами Сопротивления в поработанных славянских странах.

Действия партизан в тылах немецко-фашистских войск наносили гитлеровцам ощутимые потери в живой силе и технике, дезорганизовывали снабжение фронта и подрывали уже и без того невысокий моральный уровень гитлеровской армии. Гитлеровцы отвечали усилением террора. Гитлеровское командование в Югославии в первой половине 1943 г. предприняло два крупных наступления с тем, чтобы разгромить Народно-освободительную армию, задуть антифашистское движение в стране и, как надеялись оккупанты, «усмирить» Югославию.

Эти наступления немецко-фашистских войск и их союзников были серьезным испытанием для Народно-освободительной армии, для всех югославских патриотов. Несмотря на тяжелые потери, они успешно выдержали это испытание. Больше того, после капитуляции Италии в сентябре 1943 г. в руки Югославской Народно-освободительной армии попало значительное количество оружия и снаряжения, что дало возможность вооружить 80 тыс. новых бойцов. Почти все югославское побережье Адриатического моря оказалось под контролем партизан.

В конце сентября 1943 г. гитлеровцы начали крупные наступательные операции на северо-западе Югославии, которые продолжались свыше 3 месяцев. Им удалось снова захватить важнейшие порты на северной Адриатике, овладеть узловыми пунктами в Словении. Но и во время этого наступления фашисты не добились решающего успеха. Народно-освободительная армия и партизанские отряды сумели сохранить основные кадры закаленных бойцов. К концу 1943 г. численность Народно-освободительной армии достигла 300 тыс. человек.

К этому времени освобожденные районы составляли примерно половину всей территории Югославии. Власть в этих районах осуществляли народно-освободительные комитеты. Наряду с местными народно-освободительными комитетами создавались также уездные, областные, краевые комитеты. Заканчивался процесс образования народных представительств в Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории.

К концу 1943 г. органы власти, созданные и действовавшие при поддержке оккупантов, были основательно дезорганизованы. Четники Дражи Михайловича потерпели серьезное поражение

в Черногории, Герцеговине, Санджаке и сохранили свои силы лишь в Сербии.

Югославское эмигрантское правительство было разоблачено как враг народно-освободительного движения. В глазах трудящихся Югославии оно олицетворяло старый, ненавистный режим эксплуатации, национального угнетения, нищеты и несправедливости. В Югославии сложилось совершенно новое соотношение политических сил, потерпели провал попытки разжечь национальную вражду, были созданы условия для образования будущего демократического федеративного содружества равноправных народов Югославии.

29—30 ноября 1943 г. в боснийском городе Яйце состоялась Вторая сессия Антифашистского вече народного освобождения Югославии, которая приняла решение о создании временных органов народной власти, лишила эмигрантское правительство прав законной власти и запретила королю Петру II Карагеоргиевичу возвращаться в Югославию до завершения войны. Окончательное решение вопроса о короле и монархии откладывалось до освобождения всей страны.

29 ноября 1943 г. стало днем рождения новой, народной Югославии.

В Польше вооруженные силы ПНР—Гвардия Людова — в начале 1943 г. провели ряд крупных боевых выступлений. Только в Люблинском и Келецком воеводствах действовало в 1943 г. 40 отрядов Гвардии Людовой. Операции партизан стали разворачиваться в Краковско-Жешувском, Варшавском, Плоцком, Ченстохово-Петрковском и других районах страны.

В борьбу за свободу и независимость Польши на советско-германском фронте 12—13 октября 1943 г. вступила польская дивизия им. Т. Костюшко. Этот день стал днем рождения Польского Войска.

Боевая деятельность Гвардии Людовой оказала огромное влияние на вооруженные силы, подчинившиеся польскому эмигрантскому правительству. Патриотические элементы, находившиеся в их отрядах, рвались в бой и нередко, вопреки указаниям своих реакционных руководителей, с оружием в руках выступали против оккупантов. В ряде случаев отряды Гвардии Людовой, Армии Крайовой и Батальонов хлопских проводили совместные операции.

Польское эмигрантское правительство, чтобы не потерять контроль над своими вооруженными силами, вынуждено было разрешить им вести «ограниченные» боевые действия.

Наряду с вооруженной борьбой массовый размах приобрели саботаж и диверсии на транспорте и предприятиях, работавших на фашистскую Германию.

Росло и укреплялось боевое сотрудничество советских и польских партизан. В апреле 1943 г. они провели крупную

совместную операцию в Парчевских лесах против фашистских карателей.

В обстановке развертывающейся вооруженной борьбы Польская рабочая партия опубликовала в ноябре 1943 г. программную декларацию, озаглавленную «За что мы боремся?». Эта декларация явилась важной вехой в развитии национально-освободительной борьбы польского народа. На ее основе усилился процесс размежевания внутри движения Сопротивления. Реакционные силы пытались развязать гражданскую войну, хотя главный вопрос — национальное освобождение — не был решен.

Силы демократии в движении Сопротивления не признавали эмигрантское правительство и его политическое представительство в стране — делегатуру. С польским эмигрантским правительством, проводившим враждебную в отношении СССР политику, вынуждено было в апреле 1943 г. порвать советское правительство.

В обстановке размежевания классовых сил в стране, по инициативе ППР, в ночь на 1 января 1944 г. была создана Крайова Рада Народова. В ее состав, наряду с представителями ППР, вошли представители других демократических партий и организаций.

Крайова Рада Народова возглавила борьбу польской демократии за новую, народную Польшу. Главной целью ее было освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков и проведение коренных социально-экономических преобразований (аграрная реформа, национализация крупной промышленности). КРН выступила за возвращение Польше ее исконных земель на севере и западе, захваченных в прошлом немецкими завоевателями. По всей стране были созданы местные Рады Народовы. КРН и местные Рады Народовы стали подпольными органами власти.

Создание КРН усилило стремление польской реакции к захвату власти. Эта политика польской реакции встречала решительный отпор со стороны народных масс. Несовместимость интересов польской реакции и широких народных масс стала еще более очевидной. Все последующее развитие национально-освободительного движения в Польше связано с деятельностью КРН.

1944 г. ознаменовался еще большим размахом национально-освободительной борьбы в Польше. К тому времени за свободу Польши на советско-германском фронте сражался Польский корпус.

Изменилось соотношение внутренних классовых сил и в оккупированной Чехословакии. Об этом свидетельствовал тот факт, что чехословацкое эмигрантское правительство было вынуждено пойти на переговоры с компартией, как единственной реальной политической силой в оккупированной стране, отражавшей волю подавляющего большинства народа.

Во время приезда Бенеша в Москву 12 декабря 1943 г. для заключения советско-чехословацкого союзного договора между представителями компартии и эмигрантского чехословацкого правительства состоялись переговоры по важнейшим проблемам национально-освободительной борьбы и будущего устройства Чехословацкой республики.

В этот период общественное развитие выдвинуло задачу строительства народной, демократической Чехословакии. Компартия считала, что национальные комитеты по мере освобождения страны от немецко-фашистских оккупантов должны превращаться из органов борьбы в органы власти народа с самыми широкими полномочиями. Представители гитлеровских оккупационных властей, совершавшие злодеяния на чехословацкой территории, и сотрудничавшие с ними коллаборационисты должны понести заслуженное наказание. Их собственность должна быть конфискована и передана под национальное управление. Конфискованная земля должна быть распределена среди тружеников деревни.

Потеря гитлеровской Германией стратегической инициативы и начало массового изгнания гитлеровцев из пределов Советской страны непосредственно сказались также на ходе национально-освободительной борьбы болгарского народа. Славные победы Советской Армии, укрепив в болгарских патриотах уверенность в неизбежности разгрома фашизма, явились могучим стимулом к объединению всех прогрессивных сил Болгарии в единый национально-освободительный лагерь. В марте-апреле 1943 г. в стране была создана стройная военная организация народно-освободительных сил. Центральная военная комиссия при ЦК БРП была преобразована в Главный штаб народно-освободительного движения, который выработал военно-оперативный план в национальном масштабе. Страна была разделена на 12 военно-оперативных зон. Для руководства ими были созданы штабы зон во главе с начальниками штабов, командирами и политкомиссарами. В каждой из зон действовали определенные партизанские подразделения. Они вели бои с правительственными войсками и полицейскими частями, занимали отдельные села, уничтожали военные склады и другие важные объекты, проводили массово-политические мероприятия среди населения. Только в 1943 г. было осуществлено свыше 1600 партизанских операций. Все более частым явлением стало дезертирство солдат и офицеров из царской армии и их присоединение к нелегальным боевым группам и партизанским отрядам.

Важную роль в развертывании движения Сопротивления играли организации Отечественного фронта. Они проводили широкую антифашистскую пропаганду, мобилизовывали массы на борьбу против мероприятий фашистских властей и их пособников — местных эксплуататоров, грабивших трудовой народ, поддерживали в массах боевой дух. Часть лидеров буржуазно-де-

мократических партий, занимавших ранее выжидательную и колеблющуюся позицию, теперь, под влиянием событий и роста движения народных масс, присоединилась к Отечественному фронту. В августе 1943 г. был создан Национальный комитет Отечественного фронта, в который вошли представители БРП, группы «Звено», левого крыла Земледельческого союза и левого крыла социал-демократической партии. В 1943 г. возникло 140 новых комитетов Отечественного фронта на местах, а к сентябрю 1944 г. их число достигло уже 670.

Большую роль в развертывании движения Сопротивления в Болгарии сыграло принятое в январе 1944 г. решение ЦК БРП о массовой мобилизации коммунистов и комсомольцев в партизанские отряды и боевые группы в целях непосредственной подготовки к всенародному вооруженному восстанию.

Фашистские власти пытались утопить в крови народно-освободительное движение. В период второй мировой войны погибло около 30 тыс. партизан и других деятелей антифашистской борьбы. Несмотря на тяжелые потери, партизанская народно-освободительная армия не только сумела сохранить свои основные силы, но с каждым днем увеличивала их. Во всей стране существовало 11 партизанских бригад и 37 отрядов, насчитывавших 18 300 партизан и партизанок. Кроме того, в местные боевые группы входило 12 300 человек. За этой более чем 30-тысячной армией вооруженных бойцов стояли многие десятки тысяч активных участников и сторонников народно-освободительного движения. Всего в партизанские отряды, в боевые группы и в число их активных сторонников (так называемых ятков) входило около 200 тыс. болгарских патриотов. Начиная с июля-августа 1944 г., в некоторых районах страны партизанские соединения фактически устанавливали народную власть на более или менее длительный период, с успехом отражая нападения правительственных войск.

Подводя итоги развития движения Сопротивления на третьем этапе, следует сделать следующие выводы:

Разгром Советской Армией немецко-фашистских войск на советско-германском фронте и развертывание массовой национально-освободительной борьбы поработенных народов против немецко-фашистских захватчиков привели фашистский «новый порядок» в Европе в состояние глубочайшего кризиса. Кровавый оккупационный режим оказался накануне краха.

В обстановке кризиса фашистского «нового порядка» в Европе и приближения полного разгрома фашизма перед славянскими народами, как и перед другими народами стран, поработенных германским фашизмом, во всей остроте встал вопрос о характере возрождавшихся национальных государств, о том, кому будет принадлежать власть. Широчайшие народные массы не хотели слышать о восстановлении довоенных порядков. Они не хотели

жить по-старому и стремились к демократическому переустройству своих государств.

Если народные массы не хотели жить по-старому, то буржуазия не могла восстановить прежние порядки, не могла управлять по-старому. Налицо были все объективные предпосылки для победы народной революции. Однако одних объективных условий было недостаточно. История знает немало примеров, когда имелись все объективные предпосылки, но революция не побеждала. Нужны были еще и субъективные факторы. И эта сторона революционной ситуации была полностью обеспечена.

Национально-освободительная борьба не могла развиваться и перерасти в глубочайшую народную революцию, если бы во главе ее с самого начала не встал рабочий класс — самый передовой и революционный класс современного общества.

Надежным союзником рабочего класса выступало крестьянство. Крестьянские массы были заинтересованы в освобождении от гнета немецко-фашистских захватчиков, в завоевании демократических свобод и разрешении аграрного вопроса, т. е. в уничтожении помещичьего землевладения и полуфеодалальных пережитков, экономической основой которых являлось помещичье землевладение. Осуществить свои чаяния крестьянство могло только в союзе с рабочим классом. Классовые интересы крестьянства привели к тому, что в ходе национально-освободительной борьбы союз рабочего класса с крестьянством расширился и окреп. Он и явился основой широкого антифашистского национального фронта, объединившего в своих рядах все патриотические и демократические силы народа.

Организатором и руководителем народно-демократических революций являлись испытанные в боях и доказавшие свою преданность народу коммунистические и рабочие партии. Важнейшим условием победы народно-демократических революций явилось создание широкого антифашистского народного фронта. Антифашистский народный фронт представлял собой ту громадную силу, в которой концентрировалась воля и энергия широких масс в борьбе с поработителями. Развитие антифашистского народного фронта означало дальнейшее изменение в соотношении борющихся классовых сил в пользу демократии.

В ходе национально-освободительной борьбы были созданы вооруженные силы революции.

Четвертый, заключительный этап движения Сопротивления

После освобождения советской земли от немецко-фашистских захватчиков Советская Армия приступила к освобождению поработенных германским фашизмом народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Продвигаясь на запад, она завершала разгром германского фашизма, создавала благоприят-

ные внешние условия для победы народно-демократических революций.

Внешние условия всегда играли важную, а иногда и решающую роль для победы революции. История знает немало примеров, когда революции терпели поражение ввиду отсутствия благоприятных внешних условий.

Революционная ситуация, революционный кризис возникли не только в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, но также в Греции и ряде стран Западной Европы. Однако революции не победили ни в Греции, ни в странах Западной Европы, оккупированных американскими и английскими войсками.

Советская Армия, освободив страны Центральной и Юго-Восточной Европы, помогла народам этих стран добиться подлинной национальной независимости, облегчила трудящимся массам завоевание политической власти и проведение коренных социально-экономических преобразований. Советский Союз не вмешивался во внутренние дела государств, освобожденных Советской Армией от немецко-фашистских захватчиков. Но сам факт присутствия Советской Армии, как армии социалистического государства, оказал большое влияние на подъем революционного энтузиазма народных масс. В то же время присутствие Советской Армии сковывало контрреволюционную деятельность реакционных сил, помешало внутренней реакции этих стран развязать гражданскую войну, а англо-американским империалистам — организовать военную интервенцию с целью восстановления реакционных порядков в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Первой славянской страной, к освобождению которой приступила Советская Армия, была Польша. Вместе с Советской Армией на территорию Польши вступила Первая Польская армия, созданная на территории СССР Союзом польских патриотов.

21 июля 1944 г. Крайова Рада Народова создала на освобожденной территории Польский комитет национального освобождения (ПКНО). В его состав вошли представители всех демократических партий, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками (Польская рабочая партия, Польская социалистическая партия, Стронництво людове и Стронництво демократичне). КРН объединила Армию Людову и Польскую армию, созданную в СССР, в единое Польское Войско и приняла на себя верховную власть над вооруженными силами.

С созданием ПКНО власть в Польше сосредоточивалась в руках трудящихся и действовала в интересах трудящихся.

22 июля 1944 г. Польский Комитет Национального освобождения опубликовал Манифест «К польскому народу». В этом документе было выдвинуто требование о возвращении Польше ее исконных земель на западе и севере. Основой внешней политики были провозглашены союз и дружба с СССР и другими сла-

вянскими народами, со всеми свободолюбивыми народами мира. ПКНО провозгласил и гарантировал все демократические свободы, приступил к проведению мероприятий по улучшению положения трудящихся масс города и деревни, ввел социальное обеспечение, новое трудовое законодательство в интересах рабочего класса, упразднил фашистскую конституцию Польши 1935 г. и все гитлеровские законы. Одним из важнейших мероприятий ПКНО был закон об аграрной реформе, принятый в сентябре 1944 г.

По мере освобождения страны в государственное управление переходили предприятия, являвшиеся собственностью немецко-фашистских оккупантов и брошенные владельцами, бежавшими вместе с оккупантами.

К весне 1945 г. вся территория современной Польши была освобождена. В стране установилась народно-демократическая власть. ПКНО был преобразован во Временное правительство.

В августе 1944 г. Советская Армия нанесла сокрушительный удар по гитлеровским войскам в районе Кишинев—Яссы и вступила на Балканы. Гитлеровские войска в Болгарии, спасаясь от окружения и полного разгрома Советской Армией, спешно эвакуировались из страны. Опиравшаяся на гитлеровские штыки монархо-фашистская власть переживала кризис. Стремясь обмануть болгарский народ и расколоть силы Отечественного фронта, правительство объявило о намерении провести «социальные и аграрные реформы», провозгласило «полный нейтралитет». Подготавливая замену германской оккупации страны англо-американской, оно начало тайные переговоры с представителями Англии и США о перемирии.

Продвижение Советской Армии к границам Болгарии растрило эти планы и послужило новым мощным толчком к подъему освободительной борьбы народных масс. Объявление Советским Союзом войны правящей клике Болгарии, продолжавшей оказывать содействие гитлеровцам, привело к созданию большого перевеса в пользу революционных сил в стране. Борьба рабочего класса и всех трудящихся против капитализма слилась с борьбой всего народа против фашизма и империализма, за национальное освобождение. 9 сентября 1944 г. началось массовое народное вооруженное восстание. Под руководством Рабочей партии, силами партизанских соединений, боевых групп и присоединившихся к ним частей болгарской армии, при активном участии широких масс трудящихся фашистский режим в Болгарии был свергнут.

Победив при помощи героической Советской Армии, восстание 9 сентября открыло путь к построению социализма в Болгарии. Государственная власть была вырвана из рук крупного монополистического капитала и перешла в руки подавляющего большинства народа, трудящихся города и деревни при руководящей

роли рабочего класса. С установлением народно-демократической власти в болгарском движении Сопротивления начался новый этап — участие в войне на стороне антигитлеровской коалиции.

В апреле 1944 г. Советская Армия и сражавшийся с ней бок о бок чехословацкий корпус вышли к довоенной советско-чехословацкой границе. Этот факт имел крупнейшее значение для судеб национально-освободительного движения в Чехословакии. В конце августа 1944 г. в Словакии началось народное восстание, положившее начало национально-демократической революции в Чехословакии.

Решающую роль в развертывании народного восстания сыграли словацкие партизаны, местные организации компартии и национальные комитеты. Власть в средней Словакии перешла к Словацкому Национальному Совету. Примкнувшая к движению Сопротивления часть словацкой буржуазии и лондонское эмигрантское правительство Чехословакии стремились осуществить переворот без участия народных масс и тем ослабляли силы повстанцев. Словацкое народное восстание сыграло большую роль в жизни народов Чехословакии, в борьбе за восстановление единого государства чехов и словаков на новой, подлинно демократической основе.

В освобожденных районах, центром которых явилась Банска Быстрица, были проведены в жизнь крупные демократические преобразования. В течение двух месяцев восставший народ удерживал власть в своих руках. Вместе с партизанами сражалась парашютно-десантная бригада Чехословацкого армейского корпуса, созданного на территории СССР. Однако перед лицом превосходящих сил немецко-фашистских войск участникам словацкого восстания не удалось удержать своих позиций до прихода Советской Армии. Они были вынуждены уйти в горы.

Временное поражение Словацкого восстания не только не сказалось на размахе движения Сопротивления, а, наоборот, послужило толчком для нового развития массовой вооруженной борьбы чешского и словацкого народов.

Советские войска и Чехословацкий армейский корпус развили наступление через Карпаты и Дукельский перевал. Этим было положено начало освобождения Чехословакии. В движении Сопротивления победила демократическая линия. В обстановке революционного кризиса эмигрантское правительство, чтобы окончательно не лишиться власти, в марте 1945 г. вступило в переговоры с КПЧ. Бенеш и его видные сторонники прибыли в Москву. В результате переговоров взамен буржуазного эмигрантского правительства было создано правительство Национального фронта чехов и словаков. Впервые в истории Чехословакии в состав правительства вошли коммунисты. 5 апреля 1945 г. правительство утвердило программу, подготовленную Коммунистической партией Чехословакии, известную под названием Кошицкой.

Кошицкая программа получила полную поддержку народа. На территориях Чехословакии, еще находившихся под гнетом немецко-фашистских захватчиков, назревало новое всенародное восстание.

В конце апреля—начале мая 1945 г. чешский народ поднял восстание, срывая попытки фашистского командования затянуть окончание войны. Главным центром восстания была Прага. С 5 по 9 мая шел непрерывный бой на улицах чехословацкой столицы. 9 мая на помощь повстанцам прорвались советские войска. Последние остатки фашистской армии капитулировали.

Приближалось окончательное освобождение Югославии. Все возрастающую и разностороннюю помощь югославские народы получали от Советского Союза.

Западным державам пришлось учитывать действительное соотношение сил в Югославии. В начале января 1944 г. английское правительство вступило в переговоры с руководством НКОЮ. Народно-освободительное движение в Югославии, которое с самого начала поддерживалось Советским Союзом, завоевало, наконец, и признание союзников. Однако США не прекратили помощи четникам и до конца войны снабжали их оружием, снаряжением, продовольствием, деньгами.

Весной 1944 г., когда фронт Советской Армии приблизился к Югославии, активность НОАЮ и партизанских отрядов возросла. Фашистское командование, считая действия партизан особенно опасными в связи с приближением Советской Армии к Балканам, а также возможностью высадки войск союзников на югославском побережье Адриатики, решило нанести мощный удар в районе г. Дрвар (Боснийская Крайна), где находился Верховный штаб НОАЮ, а также руководство КПЮ, АВНОЮ, НКОЮ. Но попытка гитлеровцев обезглавить народно-освободительное движение не удалась. Седьмое наступление гитлеровцев, как и предыдущие, не достигло цели.

Однако осенью 1944 г. гитлеровцы располагали еще крупными силами в Югославии и держали под своим контролем значительную территорию и важные стратегические пункты.

После освобождения Румынии и Болгарии Советская Армия, по соглашению с НКОЮ, вступила на территорию Югославии и, действуя совместно с НОАЮ, освободила Восточную Сербию и Белград.

Югославский народ был глубоко благодарен Советскому Союзу за братскую помощь в деле освобождения Югославии от фашистских оккупантов. В боях за свободу и независимость Югославии приняли участие войска народно-демократической Болгарии.

2 ноября 1944 г. в освобожденном Белграде было достигнуто соглашение, предусматривавшее образование единого югославского правительства из представителей НКОЮ и эмигрантского

правительства, из которого еще ранее были удалены Михайлович и другие предатели. Это соглашение отвечало интересам объединения демократических сил страны. Однако король Петр II пытался сорвать это соглашение. Его попытки не имели успеха. Народная власть, располагая поддержкой подавляющего большинства населения и надежной армией, уверенно шла на решительную борьбу с реакцией и сломила ее сопротивление.

7 марта 1945 г. было сформировано Временное народное правительство Демократической Федеративной Югославии. Образование единого югославского правительства на базе НКЮ явилось победой народно-освободительного движения, добившегося международного признания новой Югославии.

К 15 мая 1945 г. Югославская армия полностью завершила освобождение всей территории Югославии.

* * *

Движение Сопротивления немецко-фашистским захватчикам в славянских странах в годы второй мировой войны приобрело широкий всенародный характер. Славянские народы были мощным отрядом общеевропейского движения Сопротивления. В движении Сопротивления с особой силой проявилась решающая роль народных масс в историческом развитии, в частности, в их влиянии на ход второй мировой войны.

Во главе народных масс, боровшихся с фашизмом, выступал рабочий класс и его авангард — коммунистические партии. Он придал движению Сопротивления организованный и целеустремленный характер. В движении Сопротивления участвовала также часть средней буржуазии. Но ее непоследовательная, подчас пагубная политика тормозила развитие движения Сопротивления.

Избавлением от фашистского рабства славянские народы обязаны прежде всего Советскому Союзу, который вынес на своих плечах основную тяжесть войны с фашизмом.

Победа антифашистского движения Сопротивления имела историческое значение для решения национального вопроса в славянских странах.

Антифашистское движение Сопротивления переросло в народные революции, завершившиеся установлением народно-демократической власти. Установление народно-демократической власти не является чем-то внесенным извне. Это — неизбежный органический процесс завершения национально-освободительной борьбы славянских народов.

Важной особенностью движения Сопротивления славянских народов в годы второй мировой войны было участие в национальных организациях Сопротивления представителей многих народов.

Общность целей борьбы и дружба, укреплявшаяся в совместной борьбе, как никогда сблизили славянские народы. Ныне славянские народы входят в братскую семью социалистических стран, идущих по пути к светлому будущему — коммунизму.

LES ÉTAPES PRINCIPALES DU MOUVEMENT ANTIFASCISTE DE RÉSISTANCE AUX PAYS SLAVES PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

R é s u m é

En examinant les étapes principales de la lutte des peuples slaves contre les envahisseurs fascistes au cours de la seconde guerre mondiale les auteurs partent du fait que le mouvement de résistance réalisé dans tous les pays slaves était une partie intégrante de la lutte générale des forces progressives du monde contre le fascisme et la réaction. L'Union Soviétique se trouvait au centre de ces forces progressives. Le mouvement antifasciste de Résistance a joué un rôle extrêmement important dans la victoire sur le fascisme et le militarisme allemand. Il a laissé son empreinte sur le caractère et le développement de la seconde guerre mondiale, il a muni les masses populaires d'une riche expérience de la lutte pour l'indépendance nationale, la démocratie et la libération sociale. On peut diviser le mouvement de libération nationale des peuples slaves pendant la seconde guerre mondiale en quatre étapes qui sont étroitement liées avec les périodes de la Grande Guerre Nationale de l'Union Soviétique, qui a joué un rôle déterminant dans l'écrasement de l'Allemagne hitlérienne et dans la libération des peuples qui se trouvaient sous le joug des occupants fascistes.

La première étape commence avec le début de la seconde guerre mondiale et se termine avec le moment de la perfide agression de l'Allemagne hitlérienne contre l'URSS. En ce temps l'élan du mouvement antifasciste de Résistance dans les pays slaves comme d'ailleurs dans tous les autres pays de l'Europe était encore très modéré et ce mouvement restait en grande partie isolé et spontané. La perspective de la libération des peuples du joug fasciste ne se dessinait pas encore assez nettement. Pendant cette période les forces antifascistes se rassemblaient, les formes et les méthodes de la lutte, étaient encore en état de recherche, les premières organisations clandestines de la Résistance se formaient dans le sous-sol antifasciste des pays slaves occupés, on luttait avant tout contre les cliques traîtresses qui visaient l'union avec Hitler et la collaboration avec les occupants.

La seconde étape commença avec l'entrée de l'Union Soviétique dans la lutte contre les agresseurs fascistes et continuait jusqu'au tournant radical dans la marche de la guerre après la défaite des

armées hitlériennes au Volga. A cette étape la lutte contre les envahisseurs dans tous les pays slaves est devenue beaucoup plus intensive et mieux organisée. Dans divers pays on peut mentionner des traits communs de la lutte de cette période ainsi que des particularités du mouvement national de Résistance.

La troisième étape embrasse la période depuis le tournant radical dans la marche de la guerre et jusqu'au rapprochement de l'Armée Soviétique de la frontière d'ouest de L'URSS — ce qui signifiait le commencement de la libération des pays de l'Europe centrale et l'Europe du sud-ouest de l'occupation fasciste. A cette période la lutte antifasciste aux pays slaves est devenue vraiment nationale. Les grandes victoires de l'Armée Soviétique avanta-geaient la lutte des patriotes dans les pays occupés et inspiraient le développement du mouvement de libération nationale. Pendant cette période le mouvement des partisans dans tous les pays slaves jouait un rôle décisif, les fronts nationaux étaient formés et les organes nouveaux du pouvoir du peuple créés. A cette étape finale de la guerre en Europe le mouvement antifasciste de Résistance aux pays slaves a atteint le point culminant et s'est transformé en révolutions populaires qui avaient pour résultat l'installation du régime de démocratie populaire dans ces pays.

Les grandes victoires de la coalition antihitlérienne sur les armées fascistes à l'est et à l'ouest ont abouti au changement de la corrélation des forces sur l'arène internationale en faveur de la démocratie. Des conditions favorables pour le développement ultérieur de la société humaine vers la paix et le progrès social ont été créées.

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V. *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь 1963)

В. А. Александров, С. А. Токарев

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНСКОЙ ЭТНОГРАФИИ

На IV Международном съезде славистов (Москва, 1958 г.) вопросы этнографии славянских народов не занимали подобающего им почетного места. Однако было сочтено необходимым «шире привлечь к участию в будущем съезде археологов и этнографов, поставив доклады об итогах исследования важнейших археологических культур, связанных со славянским этногенезом», и создать специальную фольклорно-этнографическую секцию на очередном V съезде славистов¹. Это решение было правильным. Ввиду той крупной роли, какую играли и играют славянские народы в жизни и культуре народов Европы и всего мира, их изучение чрезвычайно важно для понимания многих вопросов истории и общэтнографических вопросов.

Хотя этнографическое изучение славянских народов имеет большую историю, обобщающих трудов по славянской этнографии до сих пор написано, к сожалению, мало, что создает существенные трудности для дальнейшего развития славистики в целом. Славянская этнография сильно отстала от славянского языкознания и филологии, от славянской археологии, от изучения политической истории славянских народов. Это отставание наглядно проявилось на том же IV Международном съезде славистов, где этнографическая тематика почти отсутствовала.

Это недопустимое отставание необходимо как можно быстрее преодолеть. К настоящему времени в области изучения славянских народов не только накопился большой фактический материал, достаточный для широких обобщений, но и назрела постановка больших и принципиальных проблем этнографического или историко-этнографического характера.

¹ IV Международный съезд славистов. Отчет, М., 1960, стр. 79, 83.

Славянская этнография — это не просто сумма материалов и выводов из этнографического изучения отдельных славянских народов. Каждый из славянских народов изучается (и должен изучаться, конечно) и сам по себе; эту работу с большим успехом выполняют этнографы в каждой стране. Славянская этнография, как особая отрасль науки, имеет перед собой более широкий горизонт исследования: отправляясь от изучения отдельных народов, она ставит общие проблемы, решая их методом сравнительного историко-этнографического исследования.

Таковы проблемы этнической, исторической, культурной общности славян, их культурно-общественных связей между собой и с другими соседними им народами, исследования специфических черт этнического развития славянских народов, обусловленных общностью их происхождения и своеобразием их исторических судеб.

Следует прибавить, что изучение славянской этнографии имеет помимо специфически «славяноведческого» и более широкий общеисторический аспект. У славянских народов — как и у многих неславянских, конечно, — в силу особых исторических условий еще недавно сохранялись некоторые архаические черты в общественном укладе, в быту и культуре, изучение которых имеет большое значение для понимания общеисторических закономерностей развития человечества.

Речь идет прежде всего о проблемах патриархально-родового строя, большой семьи-задруги, сельской общины, племенного быта и пр. Изучение этих и других архаических форм семейного и общественного быта у славян уже дало и несомненно даст еще немало ценного фактического материала для разработки марксистского учения о докапиталистических общественных формированиях.

Расширение цикла общеславянских историко-этнографических проблем в программе работ V Международного съезда славистов поведет не только к их творческому обсуждению и к укреплению международных научных контактов, но, как надеются советские этнографы, поможет на последующих съездах ставить вопросы славистики в объеме, отражающем всю область гуманитарных знаний о славянстве в прошлом и настоящем.

Выдвигая на обсуждение V Международного съезда славистов настоящий доклад, авторы его считают нужным выделить две основные группы проблем, каждая из которых содержит в свою очередь ряд более частных вопросов, требующих пристального внимания и изучения. Такими, тесно связанными друг с другом, проблемами следует признать следующие: этногенез и этническая история славянских народов; этнические, культурные и бытовые изменения у славянских народов в современных условиях.

Вопрос о происхождении славянских народов отнюдь не нов в славистике, и по нему имеется весьма обширная литература. Но вопрос этот решался и решается в большинстве случаев односторонне.

Прежде всего должен быть поставлен вопрос о самом характере славянской общности: что такое славянская группа народов, какого рода общность она представляет?

Не подлежит сомнению языковая общность славянских народов. Тесное родство славянских языков давно установлено, и проблема их происхождения сравнительно хорошо изучена (Шахматов, Соболевский, Фасмер, Мейе, Лер-Сплавинский, Георгиев и др.). Археологами обстоятельно и на обширном пространстве изучены славянские древности (Нидерле, Костшевский, Рыбаков, Арциховский, Третьяков, Федоров и др.). Сейчас можно считать довольно хорошо установленными исторические взаимоотношения и взаимосвязи древних культур на занимаемой славянами территории, притом на большом протяжении времени — от эпохи неолита вплоть до раннего средневековья, до появления исторических славянских племен.

Сравнительно неплохо исследованы также палеоантропологические материалы, позволяющие судить о происхождении и изменениях тех антропологических типов, которые ныне представлены среди славян. Утверждения об антропологической (расовой) общности славян, делавшиеся не раз, бесспорно ошибочны, и понятие «славянская раса», несмотря на недавние попытки оживить его, может считаться ныне окончательно отброшенным. В этом большая заслуга прежде всего крупного чешского ученого Любора Нидерле, хорошо показавшего разнообразие антропологических типов не только среди нынешних славян, но и по данным палеоантропологии. Многие сделали для критики лженаучного понятия «славянская раса» советские антропологи Дебец, Трофимова, Чебоксаров.

Подробно изучены сведения, заключающиеся в письменных источниках о древних славянах, об их предшественниках и возможных предках от эпохи Геродота, если не ранее (Нидерле, Удальцов и др.). Много писали о духовной общности славян, идее солидарности, основанной на единстве происхождения или близости исторических судеб. Историческая солидарность интересов славянских народов в их борьбе против общих врагов в прошлом — против татаро-монголов и турок на востоке, против феодально-немецкой агрессии на западе — не один раз сплачивала их для дружного отпора.

Тем не менее все это еще не дает достаточных оснований для полного решения вопроса о происхождении самих славянских

народов; и это происходит в значительной степени потому, что этнографическое изучение проблемы этногенеза славян сильно отстало.

Когда мы говорим о происхождении народа или группы народов, т. е. об историческом формировании той или иной этнической общности, мы должны иметь в виду не только генетическую общность языка, не только преемственность названий народов на какой-то определенной территории, либо последовательность археологических культур на ней же, и тем более наличие тех или иных расовых типов среди данной популяции, а прежде всего нужно учитывать образование определенного этнического, а значит и культурного облика интересующего нас народа или группы народов. Когда, как, где, в каких условиях возникли свойственные этим народам формы материального производства, характерные для них особенности материальной культуры (поселения, постройки, одежда и пр.), особенности духовной культуры (верования, обряды и обычаи, фольклор, народная музыка, орнамент и т. п.)? Вот вопросы, без решения которых нельзя считать ясными этногенетические проблемы.

* *
*

Вопрос о культурном единстве славянских народов сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Попытки его решить делались в науке давно, но все они не имели и не могли иметь характера исследований, обобщающих весь комплекс необходимого, разностороннего материала.

Еще в 1837 г. О. Бодянский в небольшой книжке «О народной поэзии славянских племен» попробовал поставить вопрос о культурной общности славян на одном частном примере — материале фольклора и народной музыки. Его выводы, не бесспорные и тогда, сейчас устарели. В те же годы (1837—1842) крупный чешский ученый Шафарик издал большие сводные работы, посвященные историко-этнографическому обзору славянских народов («Славянские древности», «Славянское народоведение»). В середине XIX в. исследователи древних верований и мифологии славянских народов (Срезневский, Афанасьев, Буслаев, Фаминцын и др.) много сделали для выявления общих черт в культурном наследии славян в этой довольно обширной области. Достаточно назвать капитальный труд А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (тт. 1—3, 1865—1869) — труд для того времени классический. Но исследования этих ученых, сторонников устаревшей «мифологической» школы конечно, и с методологической, и с чисто фактической стороны не могут нас теперь удовлетворить. В 1867 г. вышло интересное исследование П. Лавровского о коренном значении в названиях родства у сла-

вян. В более близкое к нам время появились сравнительно-этнографические исследования отдельных ученых на ограниченные темы, ставившие перед собой ту же цель — найти черты сходства и различия в тех или иных явлениях культуры у разных славянских народов: работа Пипрека о славянских свадебных обычаях (1914), Зибрта — об обрядах «вынесения смерти», о поверьях, касающихся домашних духов, этюды Копержинского об обрядах «обжинок» у славянских народов (1926), Богатырева о распространении обычая «полазника» (1932), Карамана об обряде колдования у славян и румын (1933) и др.

Капитальная работа, содержащая огромный фактический материал и призванная внести большой вклад в дело изучения исторической культурной общности славянских народов, — исследование Казимира Мошиньского «Народная культура славян» (1929—1939), к сожалению, не была завершена. Поэтому проблема культурной общности славян, несмотря на ряд ценных опытов изучения ее, и в наши дни еще ждет своих исследователей. Это — одна из нерешенных и самых сложных проблем славянской этнографии.

Гораздо богаче славянская этнография исследованиями, которые охватывают не все, а отдельные группы славянских народов, например, южных или восточных славян. Достаточно вспомнить ряд обобщающих работ Д. К. Зеленина по восточнославянской этнографии — «Очерки русской мифологии» (1916), «Ostslavische Volkskunde» (1927) и др., или ценные исследования Бломквист, Масловой, Лебедевой по отдельным сторонам материальной культуры восточных славян (опубликованы в «Восточнославянском этнографическом сборнике», 1958). По южным славянам огромное значение имели историко-этнографические и «антрополографические» труды видного сербского исследователя Йована Цвиича, особенно «Балканско полуострво» (1918—1922), а также многочисленные работы его учеников и последователей. Очень большой интерес представляют исследования хорватского этнографа Бранимира Братанича в области типологии земледельческих орудий, преимущественно у южных славян, но частью и на более широком историко-этнографическом фоне: «Ogacé sprave kod Hrvata» (1939), «Ogacé sprave centralnog dijela Balkanskog poluotoka» (1953) и др. Эти работы проливают новый свет на исторические связи между южными славянами и другими народами. Из обобщающих работ особенно выделяются некоторые труды югославских этнографов: «Этнология народов Югославии» (Дробнякович, 1960), «Обзор материальной культуры южных славян» (Гарашанин и Ковачевич, 1950) и др.

Но сличение общих черт культуры, прослеживаемых у нескольких славянских народов, может дать только исходный материал для более широких обобщений. Сложность решения проблемы культурной общности славян в целом заключается в необ-

ходимости изучения комплексов традиционных элементов культуры, строгого установления времени их происхождения и систематического сопоставления их с аналогичными явлениями культуры у других народов, исторически или географически близких. В такие историко-этнографические комплексы должны входить основные элементы материальной культуры, отчасти традиционные формы общественных отношений и элементы духовной культуры.

В материальной культуре наиболее существенными представляются: поселение и жилище (типология и строительная техника), народная одежда, сельскохозяйственные орудия, пища и утварь. Достаточно напомнить, что в народном жилище, в особенности во внутренней его планировке, в строительной технике, в обрядах, связанных с постройкой жилища, и в традиционной одежде прослеживаются очень древние признаки, связанные, быть может, с эпохой общеславянской общности.

В области духовной культуры перед славянской этнографией стоят не менее сложные задачи: изучение наследия дохристианских представлений славянских племен (культы и божества), народного сельскохозяйственного календаря (см. исследование В. И. Чичерова «Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI—XIX вв.», 1957), народного искусства, в частности орнамента, сохранившего в своих сюжетах и мотивах глубоко архаичные черты, народного исполнительства (кобзари, певцы, сказители, скоморохи и проч.). Сравнительное изучение этих материалов поможет вскрыть смысл многих теперь забытых или полузабытых обрядов, верований и обычаев, имеющих большое познавательное значение в связи с вопросами этногенеза славянских народов.

Особенно благодарной задачей является сравнительно-историческое изучение фольклора славянских народов. Сопоставления славянского фольклора с фольклором других народов делались уже давно, но в подавляющем большинстве работ, компаративистских по своему методу, вопрос ставился лишь о заимствованиях (частью мнимых и без какого-либо обоснования их) то с Запада, то с Востока. Для сопоставления брались в основном сюжеты и мотивы сказок, героического эпоса и баллад.

В настоящее время сравнительное изучение ставится на строго историческую почву. Ряд работ в этом направлении уже ведется, частично они получили отражение и в докладах на прошлом IV конгрессе славистов². Особенно важное методологическое зна-

² П. Г. Богатырев. Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славянских народов, IV Международный съезд славистов. Доклады. М., 1958; Цв. Романска-Вранска. Общи особености на българските и сръбските хайдушки песни. Славистичен сборник, т. II (Литературознание и фольклор). София, 1958.

чение имел доклад В. М. Жирмунского³. В. М. Жирмунский показал, что параллели, приводимые в доказательство заимствования сюжетов и мотивов славянского эпоса, или неосновательны, или же сходство между ними историко-типологическое, возникшее благодаря сходству исторических и бытовых условий.

Для этнографов очень важно выявить путем историко-сравнительного анализа те элементы народного творчества, которые восходят еще к периоду славянской общности и на основе которых развился потом фольклор отдельных славянских народов. Выявление таких элементов даст существенный материал для изучения этногенеза славян, их древнейших социальных институтов, представлений и верований. Понятно, что для выяснения этих вопросов нельзя ограничиваться сопоставлениями только сказок и исторических песенных жанров, как это чаще делается до сих пор, а надо исследовать все жанры, и, в частности, обрядовую поэзию, которая особенно много может дать для выяснения древнейших воззрений славян и их бытовых отношений. Эти представления нередко сохраняются в форме художественного образа, параллелизма, сравнения, метафоры и пр. (так, у всех славянских народов сохранился поэтический образ девушки-лебедя; вилы, связанный своим происхождением с древнейшими верованиями, уподобление смерть—свадьба и пр.). Поэтому сравнительно-историческому изучению должны быть подвергнуты и художественные особенности славянского фольклора, его образность.

Сравнительно-историческое изучение важно и для фольклора более поздних эпох, оно должно помочь установить общие закономерности развития фольклора и ярче выявить национальную специфику фольклора и историко-культурные связи славянских народов между собой и их соседями (в фольклоре, например, как и в других областях духовной и материальной культуры стоит проблема «балканской общности»). Все сказанное относится и к музыкальному фольклору славянских народов, сравнительно-историческое изучение которого может много дать и этнографам и фольклористам.

* *
*

На IV Международном съезде славистов был поставлен вопрос о подготовке общеславянского этнографического атласа. Это предложение основывалось на уже проводимых в некоторых странах работах по составлению национальных атласов (СССР, Польша). На настоящий съезд советскими этнографами выдвинут специальный доклад, посвященный проблематике и методике работы по составлению историко-этнографических атласов, в частности атласа

³ В. М. Ж и р м у н с к и й. Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса. IV Международный съезд славистов. Доклады. М., 1959.

русского народа, три выпуска которого (техника земледелия, жилище, одежда) завершены. Польские этнографы успешно работают над составлением польского этнографического атласа. Аналогичная работа начата этнографами Югославии. Тематическое картографирование, как метод систематизации многообразного этнографического материала в его исторической динамике, с учетом всех факторов экономической жизни народов и природной среды, представляется важнейшей частью работы по созданию обобщающих трудов по славянской этнографии. Ведь если самый отбор объектов этнографического картографирования произведен обдуманно, то картина пространственного распределения явлений культуры может очень многое прояснить в исторических связях между народами.

Само собой разумеется, что при создании историко-этнографического атласа, охватывающего славянские страны и народы, нельзя изолировать их искусственно от соседей. Такая изоляция представила бы в искаженном виде реальные культурно-исторические связи: ведь хорошо известно, что в культуре румын, венгров, греков, албанцев, австрийцев и других народов — множество черт, общих с славянскими соседями. Чтобы разобраться научно в этих связях, их надо прежде всего наглядно представить, т. е. картографировать. Таким образом, историко-этнографический атлас славянских народов должен непременно включать в себя и данные о соседних народах.

Следует надеяться, что работа V Международного съезда славистов в этой области послужит серьезным стимулом к плодотворному продолжению начинаний предшествующего съезда, значение которого для славянской этнографии трудно переоценить.

* *
*

Исследование поднятых выше проблем и картографирование, как один из важнейших методов систематизации, позволят также в значительной мере разрешить длительные споры, касающиеся группировки и классификации современных славянских народов, этнических границ и территорий отдельных народов. До последнего времени эти вопросы осложнялись привходящими, ненаучными мотивами. Многие буржуазные этнографы, лингвисты и публицисты защищали одни положения и оспаривали другие, руководствуясь в значительной степени тенденциозными политическими соображениями, хотя, быть может, и не всегда сами это сознавали и, во всяком случае, никогда в этом прямо не признавались. Так, даже очевидное, казалось бы, установленное со времен Востокова и Палацкого, деление славянских народов на три ветви — восточную, западную и южную — до сих пор не всеми признается; оно ожесточенно оспаривается украинскими буржуаз-

ными националистами (Смаль-Стоцкий и др.), которые и слышать не хотят о каком-либо ближайшем родстве между украинским и русским народами, а поэтому отрицают реальное существование восточнославянской ветви языков и народов. Некоторые оспаривали единство западнославянской группы, предлагая заменить ее двумя или даже тремя-четырьмя группами. В XIX в. многие придерживались деления всех славянских народов на две группы, но и эти группы выглядели неодинаково у Добровского—Шафарика и у Копитара—Миклошича.

Хотя в настоящее время подавляющее большинство лингвистов и других ученых признает реальность деления славянских языков и народов именно на три ветви («трипартиция»), но группировка их внутри каждой из этих трех ветвей до сих пор вызывает споры и, пожалуй, еще более острые, чем спор относительно «трипартиции», «бипартиции» и т. п.

С проблемой этнических группировок тесно связан вопрос об этнических границах и территориях. На протяжении многих десятилетий, даже веков, они составляли нередко причину или повод для ожесточенной политической борьбы, сплошь и рядом решаемой силой оружия. Предметом борьбы долгое время были неясные, чрезвычайно запутанные или размытые этнические границы между отдельными славянскими народами. Нет необходимости сейчас говорить об этих общеизвестных спорах и конфликтах, в большинстве случаев решенных историей.

Еще более острый характер принимали в недавнем прошлом споры об этнических границах между славянами и их неславянскими соседями: об этнических границах польско-литовской, польско-немецкой, чешско-немецкой, словацко-венгерской, словенско-австрийской (в Каринтии), словенско-итальянской (в Юлийской Крайне), хорватско-итальянской (в Истрии и Далмации), сербо-албанской, македоно-греческой, болгаро-греческой, болгаро-турецкой (во Фракии), болгаро-румынской (в Добрудже).



Влияние славянских народов на соседей (венгров, румын, албанцев и др.), представляющее во многих случаях очевидный исторический факт, изучено до сих пор далеко не достаточно. Слабо изучено и обратное влияние. Несомненно, что народная культура венгров, румын-валахов и молдаван, греков, албанцев развивалась еще в раннее средневековье под сильнейшим, прогрессивным воздействием соседних славянских народностей. Это воздействие было тем более сильным, что сам этнический состав названных народов (особенно венгров, румын, греков) складывался при большом участии славянского элемента.

Немногим менее сильным было и культурное влияние славян на северных и восточных соседей. Бесспорно огромное влияние русского народа на хозяйство и культуру финно-угорских и тюркских народов, связи с которыми прослеживаются задолго до образования Русского государства и их вхождения в состав этого государства. Но культурный вклад этих соседей в этническое развитие русского, украинского народов весьма слабо изучен.

Наиболее сложен вопрос о культурном влиянии славян на их западных соседей — германцев и итальянцев. Это влияние тоже существовало, но оно почти совершенно не изучено. Поэтому и обратное влияние, то, которое славяне испытывали со стороны своих западных соседей, освещается часто очень односторонне, и многое здесь тоже остается неясным. Например, в немецкой националистической литературе безмерно преувеличивалось культурное воздействие германцев на славян, и многие черты общности между теми и другими объявлялись результатом именно такого воздействия; иного объяснения любых черт общности просто-напросто не допускалось. Серьезное научное исследование должно установить пределы действительного влияния германцев на славян и обратного влияния — славян на германцев.

Что касается вклада славянских народов в мировую культуру, то в области науки, литературы, профессионального искусства оно бесспорно огромно и для всех очевидно. Но положительный вклад собственно народной культуры славян в общечеловеческую культуру еще далеко не вскрыт, и вопрос о нем даже не поднимался в научной литературе. Все это еще подлежит серьезному изучению.

* *
*

Вторую большую группу проблем славянской этнографии составляет изучение тех коренных изменений, какие сейчас происходят на наших глазах в славянских странах в связи со строительством социализма и коммунизма: в СССР после 1917 г., в других славянских странах — после второй мировой войны.

Славянские народы занимают почетное место в лагере социализма, в лагере борьбы за мир и демократию. Строительство социализма в общественной жизни порождает новые формы культуры, в процессе формирования новых общественных отношений вырабатывается новое мировоззрение людей, новые характеры, с расширением международных связей народы взаимообогащаются духовными ценностями. Поэтому чрезвычайно существенно уяснить роль и значение исторически сложившихся национальных традиций в быту и культуре этих народов, традиций, которые сейчас могут оказаться — одни тормозом, другие, напротив, силой, облегчающей введение в быт новых форм жизни.

В современных условиях исторически сложившиеся формы быта и культуры быстро меняются, но при этом национальная форма культуры и бытовые традиции нередко сохраняются, наполняясь новым содержанием. Судьба традиционных особенностей бытового и культурного уклада, роль этих особенностей, как факторов в современной жизни, создание новых национальных традиций, на основе векового народного опыта и при усвоении всех достижений современной цивилизации, переходящих в собственность народа, — чрезвычайно благодарный предмет изучения для этнографа-слависта. Это изучение только началось, но, несомненно, оно приведет к широким общ историческим выводам и обобщениям.

Из общественных наук этнография по задачам и методам непосредственного наблюдения наиболее тесно и органично связана с народными массами. Многообразие и богатство новых явлений, характеризующих культуру и быт славянских народов, выдвигают перед исследователями новые задачи, и поэтому расширяется содержание современной этнографической науки, что, в свою очередь, требует новой методики исследовательской работы. Опыт работы в этой области, широко проводимой в СССР и славянских странах (Чехословакия, Польша, Болгария и др.), позволяет наметить несколько аспектов дальнейших исследований.

Важнейшими задачами в этой области следует признать изучение изменений в культуре и быте крестьянства — традиционной области интересов этнографов, — изучение различных массовых форм «городской культуры» прошлого и настоящего и прежде всего рабочего класса — новой для этнографов темы, особо важной в связи с бурным промышленным развитием славянских стран. Объектом изучения должны стать формирование новых прогрессивных форм производственных отношений на основе роста коллективизма и взаимопомощи, изживание религиозного мировоззрения и бытовых пережитков, своеобразие современных культурных и бытовых изменений у отдельных народов и взаимное культурное сближение и обогащение славянских народов, возникновение новых многонациональных элементов культуры, как в масштабах одного или нескольких социалистических государств, так и в масштабах всех славянских стран, наконец, этнические процессы, протекающие в условиях социалистических государств.

Этнографическое изучение современного быта связано с большими трудностями. Самая новизна тематики, неподготовленность старых кадров этнографов, неопределенность границ между собственно этнографическими и экономическими, демографическими и прочими исследованиями — все это тормозило и тормозит работу в новом направлении. Этнографы привыкли привязывать свои исследования к локальным формам быта, сложившимся в условиях прежней замкнутости областных групп, порожденной

укладом натурального крестьянского хозяйства, а ведь как раз эта замкнутость теперь исчезла, а вместе с ней стерлись или ослабли прежние локальные различия в формах быта и культуры. Поэтому требуется новый подход, особое значение приобретает сравнительный метод изучения. Вот почему так важно внести проблемы исследования современного социалистического быта в программу общеславянских этнографических изучений.

Первые успешные шаги в разработке цикла этих вопросов уже сделаны. В СССР изданы отдельные монографии о культуре и быте русских, белорусских, украинских колхозных крестьян: «Русское село Вирятино в прошлом и настоящем» (1958); «Село Кораблино» (1957) и др.; имеется ряд исследований украинских этнографов.

В Чехословакии изданы монографии о культуре и быте рабочего класса «Banická dědina Žakarovce» (1956), «Kladensko» (1959), «Rosicko-Oslavansko» (1961). Коллектив чешских этнографов ведет работу по изучению культуры рабочего класса г. Готвальдова; словацкие этнографы работают над монографией о современных преобразованиях в быту и культуре крестьянства района Горегронья в центральной Словакии.

Развертывается работа по изучению современного быта в Болгарии. Сбором современного этнографического материала среди крестьян и рабочих заняты многие болгарские этнографы, а также комплексные экспедиции Болгарской Академии наук, обследующие отдельные области страны. Результаты этих работ постепенно публикуются⁴.

Первоочередная задача фольклористики сегодня — изучение современных фольклорных процессов. Задача эта с равной остротой стоит перед всеми фольклористами мира, и в частности, перед фольклористами-славистами. Для разрешения ее прежде всего необходимо проведение в самых широких масштабах планомерной собирательской работы. Работа эта должна проводиться на высоком уровне, соответствовать требованиям современной науки, должна быть выработана общая ее методика.

В последние годы в СССР и в странах народной демократии накоплен большой собирательский опыт, составлены инструкции и пособия по собиранию словесного и музыкального фольклора. Все это следует обобщить и разработать методику собирательской работы, приемлемую для всех славянских стран. Методика эта

⁴ Ц. Вранска и С. Георгиева-Стойкова. Принос към изучаването на българския партизански бит и фолклор (по материалом от Плевенско и Ловешко). София, 1954; Р. Пешева - Попова. Материален и духовен бит на съвременното селско семейство в с. Ръжово Конаре, Пловдивско. «Известия на Етнографския институт с музей». София, 1961, кн. 4; Т. Колева. Съвременната народна сватба в Разложкия край», там же; «Комплексна научна Добружанска експедиция пре 1954 годник. Доклади и материали», София, 1956, и др. Аналогичные исследования предприняты в Польше и в Югославии.

должна учитывать всю сложность и многообразие стоящих перед современной фольклористикой задач: давно пора отказаться от устаревших методов собирания, ввести в обиход имеющуюся на сегодняшний день аппаратуру, придать этой работе подлинно исследовательский характер, перейти к комплексному изучению народного поэтического творчества.

Мало собрать материал — он должен быть установленным образом каталогизирован, описан и по возможности опубликован, а не лежать в архивах мертвым грузом, недоступным для широких кругов исследователей. Неотложная эта работа должна проводиться согласно общим и обязательным нормам стандарта.

Очень важно сравнительное изучение процессов, происходящих в современном фольклоре славянских народов, с целью установления закономерностей его развития во время общей борьбы с фашизмом и в период строительства социализма. Поэтому следует приветствовать работы такого типа, как начатое В. Е. Гусевым и другими изучение славянского партизанского фольклора периода второй мировой войны⁵.

В центре внимания исследователей современного народно-поэтического творчества прежде всего должна стоять судьба традиционного фольклора. Необходимо установить, какие жанры и почему уходят из быта народа, какие продолжают жить в его репертуаре как культурное наследие, какие жанры творчески развиваются. По-разному складываются в наше время судьбы героического эпоса, сказки, лирических песен, народной драмы, малых жанров. Наблюдения над жизнью традиционных жанров в фольклоре разных славянских стран, сопоставление этих наблюдений дадут возможность установить закономерность явлений, сделать необходимые обобщения.

Чрезвычайно значительное явление в словесном и музыкальном искусстве народа в наши дни — воздействие на него профессионального искусства. Влияние книги на сказку, массовое распространение композиторских песен, воздействие профессионального театра на народную драматургию — все это требует углубленного рассмотрения опять-таки в плане широкого сравнительного типологического изучения.

Особенно пристального внимания и бережного отношения заслуживает процесс создания народом новых произведений. Современное поэтическое творчество народа идет разнообразными путями: по-новому переосмысливаются старые сюжеты, образы; тексты прикрепляются к новым именам и событиям, получают аллегорическое истолкование; создаются и новые произведения. Авторами их являются как отдельные сказители, сказочники, певцы, так и хоровые коллективы, самодеятельные литературные

⁵ Результаты этого изучения изложены В. Е. Гусевым в докладе, представленном на данный конгресс.

кружки, начинающие поэты и композиторы. Формы современного народного творчества весьма многообразны.

Этот сложный процесс требует от фольклористов внимательного изучения, углубленного анализа. Необходимо прежде всего раскрыть взаимодействие в нем фольклорного и литературного начала, индивидуального и коллективного творчества, самостоятельного и профессионального искусства. Задачи эти в равной степени стоят перед всеми фольклористами-славистами и неминуемо приводят к необходимости сравнительного изучения современного фольклорного процесса.

Роль фольклора в современной культуре славянских народов, их литературе, музыке, изобразительном искусстве настолько велика, что задачи изучения фольклора приобретают не только сугубо академическое, но и широко общественное значение.

* * *

Поставленные проблемы сложны и разнообразны. Надеяться на быстрое и полное их решение трудно, но их необходимо четко поставить, обсудить и систематически работать над их исследованием. После V Международного съезда славистов, в июле 1964 г. в Москве должен состояться VII Международный конгресс антропологов и этнографов. Нужно надеяться, что на нем более полно и широко проявятся творческие достижения этнографов-славистов.

THE MAIN PROBLEMS OF SLAVIC ETHNOGRAPHY

Summary

Slavic ethnography lags behind as compared with other branches of Slavic science, in spite of the abundance of studies on various subjects concerned with different Slavic peoples. There are few comparative historical and ethnographical investigation of the Slavic peoples, covering the whole of the Slavic World.

Thus K. Moshinsky's book on the folk culture of Slavs which was to sum up the results of previous studies remains unfinished; other works of that scope are non-existent.

Meanwhile as a result of the general development of science a number of important problems concerning Slavic peoples have arisen, and ethnography is called upon to play a major role in solving them. The following problems are listed in the report: ethnogenesis of Slavic peoples (this problem has so far been studied on the basis of linguistic, anthropological, archaeological materials, including written documents etc., but little ethnographical data have been

used so far); the cultural community of Slavic peoples (unlike the indisputable linguistic community of Slavs, this remains to be proved); the cultural interrelations and mutual influences of Slavs and their neighbours; the systematization and grouping of Slavic peoples; their ethnic boundaries and territories. For each of these problems extensive materials have been accumulated but the lack of comprehensive summaries and generalizations of previous investigation is still badly felt.

Of major importance will be a historical-ethnographical atlas of Slavic peoples and their neighbours, which is being compiled jointly by scientists in several countries; according to a coordinated plan.

Specialists in Slavic ethnography are faced with the all-important problem of studying the processes of socialist reconstruction of culture and every-day life.

Much has been achieved in this field by the ethnographers of the USSR, Czechoslovakia, Bulgaria and partly of Poland and Yugoslavia, but much still remains to be done.

The all-important task set before the delegates of the 5th International Congress of Slavists is to advance studies in Slavic ethnography by giving more attention to the coordination of their efforts made and by promoting works that will generalize the results of previous investigation.

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ И

V *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь 1963)

В. Г. Базанов

ОБРЯД И ПОЭЗИЯ

Народные обряды и обрядовая поэзия всегда привлекали внимание этнографов и фольклористов. В своем докладе я касаюсь судьбы одного из самых архаических жанров русской обрядовой поэзии — причитаний. В тяжелые годы Великой Отечественной войны с немецкими захватчиками на русском Севере (Печора, Заонежье и Пудожский край) мне пришлось убедиться в сравнительно хорошей сохранности традиционного обряда проводов на войну, сопровождаемого «воплями». Причитания, или «вопли», были записаны тогда же, по живым следам событий, иначе этот ценнейший фольклорно-этнографический материал мог бы вскоре бесследно исчезнуть.

Причитания имеют давнюю историю. Заупокойные обряды в Афинах сопровождались оплакиванием великих мужей — основателей городов и полководцев. В древнейшем празднике Анфестерии, входившем в цикл Диониса, участвовали плакальщики и плакальщицы. Оплакивание сопровождалось неистовыми воплями и особой жестикуляцией. Дионистический плач не был исключительно культовым. Похоронные плачи составляли особый род лирики, открывавшей простор для выражения собственных переживаний. В «Илиаде» ахилловы жены, оплакивая Патрокла, рассказывали о себе, о своем горе:

Был им предлогом Патрокл: о своем они плакали горе.

Н. И. Гнедич, переводчик знаменитой «Илиады», в предисловии к книге Фориэля «Простонародные песни нынешних греков» (1824) обратил внимание на сходство русских плачей с греческими мирологами (печальнословие — в переводе Гнедича) и пришел к выводу, что древняя Русь заимствовала похоронные причитания из Греции. Н. И. Гнедичу в 1838 г. отвечал С. А. Раевский, друг Лермонтова, сосланный в Петрозаводск за распространение стихотворения «На смерть поэта». Святослав Раевский писал: «Не смотря на сходство с греческими мирологами, мы не думаем, чтобы

вопли вошли в обычаи наши из подражания. Они почти повсеместно распространены между народами, и следы их слишком рано видны в истории». Важно, что Раевский увидел в причитаниях не только «прелестную чистоту выражения чувств», но и «взгляд на жизнь», «важнейшие» черты народного мировоззрения. «Простой народ русский и исключительно женщины изъявляют свою печаль воплями и причитаниями не только во время похорон, но и при других случаях, когда горе вытесняет все другие чувства и увлекает все силы для выражения его. . . Так вы услышите вопли от невесты, когда она расстается с домом родительским, где, лелеянная матерью, она вела беспечную жизнь, которую вдруг должна изменить на жизнь покорную и заботливую; от родственников, провожающих юношу надолго в далекую сторону; на пожарище, во время мгновенного истребления плода многолетних трудов; а иногда, у людей очень чувствительных и несчастных, даже среди полевой работы: одинокая женщина после тяжкого раздумья о безвестном отсутствии мужа, родных, о дурно награждаемых работах на чужую семью, увлажнив лицо слезами, горькими жалобами выражает частые, безотрадные свои думы»¹. Раевский многое подметил очень верно. Находясь в ссылке в Олонецкой губернии, он имел возможность наблюдать причитания в их живом бытовании и беседовать с вопленицами. Отсюда такое проникновение в специфику «воплей или причетов», такой обстоятельный комментарий к ним. Причеть для Раевского — поэзия обрядовая (похоронная, свадебная, рекрутская) и необрядовая, бытовая, повседневная, «на всякий случай» («на пожарище», «среди полевой работы», «после тяжелого раздумья» и т. д.). Раевский впервые указал на летописные сказания и другие памятники древнерусской письменности, сохранившие сведения о похоронных обрядах и причитаниях у восточных славян. Так, в сказании о Борисе и Глебе (XI в.), в Ипатьевской летописи (XII в.), в Слове о житии Дмитрия Донского (XV в.) содержатся упоминания о житийных плачах.

Древняя Русь знала и другие обряды, вызванные к жизни напряженной борьбой с половцами и татарами: обряд проводов на войну, похоронно-траурный по князьям и дружинникам, погибшим на поле брани, и, наконец, обряд при встрече возвращающихся с победой. Едва ли не самым авторитетным свидетельством широкого распространения в древней Руси «завоенных» причитаний является «Слово о полку Игореве». Д. С. Лихачев указывает на жанровое своеобразие «Слова»: «Мы имеем еще не сложившийся окончательно новый для русской литературы жанр, жанр нарождающийся, близкий к ораторским произведениям, с одной стороны, и к плачам и славам народной поэзии —

¹ С. Раевский. О простонародной литературе. О собирании русских народных песен, стихов, пословиц и т. п. «Олонецкие губернские ведомости», «Прибавление», 1838, № 12, 13, 19, 24.

с другой . . . Итак, «Слово» очень близко к народным плачам и славам (песенным прославлениям). И плачи и славы часто упоминаются в летописях XII—XIII вв. «Слово» близко к ним и по своей форме, и по своему содержанию, но в целом это, конечно, не плач и не слава. Народная поэзия не допускает смешения народных жанров. Это произведение книжное, но близкое к этим жанрам народной поэзии»².

Жанровая проблема в фольклоре имеет свои особенности. Фольклору свойственна своеобразная иерархия жанров; былины — жанр, обладающий тем государственным размахом, который проступает в русской одической, а потом и в гражданской поэзии.

Конечно, и здесь возможно взаимодействие разных жанровых канонов, и все же строгая регламентация составляет незыблемый закон фольклорной эстетики; выбор той или иной художественной формы во многом зависит от темы и предмета изображения.

Причитания охватывают самые разнообразные стороны действительности, трудно назвать другой фольклорный жанр, который обладал бы такую отзывчивость, такой способностью откликаться на события повседневной жизни. Но сказать только так — значит повторить известную формулу о реалистической природе фольклора. Между тем жанровые отличия и особенности не должны устанавливаться по самым общим признакам. Причять спорит с уродливой, безобразной действительностью, разрушающей гармонические отношения между людьми, в ней всегда обострены лирические, эмоциональные ноты, гуманные чувства, сердечное отношение к близкому человеку. В определенные периоды исторического развития нации причитания из поэзии частной, семейной могут превратиться и превращаются в поэзию высокого гражданского напряжения. Были и такие плачи, в которых тема общественная, общенациональная — на первом плане.

В «Слове о полку Игореве» плач Ярославны, имеющий форму заклинания (обращение к высшим силам) и плачи жен русских воинов, павших в походе Игоря, сближаются с народными причитаниями, как в стиле, так и в эмоциональном строе. В «Слове» плачут русские женщины о судьбе Руси, всей русской земли. А. Мазон не допускает возможности существования плачей, не обращенных непосредственно к умершему человеку. «Слыхано ли, — спрашивает он, — чтобы мог быть похоронный плач без мертвеца, которого оплакивают?» На это сомнение А. Мазона отвечает Н. К. Гудзий: «Но почему считается, что плач Ярославны — похоронный плач? И неужели Мазон не знает существования

² Д. С. Лихачев. «Слово» и особенности русской средневековой литературы. В сб.: «Слово о полку Игореве — памятник XII века», М.—Л., 1962, стр. 306—307.

народных плачей по живым, а также женских свадебных?»³ Ясно, что свадебные причеты здесь не годятся в качестве аналогии, слишком своеобразна свадебная поэзия и к более поздней эпохе она принадлежит. Но «плачи по живым» хорошо знала древняя Русь, они тогда имели широкое распространение. В эпоху национальных бедствий, когда решалась судьба отечества, народные плачи не замыкались в мир личных горестных переживаний. Даже лирическая причеть не знала успокоения, плачи жен о погибших воинах пробуждали патриотическое сознание, призывали к бдению. «Слово» — и воодушевляющая речь поэта-гражданина, обращенная к народу, к нации, к князьям и дружинникам, и одновременно печальное песнопение, вызванное драматизмом событий. В «Слове» удачно объединены композиции волевые, мужественные, патетические с композициями более субъективными, частными, элегическими, но тоже по-своему героическими. «Слово» не признает разрыва между лирикой и эпосом, причитаниями и былевой поэзией, элегией и гимном.

Фольклор и русская средневековая литература, а также XVIII столетие подтверждают существование жанра, близкого к плачам-славам. Это и те произведения, о которых говорит Д. С. Лихачев в статье «„Слово“ и особенности русской средневековой литературы» («Похвала Роману Мстиславичу Галицкому», читающаяся в Ипатьевской летописи под 1201 г., «Слово о гибели Русской Земли», «Похвала роду рязанских князей», дошедшая до нас в составе повестей о Николе Зарайском, повесть «Задонщина», включающая четыре плача воеводских жен), и еще многое другое, предусмотренное фольклорной традицией, в частности мужские «плачи», раздававшиеся при погребении убитых воинов, солдатские «плачи» о Петре I, которые, с одной стороны, очень близки народным похоронным причитаниям, с другой — песням-славам. Любопытно замечание К. Ф. Рылеева, высказанное им в предисловии к сборнику «Думы» (1825): «Сарницкий свидетельствует, что на Руси пелись элегии в память двух храбрых братьев Струсов, павших в 1506 году в битве с валахами. Элегии сии, говорит он, у русских Думами называются. Соглашая заунывный голос и телодвижения со словами, народ русский иногда сопровождает пение оных печальными звуками свирели»⁴. В народе удачно определили жанровое своеобразие причитаний, назвав их «воплями», точнее бы сказать «воплъ души». Не случайно Святослав Раевский рядом с «воплем», народным именованьем, ставит свое обозначение: «горькие жалобы», «раздумье», «безотрадные свои думы». Именно «думы» в том смысле, в каком Рылеев понимал печальное песнопение (мужские элегические «плачи»). В поэзии

³ Н. Г. Гудзий. По поводу ревизии подлинности «Слова о полку Игореве». В сб.: «Слово о полку Игореве — памятник XII века», стр. 103.

⁴ К. Ф. Рылеев. Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки, письма. М., 1956, стр. 71—72.

Оссиана-Макферсона и его многочисленных подражателей запечатлен образ плачущего барда: юный воин, раненный в сражении, просит товарища по оружию воспеть ему славу отечества; вместе с юными бардами смерть храброго воина оплакивает престарелый Оссиан. Но песни Оссиана-Макферсона тоже опираются на народно-поэтическое творчество, хотя и сильно олитературены. Возможно, что у восточных славян были мужские «плачи», напоминавшие о заслугах погибших воинов (ср. с сербскими нареканиями из Собрания В. С. Караджича). Былины — это «гимны победные», «одушевляющие песни», как бы сказал Александр Бестужев. Это поэзия общенациональная (не исключительно крестьянская), поэзия воинская, трибунно-победная. Для своего времени петь «гимны победные» — значит воодушевлять, вдохновлять, пропагандировать. Певец былин — равнозначен поэту-гражданину, выступающему перед широкой аудиторией. Плачи-славы доброй своей частью обязаны народной похоронной лирике, в них — слава герою и одновременно излияние чувств, связанных с потерей близкого человека⁵.

Нужно сказать, что плачи, скрепленные с обрядами военного времени, уходящие своими корнями в далекое прошлое, оказались наименее собранными и изученными; их заслонила повседневная обрядовая поэзия, плачи похоронные, рекрутские, свадебные и просто бытовые («на всякий случай»). В записях нового времени, если не считать рекрутских причитаний Ирины Федосовой, «завоеванные» плачи представлены исключительно слабо. Только в бумагах Г. Р. Державина, среди восьми текстов причитаний, доставленных неизвестным «спищиком», был обнаружен плач при проводах крестьянина-рекрута на первую войну с Наполеоном (1809). «Добрый молодец собирается в «поход идти», «под злодея нашего, под недруга. . . злого-лютого»⁶. Удивительнее всего, что после Отечественной войны 1812 г. не осталось ни одного текста причитаний, как будто тогда не было и самого обряда и русские крестьянки не причитывали при проводах на войну своих мужей и сыновей. Между тем декабрист В. И. Штейнгель в «Записках касательно состояния и самого похода Санктпетербург-

⁵ Бесспорно, что в годы татарского нашествия существовали плачи пленного народа, в частности, плачи русских девушек, уведенных завоевателями на чужбину. Самих плачей не сохранилось, но в историко-песенном фольклоре и в былинах содержатся отдельные мотивы и поэтические образы, пришедшие из причитаний. Так, в былине о Казарине горящая девушка, обращаясь к своей косе, оплакивает свою участь в татарском плену. Возможно, что первоначально именно в причети оформлялись чувства и переживания, вызванные тяжестью плена и тоской по родине. О песнях девушек, плененных татарами, и о мотивах в этих песнях, типичных для причитаний, см.: Б. Н. Путилов. Русский историко-песенный фольклор XIII—XVI вв. М.—Л., 1960, стр. 107.

⁶ Впервые опубликовано в журнале «Русская литература», 1960, № 3, стр. 145—150. Публикация Ю. М. Лотмана.

ского ополчения против врагов Отечества в 1812 и 1813 годах, с кратким обозрением всех происшествий во время бедствий и спасения нашего Отечества случившихся, с подробным описанием осады и взятия Данцига» свидетельствует, что обряд проводов существовал и русские дороги были оглашены причитаниями.

Причитания составляли обыденную поэзию, каждая деревенская женщина умела вышпалать свое горе, поэтому, может быть, в свое время и не было обращено должное внимание на эту слишком повседневную поэзию. Но возможно и то, что фольклористы и этнографы не рисковали записывать причитания, подвергавшиеся ожесточенным нападкам церкви и официальным правительственным запретам. Еще Петр I в 1715 г. обратил внимание на «непристойный и суеверный обычай выть, приговаривать и рваться». За причитания нельзя было поручиться, вопленица могла принять на себя роль народного заступника и выразителя социального протеста, вторгнуться в область политики, запретную для народа; в причитаниях неожиданно могли появиться просьбы, жалобы, упреки. В общем это была беспокойная поэзия, полная драматизма, говорившая о неблагополучии в самой действительности, об ужасах крепостного права, о тяжелой судьбе русской крестьянки. Причитания проникают в «большую» русскую литературу с помощью Радищева и Пушкина. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» сообщает отрывок из рекрутского плача и дает понять, как тяжела рекрутчина для народа. Пушкин указывает на бытовавшие когда-то «запلاчки» о Разине и в «Истории Пугачева» приводит из причети небольшую, но очень важную цитату: для старой казачки Разин — «мой Степанушко».

XVIII столетие и почти весь XIX век почти не дали значительных записей причитаний, этот жанр оставался в тени. Появление в 1872 г. первой части «Причитаний Северного края» Е. В. Барсова, куда вошли похоронные причитания Ирины Федосовой, и через десять лет второй части, содержавшей рекрутские плачи, было таким же событием, как и открытие П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфердингом русских былин в том же Заонежье. Великолепные рекрутские плачи Ирины Федосовой дают огромный материал для понимания миролюбивых чувств простого русского народа, в них же суровое осуждение царской военщины, аракчеевских порядков в армии. По словам В. И. Ленина (в передаче В. Д. Бонч-Бруевича), рекрутские причитания «отлично характеризуют аракчеевско-николаевские времена, эту проклятую старую военщину, муштру, уничтожающую человека»⁷. Но это не были те плачи, которые характеризуют русскую причеть в эпоху освободительных войн. Только в какой-то своей части рекрутская причеть воспроизводит патриотические плачи, их давнюю исто-

⁷ В. Д. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин об устном народном творчестве. «Советская этнография», 1954, № 4, стр. 120.

рию. Для понимания эволюции русской «завоеванной» причеты очень важно знать особенности данного жанра в определенную историческую эпоху, локальные стили и те местные условия, в которых создавались плачи данного типа. Но на эти и многие другие вопросы фольклористика не может дать сколько-нибудь удовлетворительного ответа, так как сами тексты причитаний Отечественной войны 1812 г., не говоря уже о причитаниях древней Руси, фактически до нас не дошли.

Можно не сомневаться, что в годы первой империалистической войны причитания составляли общее достояние сельского населения России, что на войну новобранцев русские крестьянки провожали с причитаниями, сам обряд проводов не был забыт. Современники 1914 г. свидетельствуют о бытовании причитаний и даже воспроизводят отдельные сцены обряда (в частности, на Печоре), но опубликованные фольклорные записи настолько скудные, что и в самых общих обзорах народной поэзии той поры о них не упоминается.

В фольклоре гражданской войны жанр причитаний представлен двумя-тремя случайными текстами, записанными много лет спустя после событий. В советское время собирались и изучались традиционные причитания (по преимуществу похоронные, свадебные и плачи-воспоминания о прошлой жизни). Создавалось общее впечатление, что причитания быстро вымирают и близко то время, когда они совсем исчезнут. Самой жизнью советского народа причитания спускались под откос. Только обстоятельства военного времени частично задержали кризис жанра и способствовали пробуждению причитаний на русском Севере, где еще не успела совсем потухнуть старая похоронная причета. Судьба причитаний оказалась более сложной и противоречивой, нежели предполагали фольклористы.

В годы Великой Отечественной войны (1942—1945) состоялись три фольклорные экспедиции на север России (Печора, Заонежье и Пудожский край). Мое внимание тогда привлекли бытовая поэзия и обряды, стихийно возродившиеся в военное время. Материал, собранный экспедициями 1942—1945 гг., опубликован⁸. Поэтому мне остается поделиться некоторыми наблюдениями и по возможности обобщить свои впечатления.

Участники Печорской экспедиции 1942 г. присутствовали при проводах воинов на Великую Отечественную войну с фашистскими захватчиками. К маленьким избушкам, разбросанным

⁸ Русская народно-бытовая лирика. Причитания Севера в записях В. Г. Базанова и А. П. Разумовой. М.—Л., 1962. Статья и комментарий В. Г. Базанова. Записи состоят из традиционных причитаний, похоронных и бытовых, и плачей, приуроченных к Великой Отечественной войне. Материал в томе расположен по экспедициям (Печора, Заонежье и Пудожский край), а внутри каждой экспедиции — по исполнителям. Записи точно паспортизированы. Некоторые тексты даются в повторной записи.

по песчаным берегам Печоры, заменявшим речные вокзалы, постепенно сходилась народ, подходили молодые парни с котомками за плечами и деревянными крашеными чемоданами в руках, а за ними тянулись бабушки, матери, жены, сестры и односельчане. Они провожали своих внуков, сыновей, мужей, братьев и «братанов» (двоюродных братьев) на фронт. Трудно было разобрать слова, но слова были протяжные. Это вопленицы любовно и нежно голосили свои «плаксы». Наконец показался пароход.

По тебя идет да солнце красное,
По тебя идет да обогревшее,
По старшо мое да солнце красное,
По старшо да обогревшее.
Мы садить станем да на большой пароход.
Провожать станем да в путь дороженьку⁹.

С той и с другой стороны, ухватив отъезжающего на фронт одной рукой за шею, другой крепко обняв за пояс, старые и молодые женщины, каждая по-своему, оплакивают свое «чадо» или «ладо» милое. Голоса сливаются в единый поток. Пароход подходит к берегу. Брошен трап. Капитан дает один за другим свистки к отправлению. Наконец пароход отчаливает, слышатся прощальные гудки. Вопленицы низко склоняют головы и, немного покачиваясь из стороны в сторону, продолжают причитывать. Все застыло в неподвижном почтительном молчании.

На берегах далекой Печоры в течение целого лета нам пришлось наблюдать «проводы по старинке». От старого обряда сохранилась внешняя сторона; что касается причитаний, сопровождающих обряд, то советская действительность внесла в них существенные изменения. В сознании воплениц удержались главным образом те мотивы и образы, которые соответствовали вечной теме жизни и смерти, выражали чувство любви и боль разлуки, скорбь об утрате близкого человека и признание его заслуг. Новое в причитаниях военного времени состоит в функциональном изменении старых поэтических образов, а также в параллельном развертывании образов, подсказанных обстоятельствами самой жизни. Почти в каждом плаче при проводах на Великую Отечественную войну содержится проклятие «злыдню» Гитлеру и материнское патриотическое назидание.

На Печоре, где полевые записи проводились в обстановке самого обряда, удалось зафиксировать плачи-проводы в их наиболее развернутом виде и в наиболее точной редакции.

Среди печорских воплениц особенно выделяются А. К. Носова, прекрасный знаток традиционных причитаний (в течение трех дней от нее записано 28 текстов), и двадцатичетырехлетняя талантливая поэтесса Е. Ф. Позднеева. Если А. К. Носова не отстывает от канонической поэтики, крепко держится за традицион-

⁹ Русская народно-бытовая лирика, стр. 11.

ные формы обрядовой поэзии, то Е. Ф. Позднеева старинные причитания переосмысливает в духе своего мировоззрения и своей эстетики, создает вполне оригинальные художественные композиции, включающие современные мотивы и элементы публицистики. Подобное переоформление отдельных фольклорных жанров возможно лишь при условии хорошей сохранности самой классической традиции. Вместе с исчезновением жизненной потребности в той или иной художественной форме неизбежно рвутся и те жанры обрядовой поэзии, которые, как и сам обряд, поддерживались определенными историческими условиями, местными бытовыми и фольклорными традициями.

Самостоятельный цикл составляют записи из Заонежья. Заонежские причитания сложены теми, кто в течение трех лет жил на оккупированной врагом территории, вынес заключение и истязания в фашистских лагерях, потерял своих близких, был выселен из родной деревни.

В Заонежье нам удалось побывать сразу же после его освобождения. В сентябре 1944 г. воспоминания о жизни в оккупации были настолько свежи и памятны, что плачи, сложившиеся за колючей проволокой и у разрушенной «хоромины», отнюдь не являлись достоянием избранных воплениц. В абсолютном большинстве вопленицы, от которых мы записывали плачи, были самыми обыкновенными заонежскими женщинами, пожилыми и средних лет, не имевшими опыта в профессиональном пригослашивании. В Заонежье еще не были забыты причитания Ирины Федосовой, и именно эта богатейшая местная традиция определила многие художественные компоненты причитаний, представленных нашими записями¹⁰. Из старой похоронной причеты почти без всяких изменений в плачи, созданные в фашистской неволе, переходят те поэтические формулы и образы-символы, которые создают впечатление общенародного горя. В записях 1944 г. образ горя («В вешний день горя не высказать, на осенний лед не выписать»)¹¹ имеет вполне конкретный смысл. Семантика отдельных слов и выражений в заонежских плачах сравнительно легко расшифровывается. Сначала дается традиционная характеристика «горя», «обида», «кручины», затем эти образы переводятся в план совсем близких ассоциаций: война, жизнь в оккупации, растерянная семья, разрушенное «хоромное строеньеице» и т. д.

Тяжелая жизнь в оккупации и те разрушения, которые причинили Заонежью захватчики, определили суровые фабулы, поэтику гневную, особую эмоциональную взволнованность. Заонежские причитания тем и своеобразны, что в них лирическая фабула

¹⁰ В Заонежье до сих пор помнят Ирину Федосову, и некоторые вопленицы в молодости у нее учились причитывать. Такова А. Ф. Касьянова, оплакивающая сына, замерзшего в лесу на подневольной работе.

¹¹ Русская народно-бытовая лирика, стр. 23.

становится повествовательно-описательной. Почти всегда за риторическими фигурами и «окаменелыми» эпитетами скрывается жизненный конфликт, действительное событие, тот или иной реальный факт. Заонежские плачи документальны.

Во время оккупации заонежские женщины, не выселявшиеся из своих деревень, тайно ходили на сельское кладбище и там причитывали. В плаче, записанном от Е. А. Куликовой, содержится прямое указание на то, что фашистские захватчики преследовали военнопленных, усматривая в народных плачах проявление стихийного бунтарства:

И там стоят патрули чужеродные,
Сторожа стоят да там не русские,
Не пропускают на могилушку умершую,
Не пропускают на раскат гору высокую¹².

Плачи у разрушенного «хоромного строеньца» составляют особый цикл: в них и воспоминание о недавнем прошлом, и рассказ о «трех учетных долгих годышках», т. е. о жизни в оккупации, и реальная, почти с натуры списанная картина разрушенного Заонежья, и думы о завтрашнем дне. Не следует забывать, что участники экспедиции записывали в Заонежье причитания сразу же после освобождения края от фашистских захватчиков.

Летом 1945 г. состоялась третья экспедиция — на этот раз был избран Пудожский край. И на пудожском побережье Онежского озера традиция обряда проводов на военную службу, живет с давних пор. Местная традиция стала основной для обычая прощания с призванными на Великую Отечественную войну. Из старого обряда перешла и традиционная причет, но перешла отчасти, изменив свое содержание и форму. Сравнительно небольшие размеры пудожской причеты и ее композиционный схематизм частично обусловлены тем, что плачи-проводы записывались несколько лет спустя после самого обряда.

В записи Пудожской экспедиции вошли главным образом плачи, которые возникли в результате разлуки и особенно в связи с получением похоронных извещений, — они отличаются лирической задумчивостью. Еще на Печоре и в Заонежье было записано несколько материнских приплачей о сыновьях, погибших в борьбе за независимость Родины. В пудожской причете эта тема — тема павших смертью храбрых — является основной.

Сами военнопленные прекрасно объясняют психологические источники лирических причитаний. М. А. Семкина из деревни Кашино очень точно определила возникновение своего плача о сыне: «Кручина на сердце падет и начинаешь плакать. Дома поплачу

¹² Русская народно-бытовая лирика, стр. 289.

и в лес пойду попричитаю и к коровушкам пойду — причеть
вспомню:

Погляжу я, беднушка,
Во косивчато окошечко
На почтовую дороженьку
Куда скрылися-уехали
Рожены мои детушки¹³.

Так и плачу. Наплачусь, наплачусь, да и зайдусь, слез не хватит». «Кручина на сердце падет» — вот собственно формула, поясняющая лирический субъективизм причитаний, особенно «похоронных» (в связи с похоронными извещениями) и при отсутствии вестей. После проводов обычно наступали дни ожидания «скорописчатых» писем. В минуты сильной тоски матери садились к окну и, глядя на почтовую дорогу, по которой были «спроважены» сыновья, начинали пригlašивать. Отмечены случаи, когда при встрече с демобилизованными или приехавшими на побывку, матери, не дождавшиеся своих сыновей или продолжительное время не получавшие писем от сыновей-фронтовиков, выражали свои раздумья в форме плача-обращения к прибывшим с войны. Особенно сильное эмоциональное потрясение наступало при получении похоронных извещений. Повсеместно, на Печоре, в Заонежье и в Пудожском крае, мы наблюдали своеобразный «поминальный» обычай: погибшие воины оплакивались не только в момент получения горестного извещения, но и при каждом новом воспоминании о них. Для возникновения лирико-элегической причеты не требовалось особого обряда — душевное настроение играло первостепенную роль, оно являлось главным стимулом. Основным мотивом плачей о погибших воинах является сетование осиротевшей матери: «горюшица» сожалеет, что она не имеет крыльев, что она не «птица-пташечка» и не может слетать на могилу солдата.

Между причитаниями, записанными в 1941—1945 гг. в разных районах русского Севера, много общего, но есть и отличия, продиктованные не только местной поэтической традицией, но и теми конкретными обстоятельствами, в которых возник тот или иной плач.

Печорская причеть — причеть монументальная, лирико-эпическая и сюжетно-описательная; заонежская — тоже лирико-эпическая, но насыщенная особым драматизмом событий, во многом документальная, уходящая в воспоминание о недавнем прошлом; пудожская — по преимуществу лирическая причеть, с мягкими задушевными тонами, почти элегия (элегический плач).

Следует учитывать технику записи. Плачи требуют немедленной регистрации. Только записи в момент самих событий, вызвавших тот или иной плач, могут считаться первой и самой точной

¹³ Русская народно-бытовая лирика, стр. 37.

редакцией. В дальнейшем, спустя некоторое время, вопленица не повторяет дословно эту первую редакцию, а ограничивается восстановлением самой общей схемы мотивов или на основе этой схемы создает вполне оригинальное повествование. Обычно в записях фольклористов мы имеем дело с повторной редакцией причитаний. Конечно, и наши записи в своем большинстве не являются первым вариантом, который возник в момент того или иного обряда. Это не самые первые редакции, как почти всегда бывает в полевых записях причитаний, но довольно точные их варианты. Появляющиеся при каждом повторном исполнении отклонения от первоначального текста и новые словесные наслоения в конечном итоге не нарушают основных художественных компонентов и первоначального идейного замысла. Но все же в первоначальных своих редакциях причитания могут иметь принципиальные отличия. В наших записях особенно ценны те тексты, которые были записаны в «минуты горя», в момент проводов на фронт и при получении похоронных извещений, в дни тяжелых утрат и при воспоминании о недавнем пребывании в фашистском плену.

Однако было бы неверно проблему варианта понимать только в этом смысле, т. е. выдвигать на первый план методику записи и фактор памяти. Главное — в эстетическом своеобразии причитаний, в характере импровизации. Записывая причитания, мы убедились в том, что почти каждая вопленица, независимо от личного дарования, пыталась вместить в рамки причети свои воспоминания о пережитом, поведать о сегодняшнем дне, напомнить о далеком и совсем близком. Отсюда вполне закономерен переход от субъективного излияния собственных чувств к более объективному повествованию. В результате преодолевается инерция поэтического стиля. Поэтика остается в основном незыблема, но меняется повествовательная «замашка». Плач как бы оформляется в причеть, а причеть в сказ (от слова «сказывать»). В причитаниях врываются описательные эпизоды, и само повествование теряет мелодику плача. Особенно это касается тех текстов, которые были исполнены без «вопля», сравнительно спокойным речитативом. Таким образом, вспоминая о пережитом, та или иная вопленица чаще не восстанавливает «обрядовый» вариант плача, но на основе его создает нечто новое, отличное от плача-прототипа. В результате происходит объединение разных жанровых и стилистических канонов.

Причеть — понятие более широкое, нежели плач. Причеть может перерасти в сказ, тогда как для плача это невозможно. Тематика причитаний значительно многообразней тематики плачей. Плач — это преимущественно обрядовая причеть, с довольно устойчивыми мотивами и образами. Причитания более способны к композиционному расширению, ибо они не обусловлены обрядовой жизнью жанра. Причеть может стать «хроникой», авто-

биографией, своеобразной повестью в стихах. Именно причетъ обростае общественно-политическим содержанием, включает элементы эпоса, сатиры, гражданской лирики. Плач в этом отношении более консервативен, индивидуален.

Наполнение причитаний общественно-социальным и эпическим содержанием ломает и саму художественную форму, переводит ее в несколько иной жанр, порой и с иным способом исполнения. Так, далеко не все причитания «приголашиваются», т. е. некоторые из них лишены той своеобразной напряженно-взволнованной слезливой манеры исполнения, которой требует экстаз горя. Если причетъ сказывается, то это уже не плач, а нечто совсем иное, более близкое речитативно-напевному стилю былин. Поэтому следует говорить в ряде случаев о причитаниях-сказках. В одинаковой степени это касается и отдельных плачей Ирины Федосовой. Именно в причитаниях Федосовой мы видим разные жанровые возможности. От обычного причитания заонежская вопленица легко переходит к сказу-плачу, позволяющему отступать от традиционного похоронного «приголашивания» и использовать более свободные формы художественного повествования.

Новые записи причитаний проливают свет на поэтическое наследие Федосовой и помогают нам правильно понять проблему преемственности в фольклоре. Попытка объяснить художественные и идейные особенности причитаний Федосовой исключительно своеобразием ее дарования и особенностями пореформенной поры, когда в народном творчестве якобы «начали вырабатываться новые приемы в изображении действительности»¹⁴, не может быть признана достаточно обоснованной, поскольку мы слишком мало знаем о дофедосовских причитаниях. Но и то немногое, что известно науке (в частности, записи причитаний из архива Державина), свидетельствует о традиционности тех приемов изображения, которые обычно считаются непременно индивидуальными, принадлежащими Федосовой. Самые предварительные сопоставления федосовских причитаний с причитаниями более поздней поры и из географических районов, не соседствующих непосредственно с Заонежьем, имеющих свои местные особенности, показывают принципиальную верность «метода» Федосовой издавна существовавшей традиции. Даже причитания, записанные в период кризиса жанра, в годы потухания причитаний, подтверждают власть традиции и показывают, что Федосова, при всем своем огромном индивидуальном художественном даровании, являлась прежде всего хранительницей многолетнего коллективного художественного опыта.

¹⁴ К. В. Ч и с т о в. Народная поэтесса И. А. Федосова. Петрозаводск, 1955, стр. 326.

Проблема жанра неразрывно связана с проблемой стиля, жанровая специфика познается через стиль и те сложные опосредствования, которые существуют между фольклором и действительностью. В героических былинах изображаются исключительные обстоятельства, былинные герои несколько приподняты, романтизированы, поставлены в контраст со всем обыкновенным, слишком прозаическим. О художественном стиле былины очень верно заметил Н. А. Добролюбов: «Так фантастические сказания о богатырских подвигах разных героев, возвышая их над обыкновенными людьми, через то самое уничтожают истинно человеческую сторону их доблести»¹⁵. С причитаниями в фольклоре связано становление личности обыкновенной, изображение самых простых, естественных человеческих чувств и эмоций. Это не значит, что причитания следует подтягивать к реализму.

Если исходить из наиболее устойчивых принципов художественного стиля, то можно сказать, что словесная организация стиха причитаний соответствует психологической коллизии самого обряда. Через обряд обрядовая поэзия укрепляет свои связи с действительностью. У причитаний имеется своя область идейных и художественных интересов, своя сфера эмоционального воздействия, свои границы и возможности.

Причитания можно рассматривать как особый род лирической поэзии, правда, лиризм их «жесткий», не знающий успокоения, скорбный, медитативный. Образы «горя», «кручины», «обиды» скатываются с одной строфы в другую, образуя своеобразные эмоциональные взрывы. Отсюда особое интонационное напряжение (можно сказать — перенапряжение), взволнованная патетика и экспрессивность выражений, хотя стиль и клонит в сторону элегической монотонности. Монументальные плачи-сказы Ирины Федосовой (в частности, и «Плач по старосте») и некоторые наши записи причитаний (Печора и Заонежье), отличающиеся эпическим складом, тоже не чуждаются основных стилистических и композиционных приемов, характерных для лирической причеты. Почти всегда фабульный центр лежит не в эпическом повествовании, и не в самом описании; живая образность явно перевешивает тот конкретный повод, по которому создано причитание. Обрядовая символика постепенно теряет свое самостоятельное значение, подчиняясь внутренней рефлексии, самовыражению. Драматизм переживаний переселяется в стих, в словесную ткань, в лексику. Стих как бы спотыкается, образуя рубцы, — напряженное, со сбоями и перебоями движение стиха. Стих берет разбег и затормаживается — в таких случаях теряется смысловая синтаксическая связь, а течение стиха — трудное и медленное.

¹⁵ Н. А. Добролюбов. Первые годы царствования Петра Великого, ст. 3. Полн. собр. соч. в шести томах, т. III. М., 1935, стр. 169.

Бесконечные повторения, тавтология слов и выражений — тоже для эмоционального нагнетения, сгущения. Показательно несколько парадоксальное сочетание риторики и дидактизма с правдивым изображением человеческих чувств; традиционный аллегоризм, вялость стиха и неподвижность поэтики — и здесь же смелые образы, энергия слова и жеста, благородные материнские чувствования и подлинное человеколюбие. Стиль причитаний — не стиль фольклорного реализма. Если бы не были опасны, не приводили постоянно к заблуждениям некоторые литературные аналогии, можно сказать, что «шиллеровское начало» в фольклоре лежит в причитаниях. Эмоциональная напряженность, чрезмерная чувствительность, сгущенно «жалостливая» лексика, несколько сентиментальное славословие — и по соседству совсем реальные, жизненные раздумья, патриотические переживания, заботы о своей семье, простая и ясная нравственная исповедь русской женщины. Причитания по-своему реалистичны, сентиментальны и риторичны. Они не укладываются в какой-то один стиль, как и вообще фольклор не укладывается в понятия и определения, выработанные теорией литературы. Здесь все на свой лад, в странном переплетении и смешении, часто в эклектическом сочетании.

Чтобы понять смысл жалобы, основы печали — для этого необходимо пробиться через толщу застывшей фразеологии, символическую условность и традиционную образность. При малой конкретности поэтического рисунка, при всей однотипности стилистических приемов и разорванности композиций причитаниям присуща своя глубокая энергия слова, идейная убежденность и художественная внутренняя логика. Причеть не из тех фольклорных жанров, которые крепко держатся постоянных художественных концепций и незыблемых сюжетов. В отличие от былин, исторических песен и даже бытовой песенной лирики причеть своевольно обращается с традицией, дорожит традиционной поэтикой, но довольно безразлично относится к заранее заданному плану, терпит поэтический беспорядок. Ясно, что причитания не составляют исключения из общего эстетического правила, они в своей основе нормативны, привержены к образцу. Но сам характер импровизации в причитаниях несколько иной, нежели в других фольклорных жанрах. По затверженной канве плетутся узоры, разбросанные, малосвязанные между собой. И только после того, как все эти узоры будут объединены, сведены в одно художественное целое, возникает вполне законченный и стройный рисунок. Для причитаний показательны крутые переходы, фрагменты, своеобразная лоскутность. Видимо, в самой архитектонике скаывается та бурная эмоция, тот экстаз, которые обычно сопутствуют причитаниям. Импровизация в причитаниях имеет более стихийный характер, отсюда и некоторые стилистические чрезмерности, идущие от эмоционального перенапряжения.

Тексты причитаний, представленные записями 1942—1945 гг., только в незначительной своей части (значительной лишь для нечорских записей) являются образцами традиционной причеты, — причеты, так сказать, нормативной, вызванной причинами исключительно семейно-бытового порядка. Основной массив — причитания военного времени, в них выражено не только личное горе, горе индивидуальное, но и тревога за судьбу Родины, народная ненависть к фашистским захватчикам. Горе утраты и память сердца — вот что делает русские северные причитания поэзией многих матерей. Это поэзия специфически женская и исключительно гуманная, полная великой любви к человеку. В основе причитаний простое и ясное чувство: девушка не может не плакать о потерянной любви, а мать о потерянном сыне. Ясно, что эта поэзия не может быть безмятежной, в ней легко обнаруживаются трагические ноты. Это не ходульно-воспевательный фольклор, созданный отдельными сказителями в годы культа личности, но отвергнутый самим народом. Народные причитания, возникшие в трудные годы Великой Отечественной войны, тем и показательны, что в них отсутствуют ложная патетика и бездумность. После исторических решений XXII съезда партии мы можем объективно разобратся в судьбах фольклора, отделить истинное народное творчество от искусственного экспериментаторства, а главное — понять, что сам народ не был склонен к лакировке действительности.

Ясно, что в причитаниях, скованных традиционной поэтикой, не могли отразиться все существенные стороны деревенской жизни в годы Великой Отечественной войны, переживания во всей своей сложности и полноте. Но в них есть неподдельный драматизм событий, движение народной души, неиссякаемая любовь к своему Отечеству и к его защитникам. Несмотря на скорбную поэтику, традиционную в своей основе, и горестные переживания, причитания лишены пессимизма. Это не «плаксивая» поэзия, а искренне взволнованная и суровая, не признающая слыхком облегченного изображения трудного военного времени. Причитания в значительной степени — пережиточное явление, свидетельствующее о скованности художественного мышления, о господстве в ряде случаев поэтической схемы над материалом самой действительности.

Если бы не вероломное нападение в 1941 г. на нашу Родину фашистских захватчиков, то, по всей вероятности, причитания имели бы исключительно историческое значение, как поэзия уходящего прошлого. В годы Великой Отечественной войны причитания (несколько неожиданно для фольклористов) получили довольно широкое распространение. Прежде всего матери, провожавшие на фронт сыновей, использовали для выражения своих переживаний ту поэтическую форму, которая была «под рукой» у каждого: они обратились к традициям русского классического

фольклора и стали применять к обстоятельствам старые «заплачки». Этой зависимостью от традиционных форм поэтического мышления объясняются и те бесчисленные заимствования из старой похоронной и рекрутской причеты, которые мы видим в причитаниях, представленных в новых записях. Широкому бытованию причитаний способствовали народные обряды и обычаи (проводы на войну, посещение кладбища при получении похоронных извещений, встреча демобилизованных).

Следует учитывать, что причитания записывались в тех районах русского Севера, где до недавнего времени собиратели фольклора отмечали хорошую сохранность сказок, исторических песен, бытовой лирики и даже былин; к тому же исполнителями причитаний, как правило, являлись представители старшего поколения, свыкшиеся с традиционными поэтическими формами.

Ученые, изучающие народный быт и народную поэзию, не могут не считаться с местными традициями, которые часто оказываются более устойчивыми, нежели это можно предполагать. Но верно и то, что в настоящее время причитания выглядят анахронизмом, — это поэзия недавнего тяжелого прошлого. С целью проверки сохранности данного жанра народной словесности, богато представленного в записях военных лет, мною производились в 1945 и в 1957 гг. в Заонежье, на родине Ирины Федосовой, дополнительные разыскания. Даже те женщины, которые в 1944 г. оплакивали своих сыновей и «хоромные строеньица», через двенадцать лет с трудом воспроизводили общие формулы и схемы, не наполняя их конкретным содержанием. Показательно посещение в 1957 г. знаменитых Гарниц, прославленных П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфердингом. Здесь доживал последний заонежский былинщик Ф. К. Завьялов, скончавшийся в семидесятилетнем возрасте незадолго до нашего приезда. От А. Я. Завьяловой, жены умершего сказителя, удалось записать два плача: по мужу и по сыну. Охотно соглашаясь исполнить причету, она говорила: «Будто не причитывала, причитывала!»¹⁶. Записанные от А. Я. Завьяловой плачи, как и другие редакции 1957 г., свидетельствовали о том, что причитания в Заонежье потухали, забывались.

Плачи, или причитания, относятся к тому «летучему» роду поэзии, который столь же быстро возникает, вспыхивает, как и угасает, уходит из народного быта. Лишь в момент большого личного и общенародного горя, когда, по словам самих воплениц, «горе учит причитывать», возможны новые сюжетообразования и композиции. И, наоборот, когда горе проходит и острота впечатлений сглаживается, причету теряет свою власть над поэтическим сознанием, утрачивает злободневность, становится достоянием избранных воплениц. Этот процесс потухания, а затем

¹⁶ Русская народно-бытовая лирика, стр. 572.

и полного исчезновения причитаний из народного быта наблюдался в мирное время, до Великой Отечественной войны, и наблюдается сейчас, когда советский народ занят строительством коммунизма, мирным созидательным трудом. Не составляют исключения и те районы русского Севера, где сравнительно недавно фольклористы отмечали активное бытование причети.

LES RITES ET LA POÉSIE

Résumé

Cet exposé examine le destin d'un genre spécial de la poésie rituelle populaire russe. Les lamentations embrassent différents côtés de la réalité. Il n'est pas facile de citer un autre genre folklorique qui possède de telle compassion et d'une telle attitude pour répondre aux événements de la vie quotidienne du peuple. Mais citer ce seul argument, c'est répéter une formule déjà connue, concernant la nature réaliste du folklore. Cependant les différences et particularités des genres ne peuvent pas être établies après leurs traits généraux. Une lamentation se dispute avec une réalité différente, qui détruit toutes relations harmonieuses entre les gens; elle ne fait qu'aigrir les notes liriques et émotionnelles, sentiments humains, mémoire du cœur. Dans certaines périodes de la vie historique, les lamentations peuvent se transformer quelquefois d'une poésie de vie privée dans une poésie de haute tension civile. Il existait des pleurs dans lesquels le sujet social, national se présentait en premier plan.

L'ancienne Russie connaissait bien les pleurs aux moments des adieux pour la guerre (les pleurs sur des vivants), ainsi que les pleurs sur les soldats, tués pendant la guerre. A l'époque des calamités, des désastres nationaux, les pleurs du peuple ne se refermaient pas en un seul cercle des chagrins personnels: une lamentation ne connaissait pas aucun apaisement; les pleurs sur des soldats péris éveillaient la conscience patriotique, appelant à la veillée. Dans «Slovo o polkou Igorévé» («Le chant d'Igor») les pleurs de Yaroslavna sous forme d'un exorcisme, ainsi que les pleurs des femmes des militaires russes, triés dans la campagne d'Igor, s'approchent aux lamentations du peuple en ce qui concerne le style et la structure émotionnelle.

Les lamentations dans la Russie des paysans à l'époque du servage et après les réformes composaient une poésie commune: chaque paysanne savait pleurer sur son malheur et c'est vraisemblablement par cette cause qu'on ne faisait pas trop d'attention sur cette poésie, très journalière. C'est seulement à l'aide de Radichtcheff et Pouchkine, que les lamentations faisaient leur chemin dans la grande littérature russe. Les pleurs, cimentés avec des rites du temps de guerre, paraissaient d'être les moins étudiés et collectionnés. Ils

étaient cachés par les pleurs funèbres, nuptials et de la vie commune. Les lamentations de recrues, d'Irina Fedossova, connues d'après les notes de Barsoff, reproduisent dans une partie seulement les pleurs patriotiques et leur histoire. Pour comprendre l'évolution des lamentations militaires, il nous faut savoir les singularités du genre de l'époque historique en question, les styles locaux, ainsi que les conditions, dans lesquelles ont été créés les pleurs de ce type.

Une bonne intégrité d'un rite des adieux pour les partants au front de la guerre a été marquée au temps de la grande guerre dans les régions du Nord (Petchora, Zaonégié, Poudoge). Ils ont été suivis par des lamentations et des cris.

On a dû les faire inscrire au même temps, autrement ce folklore ethnographique d'une valeur extrême pouvait entièrement disparaître.

Les textes des lamentations selon les notes, marquées en 1942—1945 (dans la quantité insignifiante, significative seulement pour Petchora) présentent des exemples des lamentations traditionnelles, soit disant normatives, comme suite des causes de la vie de famille. Leur massif principal sont des lamentations du temps de guerre; elles expriment non seulement le chagrin individuel, mais aussi l'inquiétude pour le destin de la Patrie. Les notes inscrites à Zaonégié présentent un cycle indépendant: les lamentations de Zaonégié ont été composées par ceux, qui ont vécu pendant trois ans sur le territoire, occupé par l'ennemi, par les expulsés de ses propres terres et par ceux qui ont supporté le prison et les tortures dans les camps fascistes. Le caractère de leur récit est basé sur le souvenir des temps récents. Les pleurs de Zaonégié sont documentaires. Les rites et les coutumes populaires (adieux aux départs pour la guerre, visites des cimetières, rencontre des démobilisés) favorisaient l'existence des lamentations. Le problème du genre est indissolublement lié avec le problème du style. Tous traits se font connaître par le style et par des liaisons qui existent entre le folklore et la réalité. Si on se fait un point de départ des stables principes du style d'art, on peut dire, que la construction verbale des vers des lamentations correspond avec la collision psychologique du rite. La poésie du rite renforce ses liens avec la réalité par le rite. Les lamentations possèdent de leur propre domaine des différents intérêts et principes, de leur propre sphère d'influence émotionnelle, de leurs propres limites et possibilités. On peut examiner les lamentations comme une espèce de poésie lyrique, dont le lyrisme est assez «dur» pour ainsi dire: il ne connaît aucun apaisement, étant toujours méditatif, affligé. D'ici tension d'intonation, troubles pathétiques, caractère expressif, explosions émotionnelles, malgré que la poésie incline toujours vers une monotonie élégique.

Les pleurs et lamentations font partie d'une (soit disant) poésie «volante»: ils surgissent, disparaissent et s'en vont de la vie; une création des nouvelles compositions est possible seulement au mo-

ment d'un chagrin personnel ou national, au moment, d'après les mots des pleureuses, où «le chagrin apprend à se lamenter».

Aussitôt que le chagrin s'en va et l'acuité s'efface, les lamentations perdent leur pouvoir sur la conscience poétique et leur actualité et deviennent un don des «pleureuses professionnelles. Ce procès d'épuisement, de disparition complète de la vie du peuple était observé au temps de paix avant la grande guerre et se manifeste clairement au moment, quand le peuple soviétique est occupé par le construction du communisme, par le travail-créateur. Ne sont pas exclus les régions de la Russie du Nord, où, il n'y a pas longtemps, on pourrait encore remarquer l'activité des lamentations.

L'auteur de ce rapport était en 1942—1945 le directeur des expéditions folkloriques vers Petchora, Zaonégié et Poudoge. Il tire largement avantage des ses propres impressions et observations. (Voir: «Poésie lyrique populaire russe. Lamentations du Nord, inscrites par V. G. Bazanoff et A. P. Razoumoff». M., 1962, en russe).

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь 1963)

И. Ф. Балза

**МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ,
ЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
И МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ**

1

Основным стимулом для развития музыкальной славистики были творческие достижения классиков русской, польской и чешской музыки. В «Письме к любителям музыки об опере г. Глинки: «Иван Сусанин» В. Ф. Одоевский, под непосредственным впечатлением премьеры первенца русской оперной классики, заявил в 1836 г., что в истории искусства начался «новый период: период русской музыки»¹.

Развивая положения Одоевского о национальном своеобразии музыкального искусства, А. Н. Серов через двадцать лет, в статье о «Русалке» Даргомыжского, выдвинул тезис о той общности черт музыкальной культуры славянских народов, которая, как он справедливо указывал, восходит к народным истокам.

«Особенности славянских оборотов мелодии и модуляций выступили совсем явственно для всей Европы в творениях Шопена, — писал Серов. — Его создания . . . именно со стороны «славянских» форм имеют необыкновенно важное значение в искусстве. . .». И далее: «Уже явились композиторы, которые, подобно Шопену, разрабатывают славянский элемент. . . Я говорю о М. И. Глинке, С. Монюшко, А. С. Даргомыжском и некоторых других. Их музыка в любом произведении носит на себе ясную печать «славянизма», оттого проникнута оригинальностью, в сравнении с музыкальными сочинениями остальной Европы. В их музыке есть

¹ В. Ф. Одоевский. Музыкально-литературное наследие. М., 1956, стр. 119.

свой, самобытный характер, не похожий ни на немецкий, ни на французский, ни на итальянский»².

Указывая на самобытность творчества славянских композиторов, Серов никогда не противопоставлял его творчеству западноевропейских композиторов, но, констатируя наличие «славянизмов» в музыке Гайдна и Бетховена, тем самым подчеркивал значение славянских элементов в процессе формирования венской музыкальной классики. Исследования последних лет показали правомерность и обоснованность этого тезиса Серова³, который крайне осторожно пользовался терминами «славянизм», «славянский», заключая эти слова, как правило, в кавычки и полагая, следовательно, что применение их носит до известной степени условный характер. Вопрос о роли «славянизмов» в западноевропейской музыке привлекал внимание и Одоевского, который отмечал, в частности, «славянский характер» некоторых немецких протестантских мелодий. Несомненной заслугой Одоевского следует считать также и то, что он оценил значение предшественников Глинки: Алябьева, Михаила Вельгорского, Верстовского, Йеништы, упомянув в цитированшемся «Письме к любителю музыки» об их «счастливых опытах отыскать эти общие формы русской мелодии и гармонии».

Серов попытался уже дать общую характеристику творчества славянских композиторов, отметив прежде всего их стремление к многоголосию («... так как «контрапунктное» направление само собой сделалось уже одною из принадлежностей славянской школы. . .»), «своеобразность в мелодии, в ритме, в каденцах и гармонизации. . . богатство гармонической разработки. . . постоянное стремление к правде в выражении, не допускающее (кроме весьма редких исключений) служения целям виртуозным и по серьезности направления далекое от всех плоских и мишурных эффектов»⁴.

Последние слова имеют самое непосредственное отношение и к славянским исполнительским школам, отличительной чертой которых в России с давних пор признали напевную выразительность звучания. В биографии прославленного чешского скрипача Франтишка Бенды, вошедшей в альманах «Лирический Музеум», мы читаем, например, что его игра «была собственная, образованная по правилам, данным ему славными певцами»⁵. Эти слова небезынтересно сопоставить с впечатлениями Томашка от игры

² А. Н. Серов. Избранные статьи, т. I. М., 1950, стр. 277—278.

³ Milan Poštolka. Joseph Haydn a naše hudba 18 století. Praha, 1961.

⁴ А. Н. Серов. Избранные статьи, т. I, стр. 278.

⁵ «Лирический Музеум, содержащий в себе краткое начертание истории музыки с присовокуплением, жизнеописаний некоторых знаменитых артистов и виртуозов оной, разного рода анекдотов и четырех портретов отличнейших сочинителей, изданный Кушеновым Дмитриевским». СПб., 1831, стр. 73—74.

его старшего современника Яна Ладислава Дусика: «Его пальцы были подобны ансамблю десяти певцов. . .»⁶. Общность творчества и исполнительского искусства славянских музыкантов ощущалась не только их биографами. Хорошо известны слова Глинки о том, что его сближает с Шопеном «наша с ним родная жилка»⁷. Сказано это было Серову по поводу одного из гармонических оборотов, но все то, что мы знаем об отношении Глинки к шопеновской музыке, позволяет понимать его слова значительно шире.

Корифеи русской музыкально-критической мысли как Одоевский и Серов, так и Стасов, прозорливо оценили достижения музыкальной культуры западнославянских народов и содействовали изучению, укреплению и развитию ее связей с русской музыкальной культурой. В историю этих связей вошли имена Глинки и Сметаны, Моңюшко и Даргомыжского, Чайковского и Дворжака, Балакирева, Римского-Корсакова, Танеева и их польских и чешских друзей и собратьев.

Что же касается русского музыковедения, то можно назвать, например, имена Г. Н. Тимофеева (1866—1919), в работах которого славистические темы приобретают доминирующее значение, и Н. Ф. Финдейзена (1868—1928), собравшего громадный материал по истории межславянских музыкальных связей. В выходящей под его редакцией «Русской музыкальной газете» были опубликованы еще в дореволюционное время десятки статей о музыкальной культуре зарубежных славянских народов. Материалы эти подготовлялись не только русскими авторами (особого внимания заслуживают обширные статьи о Сметане Е. М. Петровского, друга и либреттиста Римского-Корсакова), но и польскими (в частности Адольфом Хибинским) и чешскими, в том числе Болеславом Каленским. В неопубликованных письмах к Каленскому, хранящихся ныне в фондах Музея Сметаны в Праге⁸, Финдейзен отмечал интерес и симпатии передовой русской общественности к творчеству западнославянских мастеров.

Такой же интерес проявлялся в России и к трудам польских и чешских музыковедов, в особенности таких, как Зденек Неедлы, исследование которого сразу же привлекли внимание Н. Ф. Финдейзена, Б. В. Асафьева и других русских ученых. Подводя итоги раннему периоду научной деятельности Хибинского, русская пресса справедливо указывала: «. . . то, что им сделано в области научно-музыкальных исследований, дает право поставить его имя в ряду лучших современных музыкальных деятелей. . .»⁹.

⁶ «Libussa», Prag, 1850.

⁷ А. Н. Серов. Избранные статьи, т. I, стр. 163.

⁸ Отрывки из этих писем приведены нами в сборнике «Из истории русско-чешских музыкальных связей». Музгиз, 1955, стр. 16—18.

⁹ Н. Я. Адольф Хибинский, выдающийся современный польский ученый музыкант. «Музыка и жизнь», 1911, № 3, стр. 10.

Изучение музыковедческой литературы и периодики позволяет утверждать, что еще в дореволюционное время в России начала успешно развиваться музыкальная славистика. Это обусловливалось не только научными интересами наших ученых, но и тем глубоким уважением к музыкальной культуре братских славянских народов, которое неизменно проявлялось в деятельности Глинки, Даргомыжского, Серова, Балакирева, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Кюи, Антона и Николая Рубинштейнов, Чайковского, Танеева, Скрябина, Рахманинова, Глиэра, Мясковского и других русских композиторов.

Эта традиция дружбы плодотворно развивалась в советскую эпоху. Во многих произведениях Ан. Александрова, Асафьева, Глиэра, Лятошинского, Мясковского, Шебалина разрабатываются темы и сюжеты, взятые из жизни и литературы зарубежных славянских народов, звучат польские, чешские, словацкие, болгарские, сербские песенные интонации и танцевальные ритмы. Серьезный вклад в музыкальную славистику сделали Б. В. Асафьев, Л. С. Гинзбург, Ю. В. Келдыш, Ю. А. Кремлев, Т. Н. Ливанова, Л. А. Мазель, В. В. Протопопов, И. И. Соллертинский, А. А. Соловцов, В. А. Цуккерман и другие советские исследователи. На русский язык переведены десятки музыковедческих трудов ученых, работающих в зарубежных славянских странах, в которых, в свою очередь, систематически публикуются переводы книг и статей советских музыковедов. Не будет преувеличением сказать, что Советский Союз стал подлинным центром музыкальной славистики, основы которой были заложены еще в первой половине прошлого столетия.

Академик Зденек Неедлы, протестуя против недооценки славянской музыки в так называемых «курсах истории всеобщей музыки», опубликованных на Западе, писал:

«Славянской музыке в западной, мировой музыкальной литературе обычно отводится место особенное: ее помещают вне общего развития, вне собственно истории музыки. Только после подробного изложения истории музыки западной мы обыкновенно находим здесь особую главу о т. н. «национальных школах», куда отнесена музыка всех малых, в особенности же всех славянских народов, чем имеется в виду подчеркнуть, что это — музыка именно только «национальная», т. е. провинциальная, имеющая значение только для этих малых народов, для музыки же мировой имеет значение разве только факт ее существования»¹⁰.

¹⁰ Зденек Неедлы. Бедржих Сметана. Прага, 1945, стр. 5. Крупнейший современный чехословацкий музыковед проф. Йозеф Плавец приводит в связи с этим некоторые цифровые данные, указывая, например, что Поль Ландорми в своей «Истории музыки» отводит чешской музыке семь строк, а Гуго Риман шесть: Josef Plavec. Česká klasická hudba. «Hudební noviny», Praha, Zafi-říjen 1961, str. 1.

Правда, на протяжении последнего времени в некоторых зарубежных странах появились книги об отдельных мастерах славянской музыкальной культуры, причем, например, работы англичанина Артура Хэдли и француза Эдуарда Ганша могут быть по справедливости отнесены к числу выдающихся достижений шопеноведения. Но из всех западнославянских композиторов, помимо Шопена, разве только Дворжак время от времени привлекал внимание зарубежных музыковедов¹¹. Можно назвать, правда, еще небольшой популярный очерк о Яначке, изданный во Франции¹². Крайне показателен, однако, эпитафия к этому очерку, взятый из двадцать пятого псалма Давида: «Miserere mei, quia unicus et pauper sum ego». Автор книги относит Яначка к числу музыкантов-одиночек, черпавших свой опыт откуда угодно, но только не из национальных традиций отечественной культуры.

Такая концепция «одиночества» славянских музыкантов, проводимая также во многих зарубежных работах о Шопене (это не относится, впрочем, ни к Ганшу, ни к Хэдли), наиболее отчетливо сформулирована австрийским музыковедом Паулем Штефаном (1879—1943). Во вступительной главе к книге, представляющей собою сокращенное изложение четырехтомной монографии Отакара Шоурка о Дворжаке¹³, Штефан последовательно проводит мысль о том, что до Сметаны и Дворжака, собственно говоря, чешской музыкальной культуры вообще не было. Были только отдельные чешские музыканты¹⁴. Эта вступительная глава, написанная с неподдельной теплотой (кстати сказать, Штефан был уроженцем Моравии), называется «Похвала чешским музыкантам». Автора никак нельзя упрекнуть в том, что он стремился принизить степень дарования и мастерства музыкантов, о которых речь идет в этой главе, он попросту не понял закономерностей развития и преемственности традиций чешской музыкальной культуры на протяжении столетий «габсбургской ночи».

С другой стороны, даже в наше время приходится встречаться с оскорбительными, пренебрежительными высказываниями о великих славянских музыкантах. Видный австрийский композитор и музыковед Марсель Рубин с возмущением отозвался недавно об одном известном мюнхенском критике, который позволил себе недостойные выходы в печати после исполнения симфоний Чай-

¹¹ Antonin Dvořák. His achievement. Edited by Viktor Fischl. London, 1942; Alec Robertson. Dvořák. London—New York, 1945, Zurich, 1947; Max A. Prick van Wely. Dvořák. Haarlem—Antwerpen, 1956.

¹² Daniel Muller. Leoš Janáček. Paris, 1930.

¹³ Otakar Šourek. Život a dílo Antonína Dvořáka. I—IV. Praha, 1916—1933.

¹⁴ Otakar Šourek. Paul Stefan. Dvořák. Leben und Werk. Wien, 1935.

ковского и Дворжака, назвав последнего «чешским сочинителем танцев, заблудившимся в симфоническом лабиринте»¹⁵.

Каждому, знакомому с симфониями Дворжака, ясно, что такое суждение мог высказать лишь невежда или человек, ослепленный ненавистью к славянским народам и их культуре. На подобное глумление над высокими достижениями славянской музыки в настоящее время, правда, уже мало кто отваживается. Но даже в наши дни вклад славянских народов в мировую музыкальную культуру не получил еще, во всяком случае на Западе, надлежащей оценки и признания. Поэтому представляется целесообразным обратиться к этой проблеме, сосредоточив в соответствии с темой доклада внимание на международных связях и значении музыкального искусства народов Польши и Чехословакии¹⁶.

2

Если высокие художественные достоинства произведений творцов славянской музыкальной классики завоевали мировое признание еще в прошлом столетии (мы не будем останавливаться на борьбе за это признание и на таких ее печальных эпизодах, как, скажем, пасквили Рельштаба на произведения Шопена), то следует признать, что достижения этих мастеров объяснялись почти исключительно их гениальной одаренностью, без учета опыта, накопленного их старшими современниками и предшественниками. Вопрос о преемственности развития музыкальной культуры западнославянских народов долгое время вообще не ставился и, строго говоря, не решен полностью даже в наши дни, хотя они и ознаменовались открытиями, которые, вне всякого сомнения, в той или иной степени помогут исследователям дать научно-достоверный ответ на этот вопрос. Столетие, отделяющее нас от появления статьи Серова о «Русалке», принесло множество материалов и исследований, подтверждающих один из основных тезисов его статьи — тезис об исторической общности истоков музыкального творчества славянских народов. Вместе с тем, все более и более отчетливыми делаются индивидуальные черты культуры каждого славянского народа, явившиеся результатом сложного процесса исторического развития и культурных связей, нередко широко разветвленных.

Одной из важнейших черт эволюции славянского песнетворчества следует признать стремление к широкой «распевности»

¹⁵ М а р с е л ь Р у б и н. Свобода искусства и буржуазия. «Советская культура», 1962, № 38.

¹⁶ Различным аспектам этой проблемы были посвящены лекции, прочитанные автором в Варшавском, Братиславском и Хельсинкском университетах в 1953—1958 гг., а также доклады на итало-советском конгрессе во Флоренции (1958), международном Шопеновском конгрессе в Варшаве (1960) и семинаре, организованном во время Советской выставки в Париже (1961).

мелодии. Такое стремление, проявившееся уже в далеком прошлом, отмечает польский музыковед проф. Здзислав Яхимецкий, сравнивая различные варианты древнейшего польского внелитургического песнопения «Bogurodzica», дошедшего до нас более чем в десяти списках. Наиболее ранний из них датируется 1407 годом. Сопоставляя его с другими, Яхимецкий высказал предположение, что еще до этого варианта существовала простейшая архаическая мелодия, постепенно насыщавшаяся выразительной напевностью¹⁷.

Крупнейший современный исследователь древнепольской музыкальной культуры проф. Иероним Фейхт справедливо замечает, что так как «Bogurodzica» приобрела в начале XV в. широчайшее распространение в качестве боевой песни польских воинов, то, видимо, исполняли они ее в более простой редакции, чем профессиональные певцы¹⁸. Действительно, Длугош пишет, что во время Грюнвальдской битвы «patrium carmen Bogurodzica sonora voce vociferatus est». Мы располагаем также сведениями о том, что песнопение это звучало и в середине XV в. (например, в битве под Вилкомежем), пополняясь затем новыми строфами, имеющимися, например, в варшавской, львовской и гнезненской рукописях XVII в. и обнаруживающими тесную связь с польскими народно-песенными интонациями.

Назвав «Богуродзицу» «отчей песнью»¹⁹, Длугош считал нужным особо отметить, что исполнялась она «звучным голосом». Это определение вызывает в памяти слова Галицкой летописи XIII в. о польских воинах, «кирлеш поюще, силен глас ревуще в полку их». Такой «modus vociferandi» отнюдь не вяжется с представлением о григорианских традициях. Мужеством и героизмом воинов рождено было мощное звучание мелодии, превращавшейся зачастую в боевой клич, призывные интонации которого насыщались эмоциональной выразительностью, далекой от образов текста, долгое время связанного в польском войске с культом девы Марии. Есть основание полагать, что в процессе подобного насыщения возникали совершенно новые мелодии. Так, Ян Хризостом Пасек из Гославиц, участник похода 1658 г., пишет: «Zaśpiewało wszystko wojsko polskim trybem: O gloriosa Domina!» Именно

¹⁷ Z d z i s l a w J a c h i m e c k i. Muzyka polska w rozwoju historycznym od czasów najdawniejszych do doby obecnej, t. I cz. 1. Kraków, 1948, str. 17—18.

¹⁸ Z dziejów polskiej kultury muzycznej, t. I, Kultura staropolska. PWM, 1958, str. 40.

¹⁹ Останавливаясь на вопросе о жанре данного песнопения, Фейхт приходит к выводу, что «Богуродзицу» нельзя считать ни тропом (т. е. вставкой в григорианский напев, в данном случае «Kyrie eleison»), ни лейхом (нем. Leich, франц. lais) и что это — вполне самобытный жанр, который нельзя назвать иначе, чем «отчей песнью». См.: Biblioteka pisarzy polskich. Seria A, NI. Liryka sredniowieczna, t. 1, Bogurodzica. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1962.

к XVII в. относится дошедшая до нас шестиголосная «Missa super vulgare O gloriosa Domina» Мартина Мельчевского, причем слово «vulgare» указывает здесь на «светское», народное происхождение мелодии, положенной композитором в основу этого многоголосного произведения.

Что касается приведенного в Галицкой летописи выражения «кирлеш поюще», то это — пока единственное известное нам упоминание о распространении в Польше славянской модификации обрядового песнопения «Kyrie eleison», также превращавшегося в возглас или припев, постепенно терявший смысловое значение (например, «кирлересле» в болгарских песнях). Зато мы располагаем многочисленными данными о чешских внелитургических песнопениях, содержавших этот возглас. Такова, например, боевая и коронационная песнь «Hospodine, pomiluj nu», древнейшая нотная запись которой относится к 1397 г. Возможно, что именно эту песнь имел в виду Косма Пражский, упоминая под 1055 годом «cantantes Kyrie eleison cantilenam dulcem», ибо песнопение «Hospodine, pomiluj nu» заканчивается троекратным повторением возгласа «Krlěš». Так или иначе, чешские исследователи полагают, что песнопение это, которое мы вправе назвать также «отчей песнью», возникло, подобно «Богуроднице», гораздо раньше, чем известная нам его нотная запись. Возможно также, что и в данном случае существовал какой-то архаический вариант, связанный с обрядовым пением, чем и объясняется лестный эпитет, примененный пражским каноником.

Но если мы обратимся, например, к пражскому и оломоуцкому кодексам конца XV в. и сравним с песнопением «Hospodine, pomiluj nu» содержащиеся в них записи так называемого «святошлавского хораля» и запись той же песни о патроне Чехии в пражском сборнике «Rosa Voemica» (1668), то так же, как и в различных вариантах «Богуродницы», констатируем постепенное увеличение диапазона мелодии, насыщение ее выразительной напевностью, отход от григорианских традиций и, более того, противопоставление этим традициям своеобразных черт, почерпнутых из народных истоков.

Многолетние исследования М. В. Бражникова позволили ему прийти к выводу, что «возраст певческого памятника определяется степенью речитативности напева»²⁰. Чем древнее обрядовая мелодия (в данном случае речь идет уже не о григорианской, а о византийской традиции), тем более ограничен ее диапазон. «С однообразием и сухостью аскетического церковного речитатива столкнулась его противоположность — живая, яркая и выразительная музыка народной песни, составлявшая музыкальное

²⁰ М. В. Бражников. Пути развития и задачи расшифровки знаменного распева XII—XVIII вв. Л., 1949, стр. 58.

миросозерцание, выражавшая внутреннее музыкальное «я» русского человека»²¹.

Аналогичный процесс происходил и в западнославянских землях. Войдя в соприкосновение с официальной обрядовостью, славянская народная песня врывалась в нее, пересоздавая ее эмоциональный диапазон и средства выразительности, утверждая свою исконную самобытность. Стремление к такой самобытности, к подлинной правдивости и человечности преобразовало традиционные лики «деисусного чина» (наименование которого подверглось изменению в результате забвения слова, пришедшего из Византии), рождало статуи чешских, словацких и польских храмов. Великий мастер Марицкого алтаря в Кракове запечатлел в своей многофигурной композиции облики польских крестьян и горожан, заменив ими аллегории библейских персонажей. Такое же вторжение жизни с давних времен шло в области русской и западнославянской миниатюры, как показали А. В. Арциховский и Вацлав Гуса.

Именно жизнь народа была основным стимулом его творчества, насыщавшегося полнотой чувств и освободительными идеями. Очень важно помнить, что, рождая художественные образы, эти идеи обретали в них новую силу, носителями которой стали, в частности, гуситские песни. Пройдя ранний «вифлеемский» этап развития, гуситское песнетворчество приобрело небывалое жанровое богатство — от созерцательного религиозного гимна, острой сатиры и проникновенной лирики до боевой таборитской песни, поражавшей уже современников своей грозной мощью и новаторством средств выразительности.

Такой громадный эмоциональный диапазон, как показал академик Зденек Неedly в своих классических трудах, был обусловлен подъемом народно-освободительных сил. Вместе с тем гуситские, в особенности таборитские песни, способствовали дальнейшему подъему этих сил, так как воспринимались как призыв к борьбе, увлекали ритмичкой могучей поступи народной рати, яростной мощью воинского клича, наводившего ужас на императорских «крестоносцев».

Значение таборитских песен далеко не ограничивается хронологическими рамками эпохи гуситских войн. Не будет преувеличением сказать, что на протяжении последующих пяти столетий развитие чешской героической песни неизменно опиралось на таборитские традиции, в той или иной степени воспринимавшиеся и в Словакии, и в Польше, и в Венгрии. Даже в «эпоху тьмы» таборитская песня продолжала жить не только в канционалах, укрытых чешскими патриотами от костров Кониаша и других изуверов, не только в канторских «шпаличках», но и в памяти

²¹ М. В. Бражников. Пути развития и задачи расшифровки знаменного распева XII—XVIII вв. Л., 1949, стр. 64.

народной, сохраняя веру в те силы, которые, подобно блиanicким рыцарям, должны были пробудиться и принести освобождение от национального и социального гнета.

Связи, несомненно существовавшие между всеми областями и жанрами творчества различных славянских народов, исследованы пока еще очень мало. Нет сомнения, что, например, шамотулский период деятельности «чешских братьев» должен был способствовать укреплению этих связей. Но независимо от этого в Польше продолжала развиваться героическая традиция народно-песенного творчества, воспринимая порой жанровые черты думы, возникшей, видимо, в западнорусском и украинском народном творчестве, как это засвидетельствовал еще в XVI в. польский хронист Станислав Сарницкий. Однако, если для думы постепенно делается характерным сочетание скорбного запева с драматическим повествованием о подвигах павших героев, то, наряду с этим, в польском народно-песенном творчестве утверждается и жанр героически-призывной песни, иногда также приобретающей, впрочем, оттенок сумрачной драматичности.

Идейное, эмоциональное и жанровое богатство народного творчества обусловило выдающиеся достижения и своеобразие музыкальной культуры западославянских стран, с давних пор отличавшейся высоким профессиональным уровнем и многосторонностью международных связей. Эти связи способствовали восприятию опыта, накопившегося в зарубежном искусстве, расширению образного строя и обогащению этого искусства художественными ценностями, не только не уступавшими Западу, но порою превосходившими и даже предвосхищавшими его достижения как в области творчества, так и исполнительского искусства.

3

Надежными предпосылками создания такого рода ценностей были общепризнанная музыкальность славянских народов, могущественное творческое воображение, неизменно проявлявшее себя и в других областях творчества, а также техническая сноровка, помогавшая конструировать музыкальные инструменты.

Даже те немногочисленные источники, которыми мы располагаем, позволяют считать, что музыкальный инструментарий западославянских народов уже в далеком прошлом отличался богатством. Судя по письму вюртембергского монаха Герменрика к сен-галленскому аббату (IX в.), по «Книге драгоценных сокровищ» Ибн-Даста (начало X в.) и по другим данным, уже в середине первого тысячелетия н. э. западославянские племена пользовались многострунными инструментами типа арфы и лиры. Свообразие славянских музыкальных инструментов подтверждается не только иконографическими материалами (Велислава библия, Оломоуцкая библия), но и археологическими на-

ходками (в частности, гуслими, обнаруженными в районе Гданьска экспедицией проф. Конрада Яжджевского в 1949 г.), относящимися, правда, уже к первым векам второго тысячелетия н. э.

Как Косма Пражский, так и Петр Житавский перечисляют некоторые чешские музыкальные инструменты, называя флейты, барабаны, тимпаны, трубы, лиры, арфы, различные смычковые инструменты, цитры, именовавшиеся в Чехии также кобзами, десятиструнные псалтериумы, получившие поэтическое название *slavník* (ибо под аккомпанемент этого инструмента пелись песни, прославлявшие воинские подвиги и доблесть), а также органы, применявшиеся, как мы знаем, не только в церковном, но и в светском обиходе.

Далеко не все названия чешских музыкальных инструментов, встречающиеся в неопубликованном энциклопедическом трактате середины XV в.²², понятны нам. В ряде польских и чешских источников можно найти упоминания и о таких народных инструментах, как, например, волынка (*dudy*, также *gaidy* или *keidy*), включавшаяся в профессиональные ансамбли. Преобразом некоторых других инструментов послужили народные образцы, в частности свирели, совершенствовавшиеся искусными мастерами и получившие затем распространение не только в славянских, но и других странах. В XIV в., например, славились в Париже красотой звучания «чешские флейты» (*flustes de Behaigne*) — деревянные духовые инструменты с металлическими обручами.

Судя по ранним образцам западнославянской музыки, в ее профессиональный обиход входили как народные инструменты, так и приемы народного музицирования, проникавшие даже в такую, казалось бы, далекую от него область, как органная музыка.

В Польше, Чехии и Словакии органы получили распространение после принятия христианства по западному обряду. По свидетельству Галла Анонима (1, 16), органы существовали в Польше уже при Болеславе I, т. е., во всяком случае, на рубеже X и XI столетий. И, начиная с доминиканца Томаша, убитого татарами в Сандомире в 1259 г., и его современника, упоминаемого Длабачем доксанского органиста Микулаша, история сохранила имена многих выдающихся польских и чешских музыкантов, которые довели до высокого совершенства искусство игры на органе. «Не имела равного ему Польская земля», — гласила, например, надпись на надгробии краковского органиста Якуба, жившего в середине XVI в.

В начале второго тысячелетия н. э. начали выдвигаться уже многие западнославянские органисты, причем параллельно с развитием искусства игры на органе отмечаются и успехи в соору-

²² Paulus Paulirinus de Praha. Liber viginti artium. Bibliotheka Jagiellońska, Rkp. 257.

жении органов, а также в изготовлении многих других музыкальных инструментов. В середине XIII в., по свидетельству Космы Пражского, «*organa nova facta sunt in ecclesia Pragensi*», в XV в. польские мастера строят органы во Влоцлавке и других городах, в конце того же столетия чешский мастер Йиржи сооружает орган в соборе св. Стефана в Вене, немного позже чешский мастер Ян строит органы в Аугсбурге, Нюрнберге и других городах, краковский мастер Юзеф строит, чинит и настраивает различные музыкальные инструменты в Кракове, Варшаве и Вильне, и далеко за пределами Польши славится своим искусством гнезненский строитель органов Станислав Зелик. В первой половине XVII в. в Москве работали польские органные мастера Богдан Завальский и Ежый Проскуровский, а несколько позже польские органисты Казимеж Василевский и Шимон Гутовский.

Органы, соорудившиеся западнославянскими мастерами, отличались чистотой звука, красочностью тембров и своеобразием конструкции. Наряду с большими храмовыми инструментами, отличавшимися пышной декоративностью отделки, строились различные портативные инструменты этого типа, предназначенные не только для церковного, но и для светского, в частности домашнего музицирования.

Формы и жанры этого музицирования были весьма многообразными. Даже судя по имеющимся в нашем распоряжении источникам, которые отнюдь нельзя назвать многочисленными, в западнославянских странах было достаточно хорошо известно европейское музыкальное искусство во всех его видах — григорианские напевы, ранние формы многоголосия, виртуозная полифония франко-фламандской школы и последующие откровения Палестрины и Орландо ди Лассо. Наряду с этим звучали светские песни, причем в Праге, например, получил распространение в XIII—XIV вв. миннезанг, представленный славными именами Рейнмара Цветерского, Генриха Мейссенского (Фрауенлоба), Генриха Мюгельнского, Мюлиха Пражского и других миннезингеров.

В Праге жил и работал некоторое время виднейший французский мастер эпохи «*Ars nova*» Гийом де Машо, посетивший также в первой половине XIV в. Польшу и Галицкую Русь. В этот период политический и культурный подъем в Чехии ознаменовался интенсивным развитием международных связей, чему способствовало создание Пражского университета. В столице Чешского королевства, превосходившей в те годы по размерам Париж и Лондон, встречаются ученые, музыканты и студенты из разных стран, происходит обмен мнениями, научными и художественными навыками. Уже в то время музыкальной теории придавалось такое значение, что курс ее, охватывавший все последние достижения в этой области, был включен в программу испытаний, необходимых для получения степени магистра, соответствовавшей

в области богословия, философии и искусства докторской степени.

Докторантам несколько позже созданного Краковского университета статутом 1406 г. также предписывалось изучение всех этих достижений. Лекции Станислава и Марцина из Олькуша, Марцина Бельша, Яна Стобнича и других профессоров, читавших в XV—XVI вв. курсы теории музыки на факультете «свободных искусств» Краковского университета, свидетельствуют о большой эрудиции, но вместе с тем и о несомненной ориентации на западные образцы. Такая ориентация еще более отчетливо ощущалась в области церковного пения, ибо краковская епископская кафедра еще более, чем старейшие кафедры Польши — гнезненская и познанская, заботилась о сохранении всех обрядовых норм и предписаний ватиканской курии. Грозным напоминанием о необходимости тщательного выполнения всех без исключения требований католической церкви прозвучала булла Иннокентия VIII «*Summis desiderantes affectibus*», изданная в 1484 г. и возвестившая начало позорного владычества инквизиции. . .

Анализируя сложный, нередко избыточный противоречиями процесс борьбы за утверждение самобытности музыкальной культуры западнославянских народов, нельзя допускать схематических упрощений. Нельзя, в частности, представлять себе дело так, будто бы все профессиональные навыки и достижения получались этими народами извне, а лишь затем переосмысливались и своеобразно претворялись. О самостоятельности художественного мышления польских, чешских и словацких музыкантов свидетельствуют древнейшие памятники их творчества, примечательные также тем своеобразием орнаментов и начертаний знаков, которое ощущается уже в невменном кодексе пражского Национального музея, датированном серединой XI в.

Развитие музыкального искусства западнославянских народов было неотъемлемой частью процесса развития их культуры в целом, включая изобразительные искусства. Высокого уровня достигли языки. Трактат краковского ученого Якуба Паркаша «*De orthographia polonica*» (1440) уже дает представление о богатстве польского языка. В «Хронологических выписках» Маркст отметил, говоря о первых десятилетиях существования Пражского университета: «Чешский народный язык был в то время более развитым, чем немецкий, как это явствует из писаний Томаша Штитного и др.». Великим защитником чешского языка, восставшим против засорения его чужеземными словами и оборотами, как известно, был Ян Гус, автор трактата «*De orthographia bohémica*» (1411) и «Великого толкования», написанного в 1412 г. уже на чешском языке.

Параллельно с борьбой за самобытность славянских языков велась борьба и за утверждение самобытности искусства, включая музыку. Ценнейшим материалом для суждения об этой борьбе

являются органные и лютневые табулатуры, в частности относящиеся к 40-м годам XVI в. органные табулатуры Яна из Люблина и краковская, найденная в библиотеке монастыря св. Духа. Табулатура Яна из Люблина, по размерам превосходящая все известные нам европейские табулатуры того времени, содержит многочисленные вокальные (в органном изложении) и инструментальные произведения как духовного, так и светского содержания, в том числе несколько сочинений Миколая из Кракова, писавшего не только обрядовые песнопения и органные прелюдии, но и танцевальную музыку.

Среди танцев, частью, видимо, обработанных, частью же сочиненных этим композитором, творчество которого представлено в обеих названных нами табулатурах, встречаются такие, как немецкий крестьянский танец (Paug Thanz), испанский и итальянский танцы. Но наряду с этим в табулатуры включены пьесы, основанные на польских песенно-танцевальных мелодиях, почерпнутых из городского и сельского фольклора, который постепенно проникал в религиозную музыку не только в Польше, но и в Чехии и в Словакии. Это явствует, например, из латинских марианских песен, содержащихся в рукописи пражской Университетской библиотеки (шифр VI C 20). Мелодии этих песен, как установил еще Отакар Гостинский, во многих случаях почерпнуты из чешского и словацкого фольклора.

В процессе такого проникновения народно-песенных элементов в обрядовую музыку и вообще в музыку, связанную с церковной тематикой, возникал разрыв между содержанием текста и характером мелодии. Одним из наиболее показательных примеров такого разрыва может служить не раз переиздававшаяся на рубеже XV—XVI столетий песня «Jezusa Judasz przedał» на текст Владислава из Гельнёва, совершенно, казалось бы, не вяжущийся с мелодией танцевального склада. Такой разрыв может быть объяснен только широчайшим распространением народных песенно-танцевальных элементов в музыкальном быту западнославянских стран.

«Борьба канционалов», развернувшаяся в Чехии, Словакии, а отчасти и в Польше в период контрреформации, сводилась далеко не только к столкновению противоборствовавших друг другу религиозных течений. Сущность этой борьбы в значительной мере заключалась также в противопоставлении обрядовым нормам церковного обихода живого народнопесенного начала: католическая церковь стремилась очистить от «ереси» сборники песнопений, запрещая печатать их без разрешения духовной цензуры, о чем говорилось, например, в постановлении одного из провинциальных синодов, созванного в Словакии в 1638 г.

Но выразительные, эмоционально богатые и глубокие интонации народных песен и танцевальных мелодий продолжали жить и развиваться даже «sine approbatione» в музыкальном

быту и в творчестве западнославянских композиторов, именно благодаря этому достигших высокого своеобразия, которое определило их место и значение в развитии европейской музыкальной культуры.

4

Уже в начале XVI в. в Польше, как, впрочем, и во многих других европейских странах, аристокритические круги отдавали решительное предпочтение «*grænobili arte italiana*». Известную роль сыграла здесь женитьба Зыгмунта I на княжне барийской Боне Сфорца, которая содействовала приезду в Польшу многих итальянских музыкантов, а также поэтов, художников, зодчих и ваятелей. Нет сомнения, что многие из них способствовали приобщению деятелей польской культуры к высоким достижениям итальянского Ренессанса²³. Но вместе с тем итальянские мастера не оставались безучастными к ценностям, накопленным в культуре польского и других славянских народов. И, если известная краковская лютневая табулатура второй половины XVI в. наряду с обработками польских народно-танцевальных мелодий, фламандскими мадригалами, французскими *chansons* и немецкими танцами содержит много итальянских пьес, то, в свою очередь, в итальянских, а также французских лютневых табулатурах XVI—XVII вв. встречаются пьесы с названием «*Volta polonica*».

Итальянские, французские и немецкие лютнисты, приезжавшие в Польшу, оставили нам довольно много произведений, представляющих собою обработки польских народно-танцевальных мелодий. Аналогичный процесс происходит и с чешскими мелодиями. В XVII в. венский придворный органист, итальянец Алессандро Полиетти, пишет, например, клавирную пьесу «Чешская волынка». Необходимо заметить также, что многие чешские песни, в частности гуситские, проникали в другие страны и через Польшу, благодаря тому, что включались там в протестантские канционалы.

В творчестве как Яна Йиндржиха (Иоганна Генриха) Шмелцера, так и его сына Андреаса Антона, которых западноевропейские музыковеды безоговорочно относят к числу прямых предшественников венских классиков, отчетливо различимы западнославянские, преимущественно чехо-моравские песенно-танцевальные интонации. Но в процессе становления венской музыкальной классики громадную роль сыграли не только народные истоки западнославянской музыкальной культуры, а и ее высокие профессиональные достижения.

В этом отношении особенного внимания заслуживает творчество чешских и польских симфонистов XVIII в. Многие их про-

²³ Guglielmo Barblan. Vita musicale alla corte Sforzesca. «Storia di Milano», vol. IX. Milano, 1961.

изведения были найдены лишь недавно, и находки эти еще недостаточно учтены в музыкальной историографии. Следует, однако, напомнить, что ранние симфонии Гайдна датируются пятидесятью годами XVIII в., причем написаны эти произведения так же, как симфонии итальянца Саммартини, для очень небольшого состава оркестра, и построение этих партитур обоих мастеров позволяет говорить лишь о начальной стадии европейского симфонизма. А симфонические произведения мастеров яромержичской школы, в частности симфония ре-мажор, приписываемая старшему из них — Франтишку Вацлаву Миче (1694—1744), уже отличаются не только сравнительно большим составом оркестра, но и зрелостью, сказавшейся в постановке и решении сложных задач полифонизации финала и монотематизма всего цикла.

Во многих произведениях Ф. В. Мичи, в частности в его сепольках, неоспорима близость к итальянским мастерам (в особенности — к неаполитанской школе), но основой творческой эволюции композитора была, вне всякого сомнения, ритмо-интонационная сфера чешского (преимущественно моравского) народно-песенного творчества. И, если даже ре-мажорную симфонию написал, как полагают некоторые исследователи, не Франтишек Вацлав Мича, а какой-либо другой представитель этой «династии» (нам известно несколько композиторов, носивших эту фамилию), то все же данное произведение следует причислить к наиболее выдающимся образцам симфонизма яромержичской школы.

Как эта школа, так и мангеймская, сыграли исключительно важную, но все еще недостаточно оцененную роль в истории европейского симфонизма. Возникновение мангеймской школы относится также к догайдновскому периоду, ибо в 1745 г. чешский композитор Ян Вацлав Стамиц (1717—1757) возглавил, по предложению курфюрста пфальцского, его мангеймскую капеллу и привлек к работе в ней многих выдающихся чешских музыкантов. В состав капеллы входили и немецкие музыканты, творческий вклад которых в достижения мангеймской школы также нельзя игнорировать. Но следует помнить, что на протяжении двенадцати лет своей деятельности в Мангейме Ян Вацлав Стамиц не только организовал громадный симфонический оркестр, но и создал целую литературу, на которой воспитывался этот великолепный ансамбль.

Известно, что мангеймские мастера поддерживали связи с яромержичскими, поэтому нельзя считать случайными и черты общности, проявившиеся как в интонационной основе их творчества, так и в приемах композиционного развертывания сонатно-симфонического цикла. Эта форма отныне становится гибкой, многообразной схемой построения симфонии, концертов, сонат, камерно-инструментальных ансамблей и других крупных про-

изведений, обычно трех- или четырехчастных, причем обращение к сонатной форме открывает очень широкие возможности, так как она включает и шапевную медленную часть и танцевальную, предшествующую стремительному финалу.

Именно в творчестве яромержицких и мангеймских мастеров определилось и построение первой части цикла сонатного аллегро с изложением и развитием двух контрастирующих тем, конфликтное сопоставление которых обуславливает и драматургическое развитие всей части и ее эмоциональную напряженность. Такое сопоставление постепенно делается наиболее характерной чертой классической венской симфонии, а также и других симфонических школ Запада, не прошедших мимо опыта мангеймцев и яромержичан.

Как известно, вплоть до нашего времени делаются попытки отрицать славянские истоки творчества мастеров мангеймской школы, которую, например, Гуго Риман в своих многочисленных работах называет «pfalzbaayerische Schule». Poleмику с Риманом начал еще в 1908 г. крупнейший австрийский музыковед Гвидо Адлер. Попытку объявить мангеймскую школу направлением, совершенно не связанным со славянской музыкой, недавно предпринял западногерманский музыковед Фридрих Блюме, несостоятельность доводов которого убедительно показал Георг Кнеплер (ГДР), приведя ряд примеров, свидетельствующих о славянском своеобразии творчества чешских мастеров, живших в Германии в XVIII в. Кнеплер напомнил также о том, что как в Австрии, так и в Германии с давних пор существовали и поныне сохранились традиции уважения к культуре славянских народов и к их вкладу в мировую культуру²⁴.

Вместе с тем нельзя пройти и мимо тех межславянских связей симфонических школ, о которых свидетельствует, например, то, что в симфониях как Мичи, так и польских композиторов XVIII в. Войцеха Данковского (существует предположение, что он был чехом по происхождению) и Францишка Съцигальского определенно проявляется стремление к монотематизму. У западноевропейских композиторов оно отмечается значительно позже, например, в Первой фортепьянной сонате Шумаца, относящейся к 30-м годам XIX в. Затронутый нами вопрос о творческих связях раннего польского и чешского симфонизма не может быть решен без привлечения достаточного количества материала, накопление которого находится пока, к сожалению, лишь в начальной стадии. Правда, например, моравский музыковед Ян Рацек обратил серьезное внимание на симфонию Ф. В. Мичи и сочинения его племянника Яна Адама Франтишка Мичи (1746—1811), уроженца Яромержиц, а выдающийся польский дирижер Станислав

²⁴ Georg Knepler. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Bd I. Berlin, 1961, S. 37—40.

Вислоцкий опубликовал в 1956 г. одну из симфоний Сыцигальского и включил ее в свой репертуар.

Ни одна из сохранившихся 27 симфоний Я. А. Ф. Мичи (большая часть его рукописных партитур хранится в Модене) до сих пор не издана. А между тем его творчество заслуживает самого серьезного внимания не только по своим высоким художественным достоинствам, которые отличаются, например, партитуру восьмичастного «Concertino notturno», изданную в 1954 г. под редакцией проф. Рацка (и, кстати сказать, примечательную также тематическими связями между всеми частями!), но и благодаря тому, что деятельность этого композитора протекала как в Вене, так и в Кракове, Кельцах, Сандомире, Галиче, Львове и других славянских городах.

5

Развитие западнославянского симфонизма в той или иной мере опиралось на громадные достижения мастеров польской, чешской и словацкой полифонической музыки, также, к сожалению, не получившие еще должного признания и оценки даже в специальной литературе, хотя и в данном случае мы вправе говорить об общеевропейском значении этих достижений.

Значительная часть произведений мастеров польской полифонии утеряна. Но в начале XVII в., благодаря поддержке при-маса Польши, в Венеции было издано свыше 120 вокально-инструментальных многоголосных произведений Миколая Зеленьского. Мы не знаем ни дат рождения и смерти, ни биографии этого композитора так же, впрочем, как и многих других польских музыкантов. На основании обоих венецианских сборников, содержащих произведения Зеленьского, мы можем лишь судить о его блистательном мастерстве и той самобытности его творчества, которая сохранилась, несмотря на глубокое усвоение им опыта итальянских мастеров.

Анализируя произведения Зеленьского, можно установить в них так же, как в сочинениях его предшественников — Вацлава из Шамотул, Миколая Гомулки (положившего в середине XVI в. на музыку 150 псалмов в польском переводе Яна Кохановского) и Марцина Леополиты, отчетливо выраженные интонации польской народной песенности, преимущественно лирические. Чрезвычайно интересно, что у всех названных польских композиторов именно в этой лирической сфере ощущается также близость к древнечешским «Марииным планктам» (т. е. плачам), относящимся к XIV в. Это чрезвычайно важное доказательство исконной общности интонационных истоков западнославянского песенного творчества.

В XVII в., ознаменовавшемся войнами и потрясениями в жизни Польши, в музыке польских мастеров отмечается значительное

расширение эмоционального диапазона. В произведениях Марцина Мельчевского широкая, чисто славянская распевность сочетается с драматизмом и эпической сосредоточенностью, подчерпнутой, как можно полагать, из традиций заповей дум. Дальнейшее обогащение круга образов и в соответствии с этим средств выразительности польской многоголосной музыки связано с именем автора «*Missae pulcherrimae*» («Прекраснейшей мессы») Бартоломея Пенкеля, скончавшегося в 1670 г.

Через всю мессу Пенкеля проходит тема, по характеру своему близкая не к григорианским мелодиям, а к героико-драматическим народным песням, в той или иной мере связанным с жанром думы. Написанная за несколько десятков лет до Высокой мессы Баха «Прекраснейшая месса» Пенкеля уже является блистательным образцом смелого «очеловечивания» библейских образов, насыщения их мыслями, чувствами и переживаниями современности. Слова немецкого музыковеда — теолога Карла Вайнманна — о том, что Высокая месса «для литургии неприемлема» и что в мессах Баха нет ничего католического, кроме текстов, могут быть в полной мере отнесены и к «Прекраснейшей мессе» Пенкеля, которого мы вправе отнести к числу выдающихся художников-гуманистов.

Нет сомнения, что веяния итальянского Ренессанса способствовали развитию гуманистических устремлений в польской литературе и искусстве, но преломлялись достаточно своеобразно. Нельзя забывать, например, что «Польский дворянин» Лукаша Гурицкого, написанный под непосредственным впечатлением книги Кастильоне (но отнюдь не являющийся, разумеется, ее «переводом»), оказался для писателя поводом для рассуждений о самобытности и родстве славянских языков и даже о музыкальных инструментах, на которых играли различные слои населения, причем к скрипке, особенно распространенной в народе, шляхта, относилась так же пренебрежительно, как к родному языку.

Вопрос о национальном своеобразии культуры в Польше так же, как и в других странах, был и вопросом связи культуры с ее исконно славянскими народными истоками, а тем самым и кардинальной проблемой путей ее развития. Содержание художественных образов, рожденных идейными устремлениями мастера, определяло и поиски средств выразительности, приводившие к замечательным творческим успехам, мимо которых не проходили и зарубежные мастера. И, говоря о «Прекраснейшей мессе» Пенкеля, мы вправе не только причислить ее к наиболее выдающимся достижениям добаховского периода развития европейской музыки, но и отметить своеобразие полифонического искусства композитора, обусловленное своеобразием ритмо-интонационного строя его музыки.

Проникновение этого строя в зарубежные страны обуславливалось как распространением основанных на нем произведений

западнославянских композиторов, так и приобщением этих композиторов к богатствам народного творчества Польши, Чехии и Словакии. Георг Филипп Телеманн, старший современник Баха, писал в своей автобиографии о «правдивой красоте» польской народной музыки и считал, что в ней «коренится гораздо больше хорошего, чем это умеют применить соответствующим образом». Стремление развить характерные черты польской народно-танцевальной музыки ощущается в клавирных «польских сонатах» Телеманна.

Славянизмы в музыке Баха общеизвестны. Ярослав Ивашкевич, говоря о первом Бранденбургском концерте, отмечает, что «завершающая это произведение *P o l a s s a* имеет характер по-прежнему то оберка, то краковяка»²⁵. В творчестве Баха и его учеников, в особенности Кирибергера, долгое время жившего в Польше, нередко встречаются ритмы и мелодические обороты польских народных танцев. Вместе с тем, как отмечают венгерские музыковеды Б. Саболичи и Денес Барта; в баховскую музыку (в частности, в полонез из знаменитой си-минорной сюиты для оркестра) проникают как чехо-моравские и словацкие, так и венгерские народно-песенные интонации²⁶.

Мы не знаем точно, с творчеством каких именно западнотославянских композиторов был знаком Бах, но есть основания утверждать, что ему были известны произведения не только польских мастеров, славившихся в Саксонии, но и чешских. Сохранились, например, сведения, что Бах высоко ценил Йозефа Фердинанда Норберта Сегера (1716—1782), одного из талантливейших учеников Богуслава Черногорского (1684—1742), прозванного «чешским Бахом».

Богуслав Черногорский и его школа сыграли громадную роль в развитии международных связей западнотославянской музыки. Выдающийся мастер органной и вокальной полифонической музыки Богуслав Черногорский насытил ее необычайной мелодической выразительностью, почерпнутой из славянской песенности, близость к которой ощущается и у его учеников, в том числе у Сегера, в свою очередь воспитавшего многих чешских композиторов. Контрапунктические построения Богуслава Черногорского так же, как и Бартомея Пенкеля, примечательны своей широкой и гибкой распевностью, которая постепенно делается одной из наиболее отличительных черт славянской музыки.

Педагогическая деятельность Богуслава Черногорского протекала как в Праге, так и в Падуе, где он жил некоторое время. По мнению падуанского ученого Джанриналдо Карли, именно

²⁵ J a r o s ł a w I w a s z k i e w i c z. Pierwiastki ludowe w muzyce J. S. Bacha. Almanach «Jan Sebastian Bach». Czytelnik, 1951, str. 97.

²⁶ B e n c e S z a b o l c s i. Bach, die Volksmusik und das osteuropäische Melos. Dénes Bartha. Bemerkungen zur Stilisierung der Volksmusik, der Polonaisen, bei Bach. «Bach-Probleme», Leipzig, 1950.

занятия с «чешским падре» имели особенно большое значение для формирования творческого облика учившегося у него знаменитого композитора и скрипача Джузеппе Тартини. Учениками Богуслава Черногорского были и другие итальянские музыканты. И если некоторые произведения зарубежных авторов иногда приписывались Богуславу Черногорскому, то ошибочность такой атрибуции объясняется, видимо, его влиянием, проявившимся в этих произведениях.

Возможно, что учеником Богуслава Черногорского был и один из крупнейших мастеров чешской полифонической школы Ян Зах (1699—1773), в контрапунктических произведениях которого отчетливо ощущается своеобразие, присущее этой школе. Судя по тому, что рукописи и рукописные копии многих произведений Заха обнаружены в архивных фондах не только Чехословакии, но и Германии, Австрии и Италии, произведения эти получили широкое распространение в Европе, где завоевала признание и музыка Франтишка Игнаца Антонина Тумы (1704—1774), изучавшего, как полагают его биографы, теорию композиции и игру на органе также под руководством Богуслава Черногорского. Как установил Н. Ф. Финдейзен, Тума служил некоторое время при императорском дворе в Петербурге в качестве композитора и капельмейстера.

Творческие интересы всех названных нами чешских композиторов были необычайно многообразны и побуждали их обращаться к различным жанрам инструментальной и вокально-инструментальной музыки. Продолжая традиции «чешского Баха», они насыщали свою музыку тем обаянием славянской песенности, которое привлекало внимание многих европейских музыкантов. Чешские композиторы нередко обращались и к польским танцевальным жанрам. В одной из симфоний Заха второй частью является полонез. Отметим также, что симфонии Заха, написанные для струнного оркестра, были созданы еще до того, как Гайдн начал работать над своими первыми симфониями и квартетами. Таким образом, предшественниками первого венского классика были в области симфонической и камерной музыки не только яромержицкие и мангеймские мастера, но и представители школы Богуслава Черногорского.

6

Оставляя в стороне вопрос о славянском происхождении Гайдна, давно уже привлечший внимание его биографов и получивший освещение даже в музыкальной лексикографии²⁷, отметим, что вслед за Серовым о «славянизмах» в музыке Гайдна и Бетховена писал, притом уже гораздо подробнее и с привлечением

²⁷ Например, в последних изданиях «Grove's Dictionary of Music and Musicians».

конкретного фольклорного материала, выдающийся хорватский ученый Франьо Ксавер Кухач (1834—1911)²⁸. Однако его интересовали лишь южнославянские истоки гайдновской мелодики, тогда как в творчестве Гайдна прослеживаются также связи с западнославянской музыкой.

Связи эти установились еще в те годы, когда будущий великий композитор цел в 1740—1749 гг. в хоре мальчиков венского кафедрального собора св. Стефана, принимая участие в исполнении произведений Франтишка Тумы и других чешских композиторов. В этих произведениях уже в той или иной мере проявилось своеобразие, почерпнутое из чешских народно-песенных истоков, с которыми Гайдн продолжал знакомиться и в последующие годы. В 1759 г. он жил поблизости от Пльзни, в Лукавицком замке графа Морцина. Именно там сочинена была Первая симфония Гайдна.

В дальнейшем Гайдн, живя в Вене и в Бургенланде, постоянно встречался с чешскими композиторами, чутко воспринимавшими его громадный творческий опыт. С другой стороны, личное общение с этими композиторами так же, как изучение их произведений, углубляло интерес Гайдна к чешской музыке. Выразительная напевность многих сочинений Гайдна, в том числе и симфонии, включая Лондонские, зачастую достигается путем развития чисто славянских интонаций, но важно отметить также, что приемы этого развития в его сонатно-симфонических произведениях свидетельствуют об усвоении профессионального опыта, накопленного в данной области упоминавшимися уже чешскими композиторами.

Величайший композитор Запада также не прошел ни мимо мелодических красот славянской песенности, ни мимо творчества чешских мастеров. В частности, интонации и мелодические обороты моравских народных песен слышатся уже в обеих ранних операх двенадцатилетнего Моцарта («Мнимая простушка» и «Бастьен и Бастьенна»), написанных им тотчас же по возвращении из Моравии, где мальчик провел два с половиной месяца вместе с отцом и сестрой²⁹. Это не было случайным увлечением богатствами моравского фольклора, а естественным расширением интонационной сферы моцартовской музыки, вобравшей в себя многие славянские черты. Крайне показательна в этом отношении интермедия в «Пиковой даме», написанная Чайковским в стиле Моцарта и основанная на подлинной мелодии моравской песни «У меня был голубок», проходящей в одном из клавирных концертов, созданных Моцартом значительно позже его ранних опер.

На протяжении всей своей жизни, так трагически оборвавшейся, Моцарт проявлял пристальное внимание к творчеству

²⁸ См.: «Josip Haydn i hrvatske narodne popievke» (Загреб, 1880) и «Beethoven i hrvatske narodne popievke» (Загреб, 1894).

²⁹ Два месяца в Оломоуце и две недели в Брно.

чешских композиторов. Его интересы в области славянской музыки заслуживают специального исследования. Во второй половине семидесятых годов XVIII в. Моцарт посетил Мангейм и близко сошелся с некоторыми музыкантами, жившими там. В Вене он встречался с Яном Адамом Франтишком Мичей (жившим в столице империи до 1785 г.), а в Италии и в Мюнхене с «божественным чехом» — Йозефом Мысливечком (1737—1781), произведения которого Моцарт ценил настолько высоко, что даже советовал своей сестре выучить наизусть клавирные сонаты чешского композитора.

Отношения Моцарта с чешскими музыкантами отличались сердечностью³⁰. 11 октября 1777 г. в письме к сестре он назвал Мысливечка «человеком, полным огня, одушевления и жизни». Вместе с тем, Моцарта несомненно привлекало творчество своих славянских собратьев, ибо, например, в письме к сестре от 13 ноября того же года он дал такую характеристику музыке Мысливечка: «Это мелодии, которые нравятся всем людям и производят сильное впечатление, если их исполнять с надлежащей точностью».

В этой оценке содержится признание общечеловеческой значимости и силы эмоционального воздействия славянской песенности. Мы не вправе, разумеется, отрицать связей оперного творчества Мысливечка с итальянской школой, но вместе с тем анализ многих произведений «божественного чеха», в том числе симфоний, квартетов, виолончельного концерта и некоторых арий, позволяет установить в них наличие не только интонаций, но даже почти буквально цитируемых мелодий чешских народных песен.

Изучение песенных истоков творчества чешских композиторов нередко приводит к пониманию «генеалогии» интонационного строя моцартовской музыки. Так, пленительно лирические интонации арии Церлины «Vedrai, carino» (из второго акта «Дон Жуана») уже слышатся в *Andante cantabile* — первой части оркестрового Дивертисмента Я. А. Ф. Мичи³¹.

Было бы, однако, по меньшей мере наивно говорить о каких бы то ни было «заимствованиях» у Моцарта или «влияниях» на великого мастера. Его творческий облик отличался ярчайшим своеобразием, в котором запечатлелись не только гениальная музыкальная одаренность, но и поистине леонардовская интеллектуальная мощь, обусловившая небывалое эмоциональное богатство художественных образов и этическую направленность всей деятельности Моцарта. И, если в процессе создания своего музыкального языка, в процессе тщательного отбора средств выразительности Моцарт обратился также к интонациям западнославянской песенности, то объясняется это тем, что он в полной мере оценил

³⁰ Некоторые данные об этих отношениях собраны в цикле статей: Antonín Němec. W. A. Mozart a jeho vztahy k českým skladatelům a hudebním umělcům. «Zpravy Bertramky». Praha, 1955, X—XII.

³¹ Музыкальный архив Моравского музея в Брно, шифр A17803.

ее красоту и благородство. Гайдна привлекала преимущественно песенно-танцевальная стихия славянской музыки. Моцарт постиг ее лирическое обаяние и драматическую силу.

В истории зарубежных связей музыкальной культуры западнославянских народов Моцарт занимает особое место. Причину той огромной популярности его музыки в славянских странах, которая началась пражскими триумфами, следует искать не только в непреходящей ценности моцартовского творчества, но и в его созвучности устремлениям и идеалам художественной культуры славянства³². Именно этой созвучностью объясняется и то, что славянские композиторы написали громадное количество произведений на темы Моцарта: таковы, например, многочисленные вариации и фантазии Йозефа Йелинка (1758—1825), знаменитые шопеновские вариации на тему из «Дон-Жуана», полонез Козловского и вариации Глинки на темы из «Волшебной флейты», «Моцартиана» Чайковского, наконец, «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова, положившего на музыку трагедию Пушкина, которую Лядов назвал «лучшей биографией Моцарта».

Не будет преувеличением сказать, что именно музыка Моцарта способствовала распространению в славянских странах творчества и других венских классиков, хотя нередко ее противопоставляли творчеству Бетховена, к которому Шопен, как известно, относился критически. «Славянизмы» проникли в бетховенскую музыку отчасти благодаря усвоению и развитию традиций Гайдна и Моцарта, отчасти благодаря непосредственному общению в Вене и в Праге с чешскими музыкантами, их творчеством и исполнительским искусством. Помимо того же Йелинка Бетховен встречался с Антонином Рейхой, Яном Вацлавом Томашком, Яном Гуго Воржишком и многими другими чешскими композиторами, хорошо знал их произведения и высоко ценил некоторые из них.

В творчестве Бетховена получают развитие интонации как западнославянской, так и восточнославянской песенности, в том числе и русские, с которыми мастер знакомился, изучая, в частности, сборник, составленный поселившимся в России чехом Яном Прачем. Воспринимая и вслед за Моцартом творчески пересмысливая все эти интонации, Бетховен в свою очередь оказывал воздействие на процесс формирования музыкальной классики славянских народов. Он был особенно близок Глинке, Сметане и Дворжаку, многое воспринявшим из его творческого опыта.

В творчестве Шуберта — четвертого венского классика — также ощущается близость к славянской песенности, причем здесь стоит вспомнить тонкое замечание Бернарда Шоу, указавшего, что истоки шубертовской лирики восходят к моцартовской «Фиа-

³² Т. Ливанова. Моцарт и русская музыкальная культура. М., 1956; Hieronim Feicht. Mozart w Polsce. Warszawa, 1956; русский перевод в кн.: Избранные статьи польских музыковедов. Сб. II, М., 1959.

лочке». Подобно Бетховену, Шуберт воспринимал славянские интонации как через призму моцартовской музыки, так и непосредственно, находясь в атмосфере венского музыкального быта, насыщенной этими интонациями.

В процессе развития европейской фортепьянной миниатюры чрезвычайно важную роль сыграли многочисленные пьесы рано угасшего Воржишка (1791—1825), развивавшего инструментальными средствами певучие мелодии. Этим путем пошли также Шуберт и Шуман, внимательно изучавшие достижения чешского композитора.

Но наряду с лирикой, делавшейся все более и более тревожной уже в ранний период развития романтизма, в европейской музыке на первый план выдвигался мятежный, бунтарский дух бетховенского симфонизма, приобретающего новое значение в эпоху нарастания освободительного движения в западнославянских и других странах. Горячий отклик в сердцах человечества получали революционные порывы Третьей и Пятой симфоний Бетховена и призывы к моральному совершенствованию, созидательному труду и братству народов, прозвучавшие в моцартовской «Волшебной флейте» и в бетховенской Девятой симфонии.

Ярчайшим выражением освободительных порывов западнославянских народов явилось в первой половине XIX в. творчество Шопена, еще в детские годы прозванного «польским Моцартом».

7

Если творчество Моцарта открыло новый период в истории европейской музыкальной культуры и вместе с тем обобщило весь ее громадный художественный опыт, то творчество Шопена, знаменовавшее собою наряду с творчеством Глинки завоевание славянской музыкой подлинно классических высот, также было яркой кульминацией длительного периода развития этой культуры, кульминацией, достигнутой благодаря не только гениальной одаренности композитора, но и напряженным исканиям его предшественников и старших современников.

Вплоть до самого последнего времени разносторонняя деятельность этих мастеров оставалась недооцененной и очень мало изученной: лишь в 1956 г. были опубликованы «Письма о музыке» Михала Клеофаса Огиньского и первые монографии о Марии Шимановской и Феликсе Островском, а в 1957 г. — первая книга о Юзефе Эльснере, но до сих пор нет исследований ни о Курпийском, ни о Лесселе, не говоря уже о Матеуше Звезховском (1720—1766), Реквием которого, найденный в Гнезне, впервые после двухсотлетнего забвения прозвучал в Польше в конце 1959 г.

Это произведение талантливого выходца из канторской среды, которая на протяжении нескольких веков была как в Польше, так и в Чехии и Словакии надежной хранительницей самобытного

народно-музыкального искусства, представляет совершенно исключительный интерес, в частности, как одно из наиболее весомых доказательств непрерывности процесса развития польской музыкальной культуры. И в данном случае нельзя говорить о какой бы то ни было обособленности этого процесса, так как в Реквиеме Звезховского можно без труда уловить отголоски итальянской музыки XVIII в. Но не они определяют средства выразительности и содержание произведения.

Так же, как в сеполькрах Франтишка Вацлава Мичи, в произведении великопольского мастера наблюдается резкий разрыв между текстом и музыкой. Но если у Мичи такой разрыв характеризуется «буффонными» колоратурами, не вяжущимися, казалось бы, с религиозным содержанием текста сеполькров, то у Звезховского отчетливо ощущается песенно-танцевальная основа музыки. Оказывается даже, что уже за несколько десятков лет до Шопена польский композитор применял музыкальное развитие, опираясь на существующие с давних пор принципы «сюитного» сопоставления народно-танцевальных жанров.

Восходящее к народным традициям чередование танцев «chodzopiego» и «gopionego», разумеется, нельзя считать отвечающим нормам культового обихода, но было бы ошибкой полагать, что такого рода резкое нарушение этих норм явилось следствием непонимания их композитором. С нашей точки зрения, здесь может идти речь лишь об одной из стадий (в данном случае, чрезвычайно важной, ибо это уже — подступы к шопеновской эпохе) давнего и закономерного процесса обмирщения церковной музыки, происходившего во многих странах: достаточно вспомнить хотя бы «Прекраснейшую мессу» Пенкеля и «Высокую мессу» Баха.

Реквием Звезховского не дает никаких оснований говорить об «этнографизме» музыки. Гнезненский мастер был старшим современником Игнация Красицкого, литературная деятельность которого началась именно в шестидесятые годы XVIII в., принесшие Реквием. Просветительское движение в Польше ознаменовалось усилением борьбы за самобытность не только польского языка, борьбы, опиравшейся на патристические традиции, которые определили прогрессивность демократических течений, возникших в Польше еще в эпоху Возрождения. В предисловии к своим 150 псалмам, написанным на польские тексты Яна Кохановского тотчас же после выхода их из печати, Миколай Гомулка заявил, что создал эти произведения «dla Polaków, dla naszych prostych domaków». Эти слова как нельзя лучше объясняют характер музыки и Пенкеля и Звезховского и многих других польских мастеров.

Эпоха Просвещения ознаменовалась в Польше созданием первых польских опер. Авторами их были Михал Казимеж Огиньский (1731—1803), Винцентий Лессель (ок. 1750—1825?), словак Мацей Каменьский (1734—1821) и чех Ян Стефани (1746—1829).

Двое последних работали в содружестве с «отцом польского театра» Войцехом Богуславским, придававшим громадное значение развитию своеобразных черт польского музыкально-сценического искусства и поддерживавшим творческие искания в этой области. В процессе этих исканий композиторы все чаще и чаще обращались к крестьянскому и городскому музыкальному быту, к ритмам и интонациям народных песен, а также танцевальных мелодий, звучащих и в ранних польских балетах.

Вместе с тем, вскоре после постановок первых польских опер и балетов, на основе национальных польских танцев возникают произведения «пе для танца». Михал Клеофас Огиньский (1765—1833), судя по всему, был первым композитором, который сознательно (как он сам подчеркнул это в своих «Письмах о музыке») начал придавать своим многочисленным полонезам черты «поэдности». Отходя все дальше и дальше от бытового танца, Огиньский постепенно намечал такие жанровые разновидности, как полонез-элегия, полонез-ноктюрн, полонез-баллада и т. п. Если стимулами первых лирических полонезов Огиньского, появившихся в начале девяностых годов XVIII в., были интимные переживания, описанные композитором в духе сентиментальной поэзии того времени, то в «Прощании с родиной» и других его полонезах уже звучали «побудки» восстания 1794 г. и поступь польских легионов и скорбные отклики на их трагическую участь. Польская инструментальная миниатюра, творцом которой по праву следует считать Огиньского, насыщалась многообразным эмоциональным содержанием, рожденным событиями десятилетий, ознаменовавшихся политическим упадком и разделами Речи Посполитой, культурно-национальным подъемом, ростом освободительного движения, изнурительными войнами и восстаниями 1794 и 1830—1831 гг.

Уже Э. Т. А. Гофман проникательно оценил полонезы Огиньского, вслед за которым к этому жанру обратились Юзеф Эльснер (1769—1854), Мария Шимановская (1789—1831), Феликс Островский (1802—1860) и другие мастера, развивая черты «поэдности», расширяя эмоциональный диапазон и средства выразительности инструментальной музыки, развивавшейся параллельно с вокальной и музыкально-сценической. И в этих областях творчества юный Шопен застал уже выдающиеся достижения, включая оперы своего учителя Эльснера, а также Кароля Курпиньского (1785—1857), под управлением которого в Варшаве исполнялись шопенские произведения для фортепьяно с оркестром.

Варшавский период жизни Шопена, навсегда покинувшего родину меньше чем за месяц до «белведерской ночи», характеризуется прежде всего тем, что в эти годы уже сформировался творческий облик композитора, глубоко постигшего безграничные богатства народных истоков отечественной музыки и усвоившего накопленный в ней профессиональный опыт. В самых ранних

полонезах, мазурках и других произведениях Шопена, примечательных своей самобытностью, отчетливо ощущается стремление к «поэзности», которое увенчалось впоследствии гениальными творческими завоеваниями. Шопену не суждено было стать участником восстания 1830—1831 гг., но он жил в атмосфере подготовки к нему, был дружен с его организаторами и участниками. Именно этим объясняется героико-драматическая окраска многих произведений композитора, созданных еще в Варшаве, тогда как в Сонате с похоронным маршем, некоторых прелюдиях, Фантазии и поздних полонезах он воплотил трагедийные образы, непосредственно связанные с поражением ноябрьского восстания, а виолончельная Соната явилась откликом на Краковское восстание 1846 г.

Большие полонезы, баллады и последняя фортепьянная соната Шопена отличаются высокими героическими порывами. Эти порывы были рождены не парижскими и ноанскими «наставниками», вводимыми в биографию композитора невежественными литераторами, а твердой верой мастера в освободительные силы народа. Красноречивее всяких аргументов слова самого Шопена, которые он написал за полтора года до смерти: «Галицийские крестьяне подали пример волыньским и польским, и не обойдется без страшных вещей, но кончится все это тем, что будет Польша великоленная, сильная, одним словом — Польша. . .»³³.

Гениально развивая «поэзные» жанры, достигнув классических высот музыкального творчества, поразительной красоты образов и своеобразия средств выразительности, Шопен утвердил в музыкальном искусстве эти жанры и средства, сделав национальное общечеловеческим. Но значение шопеновской музыки в истории мирового процесса культурного развития заключается прежде всего в том, что вместе с нею достоянием человечества стали возвышенные чувства, мысли и стремления великого славянского народа, запечатлевшиеся в произведениях, созданных на народно-национальной основе. Впервые в истории музыки музыкальное произведение стало воплощением национальной трагедии, каким является шопеновская Соната с похоронным маршем.

Национальные традиции польской музыкальной культуры принято называть шопеновскими в силу того, что именно Шопен указал пути ее развития, мировое значение которого неизмеримо возрастало по мере того, как опыт варшавского мастера воспринимали не только его славянские братья, но и Шуман, Лист, Вагнер, Дебюсси, Равель³⁴ и другие крупнейшие композиторы Запада. Значение этого опыта отметили Лист в своей книге о Шопене и Шуман в многочисленных статьях, в которых получили

³³ Korespondencja Fryderyka Chopina, Warszawa, 1955, t. II, s. 239—240.

³⁴ О связях французских мастеров со славянской музыкой см. вступительные статьи автора доклада к шеститомному собр. соч. Дебюсси (Музгиз, 1964) и к трехтомному собр. соч. Равеля (Музгиз, 1962).

оценку десятки произведений как самого Шопена, так и Марии Шимановской, Игнация Феликса Добжиньского, Юзефа Бжовского, Юзефа Новаковского и других польских композиторов. Что же касается славянских стран, то величайшие представители их музыкальных культур, начиная с Глинки и Сметаны, не раз заявляли о близости своего творчества к творчеству Шопена.

С именем Шопена связаны и высшие достижения западнославянского исполнительского искусства. И в данном случае не следует забывать, что достижения эти подготовлялись как польскими, так и чешскими национальными школами, причем некоторые представители этих школ, в частности уже упоминавшийся Дусик (его называли на Западе Жаном Дюссеком), польские скрипачи Щенсны (Феликс) Яневич (1762—1848) и Кароль Липиньский (1790—1861) завоевали европейскую славу. Игра их отличалась той удивительной напевностью, которая была почерпнута из задушевности славянской песенности, придавшей особенную выразительность и произведениям этих мастеров. В полной мере относится это и к другу Шопена — «чешскому Паганини», как называли Йозефа Славика (1806—1833). Во второй половине XIX в. крупнейшими представителями западнославянских исполнительских школ были Генрик Венявский (1835—1880) и Фердинанд Лауб (1832—1875), которые много лет провели в России и, подобно Эдуарду Направнику, были связаны творческой дружбой со многими русскими музыкантами. В их творчестве плодотворно развивались как национальные, так и общеславянские черты.

8

Становление чешской музыкальной классики так же, как и польской, было связано с подъемом национально-освободительного движения. В период восстаний 1848—1849 гг. созрели первые замыслы произведений Сметаны, получившего, однако, лишь после падения реакционного баховского правительства возможность развернуть на родине свою многостороннюю деятельность. Создание «Бранденбургцев в Чехии», «Проданной невесты», «Далибора», «Либуше» и других опер Сметаны было обусловлено намерением композитора довести до высокого уровня различные музыкально-сценические жанры и насытить их высоким патриотическим содержанием, раскрытым национально-своеобразными средствами выразительности.

Сметана придавал большое значение творчеству своих предшественников, в частности, Томашка и Воржишка. Он пропагандировал произведения чешских мастеров прошлого, указывая на славянские истоки музыки западноевропейских классиков, включая венских мастеров и Глюка, в ранних комических операх которого, как отмечает Т. Н. Ливанова, «мелодика подчас особенно

близка народной (в частности, чешской) песне, носит яркий танцевальный характер»³⁵. Уже в юношеских фортепьянных пьесах Сметаны проявилось стремление к «поэчности», причем, по признанию композитора, он хотел на основе польки достичь того же, чего достиг Шопен в своих мазурках. Нельзя не заметить также, что стихия «балладности», нередко выступающая на первый план в музыке обоих композиторов, роднит ее с творчеством Мицкевича и Эрбена.

Рост национального самосознания чешского народа, ярко ощущающийся и в литературе и в изобразительном искусстве, запечатлелся не только в музыкально-сценических и фортепьянных, но и в симфонических произведениях Сметаны, прежде всего в грандиозном цикле «Моя Родина», в которой получили обобщенные героические образы прошлого, поэтические картины родной земли, народного быта, легенд и преданий и твердая вера в освободительные силы, ведущие чехов к светлому будущему. В поисках национально-своеобразного музыкального языка Сметана создал сложный интонационный сплав, диапазон которого простирается от древних гуситских напевов (темы которых развиваются также в «Либуше») до песенно-танцевальных мелодий середины XIX в.

Период становления русской, польской и чешской музыкальной классики ознаменовался особенно интенсивным развитием межславянских культурных связей. В России подолгу жили Юзеф Козловский, Михал Клеофас Огиньский, Островский, Мария Шимановская, Ян Прач, Йозеф Йеништа и многие другие западнославянские музыканты³⁶, общавшиеся с Глинкой, его современниками и преемниками, неизменно поддерживавшими своих славянских собратьев.

Уже в тридцатые годы музыка Шопена завоевала признание в России, Чехии и Словакии. К числу лучших исполнителей шопеновских произведений принадлежал Сметана, слушавший их в исполнении Листа. Великий венгерский музыкант сделал больше, чем кто-либо другой для пропаганды и популяризации во всей Европе творчества Глинки, Шопена, Монюшко, Балакирева, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского, Сметаны, своего ученика Зарембского и многих других славянских мастеров, постиг и воспринял опыт величайших из них³⁷.

Передовые деятели русской музыкальной культуры положили начало широкому признанию романсов, кантат и опер Монюшко.

³⁵ Т. Л и в а н о в а. История западноевропейской музыки до 1789 года. Музгиз, 1940, стр. 547.

³⁶ Наиболее полный список чешских музыкантов, работавших в России, см. в кн.: Josef Schánilec. Za slávu. Čtení o českých hudebnících v Rusku. Praha, 1961.

³⁷ Роль Листа в развитии международных связей славянских культур освещена в работе И. Ф. Б э л з а. Лист и культура славянских народов. «Вестник истории мировой культуры», М., 1961, № 6.

Первым зарубежным исполнением «Проданной невесты» была ее постановка в Петербурге, последовавшая вскоре за пражскими постановками опер Глинки, которыми дирижировали приезжавший в столицу Чехии Балакирев и Сметана, под управлением последнего там прозвучали также симфонические произведения Глинки, Даргомыжского, «Галька» Монюшко, а также «Мария Потоцкая» Мехуры — первая чешская опера на русский сюжет («Бахчисарайский фонтан» Пушкина).

О значении постановок глинкинских опер в Праге подробно писал в своих известных статьях В. В. Стасов, цитировавший многочисленные отклики чешской печати на это важное событие, в частности слова одного из критиков, назвавшего Глинку «великим основателем славянской оперы, доказавшим, что славяне имеют собственную речь и что им незачем говорить языком чужим». Уже в «Бранденбургцах в Чехии» определяется трактовка народа как вершителя своей судьбы, являющаяся основой героико-патриотической концепции «Ивана Сусанина» Глинки и намечившаяся уже до известной степени в «Ядвиге» его друга Курпиньского.

Глинкинский тезис об искусстве, творимом народом, нашел отражение в высказываниях и творческой практике как Монюшко, так и Сметаны, Дворжака и других чешских композиторов. Сопоставляя танцевальные пьесы Сметаны и Монюшко, можно отметить у обоих мастеров восходящее к шопеновской традиции понимание жанра инструментальной миниатюры как картины из жизни народа. Это относится и ко многим танцевальным сценам в операх обоих мастеров.

Говоря о межславянских связях в области музыки, нужно отметить также ряд творческих замыслов русских композиторов, обращавшихся к чешским мелодиям (симфоническая поэма «В Чехии» Балакирева) и к истории чешского народа (неосуществленный замысел симфонической поэмы «Юрий Подебрад» Мусоргского). Наиболее монументальным произведением, основанным на польской тематике, явилась посвященная памяти Шопена опера «Пан воевода» Римского-Корсакова, которому так же, как Балакиреву и Глазунову, принадлежит ряд оркестровых шопеновских произведений. Напомним также, что именно Балакирев был инициатором сооружения памятника Шопену в Желязовой Воле и вместе с братьями Рубинштейнами основоположником русской традиции исполнения шопеновской музыки, отмеченного высоким художественным совершенством и глубоким пониманием ее идейно-художественного содержания и той силы, которая дала Шуману повод назвать пьесы Шопена «пушками, открытыми в цветах».

Творческие связи с Шопеном закрепились в музыке Глинки, Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, Танеева, Лядова, Глазунова, Рахманинова (написавшего большой цикл вариаций

на тему двадцатой прелюдии Шопена) и особенно Скрябина. Взволнованный драматизм творца «Прометея» был рожден тревожной атмосферой революционного предгрозя, стремления которого перекликались с запечатлевшимися в шопеновской музыке порывами борцов «за вашу и нашу свободу». Этот лозунг восстания 1830—1831 гг. получил отражение и в революционной солидарности славянских народов и в художественных образах литературы и искусства.

Вслед за Листом и другие виднейшие деятели мировой музыкальной культуры по достоинству оценили достижения как русских, так и западнославянских композиторов. Брамс во многом содействовал признанию музыки Дворжака, завоевавшего в последней четверти XIX в. европейскую, а затем и мировую славу. Приезды Дворжака в Россию, Англию, США и другие страны неизменно сопровождались успехом, обусловленным общечеловеческим содержанием его музыки. Продолжая героико-патристические традиции Сметаны, Дворжак многое воспринял также от лиризма Чайковского, с которым он был дружен, и от гоголевско-корсаковской поэтизации народной сказочности, особенно колоритно преломившейся в «Русалке».

Одной из характернейших черт творчества Дворжака следует признать его стремление к обобщению образного строя и средств выразительности музыки всех славянских народов — западных, восточных и южных. Наиболее ярко проявилось это стремление в «Славянских танцах» Дворжака, хотя чувствуется оно и в его опере «Ванда», героиней которой является легендарная польская княжна, и в «Димитрии», где звучат древнерусские напевы. Творческое развитие в музыке Дворжака получили словацкие песенно-танцевальные интонации, привлекавшие, впрочем, внимание чешских композиторов еще в досметановский период.

Огромный резонанс приобрела последняя симфония Дворжака («Из Нового Света»), в которой он смело развил ритмоинтонационные особенности негритянского и индейского народного творчества, воплотив в этой партитуре образы «Гайаваты» и сочетав их с образами национального гнета и освободительных порывов. В качестве директора Национальной консерватории в Нью-Йорке Дворжак содействовал развитию музыкальной культуры США, а его симфония «Из Нового Света», остававшаяся, по словам композитора, «настоящей чешской музыкой», была таким же высоким образцом для американских музыкантов, каким испанские увертюры Глинки были для испанских композиторов.

Слова Дворжака о «настоящей чешской музыке», относящиеся к его симфонии и другим произведениям, созданным в краткий период жизни композитора в западном полушарии, не находятся в противоречии с тем фактом, что в этих произведениях звучат казалось бы «чужеродные» темы. Наоборот, отличительной чертой музыкальной культуры славянских народов всегда было стремле-

ние к сохранению национальной самобытности, сочетавшееся с отсутствием национальной ограниченности и постоянным обогащением идейно-художественного содержания и средств выразительности, в частности интонационного строя (в русской музыке это наиболее отчетливо проявилось в «ориентализмах» Глинки и мастеров «могучей кучки»). Синтетически обобщая богатства отечественного народного творчества, чутко относясь к музыке других народов, славянские композиторы в большинстве своем стремились воплотить в своих произведениях гуманистические передовые идеи человечества, объединявшие различные народы.

Сила художественного воплощения этих идей была такова, что творчество русских и западнославянских композиторов делалось общечеловеческим достоянием, приобретаая все более и более важное значение в процессе развития мировой музыкальной культуры. Громадную роль в этом отношении сыграл период становления музыкальной классики славянских народов.

9

В процессе дальнейшего развития классических традиций музыкальной культуры славянских народов и расширения ее международных связей традиции эти обогащались новым содержанием, новыми средствами выразительности. Если Лист многое почерпнул из творческого и дружеского общения с русскими, польскими, чешскими и словацкими музыкантами, то в свою очередь созданные им жанры программной музыки и приемы инструментального изложения еще при жизни мастера получили живой отклик во всех славянских странах. Так, продолжая шопеновские традиции и сохраняя национальное своеобразие, Юльиуш Зарембский в своих полонезах и других фортепьянных пьесах применил колористические находки Листа и существенно дополнил их, разработав технику игры на фортепьяно с двойной клавиатурой.

Несомненная близость к листовским симфоническим поэмам ощущается в творчестве Мечислава Карловича (1876—1909), который вместе с творчеством Кароля Шимановского (1882—1937) знаменует новый период расцвета польской симфонической музыки. Говоря об этом периоде, следует прежде всего заметить, что он характеризуется дальнейшим укреплением межславянских культурных связей и что взаимосвязи польской и чешской музыки с русской музыкой оказались наиболее прочными и плодотворными, причем огромную роль в этом отношении сыграли гуманистические стремления, объединявшие передовых деятелей славянских народов.

Любимым композитором Карловича был Чайковский, любимым писателем — Тургенев, под впечатлением «Трех встреч» которого писалась последняя поэма Карловича «Эпизод на

маскараде». Лирическая взволнованность Чайковского, его патетические отклики на «все, что мешает быть счастливым человеку», оказались особенно близки Карловичу, и можно провести параллель между его «Станиславом и Анной Осьвецимами» и «Франческой да Римини» Чайковского, а также между скрипичными концертами обоих мастеров. Карлович, вслед за Монюшко, обращался также к белорусскому и литовскому фольклору. Связь польского симфонизма с русским закрепились и благодаря той близости к Скрябину, которая наметилась уже в ранних произведениях Шимановского.

Глубокий теоретический анализ, выполненный современным польским ученым проф. Юзефом Хоминьским, показывает, насколько близок язык раннего Шимановского к языку Скрябина, в свою очередь творчески воспринявшего поэтические откровения Шопена. Такая близость объясняется прежде всего общностью идейно-эмоциональных устремлений композиторов. Шимановский сразу же ощутил в эмоциональной накаленности музыки Скрябина все то, что волновало в годы революционного предгрозя передовую русскую и польскую интеллигенцию.

Не следует упрощать проблему восприятия освободительного движения различными представителями дореволюционной интеллигенции, мировоззрение которых нередко отличалось сложностью и противоречивостью. Академик А. В. Луначарский хорошо знал, что мировоззрение Скрябина было идеалистическим, но тем не менее написал: «В музыке Скрябина мы имеем высший дар музыкального романтизма революции. . .». В этих словах советского ученого отразилось глубокое понимание им того факта, что в музыке Скрябина запечатлелись пламенный протест против окружающей его действительности и та жажда видеть ее преображенной, которая ощущается и у Мусоргского, и у Римского-Корсакова, и у Чайковского, и у Танеева.

Общечеловеческое значение русской музыки во многом объясняется ее этической направленностью, нашедшей отклик в сердцах многих славянских музыкантов. Изучая оперу «Король Рогер» (а также дошедшие до нас сведения о повести «Эфебос», рукопись которой погибла во время войны), можно отметить, что, подобно творцу «Орестей» Танееву, Шимановский обращался к античности, стремясь разрешить волновавшие его этические проблемы. В основу «Прометей» — величайшего творения Скрябина — положен был античный миф о титане-огненосце.

Скрябин, в центре внимания которого находились именно этические проблемы, обращался также к философии Востока, которая своеобразно преломилась в концепции «Предварительного Действа». Чрезвычайно важно подчеркнуть, что одно из наиболее выдающихся произведений Шимановского — Третья симфония («Песнь о ночи») для оркестра, солиста и хора — возникла на текст Джелалэддина Руми, нашедший пантеистически-восторженное

воплощение в музыке Шимановского, мощные кульминации которой эмоционально близки к скрябинской «Поэме экстаза». Напомним еще «Песни Хафиза» Шимановского, его романсы на слова Рабиндраната Тагора и констатируем, что у автора «Атаманов» и «Курпёвских песен», блистательно продолжавшего дело Шопена, наряду с образами Востока получают развитие ориентальные интонации, с давних времен привлекавшие внимание и русских композиторов.

О близости к русской музыке и ее исканиям свидетельствует деятельность и творчество всех крупнейших чешских композиторов. Зденек Фибих (1850—1900), творец современной мелодрамы, влияние которого на европейскую музыку неизменно возрастает на протяжении последних десятилетий, неоднократно указывал на эту близость в своих критических статьях, говоря, в частности, о Дворжаке. Ученики Дворжака — Йозеф Сук (1874—1935) и Оскар Недбал (1874—1930) в качестве участников знаменитого «Чешского квартета» (а Недбал также в качестве дирижера) способствовали мировому признанию творчества как чешских, так и русских и польских композиторов.

Заметную роль в истории межславянских музыкальных связей сыграл Леош Яначек (1854—1928), автор оперы «Ее падчерица», завоевавшей известность во всем мире. Продолжая искания Мусоргского, стремившегося к «омызыкаливанию» речевых интонаций и создавшего гениальные образы воплощения их в вокальных партиях своих народно-музыкальных драм, песен и романсов, Яначек накопил огромный запас записей интонаций разговорной речи (преимущественно чешской, но также и русской), выражающих те или иные эмоции, и на системе этих интонаций построил многие вокальные и даже инструментальные партии своих произведений. Интонационная система Яначка привлекла внимание многих зарубежных музыкантов, в особенности после успешных постановок «Ее падчерицы» в различных странах.

Развитию связей чешской культуры с русской во многом способствовала деятельность Яначка, исполнившего произведения русских композиторов и организовавшего в Моравии кружок для изучения русской литературы и языка. Очень многие произведения Яначка написаны на темы и сюжеты, взятые из русской литературы. Таковы его оперы «Катя Кабанова» (по «Грозе» Островского), «Из мертвого дома» (по Достоевскому), симфоническая рапсодия «Тарас Бульба», камерно-инструментальные ансамбли, навеянные «Крейцеровой сонатой» Толстого.

Экспрессионистская сгущенность, порою причудливо сочетающаяся с импрессионистскою приглушенностью эмоций, не лишает даже поздние произведения Яначка национального своеобразия, почерпнутого не только из песенно-танцевальных, но и из речевых истоков творчества моравского композитора. В междувоенный период в чешской музыке резко проявились модернистские

течения, достаточно напомнить хотя бы формалистические эксперименты Алоиса Хабы, «четвертитоновая» система которого не выдержала испытания временем. Расширение международных связей западнославянской музыки привело, с одной стороны, к обогащению ее опыта, с другой — к проникновению в нее кризисных черт экспрессионизма (включая влияния венской додекафонии и конструктивизма).

Говоря об этих чертах, необходимо подчеркнуть, что речь идет прежде всего об идейных критериях, так как схематическая бездушность конструктивизма знаменовала собою отрыв от жизни. И не случайно во главе этого течения оказался Стравинский, отрешившийся от родины и публично надругавшийся над великими мастерами ее музыкальной культуры. С другой стороны, экспрессионизм отражал болезненную взвинченность психики, порожденную военными и социальными потрясениями и, хотя в ряде случаев и помогал выразить протест против социального зла, но чаще всего служил воплощению образов «поэзии ужасов», бессилия и обреченности человека.

Как в Польше, так и в Чехословакии велась напряженная борьба за сохранение и развитие реалистических традиций национальной классики. Решающую роль в этой борьбе играли крупнейший чехословацкий ученый Зденек Неедлы, на громадном материале, охватывавшем пятисотлетний период, показавший закономерность развития этих традиций; Йозеф Богуслав Ферстер и мастера дворжаковской школы Новак и Сук, воспитавшие в Пражской консерватории многих чешских, словацких, польских, украинских, югославских, румынских и болгарских музыкантов. Последний период жизни Шимановского ознаменовался не только утверждением национальной самобытности в его творчестве, но и выступлениями композитора о воспитательном значении музыкального искусства в жизни общества и о польской музыкальной классике. Процесс утверждения демократических черт национального своеобразия в польской музыкальной культуре изучал, суммируя затем результаты работы в своих многочисленных исследованиях и публикациях, выдающийся польский ученый Адольф Хибиньский, придававший, подобно Неедлому, особое значение межславянским культурным связям.

10

После разгрома фашизма и изгнания гитлеровских захватчиков, истреблявших славянские народы и их культурные ценности, начался новый период в истории стран Восточной и Центральной Европы, в том числе Польши и Чехословакии, вступивших на путь социалистического развития. Данный период ознаменовался утверждением во всех этих странах провозглашенного Лениным тезиса о том, что культура является всенародным до-

стоянием, и ленинского принципа государственного культурного строительства. Подведение прочной материальной базы под все формы культурной жизни, включая музыкальное образование, концертную и издательскую деятельность, знаменовало ее расцвет и интенсивное развитие международных связей.

На протяжении сравнительно небольшого промежутка времени, отделяющего нас от окончания войны, в Польше и Чехословакии развернулась публикационная деятельность, благодаря которой впервые увидели свет многочисленные музыкальные произведения мастеров прошлого, позволившие составить несравненно более полное, чем в довоенное время, представление о древности и самобытности культуры западнославянских народов. Десятки тысяч фольклорных записей, сделанных при поддержке государства, помогли постичь народные истоки этой культуры, непрерывно обогащающейся в нашу эпоху новыми идеями, мыслями и образами.

Изучение прошлого западнославянской музыки приобретает значение и для ее настоящего, так как помогает постичь истинные закономерности ее развития, преемственность и устойчивость национальных традиций, смысл борьбы за их прогрессивность, а также идейную сущность современного этапа этой борьбы, уже ознаменовавшейся выдающимися достижениями строителей музыкальной культуры Народной Польши и Чехословакии³⁸.

THE MUSICAL CULTURE OF THE WEST SLAVONIC PEOPLES, ITS INTERNATIONAL TIES AND WORLD SIGNIFICANCE

Summary

The Author gives us a short survey of the history of the West Slavonic music, including the music of Poland and Czechoslovakia. Stress is laid on a popular source of the music being a mainspring of its original character, its wealth of emotion and its high artistic value. The most important features of the Slavonic style in music are traced by folk melodies which were highly appreciated by Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Liszt, Debussy, Ravel and other great composers. The Slavonic and the West European composers were mutually influenced.

³⁸ Основные положения данного доклада получили обоснование и развитие в таких работах автора, как «Очерки развития чешской музыкальной классики» (1951, чешск. перевод 1961), «Чешская оперная классика» (1951), «История польской музыкальной культуры» (т. 1—2, 1954—1957, польск. перевод т. 2—1961), «История чешской музыкальной культуры» (т. 1, 1959), «Из истории русско-польских музыкальных связей» (1955), «Из истории русско-чешских музыкальных связей» (1—2, 1955—1957), а также монографии о Дворжаке (1949, болгарск., румынск. и китайский переводы 1954—1955), Карловиче (1951), Шимановской (1956), Новаке (1957), Зарембском (1960) и Шопене (1960).

Thus first European symphony schools — those of Jaromeřice and Mannheim — were founded by the Czech composers, whose works were well known to Haydn and Mozart. Beginning with the XVIII century the European music was strongly influenced by Mozart's works, mostly written, indeed, after his experiences at Mannheim. Chopin studied Bach and Mozart till the last days of his life, but his own compositions were profoundly individual and national in style because he expressed the real feelings of the Polish people.

One cannot imagine the world musical culture without the names of Chopin and other great Polish composers, in whose works the international ties and world importance of the Slavonic music are manifested. The same may be said about the works of Bedřich Smetana (named «Czech Glinka») and his most outstanding predecessors and followers.

The national traditions of the classical Slavonic music are represented by the heritage of its founders Glinka, Chopin and Smetana. The analysis of these traditions shows their great role in the development of world musical culture.

In this paper the Author makes a summary of his research, published in «The History of the Polish Music» (Vol. I — 1954, vol. II — 1957, Polish translation — 1961) and in «The History of the Czech Music» (1951, 1959, Czech translation — 1961), as well as in the monographs on Dvořák (1949, Bulgarian, Roumanian and Chinese translations — 1954—1955), Karłowicz (1951), Maria Szymanowska (1956), Novak (1957), Zarębski (1960) and Chopin (1960).

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
V Международной съезд славистов
(София, сентябрь, 1963)

В. Е. Гусев

**ПАРТИЗАНСКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ У СЛАВЯН
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ**

Процессы, протекавшие в партизанской поэзии славянских народов, представляют актуальный интерес для фольклористов. Не говоря уже о том, что эта поэзия запечатлела героические подвиги отважных борцов против фашизма и потому является источником познания их жизни, мировоззрения, чувств и идеалов, изучение ее позволяет проникнуть в «творческую лабораторию» современного народного искусства, установить некоторые общие закономерности развития фольклора славян в новое время и национальную специфику этого процесса у разных народов.

1

Партизанская поэзия славян уже привлекла к себе внимание исследователей. В последние пятнадцать лет появилось большое количество публикаций и специальных работ. Мы не можем в рамках настоящего доклада характеризовать литературу вопроса — она уже настолько обширна, что заслуживает особого обзора и анализа. Однако необходимо сказать несколько слов об источниках, которыми располагает исследователь партизанского фольклора.

Первые публикации произведений партизанской поэзии, появившиеся в годы войны, разумеется, преследовали не научные цели, а отвечали потребностям освободительной борьбы. Они нашли место в газетах и журналах отдельных отрядов и соединений, а также в листовках и воззваниях, наконец, в специальных песенниках, издававшихся штабами и другими руководящими органами партизанского движения. Многие из этих изданий безвозвратно погибли, другие представляют библиографическую

редкость и хранятся как реликвии в музеях и архивах. Теперь они в ряде случаев являются ценным историческим документом и незаменимым источником для изучения литературного и фольклорного творчества партизан. Эти материалы, как правило, используются в последующих сборниках и исследованиях, хотя нельзя сказать, чтобы они были уже исчерпаны.

Общественный и отчасти научный интерес к партизанской поэзии обнаруживается уже в годы войны. Так, в Советском Союзе еще в 1943—1944 гг. организуются экспедиции в бывшие районы партизанского движения (в Орловскую область РСФСР, в Минскую область БССР, в Полесье)¹. Тогда же появляются сборники партизанской поэзии на разных славянских языках². Эти первые издания, естественно, не могли еще дать полного представления о характере партизанской поэзии; но теперь с волнением берешь в руки эти книжечки небольшого формата, отпечатанные на плохой бумаге. . .

Большое количество материалов оказалось в распоряжении исследователей вскоре после окончания войны. В 1945 г. в Брянских лесах работала экспедиция Института этнографии АН СССР и Московского университета под руководством П. Г. Богатырева и В. Ю. Крупянской³. Публикации фольклора брянских партизан появились в сборнике Афонина и в альманахе «Край родной»⁴. Фольклор смоленских партизан вошел в сборник, составленный поэтом Рыленковым, а еще до этого отдельные произведения были

¹ Материалы хранятся в архиве Всесоюзного дома народного творчества им. Н. К. Крупской (Москва), организовавшего эти экспедиции.

² Партизанские стихи и песни западных славян (составитель не указан), Свердловск, 1942; *Pjesme borbe* (составитель не указан), Хорватия, 1942; *Pjesni zbrojne* (составитель не указан), Warszawa, kwiecień, 1948; Песни ленинградских партизан, сост. П. Вагин, Л., 1943; *Pisni z licogradu*, сост. А. Малышко. Укрвидавство, 1943; Македонски народно-ослободителни песни, под ред. Коста Радина. Лопушник, 1943; Песни белорусских партизан, [б. м.], 1943; Сборник фронтовых и партизанских песен. Изд. «Сялянская газета», 1944 (Партархив ЦК КПБ, ф. 1499, оп. 1, д. 10); *Pjesni Oddziałow Partyzanckich Zamojszczyzny*, сост. Подвинский, [б. м.], 1944; «Младечка се бори и пее», под ред. Л. Пипкова, Болгария, 1944; *Družę Tito, ljubičice bjela... Narodne pjesme*, сост. Джуро Козак и Владимир Попович, [б. м.], 1944; *Nase pjesme*, сост. Н. Девич и В. Попович. Далмация, 1-й вып. — 1944, 2-й вып. — 1945; *Naša pesem*, сост. Карол Пахор. Словения, 1944; отдельные публикации были приведены также в книге «Фронтовой фольклор» (сост. В. Ю. Крупянская, под ред. М. К. Азадовского. М., 1944). Полные названия сборников партизанской поэзии см. в конце. Далее ссылки на источники даются согласно принятым условным сокращениям. При цитировании текстов указываются номер песни или страница издания, если отсутствует нумерация песен; если же нумерация в издании дана не сплошная, а по разделам или цитируемые тексты содержатся в приложении к исследованию, то указываются и страница издания и номер текста.

³ В. Ю. К р у п я н с к а я. Брянская фольклорная экспедиция. КСИЭ, вып. II, М., 1947, стр. 48—52.

⁴ Шумел сурово брянский лес. Партизанские песни. Партизанские чапушки. «Край родной», Брянск, 1949, № 1, стр. 107—120.

опубликованы в «Смоленском альманахе»⁵. В последующие годы тексты русской партизанской поэзии печатаются почти во всех сборниках, где имеются разделы фольклора Великой Отечественной войны, в мемуарах бывших участников партизанского движения, в периодических изданиях и т. п.⁶

Активно собираются и издаются материалы партизанской поэзии в Белоруссии и на Украине. В 1945 и 1946 гг. сектор этнографии и фольклора Института истории АН БССР (Минск) направляет экспедиции в районы Минской, Молодечненской, Полесской и Пинской областей (руководитель М. Я. Гринблат). С 1945 г. под руководством Л. Г. Барага осуществляется несколько экспедиций Минского университета в районы Бобруйской, Барановичской, Брестской, Гродненской, Пинской областей. В те же годы (1946—1948) собирательную работу ведут экспедиции Минского педагогического института (руководитель М. С. Меерович) в районах Бобруйской, Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской и Полоцкой областей⁷. В Минске в 1946 г. выходит в свет первый научный сборник партизанских песен (*Меерович*), появляются публикации Л. Г. Барага, М. Я. Гринבלата, И. В. Гуторова, И. В. Зазеки и других фольклористов в разных журналах⁸. Привлекла к себе внимание насыщенная текстами книга И. В. Гуторова «Борьба и творчество народных мстителей» (Минск, 1949). Собирательная работа продолжается Институтом этнографии, искусствознания и фольклора АН БССР. Из материалов, собранных белорусскими фольклористами, создана антология «Беларускі фальклор...», значительная доля текстов в которой относится к партизанской народной поэзии.

В 1945 г. во Львове выходит в свет первый сборник украинского фольклора Отечественной войны (*Колесса*), где находим несколько текстов партизанских песен и коломыек. Во Львове же в 1950 г. публикуются материалы, собранные в Волынской, Дрогобычской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Станиславской, Тернопольской и Черновицкой областях (*Дей, Нечиталюк*). Большая работа по сборанию и систематизации фольклора Великой Отечественной войны осуществляется с 1945 г. в Институте искусствознания, фольклора и этнографии АН УССР (Киев)⁹.

⁵ Непокоренное слово народа. Записал и подготовил к печати И. Кап-Похорский. «Смоленский альманах», Смоленск, 1945, № 1, стр. 153—177.

⁶ Русский фольклор. Библиограф. указатель 1945—1959. Сост. М. Я. Мельц, под ред. А. М. Астаховой и С. П. Лупшова, Л., 1961, стр. 105—109, 123—129; М. Я. Мельц. Материалы к библиографии фольклора Великой Отечественной войны. В кн.: Русский фольклор Великой Отечественной войны, М.—Л., 1963.

⁷ Весті Академії Наук БССР. Аддзяленне грамадскіх навук. Серыя гістарычная, Мінск, 1947, № 1, стр. 109; КСИЭ, вып. III, М., 1947, стр. 18—24; «Советская этнография», 1946, № 2, стр. 190.

⁸ Библиографические сведения см. в кн.: Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны, Мінск, 1961.

⁹ Материалы хранятся в архиве Института. Фольклорный фонд.

Результатом многолетних усилий является сборник, изданный Институтом в 1953 г. под редакцией академика М. Ф. Рыльского (*Родина, Стельмах*). Ряд материалов украинской партизанской поэзии увидел свет на русском языке¹⁰.

Публикации советских фольклористов далеко не равноценны. Подлинно научных изданий, где бы были представлены критически проверенные записи и соответствующий справочный аппарат, к сожалению, не так уж много. Можно в качестве лучших назвать «Материалы по истории песни Великой Отечественной войны» В. Ю. Крупянской и С. И. Минц (М., 1953) и антологии «Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну» (Київ, 1953), «Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны» (Мінск, 1961). Но и они не лишены существенных недостатков.

Интенсивно развивается собирательская работа в области партизанской поэзии у южных и западных славян.

Интересные сведения о болгарской партизанской поэзии содержит доклад Ж. Вържаровой на Всесоюзном совещании фольклористов в Москве, посвященном изучению фольклора Великой Отечественной войны (1947)¹¹. В том же году в Софии выходит в свет сборник Г. Керемидчиева «За правда и свобода», где особый раздел составили партизанские песни. Особенно много материалов появляется в работах болгарских фольклористов, относящихся к 1950-м годам, издаваемых Институтом музыки, Этнографическим институтом Болгарской Академии наук и Этнографическим музеем в Пловдиве. Один за другим следуют сборники и исследования, содержащие большое количество публикаций (*Вранска, Стойкова, Кауфман, Качулев, Керемидчиев, Коев, Койнаков, Стоин*). Наиболее фундаментальны книги Елены Стоин и Николая Кауфмана. Научную ценность этих сборников значительно повышает то, что каждый опубликованный в них текст сопровождается нотной записью мелодии. Партизанские песни вошли также в антологию: «Сто години българска борческа песен» (составили Г. Димитров и Д. Бойчев, София, 1949).

Многочисленны публикации партизанской поэзии в Югославии. С 1944 г. систематически начинают выходить в свет сборники в Белграде, Загребе, Любляне, Скопле, Новом Саде, Банье Луке, Сараево, Никшиче. Нам известно свыше 30 сборников различного типа, разного объема и неравного качества. Большая часть их носит характер популярных изданий, другие же по своему составу и благодаря наличию нотных публикаций и комментариев с указанием на источники представляют бесспорную научную ценность (*Милошевић, Hrovatin, Bošković-Stulli, Petokraka* и др.).

¹⁰ Сестра Украина. Песни неволи и борьбы. Составил, перевел и обработал А. Глоба. М., 1947; Украина непокоренная. Народные песни и думы. Перевод с украинского Н. Белинович, М., 1944; Песни и думы Советской Украины. Перевод с украинского Г. Литвака, М., 1951.

¹¹ «Советская этнография», 1948, № 2, стр. 213.

Некоторые из них выходили несколькими изданиями (*Диздар, Ораховац* и др.)¹². Фольклорный отдел Института этнографии Сербской Академии наук (Белград) организует планомерное соби- рание партизанского фольклора, что позволяет в короткое время сосредоточить в архиве Института огромное количество текстов (свыше 20 тысяч)¹³. Большие рукописные собрания парти- занской поэзии хранятся также в Институте народного искусства в Загребе и в других фольклористических учреждениях страны. Архивные материалы обильно представлены в многочис- ленных статьях и исследованиях, появляющихся в Югославии с 1949 г.¹⁴

Фольклористы Чехословакии обращаются к творчеству участ- ников сопротивления фашизму сразу же после окончания войны. Естественно, особое внимание их привлекает поэзия словацких партизан. Работа по собиранию материала сосредоточивается в Матице словенской (Мартин) и в фольклористических коллекти- вах Братиславы (Институт этнографии Словацкой Академии наук, университет). Плодотворная экспедиция осуществлена в 1960— 1961 гг. славянским семинаром Братиславского университета (руководитель А. Мелихерчик)¹⁵. В последние годы большая ра- бота по собиранию нового фольклора, в том числе и поэзия со- противления фашизму, разворачивается фольклористами Праги¹⁶. Публикации партизанской поэзии в Чехословакии, однако, не- многочисленны — кроме единичных текстов, опубликованных А. Мелихерчиком, В. Пражаком и В. Карбусицким в периоди- ческой печати, следует назвать первый сборник *Vojom sumely lesy* (составил Кирилл Галл, Братислава, 1959).

В Польше журнал «*Literatura ludowa*» в первый же год своего издания объявил конкурс на лучшую запись произведений фоль- клора второй мировой войны¹⁷. В решении жюри сказано, что «конкурс не достиг в полной мере своей цели»¹⁸, текстов песен было прислано немного, премию получили записи устных рассказов¹⁹. Библиографическую редкость представляют песенники,

¹² См. также новейшую антологию: *Zbornik partizanskih narodnih pareva. Urednici Nikola Hercegovina, Đorđe Kraguljačić.* Beograd, 1962. Материалы этой книги уже не могли быть использованы автором.

¹³ Неделькович, стр. 43;

¹⁴ В. Е. Гусев. Изучение антифашистского фольклора в Югославии. «Советская этнография», 1962, № 5.

¹⁵ Melicherčík. *Woj proti fašizmu*, str. 358; его же. *Motivy odboja*, str. 201—202.

¹⁶ V. Karbusický, V. Pletka. *Výskum a dokumentace současného folklóru.* «Ceský lid», ročník 47, číslo 3, Praha, 1960, str. 99—111, 108—109; V. Pražák. *Lidova píseň o Lidicích.* «Ceský lid», ročník 36, číslo 1, Praha, 1949.

¹⁷ «*Literatura ludowa*», rok I, N 2, Warszawa, 1957.

¹⁸ Там же, rok II, N 2-3 (6-7). Warszawa, 1958, стр. 124—125.

¹⁹ Там же, rok III, N 1-2 (9-10). str. 128—132; № 3-4 (11-12), str. 133—134, Warszawa, 1959.

изданные в годы войны (*Piesni zbrojne, Podwiński* и др.). Тексты партизанских песен встречаются также в сборниках послевоенных лет. В 1957 г. вышел сборник наиболее популярных песен периода сопротивления польского народа фашизму (*Elektorowicz, Kozłowski*). Тексты и напевы некоторых партизанских песен встречаются в современных песенниках (*Dziębowska, Dargiel; Wodnarowa*). Некоторые тексты партизанских песен опубликованы в переводе на русский язык²⁰.

Для большинства изданий партизанской поэзии 1940—начала 1950 г. характерно недифференцированное отношение к материалу. Вперемежку с произведениями коллективного творчества печатаются песни, а подчас и стихотворения партизанских поэтов и даже профессиональных авторов. Разумеется, такая подача материала не всегда может рассматриваться как неразборчивость составителей. Многие из сборников и не претендовали на научность и не квалифицировали содержащийся в них материал как фольклорный. Кроме того, должны быть приняты во внимание патриотические побуждения составителей сохранить все, что так или иначе было связано с освободительной борьбой и было дорого партизанам. В таком широком захвате материала на первых порах был свой исторический смысл, и эти публикации воссоздают все разнообразие форм художественного творчества партизан, их репертуара и отчасти даже круг их чтения. Но когда весь этот материал стал безоговорочно выдаваться за партизанский фольклор или когда подлинные тексты редактировались на свой вкус составителем сборника, то это не могло не внести большой путаницы в представления о творческой природе партизанской поэзии в целом и специфике собственно народной партизанской поэзии.

Лишь в редких случаях составители и редакторы оговаривали включение литературных произведений в фольклорные сборники и мотивировали это какими-нибудь научными соображениями. Так, акад. Ф. М. Колесса писал, что произведения индивидуального творчества не могут быть отождествлены с народной поэзией, хотя некоторые признаки и роднят их с фольклором (народность содержания, устность передачи и т. п.)²¹. Публикацию таких произведений в первом фольклорном сборнике Колесса объяснял прежде всего тем, что еще трудно было в то время сказать с уверенностью, какие из них остались фактом индивидуального творчества, а какие перешли в фольклор, а также необходимостью

²⁰ А р ц и м о в и ч, стр. 297—299. Интересные сведения содержатся в мемуарной литературе (*S o w i ń s k a*, стр. 76, 160, 219, 257, 275—276 и др.). К сожалению, когда готовился настоящий доклад, автор не располагал полными сведениями о поэзии польских партизан. Материалы, разысканные во время научной командировки в Польшу, будут сообщены в устном выступлении на съезде.

²¹ К о л е с с а, стр. 10.

учитывать всю сложность процесса становления нового фольклора. «Пока мы включаем их в сборник, — писал Колесса, — так как они бросают яркий свет на процесс создания новой области народных песен»²². Но, к сожалению, осторожное «пока» старейшего исследователя славянского фольклора было вскоре забыто, и вплоть до наших дней появляются сборники, в которых за партизанский фольклор выдаются произведения, имеющие к нему самое отдаленное отношение. Все это создает для исследователя большие трудности источниковедческого характера.

Естественно, что возникла потребность в критическом пересмотре публикаций, появилось стремление разобраться в соотношении коллективных и индивидуальных форм творчества, стала осознаться необходимость дифференцированного анализа материала. Показательны в этом отношении статьи югославской фольклористики Майи Бошкович-Стулли, которая еще в 1953 г. предприняла попытку проанализировать некоторые тексты, опубликованные В. Назечичем. Возможно, правда, что сама М. Бошкович-Стулли в полемическом увлечении доводит в основе своей правильную критику до некоторого ригоризма, недостаточно учитывая, что разночтения не всегда могут свидетельствовать о вмешательстве редактора, но и отражать возможное варьирование текста в процессе исполнения²³. Более глубокая и теоретически обоснованная критика отечественных изданий содержится в позднейшей статье исследовательницы (*Boskovic-Stulli. Narodna peziija*). Здесь автор четко ставит вопрос о коллективной природе партизанского фольклора и разграничивает индивидуальное партизанское творчество и собственно народную партизанскую поэзию. М. Бошкович-Стулли справедливо пишет: «Когда различные редакторы щедро включают их (произведения индивидуального творчества. — В. Г.) в свои сборники. . ., они не только отягощают эти издания балластом малоценных произведений, но и одновременно затемняют и общее представление о том, чем является действительная народная поэзия наших дней»²⁴.

Стремление постичь фольклорную природу партизанской поэзии характерно и для болгарских специалистов. Например, Елена Стоин в статье, опубликованной в 1952 г., писала: «Сочиненная одним лицом, песня только тогда становится народной, когда переходит из уст в уста и благодаря творческим возможностям коллектива разрабатывается и совершенствуется»²⁵.

С середины 1950-х годов во многих работах как советских фольклористов, так и ученых зарубежных славянских стран отчет-

²² Колесса, стр. 10.

²³ Bošković-Stulli. Bilješke, str. 676 и сл.

²⁴ Bošković-Stulli. Narodna peziija, str. 401.

²⁵ Е. Стоин. Съвременната българска народна песен. «Известия на Институт за музика». Българската Академия на науките, София, 1952, I, стр. 127; Стоин, стр. 9.

ливо обнаруживается стремление диалектически рассматривать соотношение индивидуального и коллективного творчества в создании партизанской поэзии. Большое значение в этом отношении имела дискуссия о современном фольклоре, состоявшаяся в Советском Союзе в 1953—1955 гг. Разумеется, не механическое противопоставление индивидуального и коллективного творчества, а лишь исследование их в единстве и противоположности, в постоянном их взаимодействии и переходах одного в другое может раскрыть существо партизанской народной поэзии, как и современного фольклора в целом. Научная ценность партизанской поэзии для фольклориста в том и состоит, что она дает возможность не отвлеченно, не гипотетически, а совершенно конкретно проследить процесс создания современного фольклора. А. Мелихерчик совершенно справедливо замечает в своей новейшей работе: «Творческий процесс в устной поэзии необходимо принимать во внимание во всей его совокупности»²⁶.

Накопленный наукой большой фактический материал и осознание необходимости дифференцированного изучения всех форм партизанской поэзии в их совокупности и взаимодействия позволили от частных и конкретных наблюдений над репертуаром партизан и от описательных характеристик идейно-тематического содержания их творчества (что преобладало в статьях и сообщениях фольклористов до середины 1950-х годов) перейти к исследованиям специфики партизанского фольклора и основных закономерностей его развития. Такие опыты уже предпринимались. Можно выделить работы Г. Керемидчиева, Д. Недельковича, М. Бошкович-Стулли, А. Мелихерчика, Р. Хроватина²⁷, соответствующие разделы в коллективных монографиях, изданных в СССР²⁸. В этих и других исследованиях раскрывается преимущественно национальная специфика партизанской поэзии разных славянских народов. Однако среди опубликованных работ, насколько нам известно, отсутствуют такие, которые содержали бы сравнительный анализ партизанской поэзии славян, хотя эта проблема была поставлена еще в 1947 г. П. Г. Богатыревым на Всесоюзном совещании советских фольклористов²⁹.

²⁶ Melicherčik. Boj proti fašizmu, str. 361, 377—378; ср.: М. А. Huska. Slovenské národné povstanie v piesňovej tvorbe slovenského ľudu; Gall, стр. 4—5.

²⁷ R. Hrovatin. Slovenska partizanska pesem v znanosti. 3б. пад., кн. 3, стр. 425—453.

²⁸ «Очерки народно-поэтического творчества советской эпохи», М.—Л., 1952, стр. 346—448; Українська народна поетична творчість, т. II. Радянський період. Київ, 1958, стр. 72—73, 76, 238—239, 244, 274—275, 320—324. Характеристика партизанской поэзии содержится также в главах о фольклоре Великой Отечественной войны в неопубликованных кандидатских диссертациях М. С. Меерович, О. Н. Гречиной, Н. В. Репуховой, Н. Ф. Лукаша, В. Г. Тарасова и др.

²⁹ «Советская этнография», 1948, № 2, стр. 209.

Настоящий доклад является опытом применения сравнительно-исторической методике изучения фольклора к партизанским песням славянских народов.

2

То, что в разных статьях и исследованиях обычно обозначается общим термином «партизанская поэзия», представляет собою весьма сложное и многообразное явление как по своему жанровому составу, так и по формам творческого процесса. Необходимо прежде всего разграничить понятия устного репертуара партизан и их творчества, которые зачастую неправомерно отождествляются. Первое значительно шире второго, поскольку включает в себя произведения традиционного фольклора, исполнявшиеся зачастую без всяких изменений, и произведения интернациональной или национальной революционной поэзии, и популярные произведения профессиональных поэтов и композиторов, и творчество самих партизан, и фольклорные произведения, создававшиеся в годы войны в среде всего населения оккупированных территорий, а если говорить о Советском Союзе, — то также создававшиеся в Советской Армии и трудящимися тыла, а затем проникавшие в партизанские районы. О репертуаре партизан в целом позволяют судить как публикации, о которых говорилось выше, так и многочисленные свидетельства в корреспонденциях военных лет, а также обширная мемуарная литература, вышедшая в свет в послевоенные годы в Болгарии, Польше, Советском Союзе, Чехословакии, Югославии. Бесспорно, устный репертуар партизан представляет большой интерес, но не он в данном случае является предметом нашего исследования. Из всей совокупности различных бытовавших в партизанской среде произведений искусства следует выделить такие, которые являются плодом самостоятельного партизанского творчества.

Однако и собственно партизанская поэзия не является чем-то однородным — в ней следует различать индивидуальное и коллективное творчество. Не игнорируя тесной взаимосвязи между тем и другим, необходимо дифференцировать их как разные по природе творческого процесса и способу отражения действительности формы и рассмотреть каждую из них особо.

В самом индивидуальном песенном творчестве партизан могут быть отмечены две тенденции. Одна выражается в стремлении отдельных мастеров фольклора к созданию новых оригинальных произведений, в которых их авторы откликаются на волнующие коллектив события в манере, присущей им как знатокам и хранителям фольклорных традиций. Обычно они используют стилистические средства эпических героических песен или исторических баллад, но материалом их творчества служат факты наблюдаемой ими действительности, героями их произведений становятся хорошо известные им участники партизанского или под-

польного движения. Такие произведения почти совсем не представлены в репертуаре русских сказителей (непосредственных участников или свидетелей партизанского движения среди них не было, и их творчество не может рассматриваться в связи с партизанской поэзией)³⁰. Несколько дум сложено украинскими кобзарями³¹. Для этих произведений характерны все формальные особенности классических народных дум: особый ритмический склад, повторения, тавтологические обороты, диалогические обращения, перемежающиеся рифмованные и нерифмованные стихи, постоянные эпитеты (земля сирая, білий світ, червоная калина, яснії очи, біле тіло юнацьке молодецьке и т. п.), символы (орел, сокол, чайка и т. п.). Вместе с тем подлинный лиризм подчас переходит в риторику (особенно в думе «Ой здригнув рідний Київ» и окончание думы про Карнауха), что разрушает поэтическую цельность, свойственную народным думам.

Особенно же большое количество новых эпических произведений, отразивших партизанскую борьбу, создано гусярами в Югославии и народными певцами в Болгарии. Степень распространенности этой формы индивидуального творчества зависела от степени сохранности в быту того или иного народа традиций индивидуальной эпической импровизации и от того, насколько близким или непосредственным было участие хранителей этой традиции в партизанском движении. Любопытна в этом отношении картина в Югославии — в различных районах страны активность гусяров и продуктивность их творчества оказывалась различной. Так, М. Мозяшевич, собиравший партизанскую поэзию в районе Новопазарского Санджака, свидетельствует, что там «воспевание борьбы нигде больше не связано с десетерцем и с гусями»; автору смогли назвать только двух гусяров, которые исполняли песни о партизанах в стиле традиционного героического эпоса³². В то же время в области Никшич — Жабляк — Плевля, по свидетельству В. Драшковича, творило много даровитых гусяров, а в Яворке было даже организовано состязание гусяров³³. Новые произведения гусяров в целом харак-

³⁰ См. Былину о герое-партизане И. А. Григорьеве, сложенную М. К. Рябининим (Фольклор Советской Карелии, Петрозаводск, 1947, стр. 80—88, 132). Явно плодом индивидуального творчества является песня о Филиппе Стрельце в «былинном» стиле, по не вполне точному определению В. Андреева (В. Андреев. Народная война. М., 1949, стр. 98—101).

³¹ См. «Ой, здригнув рідний Київ», «Думу про Олега Кошового» В. М. Перепелюка (Родина, Стельмах, № 1, стр. 15—16; № 15, стр. 34—35) и «Думу про Карнауха» (Українські народні думи та історичні пісні, Київ, 1955, стр. 495—496); А. Бринский. По ту сторону фронта. Горький, 1956, стр. 363—364; Я. Шкрябач. Дорога в Молдавию. Кишинев, 1958, стр. 70—73.

³² М. Мозяшевич. Из партизанске народне поезије у Сандаку. Зб. рад., књ. 1, стр. 73.

³³ В. Драшкович. О савременој народној поезији у области Никшић — Жабляк — Плевља. Зб. рад., књ. 2, стр. 280.

теризовались повествовательностью, переходящей в хроникальность, прозаизмом стиля, редко достигали силы классических произведений народного эпоса, в творчестве гусяров отмечена тенденция к переходу от классического «десетерца» к «осмерцу»³⁴.

Творчеству народных певцов, отразившему сопротивление народа фашизму и партизанское движение, большое внимание уделили болгарские фольклористы. Произведения народных певцов: Вичо Бончева, Екатерины Чолаковой, Тодора Ванчева, Анастаса Кацарова, Марии Божановской, Гины Данковой, Елены Найчевой и других — и анализ их творчества, осуществленный Ив. Койнаковым, Цв. Романской и Ст. Георгиевой-Стойковой, Ив. Коевым, позволяют сделать вывод, что в творчестве мастеров традиционного болгарского фольклора обнаруживается та же закономерность, что и в творчестве югославских гусяров. Их искреннее стремление правдиво отразить героику партизанской борьбы и драматическую судьбу болгарского народа, выразить новое идейное содержание выливается в традиционные формы, причем само использование последних не может в большинстве случаев восприниматься как творческое развитие традиции; в результате новые произведения народных певцов характеризуются повествовательностью, фактографичностью, художественным несовершенством. Стремление к предельной, документально-точной достоверности рассказа, как правило, препятствовало поэтической типизации действительности³⁵.

В целом, если сопоставить произведения югославских гусяров, болгарских народных певцов с творчеством украинских кобзарей и русских сказителей (независимо от того, что творчество последних почти не связано с партизанской борьбой), то безусловно в принципах их отношения к действительности и к фольклорной традиции, а также в судьбе их произведений очень много общего. Мы имеем дело с типологически сходным процессом в народной культуре славян. Хранители эпической традиции славянских народов предприняли своеобразный творческий эксперимент,

³⁴ Недельковић, стр. 86—87; См. специальные исследования: П. Ш. Влаховић. Гусларске народне песме о неким догађајима из Народноослободилачке борбе. Београд, 1955; его же. Рукописна збирка Душана Томашевића — Ђирка. Српска Академија наука. Посебна издања, књ. СССXXXIII. Етнографски институт, књ. 10, Београд, 1960, стр. 1—32.

³⁵ Г. Керемидчиев. Народният певец дядо Вичо Бончев. София, 1954; Койнаков. Народни песни, стр. 106—117, 119—148, приложения № 1, 10, 14, 21, 24—26, 28—32; Вранска, Стойкова, стр. 192—199; Стоин, стр. 158—228, № 108—122; Коев, стр. 177—249. Трудно согласиться с безоговорочной высокой эстетической оценкой, какую дает Ив. Койнаков этим произведениям народных певцов; мы не разделяем также отношения некоторыми болгарскими коллегами индивидуального творчества хранителей фольклорной традиции к фольклору и согласны с Ив. Коевым, который вслед за П. Динековым считает, что произведения народных певцов не попадают целиком под определение собственно народной поэзии.

подсказанный им их гражданским, патриотическим долгом и вызванный внутренней художественной потребностью. Стремление отразить освободительную борьбу в естественной и близкой им творческой манере было вполне закономерным и привело их независимо друг от друга к одинаковым результатам — к созданию произведений, в которых современная героическая действительность отлилась в традиционные формы героического эпоса. Но это закономерное явление в творческой практике хранителей эпической традиции пришло в противоречие с более объективной общей закономерностью развития народной поэзии в целом, не отвечало новым законам художественного мышления масс. Поэтому произведения мастеров фольклора, хотя и слушались со вниманием, сочувствием и благодарностью, не могли быть органически, творчески усвоены народом и потому остались достоянием личного репертуара их создателей.

Наряду с традиционной, «сказительской» формой индивидуального творчества в среде партизан создавались произведения и в литературной манере — как профессионально подготовленными поэтами и композиторами, оказавшимися в рядах борцов за освобождение, так и партизанами, приобщающимися к литературному творчеству. Среди русских, украинских и белорусских партизан пользовались популярностью и некоторые произведения известных авторов³⁶ и произведения «местных» партизанских поэтов³⁷. Создателями многих партизанских песен в Болгарии были поэты Христо Кършачев, Цветан Спасов, Веселин Андреев и другие³⁸; в Польше — В. Броневский, В. Зеленчик, Е. Дзедзиц, С.-Р. Добровольский, А. Малишевский, С. Завадский и другие³⁹; в Словакии — А. Лауринес, Милан Ферко и другие⁴⁰; в Югославии — Владимир Назор, Бранко Чопич, Матей Бор, Станко Шкаре,

³⁶ Сб. «Народные мстители» (М.—Л., 1947), где опубликованы песни и стихи М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, Е. Долматовского, Я. Шведова, С. Щипачева, А. Суркова и др. Из белорусских поэтов в первую очередь следует назвать Я. Коласа, Я. Купалу, М. Танка, А. Астрейку, П. Глебку, из украинских — М. Рыльского, П. Воронько.

³⁷ Характерен в этом отношении сборник Вагина, где, за исключением одной песни, все остальные принадлежат партизанским поэтам; песни украинского партизанского поэта Степана Щуплика составили значительную часть сб. «Пісні з лісограду» (перезданы в кн.: Пісні партизана діда Степана, Київ, 1945). Много произведений партизанских поэтов вошли в сборники Родина, Стельмах; Беларускі фальклор; К р у п я н с к а я, Минск.

³⁸ Вранска, Стойкова, стр. 174—179; В.-Г. Андреев. Партизански песни. София, 1951, стр. 49—54 и др.; Стоин, стр. 59—62, №№ 25, 26.

³⁹ Pieśni walki podziemnej, 1939—1945, Kraków, 1947; J. Szczawej. Antologia polskiej poezji podziemnej (1939—1945). Warszawa, 1957; Wodnagowa, str. 257—301. Показателен сборник Родина, где наряду с песнями народными и сложными коллективно помещены и песни, созданные партизанскими поэтами. Много песен в СССР создал Леон Пастернак (Wodnagowa, str. 302—316.

⁴⁰ Gall, стр. 11, 42—45.

Радован Гобец, Франце Космач, Тоне Селишкар, Иоже Удович, композиторы Карол Пахор, Мариан Козина и другие ⁴¹.

Однако все эти и подобные им произведения индивидуального творчества, как бы они популярны ни были, должны рассматриваться как факт литературы или массовой поэзии, но не фольклора и могут быть предметом изучения литературоведения, а не фольклористики. Хотя участие личности в создании народной поэзии не вызывает сомнений и роль индивидуального творческого почина особенно заметна в создании партизанской народной поэзии, однако подлинно фольклорным произведением является только такое, где индивидуальный творческий акт или импровизация создают не канонический, неизменный авторский текст, а являются исходным моментом активной жизни произведения в творчески воспринимающей его среде. Фольклорный процесс — не пассивное восприятие однажды созданного (хотя бы и вызывающее положительные эстетические эмоции), а воспроизведение органически усвоенного, многократный творческий акт, реализующийся в большем или меньшем количестве вариантов, каждый из которых представляет самостоятельную ценность. Поэтому произведение индивидуального литературного творчества должно приниматься во внимание фольклористом лишь постольку, поскольку оно могло продолжить свою жизнь в коллективном творчестве — или само превратиться в народную песню, подвергшись большей или меньшей творческой переработке, или послужить образцом для создания других народных песен: подражаний, «ответов», пародий и т. п.

Так, в партизанской среде у восточных славян фольклоризовались далеко не все популярные песни поэтов. Иногда партизаны даже отдавали в этом отношении предпочтение какой-нибудь старой песне по сравнению с песней, созданной уже в годы войны специально на «партизанскую» тему. Например, продолжила свою жизнь, как народная, известная со времен гражданской войны и обработанная С. Алымовым песня «По долинам и по взгорьям» (многочисленные партизанские походные марши — варианты этой песни — создавались не только среди партизан Советского Союза, но и у других славянских народов, о чем мы скажем ниже); перерабатывался, применительно к новым условиям, текст «Конармейской» А. Суркова («По знакомой дороге»); известны песенные варианты стихотворения И. Уткина «Мальчишку шлепнули в Иркутске» («Мальчишку взяли под Смоленском» и т. п.), переработка марша П. Глебки «Як зайграюць, трывожнай хвіліаю» («Над Бярозай-ракой, над даліною») и песни Я. Купалы «Выпраўляла маці сына» («Праважала сына маці»), варианты песни А. Русака «Бывайте здоровы, живите

⁴¹ Bošković-Stulli. Narodna poezija, str. 405—406; Hrovatin, стр. 47—103; Gobeц, стр. 90—194; ср.: Sait Orahovac. Pjesme o narodnim herojima, Sarajevo, 1958; Поезија бунта и отпора. Београд, 1960.

богато» и др. Особенно счастливой оказалась судьба «Катюши» М. Исаковского, партизанские варианты которой распространились на многих славянских языках ⁴².

Распевались и перерабатывались советскими партизанами также некоторые песни военных лет: «В темной роще густой» и «Для чего я живая осталась» В. Лебедева-Кумача; «В чистом поле, поле под ракитой», «Ой туманы мои, растуманы» и «Крутится, вертится шар голубой» М. Исаковского; «Не шкадуйце, хлопцы, пораху» М. Танка; «У лесе, на імшыстай паляницы» А. Астрейки; «Есть курган в родимой Беларуси» Н. Незлобина; партизанская «Катюша» («Получил боец письмо из дома») А. Коваленкова и др. ⁴³ Процесс фольклоризации этих и им подобных песен в партизанской среде представляет большой интерес для исследователя, как часть более принципиальной проблемы ⁴⁴.

Не входя специально в рассмотрение этой проблемы, обратимся к одному весьма характерному примеру. Совершенно исключительную популярность среди партизан Советского Союза приобрела песня «Партизан» («На опушке леса старый дуб стоит»). Многочисленные записи ее были произведены фольклористами и далеко за пределами районов, где развивалось партизанское движение ⁴⁵. Возникла она в 1942 г. на Брянском фронте, в ар-

⁴² Афонин, стр. 45; Меерович, стр. 72—74; Гуроров, стр. 189—198; Крупианская, Минц, стр. 105—114; Беларускі фальклор, стр. 201, 203; А. Бардин. Советский фольклор Чкаловской области. Чкалов, 1957, стр. 92—93; Ние бяхме партизани, стр. 404—405; 36. рад., кн. 3, стр. 181, 195, 430—431, 679. Иногда образцами для партизанской поэзии служили и некоторые песни литературного происхождения XIX—начала XX в. Так, например, известны партизанские варианты «Коробочки» (из поэмы Некрасова «Коробейники»), песен: «Степь да степь кругом», «Среди лесов дремучих», «Раскинулось море широко» и др.; во всех этих случаях «степь», «море» и т. п. заменялись на «лес», «ели», «березы» и соответственно изменялся весь сюжет.

⁴³ Крупианская, Минц, стр. 154—155, № 77; стр. 164—165, № 83; стр. 175—179, №№ 90—91; стр. 184—186, №№ 94—95; Гуроров, стр. 84—85, 143—151, 194, 222—223, 268—270; Беларускі фальклор, стр. 55, 89, 134, 149, 155, 172, 202, 214, 252; Меерович, стр. 23—24, 35—36, 67—68, 79—80; Афонин, стр. 18, 37, 45.

⁴⁴ Об обработках и переработках см. известные разыскания И. Н. Розанова. Применительно к народным песням военных лет этот вопрос разрабатывался В. Ю. Крупианской и С. И. Минц; обобщающей работой является доклад «Виды и типы переделок литературных песен в советском фольклоре» Н. И. Гудошникова, прочитанный на научной конференции, посвященной проблеме фольклорных жанров, состоявшейся в г. Горьком в 1962 г. Тезисы докладов опубликованы в сб. «Специфика жанров русского фольклора» (Горький, 1961, стр. 35—48).

⁴⁵ Афонин, стр. 40; Крупианская, Минц, стр. 182—183, № 93; Уральский фольклор. Под ред. М. Г. Китайника. Свердловск, 1949, стр. 103, № 86; Л. Христиансен. Современное народное творчество Свердловской области. М., 1954, стр. 49, 102—105; Советский фольклор Чкаловской области, Чкалов, 1947, стр. 85, № 16; Русское народнопоэтическое творчество в Татарской АССР, Казань, 1955, № 125; Шумел сурово Брянский лес, 43—44; Гусев, стр. 119—120, № 142; Меерович,

мейском самодеятельном ансамбле песни и пляски. В течение нескольких месяцев песня распространилась по всем соединениям Брянского и Центрального фронтов, а Брянской экспедицией была «зарегистрирована повсеместно во всех партизанских бригадах»⁴⁶. В 1942—1943 гг. она широко распространилась среди белорусских партизан⁴⁷. На Украине в партизанских отрядах она не только пелась, но даже инсценировалась⁴⁸. В Болгарии, куда эта песня проникла еще до 9 сентября 1944 г., она была известна на болгарском языке с некоторым количеством русизмов, однако на русском языке ее исполнение не зарегистрировано⁴⁹. Песня распространилась в вариантах, большая часть которых имеет незначительные разночтения. Почти во всех вариантах сохраняется сюжет: мать причитает над телом сына-партизана, ее утешает командир партизанского отряда; во всех вариантах партизан лежит под дубом. Этот устойчивый образ, имеющий символическое значение, в некоторых текстах несколько варьируется, хотя он находится в зачине песни (обычно начальные строки народной песни бывают наиболее стабильными): в большинстве русских вариантов и в одном белорусском дуб растет «на опушке леса» (Беларускі фальклор, стр. 153); в другом белорусском варианте — «ой на узлессі у лесе» (Мееровіч, стр. 24); в украинском варианте — «ой там, при долине» (Родіна, Стельмах, стр. 133); в болгарском — «там край гората» (Кауфман, стр. 337). В большинстве вариантов мать проливает слезы, однако есть варианты, где эта деталь опускается (Гусев, стр. 119). Очень устойчивы другие мотивы песни, в особенности монолог-плач матери, включая даже такую, казалось бы, частную деталь, как воспоминание об отце, сложившем голову где-то под Одессой. В ряде вариантов лишь появляется новая, вложенная в уста матери, строфа, содержащая характеристику партизана:

Ты фашистских гадов (гадюк-фашистов и т. п.)
 По-геройски бил,
 Орден со звездою
 На груди носил.

Беларускі фальклор, стр. 530, прим.; Кауфман, стр. 337; ср.: Крупянская, Минц, стр. 182; Гусев, стр. 113.

стр. 24; Родіна, Стельмах, стр. 133—134, № 71; Беларускі фальклор, стр. 153—154; Стопни, стр. 148—149, № 101; Кауфман, стр. 337, № 283. Песня неоднократно записывалась многими экспедициями и встречается в большинстве рукописных собраний советских фольклористов.

⁴⁶ Крупянская, Минц, стр. 183.

⁴⁷ Мееровіч, стр. 86, прим. 14.

⁴⁸ Родіна, Стельмах, стр. 316, прим. 71.

⁴⁹ Кауфман, стр. 853, прим. 183. Известна также единственная запись аналогичной словенской песни, возникшей под явным влиянием русской:

V gori zeleni dreves se stoji,
 V grotu pod drevem junak mirno spi.

Гобес, стр. 35.

Наиболее существенны различия в конце песни. Одни варианты завершаются словами утешения, обращенными к матери (*Афонин*), другие — обещанием отомстить за смерть сына (большая часть), иные — картиной самого боя (*Гусев*) или славой в честь героя (*Родина, Стельмах*), в белорусском варианте сообщается, что командир, утешавший мать,

... у гарачай бітве
сам героем паў

Беларускі фальклор, стр. 154.

Существовали варианты, значительно отличающиеся от первоначального текста, которые являются, собственно, уже новой редакцией песни. Такова, например, русская песня, записанная на Украине:

Вот в лесу дремучем	Умер ты, но дело
Дуб большой стоит,	Наше будет жить
А под тем под дубом	И врага проклятого
Партизан лежит.	Будем жечь и бить.
Как под тем под дубом	Спи, товарищ, славный,
Красный гроб стоит,	Смелый был всегда,
А в гробу том красном	И убит кровавой
Партизан лежит.	Ты рукой врага.
Он лежит, не дышит	Как в лесу дремучем
И закрыл глаза,	Выстрел раздался —
Ветер лишь качает	Это хоронила
Кудри молодца.	Родина бойца.

ИМФЭ, Ф $\frac{14-3}{55}$, стр. 248, № 49.

Как видим, здесь отсутствует основное звено сюжета, и балладный мотив прощания матери с сыном заменен клятвой партизан над гробом товарища. То, что этот вариант не стал столь же популярным, как разработка первоначального текста, нельзя объяснить только очевидным несовершенством текста коллективного монолога боевых товарищей героя — видимо, главной причиной явилось как раз слишком значительное отступление от основного сюжета песни. В пользу этого соображения говорит и другая, украинская, редакция песни, где, напротив, разрабатывается опущенный в первой редакции мотив, но зато им и ограничивается вся песня:

Стояв дуб зелений	Золоте волосся
Вітер повівав.	Вітер шелестить.
Ой, там молоденький	Біля нього мати
Партизан вмирав.	Як пташечка в'ється:
Він лежить, не дихає,	«Любий мій синочок,
І неначе спить	Що тебе здається?»

Коло тебе ж мати
Як голубка плаче,
День і ніч воркує —
У ніхто не баче.
Чому ж тебе, суну,
Так рано убили

Ті прокляті німці
З світом разлучили?
Болить мое сердце
По тобі, синочк.
Разлучили німці
Нас, мій голубочок».

ІМФЭ, Ф $\frac{M-3}{55}$, стр. 51, № 4.

Но и эта редакция, подобно предыдущей, несмотря на всю поэтичность, не получила столь широкого распространения, как основной тип, сохраняющий сюжетную канву первоначального текста.

Эти факты свидетельствуют, что есть границы «свободы творчества» в народной поэзии. История песни о партизанине, превратившейся из авторской в народную, является типической для партизанской поэзии. Кажущаяся «незначительность» изменений гораздо больше в природе фольклоризации текста, нежели радикальные изменения, ведущие к разрушению основных его звеньев.

Отмеченные нами две тенденции в индивидуальном творчестве имеют разное отношение к народной партизанской поэзии. «Сказительская» форма, преемственная связь которой с традиционным фольклором очевидна и проявляется непосредственно, тем не менее не оплодотворила собственно народную партизанскую поэзию, не оказалась продуктивной в смысле способности быть органически усвоенной массами и стать объектом приложения творческих сил коллектива. Напротив, литературная форма, непосредственно не связанная с какой-либо фольклорной формой (хотя популярность песен литературного происхождения зачастую определялась способностью их авторов творчески усвоить народно-поэтическую традицию), оказалась более жизнеспособной в партизанской среде — не только в том смысле, что она сама по себе приобрела более массовое распространение и заняла значительно больший удельный вес в творчестве партизан, нежели сказительская форма, но и в том смысле, что она была активно воспринята коллективом, обнаружила тенденцию к фольклоризации и явилась одним из источников партизанской народной поэзии. Таков один из существенных, на наш взгляд, выводов, который вытекает из рассмотрения индивидуальных форм партизанской поэзии.

3

Внимание фольклориста, естественно, сосредоточивается на коллективных формах партизанской поэзии (включающих индивидуальный акт как непрменный момент творческого процесса), на выявлении творческих преобразований фольклорных традиций.

Связь партизанской народной поэзии с традиционным фольклором и трансформацию в ней традиций отмечают почти все исследователи. Елена Стоин, характеризуя болгарскую партизанскую поэзию, пишет: «Современная народная песня создавалась и развивалась на основе традиционного песенного творчества, но обогащалась новым идейным содержанием»⁵⁰. Многочисленные и убедительные наблюдения содержатся в статьях югославских фольклористов. Д. Неделькович установил на основании анализа большого количества фактов «закон актуализации» фольклорных традиций⁵¹. Творческий характер усвоения отмечает М. Бошкович-Стулли; она возражает тем своим соотечественникам, которые полагают, что новое содержание воплотилось в старую форму: «И содержание не абсолютно ново, но и форма не совсем стара»⁵². Интересные факты приводит Р. Хроватин, убедительно доказывая, что словенская партизанская поэзия представляет собою синтез разнородных по своему происхождению фольклорных традиций⁵³. Диалектически подходит к этой проблеме А. Мелихерчик. Он устанавливает, что словацкая партизанская поэзия характеризуется, с одной стороны, связью с традицией, а с другой — разрушением традиций в той мере, в какой новая действительность оказывается в противоречии с образами прошлого⁵⁴. Мысль о связи партизанского фольклора с традиционным неоднократно высказывалась советскими исследователями.

Разумеется, нас теперь уже не могут удовлетворить общие рассуждения на эту тему или случайные примеры, придающие этой мысли слишком частный характер. В партизанской народной поэзии славянских народов могут быть отмечены определенные закономерности в ее отношениях с фольклорной традицией, отбор совершенно определенных традиций.

Хотя среди партизан могли бытовать самые различные традиционные произведения (и составлять тем самым мощный фольклорный пласт в устном репертуаре), однако интенсивный отбор, актуализация и развитие традиций прежде всего коснулись тех произведений, которые более или менее непосредственно отразили освободительную борьбу славянских народов в прошлом; партизанская поэзия обратилась именно к тем жанрам, формирование которых было связано с этой борьбой. В зависимости от

⁵⁰ Е. Стоин. Съвременната българска народна песен, стр. 127.

⁵¹ Неделькович, стр. 128.

⁵² Bošković-Stulli. Narodna poezija, str. 407.

⁵³ R. Hrovatin. Slovenska partizanska pesem v znanosti. 36. pad., кн. 3, стр. 426—435; его же. Partizanska pesem—naša ljudska pesem. «Obzornik, Časopis za ljudsko prosveto», Ljubljana, 1951, Letnik VI, 6, стр. 356—357, 359—360; его же. Slovenska partizanska pesem (Gobec, стр. 7, 10—13).

⁵⁴ Melicherčík. Boj proti fašizmu, str. 361; M. A. Húska. Slovenské národné povstanie v piesňovej tvorbe slovenského ľudu; Gall, str. 5.

исторических условий и состояния самих традиций связь партизанской поэзии со свободолюбивой поэзией прошлого проявлялась несколько по-разному у разных славянских народов.

Среди партизан Болгарии и Югославии оказались жизнеспособными традиции гайдуцких песен. Это отмечают Ив. Койнаков, Ел. Стоин, Д. Неделькович⁵⁵ и др. Некоторые фольклористы (М. Мояшевич, В. Назечич, М. Диздар и др.) склонны даже видеть в этих традициях основную формирующую силу всей югославской партизанской поэзии⁵⁶; однако они впадают в явное преувеличение, как это будет ясно из дальнейшего хода наших рассуждений. Усвоение традиций гайдуцких песен народной партизанской поэзией существенно отличается от отношения к ним гусяров и народных певцов — создателей стилизованных эпических произведений. В коллективной партизанской поэзии не наблюдается механической передачи сюжетов, композиционной структуры, классического стиха и мелодии, т. е. форма гайдуцких песен в ее классическом выражении не сохраняется. Партизанская поэзия сохранила прежде всего самый свободолюбивый, дерзкий дух гайдуцкого эпоса и усвоила некоторые его художественные элементы, мотивы и образы, которые обстоятельно проследили в своих исследованиях югославские фольклористы. Эти элементы органически вошли в другие жанровые формы, непосредственно не связанные с гайдуцким эпосом (на них мы подробно остановимся ниже).

В словацкой партизанской поэзии особенно замечательно возрождение «збойничьей» традиции. В песнях оживает имя прославленного Яношика, используются некоторые мотивы старых «збойничьих» произведений, особенно заметные в устной прозе словацких партизан⁵⁷. Однако по наблюдению А. Мелихерчика, это не простое воспроизведение «збойничьих» песен и преданий: «народ актуализирует старые збойничьи песни и придает им новый смысл»⁵⁸. В некоторых песнях можно проследить отзвуки более старых героических баллад, связанных с национально-освободительной борьбой чехословацкого народа⁵⁹.

В коллективном творчестве советских партизан мы не обнаружим никаких связей с героическим эпосом, как это наблюдалось в индивидуальном творчестве кобзарей и сказителей. Для народной партизанской поэзии восточных славян характерен интерес к героическим и вольнолюбивым традициям народных

⁵⁵ Койнаков. Народни песни, стр. 117; Стоин, стр. 8; Неделькович, стр. 45—46.

⁵⁶ М. Мojaшевич. Из партизанске народne поезije у Санџаку. 36. рад., књ 1, стр. 72; Nazečić, str. 11; Narodne pjesme iz borbe i izgradnje. Izbor i redakcija Mak Dizdar. Sarajevo, 1951, str. 138.

⁵⁷ Gall, стр. 13, 14, 25; Melicherčik. Boj proti fašizmu, str. 369—370.

⁵⁸ Melicherčik. Boj proti fašizmu, str. 374.

⁵⁹ Gall, стр. 34—35.

песен XIX—XX вв. литературного происхождения («Ревела буря, дождь шумел», «Раскинулось море широко», «Глухой, неведомой тропею», «Среди лесов дремучих»), но особенно — к традициям русской революционной поэзии, переработанным в народной поэзии гражданской войны и в советских массовых песнях. Все героические походные партизанские песни так или иначе восходят именно к этому источнику. П. Афонин в предисловии к своему сборнику писал: «Первое время брянские леса слышали популярные песни гражданской войны»⁶⁰. То же подчеркивал С. Ильин: «Образы героических песен времен гражданской войны — Чапаева, Щорса, Пархоменко, партизана Железняк, «девушки в шинели» и другие . . . жили с партизанами, как бы ходили с ними на выполнение боевых заданий»⁶¹. Непосредственными образцами многих партизанских песен стали песни «По долинам и по взгорьям», «Там вдаль за рекой», «Красноармеец был герой», «Поднимаемся с привала» или песни советских поэтов и композиторов, воссоздающих образы героев гражданской войны («Партизан Железняк», «Орленок», «По военной дороге», «Мальчишку плепнули в Иркутске», «Каховка»). К традициям рабочей поэзии и песен гражданской войны восходит боевой, наступательный, героический пафос советской партизанской поэзии, коллективный образ монолитного, воодушевленного общей идеей отряда, демократический образ командира — старшего товарища, публицистичность стиля, четкий, маршевый ритм, бодрая, воодушевляющая мелодия.

У южных и западных славян на народную партизанскую поэзию воздействовали традиции антифеодальной героической поэзии, обогащенные революционной поэзией нового времени — песен крестьянских восстаний и рабочего движения. Эта преемственность прослеживается весьма отчетливо на многочисленных фактах возрождения и приспособления к новым условиям произведений революционной гимнической поэзии и вольнолюбивой лирики.

Чрезвычайную популярность у южных славян приобрели, например, варианты македонской революционной песни «Тъмен се облак зададе», где появляется символический образ орла, летающего под облаками и несущего красное знамя, на котором начертан призыв к борьбе. Различные варианты, сохраняя в целостности основной мотив, конкретизировали, в зависимости от того, где они создавались и пелись, название местности, наименование отряда или имя героя, обращение, наконец, самый боевой лозунг: «За Македонию», «За Болгарию», «Смерть или свобода»⁶². В ряде вариантов призыв к борьбе получает более

⁶⁰ А ф о н и н, стр. 6.

⁶¹ Шумел сурово брянский лес, стр. 10.

⁶² С т о и н, стр. 91—93, № 50—52; В р а н с к а, С т о й к о в а, стр. 186—187; К а ч у л е в, стр. 118.

обобщенное выражение⁶³. В других вариантах развивается и конкретизируется самый призыв к борьбе, он приобретает отчетливо сформулированную антифашистскую направленность:

Дръжте се брата и сестри,
Земети пушки, пищови
В уста остри ножове —
с фашиста те да се бием,
партизаните да крием.

Вранска, Стойкова, стр. 185; ср.:
Керемедчиев, 123, № 17; Стоин,
стр. 92, № 51.

В некоторых вариантах исчезает символический образ орла и песня становится более реалистической: красное знамя оказывается в руках партизан, которые спускаются с гор на равнину, чтобы дать бой врагу и освободить от фашистов поработенный народ, или в руках маршала Толбухина, вступающего во главе советских войск на территорию Болгарии⁶⁴.

В Македонии весьма продуктивными оказались традиции песенного творчества эпохи Илинденского восстания (1903), их влияние распространилось также на партизанскую поэзию других братских народов Болгарии и Югославии. На основе песен Илинденского восстания, по наблюдениям Ж. Фирфова, возник целый песенный цикл, в котором унаследованный музыкально-поэтический материал наполнился новым содержанием⁶⁵.

Р. Хроватин указывает, что первыми партизанскими песнями в Словении были песни революционного подполья и песни революционного движения XIX в. (в их числе и русские, польские, украинские и чешские), которые варьировались и приспособлялись к событиям антифашистской освободительной борьбы⁶⁶. Большой музыкально-поэтический материал, иллюстрирующий использование рабочих песен в ходе борьбы сербских партизан, приводит Дж. Караклаич; песни народно-освободительной борьбы, использующие традиции революционной поэзии, автор разделяет на три группы: а) оригинальные песни по тексту и мелодии; б) песни с измененным текстом на известные мелодии (их оказалось наибольшее количество); в) песни на мелодии интерна-

⁶³ Вранска, Стойкова, стр. 185; Стоин, стр. 94, № 53.

⁶⁴ Стоин, стр. 94, № 53; Качулев, стр. 117.

⁶⁵ Ж. Фирфов. Македонске народне песме из Народноослободилачке борбе. 36. рад., књ. 3, стр. 667—669; Керемедчиев, стр. 52—53; Конески. Предисловие; е го же. Нашата народна поезија како образ на нашего национално ослободително движење. «Нов ден», Скопје, 1948, год. IV, број 5, стр. 46.

⁶⁶ R. Hrovatin. Slovenska partizanska pesem v znanosti. 36. рад., књ. 3, стр. 426—427, 430—431; е го же. Partizanska pesem—naša ljudska pesem, str. 354—355. Тексты и комментарии к ним см.: Hrovatin, стр. 13—23; Gobec, стр. 60—62, 71—73, 76, 77—89, 199—202.

циональных рабочих песен с новым текстом⁶⁷. Младенович справедливо замечает, что партизанская поэзия не могла бы достичь того уровня своего развития, какого она достигла, без опоры на предшествующие ей традиции рабочей, революционной поэзии⁶⁸. Этот вывод убедительно иллюстрируется на материале, собранном в Воеводине. С. Вукосавлев, исследовавший этот материал, пишет, что «на культурной традиции революционных песен создавалась в ходе народной освободительной борьбы новая боевая (борбена) партизанская песня»⁶⁹.

Оживала старая революционная песня и в Чехословакии, накладывавшая и здесь на партизанскую поэзию боевой, агитационный характер⁷⁰.

На основании сведений, полученных автором настоящей работы от участников партизанского движения в Польше, среди польских партизан «Гвардии людовой» было много знатоков и любителей революционных песен, по образцу которых возникали марши и гимны и польских партизан⁷¹.

Эта прослеживаемая у славянских народов преемственность партизанской поэзии по отношению к рабочей песне — весьма характерная и глубоко знаменательная особенность. Она свидетельствует о том, что антифашистская освободительная борьба сплавила патриотические настроения с определенными социальными идеалами, традиции свободолюбивой народной поэзии феодальной эпохи — с традициями революционной поэзии нового времени.

Наряду с героическими традициями вольнолюбивой поэзии в партизанском творчестве выявилась любопытная тенденция возрождения и переосмысления некоторых старых солдатских песен⁷². Этот процесс представляется нам противоречивым: с одной стороны, он был связан с интересом к воинской славе предков, с воспоминаниями о тяжелых испытаниях, перенесенных старшим поколением в годы первой мировой войны, с другой стороны — заключал в себе элементы и не органичные для антифашистской освободительной борьбы, отражающие непреодоленные

⁶⁷ Ђ. Караклајић. Революциона радничка песма у Србији. 36. рад. књ. 3, стр. 503—517.

⁶⁸ Ж. Младеновић. Значај песме за учеснике Народноослободилачке борбе. 36. рад., књ. 3, стр. 676.

⁶⁹ С. Вукосавлев. Данашња сриска револуционарна песма у Војводини. 36. рад., књ. 3, стр. 530.

⁷⁰ Gall, str. 20; Melicherčík. Boj proti fašizmu, str. 374, 375.

⁷¹ Арцимович, стр. 231—246, 299; Dziębowska, Dargiel, str. 259—278; Podwiński, str. 25; Wodnarowa, str. 287, 263, 266, 270, 272 и др.

⁷² Особую популярность у советских партизан приобрели переработки песен эпохи русско-турецкой войны: «Под небом в Сербии гонимой» («На нас напали злые турки»), «Там вдали, в горах Карпатских», а также песни «Под ракитой зеленой русский раненый лежал» («Ты не вейся, черный ворон»). Ср.: Вошковић-Stulli, Narodna poesija, str. 408—410.

официально-патриотические, националистические элементы в сознании старшего поколения (это, например, заметно в некоторых песнях, восходящих к первой мировой войне, которые требуют критического отношения со стороны фольклористов).

Освободительная борьба славянских народов была весьма напряженной и полной драматизма. Она требовала многочисленных жертв. Героический характер партизанской поэзии не исключает поэтому обращения ее к некоторым традициям фольклора прошлых эпох, отразившего народные бедствия, горе, страдания. Многократно встречающиеся в партизанской поэзии картины разоренных и сожженных селений, вытопанных полей, образы поруганных женщин и осиротевших детей, мотивы разлуки с семьей, с любимым человеком, тоски по родному краю или дому, смерти на поле брани и т. п., являясь отражением действительности, восходят в художественном плане к соответствующим традициям народной баллады, плачевой поэзии и лирики.

Тема тяжкого ранения или смерти партизана разрабатывается во многих партизанских песнях. В них обычно присутствуют традиционные картины и мотивы прощания партизана с товарищами и его завещания, имеющиеся в фольклоре всех славянских народов. Так, в песнях южных славян возрождается мотив гайдуцкой песни о раненом герое, умирающем под деревом. В песне «Цяла та гора се зелене» контрастно противопоставлены образы зеленеющего леса и увядшего или сухого дерева, под которым лежит партизан ⁷³. В песне «Млади шумкари лежеха», сообщенной нам Ж. Вожаровой, могилу героя засыпают слетающие с деревьев листья. Аналогичный мотив встречается в другой болгарской песне, где могилу партизана покрывают листья, а самого его жалеют лес и звери, оплакивает небо ⁷⁴. В песнях югославских партизан герой умирает под елью или под зеленым явором (*Popović*, стр. 36; *Радичевић*, стр. 24).

Образ партизана, умирающего под деревом, находим не только в русской песне «На опушке леса старый дуб стоит», но и в других партизанских песнях восточных славян: «Под сосной в лесу партизан лежит», «Под ракитой зеленой», «В чистом поле, поле под ракитой» ⁷⁵. В ряде песен, в отличие от мотива засохшего дерева, развивается другой, тоже традиционный, мотив могучего или буйно зеленеющего дерева (леса), разрастающейся травы, расцветающих цветов (розы) на могиле погребенного героя ⁷⁶. В песне,

⁷³ К о й н а к о в. Народни песни, стр. 141, № 27; С т о и н, 142, № 95; К а у ф м а н, стр. 348, № 248. Ср.: С т о и н, стр. 146—148, № 99—100 (дерево не зеленеет на могиле партизана).

⁷⁴ К а у ф м а н, стр. 317, № 260.

⁷⁵ Г у т о р о в, стр. 190; К р у п я н с к а я, М и н ц, стр. 73, № 30; Беларускі фальклор, стр. 174, 259 и др.

⁷⁶ Р о д і н а, С т е л ь м а х, стр. 44, № 17; Беларускі фальклор, стр. 150, 176; ср. стр. 155, 531; Р о р о в і ć, str. 39; Д и з д а р, стр. 104; Р а д и ч е в и ћ, стр. 26; Ž и р а n, str. 36.

которую пели сербские и словацкие партизаны, возникает впечатляющий образ:

Iz krvi rumene husinkog rudara
Crveno je šuma procvetala.

Z tej krve črvenoj mrtveho junáka
Červeným ta hóra prekvitala⁷⁷.

Как видим, функция образа в разных случаях различна — он то выражает чувство первой, острой боли, мысль о тяжести утраты, то идею бессмертия героя. Выбор традиционного образа определяется разным идейным замыслом различных партизанских песен.

Детально разработан момент прощания героя перед смертью. Чаще всего используется традиционный мотив просьбы смертельно раненного героя передать родным, что он женился на земле, его сосватала пуля и т. д., — мотив, хорошо известный солдатским и казачьим песням восточных славян, польским, моравским и словацким песням. Соответствующие переработки были популярны среди советских партизан («Ты не вейся, черный ворон»); встречается этот мотив и в песне югославских партизан «Na 'noj velej gori»:

... Pišite mi ljubi
da san ozenio,
da san ozenio
za crnu zemljicu,
za crnu zemljicu,
zelenu travicu...⁷⁸

Boškovič, Stulli., Petokraka, стр. 58; ср. 1
Župan, стр. 85.

С этой песней перекликается македонская песня о девушке, которая получает письмо, где ее милый извещает, что он женился на черной земле — на Македонии⁷⁹. На этом примере особенно отчетливо заметно, что традиционный мотив наполняется в партизанской поэзии новым значительным смыслом — в нем выражается верность родной земле.

Близка к такой трактовке мотива женитьбы-смерти разработка другого традиционного мотива женитьбы, где метафора переносит

⁷⁷ Тексты и мелодия приводятся в статье: M. Kiraly. Borbene i socijalne piesme kod Slovaka, Rusina i Rumuna u Vojvodini. Зб. рад., књ. 3, стр. 611—613; R. Vujasinović. Kako «je nastala pjesma o husinskom rudaru «Srpska riječ», 25 XI. 1950.

⁷⁸ Обычно в песнях этого типа разрабатывается и другой традиционный мотив — просьба вырыть могилу глубиной на ружье, шириной на саблю (Зб., рад., књ. 3, стр. 435; G o b e c, стр. 22—23).

⁷⁹ K o n e s k и, стр. 14—15.

сится или на боевых товарищей или на боевое оружие. Так, в советской партизанской песне:

Русская винтовка — лучшая подруга,
Я сменил девчонку на тебя.

Беларускі фальклор, стр. 178.

Характерный в этом отношении вариант старой солдатской песни, известной и у восточных славян, был сложен среди болгарских партизан («Здравейте, другари, славни партизани»):

— Де са вашите жени?
— Нашите жени съ тънки манлихери.
— Де се вашите деца?
— Нашите са деца дребните куршуми...

Стоин, № 71.

В сербской песне парень, отправляющийся в партизанский отряд, обращается к матери с просьбой не женить его на девушке, а сосватать его с хорошим оружием: «Пушком зорком — најбольм девојком»⁸⁰. Эта метафора подробно развивается в другой песне. Вслед за строками о невесте поется:

За дјевера — кратка револвера;
Фишеклије — свастике и прије;
Мјесто попа — граната от топа;
Старог свата — «шарац» око врата.

Зб. рад., књ. 2, стр. 290.

Подобный мотив встречаем и в македонской песне⁸¹. Логично поэтому появление в партизанской песне и весьма древней метафоры или сравнения свадьбы с боем:

Pójdzem do boju jak na wesele.

Podwiński, стр. 9.

Особенно подробно этот образ развивается в песнях «Нем ти е жалко» и «Здравейте, другари славни»⁸². Возникает и мотив «угощения» врага — в русской песне «Эй, калинушка — калина» и в белорусской «Гей вы фрыцы-ягамосці», в русских и белорусских частушках⁸³.

Момент прощания партизана изображается в песнях не только в системе традиционных образных представлений о женитьбе,

⁸⁰ Зб. рад., књ. 1, стр. 63, № 23.

⁸¹ Хациманов, стр. 18—21.

⁸² Кауфман, стр. 316, № 258; Стоин, стр. 112, № 71; Кауфман, стр. 312, № 251.

⁸³ Шумел сурово брянский лес, стр. 36—37; Беларускі фальклор, стр. 204. В партизанских частушках выражение «наварили кулешу» означает удачно проведенную боевую операцию (ЛМ, инв. 163, т. 5, стр. 39, № 433—435).

свадебного пира и т. п. В партизанских песнях возникает другой, также традиционный мотив просьбы героя передать печальную весть о его кончине отцу, матери, сестре, невесте, товарищу⁸⁴. Но особенно характерен мотив прощания, выражающий патриотическое чувство героя и сознание честно исполненного долга перед родиной. Партизан завещает перед смертью свое оружие боевым товарищам в болгарской песне «Буките дето силитат върхаря» и в сербско-хорватской песне «Развила се једна јела вита»⁸⁵; просит водрузить на его могиле красное знамя в болгарской песне «В редовете на борбата»;⁸⁶ просит любимую отомстить за себя в украинской песне:

Ты ж, дівчино, не журися,
З партизанами зв'яжися,
За смерть милого свого
Убій Гітлера самого!

ИМФЭ, Ф $\frac{14-3}{155}$, стр. 144, № 8.

Как бы драматически ни рисовалась судьба героя в партизанских песнях, в них, в отличие от старых солдатских и казачьих песен, совершенно отсутствуют настроения безысходной предсмертной тоски, одиночества, фатализма; напротив, они проникнуты сознанием оправданности жертвы, уверенностью в конечной победе народа, в них всегда звучит мотив мести за смерть павшего в бою товарища, идея бессмертия героя. В сербской песне «Насред горе нашег Велебите» умирающий партизан утешает мать, взывает к ее патриотическому чувству⁸⁷. Герой чешской песни «Podaј mi, milá, gučku na rozlučku» просит товарища:

Napiš to otcovi, napiš mojoj mamke,
napiš to mojoj divčine,
že ostra gul'a zranila hrud' moju,
padám za otčinu-svoju⁸⁸.

Герой часто умирает на руках или в окружении боевых соратников, которые клянутся над его телом отомстить врагу.

«Ми нећемо више сузе лити
Ми ћемо те, друже, осветити».

Диздар, стр. 146.

⁸⁴ Конески, стр. 15; Роровић, стр. 42; Диздар, стр. 105 («Бјела ноћ је...»); Ораховић, II, стр. 125—126; Žирап, стр. 30. В некоторых песнях тяжелораненый партизан прогоняет волка, черного ворона и т. п. (Огаховић, I, стр. 95).

⁸⁵ Кауфман, стр. 338, № 284; Роровић, стр. 36; 3б. рад., кн. 3, стр. 91—93, № 89, 814, 1641. Ср.: Народне песме, стр. 25 («Кад равеник издасао»).

⁸⁶ Стоин, стр. 145, № 98.

⁸⁷ Диздар, стр. 97; Ораховић, I, стр. 186; 3б. рад., кн. 1, стр. 67, № 36.

⁸⁸ V. Karbusický, V. Pletka. Výskum a dokumentace současného folklóru, str. 108.

В песне карельских партизан раненый герой просит товарища передать семье прощальный привет и произносит последние слова: «Да здравствует Родина наша!», которыми он благословил на «священную месть партизан» (ИРЛИ, Р. V, к. 1, п. 26, № 12). На земле, обильно политой кровью народа, восходит свобода:

z jeho krvi na Slovensku
rastuje slobodienka.

Melicherčik, Motivy odboja, стр. 202.

О преодолении в украинских песнях эпохи Отечественной войны настроений тоски и фатализма, свойственных некоторым традиционным песням, писал Ф. Колесса⁸⁹. В русских песнях этот мужественный патриотический пафос восходит к известной народной песне эпохи гражданской войны «Там вдали за рекой».

Особенностью партизанской поэзии является органическое слияние драматических элементов с героическим началом, отсутствие мелодраматических, жалобных, сентиментальных мотивов, встречающихся в некоторых других фольклорных произведениях эпохи второй мировой войны.

Разумеется, связь партизанской поэзии с фольклорными традициями не ограничивается усвоением героических и драматических элементов. Мы их выделили в качестве главных, характеризующих эстетическое своеобразие партизанских песен. В некоторых случаях в партизанской поэзии оживали даже, казалось бы, весьма архаические традиции, однако и здесь имело место наполнение традиционного мотива новым содержанием, происходила героизация образа. Так, например, югославские фольклористы отметили связь некоторых партизанских песен с мотивами обрядовой и даже мифологической поэзии⁹⁰. Традиции обрядового фольклора использовались и преобразовывались в некоторых случаях и в среде советских партизан как в героическом плане, так и сатирическом⁹¹.

4

Жанровый состав песенного творчества партизан мало исследован. Общепринятая научная классификация видов партизанской поэзии отсутствует (как и современного фольклора в целом).

⁸⁹ Колесса, стр. 14.

⁹⁰ Неделькович, стр. 84; Bošković-Stulli. Narodna poezija, str. 414—415; ее же. Bilješke, стр. 680.

⁹¹ Любопытный образец сатирической переработки украинской щедривки в духе соответствующей традиции:

Щедрик-ведрик	Що тобі мало —	Щоб тобі, чорта,
Гітлер монешник.	Забрав і сало!	Було разорвало!
За яку ласку	Поперек горла	
Забрав ковбаску?	Щоб тобі стало!	

Характерно, что многие фольклористы вообще избегают говорить о жанрах, а характеризуют партизанскую поэзию в целом или ограничиваются группировкой произведений по тематическому содержанию. В некоторых исследованиях намечается (хотя почти никогда не формулируется и не определяется) более конкретное деление. Так, А. Мелихерчик выделяет боевую агитационную песню, балладу, лирическую песню и сатирическую песню-пародию⁹². Д. Неделькович выделяет песни-вести, песни-кличи к борьбе, сатирические песни и лирические песни о героях⁹³ в другом месте он прослеживает процесс образования и кристаллизации из импровизационных «орских» двустуший во время коллективного пения и пляски песен лирических, с одной стороны, и «кратких эпических» — с другой⁹⁴; он называет также маршевые песни⁹⁵. М. Бошкович-Стулли возводит партизанскую песню преимущественно к форме импровизационных двустуший типа «бечарца» и указывает, в качестве основной тенденции, на соединение нескольких двустуший в короткую лирическую песню с неустойчивой композицией⁹⁶. В отдельную группу югославские фольклористы выделяют причитания (тужбалицы), относя их к группе балладных песен⁹⁷. Особенно детально исследованы и классифицированы югославскими фольклористами типы партизанских плясовых песен-двустуший, однако преимущественно не по принципу поэтических особенностей, а по их музыкально-хореографической природе; они устанавливают повсеместное распространение трансформированного «козарочкого коло», популярность «черногорского коло» и развитие различных видов местных, региональных «оро» и «коло»⁹⁸.

В советской фольклористике, наряду с очень распространенным расположением песен по тематическому содержанию, применяется и собственно жанровая классификация их: выделяются маршевые (походные), лирические (героические) и сатирические; в отдельную группу выделяются частушки и коломыйки⁹⁹. В новейшем исследовании по фольклору Великой Отечественной

⁹² Melicherčik. *Voj proti fašizmu*, str. 374—377.

⁹³ Неделькович, стр. 109—110.

⁹⁴ Там же, стр. 111—113, 118—119.

⁹⁵ Там же, стр. 119—120.

⁹⁶ Bošković-Stulli. *Narodna poezija*, str. 416—419.

⁹⁷ Н. С. Мартиновић. Место тужбалице у фольклору Народне револуције и Ослободилачног рата. Зб. рад., књ. 3, стр. 474—475.

⁹⁸ О. Младеновић. Партизанске и друге народне игре у Ослободилачком рату и револуцији. Зб. рад., књ. 3, стр. 170—171, 184—190; М. Илијин. Партизанске игре у Србији. Там же, стр. 203—205; Ј. Допуђа. Партизанске и друге народне игре у Народноослободилачкој борби, на територије Босне и Херцеговине, стр. 232—236, 240 и след.; I. Ivančan. *Partizanski ples u Hrvatskoj*. Там же, стр. 281—284.

⁹⁹ К. Рупьянская, Минц. *Беларускі фальклор (вступительная статья)*; *Українська народна поетична творчість*, т. II, стр. 73, 76, 237—243.

войны, кроме названных видов, выделяются также лиро-эпические песни¹⁰⁰.

Нетрудно заметить, что в приведенных опытах классификации (или группировки материала) отсутствует единый критерий и песни выделяются в группы по разным признакам. Вряд ли, в частности, можно считать марши особым жанром — ими могли быть песни разной жанровой природы.

Сравнительное изучение партизанских песен славянских народов побуждает нас предложить вниманию фольклористов следующую классификацию.

Песни эпические. К этому роду могут быть отнесены три основных вида. Наиболее простой составляют краткие эпические песни, которые создавались в партизанских отрядах по поводу совершенно конкретных фактов, зачастую сразу же по горячим следам события¹⁰¹. В основе их лежал один какой-нибудь боевой эпизод, и они представляли собой краткий рассказ о подвиге отряда, группы партизан или одного героя. Их отличают лаконизм и конкретность повествования, своеобразная информационность, сдержанность в выражении чувств, которая, возможно, была следствием того, что события были еще слишком свежи в памяти. К этим песням особенно приложимо определение А. Мелихерчика, когда он пишет, что часть партизанских песен «возникла как прямое отражение жизненных и военных событий», Д. Неделькович определяет их как песни-«вести», советские авторы — как песни-«сообщения» или «информации»¹⁰².

Другим видом эпических песен являются песни-«хроники», представляющие собою весьма пространные, детализированные, зачастую бессюжетные повествования, состоящие из цепи эпизодов, связанных с каким-нибудь памятным и значительным событием — восстанием в определенной местности, нападением врага на тот или иной город или село, важной боевой операцией партизанского отряда¹⁰³. В центре их внимания, как правило, не один герой (таких песен сравнительно немного — см.,

¹⁰⁰ Теоретической разработке принципов жанровой классификации была посвящена упоминавшаяся конференция в г. Горьком.

¹⁰¹ Рыленков, стр. 65—66, № 13; Гуторов, стр. 201—202; Шумел сурово Брянский лес, стр. 67; Роровіс, стр. 40; Стоин, стр. 121—123, №№ 77—79, стр. 132, № 85; Хациманов, стр. 117; Диздар, стр. 52 («Мислили су усташки бандити»), 58, 67—68; Ораховац, II, стр. 77; Огаћовац, I, стр. 25.

¹⁰² Melicherčik. *Voj proti fašizmu*, стр. 375; Неделькович, стр. 111.

¹⁰³ Афонин, стр. 19—21; Беларускі фальклор, стр. 92—93; Родина, Стельмах, стр. 23, № 7; Койнаков. Партизан, стр. 54—61; Стоин, стр. 124—125, № 80, раздел «Героичен Батак»; Керемидчиев, стр. 128, № 27; Gall, str. 38—40; Nazečić, str. 23—27, 35—36, 47—48, 54—59, 60—65; Конески, стр. 21, 24—25; Диздар, стр. 23—27, 33—37, 42—51, 128—130, 158—160; Радичевич, стр. 6—10, 11—14, 18—20.

например: *Койнаков.* Народни песни, стр. 124—125, № 10), а масса, коллектив, судьба края, города, села, всего партизанского отряда. Часто эти песни начинаются с характерного обращения к слушателям: «Нашу песню мы просим послушать» (*Афонин*, стр. 19); «Слушайте, стари и млади» (*Керемидчиев*, стр. 134, № 31); «Суте, браќо i drugovo mili» (*Nazeќić*, стр. 29); «Причаћу вам, гдје сам и ја био» (*Диздар*, стр. 24) иные — с указания даты памятного события: «В неділеньку рано-пораненько» (*Родіна, Стельмах*, № 7); «Деветти јуни при се облак зави» (*Конески*, стр. 21); «U hiljadu deveto stotine» (*Nazeќić*, стр. 23); «На десети август беше» (*Керемидчиев*, стр. 126); третьи — с указанием на местность: «По земле партизанской...» (*Беларускі фальклор*, стр. 92); «Od Skicova cesta rovná» (*Gall*, стр. 38); «Po Bosni se podignula raja» (*Nazeќić*, стр. 35).

Характерной особенностью песен-«хроник» является окрашенность повествования в драматические тона, нагнетание фактов и деталей, характеризующих бесчинства врага, страдания и лишения народа, напряженность и длительность борьбы. Эти песни зачастую импровизировались одаренными певцами, причем ими использовались и соединялись краткие эпические песни. Но это чисто количественное наращивание повествования редко приводило к типизации действительности и не способствовало усвоению таких песен коллективом, хотя создавалось их весьма много, особенно у южных славян.

Третью группу эпических песен составляют песни, содержащие, как правило, обобщенный рассказ о боевых действиях или боевом пути партизанского отряда и обобщенную характеристику самого отряда, иногда — обобщенную же характеристику командира¹⁰⁴. В них часто перечисляются основные боевые операции отряда, его маршрут. Создавались эти песни, как правило, на мелодию популярных революционных или солдатских маршей, поскольку они часто выполняли функцию походных песен. Так, большую группу составляют тексты, созданные по образцу и на мелодию советской песни «По долинам и по взгорьям». Кроме многочисленных новых вариантов на русском, белорусском и украинском языках, это марши: «Poprzez lasy, góry, pola» (*Podwiński*, стр. 12), «Dolinami i wzgórzami» (*Dziębowska, Dargiel*, стр. 266—267), «По горе и по Балкани», «По долини и рътлини», «По полета и балкани» (*Стоин*,

¹⁰⁴ Афонин, стр. 26; Рыленков, стр. 62, № 10; 68—69, № 16; Шумел сурово Брянский лес, стр. 63—64; Гуторов, стр. 215, 216, 217—218, 221—222 и др.; Крупянская, Минск, стр. 188, № 17; Беларускі фальклор, стр. 106—109, 111—114, 117, 119 и др.; Родіна, Стельмах, стр. 103, № 52; стр. 105, № 53; стр. 107, № 55; Кауфман, стр. 299—300, № 232; стр. 303, № 237, № 238, № 239; Неделькович, стр. 119—120; Гобес, стр. 24; Podwiński, str. 6—7, 12—13; Dziębowska, Dargiel, str. 276—277; Sowińska, str. 249.

№ 45; *Кауфман*, № 237; № 238, № 239), «По úbočiach i po hò-rách» (*Gall*, стр. 41), «Po dolinah in po gorah», «Naglo puške smo zgrabili» (*Hrovatin*, стр. 31; *Gobec*, стр. 60—61, 148—149), «Po šumama i gorama» (*Župan*, стр. 69; «Plameni cvjetovi», стр. 46). Все эти песни, сохраняя мелодию, ритм и зачин советской песни, отличались от нее конкретным содержанием, и каждая из них является вполне оригинальным произведением.

Ряд вариантов был создан также по образцу другой песни гражданской войны — «По сибирским тайгам и долинам»: «По смоленским и витебским селам» (Беларускі фальклор, стр. 120), «По верховинах гір Закарпаття» (*Родіна, Стельмах*, № 53); «По высоким карпатским отрогам» (*Гуторов*, стр. 221—222) и т. п.

Эти песни отличаются героическим содержанием, боевым духом, патетической тональностью; в рефрене или заключительной строфе они содержат энергический призыв — лозунг, направленный против врага, формулирующий боевую задачу отряда, выражающий волю партизан к победе. Таков, например, рефрен марша брянских партизан:

В бой, партизаны!
Вперед, партизаны!

.....
Нам не жить на коленях —
Это всегда наш девиз боевой.

Шумел сурово Брянский лес, стр. 63.

Это вторжение лирического элемента в эпическую песню весьма симптоматично и превращает некоторые произведения указанного типа эпической песни в своего рода переходную форму от эпоса к лирике.

Первые две группы эпических песен были в большинстве случаев недолговечны. Многие из них, созданные каким-нибудь одаренным певцом-импровизатором, удовлетворив первое желание слушателей или их потребность в воспоминании, не получили большого распространения в партизанской массе. Песни третьей группы, напротив, были очень популярны, исполнялись непременно коллективно, варьировались, устойчиво держались в репертуаре партизан, получали иногда распространение за пределами отряда, их создавшего.

Лирические песни. Этот род представлен наибольшим количеством произведений и особенно богат жанровыми разновидностями, границы между которыми, разумеется, не всегда могут быть проведены с абсолютной определенностью. По преобладающему в песнях содержанию и чувству, по эстетической тональности и некоторым формальным признакам лирические партизанские песни могут быть сгруппированы в следующие виды:

1. Песни-«кличи» или песни—боевые «наказы» представляют собою лирическое выражение активного призыва к борьбе, к восстанию, к мести, к подвигу¹⁰⁵. Это, как правило, короткие, эмоционально насыщенные песни с императивными формулами и интонациями: «Партизаны, партизаны, в бой смелой идите» (Афонин, стр. 17), «Айдате, брака, сите содружно» (Конески, стр. 10), «Стайте, братя, не спете» (Керемидчиев, стр. 40), «Drugarice, hajmo na planinu» (Nazečić, стр. 19), «Устај, село, устај, роде» (Диздар, стр. 18); «Гей вы, хлопці, вы молодці, час вже наступати» (Дей, Нечиталюк, стр. 74), «Из-за лесу сонце сходить, хлопці, не зивайте!» (Родіна, Стельмах, № 49); «Poszliśmy w bój, polskiego ludu syny!» (Sowińska, стр. 76); «Do broni, hej, chłory-żołnierzel» (Wodnarowa, стр. 270); «Партизаны, партизаны, поднимайте знамя в бой» (Беларускі фальклор, стр. 82). Характерен в этом отношении рефрен в песне словацких партизан:

Chlapci, na Besnik!
 Na vraha uderíme,
 zachránime svoju zem,
 drahú dedovizeň.
 Zvit'azíme, zvit'azíme.
 nepriatela parazíme!
 Zvit'azíme, zvit'azíme! Do boja!

Gall, стр. 14—15.

2. Песни-«клятвы» близки к песням-«кличам», они напоминают в то же время знаменитые партизанские присяги¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Афонин, стр. 17, 28; Рыленков, стр. 73—74, № 20; Беларускі фальклор, стр. 74—75, 82; Родіна, Стельмах, стр. 19, № 3, стр. 100, № 49; Дей, Нечиталюк, стр. 74—75; Ние бяхме партизани, стр. 277; Керемидчиев, стр. 70; стр. 123, № 17; Стоин, стр. 91—94, № 50—53; Кауфман, стр. 297, № 228; Nazečić, s. 19, 22, 28, 41; Роровіс, s. 54; Конески, стр. 5, 10; Хаџиманов, стр. 100; Gall, s. 14—15; Hrovatin, стр. 27, 29, 30; Гобес, s. 21; 67—68; Диздар, стр. 18, 21—22, 27; Крајишке борбене песме; II, стр. 9; Зупан, s. 6, 9; Podwiński, s. 22—23; Dziebowska, Dargiel, s. 264—265; Sowińska, s. 76.

¹⁰⁶ Беларускі фальклор, стр. 58; Колесса, № 1, стр. 36; Podwiński, s. 9; Койнаков. Партизан, стр. 65; Гобес, s. 27—28; Караклајић, стр. 9; Hrovatin, s. 44; Диздар, стр. 37; Sowińska, s. 275—276. Характерны строки одной русской песни:

В эту ночь собрались партизаны
 И дали клятву родине своей:

 Скорей помрем, чем станем на колени,
 Мы победим скорее, чем помрем.

ИРЛИ. Р. V, к. 1, п. 26, № 8, с. 7.

Запись О. Н. Гречиной; ср.: И. В. Виноградов. Партизанская война на Псковщине. Псков, 1950, стр. 12.

В отличие от песен-«кличей», апеллирующих, как правило, к большой аудитории всех потенциальных борцов или выражающих боевой наказ всем партизанам, песни-«клятвы» более концентричны, они обращены к уже вступившим на боевой путь партизанам, поются часто от первого лица или от имени боевого коллектива. Для них характерен мужественный, суровый тон, они проникнуты решимостью и нетерпением сразиться с врагом.

3. Песни-«славы» воспевают боевые дела партизанского коллектива, выражают чувство воинской гордости и содержат своеобразный идеализированный коллективный портрет или автопортрет¹⁰⁷. Они отличаются торжественным, патетическим тоном. Иногда в самом тексте выражается прославление:

Наша слава, слава партизанская,
Никогда не смолкнет, не умрет.

Рыленков, № 14.

Честь вам, бійці-ковпаковці,
Що нас вызволяли.

Колесса, стр. 43, № 1.

Пусть же песня славухи
Прозвевит сильней.

Шумел сурово Брянский лес, стр. 49.

4. Героические песни передают стремления партизан к борьбе, их состояние во время боевой операции, чувства после схватки с врагом или содержат более обобщенное выражение их патриотических настроений¹⁰⁸. Часто эти песни поются не от первого лица, а от имени коллектива, к которому принадлежит герой, и выражают как бы коллективное чувство или настроение. Внимание в них сосредоточено не на событии, а на выражении отношения к нему, или конкретный эпизод из боевой жизни служит поводом для обобщенного выражения мыслей и настроений, вообще связанных со своей боевой жизнью партизан. Они полны глубокого патриотического чувства.

To dla Ciebie, Ojczyzno kochana,
Cześć Ci, chwała, chwała i cześć!

Podwiński, стр. 237.

¹⁰⁷ Афонин, стр. 18, 22—23; Шумел сурово Брянский лес, стр. 49—50; Рыленков, стр. 60, № 8; стр. 66—67, № 14, Беларускі фальклор, стр. 168, 171; Podwiński, s. 15—16; Колесса, стр. 43, № 1; стр. 44, № 2; Стоин, стр. 84, № 41; стр. 235—236, № 126; Хациманов, стр. 118; Конески, стр. 27; Nazečić, s. 35; Гобес, s. 45—47; Дивадар, стр. 57, 80.

¹⁰⁸ Афонин, стр. 37, 39, 48; Рыленков, стр. 61, № 9, стр. 63, № 11; Беларускі фальклор, стр. 149, 150. Родина, Стельмах, стр. 9, № 48; Колесса, стр. 38, № 4; Podwiński, s. 22—23; Стоин, стр. 67, № 30, стр. 75, № 36; стр. 76, № 37, стр. 123, № 79, стр. 138, № 91; Гобес, s. 50—51.

Значительную по количеству текстов группу песен героических составляют песни о боевом подвиге и смерти партизана, в которых выражается отношение к герою его товарищей и готовность их продолжить дело павшего.

5. Характерным видом партизанской лирики являются также элегические песни¹⁰⁹. В них выражаются грустные настроения, вызванные разлукой с родными местами, с семьей, с любимой девушкой, мысли о страданиях народа и близких людей, оставшихся под игом врага. Они часто создавались в форме обращения к отсутствующему лицу или воображаемого разговора с ним, в форме письма или просьбы, обращенной к товарищу, к какому-либо живому существу или олицетворенному предмету, наконец, в форме воспоминания, исповеди, задушевного рассказа. Часто элегическое настроение, составляя основную тональность этих песен, уравнивается волевым усилием, ободряющим мотивом надежды на скорую встречу, на близкую победу и т. п. Значительная часть этих песен посвящена любви партизана или партизанки. Некоторые из них выражают чувства глубокой скорби по погибшему партизану и близко соприкасаются с соответствующими героическими песнями.

6. Совершенно особую группу партизанской лирики составляют многочисленные сатирические песни, выражающие сознание морального превосходства над врагом, чувства презрения к нему¹¹⁰. Они характеризуются жгучим сарказмом, злой насмешкой, гротескностью образов, нарочитой грубостью языка. Часто они возникали как пародии на популярные лирические песни, что создавало особенно резкий эмоциональный контраст. По образцу известного русского романса «Мой костер в тумане светит» были сложены сатирические песни ленинградских партизан (*Вагин*, стр. 24) и белорусских партизан (Беларускі фальклор, стр. 221); пародии на популярную украинскую песню «Ой, не ходи, Грицю» были известны на русском, белорусском и украинском языках; сатирические песни «Крутится, вертится Гитлер чумной» или «Крутится, вертится гад под Москвой»

¹⁰⁹ Афонин, стр. 50—51, 52, 53, 55—56; Рыленков, стр. 54, № 3; Шумел сурово Брянский лес, стр. 51—52; Гуторов, стр. 125—126; 227—228; Колесса, стр. 24, № 8; Dziębowska, Dargiel, str. 274—275; Podwiński, str. 28—29; Стоин, стр. 115, № 74, стр. 134, № 87, стр. 142, № 95; Гобес, s. 25—26, 40—42; Караклайћ, стр. 14; Hrovatin, s. 39, 40—41; Поповић, Симић, стр. 84; Дзядар, стр. 59, 62 («Шома»), 118; Orahovac, I, стр. 37, 101, 103; Народне песме, стр. 15; Sowńska, s. 160, 257; Wodnagowa, s. 280—283.

¹¹⁰ Афонин, стр. 59—66; Мееровиц, стр. 77—82; Гуторов, стр. 148—151, 167—170, 178—179, 182—183, 186—188; Беларускі фальклор, стр. 205, 208, 211, 214—215, 221—223; Родина, Стельмах, стр. 172—178; Стоин, стр. 116, № 75; Кауфман, стр. 386, № 334; Койнаков. Народни песни, стр. 252, № 7; Melibegićk. Woj proti fašizmu, s. 377; Дзядар, стр. 160—171 (Раздел «Шальве пјесме из рата»).

представляют собою пародию на популярную песенку «Крутится, вертится шар голубой» (Гуторов, стр. 148—151); песня «По Берлину ходит Гитлер» — пародия на известную песню М. Исаковского (Афонин, стр. 63—64, Гуторов, стр. 148—151). Целый цикл песен о «грязных платочках» пародировал советскую эстрадную песню Галицкого и Петербургского «Синенький, скромный платочек» (Афонин, стр. 62, Гуторов, стр. 167—170). Некоторые же сатирические песни, не будучи пародиями на известные тексты, строились по принципу несоответствия субъективных представлений отрицательного персонажа и объективного их смысла, намерений и результата: болгарская песня «Стыдил Хитлер» (Стоин, стр. 116), сербско-хорватская песня «О Пожега, ворошице мала» (Недельковић, стр. 124).

7. Среди партизан возникало огромное количество коротеньких лирических плясовых песенок и героического, и элегического характера, представляющих, однако, особенно большие возможности для сатирического изображения врага — русские частушки, белорусские «прыпеўкі», украинские «коломийки», польские дву- или четырехстрочные «śpiewka», «przyśpiewka» или «krakowiak», двустипия типа «беһарац», «галикачки», сатирические куплеты (типа «врабац» у народов Югославии, «обозрения» у советских партизан и т. п.). Эти формы отличались лаконизмом характеристик, остротой и беглостью сатирического штриха, концентрированностью гневного, саркастического чувства. Они были подобны автоматной очереди, выпускаемой метким стрелком по врагу¹¹¹.

Разумеется, выделенные нами основные виды лирических песен не исчерпывают всего богатства и разнообразия партизанской народной лирики. Многие произведения представляют собою переходный тип от одного вида к другому, некоторые песни остаются за пределами предложенной классификации — она, как и всякая классификация, намечает основные узлы, где сгущаются характерные признаки, неизбежно минуя промежуточные или нетипичные формы.

Лирические песни. Этот род состоит из двух основных видов. Одну группу составляют плачи. В условиях партизанской борьбы они получили далеко не одинаковое распространение. Если на русском Севере, где была стойкая соответствующая поэтическая традиция, плачи в годы войны оказались весьма продуктивным жанром, то в других районах России, а также в Белоруссии и на Украине зарегистрированы лишь отдельные факты создания новых причитаний. Во всяком слу-

¹¹¹ Афонин, стр. 69—82; Шумел сурово Брянский лес, стр. 91—104; Рыленков, стр. 13—21; Фольклор советской Карелии, стр. 120—122; Беларускі фальклор, стр. 418—422; Колесса, стр. 22—23, № 5, 6, 28, № 15, 36, № 2, 4; 38—39, № 1, 2, 6. Этими произведениями изобилуют все сборники югославских фольклористов. Д. Антонијевић. «Врабац» — нов облик масовог народног певања. «Гласник Етнографског института», т. VII. Београд, 1958, стр. 127—130.

чае, в партизанских районах Советского Союза, судя по записям и по мемуарной литературе, причитания не исполнялись¹¹². Несколько иная картина в Югославии. Там в освободительной борьбе в некоторых районах (Черногория) «тужбалицы» сыграли важную роль. В них получили дальнейшее развитие традиции классических причитаний. Как установил С. Мартинович, проанализировавший новые «тужбалицы» в специальной работе, они во многом обогатились новым идейным содержанием, духом революционного гуманизма и революционной борьбы¹¹³. Причитания в Черногории исполнялись не только матерями погибших героев, но и партизанскими плакальщицами¹¹⁴, а также и рядовыми участниками борьбы; известны даже случаи коллективного «посмертного коло»¹¹⁵. Особенностью партизанских плачей является отсутствие в них пассивного, слезливого, жалостного настроения — скорбь и боль здесь сочетаются с экспрессивно выраженными мотивами проклятий фашизму, прославления павших борцов и призыва к борьбе. Характерна концовка одной из таких «тужбалиц»:

Ал' чујте ме, сестре миле
Што сте браћу изгубиле:
Не ћемо их ни жалити,
но се њима поносити!
Доћи ће нам сретни дани,
завладаће партизани!
Соколови наши сиви —
цио им се свијет диви!¹¹⁶

Другой получивший наибольшее распространение среди партизан разных славянских народов вид лироэпических песен может быть определен как новая героическая баллада¹¹⁷. Гене-

¹¹² О судьбе русской причеты в годы Великой Отечественной войны см. доклад В. Г. Базанова «Обряд и поэзия», представленный V Международному съезду славистов. См. настоящее издание, стр. 233.

¹¹³ Н. С. Мартиновић. Место тужбалице у фольклору Народне револуције и Ослободилачког рата, стр. 475.

¹¹⁴ Там же, стр. 477.

¹¹⁵ Ј. Допуђа. Партизанске и друге народне игре у НОБ на територији Босне и Херцеговине. 36. рад., књ. 3, стр. 233. Известны также плачи сестры по брату (Ораховац, II, стр. 154—156). Некоторые плачи, опубликованные югославскими фольклористами, записаны уже после войны от матерей, вспоминавших своих погибших сыновей; они, строго говоря, не являются партизанской поэзией.

¹¹⁶ Нове црногорске тужбалице. Антологија. Скупно и средно Букоман Цаковић. Нишкић, 1954, стр. 47; Диздар, стр. 80—83; Огачовац, I, стр. 123, 131; Цирац, s. 75—76, 79—83.

¹¹⁷ Крупянская, Минц, стр. 178, № 91, стр. 190, № 98; стр. 192, № 99; Шумел сурово Брянский лес, стр. 65—66; Афонин, стр. 38; Меерович, стр. 32—33; 65—66; Беларускі фальклор, стр. 86, 91, 152; Керемидчиев, стр. 133, № 29; Койнаков. Народни песни, стр. 126, № 12; Крајишке пјесме, 25; Хадиманов, стр. 109, 111; Милошевић,

зис этих песен мог быть различным. По наблюдениям югославских фольклористов, они возникали или в процессе импровизации в коло или как результат развития повествовательного элемента лирических песен¹¹⁸. Наблюдения советских фольклористов показывают, что у восточных славян, вероятно, преобладала другая тенденция — превращение в балладу повествовательной песни (чаще всего ее краткой редакции)¹¹⁹. В других случаях, возможно, было непосредственное развитие традиций народной баллады, как это имело место среди словацких партизан¹²⁰.

Героическая баллада представляет собою краткое эмоционально-насыщенное повествование о подвиге партизан, зачастую с драматическим исходом. Она могла быть посвящена какому-либо известному, прославленному герою, например командиру партизанского отряда, чья гибель воспринималась как особенно большая беда (*Крупнянская, Минц*, № 91, 99; *Nazečić*, стр. 40, 45—46, 54, 68—69, 71—72), или безымянному герою (*Афонин*, стр. 29, *Рыленков*, стр. 61—62, № 9; *Поповић, Симић*, стр. 86), или группе героев (*Койнаков*, Народни песни, стр. 123—124, № 9; *Gall*, стр. 35; *Конески*, стр. 13, *Хаџиманов*, стр. 111; *Nazečić*, стр. 50—52). Некоторые баллады рассказывают о чувствах и поступках героя, на глазах которого убивают близких ему людей (*Афонин*, стр. 98; *Диздар*, стр. 61).

Особенностью героической баллады является то, что она часто излагает обстоятельства смерти, но лишь постольку, поскольку эти обстоятельства образуют кульминационный пункт подвига. Композиция баллад, как правило, диалогическая (вопросно-ответная форма). Концовка подчас имеет трагический оттенок, в ней появляются гиперболические образы. В словацкой песне «*V žilinskom poli*» рассказывается о гибели кем-то преданных партизан, укрывшихся в развалинах старого замка; баллада кончается выразительной строфой, рисующей картину размытых кровью рун:

V žilinskom poli
sklabinský zámok
je rozbúraný,
krvou zmývaný,
krvou zmývaný.

G a l l, стр. 35.

Однако в любом случае партизанская баллада выражает пафос борьбы, взывает к активным действиям, к отмщению.

стр. 49, № 42; Поповић, Симић, стр. 86; Nazečić, s. 40, 45—46, 50—52, 54, 71—72; Ораховац, II, стр. 123, 124.

¹¹⁸ Недељковић, стр. 93, 112—113.

¹¹⁹ См. главу «Массовое песенное творчество» в коллективной монографии «Русский фольклор Великой Отечественной войны». М.-Л., 1963.

¹²⁰ Meliherčik. Voj proti fašizmu, str. 376.

На основании наблюдений фольклористов в разных странах и предложенного обзора жанровых видов можно сделать вывод, что партизанскую народную поэзию в целом характеризует тенденция затухания эпической песенной формы и наиболее интенсивное развитие различных форм лирической и лиро-эпической поэзии. Этот процесс протекал даже у тех народов, у которых эпическая традиция была достаточно устойчивой вплоть до нового времени, например у южных славян. М. Бошковић-Стулли приходит к убедительному выводу, что «эпическая форма не характерна для песенного творчества периода народно-освободительной борьбы» (в годы второй мировой войны)¹²¹. Если и появляются эпические произведения, то они являются как бы вторичным образованием, генетически восходят не столько к традиционному эпосу, сколько к лирическим по своей природе импровизациям, из которых лишь постепенно складывались краткие эпические песни или баллады¹²². Напомним, что речь идет о массовой партизанской поэзии, а не об индивидуальном творчестве гуслей, народных певцов, сказителей, где, напротив, обнаружилось стремление непосредственно опереться на эпическую традицию. Однако это и есть, как мы видели, то исключение, которое лишь подтверждает правило. Развитие партизанской поэзии неопровержимо показало, что в новых исторических условиях, даже тогда, когда обстоятельства, казалось бы, благоприятствуют возрождению эпической формы и когда это ожидается фольклористами, подлинно народный эпос, как факт массового творчества, оказывается уже невозможным¹²³.

Прямую противоположность судьбе фольклорной эпической традиции являет картина лирической поэзии. В партизанской среде она получила весьма продуктивное развитие — об этом свидетельствуют и разнообразие видов, и большое количество вновь созданных произведений, и творческое варьирование традиционных форм, и, наконец, подлинно массовое распространение лирики. В особенности типично и знаменательно повсеместное распространение, а в ряде случаев и выдвижение на первый план малых импровизационных форм лирики — двустрочных и четырехстрочных песенок, а также тенденция к их контаминации, которая осуществляется в двух направлениях, — ведет к созданию или лирической песни или цикла куплетов. На мелодии этих песенок возникали и другие виды партизанских песен¹²⁴.

¹²¹ Bošković-Stulli. Narodna poezija, s. 415.

¹²² Недельковић, стр. 87—88, 111—113, 118.

¹²³ В связи с этим мы никак не можем разделить надежды некоторых коллег на появление нового героического эпоса (см. некоторые формулировки в книге «Українська народна творчість» (т. II), а также у Д. Недельковића и в книге И. Коева).

¹²⁴ Так, например, на частушечный напев «Семеновны» складывались партизанские варианты песни о Зое Космодемьянской (ИРЛИ, Р. V, ч. 1, п. 26, № 8, стр. 39, запись О. Н. Гречиной; ИРЛИ, Р. V, к. 145,

В партизанской поэзии славянских народов может быть отмечена определенная система образов. Центральным является обобщенный коллективный героический образ партизанского отряда или группы партизан. Он присутствует в большинстве эпических песен, но и многие лирические песни поются от имени целого коллектива; ему посвящены и некоторые баллады. От него неотделимы другие излюбленные персонажи партизанских песен. Он отличается целостностью характеристики — это всегда монолитный боевой коллектив, спаянный единой волей. Он всегда раскрывается в движении, в активном действии (боевой поход, диверсионный акт, налет на врага, сражение), никогда мы не видим его бездействующим; это отличает партизанские песни от старых казачьих и особенно солдатских песен, в которых, наряду с активным образом воинского коллектива, присутствует также образ погруженной в раздумье или даже рефлектирующей, тоскующей или жалующейся на свою судьбу массы.

Вместе с тем образу партизанского коллектива присущи ясное сознание целей борьбы, отчетливо выраженное чувство патриотизма и определенность социального идеала.

Всесторонне раскрывается образ партизана — борца за свободу народа. Ему свойственны сила духа, воля к победе, самоотверженная готовность умереть, ненависть к врагу, чувство товарищества и гуманизм по отношению к слабым, беззащитным и страдающим людям, нежное чувство к матери, отцу, сестре, жене, возлюбленной. Как ни велика его привязанность к родному краю, домашнему очагу, он оставляет семью, чтобы вернуться только после того, как окончится борьба. Очень трогательны картины прощания его с близкими ему людьми, на которых останавливают внимание многие партизанские песни (*Афонин*, стр. 49; *Хациманов*, стр. 92, 94—96; *Стоин*, № 30, 36, 104; *Кауфман*, № 246, 247; Народные песни, стр. 12; *Диздар*, стр. 132—133). На уговорах матери остаться герой заявляет о своем бесстрашии (*Колесса*, стр. 37, № 6) и апеллирует к ней самой:

Кат си ме, майко, родила, родила
Със мъжко сърце юнашко, юнашко

Стоин, № 41; ср. № 32.

№ 36, ф. В, № 36/44 запись Н. А. Котиковой). На мелодии коломыек создавались украинские песни (*Колесса*, стр. 14), на папевы орских двустийши — песни югославских партизан (*Миловшевић*. Предговор, стр. 7—8).

Мужественно звучит обращение двух братьев-партизан:

Пјевај, мајко, кад у борбу пођем
Ал' не плачи, ако ти не дођем.

Диздар, стр. 59.

Партизан успокаивает свою милую (*Родина, Стельмах*, стр. 128) и на вопрос, когда его ждать, отвечает:

Nećakaj ty ma dnes,
nećakaj ma zajtra,
vrátim sa je k tebe
ked' zdoláme pevne
germánских vrahov bes!

Gall, стр. 31.

Весьма характерна как своеобразное обобщение всех этих и подобных мотивов, песня, популярная у югославских партизан. Героя зовут домой: ведь там осталась его жена, плачет его дитя, ждет старая мать, горит его село, он сам может погибнуть, но на все он отвечает отказом:

Ja ne mogu ići,
borbu ostaviti.

Гобес, стр. 50—51; ср.: Поповић, Симић, стр. 93—94; Ораћовас, I, стр. 83—84; Диздар, стр. 30—31; Žурап, стр. 44.

На вопросы девушек, когда им ждать своих возлюбленных, партизаны отвечают, что приедут лишь после победы. (*Крајишке пјесме*, стр. 26; *Диздар*, стр. 98—99; *Ораћовас*, I, стр. 70—71).

Род и семью партизану заменяет отряд, его боевые друзья (*Афонин*, стр. 37; *Крупянская, Минц*, стр. 184; *Хадиманов*, стр. 105). Часто эта мысль формулируется в афористических стихах:

Partizani — to mi je rodbina,
a planina — moja postojbina.

Воšković-Stulli. Petokraka, стр. 26.

Здесь протекает вся его жизнь, полная опасностей и лишений, радостей борьбы и побед, здесь совершает он свои подвиги и гибнет в одной из схваток с врагом.

Близок по характеристике и образу героя образ девушки-партизанки. В некоторых песнях рассказывается ее предыстория. Веселая, беззаботная девичья жизнь прерывается с приходом врага; героиня не выносит унижений и объявляет матери о своем желании уйти к партизанам (*Вранска, Стойкава*, стр. 180—181; *Стоин*, № 39). Иногда ее побуждает к этому надежда встретиться со своим милым или братом, который уже живет и сражается в горах (*Нрватин*, стр. 34—35; *Конески*, стр. 18, *Хадиманов*, стр. 46). Или же на путь борьбы ее увлекает жажда отмщения за своего «драгана», павшего от рук фа-

шистов (*Роровић*, стр. 22; *Ораховац*, II, стр. 86; *Župan*, стр. 67). Отправляясь к партизанам, она прощается с родом (*Хаџиманов*, стр. 98), с матерью (*Койнаков*, Партизан, стр. 29; *Кауфман*, № 254), успокаивает ее, уговаривает ее не плакать (Беларускі фальклор, стр. 140—141; *Родіна*, *Стельмах*, № 38; *Ораховас*, I, стр. 40; *Конески*, стр. 11—12). Как и партизану, ей отряд замечает семью:

Partizani — pola roda moga,
tamo imam brata i dragoga.

Bošković-Stulli, Petokraka, стр. 26;
ср.: Роровић, стр. 58; Ораховас, I,
стр. 63, 83.

В партизанском отряде мы видим ее в рядах бойцов, с винтовкой в руках (*Афонин*, стр. 45, *Крупянская*, *Миц*, № 49, 50; Беларускі фальклор, стр. 201—202; 3б. рад. књ. 3, стр. 361—362; *Койнаков*, Партизан, стр. 33; *Кауфман*, № 250; *Вранска*, *Стойкова*, стр. 190; *Стоин* № 35, 63—65); она часто оказывает помощь раненому партизану, перевязывает ему раны (*Афонин*, стр. 46—47; *Гуторов*, стр. 204—205; Беларускі фальклор, стр. 188—189, 204; *Стоин*, № 96) или же вяжет ему рукавицы, вышивает платок (*Диздар*, стр. 133; 3б. рад. књ. 3, стр. 107; Беларускі фальклор, стр. 192). Она любит партизана, ходит с ним на боевые задания (*Афонин*, стр. 48, 57, 69; *Рыленков*, стр. 13—14, 16—17; *Роровић*, стр. 60); раненая, мечтает его увидеть (*Ораховас*, I, стр. 19; *Диздар*, стр. 99—100; Крајишке борбене пјесме, I, стр. 23). Песня прославляет девушку партизанку, наделяет ее самыми лестными поэтическими эпитетами:

Свака наша другарица
К'о прави је соко птица.

.....
Другарица наша мила
Ты к'о вила имаш крила.

Диздар, стр. 97—98.

Во многих песнях партизанка совершает героический подвиг, бесстрашно жертвует своей жизнью во имя свободы отчизны (*Гуторов*, стр. 203—204; Беларускі фальклор, стр. 173, 183; *Крупянская*, *Миц*, № 92; *Койнаков*, Народни песни, стр. 138—139, № 25; Крајишке пјесме, стр. 22, «Марија Бурсаћ»).

Героичен образ матери в партизанских песнях. В них часто запечатлен момент прощания с сыном, уходящим к партизанам. Как правило, она испытывает при этом естественное чувство тревоги, иногда даже пытается уговорить его остаться дома, но примиряется с жестокой необходимостью расстаться и, преодолев минутную слабость, дает сыну боевой наказ (Беларускі фальклор, стр. 60), живет мыслями о нем (*Диздар*, стр. 126), в некоторых песнях сама приходит на помощь к партизанам (*Афонин*, стр. 42) или с надеждой ждет возвращения сына

(Арцимович, стр. 297—298). Особенно типичен для партизанских песен мотив страшного известия о гибели сына. Получив его предсмертное письмо или узнав об этом от боевых товарищей сына, мать испытывает смешанное чувство горя и гордости (Керемидчиев, № 24; Койнаков. Партизан, стр. 42; Вранска, Стоин, стр. 189; Стоин, № 91, 138; Керемидчиев, стр. 126, № 24; Гобес, стр. 35—36). В ее уста песня вкладывает призыв к отмщению и к борьбе за свободу оставшихся в живых (Гобес, стр. 66).

Даже в плачах, по замечанию исследователя, «образ матери поднят на высоту неколебимого борца»¹²⁵. В некоторых песнях возрождается традиционный мотив поисков матерью среди убитых партизан своего сына. У южных славян была популярна песня, восходящая к старому мифологическому сюжету («На Кордуну гроб до гроба»; «Край Пирота гроб до гроба» и т. п.): мать находит гроб с телом своего сына и разговаривает с ним; сын просит не тревожить его плачем, утешиться сознанием того, что он пал за свободу и оповестить об этом весь род (Поповић, Симић, стр. 90; Поповић, стр. 38; Назеčić, стр. 77; Ораховас, I, стр. 104; Диздар, стр. 61; Стоин, № 92; Кауфман, № 256)¹²⁶. Образ матери, лишь оплакивающей сына, редко встречается в партизанских песнях (см., например, Стоин, № 93; JNU, 33, B-St, стр. 8, № 17), но и в этом случае то, что в других песнях в данной ситуации произносит она сама или голос ее умирающего сына, зачастую вкладывается в уста утешающих ее боевых соратников героя или его командира. Весьма характерна в этом отношении песня «На опушке леса старый дуб стоит». Типична формула и в других песнях:

Не жал' мајко јединог сина
Осветиће њега омладина.

Крајишке пјесме, стр. 29.

Рассмотренные образы созданы по законам народно-поэтической идеализации. В них выделены лишь такие черты, которые могут создать возвышенное, очищенное от элементов повседневности и мелочности представление о человеке. Но эта идеализация не отвлеченная, не внеисторическая, она не что иное, как концентрированное выражение, типизация качеств, которые действительно были присущи участникам освободительной борьбы против фашизма. Все то, что мы знаем об этих людях из исторических документов, здесь лишь опоэтизировано,

¹²⁵ Н. С. Мартиновић. Мјесто тужбалице у фолклору Народне револуције и Ослободилачког рата, стр. 469.

¹²⁶ Известны варианты, где разговор происходит между убитым партизаном и сестрой. (Диздар, стр. 139; Народне песме, стр. 38), а также между партизаном и его любимой (Народне песме, стр. 35. Зирап, s. 31). Отличный от приведенных вариант см.: Народне песме, стр. 26.

воплощено в обобщенные образы, возведено к определенным традицией представлениям об идеальном, с точки зрения самого народа, человеку.

Сходство системы типических образов в партизанских песнях разных славянских народов не может быть, разумеется, объяснено заимствованиями или прямым воздействием фольклора одного народа на поэзию другого народа. Коллективный образ партизанского отряда (группы партизан), как и типичные персонажи — герой-партизан, девушка-партизанка и их мать — возникли как художественное отражение характеров, сформированных в условиях суровой действительности военных лет. Общие исторические судьбы и сходные условия борьбы объективно определили характерность именно этих образов и поставили их в центр художественного творчества партизан. У разных славянских народов, как следует из приводившихся иллюстраций и ссылок, могли использоваться различные детали характеристики персонажа, не совпадать конкретные составные элементы образа, но сами образы сходны в существенных своих качествах, которые проявляются в аналогичных поступках, мыслях и чувствах.

В целом партизанские песни славянских народов характеризуются несомненным типологическим сходством. Случаи прямого сюжетного сходства в них редки. Они обнаруживаются лишь там, где имело место усвоение песен, созданных одним славянским народом, партизанами другой национальности, и могут быть легко установлены, хотя, вероятно, полностью еще не учтены. Речь идет прежде всего о вариантах интернациональных рабочих песен, известных партизанам разных славянских народов, и о вариантах особенно популярных песен, как традиционных, так и новых (примеры приводились выше).

Более существенное значение, на наш взгляд, имеет сходство сюжетных ситуаций и некоторых мотивов и особенно сходство их идейного содержания и эстетической природы.

К типическим ситуациям, прослеживаемым в большом количестве партизанских песен разных славянских народов, могут быть отнесены следующие: уход героя или героини в партизанский отряд; прощание их с матерью, реже — с сестрой, как исключение — с женой; боевой поход партизан (они спускаются с гор, идут лесом, переправляются через реки, проходят селом и т. п.); партизаны готовятся к бою, в засаде ждут врага или осуществляют диверсионный акт; партизаны вступают в бой со значительно превосходящим их численно противником; партизан стойко держится, окруженный врагами; тяжелораненый партизан умирает в кругу боевых друзей, пишет письмо, дает наказ, завещание и т. п.; девушка прощается с умирающим героем или оказывает ему помощь в бою; мать узнает о гибели сына; партизаны мстят за своего павшего в бою товарища; партизаны

изгоняют врага с родной земли. Во всех этих случаях сходство сюжетных ситуаций является типологическим, так как они параллельно возникают у разных славянских народов (за исключением тех совершенно определенных песен, о которых говорилось выше, где тоже могли встретиться указанные ситуации, реализованные уже в конкретные мотивы, которые собственно и могли заимствоваться).

Типологическая близость песен разных славянских народов выражается не только в сходстве сюжетных ситуаций, подсказанных реальными жизненными ситуациями и восходящих к последним, но и в художественном оформлении этих ситуаций, осуществлявшемся с помощью весьма сходных традиционных поэтических образов, возникших в результате предшествующих взаимосвязей фольклора разных славянских народов и уже имеющихся в распоряжении партизан. Рассмотрим некоторые из таких наиболее характерных, чаще всего встречающихся элементов поэтической образности.

Повсеместно распространенным в партизанской поэзии разных славянских народов является образ горы или леса, надежно укрывающих партизан от врага. Обычно в песнях обращение к ним, зачастую очень ласковое, задушевное: «Ој hоrи́ска, hога» (*Gall.* стр. 317); «Ој горице, горо разлистана» (Зб. рад., кн. 1, стр. 70, № 48); «Аој горо, горо свакојака» (*Поповић, Симић*, стр. 88; *Роровић*, стр. 19); «Блажена горо, зелена» (*Хаџиманов*, стр. 15; *Койнаков*, Народни песни, стр. 126). Партизаны благодарят лес (*Џуран*, стр. 114), характерно обращение партизан к лесу с просьбой пропустить их и укрыть:

Ој, Козаро, шири своје гране
и прихвати младе партизане,
Ој, Козаро, шири своје желе
По сад чувај младе пролетере.

К а р а к л а ј и ћ, стр. 8; Ср.: Крајишке борбене пјесме, II, стр. 25.

Естественно возникает сравнение партизан с птицами:

Sad u tebi ptićice pjevaju
Partizani ćeti razvijaju.

JNU, D. 112, стр. 9, № 31.

Гора, лес могут называться отцом: «Ой, Балкане, верен татко» (*Кауфман*, № 241); матерью: «Ой, Дрвару, и отац и мајка» (Крајишке пјесме, стр. 33); сестрой (*Стоин*, № 97); лес становится партизанам «роднее дома» (*Рыленков*, стр. 63) или заменяет им родной дом:

Широко раскинулись ели
В лесах белорусской земли,

Под ними на мховой постели
Свой дом партизаны нашли.

Беларускі фальклор, стр. 91.

Naša kuća planina je bila.

JNU, D. 112, стр. 28, № 141.

Дом къшта ми са скалите,
Постелка, завивка — тревите.

Стоин, стр. 97, № 56.

Этот образ лаконично сформулирован в словенской песне:

Visoke gore, temni gozd
so partizanu dom.

Hrovatin, стр. 43; Ср. Wodnagowa, стр. 263.

Естественно возникновение представления о партизанах — «лесных людях» (ЛМ, инв. 163, п. 7, стр. 4—5), о «лесниках» (*Podviški*, стр. 12), «лесных братьях», (Wodnagowa, стр. 282), живущих под зеленой крышей, составляющих большую семью. Среди «лесов дремучих» «растет семья могучих бесстрашных партизан» (Беларускі фальклор, стр. 77). Особым смыслом наполняется традиционная символика деревьев: зеленый тополь — юный партизан, тонкая сосна — молодая партизанка (*Orahovac*, I, стр. 207). Образ леса, деревьев, листьев используется в песнях в качестве одного из членов параллелизма или сравнения:

Goro, goro zelenijeh grana
ti si puna mladih partizana.

(Bošković-Stulli. Petokraka, стр. 57).

Колико је у горици грана
Толико је младих партизана

Дивдар, стр. 123; ср.: Orahovac, стр. 76.

Rozszumiały się wierzby płaczące,
Rozpłakała się dziewczyna w głos.

Podviški, стр. 25; Wodnagowa, стр. 280—281.

Чаще всего гора, лес олицетворяются. Песня обращается к горе, лесу с вопросом, не видели ли они героя-партизана (имя его обычно тут же называется); гора отвечает, рассказывает о подвигах или трагическом положении героя, зовет его товарищей на помощь (*Керемидчиев*, стр. 195—196; *Койнаков*. Народни песни, стр. 123—124, № 8—9; *Стоин*, № 42, 97). Девушка обращается к лесу с просьбой рассказать ей о ее милом или просит (иногда это делает и юноша, сбежавший к партизанам) пропустить ее к партизанам (*Койнаков*. Партизан, стр. 52; *Стоин*, № 67, 97; *Gall*, стр. 31). Лес плачет, скорбит по убитому партизану (*Конески*, стр. 20; *Койнаков*. Партизан, стр. 53;

Стоин, № 87; Милошевић, I, № 42; Bošković-Stulli. *Petokraka*, стр. 40, *Orahovac*, I, стр. 109). Символический образ грозно шумящего леса (*Wodnarowa*, стр. 263). В песнях советских партизан гудит зеленый шум бескрайних лесов, постоянно напоминая врагам о подстерегающей их опасности, шумят белорусские «пушчы зарочныя» (Беларускі фальклор, стр. 55), закарпатская «зелена дуброва» (*Родіна, Стельмах*, № 47), смоленские «темные роши» (*Рыленков*, стр. 60, 66, 69), «шумит сурово Брянский лес» (*Афонин*, стр. 39)... Зеленые друзья — надежные хранители партизанских тайн, но, поют партизаны, придет время и

Ліси раскажыць поколінням,
Що ми робілі в тых лісах.

Родіна, Стельмах, стр. 72.

Разумеется, постоянное присутствие образа леса в партизанских песнях обусловлено реальными обстоятельствами их борьбы, но самый этот образ восходит к традиции вольнолюбивых песен славянских народов — гайдуцких, збойничьих, разбойничьих и т. п.

В песнях партизан образ сокола или орла символизирует отважного партизана. Образ вольнолюбивой птицы также не нов в славянском фольклоре (как и в фольклоре других народов). Однако он наполняется в партизанской поэзии славянских народов новым, конкретно-историческим содержанием. Когда-то советский ученый Д. С. Балухатый в специальном исследовании на большом фактическом материале установил, что образ сокола-орла в традиционном фольклоре, выражая вольнолюбивые настроения, никогда не выражает пафос активного социального протеста, революционной борьбы¹²⁷, но именно такой смысл приобретает этот символический образ в партизанской поэзии. Новый взлет народной фантазии стал возможным в условиях освободительной борьбы славян против фашизма. В русских, белорусских и украинских песнях партизаны — «орлы боевые» (*Рыленков*, стр. 61, № 8; *Крупянская, Минц*, № 96; *Гуторов*, стр. 271; Беларускі фальклор, стр. 127; *Родіна, Стельмах*, № 67), «соколы» (*Рыленков*, стр. 62, № 10; *Гуторов*, стр. 90; Беларускі фальклор, стр. 56, 115; *Родіна, Стельмах*, № 13); в частушках появляется новый характерный эпитет: «красные соколики», «советские соколы» (ЛМ, инв. 163, п. 5, № 309, 637). Иногда встречается обобщенный образ «вольных птиц» (Шумел сурово Брянский лес, стр. 65) или образ орла и сокола отождествляются:

¹²⁷ См. сб.: М. Горький. Материалы и исследования, т. III. М.—Л., 1941, стр. 181—182. О песне, составляющей исключение, см. нашу статью в кн.: «Русский фольклор», т. IV, М.—Л., 1959, стр. 268—276.

Знайте ж, наші воріженьки,
Що ми за орлята:
Мы є славні партизани,
Браві соколята.

Дей, Нечиталюк, стр. 75.

Иногда применяется и отрицательный или вопросительно-отрицательный параллелизм:

То не орел, то не сизий
По степу гуляе,
То армія Ковпака
Німців розганає.

Колесса, стр. 43, № 1.

Романијо високога виса
Је ли соко гору прелетио?
Није соко гору прелетио
Већ је Чича војску предводио.

Ораховац, II, стр. 38; ср.: Жупан, стр. 34.

В песне польских партизан поется:

Wolne my ptaki, nasz polot jednaki.

Podwiński, стр. 23.

В песнях болгарских и югославских партизан характерно обращение к партизану с постоянным эпитетом: «сив соколе» (*Койнаков*. Партизан, стр. 16; *Стоин*, № 102; *Роровић*, стр. 23; *Огањовас*, I, стр. 30, 32, 125; *Диздар*, стр. 126 («Сина имам...»), 151). В словацкой песне этот же эпитет, как и в русских песнях, относится к голубю, символизирующему, впрочем, тоже партизана: «*holúbok môj sivý*» (*Gall*, стр. 27). Вообще же образ голубя, равно как и образ соловья и кукушки, выполняют в партизанских песнях иную функцию: это птица-вестник, которая связывает разлученных влюбленных (*Родина*, *Стельмах*, № 14, 29; *Дей*, *Нечиталюк*, стр. 91—92; *Стоин*, № 9, 40; *Койнаков*. Партизан, стр. 26).

Образ орла иногда утрачивает свой обычный смысл и становится боевым вестником, призывающим к борьбе (напомним македонскую песню об орле с красным знаменем) или рассказывающим о боевом подвиге партизан (*Койнаков*. Партизан, стр. 31; *Стоин*, № 110). В песнях югославских партизан эту функцию выполняет чаще всего традиционная мифологическая вила (Зб. рад., кн. 1, стр. 61, № 17, стр. 63, № 22, стр. 65, № 30; кн. 2, стр. 286, 287; *Диздар*, стр. 71, 105, 132, 148—149)¹²⁸. В сатирических и агитационных куплетах присутствует образ боевого вестника — «вработца».

¹²⁸ Иногда устами вилы выражается новая идеология (*Огањовас*, I, стр. 58—59).

Недобрую же весть о неволе или о смерти партизана чаще всего приносит ворон, он же является символом врага-захватчика (*Крупнянская, Минь, № 30*; Беларускі фальклор, стр. 185; *Родіна, Стельмах, № 17, 36; 36. рад., кн. 1, стр. 57, № 7; Bošković-Stulli. Petokraka, стр. 51; Oraňovač, I, стр. 107, 166; Диздар, стр. 79*).

Широко использовался в партизанской поэзии образ грозовой тучи в качестве символа вражеского нашествия. Этот образ возникает уже в первых стихах, сразу же создавая определенное настроение: «Налетела с громом туча, разразилась гроза» (*Крупнянская, Минь, № 85*); «Насувалась грізна хмара з далекого краю» (*Родіна, Стельмах, № 23*); «Черная хмара, кроўю амытая» (*Мееровіч, стр. 32*); «Буря страшна настала» (*Стоин, № 131*). Длительность и томительность гнета выражена в картине нависшей тучи:

Над страной нависли тучи хмуро.
Гуторов, стр. 191.
Черные тучи висят надо мной.
Гуторов, стр. 148.
Гей, на небі темно стало
Хмара нависае.
Родіна, Стельмах, № 6.

Этот образ становится или членом параллелизма или отправным элементом сравнения:

Налетела черной тучей
К нам фашистская орда.
Гуторов, стр. 130.
Там із лісу, гей, та хмара,
То пімецька пре навала.
Дей, Нечиталюк, стр. 62.

Особенно типично использование образа тучи в качестве первой части двучленного параллелизма в партизанских частушках:

Низко, низко тучи ходят
Низко ходят облака.
ЛМ, п. 3, инв. № 163, № 54, 894, 900, 902.

Иногда образ вводится в отрицательный параллелизм:

То не тучи над Полою поднялись
То не вихри с грозной бурей обнялись...
ИРЛИ, Р. V, кн. 1, п. 26, № 10, с. 9.
То не хмара нависла над краем
Не малапка агнем віхаціць...
Беларускі фальклор, стр. 61.

или в утвердительно-отрицательную форму параллелизма:

Ой з заходу чорна хмара встала
То не хмара — німецька навала. . .

Родіна, Стельмах, № 3.

Припала й тьма м'ягла,
Западе се страшна буря,
То не було тьма м'ягла. . .

Койнаков. Партизан, стр. 120.

Поэтому ветер, разгоняющий тучи, воспринимается как образ партизанского войска, изгоняющего врага:

Ой, на горі чорні хмари
Вітер розганяє
Зібрав Ковпак полк завзятих
У бій вирушає.

Колесса, стр. 44, № 2; ср. там же, стр. 39, № 5.

Наряду с основным значением, образ тучи в ряде песен заключает в себе угрозу врагу:

Ой, плывут по небу тучки,
Дожидайтесь, немцы, взбучки.

Гуторов, стр. 146.

Найди, туча, найди гром
Ты разбей фашистский дом.

Гуторов, стр. 38.

Чи то буря, чи-то грім
В лісі загуділо?
Ні, то наше товариство
На німца засіло.

Колесса, стр. 38—39, № 4.

Реве буря, реве сила
Реве, лист ломає.
Ідє Ковпак с червонцями —
По степу-гуляє.

ІМФФ, ф. $\frac{14-13}{55}$, № 36

Кроме образов, берущих свое начало в традиционной поэтике, в партизанских песнях хорошо использовались и образы революционной рабочей поэзии. Особенно примечательно распространение образа красного знамени, столь характерного для песен рабочего класса («Le drapeau rouge», «Bandera rossa», «Czerwony Sztandar», «Красное знамя» и др.). Этот интернациональный образ символизировал в партизанских песнях братство народов, борющихся против фашизма, и общность их нового социального идеала, который связывался с существованием Советского Союза. Поэтому зачастую в песнях южных и западных славян с обра-

зом красного знамени ассоциируется представление о России, о едином антифашистском фронте.

Цървени се байрак вие

.....

Нам е дошлал из Русия

поется в болгарской песне (*Стоин*, № 54; *Кауфман*, № 253).

Od Balkana do Russije

crveni se barjak vije,

заявляет песня югославских партизан (*Назебић*, стр. 20)¹²⁹

Поэтому естественно их обращение к России:

Oj Rusijo, naša mila mati,

tobe voli Srbi i Hrvati.

JNU, D. 112, стр. 35, N 188.

Прекрасен символический образ знамени, развевающегося на высокой горе, в словацкой песне:

Veje vietor zo všetkých strán

do červenej zástavy.

G a 11, стр. 24; ср.: *Стоин*, № 57.

Он полощется на берегу Адриатического моря:

Na obali plavoga Jadrana

već se vije crvena zastava.

JNU, D. 112, стр. 26, № 130.

Красное знамя зовет партизан в бой за свободу (*Родина Стельмах*, № 47; *Хациманов*, стр. 27), под него собираются простые люди, люди из народа (*Gall*, стр. 25), осененные им, бьют врага (*Дей-Нечиталюк*, стр. 62), под ним не жаль и погибнуть (*Диздар*, стр. 58). Песни прославляют «милу заставицу, наш барјак народни» (*Диздар*, стр. 28; *Жиран*, стр. 43). Знамя отряда гордо реет в крылатых походных песнях советских партизан:

Эй, товарищ, выше знамя,

Наши силы велики!

Крупянская, Минц, стр. 171; Афонин, стр. 26. Гуторов, стр. 171—172;

Беларускі фальклор, стр. 113.

¹²⁹ Ср. другой вариант:

От Балкана до Русије

Народни се барјак вије.

На барјаку златно слово:

то је име Лењиново.

Радичевић, стр. 27; *Диздар*, стр. 95.

Приведенные примеры из области символики партизанской поэзии свидетельствуют о сочетании в творчестве партизан традиций фольклорных и традиций революционной поэзии. В некоторых песнях они составляют прочный сплав. Сами традиционные образы наполняются новым идейным смыслом. Это — лишь одно из конкретных выражений глубокого и всестороннего взаимопроникновения двух традиций, которое мы отметили в начале доклада.

Типологическое сходство партизанских песен славянских народов объясняется рядом объективных обстоятельств. Общая историческая судьба и специфические условия партизанской борьбы и быта партизан, сходные у всех славянских народов, определили типологическую близость сюжетных ситуаций, типических образов и идейного содержания. Этническое родство, общность некоторых фольклорных традиций и взаимодействие песенного творчества партизан, усилившееся в ходе боевого сотрудничества, определили сходство в развитии жанровых форм, сходство некоторых мотивов и поэтической образности.

Вместе с тем мы постоянно могли убедиться в том, что общие закономерности в развитии партизанской поэзии у разных славянских народов приобретали специфическое выражение; в песнях одного народа сохранялись или появлялись вновь такие элементы, которых не было у других славян. Естественно, что таких различий, при специальном изучении, можно было бы отметить гораздо больше — и в области содержания и в области поэтической и музыкальной образности. Нас в данном случае интересовали факты, свидетельствующие о сближении в общей борьбе народов их песенной культуры. Однако на одно обстоятельство мы хотели бы обратить внимание. В партизанской поэзии восточных славян в целом весьма заметным и плодотворным оказалось непосредственное воздействие современного профессионального искусства этих народов — как уже отмечалось, многие русские, белорусские и украинские партизанские песни возникли по образцу популярных песен советских поэтов и композиторов, причем речь идет не только о наличии большого количества различных переработок этих песен, но и об усвоении партизанской народной поэзией поэтической лексики, образности и других формальных особенностей (ритмика, строфика и т. п.), характерных для советской литературы, а также мелодических интонаций, характерных для советской музыки. В целом, по первому, самому общему впечатлению советская партизанская песня всегда оказывается более близкой современной литературно-композиторской песне, чем к традиционной (особенно крестьянской) народной песне. Но за этим сходством чуткий исследователь всегда уловит преемственность (иногда через ряд промежуточных ступеней) по отношению к народной традиционной песенной культуре, взятой во всем ее комплексе, включающей, разумеется,

наследие не одних только крестьянских масс. В украинских песнях эта связь выступает, возможно, более отчетливо, чем в русских и белорусских, что же касается частушек, то в этом жанре преобладающая по отношению к народной традиции более непосредственна, чем в любой другой форме песенного творчества партизан, и проявляется с равной силой у всех восточных славян.

По сравнению с партизанской поэзией восточных славян в партизанских песнях южных славян восприятие фольклорных традиций протекало более интенсивно и непосредственно, хотя, как мы могли убедиться, к этому не может быть сведено все развитие песенного творчества партизан Болгарии и Югославии¹³⁰. Но воздействие современного литературно-композиторского творчества на массовое, коллективное творчество там, безусловно, сказалось гораздо меньше. В типологическом отношении в этом смысле партизанская поэзия южных славян напоминает ту картину, которая наблюдалась в народной поэзии восточных славян в эпоху Октябрьской революции и гражданской войны, — в песенном творчестве партизан Болгарии и Югославии мы замечаем как бы начало того процесса (в его специфически-национальном выражении), который в фольклоре восточных славян протекает уже в течение нескольких десятилетий в условиях культурной революции. Партизанская поэзия западных славян занимает в этом отношении как бы промежуточное положение между песенным творчеством восточных и южных славян. Но так или иначе, это — лишь разные стадии одного и того же закономерно развивающегося сближения литературы и фольклора — сближения, которое, однако, не означает исчезновения фольклора. Отличие фольклора от литературы состоит, в конечном счете, отнюдь не в стиливых признаках, а при определенных исторических изменениях в жизни наций и не в идейном содержании, но главным образом в способах выражения художественного мышления, в форме творческого процесса, в жизни самого произведения искусства.

Продуктивное развитие партизанской поэзии славянских народов в годы второй мировой войны как раз и свидетельствует о непрерывающемся процессе коллективного творчества, подтверждает представление о фольклоре как о живой, развивающейся традиции и наглядно демонстрирует способность масс ассимилировать и творчески перерабатывать самые различные культурные традиции, в том числе и некоторые элементы современного профессионального искусства.

Это и делает народную партизанскую поэзию славянских народов одним из самых примечательных явлений фольклора XX в.

¹³⁰ Керемидичев, стр. 52; Недельковић, стр. 48—50; Govačič, стр. 426—435.

LES CHANSONS DES PARTISANS DES PEUPLES SLAVES PENDANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

Résumé

Cet exposé représente une tentative d'étude comparative du folklore des partisans des peuples slaves. En étudiant les chansons populaires créés pendant la deuxième guerre mondiale, on cherche à établir certaines lois générales de l'évolution du folklore slave dans les conditions historiques nouvelles.

La poésie des partisans est un phénomène bien compliqué en ce qui concerne les formes de sa création, puisqu'il s'agit d'une oeuvre individuelle et d'une oeuvre collective qui se combinent en exerçant une influence réciproque. Le courant folklorique est ici bien perceptible. Le procédé de création était particulièrement intense dans les genres folkloriques, liés aux traditions créées dans la lutte de libération nationale chez les peuples slaves. Les traditions bien fécondes se manifestent particulièrement dans la poésie épique de «gaidouks» chez les slaves du Sud, dans les chansons d'insurrection chez les slaves de l'Occident, ainsi que dans la poésie créée pendant la guerre civile par les slaves de l'Orient. Dans l'ensemble l'évolution de la poésie des partisans est caractérisée tant par les traditions du folklore national que par les traditions internationales de la poésie révolutionnaire.

L'exposé contient un essai de classification des chansons des résistants d'après leur genre. Ce qui caractérise l'évolution de la poésie des partisans, c'est que les genres épiques disparaissent peu à peu, tandis que les genres lyriques et dans une certaine mesure le genre lyrico-épique prennent leur essor. On doit surtout marquer la vie intense des formes d'improvisation de la poésie lyrique telles que «tchastouchka», «pripevka», «kolomijka», «betcharats», les couplets etc.

L'identité des sujets dans les chansons des résistants est rare, cependant il y a une certaine similitude des motifs, des situations, des personnages, de même qu'une conformité d'idées et de coloris. On peut noter aussi des moyens d'expression semblables et, surtout, des symboles identiques (les images du bois, du faucon, de l'aigle, du nuage noir, du drapeau rouge etc.); les images traditionnelles se remplissent d'un contenu idéologique nouveau.

Dans son ensemble les chansons des partisans chez les peuples slaves sont caractérisées par une affinité typologique certaine, ce qui peut être expliqué par tout une série de circonstances objectives, telles que le sort historique commun, la parenté ethnique, la similitude des traditions folkloriques, l'influence réciproque des chansons créées dans la lutte commune pour la libération nationale.

Le développement intense de la poésie des partisans chez les peuples slaves pendant la deuxième guerre mondiale témoigne le

procédé incessant de création collective, ce qui nous autorise d'affirmer que le folklore est une tradition vivante qui se développe; l'évolution de la poésie des partisans prouve que les masses populaires sont capables de s'assimiler et de modifier d'une manière originale tant des traditions culturelles différents que l'expérience de l'art professionnel moderne.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Арцимович — Польские песни народные и революционные. Сост. В. Э. Арцимович. Под ред. В. Э. Арцимовича и проф. П. Г. Богатырева, М., 1954 (с предисловием редакторов и примечаниями составителя).
- Афонин — Шумел сурово Брянский лес. Песни партизан брянских лесов. Записал и подготовил к печати Петр Афонин, Брянск, 1946 (с предисловием А. Бондаренко и вступительной статьей составителя).
- Беларускі фальклор — Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны. Складальнікі І. В. Гутараў, М. Я. Грынблат, К. П. Кабашнікаў, І. Р. Сцяпунін, І. К. Цішанка. Пад рэдакцыяй акад. АН БССР П. Ф. Глебкі, чл.-корр. АН БССР І. В. Гутарава, канд. філ. навук С. К. Майхровіча. Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР, Мінск, 1961 (со вступительной статьей И. В. Гуторова и комментариями составителей).
- Вагин — Песни ленинградских партизан. Сост. П. Вагин, Л., 1943.
- Вранска, Стойкова — Д-р Цв. Вранска и Ст. Георгиева-Стойкова. Партизански бит и фолклор. Българска Академия на науките. Отделение за езикознание, етнография и литература. Етнографски институт с музей. София, 1954.
- Гусев — В. Е. Гусев. Русские народные песни Южного Урала. Челябинск, 1957.
- Гуторов — И. В. Гуторов. Борьба и творчество народных мстителей. Минск, 1949.
- Дей, Нечиталюк — Українська радянська народна пісня. Матеріали зібрані в областях: Волинській, Дрогобицькій, Закарпатській, Львівській, Ровенській, Станіславській, Тернопільській, Чернівецькій. Вступна стаття і редакція... М. Матвійчука. Упорядкували О. Дей, М. Нечиталюк, Львів, 1950.
- Диздар — Народне пјесме о борби и изградњи. Избор и редакција Мак Диздар, Сарајево, 1958 (издание 4-е идентичное 3-му, с послесловиями из трех предыдущих изданий).
- Зб. рад., књ. I; књ. 2; књ. 3 — Српска Академија наука. Зборник радова. Књ. IV. Етнографски институт, књ. 1, Београд, 1950; књ. XIV. Етнографски институт, књ. 2, Београд, 1951; књ. LXVIII. Етнографски институт, књ. 3, Београд, 1960.
- Караклајић — Сто народних песама из свих крајева Југославије. Прикупио Ђорђе Караклајић, Београд, 1951.
- Кауфман — Песни на българското работническо движение. 1891—1944. Съставител Николай Кауфман. Българска Академия на науките. Институт за музика, София, 1959 (с комментариями составителя).
- Качулев — Български народни песни за Русия и Съветския Съюз. Съставил Иван Качулев. Българска Академия на науките. Институт за музика, София, 1953.

- К е р е м и д ч и е в — Г. Керемидчиев. Съвременната българска народна песен. (Проучване и образци). Българска Академия на науките. Етнографски институт, София, 1958.
- К о е в — Иван Коев. Бит на партизанския отряд «А. Иванов» и песенно-творчество за антонивановци. Българска Академия на науките. Етнографски институт и музей. София, 1962.
- К о й н а к о в. Партизан — Партизан за бой се стяга. Народни песни. Избор и редакция Иван Койнаков (с предисловием и примечаниями). София, 1957.
- К о й н а к о в. Народни песни — Иван Койнаков. Народни песни от Пловдивски окръг за антифашистката въоръжена борба. «Годишник на музеите в Пловдивски окръг». София, 1954, стр. 101—148.
- К о н е с к и — От борбата. Народни песни. Собрал и редактировал Блаже Конески (с предисловием В. Мелески-Тале). Скопје, 1959.
- К о л е с с а — Фолклор Вітчизняної війни. Під редакцією академіка Ф. Колессы. Матеріал зібраний в західних областях УРСР Львівській, Дрогобицькій, Станіславській, Тернопільській фолклорно-секцією Львівського обласного Будинку народної творчості. Збірник: тт. В. Лавриненко, І. Люклян, А. Мацкович, С. Товарицька. Упорядкувала А. Н. Мацкевич. Вступит. ст. Ф. Колессы, Львів, 1945.
- К р а ј ш к е б о р б е н е п ј е с м е — Крајшкe борбeнe пјeсмe. Народни музеј. Бања Лука, књ. I, 1959; књ. II, 1961 (с предисловием Сиды Марьянович и Владо Милошевича).
- К р а ј ш к е п ј е с м е — Крајшкe народнe пјeсмe из Народнo-ослободилачкe борбe и социјалистичкe изградњe, Бања Лука, 1949 (с предисловием; составитель не указан).
- К р у п я н с к а я , М и н ц — В. Ю. Крупянская и С. И. Минц. Материалы по истории песни Великой Отечественной войны. Академия наук СССР. Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, н. с., т. XIX. М., 1953 (с введением и примечаниями составителей).
- М е е р о в і ч — Песни барацьбы. Зборнік песень, казак і частушак беларускіх партизан. Зборнік складала... М. С. Мееровіч пры удзеле... С. І. Карабан, ... І. В. Зазка. Мінск, 1946 (с вступительной статьей составителя).
- М и л о ш е в и ћ — Владо Милошевић. Босанске народне пјесме. Бања Лука, књ. 1, 1954; књ. 2, 1956 (со статьей и комментариями составителя).
- Народне песме — Народне песме. 1941—1945, Крагујевац, 1952 (составитель не указан).
- Н е д е љ к о в и ћ — Душан Недельковић. Прилог проучвању законитости развитка нашег народног певања у периоду Народне револуције и Ослободилачког рата. Српска Академија наука. Зборник радова, књ. LXVIII. Етнографски институт, књ. 3, Београд, 1960, стр. 39—163.
- Н и е б я х м е п а р т и з а н и — Ние бяхме партизани. Сборник от материали и спомени от Съпротивата. Съставил и обща редакция Атанас Стойков, София, 1949.
- О р а х о в а ц , П — Савремене народне пјесме. Избор и редакцију извршио Саит Ораховац, Сарајево, 1957 [изд. 2] (с послесловием составителя к первому и второму изданиям).
- П о п о в и ћ , С и м и ћ — Српске народне пјесме. Уредили: Вл. Поповић и Новак Симић, Загреб, 1946.
- Р а д и ч е в и ћ — Велики дани. Народне пјесме. Избор и редакција Бранко В. Радичевић, Сарајево, 1950.

- Рыленков** — Н. Рыленков. Живая вода. (Устно-поэтическое творчество Смоленщины эпохи Великой Отечественной войны). Под редакцией проф. П. М. Соболева. Смоленск, 1946.
- Родина, Стельмах** — Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну. Упорядкували М. Родина, М. Стельмах. Відповідальний редактор М. Т. Рильський. Примітки до текстів склала М. Родина. Добір да редагування нотного матеріалу М. Т. Щоголя. Академія наук Української РСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії, Київ, 1953 (с предисловием составителей и вступительной статьей М. Рильского).
- Стоин** — Народни партизански песни 1923—1944. Съставила Елена Стоин. Отговорен редактор Любомир Пипков. Българска Академия на науките. Институт за музика, София, 1955 (с предисловиями редактора и составителя).
- Хаџиманов** — Васил Хаџиманов. Македонски народни борбени песни. Скопје, 1960 (с послесловием составителя).
- Шумел сурово Брянский лес** — Шумел сурово Брянский лес. Песни и частушки брянских партизан, Брянск, 1949 (с предисловием А. Бондаренко и вступительной статьей С. Ильина).
- Bošković-Stulli. Bilješke** — Maja Bošković-Stulli. Bilješke o narod, noj pjesmi iz Oslobođilačkog rata. «Republika», god. IX, knj. II. Broj 7—8. Zagreb, 1953, str. 676—682.
- Bošković-Stulli. Narodna poezija** — Maja Bošković-Stulli. Narodna poezija naše oslobođilačke borbe kao problem savremenog folklornog stvaralaštva. Српска Академија наука. Зборник радова, књ. LXVIII. Етнографски институт, књ. 3. Београд, 1960, стр. 393—422.
- Bošković-Stulli. Petokraka** — Petokraka zašto si crvena. Narodne pjesme iz Ustanka. Priredila Maja Bošković-Stulli. Zagreb, MCMLIX (с предисловием и указаниями на источники).
- Dziębowska, Dargiel** — Śpiewnik Zastepowego. Zebrali i opracowali: Elżbieta Dziębowska i Ierzy Dargiel. [Warszawa, 1958] (с примечаниями).
- Elertowicz, Kozłowski** — Serce w plecaku. Zbiór popularnych piosenek okupacyjnych, powstańczych i żołnierskich z lat 1939—1945. Oprac. muz. Witold Elertowicz. Teksty zebrał i ustwił okoliczności historyczne powstania piosenek Henryk M. Kozłowski, Warszawa, [1957].
- Gáll** — Bojom šumeli lesy. Partizánske a bojovné piesne zo Slovenského národného povstania. Zostavil: Cyril Gáll. Osvetový ústav v Bratislave. 1959 (вступ. статья Miroslav A. Húska).
- Gobec** — Naša partizanska pesem. Uredil Radovan Gobec. Ljubljana, 1959 (с предисловием составителя и вступительной статьей, комментариями и библиографией Radoslava Hrovatina).
- Hrovatin** — Partizanska pesem. Uredil dr. Radoslav Hrovatin. Opremi-Ivan. Romih. Notografiral Silvester Orel. Ljubljana, 1953 (со вступительной статьей, комментариями и библиографией составителя).
- Melicherčík. Boj proti fašizmu** — Andrej Melicherčík. Boj proti fašizmu za Slovenského národného povstania v ústnom podaní slovenského ľudu. «Slovenský národopis», ročník IX, číslo 3. Bratislava, 1961, str. 358—395.

- Melicherčič.** Motivy odboja — Andrej Melicherčič. Motivy odboja slovenského ľudu v ústnom podaní. «Narodopisný sborník», ročník VI—VII, číslo 2—4. Matica Slovenska v Turčianskom Sv. Martine (1945—1946).
- Nazečič** — Slavne godine. Narodne pjesme iz Narodno-oslobodilačkog rata i borbe za socijalizam. Izbor i redakcija Salko Nazečič, Sarajevo, 1949 (с предисловием составителя).
- Orahovac, I** — Savremene narodne pjesme. Izbor i redakciju izvršio: Sait Orahovac, Sarajevo, 1955 (с послесловием составителя).
- Plameni cvjetovi** — Plameni cvjetovi. Narodne pjesme o borbi i revoluciji. Uredili: Tvrtko Čubelić, Svetozar Petrović, Grigor Vitez, Zagreb, 1961 (предисловие С. Петровича, заключительная статья Т. Чубелича).
- Podwiński** — Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny (wydawca — Podwiński), 1944 [место изд. не указ.] (с предисловием составителя).
- Popović** — Narodne pjesme borbe i oslobođenja. Drugo izdanje, popravljeno u dopunjeho. Zagreb, 1947 (с предисловием составителя).
- Sowińska** — Stanisława Sowińska «Barbara». «Rozszumiły się wierzby...». Warszawa, 1961.
- Wodnarowa** — Pieśni gniewne. Wyboru dokonali E. Wodnarowa, G. Słabek, Ł. Szymański. Warszawa, 1962 (предисловие Э. Воднаровой).
- Župan** — Zbornik partizanskih pjesama. Priredio za štampu izdavač: Josip Župan, Zagreb, 1961.

Список сокращений

- ИРЛИ** — Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (Ленинград), рукописный отдел.
- ЛМ** — Государственный литературный музей (Москва), архив.
- ІМФФ** — Інститут Мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УССР (Киев), архив, фольклорный фонд.
- Ф** $\frac{14-3}{55}$ [шифр] — рукописный сборник «Фольклор Великої Вітчизняної війны». Упорядкували: П. М. Попов, М. М. Плисецький, М. С. Родіна.
- ІNU** — Institut za narodnu umjetnost (Zagreb), архив, д. 112 [шифр] — Spiler Miroslav. Partizanske iz Like (Narodne pjesme iz NOB). 137 В. — St. [шифр] — Ekipa Instituta za narodnu umjetnost. Partizanske pjesme sa proslave desetgodišnjice osnutka 6. Šlavnskog korpusa. God. 1953. (Записи М. Бошкович-Стулля).

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
V *Международный съезд славистов*
(София, сентябрь 1963)

Н. И. Кравцов

**РОЛЬ НАРОДНОГО ЭПОСА
В РАЗВИТИИ СЕРБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1

Корни художественной литературы каждого народа уходят в его устное поэтическое творчество, которое исторически всегда предшествует возникновению письменности и уже в силу этого во многом служит ее основой. И дальнейшее развитие литературы обычно многосторонне связано с фольклором. В то же время почти с момента зарождения письменности она в свою очередь начинает воздействовать на устное творчество народа, причем это воздействие все более возрастает вместе с развитием и обогащением литературы. Однако оно не может быть приравнено к широкому, многообразному и действительно непрерывному воздействию устно-поэтического творчества на литературу, пути и формы которого различны у разных народов и исторически изменяются в зависимости от направления развития и потребностей национальной культуры и от того, что различные литературные течения, господствовавшие в тот или иной период истории литературы, по-разному относились к фольклору. Это убедительно видно, например, на процессах развития культуры в эпоху так называемого национального возрождения славянских народов по сравнению с другими периодами их истории, на примере отношения к фольклору романтизма сравнительно с другими литературными течениями.

Среди славянских литератур особое место по широте и своеобразию связей с устным народным творчеством занимает сербская литература. Начиная с периода национального возрождения, она формировалась и развивалась под непосредственным воздействием народной поэзии.

Особенностью, которая отличает сербскую литературу в ее отношении к фольклору, служит прежде всего необычайно много-

образная ее связь с эпосом. Эпическое творчество многих славянских народов (русского, украинского, болгарского, сербского) исключительно богато. Из славянских литератур значительную роль устное эпическое творчество играло в развитии жанра поэмы, драмы и исторического романа в болгарской литературе, где поэты, драматурги и прозаики широко обращались к героической гайдуцкой песне: таковы, например, поэмы «Бойка-воевода» Петко Р. Славейкова, «Гайдуки» Христо Ботева, «Кровавая песня» Пенчо Славейкова, «Гайдуцкие песни» Пейо Яворова, драмы «Золотой Стоян Воевода» (1866) Стойко Йорданова, «Хаджи Димитр» (1872) Любена Каравелова, «Страхил, страшный гайдук» (1903) Петко Тодорова, «Гайдуки» (1929) Минко Неволлина, «Ян воевода» (1931) Анны Каримы и др. Но литература никакого другого народа, даже литература народов Средней Азии и Кавказа, не связана в такой степени с народным героическим эпосом, как сербская. Сербская литература по связи с народным эпосом, по использованию сюжетов и образов, выразительных средств и стиха эпических песен стоит на совершенно особом месте.

Это служит достаточным основанием для того, чтобы вопросу об отношении сербской литературы к народному эпосу был посвящен особый доклад.

Задачи изучения этого вопроса в том, чтобы выяснить:

1. Какую роль народный эпос играл в развитии сербской литературы на различных этапах ее истории и какими общественно-историческими и литературными факторами она определялась.

2. Как относились к фольклору и прежде всего к эпосу различные литературные течения, как использовали его, исходя из их эстетических позиций и творческих целей.

3. Рождению каких значительных произведений литературы содействовало обращение писателей к эпосу.

4. Что нового открыли в эпосе крупнейшие писатели сербской литературы и в чем состоят особенности использования ими эпоса в их художественном творчестве?

2

Связи сербской литературы с народным творчеством, и прежде всего с героическим эпосом, весьма древние. Уже в письменности времени раннего феодализма можно обнаружить идейные тенденции и образные и сюжетные элементы, напоминающие особенности эпических песен. Правда, здесь следует оговориться, что наши знания об эпических песнях того времени весьма приблизительны, так как нам песни известны лишь в поздних записях.

Основными жанрами древней письменности были жития, похвалы, апокрифы и летописи. Они носили религиозный характер, а поэтому не могли быть широко связаны с народным творчеством, так как церковники отрицательно относились к нему. Кроме того,

сербский героический эпос в своих классических циклах развился после Косовской битвы 1389 г., т. е. значительно позже периода расцвета сербской письменности. Наконец, завоевание Сербии Турцией и жестокий иноземный гнет задержали дальнейшее развитие письменности и были причинами уничтожения многих ее памятников. Все это не способствовало широкому воздействию эпоса на письменность. Это вместе с тем затрудняет изучение вопроса о связях древней сербской письменности с народным творчеством.

Несмотря на это, в житиях и похвалах, родословах и летописях, порою и в записях на полях рукописей, можно обнаружить некоторые следы эпической повествовательной манеры и отголоски эпических мотивов.

Памятники письменности XIII—XIV вв. знают о существовании песен о героях. Доментиан в «Житии св. Симеона» (Стефана Немани) рассказывает о пении песен во славу героев на пиру у Стефана Первовенчанного. У произведений древней сербской письменности и народного творчества есть общие идеи: идея защиты отечества и идея единства сербских земель, которые ярче выражены в эпосе, почему можно заключить, что они идут от народных низов. В житиях и похвалах и в эпических песнях воспеваются одни и те же герои (Неманя, Савва, Лазарь, Стефан Дечанский). И памятники письменности и песни останавливают свое внимание на «добрых делах» кралей, например на построении задужбин (церквей на помин души, за душу). Может быть, источниками таких мотивов в песнях были жития и похвалы, т. е. тут, вероятно, имело место влияние письменности на эпические песни. Но не исключен и другой путь: воздействия эпических песен на письменность.

Жития кралей и князей не обходят и их военных подвигов. В «Житии св. Симеона» Стефан Первовенчаннный рассказывает о борьбе Немани с Византией, о расширении границ и славы сербского государства: «. . . И земли их, и богатства их, и славу их приложил к богатству и славе отечества и славе вельможей и народа своего».

Батальные картины в памятниках древней письменности изображаются в торжественной, величественной, мы бы сказали, эпической манере. Таков рассказ Стефана Первовенчанного о его борьбе с византийским деспотом Михаилом. В сочинении ученика архиепископа Данилы II, вставленном в «Жизнь кралей и архиепископов сербских» (XIV в.), есть рассказ о тех же событиях, но более яркий и картинный. Особенно примечательны описания гибели Михаила, захвата пленных и «несчетных богатств». В бою пролито так много крови, что река Струма стала кровавой. О врагах говорится: «беяху сечени као польска трава».

Кроме картинности изображения, драматизма рассказа, памятникам письменности порою свойственны народно-поэтические

выражения и эпитеты. Характерна насмешка жестокого Среза над людьми, которых он приказывал бросать со скалы в реку: «Смотри, не замочи кожуха!» («Житие св. Саввы» Феодосия). В «Житии св. Симеона» Стефана Первовенчанного рассказ нередко начинается словами: «Друго дивно чудо испричатю», что напоминает обычное начало эпических песен «Сачувајте чуда великога!» и укладывается в десятисложный размер. Гибель греческого деспота Михаила сопровождается словами автора: «на радост свима», которые похожи на песенную концовку о гибели врага: «на радост србима!» В древнейших памятниках письменности события описываются авторами по личным наблюдениям или показаниям очевидцев. Авторы более поздних сочинений начинают пользоваться устными преданиями, а возможно, и эпическими песнями. Но среди всех сочинений своей документальной ценностью выделяется «Житие деспота Стефана Лазаревича» Константина Философа (примерно 1431—1435 гг.). Здесь дано первое описание Косовской битвы и впервые приведен рассказ о Милоше Обиличе (без упоминания его имен) в том сюжетном движении, какое характерно для известной эпической песни.

«Между воинами, какие былись перед войском, был некто весьма благородный, кого обогали завистники перед его господином и заподозрили как неверного ему. А он, чтобы показать свою верность, а заодно и храбрость, нашел удобное время, устремился к самому большому начальнику (турецкому), как будто он перебежчик, и ему открыли путь. А когда он был вблизи, неожиданно выхватил меч и воткнул его в того самого гордого и страшного самодержца. Но тут и сам упал от них».

Завоевание Сербии турками привело к упадку письменности, но не прекратило устной народной традиции. Напротив, огромная народная трагедия стала стимулом для создания замечательного цикла песен о бое на Косовом поле, а затем и песен о Марке Краевиче, о гайдуках и ускоках, защитниках угнетенного народа. Народное творчество, в частности эпос, содействовало сохранению самобытности культуры сербского народа, оберегало ее от чуждых влияний и помогало в борьбе с чужеземным идейным воздействием.

Подобное явление наблюдается и в литературе XV—XVII вв. в Дубровнике и Далмации. Возникшая здесь богатая литература, несмотря на известное итальянское влияние, осталась самобытной и оригинальной, в частности благодаря тому, что она не прошла мимо народного эпоса и народной лирики, использование которых уже заметно у ранних дубровницких и далматинских поэтов Шишко Менчетича и Джоре Држича. Петар Гекторович в поэме «Рыбная ловля и рыбацкие поговорки» ввел отрывки эпических песен, так называемых «бугарштиц». Юрий Баракович в сборник «Вила Словинка» включил целую эпическую песню. Эпические мотивы есть в книге Динко Раньины «Песни од кола». Они есть и в поэмах Ивана Гундулича «Дубравка» и «Осман», где

перечисляются имена эпических героев. В «Песне о смерти Марка Кралевича» Игнатия Джорджича изображена борьба Марка с турками, причем Марко гибнет не от руки турка, а от своего коня, т. е. так, как в одном из вариантов народных эпических песен. Следы эпических мотивов можно видеть и в дубровницко-далматинской драме.

Самобытность дубровницко-далматинской литературы была ценнейшей ее чертой. Эта литература преодолела итальянское влияние, которое было следствием экономического и политического давления Венеции. Дубровницко-далматинские писатели обращались к народному творчеству. Они воссоздали некоторые патриотические и героические сюжеты и образы сербско-хорватского эпоса. Это было фактом большого значения в период, когда южные славяне находились под турецким игом и когда их культура беспощадно подавлялась или уничтожалась. Дубровницко-далматинская литература подтверждала, что живы славяне, что жива их культура, что живы их языки.

Но в угнетенных турками сербских землях, оторванных от Приморья, мало знали эту литературу. В собственно Сербии оригинальные произведения письменности в период турецкого владычества появлялись редко. Кроме того, многие из них утрачены. Все же до нашего времени дошли некоторые памятники письменности, в которых видна связь с эпическими песнями. В одной из рукописей XVI в. передана надпись, сделанная на мраморном столпе на Косовом поле. Несмотря на ее религиозно-хвалебный характер, в ней есть как бы выпадающие из текста места. Такова характеристика храбрых мужей и их золотоседланных коней. В похвалах князю Лазарю, погибшему на Косове, и косовским юнакам (например, в рукописи XVI в.) и в повести начала XVIII в. «Косовская битва» особый оттенок носит трактовка образов героев. А в Тронешском родословии (1791) находится уже весьма распространенный рассказ о Косовской битве, где изложение событий, их последовательность и характеристика юнаков носят явные следы эпических песен. В обоих этих памятниках приводятся слова Милоша Обилича, сказанные им Лазарю, подозревавшему его в измене: «Ко је вера, а ко је невера». Милош изображается как богатырь (юнак) в сцене, когда он бьется с турками, которые хотят его схватить: «он оружием путь себе прокладывал, так что никто не мог противостоять его силе». Характерна и такая последовательность боя: Милош бился сначала мечом, потом копьем, наконец, без оружия, когда сломалось его копье.

В «Житии царя Уроша» (1642), написанном патриархом Паисием, встречается распространенный в сербских эпических песнях мотив: убийство на охоте. Здесь Вукашин, стремящийся захватить власть, убивает на охоте своего соперника Уроша.

В сборнике, переписанном латиницей в Дубровнике в 1697 г. с рукописи, писанной кириллицей, есть пословицы, в которых упо-

минаются эпические герои: «Милош царя убоде, а сам здраво не утече»; «Припиевати Јанка и Марка» и др., а также пословицы, в которых чувствуется десятисложный стих: «Болье самост, не голи зла дружба»; «Кад дуб паде, свак му дрва краде».

Подобное явление можно отметить и в «Путешествии в Иерусалим» (1704) монаха Еротей Рачанина, который описал места, где жили и действовали песенные герои: Марко Кралевич, Милош Обилич, Реля Охмутевич и Новак Дебелич. В тексте его путешествия есть строки, напоминающие десятисложные стихи юнацких песен:

Кад су њемци Биѳлиград узели;
Не видисмо слнца ни месеца;
То је једно чудо на свијету и т. п.

В начале XVIII в., когда писалось путешествие Рачанина, эпические песни были широко распространены в народе. Автор, очевидно, был близок народу и легко владел эпическим стихом, как в более поздние времена им свободно владели не только профессионалы-певцы, но и монахи, священники, учителя. Во всяком случае в его сочинении выделяются фразы, близкие по строю к стиху: четыре слога, пауза и еще шесть слогов.

Три му се пут зуби миѳенjali;
По тих землях видіѳх ниве многе;
Големину кто може сказати¹.

Таким образом, уже в памятниках древней литературы есть некоторые следы связи с народным эпосом. Но говорить о творческом их использовании в литературе еще нельзя. Это именно лишь некоторые следы. Они являются результатом того, что в народную фразеологию, в живой народный разговорный язык вошли многие элементы народно-поэтического языка, в том числе языка эпических песен, а сами песни были широко популярны в народе. Здесь мы имеем дело с бессознательным использованием эпического стихотворного размера и поэтической фразеологии. Однако уже это свидетельствует о древности связей письменности и эпоса. Следует тем не менее подчеркнуть, что древняя письменность не могла оценить и понять идейно-художественную значительность народного эпоса, не могла обращаться к нему для решения творческих задач, например в целях демократизации формы или усиления самобытности, так как социальная основа и эстетические принципы письменности и эпоса были весьма различны. Письменность носила религиозно-феодалный характер и ориентировалась на установившиеся в религиозно-повествовательной литературе каноны; эпические песни были народными и основывались на выработанных в народе эстетических представлениях и идеалах.

¹ Прилови за проучаванье народне поезије. 1934, св. 2, стр. 270—274.

В XVIII в. литературная жизнь в Сербии, находившейся под турецким владычеством, почти замерла, но в сербской области Воеводине, входившей в состав Венгрии, в городах Нови Сад и Сремски Карловцы сложились важные центры культуры. В них, а отчасти и в Вене и Венеции, развивают свою деятельность сербские писатели.

Сербская литература XVIII в. с ее политическими идеями просвещенной монархии и законности, с философскими идеями рационализма, с эстетикой классицизма была далека от народного творчества. Она не имела и установившегося литературного языка, а пользовалась часто тем искусственным языком, который получил название словено-сербского и словено-русского.

Однако усиливавшийся процесс роста национального сознания народа на почве зарождавшихся буржуазных отношений и накопления сил для освободительной борьбы служил истоком патриотических, освободительных идей.

Такого рода идеи нашли проявление в творчестве Захария Орфелина, особенно в его поэме «Плач Сербии» (1761), которая написана обычным для того времени виршевым стихом — тринадцатисложником, а ее образность связана с образностью поэзии классицизма. Но характерно, что у Орфелина патриотизм выражен как идея Косова, идея разгрома турок и восстановления сербского царства. Поэт прославляет прошлое Сербии, скорбит о ее рабстве. В поэме Орфелина есть отдаленная переключка с циклом народных песен о косовской трагедии.

В 1788 г. в Вене была опубликована ода Алексея Везилича «Песня в похвалу рода сербского», в которой по образцам классицизма воспеты сербские «юнаки», но упоминается и о песнях во славу героев — о народных эпических песнях:

Рјетко сoбраније јест сербских льдеј
Во којем није чути повестеј
О добрих дјелах херојев многих
Храбро поживших,

В таком же духе написаны и поэма Ивана Раича «Бой змея с орлами» (1791), посвященная войне Турции с Россией и Австрией 1788—1790 гг., и патриотические стихи крупного деятеля сербской культуры Доситея Обрадовича.

Интересное явление представляет собою творчество карловацкого митрополита Стефана Стратимировича². Он был приверженцем рационализма и классицизма, но в своих нравоучительных произведениях, обращенных к народу, использовал песенный стихотворный размер, считая, что это сделает их более доходчивыми. В дидактической поэме «Любосава и Радован» автор дает

² Б. К о в а ч е в и ћ. Стефан Стратимировић и народна песма. «Српски књижевни гласник», 1939, бр. 4, стр. 282—289.

советы супружеской жизни. Язык поэмы отличается чистотой и свидетельствует о хорошем знании народной речи. Поэма написана десятисложником:

Свака мома троје бити мора:
Мужу љуба, дому домаћица,
Своим чедом трудольубна Мајка.

Интересно, что Стратимирович не отвергает народных обычаев и песен:

Игре, песме и честна веселъа
Јесу також младежи полезна,
Дух народа оне приранъују,
Дају слогу и силу младежи.

Эта поэма издана в Будиме в 1800 г. Позже Стратимирович написал стихотворение о сербском восстании. Оно не было напечатано при жизни автора, а опубликовано лишь в 1899 г. («Дело»). Стратимирович обращается к народу и вождям в Шумадии с советом вести осторожную политику, так как другие государства готовы погубить Сербию. Стихотворение представляет собою разговор двух сербов о судьбах родины:

Два сербина, оба забринута,
Оба тајно мед собом говорје
Свог народа о састојанију.
Један једно, други друго мисли...
Что би добро било за свој народ.

Один из сербов призывает к восстанию:

Болье за дан свим умрети славно,
Него за век ишчезнути тајно.
На Косову који игинуше
Живе и сад у свију народа.

Другой серб советует действовать осторожно, он указывает на то, что и под турецким игом сербский народ жил и множился, что он не забыл своего языка, даже исламизированная

Босна серпски пише и говори.

Чтобы начать борьбу, нужны и силы, и оружие, и крепости. Поэтому он советует пока мирно относиться и к Турции и к Австрии, так как:

Далеко су Руси и Французи,
Ми смо од њих сасвим заградени,
Нит нам хоће, нит помоћи могу.

Таким образом, Стратимирович, будучи консерватором, главой церкви, сторонником рационализма, который, впрочем, мало

согласовался с его религиозными убеждениями, все же писал свои стихи, как он сам отмечает в заголовке поэмы «Любосава и Радован», «по начину простонародных сербских песней». Характеризуя манеру Стратимировича, Б. Ковачевич справедливо указывает, что «в стихах Стефана Стратимировича спаяны две струи: струя рационализма и струя романтизма».

В целом, можно сказать, что в сербской поэзии XVIII в. отражения эпоса незначительны. Это объяснялось и неразвитостью национально-освободительного движения, и влиянием рационализма, и эстетическими позициями классицизма.

3

Однако в следующий период развития сербской литературы ее отношение к народной поэзии и, в частности, к эпосу коренным образом меняется. Основой этого послужили новые социально-исторические условия и новое направление в развитии сербской культуры. Известный сербский литературовед Йован Скерлич называет этот этап переходом от рационализма к романтизму.

В конце XVIII — начале XIX в. в истории и идейной жизни сербского общества происходят важнейшие социально-политические и культурные процессы.

Основным обстоятельством, определившим широкое воздействие сербского эпоса на сербскую литературу этого времени, был процесс формирования сербской нации, который совершался в острой борьбе за политическую независимость и единство сербских земель. Сербские земли были разобщены, часть их входила в состав турецких владений (Сербия), часть в состав австро-венгерских (Воеводина) и только маленькая Черногория сохраняла относительную самостоятельность. Возникающие буржуазные отношения в сербских областях — Сербии и Воеводине — вызвали подъем национально-патриотических чувств, борьбу за создание сербского государства и развитие национальной культуры.

Национальный вопрос приобретал исключительную остроту, так как Турция и Австрия стремились удержать свое владычество в южной Сербии и Воеводине.

Сербская буржуазия при поддержке народных масс начала трудную борьбу, прежде всего с турецким феодализмом и буржуазией других стран, опередивших Сербию в капиталистическом и национальном развитии.

Первые десятилетия XIX в. ознаменовались в Сербии большими политическими и культурными событиями. Австрия, лицемерно игравшая роль защитницы сербов и занявшая в 1789 г. Белград, в 1791 г. возвратила Турции сербские земли. Турецкие феодалы и помещики стали еще более свирепствовать в Сербии. В 1804 г. они учинили страшную резню. Сербский народ ответил

на это восстанием под предводительством Кара-Георгия. Война России с Турцией в 1806 г. помогла Сербии. «Русская война 1806 г. дала сербам, которых турки долго держали под гнетом, возможность приобрести самостоятельность, хотя и под турецким верховенством»³. В 1812 г. Россия, из-за начавшейся войны с Наполеоном, принуждена была заключить с Турцией мир. Турция, нарушив договор, восстановила свое господство в Сербии. Но после победы над наполеоновской армией Россия приобрела огромный вес в европейских делах, и сербы снова начали борьбу за независимость. В 1820 г. Турция должна была признать Сербию самостоятельным, хотя и вассальным государством.

Все эти социально-исторические обстоятельства, вместе взятые, дали толчок политическому возрождению Сербии и развитию ее национальной культуры. Процесс формирования нации ускорился затем событиями 1848—1849 гг., хотя в борьбе с венгерской буржуазией сербское национально-буржуазное движение сыграло реакционную роль, оно сохранило в то же время революционную роль по отношению к турецкому феодализму. «... Южные славяне являются единственными носителями цивилизации во внутренних частях страны. Они еще, правда, не образовали нации, но в Сербии они уже имеют сильное и сравнительно просвещенное национальное ядро. У сербов есть своя собственная история и своя собственная литература», — писал Энгельс в 1853 г.⁴

Сербская буржуазная интеллигенция начала осознавать национальные интересы и стала выполнять важную роль в формировании нации, в развитии национального сознания. Идея нации становится одной из основных в деятельности интеллигенции — об этом говорят высказывания и переписка Вука Стефановича Караджича, Юрия Даничича, Бранка Радичевича. Объединение нации и создание национальной культуры — суть их рассуждений, творчества и деятельности. О воспитании национального самосознания пишет П. П. Негош в стихотворении «На смерть Симы Милутиновича». Поэт Йован Илич, игравший видную роль в организации либеральной партии в Сербии, борется за «национальное оживление» и влияет на позиции партии в области национального вопроса. Змай Йованович, близко стоявший к либеральной партии Светозара Милетича, смотрел на свое творчество как на «национальную миссию».

Именно в это время в Сербии зарождается новая литература и создается новый литературный язык, патриотические и просветительские идеи становятся основными в литературе. Исключительное значение имела деятельность Вука Стефановича Караджича, собирателя произведений сербского эпоса, реформатора литературного языка, родоначальника сербского романтизма. Караджич

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр. 10.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр. 34.

открыл эпосу дорогу не только в сербскую, но и в мировую литературу. Он много способствовал тому, что сербский народный эпос был осознан как ценнейший элемент национальной культуры.

Сербская литература связала народный эпос с национальными идеями своего времени. Сербский эпос в литературе первой половины XIX в. и позже использовался для выражения патриотических, национальных идей. Он служил и борьбе за независимость народа и борьбе за создание национальной культуры. Первые шаги в области национальной культуры были совершены как раз той частью сербских литераторов, которые использовали народный эпос в идейно-художественных целях.

Переломный период сербской литературы — переход к романтизму — охватывает первую половину XIX в. Процесс национального возрождения Сербии принимал в это время все более ярко выраженные формы. В становлении национальной культуры сербского народа важную роль сыграл его богатейший эпос, привлекавший к себе огромный интерес.

Поэт Лукиан Мушицкий в конце XVIII—начале XIX в. заинтересовался народной поэзией, в частности, эпосом, и оказал влияние на Вука Караджича, побуждая его к собиранию эпических песен. В 1814 г. в Вене Караджич выпустил первое собрание песен («Песнарица»), в 1815 г. — второй сборник («Народна србска песнарица»), в 1823—1824 гг. в Лейпциге — три книги «Сербских народных песен», за которыми появились другие, более полные издания (шесть книг песен 1841—1866 гг.). За собраниями Караджича последовали собрания Симы Милутиновича («Певаня црногорска и херцеговачка», Будим, 1833 и затем Лейпциг, 1837) и Петра Негоша («Огледало србско», Београд, 1845).

Эти собрания имели огромное значение и составили эпоху в собирании и изучении сербского эпоса, интерес к которому возник в Европе еще в конце XVIII в. («Путешествие в Далмацию» итальянского аббата Фортиса, 1774). Сербскими эпическими песнями заинтересовались Гердер, Гете, Гумбольд, Яков Гримм, Вальтер Скотт, Нодье, Мериме, Пушкин, Мицкевич. Это, несомненно, имело значение и для Сербии: мировая популярность сербского эпоса помогла и самим сербам лучше осознать свое народное творчество.

Все это оказало влияние и на представителей классицизма. Процесс формирования национальной культуры, популярность эпических песен изменили их отношение к фольклору. Впервые это сказалось у Лукиана Мушицкого, затем у Йована Стерии Поповича, Йована Суботича, Николы Бороевича, Никанора Груича, Васы Живковича, Милицы Стоядинович-Српкини.

Патриотические темы их поэзии стали приобретать иное образное выражение: мифологическую античную образность постепенно сменяла образность сербского народного эпоса. Нередко античные и народные эпические образы соседствовали и переплетались.

Это характерно, например, для стихотворений Мушицкого «Вуку Стефановичу, сербу от серба» (1816) и «На Видов день» (1817)⁵. В первом из них рядом с гайдуками и юнаками, Обиличем, Косанчичем, Топлицей, старым Югом — героями юнацких и гайдуцких песен — выступает и бог войны Марс. Поэт воспеваает героев востания 1804 г. и говорит о них:

На гусях воспоют имя ваше.

Во втором стихотворении Мушицкий рисует образы героев Косовской битвы — князя Лазаря, Милоша Обилича и изменника Вука Бранковича; но тут же упоминаются и Тартар, и Гений. Все это приводило к искусственности, к противоречивому соединению книжных и народно-поэтических элементов. Это особенно видно в «Оде имени «Милош» (1821) Йована Хаджича, известного противника Караджича. Хаджич в классицистической форме воспевае Милоша Обилича и Милоша из Поцерья.

В «Элегии на Косове» (1837) Йована Суботича эпические картины и образы плохо совмещаются с картинами и образами, характерными для поэзии классицизма. Элегия начинается вступлением (традиционным моментом композиции произведения классического стиля): Древность обращается к поэту с призывом воспеть героев Косова:

Славно дело песни га предаје,
Ту је вила над мртвим Лазаром
Общей туги пръвй дала знак.

Далее в поэме действуют Суета, Любовь, Счастье. Произведение написано народно-песенным размером (десетерцем), однако язык его искусственный, сложный и плохо укладывается в эпический стих.

Формировавшееся в Сербии новое литературное течение — романтизм — оказывало все большее влияние на представителей классицизма и они в своих эстетических позициях все более приближались к романтизму, хотя сначала лишь внешне усваивая его принципы.

Отражение эпоса в творчестве названной выше группы поэтов сказалось в нескольких направлениях.

Во-первых, значительную популярность у них приобрела косовская тема. Ей посвящены стихотворения Йована Стерия Поповича «Песня на Косовом поле» и «Воспоминание о Видовом дне», его роман «Бой на Косове» и трагедия «Милош Обилич». Йован Стерия Попович «Воспоминание о Видовом дне» и «Песню на Косовом поле» строит на эпических мотивах вечера у Лазаря, ссоры Милоша и Вука, измене, битве, поражении, гибели царства

⁵ День св. Вида — 15 июня — день Косовской битвы 1389 г.

как предопределении судьбы. Если эпическая народная песня считает, что

На Косове сербы потеряли
На земле и власть-свою и силу,

то «Спомени Видов дана» Поповича заканчивается строками:

Србску славу, србску храброст,
Србско име, србску знатност,
Све прогута Видов дан.

Тема Косова разработана в поэме Николы Бороевича «Обилич, (1843), рисующей картину косовского боя. Хотя Бороевич и пользуется мифологической образностью (Клио, Орфей) и силлабическим одиннадцатисложным стихом с рифмами, его поэма основывается на народных песнях косовского цикла, о чем свидетельствует и изложение событий, и герои, известные только в песнях (старый Юг Богдан), и трактовка образов (изменник Вук).

Во-вторых, в стихотворные произведения вместо чуждого виршевого стиха постепенно проникал сербский народный стих — десятисложник. Им написаны произведения Симы Милутиновича Сарайлии (поэма «Сербиянка», 1826), Йована Суботича («Элегия на Косове», 1837), Никанора Груича («Обманщица Нада», 1842), Васы Живковича («Песня о пограничниках», 1844), Милицы Стоядинович Српкини (поэма «Путники», 1847). Это был важный процесс: в употребление входил народный, соответствующий строю сербского языка стих, который, несомненно, облегчал дальнейшее развитие сербской поэзии.

В-третьих, эпические сюжеты и образы сыграли значительную роль в формировании целого ряда новых жанров сербской литературы, а именно: поэмы, исторического романа и исторической драмы, патриотических по своему идейному смыслу. Культ прошлого, характерный для них, имел в эти годы большое значение для национального подъема.

Действительно, в сербской литературе первой половины XIX в., т. е. времени перехода от классицизма к романтизму, широкое распространение получили поэма, исторический роман и историческая драма. Центром произведений этого времени всегда был образ героя-патриота, юнака, защитника родной земли, знакомого народу по песням. Воспевая славу эпических героев, сербская литература сближалась по своему идейному звучанию с народным эпосом. Важно отметить и то, что как в народном творчестве в эти годы создавались новые песни о восстании 1804—1813 гг. и о его героях (песни Филиппа Вишнич), так и в книжной поэзии создавались произведения об этих событиях и героях («Сербиянка» Милутиновича, «Слободиада» Негоша, «Караджурджевка» Медо Пуцича и др.).

Характерное явление этого периода, а затем и примерно двух последующих десятилетий — возникновение жанра большой эпической поэмы, эпопеи. Основой этого было своеобразное соединение принципов классицизма и романтизма на почве обращения к фольклору. Образцом для такой поэмы служили «Илиада» Гомера и классицистические эпопеи, а материалом — народно-эпические сюжеты и герои и в некоторой мере свободно изложенные исторические события конца XVIII — начала XIX в. Некоторые из эпопей были откликом на новые исторические события и причудливо соединяли в себе особенности народно-эпической формы (десетерац) с книжными чертами. В поэме Евто Поповича «Милошияда» (1829) десетерац соединялся с рифмованной октавой.

Возникновение такого жанра было поддержано не только теорией классицизма, но и мнением ряда ученых, что у сербов в древности существовал большой эпос, распавшийся впоследствии на отдельные песни. Все это стимулировало, с одной стороны, попытки создания больших поэм, типа гомеровских, а с другой — попытки восстановить якобы существовавшие в прошлом эпопеи о Марке Краевиче, о Косовских событиях и др.

Так, в сербской литературе возникли большие эпопеи национального масштаба и национального значения, как полагали их авторы. Такова поэма Симы Милутиновича «Сербиянка» (или «Сербияда», 1826), прославляющая освободительную борьбу народа 1804—1813 гг.; таковы поэмы П. П. Негоша «Слободиада» (1835), Йована Суботича «Краль Дечанский» (1846), Йоксима Новича-Оточанина «Лазарица, или Бой на Косовом» (1847). Такого рода произведения создавались и позже, в период расцвета романтизма (поэма Никанора Груича «Святой Савва Неманя», 1861). Своеобразна в этом отношении деятельность упомянутого выше Новича-Оточанина, создавшего целый цикл эпопей: «Первый бой на Косовом поле, или смерть Вукашина» (1858), «Гайдук Велько», «Васа Чарапич», «Янко Катич», «Станое Главаш» (1860—1861), «Бирчанин Илия» (1862), «Душания» (1863), «Сибинянин Янко на Косовом поле» (1864), «Карагеоргий» (1865). Крымскую войну он воспел в эпопее «Московия» (1863).

Эпопей Новича-Оточанина пользовались большой популярностью, особенно «Лазарица» и «Московия». Сам же автор лучшим своим произведением считал «Душанию», так как в ней была нарисована широкая картина расцвета и славы древнего сербского государства. Нович-Оточанин был одержим стремлением создать на основе народных песен патристическую эпопею. В этом он следовал за Мицкевичем, который в своих парижских лекциях о славянских литературах советовал создать на основе народных песен Косовскую эпопею. Первую такую попытку сделал Нович-Оточанин; затем последовали многие другие ⁶.

⁶ Список такого рода произведений см. в журнале «Нова искра», Београд, 1901, стр. 208—212, 235—241, 278—283, 305—309 и др.

Хотя Нович-Оточанин причислял себя к романтической школе, у него, несомненно, оставались заметные следы классицизма, что и определяло его увлечения эпопеей.

Все эти огромные по объему поэмы (по несколько тысяч стихов) возникали на почве национально-объединительных тенденций, стремления создать монументальные произведения, прославляющие величие и славное прошлое сербского народа, который изображался в них как единый, исторически цельный народ с богатой и славной историей.

Те же тенденции проявились в историческом романе этого периода. Он довольно свободно обращался с историей, ориентируясь главным образом на народно-эпическую трактовку событий и героев. В историческом романе, как и в эпопее, видно смешение принципов классицизма и народного эпоса. Наиболее наглядно это в романах Йована Стерии Поповича. Его роман «Бой на Косовом поле, или Милан Топлица и Зораида» (1828) написан автором, по его собственному признанию, по образцу «славного Флориана». Попович широко использовал роман французского писателя, но использовал также рассказ о Косовской битве из Трношского родослова XVIII в. и народные песни. В его романе важная национально-патриотическая тема борьбы с иноземными захватчиками разработана в духе классицизма, а личные отношения героев — в духе сентиментализма. От народной песни идут некоторые сюжетные положения и образ главного героя Милана Топлицы.

Вслед за Поповичем пошли и другие авторы исторических романов того времени.

Наиболее широко народный эпос, его сюжеты и образы были использованы в исторической драме. Этот жанр завоевал особую популярность. Уже в первой половине XIX в. в Сербии было создано несколько десятков исторических драм, строящихся на основе эпических песен. Впоследствии число таких произведений возросло до нескольких сот. Это весьма любопытный и показательный факт, не имеющий аналогии ни в одной другой литературе.

Патриотическая историко-легендарная драма, обращаясь к сюжетам и образам эпоса, широко расцветает с 20-х годов XIX в. Одним из первых драматургов, использовавших народную песню, был Стефан Стефанович (1806—1827), автор пьесы «Смерть царя Уроша», в которой он нарисовал традиционно эпические фигуры слабовольного и доброго Уроша, злого и коварного Вукашина, смелого и справедливого Марка Кралевича. Но его драма осталась малоизвестной.

Более популярны были исторические драмы Йована Стерии Поповича. В трагедии «Милош Обилич, или Бой на Косовом поле» (1828) автор отдает дань условным приемам художественной обработки исторического материала. В развитии действия его пьесы много эффектных неожиданностей, речь приподнятая, патетическая, а герои напоминают героев сентиментальных романов.

Но в ней отразились патриотизм писателя, его гордость за прошлое сербского народа, ненависть к угнетателям Сербии — турецким феодалам. Автор в известной степени (за неимением исторических источников) обращался к Косовским песням. Драматизацию народной песни представляют собою его пьесы «Наход Симеон» (1830). Поздние исторические драмы Поповича — «Смерть Стефана Дечанского» (1841) и «Гайдуки» (1842) — проще по стилю и естественнее по трактовке характеров. В них больше исторической достоверности и вместе с тем шире используются народные эпические и балладные песни; в последней, например, песни «Наход Симеон» и «Предраг и Ненад». Песни балладного и лирического характера вводятся и в текст драмы⁷.

В аллегории «Сон Кралевица Марка» (1847) Попович дает своеобразное идейное освещение образу героя. В ней, соответственно одному из эпических сюжетов, Марко засыпает глубоким сном на несколько столетий и просыпается во времена восстания 1804—1813 гг., помогая сербскому народу разбить турок и освободить родину. В пьесу введена, ставшая потом национальным гимном, патриотическая песня «Устај, устај, Србине!» («Вставай, вставай, серб!»).

Историческая драма 30—50-х годов нередко представляла собою простой сценический пересказ эпической песни. Таковы пьесы «Царь Лазарь, или падение сербского царства» (1835) Исидора Николича, «Смерть Краля Вукашина» (1844) Димитрия Нешича, «Драгутин, король сербский» (1847), «Кралевиц Марко и Вуча генерал», «Построение Скадра на Бояне» (начало 40-х годов) Атанасия Николича, «Мейрима, или Босняки» (1849), «Краля Вукашин» (1857) и «Царь Лазарь» (1858) Матии Бана, «Мочило» (1851) Василия Йовановича, «Милан Топлица» (1861) Ивана Петровича, «Смерть краля Вукашина» (1869) Моисея Живоиновича, «Сербские гайдуки» (1863) Джордже Малетича, «Неманя» (1863) и «Милош Обилич» (1868) Йована Суботича и многие другие. В последнюю пьесу Суботич ввел косовские песни и сохранил эпическую трактовку образов Лазаря и Милоша, первого как мученика, второго как героя-патриота, а многие сцены построил на известных песенных ситуациях.

Таким образом, в первой половине XIX в. широкое использование народных эпических песен привело к изменению характера классицизма. В творчество представителей классицизма все более проникают черты зарождающегося в сербской литературе романтизма. Это облегчалось тем, что классицизму, особенно испытывшему влияние Ломоносова и Державина, свойственны исторические темы. Развитие исторической драмы, использующей народную эпическую песню, способствовало формированию романтизма.

⁷ G. Gese mann. Einige volkstümliche Elemente in Jovan Sterijin Popović's Drama «Die Hejduken». «Studien zur südslavischen Volksepik», Reichenberg, 1926, S. 47—64.

Более часто к народному эпосу стала обращаться и патриотическая песня. Кроме внешних черт эпических песен (десятисложный стих), все чаще сказывалось влияние идейной их стороны. Но значительных произведений под влиянием народного эпоса еще не было создано. К этому, однако, вело развитие литературы.

4

В 50-е годы процесс формирования сербской нации и национальной культуры вступил в новую стадию. Развитие капитализма значительно обострило его, тем более, что Сербия не получила еще полной самостоятельности (в сербских городах еще стояли турецкие гарнизоны), а сербские области не были еще воссоединены.

Обращение писателей к фольклору и прежде всего к эпосу с его идеями национально-освободительной борьбы приобретало особую значительность и остроту в условиях борьбы против остатков турецкого феодального гнета в Сербии и против австро-венгерского гнета в Воеводине. Все это придавало использованию эпоса в литературе большое патриотическое звучание.

Отраженная в эпосе героическая борьба сербского народа против иноземного владычества стала важной темой литературы. Эпос, художественно воплотив освободительную борьбу народных масс, не только выразил наиболее устойчивые в среде сербского народа идеи, но и стал важнейшим элементом его культурного наследия. Именно эти качества эпоса заставляли художественную литературу обращаться к его образам, сюжетам и стилю в те исторические моменты, когда национально-патриотические идеи выдвигались социально-историческими обстоятельствами на первый план. А национально-освободительная борьба сербского народа проходила в тяжелых условиях. Литература осознала те большие идейно-политические задачи, какие выдвигала перед нею эта борьба, и стала служить воспитанию патриотизма, национального сознания, для чего она и обратилась к народным героическим традициям, которые наиболее ярко были воплощены в народном эпосе.

Широкое использование фольклора и, в частности, эпоса в литературе 60—70-х годов носило не только форму стихийной тяги к народному творчеству как хранителю патриотических традиций, но и было связано с формированием в литературе идейно-художественных течений, которые в своих эстетических воззрениях отводили фольклору, и в частности эпосу, важное место. Именно это было свойственно учению романтиков о народности и национальной самобытности искусства. Поэтому наибольший интерес к сербскому эпосу наблюдается в литературе как раз в годы наивысшего расцвета романтического направления.

В силу всех этих обстоятельств в период расцвета сербского романтизма, который в основном имел прогрессивный и даже рево-

люционный характер, эпос находит самое широкое отражение в литературе. Подъем национального возрождения содействовал осознанию идейно-политической важности задачи развития национальной культуры и осознанию идейно-художественной ценности самого эпоса.

Все эти социально-исторические и идейные факторы сделали вполне закономерным обращение писателей к народной поэзии. А так как в ней в это время особенно значителен, богат и известен был именно эпос, то он и стал в центре творческих интересов романтиков.

Романтизм, переживавший в 50—60-е годы процесс окончательного оформления, связан, с одной стороны, со школой Караджича, а с другой — с возникновением культурно-политического общества «Объединение сербской молодежи» (Омладина).

Романтизм много сделал для собирания и изучения эпоса, для его широкой популяризации, чему способствовал подъем национально-патриотических настроений. Романтики записывали и издавали народные песни, знали их наизусть, исполняли их и представляли себя народными певцами. Они создали культ народного творчества, в частности эпоса, подражали ему, перепевали его сюжеты, пользовались его выразительными средствами и стихом; они переводили «Слово о полку Игореве» (Негом) и «Илиаду» Гомера (Л. Костиц) на сербский язык эпическим десяти-сложником. Они значительно расширили использование эпоса в своем творчестве и вместе с тем обращались с ним свободно.

У наиболее талантливых поэтов-романтиков эпос переставал быть архаикой, наполнялся новыми идейно-политическими настроениями, становился важным элементом национальной культуры, служил воспитанию у сербской молодежи духа борьбы и героизма, содействовал созданию значительных произведений.

Романтики демократизовали литературу. Идея ее народности включала для них не только представление о ее национальной самобытности. Творчество романтиков представляло собою часть культуры молодой прогрессивной сербской буржуазии. Однако романтики переходили эти рамки и приближались к подлинной народности творчества. Это служило основой их столкновения с консерваторами и староверами, которые ориентировались на сложившуюся сербскую знать.

Писатели романтической школы любили народное творчество и на эпос смотрели как на «израз народне душе».

Идея народности рассматривалась ими как основа общественной и культурной жизни страны. Юрий Даничич писал Караджичу: «Народность без свободы может быть на свете, а о свободе без народности нельзя и думать». Та же мысль выражена в стихотворении Сундетича «Народ без народности».

Хотя понятие народности для романтиков обычно было тождественно с понятием национальности, оно имело и определенное

социальное наполнение, поскольку турки в Сербии были не только иноземными захватчиками, но и помещиками. Национальное движение опиралось в основном на крестьянство, почему и литература должна была обращаться к крестьянству, пользуясь формами его же творчества.

Социальная сущность эпоса содействовала демократизации литературы — изображению народных героев, народного быта, простоте формы и языка. Демократические тенденции литературы проявились, например, в «Горном венце» Негоша в постановке вопроса о народовласти, а позже у Джюры Якшича в защите интересов народных масс, у Змая в сатирическом обличении сил, враждебных народу.

Романтизм поставил задачу создания национально-самобытного по содержанию и форме искусства и с этой целью обратился к фольклору и более всего к эпосу. До него такая задача в такой широкой и принципиальной форме не ставилась.

Романтики произвели реформу литературного языка, положив в его основу живую народную речь. Значительным элементом нового литературного языка стала народно-поэтическая речь с ее специфическими выразительными средствами. Новый язык утверждался в острой идейной борьбе против консерваторов, которые с презрением называли его «говедарским», языком «орача и копача», т. е. языком пастухов и пахарей.

Важнейшую роль в разработке принципов нового литературного языка сыграл Вук Караджич. Его реформу приняли хорваты (Гай), воеводинские сербы и черногорцы. Она была защищена в боях со староверами Юрием Даничичем и практически утверждена поэтами романтической школы Бранко Радичевичем и Петром Негошем.

Романтики, и прежде всего Караджич и Даничич, упорно защищали идею национальной самобытности сербской культуры и красоты чужеземной противопоставили красоту поэзии родного народа. Их идеи претворяли в жизнь писатели-романтики. Основой национальной культуры так называемая «школа Вука» считала народное творчество и особенно эпос. Эта позиция вытекала из их идейных воззрений. Юрий Даничич в своей «Борьбе за сербский язык» (1847) писал: «Народное творчество это семя: из этого семени должна возникнуть наша литература, и это будет настоящая литература».

В этом романтики резко отличались от писателей классицизма. Недаром у них вместо традиционного образа «лиры» в употреблении вошли «гусле яворове».

Постепенно устанавливалось как бы единство в путях развития и идейном смысле литературы и фольклора, и прежде всего эпоса, как основного его жанра.

Национальное своеобразие поэзии романтиков весьма ярко. На ней лежит отпечаток национальной истории и быта, родной

природы, народных песен и языка. Напротив, поэты, далекие от народного творчества, от национальных форм искусства, не достигли национальной яркости своих произведений. Или они по традициям классицизма обращались к античным и библейским сюжетам, условным и далеким для народа, или разрабатывали сюжеты народного эпоса в ложной, искусственной манере.

В литературе сербского романтизма по сравнению с предшествующей литературой значительно расширилось обращение к эпосу. Это можно наблюдать не только в жанрах поэмы, исторического романа и драмы, но и в лирике.

В лирике, естественно, иначе, нежели в повествовательных и драматических жанрах, используются эпические мотивы и образы. Эпос прежде всего нашел отражение в патриотической лирике, где нередко рисуется образ патриота, примером которому служит песенный юнак, как в стихотворениях Бранко Радичевича «Ой, Морава!», «Сербский юноша»:

Идем врагу алобу да заплатим,
Као јунак да се дома вратим.

В лирических произведениях поэт, пользуясь десятисложным стихом и народной поэтикой, прямо выражает свои патриотические чувства. Бранко Радичевич в лирической поэме «Студенческое расставанье» (1844) говорит о славе Кралевича Марка, об эпических персонажах Филише Мадьярине, Яне Корчмарице, Арапине и Фатие, обращается к гуслям, заявляет о желании воспеть истинного патриота.

Эпические образы приобретают у романтиков лирическое освещение, например в стихах Якшича, Змая, Йована Илича, Йована Сундентича, Лазы Костича. Романтики часто пользовались формой баллады.

Крупнейший поэт середины XIX в. Джюра Якшич в своей лирике нередко обращался к эпическим мотивам и образам. Так, в стихотворении «Но мне теперь» («Ал' ми сада», 1856) он вспоминает песенный образ Яни Корчмарицы и мечтает патриотическим гайдуцким подвигом завоевать ее любовь. Якшич — активная натура, борец, один из вождей Омладины. Образы эпических юнаков служат ему для призыва к борьбе и еще чаще для укора современной ему молодежи в бездеятельности и равнодушии к судьбе родины. Показательно его ироническое стихотворение «Отец и сын».

В творчестве Змая юнацкая песня также вошла не только в поэмы, но и в лирику. В стихотворении «Гусляр» поэт говорит о патриотическом значении героических песен, а его стихотворение «Нежный Аристид», как и стихотворение Якшича «Отец и сын», осмеивает изнеженных детей и напоминает им, что еще раздастся звон мечей на Косовом поле.

Эпические мотивы и образы нашли и в романтической лирике свое идейно-политическое осмысление; они использовались поэтами как своеобразные патриотические символы, песенные герои служили примерами мужества и любви к родине. В лирике они и трактуются в лирическом, а не повествовательном плане. Таким образом, например, разрабатывается тема Косова. Это мы видим в одном из ранних стихотворений Якшича «Косово». Характерно в этом смысле и его стихотворение «Из мастерской», где поэт воспроизводит картину, известную из эпической песни о девушке-косовке: сербская девушка-патриотка обходит поле боя, омывает вином раны воинов, ищет своего возлюбленного Милоша, но более всего горюет о судьбе родины; поэт воображает себя таким же воином-патриотом, лежащим в крови на поле боя.

Косовская тема проходит через всю сербскую литературу XIX в. В первой половине XIX в. ее популярность объяснялась мечтой народа о полном освобождении из-под турецкого и австрийского гнета. Прошлое народа было идеалом и противопоставлялось его униженному и жалкому настоящему.

Косовские песни как один из наиболее патриотических циклов сыграли большую роль в развитии патриотической литературы в Сербии. Косово стало патриотическим символом. Эту тему затронула уже предромантическая литература, а романтическая сделала ее популярной. Напоминание о поражении на Косове и его героях звало к борьбе за освобождение от многовекового турецкого ига. Почти ни один из поэтов не прошел мимо темы Косовской битвы. О косовских героях поэты вспоминали в каждом патриотическом произведении. Рисуя борьбу черногорцев с турками, П. Негош в поэме «Горный венец» ставит косовских героев в пример. Когда владыка Данила дает приказ начать бой, то он сам и его воины рассматривают свою борьбу как продолжение борьбы патриотов

От Косова до данашњег дана.

Романтики воспевали «ветер с Косова», вспоминали «дедовские кости», с гордостью говорили о прошлом своего народа. Они широко откликнулись на Крымскую войну и на войну 1877—1878 гг. Змай и Якшич призывали вспомнить героические традиции. Змай на обложке книги «Илюстриоване ратне кронике» поместил две даты 1389 и 1877, — сопоставляющие Косовскую битву и войну с турками как расплату за прошлое унижение.

Якшич в стихотворении «Косово», Змай в стихотворениях «Дед и внук», «Гусляр и дети», Йован Илич в стихотворениях «Слепец» и «Воспоминание» говорят о славе косовских героев, воспевают Милоша Обилича, братьев Юговичей. Здесь трактовка этой темы связана с эпическими представлениями. В стихотворе-

нии Йована Илича «Вила» вила, видевшая косовский бой и страдания народа, дает слепому гуслиарю гусли, чтобы

Веселили душу звоном гусли...
Вспоминали честь и славу мертвых,
Храбрецов живущих прославляли⁸.

Вполне естественно, что народные эпические песни оказали особенно большое воздействие на жанр поэмы. В поэзии романтиков поэма занимает важное место. Это один из любимых жанров. Романтическая поэма отличается большей эмоциональностью и лиризмом⁹.

Поэты романтики используют для поэмы эпические образы и сюжеты, как Бранко Радичевич в поэмах «Гойко» (1848), «Стоян», «Могила гайдука», «Урош» (1849).

Бранко Радичевич в поэме «Гойко», употребив десетерац, песенные запевы и концовки, эпические мотивы (неудачной охоты), обращения к природе (зоро бела, лисна горо), эпитеты и выражения (беле дворе, лов лови, незнани јуначе), в то же время психологически разработал образ Гойко Змаевича, ввел характерные для романтиков обращения к друзьям, использовал рифмы, ввел свои новые эпитеты (лаки кони, прелепо доба) и новые мотивы (встреча героя с медведем). Змай не только обработал известные эпические сюжеты, как в небольшой поэме «Героиня-девушка» с образом патриотки, выступающей на борьбу с турками, как в поэме «Юрьев-день», изображающей выход гайдуков весной в лес, откуда они вели борьбу с турками, как в поэме «Три гайдука», описывающей страдания гайдуков в темнице и их месть турецкому папе. Но Змай в традиционной эпической форме, с изображением как образца эпических героев, например Милоша Обилича, представил события середины XIX в. («Сентомаш»). События новой истории отразили в своих поэмах и Качанский, и Нович-Оточанин. Первый — победы черногорцев над турками при Грахове, второй — Крымскую войну.

На эпической основе построены поэмы Ст. В. Качанского «Граовлаз» (1862) и «На србобрану» (1870), поэмы Милорада Шапчанина «Невеста Лютицы Богдана» (1866), Степана Любиши «Бой на Висе» (1866). Однако многие из этих произведений были или простым переложением народных песен, как поэма Шапчанина, или весьма механически использовали отдельные эпические мотивы.

Примером поэм, приобретших сильную лирическую и даже мелодраматическую окраску, могут быть поэмы Джюры Якшича

⁸ См. также: М. Јовановић. Поглед на драмску литературу о Косову. «Глас српске», Академије, 1890, 18, стр. 1—118. Перевод здесь и далее мой. — Н. К.

⁹ Обычно в критике и литературоведении смешиваются эмоциональность и лиризм, но мы понимаем лиризм не как эмоциональность, а как выражение авторского отношения к изображаемому.

(«Невеста Пивлянина Бая» и «Знаменосцы»). Романтическая мечта, эффекты, фантастика, поэтический пафос — вот их черты; много места в них занимают лирические отступления.

Романтическая поэма использовала сюжеты и образы эпической песни. Историко-патриотическая или песенно-легендарная поэма, кроме этого, брала из народного эпоса и всю его поэтику, принципы композиции и стих. Примером могут служить поэмы Йована Илича «Мейрима-девушка», «Драгиша-сердар», «Провалия», «Пастухи». Автор широко пользуется песенными зачинами:

Рани мајка јединицу шћерку,
Верна љуба Омера везира,
У Мостару граду бијеломе,
Ранила је медом и шећером,
Умива је студенем росицом,
А утире руменом ружицом («Мейрима»);

концовками:

То изусти лаку душу пусти,
Удари се ножем посред срца жива! («Мейрима»);
Махну Ружа руком па на земљу паде,
Како млада паде, више не устаде («Пастири»);

параллелизмами:

Шта се сјаји кроз гору зелену,
Да л'је, мјесец, ал сунашце јарко?
Није мјесец, ни сунашце јарко,
Но оно су кићени сватови («Сватови»);

сравнениями: девушка смеется «ко сунашце как кроз гору сине!», ее взгляд «мунье огневите», любимый — «сиви сокол»; портрет красавицы или юнака рисуется обычно путем накопления сравнений:

Оно око — око соколово,
Оно грло — грло лабудово;

традиционными эпитетами юнацких песен: кићени сватови, црне очи, горска вила, бјела вила, утва златокрила, ватра жива, рујно вино, суво злато, бјело лице и т. п.; эпической песенной фразеологией: сунце ме огрија, хитро скочи, драга несуђена, лијепо ти оком погледати; јад јадујем, ником не казујем.

Из поэтических средств юнацкой песни, как уже указывалось, сербская поэзия шире и чаще всего использовала эпический стих десетерац.

Десетерац впервые широко был введен Симой Милутиновичем, Негошем и Радичевичем. Они употребляли его и в поэмах и в лирических стихах. Одним из стимулов к этому послужил выход в свет сборников народных песен Караджича, Милутиновича и Негоша, поэтический авторитет Негоша и Радичевича, особенно же то, что этим стихом написано популярнейшее произведение

сербской литературы поэма Негоша «Горный венец». Понятно, что введение эпического стиха в книжную поэзию стимулировалось задачами создания национальной литературы в национальной форме. Поэтому эпический стих вошел не только в поэму, но и в песню («Сборщицы винограда» и «Сербский юноша» Радичевича), в пейзажную и любовную лирику Йована Илича и Змая Йовановича, в сатирическую поэзию Якшича и Змая, в драму («Степан Малый» Негоша и многие другие романтические драмы).

В романтической прозе эпические сюжеты и образы нашли меньшее отражение. Прозаические жанры по своей композиции и стилистике стоят значительно дальше от народной эпической песни, нежели поэма.

Несмотря на это в романтический период сербской литературы в ней создаются исторические повести и романы, использующие эпический материал, как роман Шапчанина «Хасан-ага» (1880) и повесть «Милош у Латинян» (1884).

Романтическая драма, продолжая сложившиеся в Сербии традиции историко-патриотической драмы, обращалась к сюжетам и героям эпоса. Писатели-романтики создали немало таких произведений. Многие из них не были напечатаны, хотя и шли на сцене, как пьесы Шапчанина «Душан Сильный» (1890) и «Задужбина».

В романтической драме наиболее примечательными явлениями были пьесы Лазы Костица и Джюры Якшича, эстетические воззрения которых сформировались на основах народной поэзии.

Костиц в 1864 г. закончил трагедию «Максим Черноевич», для которой использовал известную эпическую песню «Женитьба Максима Черноевича». Взяв из песни конфликт с «проклятой латинкой» (Елизаветой), он модернизовал образ героя — неделил его беспочвенным гамлетизмом.

Следуя Шекспиру, как он сам это подчеркивал, Костиц отказался от десятисложного эпического стиха, а написал свою пьесу стихом, близким к пятистопному ямбу. Так же он поступил и в другой своей пьесе, основанной на народных песнях, — «Пере Сегединце» (1875). Его «Гордана» (1890) написана прозой. Костиц заимствует из песни только сюжетную основу, по-своему перепланируя развитие событий, по-своему трактуя характеры героев. Он не сохраняет ни исторической верности, ни верности народной песне. Борьба против чужеземного гнета, борьба за независимость народа — пафос его пьес.

Второй из романтиков-драматургов — Джюра Якшич — следовал кое в чем за Костицем, например в ямбическом стихе, но его драмы ближе стоят к народной песне. Это можно сказать и о «Елизавете, княгине черногорской» (1868), которая строится тоже на песне о Максиме Черноевиче, и о «Станое Главаше» (1878). В драмах Якшича много условного, патетического, эффектного. Их композиция свободная. Но пьесы Якшича глубже в трактовке

истории и характеров. Так, он подчеркивает конфликт между Черногорией и Венецией. В пьесе выражается свойственное поэту осуждение Запада (Венеции), который он считает морально «гнилым».

Для пьес Костица и Якшича, несмотря на их значительные различия, характерен сходный лирико-драматический план. Хотя Костиц и Якшич следуют песенным сюжетам, они оба, по существу создают новые характеры героев и вкладывают в традиционные схемы новое содержание.

Вслед за этими поэтами шли и многочисленные второстепенные драматурги. В 80—90-х годах, уже во время торжества реализма, когда романтизм вырождался в творчестве его эпигонов, в Сербии появляется множество исторических драм, грубо и примитивно использующих эпические сюжеты и образы. Из сотни таких пьес наиболее известны, хотя и очень слабы, пьесы Драгутина Илича «Вукашин» и «Женитьба Милоша Обилича», Николы Борича «Момир», Видака Одавича «Байо Пивлянин», Милана Савича «Дойчин Петр», Бойко Брдянина «Ускоки», Андры Гавриловича «Момир» и «Жена Чубрановича», Милана Джуричича «Вук Бранкович» и «Косово», Миты Поповича «Деспот Лазарь Бранкович», Миты Калича «Краль Вукашин» и «Дележ Якшичей».

Для них характерен трагический план трактовки образов и событий, перерастающий в мелодраматизм и искусственность, обычно плохой эпический стих-десятисложник (большая часть этих пьес — стихотворные произведения). Все они в значительной мере консервативны в своих идеях, стремятся показать, как говорит Шапчанин, «светлые, великие образы прошлого», отрываясь от реального положения страны и народа, не давая никакой положительной жизненной программы.

5

В конце XIX — и начале XX в. сюжеты и герои сербского эпоса продолжают оказывать воздействие на сербскую литературу. Сложная политическая борьба внутри страны и трудное положение Сербии между Турцией, Австро-Венгрией и Италией привлекали внимание писателей к судьбам родины, а это заставляло их обращаться к патриотическим темам эпоса, к героическим традициям народа, использовать как вдохновляющую и воспитательную силу юнацкие песни.

Значительный интерес к юнацким песням у писателей XX в. объясняется оживлением национально-освободительного движения. Сказалось обострение отношений с Турцией, против которой Сербия в союзе с Болгарией и Грецией воевала в 1912 г. Целью этой войны было освобождение сербов, македонцев, болгар и греков, еще находившихся на юге Балканского полуострова под владычеством турок. На Косовом поле, с которым у сербов связано

так много исторических воспоминаний, была одержана крупная победа над турками, и это в известной мере удовлетворило чувство национальной гордости сербов.

Но вместе с тем национализм буржуазии в новый исторический этап, реакционность монархических кругов Сербии накладывали особый отпечаток на отношение к прошлому народа и его культуре; эпос использовался и с явно реакционными идейными тенденциями.

В 70-х годах XIX в. в сербской литературе зарождается реализм который в конце этого и начале нового века занимает господствующее положение в прозе. Реализм, основывавшийся на иных идейных и эстетических принципах, нежели романтизм, иначе смотрел на народное творчество. Писатели-реалисты более трезво судили об эпосе, более творчески его использовали и понимали, что консервативные литературные направления используют его в реакционных целях.

Реалисты обращались к эпосу значительно меньше, нежели романтики. Главным образом потому, что реалисты считали своей основной творческой задачей изображение современности, освещение проблем современной действительности, создание образа современника. А романтическая условность, образы, сюжеты и поэтика эпоса были мало пригодны для выполнения этих задач. Кроме того, в реалистической сербской литературе господствовала проза, и это обстоятельство точно так же отдаляло писателей от эпоса.

А если писатели-реалисты используют мотивы и сюжеты эпоса, то главным образом в сатирических целях, как Радое Доманович в рассказе «Марко Краевич второй раз среди сербов» (1901), где он, осмеивая порядки монархической, буржуазной Сербии, противопоставляет целеустремленных, мужественных героев народных песен людям без высоких идеалов, патриотизма и героизма — его современникам. Доманович явно следует здесь за реалистической сатирой Якшича и Змая.

Следует, однако, заметить, что писатели, далекие от фольклора, нередко попадали в плен антиреалистических теорий и школ, что их творчество было лишено национальной окраски как по содержанию, так и по форме. Это характерно для школы «чистого искусства», которая зарождается в сербской литературе в 80-е годы в поэзии Воислава Илича (1862—1890) и существует далее у его последователей, особенно у Йована Дучича (1869—1943). В то же время в Сербии появляются модернизм, декаденство, символизм, далекие от жизни по своей тематике и ориентирующиеся на западноевропейскую поэзию по форме. Критик Радован Джюза в книге «Личности и дела» (1955, стр. 194) справедливо отмечает, что в старой романтической поэзии было ярче выражено национальное начало и вернее отражалась сербская жизнь, нежели в модернизме. Представители «чистого искусства» и модернизма повели

сербскую поэзию путями, далекими от национальной культуры и жизни народа.

Писатели и критики, сторонники реализма (Змай, Скерлич), начали борьбу с литературой, лишенной национального содержания и национальной формы.

Для представителей «чистого искусства» показательно увлечение античными и экзотическими сюжетами. Воислав Илич в поэзии и в драмах («Пифия», «Смерть Перикла» и др.) рисует то древнюю Грецию и древний Рим, то древний Египет. Модернисты еще более широко ввели в свою поэзию классических Зевсов и Аполлонов, чуждых сербскому народу, они усвоили субъективизм и словесное фокусничество декадентско-модернистских течений французской и итальянской поэзии.

Сербские поэты-модернисты конца XIX—начала XX в., отвернувшись от народной поэзии, народной жизни и языка, попали в плен к французскому и немецкому символизму (Стеван Лукович, Милан Чурчин, Милутин Йованович и др.). Высшей степени пренебрежение к народному и национальному искусству достигает у Милана Чурчина, который в статье «О моих стихах» (Срп. кнь. гласник, 1903, X) прямо заявляет о своих антидемократических позициях, с презрением говорит о народе, народную песню называет элементарной и заявляет, что читатель еще не дорос до понимания его, Чурчина, искусства.

Талантливый поэт Сербии начала XX в. Йован Дучич закрыл себе дорогу к народу: его прекрасные по технике стихи обесцениваются абстрактностью, узостью жизненного содержания и теряют национальное своеобразие. В них не отражены ни сербская жизнь, ни сербская история, ни окружающая его природа, ни оригинальная сербская фразеология, ни дух сербского языка, ни национальный характер стойкого и мужественного народа. Все это Дучич заменил античными образами и восточной экзотикой, абстрактно-мертвой и холодной природой, приглаженными, обезличенными фразами, звучащими как переводы то древних поэтов, то французских поэтов-парнасцев.

Это пренебрежение поэтов к национальной культуре и демократической форме искусства выросло на почве отрыва буржуазии от народа и кризиса буржуазной культуры XX в.

Несмотря на существование такого рода литературных течений, эпос еще продолжал оказывать воздействие на поэзию, прозу и драму. Часто, однако, теперь это стало носить форму внешних подражаний, а не творческого использования или имело сильный националистический оттенок.

Живучесть пережитков феодализма и средневековья в Сербии, определявшаяся экономической и культурной отсталостью страны и медленным ее развитием, приводила консервативных писателей к приукрашиванию прошлого, к поискам идеала не в будущем, а в минувшем. Для этих целей ими использовался эпос.

Так, Воислав Илич искал в прошлом забвения от тяжелой современной действительности. Некоторые из поэтов-модернистов, уходя в прошлое, обращались не к реальному историческому прошлому, а к тому «эпическому времени», которое казалось им золотым веком истории сербского народа.

Так, Милан Ракич (1876—1938) в стихотворениях «Древние вилы» и «Дорогим покойникам» говорит о прекрасной стране прошлого, о том, что его песня

... бесполезно стремится вернуть
преlestь прошлых времен.

Эстетизация картин прошлого соединяется у Ракича с мистикой, например, в стихотворении «Наследие»:

Презираю тоску, забываю боль я —
Течет во мне кровь моих предков,
Мучеников древних и героев, тех что
Умирали молча на страшных кольях...

Нельзя не признать, что Ракич с большой эмоциональной силой рисует образы прошлого: портрет жены деспота Углеши, вышивающей покров на гроб князя Лазаря, погибшего на Косове («Евфимия»), портрет подвижницы, изображенной на фреске монастыря Грачаницы («Симонида»). Для создания некоторых таких образов он пользуется народно-эпическими мотивами и художественными средствами.

В конце XIX—начале XX в. идеализация прошлого у некоторых поэтов стала формой выражения пессимизма, бесперспективности, что определялось духовным кризисом буржуазного общества.

Идейная жизнь этого времени характеризуется резкими противоречиями. И идеализация прошлого объяснялась не только духовной растерянностью, а и национализмом, почвой которого служили захватнические стремления сербской буржуазии и монархии, что проявилось во второй балканской войне, когда Сербия столкнулась со своими недавними союзниками.

Национализм в обращении к эпосу проявился, с одной стороны, у писателей XIX в., связанных с либеральной партией, как Йован Илич, и у писателей XX в., связанных с так называемой «Косовской Омладиной», как Мирко Королия.

Но если национализм Йована Илича был каким-то наивным, то национализм Мирко Королии, особенно в период после первой мировой войны, был резко реакционным. Национализм Йована Илича состоял только в безудержном восхвалении Сербии, ее прошлого, ее народа; а национализм Мирко Королии питал великосербский шовинизм, идею необходимости подчинения Сербии всех балканских славян.

Национализм Йована Илича, как и писателей XIX в. Лазо Лазаревича, Янко Веселиновича и Светолика Ранковича, основывался на их крестьянской ориентации, на их связях с крестьянством, которые определяли не только демократизацию литературы, но и ее национализм, так как крестьянство было носителем национальной и локальной ограниченности. Рабочий же класс, носитель интернационалистических идей, в конце XIX—начале XX в. в Сербии был весьма слаб.

Крестьянский национализм в XX в. использовался реакционной буржуазией и монархией в шовинистических целях. В этих же целях использовался и народный эпос.

На шовинистической почве возникло то идейное течение, которое оформилось как группа «Косовской молодежи» («Косовска Омладина»); в нее входили поэты Владимир Черина, Драголюб Филипович, Велько Петрович; к ним были близки Велемир Райч, погибший на фронте в 1915 г., Милорад Петрович, Милош Перович, Милутин Боич и др. Особенно сильно национализм проявился у Мирко Королии, председателя «Организации южнославянских националистов», возникшей перед первой мировой войной.

Поэты этой группы держались теории так называемого «национального динамизма», которая была проявлением великосербских буржуазных стремлений, и использовали эпос явно в реакционных целях. Мирко Королия в честь объединения в единое государство трех народов — сербов, хорватов и словенцев — написал пьесу «Построение Скадра» (1919); в основу ее легла известная эпическая песня. Три брата здесь символизируют три народа. Гойковица (жена Гойко, одного из братьев) жертвует собою, когда видит, что братья не могут построить город, так как им мешают злые силы: она просит замуровать ее в стены города, чтобы он крепко стоял. Гойковица, приносящая жертву, символизирует мать Сербии, Скадр — новое, крепкое государство трех народов. В пьесе акцент — не на прославлении нового государства (это было несомненно положительным явлением, так как объединение освобождало Хорватию и Словению из-под австро-венгерского владычества и укрепляло их союз), а на превосходстве и заслугах Сербии; автор по сути дела проповедует ее господство в этом союзе.

Еще в более реакционном плане использовал эпос Светислав Стефанович, который позднее стал прислужником фашизма.

Большая часть этих поэтов говорила о «Душановом царстве», о Косове, мечтала о восстановлении древней славы и силы Сербии, но нередко цели всего этого были реакционными.

В конце XIX и особенно в начале XX в. возродилась тема Косова, но теперь почвой для этого в значительной степени служил национализм.

Если прежде разработка косовской темы в основном носила прогрессивный характер и служила идее национальной независимости народа, воспитанию патриотизма, то с начала XX в. разра-

ботка этой темы приобретает явно националистический характер, и только у некоторых поэтов она трактуется прогрессивно и подлинно поэтически.

Мотивы Косова вместе с мотивами старой сербской славы звучат в стихах Милана Ракича. Поэт перед балканскими войнами служил в военной части, стоявшей на Косовом поле в 1905—1911 годах, где еще были свежи следы турецкого владычества, а более южные области еще находились в руках турок. В цикле «На Косовом поле» Ракич использует эпические и легендарные мотивы, рисует образы патриотов-юнаков.

Этот цикл Ракича обладает большой эмоциональной силой. Хорватский поэт А. Г. Матош говорит о нем: «Косовский цикл Ракича прекрасен, он по-настоящему соответствует косовскому мраморному эпосу Мештровича»¹⁰.

Одно из лучших стихотворений этого цикла «На Гази-Местане» прославляет косовских героев и заканчивается словами поэта о своей готовности к борьбе:

Жизнь хочу отдать я, о моя отчизна,
Зная, что даю я и за что даю я.

Тема Косова разрабатывается и в сборнике стихов Милутина Боича (1892—1917) «Песни скорби и гордости» (1917). В одном из стихотворений поэт говорит о воскресении князя Лазаря, погибшего в косовской битве: Лазарь стучит кольцом в ворота и зовет живых к борьбе.

В стихотворении «Молитва» Боич рисует величественный образ матери Юговичей, которая молит бога о том, чтобы он дал силы сербскому народу перенести страдания, на какие их обрекло поражение на Косовом поле. В стихах Боича с большой силой звучат любовь к родине и гордость за прошлое народа.

Драголюб Филипович (1884—1933) в сборнике «Косовские пионы» (1918) опубликовал целый ряд стихотворений на косовские и другие эпические темы. В некоторых из них он пользуется песенным десятисложником. В стихотворении «Мать Юговичей» поэт поднимает образ матери до трагического величия — это символический образ Сербии. Рельефны фигуры старого Юга и его девяти сыновей, особенно младшего — Бошко. Прекрасно описана тревожная ночь, когда мать ожидает вестей с поля битвы. Стихотворение заканчивается выражением глубокой веры в победу народа. Оно является откликом на последние столкновения сербов с турками. В сборнике Филиповича немало и других сильных стихов на косовскую тему. Есть в нем яркое стихотворение «Марко и Муса-разбойник» — миниатюра, изображающая сцену боя двух богатырей и победу Марка.

¹⁰ Есеји и фелетони, Београд, 1952, стр. 267. (Речь идет о замечательном хорватском скульпторе).

В стихотворении «Гусляр» поэт рисует образ народного певца, поющего под аккомпанимент гуслей песню о Косове, и говорит о воздействии песни на народ:

... Когда ж начал песню
О Косове, как погиб там Милош, —
Из крестьян, что в страхе трепетали,
Слушая святую эту песню,
Создалась гайдуцкая дружина!

Косовской теме посвящены стихи Милорада Петровича («Ночь на Косовом поле»), Воислава Илича младшего («Заход солнца перед битвой»), Алексы Шантича («Утро на Косовом поле», «Видов дан») и др.

Цикл стихов крупного сербского поэта-демократа Алексы Шантича «На старом пепелище» написан в 1912 г. во время Первой балканской войны. В нем отразилось то патриотическое воодушевление, которое охватило народные массы Сербии, боровшиеся за справедливое дело освобождения славян от турецкого феодализма.

Поэт рисует образы младшего Юговича-Бошко, знаменосца князя Лазаря («Утро на Косовом поле»), победу над турками на Косовом поле в 1912 г. («У костра»). Трактовка косовской темы у Шантича отличается тем, что не имеет националистической окраски, как, например, в стихах Мирко Королии.

Сербский эпос дал патриотической поэзии образ юнака-богатыря. Этот образ вошел в литературу давно, в начале XIX в. За сто лет сербские писатели воссоздали образы многих эпических героев — Момчила, Марка, князя Лазаря, Милоша Обилича, Юга и других, рассматривая их как выражение народного героизма и любви к родине. Они рисовали как изменников и предателей Вука Бранковича и Ерину Бранкович, т. е. сохраняли эпическую их трактовку. Образы эпических героев мы находим и у поэтов XX в. В пример можно привести замечательные стихотворения Алексы Шантича «Момчило», «Марко», «Гойковица», созданные на основе юнацких песен, стихотворение М. Боича «Вера», где нарисована могучая фигура Марка, от руки которого «падают полчища врагов».

Следует отметить, что сербские писатели, обращаясь к эпическому герою, воссоздали в своих произведениях не только образ юнака-богатыря, героя старых песен, но и образ гайдука, героя песен о широкой народной борьбе против турецкого порабощения.

Одним из первых к образу гайдука обратился Сима Милутинович в поэме «Троебратство» (1844) в песне «Смерть гайдука Велько», в которой автор ставит своего героя выше Самсона и Геркулеса, так как он погиб, защищая родину. Образы гайдуков рисуют Бранко Радичевич в стихотворении «Гайдук» (1843) и

поэмах «Могила гайдука» (1849) и «Стоян» (1849), Джуро Якшич («Невеста Пивлянина Бая»), Змай («Три гайдука») и т. д.

Реалистическая литература представила образ гайдука, а кстати сказать и ускока, более жизненно, без романтизации, например, в романе Янко Веселиновича «Гайдук Станко» и в романе Симы Матавуля «Ускок». Вообще же писатели-реалисты менее обращались к гайдуцким песням, а изучали реальную жизнь.

В романе Янко Веселиновича «Гайдук Станко» (1897) изображено сербское восстание начала XIX в., но истории в нем мало. В основе произведения вымышленный сюжет о деревенском парне Станко, который из-за преследования его сельскими властями и турками ушел в гайдуки, отомстил своим врагам и затем погиб во время восстания. Из гайдуцких песен автор почти не брал материала.

В романе Симы Матавуля «Ускок» (1892) изображена борьба смелого черногорца Янка с турками и гибель его на поединке. В этом романе больше отзвуков эпоса: в романтической цепи событий, в драматической напряженности, в мотивах побратимства, плена и бегства героя из темницы, поединков с турками, в гиперболичности.

В прозе, однако, эпос уже почти не находил отражений: у реалистов потому, что они ориентировались на жизнь, у модернистов потому, что они почти не писали прозы и были далеки от фольклора.

Незначительное отражение он нашел и в поэме. Жанр поэмы почти исчезает в XX в. из сербской литературы и, кроме того, претерпевает значительные изменения; его основой перестает быть эпическая песня.

Наиболее широкое идейно-художественное воздействие эпос теперь оказывает на лирику и драму, но все-таки гораздо меньшее, нежели в середине XIX в.

Мы уже назвали основной круг поэтов, в той или иной степени и форме использовавших эпические мотивы и образы. Распространение модернизма, культивировавшего субъективную лирику, не давало основы для ее связей с эпосом.

Следует отметить, что в песнях и поэмах эпический десяти-сложный стих почти уже не употребляется. Он заменяется обычной силлабо-тонической системой стихосложения с особенностями, определяющимися своеобразием сербского ударения. В драме десетерац тоже почти выходит из употребления.

В области драмы в XX в. эпические сюжеты и образы используются значительно реже, хотя именно в драме были созданы в это время наиболее значительные в идейном и художественном отношении произведения, связанные с эпосом.

В использовании песенного материала в драме в XX в. намечались новые особенности. В XIX в. историко-легендарная патриотическая драма в основном не отходила от той трактовки событий и героев, какая свойственна эпосу. Это, так сказать, старый

тип исторической драмы. Последние его образцы мы видим в незаконченной стихотворной трагедии Воислава Илича «Радослав» и в драме Бранислава Нушича «Князь Иво из Семберии» (1900). Эта последняя основана на песне знаменитого певца Филиша Вишница, записанной Караджичем. Нушич сохраняет сюжетную последовательность песни и характеристики героев. В драме, как и в песне, князь сербской области Семберии Иво и его крестьяне отдают все свое состояние, чтобы выкупить пленников. И в другой своей пьесе — «Наход» — Нушич использует песенный сюжет, продолжая традицию старой драмы.

Но в XX в. создается и новая по типу драма. Большое влияние на нее оказала пьеса известного хорватского драматурга Иво Войновича «Смерть матери Юговичей» (1906), отличающаяся исключительной трагической напряженностью, величественностью образа матери, скорбящей об утраченной родине и свободе, значительной долей символизма, формой мистерии.

Среди довольно большого числа пьес, написанных на эпические сюжеты, аллегорических, механически переносящих песенные ситуации на сцену, таких, как пьесы Драгутина Илича «Вукашин» и «Женитьба Милоша Обилича», Доброслава Ружича «Стефан Дечанский» (1902), Милоша Перовича «Кара Георгий», Д. Миленковича «Кара Георгий» (1904), С. Мартиновича «Невеста Лютицы Богдана» (1904), И. Живоиновича «Юговичи» (1905), выделяются пьесы Милутина Боича «Королевская осень» (1913) и «Женитьба Уроша» (1914). Они написаны в форме западноевропейской драмы, в них обстоятельно разработана психологическая сторона, автор отходит от исторической верности, свободно трактуя смысл событий. Боич пользуется не эпическим десятистишием, а александрийским стихом. В первой пьесе изображено время короля Милутина, во второй время Душана Сильного и его слабовольного сына Уроша. Новые по своему типу драмы Боича соединяют в себе черты мистерии и психологической драмы модернизма и весьма похожи на пьесы Стриндберга («Эрик XIV»).

Алекса Шантич в основу драмы «Хасанагиница» (1911) положил известную народную песню¹¹, которой увлекались Гете, Пушкин и Мицкевич, автор разработал ее сюжет и образы в новой манере. Он еще более усилил трагическую ситуацию, развил психологическую сторону. В отличие от песни Шантич ставит в центр произведения не жену Хасан-аги, а его самого. Действие происходит уже после того, как Хасанагиница ушла от мужа, оскорбленная его речами, в основе которых лежало его подозрение, рожденное тем, что жена не пришла к израненному в бою мужу. Мейрима, мать Хасан-аги, и его сестра Эмина просят его простить жену, но он непоколебим и лишает ее права быть с детьми

¹¹ Она стала известна еще в XVIII в. из книги итальянского аббата Фортиса «Путешествие в Далмацию» (1774).

и приходиться к ним. Глубоко драматична сцена прощания Хасанагиницы с детьми: она умирает, целуя детей, но не хочет простить мужа, оскорбившего ее подозрением, хотя и любит его.

Из песен Шантич взял сюжетную канву и характеры героев. Но он внес в них много нового: детализировал развитие сюжета, более обстоятельно обрисовал образы Хасан-аги и его жены, усилил роль ее брата Пинторовича в отношениях между супругами, ввел образы матери и сестры Хасан-аги. Пьеса Шантича написана стихами, но стих ее особый, выработанный самим поэтом, а не песенный. На произведении лежит известный отпечаток модернизма, но не в такой степени, как на пьесах Войновича и Боича.

Сюжет песни о Хасанагинице в XX в. пользовался большой популярностью, очевидно в связи с популярностью жанра психологической драмы. В 1908 г. Д. Тодорович в журнале «Бранково Коло» напечатал пьесу «Хасанагиница», хорватский поэт М. Огризович в 1909 г. опубликовал пьесу того же названия. Но пьеса Шантича обладает по сравнению с ними большими художественными достоинствами.

Таким образом, в сербской литературе конца XIX—начала XX в., во-первых, уменьшились связи с эпосом; с одной стороны, литература преодолела механическое использование эпоса, а с другой, модернисты с эстетским пренебрежением относились к народному творчеству; во-вторых, использование эпоса почти исчезает из поэмы и прозы, а остается в патриотической лирике и драме; в-третьих, использование эпоса нередко приобретает националистический оттенок; в-четвертых, модернизм накладывает на использование эпоса отпечаток психологизма и символизма, а порою и ложной стилизации. Но все это не уменьшило идейно-художественного значения эпоса для литературы. На его основе еще создаются ценные произведения, как косовский цикл Милутина Боича и «Хасанагиница» Алексы Шантича.

* * *

*

Краткий исторический обзор взаимодействия сербской литературы и сербского эпоса убеждает, что роль народного эпического творчества в развитии литературы была широкой и постоянной; были периоды особенно большого его значения для литературы (романтизм). Эпос много дал и для отдельных писателей и для целых литературных направлений; он использовался не только в таком близком к народной эпической песне жанре, как поэма, но и в лирике, и в прозе, и в драме.

Следует помнить, что использование эпоса в художественной литературе Сербии имело и положительные и отрицательные стороны.

Положительное значение эпоса для литературы основывалось прежде всего на ярком выражении в нем национально-патриотических идей, что характерно и для передовой сербской литературы, питательной почвой которой было широкое национально-освободительное движение.

Сербский эпос, несомненно, помогал формированию и развитию национальной литературы, решению многих идейных проблем, выработке художественных форм и средств.

Прежде всего, народный эпос способствовал углублению идейности литературы. Если сравнить произведения сербской литературы, не испытавших воздействия эпоса, с произведениями, испытавшими это воздействие, то станет очевидным, что первая значительно мельче в своем содержании, нежели вторая. Передовые писатели Сербии раскрыли народный, патриотический, героический, идейно-политический смысл эпоса, показали его роль в жизни и национально-освободительной борьбе народа. Эпос содействовал разработке тем освободительной борьбы и героизма и развитию патриотического духа литературы. Именно эту сторону идейного содержания эпоса учли лучшие писатели Сербии, связавшие себя с передовыми течениями общественной мысли; они утвердили положительную форму использования народного творчества.

Творчество передовых поэтов связано с народным эпосом, таково творчество Негоша, Радичевича, Якшича, Змая Йовановича. Это писатели, стоявшие на позициях общественного служения искусства и решительно боровшиеся против теории искусства для искусства; их обращение к эпосу было знаком близости к народу. Напротив, писатели-представители «чистого искусства» почти без исключений весьма далеки от народного эпоса, — таковы Владимир Йованович, близкий французским парнасцам, Милета Якшич, поэт, занимавший объективистские позиции, пассивный наблюдатель природы, Йован Дучич, глава школы «чистого искусства» в XX в.

Сербская литература черпала из сербского эпоса материал большого идейного звучания: образы героев-патриотов, защитников сербского народа, сюжеты народно-освободительной борьбы. Да и не только эти, явно идейные моменты эпоса, но и такие его стороны, как эмоционально-напряженный, величественный стиль и стих, также в известной мере содействовал развитию идейно-эмоциональной силы сербской поэзии: этот стиль и стих противостояли расслабленной, бесстрастной поэзии декадентов. Прогрессивная литература взяла из эпоса самое значительное в социальном, идейном смысле: те сюжеты и образы, какие позволяли ставить проблемы общенародного значения, вопросы национально-освободительной борьбы, воспитывать у соотечественников патриотизм и национальную гордость.

Цели, с которыми сербские писатели обращались к эпосу,

были различными, что определялось конкретно-историческими особенностями эпохи и идейной сущностью творчества писателей. Одни искали в эпосе проявления политической силы народа и народных чувств, другие пытались опереться на него в утверждении своих идейных воззрений, третьи хотели найти в нем художественные средства, которые помогли бы выработать демократическую художественную форму.

Идейное содержание эпоса и его идейная сущность оказывали влияние на литературу в оценке и освещении исторических и легендарных событий и героев, в развитии патриотических и героических мотивов, в том, что эпический образ юнака, богатыря, широко вошел в литературу.

Разработка сюжетов и образов героических юнацких песен приводила к тому, что литература выходила из круга узких личных тем, поднимала проблемы, имеющие значение для широких народных масс, трактовала явления жизни с народной точки зрения, выражала народное понимание событий и народную оценку героев. Это совершенно ясно видно в поэме Негоша «Горный венец», где поэт и сам смотрит на события с народных позиций и дает возможность представителям народной массы высказать свои суждения о необходимости борьбы с изменниками. Народность литературы под влиянием эпоса проявлялась в том, что писатели обращались к изображению жизни и борьбы народа сначала в историческом плане, а затем и современном, поднимаясь до раскрытия исторической роли народных масс, как в том же «Горном венце». Сербский эпос имел значение для выработки многих ценных качеств сербской литературы и прежде всего таких ценнейших ее качеств как народность и национальное своеобразие.

Однако в некоторые периоды развития сербской литературы, особенно в творчестве отдельных писателей, влияние эпоса задерживало движение литературы вперед, ее идейный и художественный рост. Этнографизм, искусственная стилизация, механическое использование эпических сюжетов и образов не могли принести пользы литературе. Чрезмерное увлечение переработкой эпических сюжетов и осмыслением эпических образов мешало обращению литературы к живой современной действительности, расширению круга новых тем, задерживало разработку современных сюжетов и создание образа современного героя. Таково, например, было в XIX в. положение в сербской драматургии.

Увлечение эпосом, вырастая на почве идеализации прошлого, приукрашивания патриархального быта и феодализма, в свою очередь способствовало их укреплению.

Излишнее увлечение эпосом замедляло развитие в литературе и новой художественной формы, а, стало быть, мешало воплощению и того нового жизненного содержания, которое врывалось в литературу под давлением действительности. Даже тогда, когда писатель открывал доступ в свое творчество новым явлениям

жизни и новым типам, он нередко бывал бессилён воплотить в новой художественной форме и выражал их в традиционных народно-поэтических форме и стиле, а в силу этого не был в состоянии раскрыть социальный характер и смысл новых жизненных явлений. Новое содержание литературы, будучи выражено в старых, явно не соответствовавших ему формах, многое теряло старая форма сужала новое содержание, лишала его идейно-эмоциональной остроты, мешала творческим исканиям.

Отрицательным моментом влияния эпоса на литературу было и то, что оно нередко приводило, при внешнем использовании эпической манеры, к ложной народности, стилизации и декоративности, когда форма скрывала незначительное содержание, не позволяла дать глубокий анализ действительности и характеров.

Это можно видеть, во-первых, у ранних поэтов, которые еще не поняли во всей глубине идейное содержание народного эпоса (Сима Милутинович, Йован Суботич); во-вторых, у поэтов школы чистого искусства (Воислав Илич); в-третьих, у поэтов, использовавших эпос не творчески, а механически, подражавших эпосу, перепевая его мотивы (Йоксим Нович-Оточанин).

Рассмотрение вопроса об отношении сербской литературы к эпосу позволяет выяснить одну из важных особенностей ее жизни и характера, увидеть конкретно-исторические условия, в которых жила и развивалась литература, выяснить общее теоретическое значение вопроса об отношении литературы к эпосу. Эпос и ныне ценен, однако не в поэтических обработках и каком-либо примитивном использовании, а как важнейший элемент народного творчества и народной культуры, а также своими художественными средствами, которые в некоторой степени еще могут послужить литературе для усиления идейной стороны ее произведений и национальной специфики их художественной формы.

LE RÔLE DES CHANSONS ÉPIQUES POPULAIRES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA LITTÉRATURE SERBE;

Résumé

Les rapports entre la littérature serbe et la poésie populaire au Moyen Âge étaient étroit. Les vieilles chroniques et biographies des personnalités ecclésiastiques illustres prennent très rarement les motifs des chansons épiques. Les Serbes avaient une littérature de caractère religieux chrétien, une culture monastique, qui s'attachaient à la culture du peuple et à la poésie populaire. Néanmoins les chroniques et les biographies ont des éléments épiques: des expressions, des épithètes, des phrases rythmiques.

Pour la première fois les contacts constants entre la littérature savante et la littérature populaire apparaissent en Dubrovnik et en Dalmatie au XV—XVII siècles. Les poètes ont transcrit quelques chansons populaires. Les écrivains empruntaient les sujets, le style et le mètre des chants épiques. Les chants étaient inspirés par l'héroïsme patriotique.

L'idée d'indépendance nationale caractéristique aux chansons épiques était commune à la plupart des écrivains du XVIII siècle. Mais leurs poèmes, de style sublime, avaient un caractère didactique et allégorique.

A partir de la renaissance nationale la littérature serbe se développe sous l'influence des chants épiques. Cette influence avait lieu non seulement dans les oeuvres des écrivains isolés mais dans les courants et les écoles littéraires entières, ce qui était déterminé par le mouvement de libération nationale du peuple serbe.

L'intérêt pour la poésie populaire est un produit du romantisme. Les poètes romantiques s'étaient enthousiasmés pour les chants épiques, qui servaient de base à une nouvelle langue littéraire. A cette époque la langue populaire fait son apparition dans la littérature serbe.

Les poètes progressistes (Njegoš, Radičević, Jakšić, Zmaj Jovanović) utilisaient des chants épiques pour l'incarnation artistique des idées patriotiques et pour le renforcement de l'originalité nationale des leurs oeuvres.

Les poètes conservateurs profitaient des chants épiques pour idéaliser le Moyen Âge (Šapčanin, Kačanski, Maletić etc.).

L'utilisation des chants épiques contribuait à la création des oeuvres littéraires importantes. La littérature serbe cultivait des genres spéciaux: le drame et le poème historique et patriotique. Chaque écrivain de talent découvrait dans les chants épiques les idées inspiratrices, les formes et les formules expressives. Les sujets préférés étaient la bataille de Kosovo et les exploits de Marko Kraljević.

Les écrivains réalistes utilisaient les chants épiques pour l'extension de la satire sociale et politique, pour tourner en dérision la monarchie et la bourgeoisie.

Vers la fin du XIXe siècle les premiers poètes serbes recouraient plus rarement à la poésie populaire. Au XXe siècle un nationalisme bourgeois s'est fait sentir dans la littérature serbe (les poètes de Kosovska Omladina). C'était le résultat de réaction politique et de décadence littéraire.

Mais les écrivains progressistes gardaient toujours le caractère nationale de la littérature serbe et les idées progressives.

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь 1963)

Э. В. Померанцева

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ НАЧАЛЕ В НАРОДНЫХ СКАЗКАХ

(на материале сюжета «Неверная жена»¹)

Вопрос о национальной специфике фольклора — один из наиболее сложных и вместе с тем существенных при изучении народного творчества, его идейного содержания и художественных особенностей, его генезиса, исторических судеб и роли в быту того или другого народа. Особую трудность представляет определение национальной специфики народной сказки, самого «международного» вида устно-поэтического творчества.

Каждый народ имеет свой, неповторимый и своеобразный сказочный эпос, вместе с тем в сказках разных времен, стран и народов (причем часто народов очень далеких в этническом и географическом отношении) мы легко обнаруживаем общие темы, сюжеты, образы, даже сходные художественные приемы и близкие принципы композиции, а главное единое идейное содержание, единые основные тенденции. Национальные особенности сказочного репертуара того или иного народа сказываются в его сюжетном составе, в соотношении в нем международных тем, сюжетов и образов с темами, сюжетами и образами, известными только данному народу; в конкретном содержании сказок, в характере их бытования, в их форме и т. д. Все эти разнообразные компоненты национального своеобразия народных сказок изменяются во времени так же, как изменяются и остальные их качества.

Национальное своеобразие сказок любого народа может быть определено лишь путем анализа всего его сказочного репертуара в сравнении со сказками других народов. Вместе с тем черты на-

¹ См. А.-Т., № 1380 по классификации Антти Аарне (The types of the folk-tale. A classification and bibliography. Antti Aarne's «Verzeichnis der Märchentypen». Translated and enlarged by Stith Thompson. Helsinki, 1928).

ционального своеобразия, часто трудно уловимые, наличествуют и в каждом отдельном варианте сказки, даже и в тех случаях, когда он является обработкой так называемого «бродячего сюжета». Складывающееся из ряда исторически развивающихся элементов национальное своеобразие каждой сказки познается путем сравнения ее со сказками других народов. Метод этот не нов. В свое время он получил широкое признание, дал много блестящих исследований, а затем скомпрометировал себя, будучи односторонне и формалистично применен в трудах миграционистов, в частности в работах «финской» школы. В последние годы в западноевропейской и американской фольклористике появился ряд монографий, посвященных отдельным сказочным сюжетам. Авторы этих работ пытаются найти новые пути для сравнительного сказковедения. Однако недостатком большинства этих исследований является формалистическое оперирование сюжетными схемами вне учета живой художественной ткани каждого повествования, недостаточное внимание к его идейному содержанию, забвение жизненного начала, лежащего в основе устного народного творчества.

В свое время А. Н. Веселовским были очень точно намечены пути изучения сказки в сравнительном плане. «Возьмите сказку в ее целостности, — писал он, — изучите в ней сплав разнообразных мотивов, рассмотрите ее в связи со сказками того же народа, определите особенности ее физиологического строя, ее народную индивидуальность, и затем переходите к сравнению со сказкой и сказками других народов»².

В докладе «Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса» на IV международном съезде славистов в 1958 г. В. М. Жирмунский снова выдвинул плодотворную идею историко-типологического сравнения, объясняющего сходство генетически между собой не связанных явлений сходными условиями общественного развития.

Типологическая закономерность в развитии фольклорной традиции того или другого народа определяет не только возникновение сходных сюжетов у разных народов, но и органическое освоение сюжетов, заимствованных одним народом у другого.

Попытаемся вскрыть типологическую общность процесса возникновения и развития одного и того же сюжета у разных народов, в разных странах, в разное время. В качестве примера возьмем русскую сказку о Николе Душленском «во всей ее целостности», рассмотрим ее национальные черты и сравним ее с аналогичными сказками других народов.

Сказка эта значится по «Указателю» Аарне-Андреева под № 1380 и сюжет ее изложен там следующим образом: «Неверная жена спрашивает у дерева, как избавиться от мужа; муж из дула

² А. Н. Веселовский. Сравнительная мифология и ее метод (1873). Собр. соч., т. XVI. М.—Л., 1938, стр. 92.

отвечает ей; она дает мужу масляных блинов и т. п., он притворяется ослепшим, а затем убивает ее любовника»³.

И. Больте и Ю. Поливка в своем известном труде⁴ в комментарии к сказке «*Das Mäken von Brakel*» дают обзор составляющих как бы единый цикл рассказов о том, как кто-то, подменяя бога, святого или духа, спрятавшись за его изображением, подает совет молящемуся. В сказке Гримма девушка просит мужа у святой Анны. Ей отвечает спрятавшийся в алтаре служка. Больте и Поливка приводят многочисленные, более или менее близкие немецкие варианты этой сказки, а также английские, французские, итальянские, испанские, сербские и финские. С этой сказкой исследователи связывают и многочисленные шванки (немецкие, английские, французские, португальские) о том, как спрятавшийся за изображением святого служка, подмастерье, ученик, студент упрекают молящегося в скупости или обжорстве и пьянстве. Сюда же относятся ими и шванки об одуряченном молящемся, который получает негодный ему и часто издевательский ответ от «божества». Нельзя не согласиться с исследователями, что все эти шванки опираются на наличие веры в могущество святого, присущее и его деревянному или каменному изваянию или живописному изображению⁵. К этому же циклу Вольте и Поливка относят и интересующий нас сюжет А.—Т. № 1380, т. е. рассказы о неверной жене, которая думает ослепить своего мужа лакомыми блюдами. Они указывают его индийское происхождение и широкую популярность в Европе, начиная с XVI в.

Больте и Поливка указывают индийские, гагаузские, башкирские, нидерландские, итальянские, румынские, сербские, болгарские, чешские, польские, украинские, белорусские, русские и латышские варианты этого сюжета. Как наиболее ранний европейский вариант ими указывается стихотворная итальянская новелла начала IV в., сочиненная Симоном Прунденцани из Орвьето⁶.

Я не ставлю перед собой в данном случае задачу проследить пути распространения этого сюжета. Меня интересует историческая эволюция сюжета, связи его с фольклорной традицией того или другого народа, закономерность его наличия в разные эпохи в репертуаре далеких друг от друга народов.

Н. П. Андреев в 1929 г. указывает восемь русских вариантов сюжета «Никола Дупленский». В настоящее время опубликовано свыше двадцати русских вариантов этой сказки; широко представлена она и в рукописных собраниях, причем особенно много

³ Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929, стр. 84.

⁴ Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Neu bearbeitet von Johannes Bolte und Georg Polivka, Bd. 3. Leipzig, 1918, S. 120.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

записей ее сделано экспедициями советского времени. Сказки эти разнообразны в деталях. Однако основная сюжетная линия в них вырисовывается достаточно четко; едино и их идейное содержание.

В русской сказке на этот сюжет, как правило, осуждение неверной жены неразрывно связано с осмеянием ее ханжества и суеверности. В зависимости от трактовки сюжета сказочником в центре его внимания то семейная проблема, то социальная, то религиозная. Последнее характерно для большинства русских вариантов, они выходят за пределы цикла рассказов о неверных женах и приобретают остро сатирическое звучание, поскольку на первый план выдвигаются антирелигиозные тенденции.

Сказка о муже, который, спрятавшись за иконой, в дупле, на дереве, выдает себя за бога или святого и таким образом выводит на чистую воду свою неверную жену, связана на русской почве с представлениями о «чудотворных иконах», с верой, что икона может быть «нерукотворной», может по своей воле переменить место, ронять слезы, источать кровь, произносить слова. Только при наличии этих верований имело смысл их осмеяние.

Нет возможности точно установить время появления этого сюжета в русском фольклоре, однако не случайно особенно широкое распространение этой сказки, как и антирелигиозного фольклора в целом, в России именно в XIX—XX вв. То, что она особенно часто встречается в записях советского времени, объясняется, очевидно, не только затрудненностью записи антирелигиозных сюжетов в царской России, но и в большей мере тем, что в наше время почти окончательно исчезло почитание икон и комизм основной ситуации сказки очевиден как самому сказочнику, так и его аудитории.

Русские сказки типа «Николы Дупленского» генетически связаны с бесчисленными и широко распространенными на Руси в течение нескольких веков рассказами о чудотворных иконах. «Едва ли не каждый образ, — писал исследователь повести XVII в. о чудотворном образе богородицы, находившемся в Выдропуске, — не только чтимый целым народом, но и какой-нибудь отдельной областью, имеет свое сказание, которое усердно переписывалось благочестивыми предками и служило любимым предметом чтения»⁷. Сказания эти, передаваясь из уст в уста, жили также и в фольклорном репертуаре близкой к монастырям и церквам среды, разносилась «по весям и градам бродячей Русью Христа-ради». Все эти кормившиеся Христовым именем прошаки, побирушки, нищebroды, калики-перехожие, слепцы, богомолы бродили от монастыря к монастырю, были неперенными посетителями сел и городов в храмовые и престольные праздники и несли с собой устную религиозную поэзию: духовные стихи, легенды, житийные

⁷ Н. Л. Повесть о чудотворном образе богородицы, находившемся в Выдропуске. «Летописи русской литературы и древностей», изд. Н. Тихонравовым, т. IV, М., 1862, стр. 19.

повести, церковные предания. «Вот и пойдут теперь летней порой «Богородицы» по всем городам, деревням и селам», — читаем мы дальше в книге С. В. Максимова «Бродячая Русь Христа-ради». — Разным «Царицам Небесным» начнутся праздники и молебствия, особенно по честным монастырям: Владимирской Матушке два раза в лето, Тихвинской, Смоленской, Троеручице и разным многим. Разного народу начнет много собираться в одно место»⁸.

Можно привести множество местных преданий и легенд о новоявленных иконах, появившихся в том или другом городе, селе, поместье, о том, как изображение богородицы или святого чудесным якобы образом обнаружило свою волю остаться именно в данном месте, где и был затем заложен монастырь или храм. Немало известно устных и письменных рассказов о чудесах, совершенных якобы этими иконами: об исцелении больных и бесноватых, о спасении городов, о чудесном проявлении своей воли или отношения к совершающимся событиям. Так, в книге Дмитрия Ростовского «Руно орошенное» рассказывается как плакал образ «пресвятой и преблагословенной девицы Марии» и как «на сие чудо все люди города Чернигова с многим ужасом смотрели»⁹. Аналогичный этому сказанию XVII в. рассказ мы находим и в сборнике конца XIX в. «Сказания о чудотворных иконах божьей матери», о том, как в Новгороде плакала икона: «Слезы падали из очей богородицы»¹⁰. Там же мы находим рассказ, как Иверская икона богородицы самовольно переместилась на другое место, как она источала кровь из раны, нанесенной ей неким Варваром, и пр.¹¹

Среди этих канонических и неканонических рассказов немало легенд о том, как иконы обращались к молящимся с речью. В январских Четых-Минейх мы читаем, как преподобному Ирину Ростовскому от владычного образа было извещение: «Иди в келью свою, будь затворником и не исходи, так и спасешься»¹². Молящейся десятилетней девочке Матрене якобы «послышался глас от Казанской иконы божьей матери», а новгородский архинастырь Иоанн будто бы слышал, молясь перед образом Спаса, голос, «исшедший из образа»¹³.

Рассказы эти по характеру своего бытования имеют много общего с фольклорной традицией. «Нет сомнения, — пишет уже упоминавшийся выше исследователь, — что главное содержание каждого из них еще задолго до получения окончательной лите-

⁸ С. Максимов. Бродячая Русь Христа-ради. СПб., 1877, стр. 199.

⁹ Дмитрий Ростовский. Руно орошенное. Чернигов, 1691, стр. 1.

¹⁰ И. Сперанский. Сказания о чудотворных иконах божьей матери, более известных и особенно чтимых в среде православного русского народа. М., 1894, стр. 59.

¹¹ Там же, стр. 84.

¹² Жития святых на русском языке. Изложены по руководству Четых-Миней св. Дмитрия Ростовского. М., 1904, кн. V, стр. 406.

¹³ И. Сперанский. Указ. соч., стр. 47, 57.

ратурной обработки постоянно обращалось в народе, постоянно пересказывалось, а вместе с тем неизбежно дополнялось и распространялось»¹⁴. Несомненно фольклорного характера легенда об образе богородицы, опубликованная Н. С. Тихонравовым по рукописи XVII в. графа А. С. Уварова, № 555. Легенда эта повествует о том, как в Ново-Торжском уезде во время польского нашествия некий лях пришел в церковь с пленницей, снял с престола образ богородицы и «богомерзкое проклятое, бесстыдное дело... содеял». Все это видит пресвитер, в страхе спрятавшийся в алтаре; он «сядя под святою трапезою, умильно слезы испусти, плачяся, глаголя: «О пресвятая дево-богородице! почто еси попустила сему окаянному псу святую свою церковь осквернити и толикое бесстыдство на образе твоём содеяти? Како его о, госпоже, не погубиши?» Тогда глас бысть от образа: «О, пресвитере! сей бесстыдный пес за своя деяния зле погибнет; тебе же глаголю, яко не толико ми содея бесстыдства сей иноязычник, яко же ты, понеже с бесстрашием приходиши в церковь мою и без боязни приступивши ко святому жертвеннику в вечеру упиваешися до пьяна, а з утра служиши святую литургию и, стоя перед сим моим образом, отрыгаеши оный гнусный пьянственный свой дух, и лице мое сим зело омерзил, паче сего поганина: он бо неведением сотвори и за сие погибнет; ты же ведая согрешаеши. Глаголю ти: престани отселе такова дела». И тако глас той преста»¹⁵.

Текст этот может служить примером притчи, в которой, поданный в несколько юмористическом плане образ пресвитера, так же как полная реалистических деталей речь богородицы, находится целиком в русле устной традиции.

Какая-то часть церковной повествовательной литературы несомненно фольклоризировалась, причем не только начинала жить в устной передаче, но и приобретала новые черты как в форме, так и в содержании. Новое качество приводило к трансформации жанра: благочестивое предание, легенда, притча становились сказкой.

Любопытна в этом отношении сказка, опубликованная во втором томе сборника сказок А. М. Смирнова¹⁶. Еврей на ярмарке последовательно покупает за сто рублей три иконы (Георгия Победоносца, Николая Чудотворца и Богородицы), каждый раз осведомляясь о функции святого, изображение которого он приобретает. Затем он поручает иконам стеречь на ярмарке свой воз. Вор, следивший за ним, уносит все его добро. В ответ на упреки еврея иконы оправдываются тем, что были в отлучке, спасая его дом от пожара, сына от утопления и от разбойников. Их слова подтверждаются. Потрясенный этим еврей со всем своим семейством принимает христианство.

¹⁴ Н. Тихонравов. Летописи русской литературы и древностей, т. IV, стр. 21.

¹⁵ Там же, т. II, кн. IV, стр. 99—100.

¹⁶ А. М. Смирнов. Великорусские сказки, т. II, Пг., 1917, № 216.

Сказка эта, особенно в конечном эпизоде, утверждающем силу воздействия христианской религии на иноверца, носит характер религиозной бывальщины. Вместе с тем какой-то ухарский ее тон в описании покупок евреем икон («Что этот молодец с конем стóбит?» или «Что стóбит старушка?»), его намерения наказать иконы, допроса, который он учиняет святым («Георгий, ты где был, что не караулил деньги, эти хоть старые, а ты где был на коне?»), выводит этот рассказ за пределы церковной легенды и заставляет отнести его к разряду народных сказок, в которых проявляется не благочестивое, а очень легкое, можно сказать святотатственное, отношение к иконам. Отсюда уже один шаг до легенды о святом Касьяне, память которого, якобы в наказание за его щегольство и бездушное отношение к мужику, отмечается 29 февраля, т. е. только один раз в четыре года, или о богородице и сорока мучениках, которые не сумели помочь мужику вытащить из грязи застрявший воз.

От этих легенд, высмеивающих святых, уже недалеко и до распространенных сатирических сказок о том, как святые сметану ели, как поп выпускал в церкви «святого духа», как неверная жена выдает за икону или статую застигнутого мужем любовника, до многочисленных сказок о «говорящей» иконе. Так, в одном из севернорусских вариантов подобной сказки рассказывается, как скуная старуха каждый день молится богу. Спрятавшийся за иконой работник пугает ее: «Не помилую, зачем худо казака кормишь»¹⁷. К этой многочисленной группе сказок относится и наша сказка о Николе Душленском.

Сказки о Николе Душленском распространены у нас повсеместно. Они известны в записях, сделанных в северных и центральных областях РСФСР, в Сибири, на Урале, в русских селах Прибалтики и т. д. Одним из лучших вариантов является сказка «Никола Душленской», записанная от колхозного конюха Горьковской области И. Ф. Ковалева в 1930-х годах¹⁸. По композиционной стройности, по выпуклости образов, продуманности всех деталей этот рассказанный с тонким юмором вариант наиболее ярко представляет именно русскую национальную версию интересующего нас сюжета.

Содержание сказки Ковалева следующее: в одной деревне жили муж и жена. Муж—охотник целыми днями пропадает в лесу. Жена постоянно твердит ему о своей любви и верности, о том, что якобы и утром, и в полдень, и вечером молится за него богу. На самом деле у нее есть любовник. Узнав об этом, муж посылает ее за порохом к соседям, сам же прячется за иконами. «Икон-то много было, — замечает сказочник, — очень большие, а на тябле-то (иконостасе. — Э. П.) была занавеска». Думая, что она

¹⁷ Н. Е. О н ч у к о в. Северные сказки. СПб., 1908, стр. 545, № 263.

¹⁸ Сказки И. Ф. Ковалева. «Летописи». Государственный литературный музей, кн. II, М., 1941, стр. 207—210, № 38.

одна, жена молится богу и «Николе-батюшке», чтобы они уморили ее мужа. Спрятанный за иконами муж измененным голосом приказывает ей идти в сосновый бор, на перекресток трех дорог, где стоит дерево с громадным дуплом. «А на этом дупле явилась явленная икона, которая тебе произнесет словесами человеческими. Только проси того новоявленного Миколая-Чудотворца». Услышав это, жена больше не стала молиться, стала топить печь, готовить обед. Когда она вышла к скотине, муж вылез из-за икон и ушел на охоту. На следующий день муж прячется в дупло толстой сосны, за облезшей от дождя иконой Николая-Чудотворца, и видит, что жена «подобрала свой сарафан и бежит, как вихрем ее несет, как будто ногами до земли не дотыкается». В ответ на ее молитву новоявленный святой советует ей растворить гречневых блинов, намазать как можно маслянее скоромным маслом, чтобы они плавали в нем и «честить» своего мужа, чтобы он ел. От этого он ослепнет, оглохнет, а затем и умрет. Вечером жена уговаривает мужа отдохнуть от работы, а сама просеивает муку и растворяет блины на завтрашний день. «Он ешно спит, а у ее уже сковорода трещит». Поев блинов, которые жена намастит так, «что из тарелки уже бежит масло по столу», муж «слепнет» и «глохнет». «Милая ты моя, — говорит он, — ничего я не вижу и совершенно плохо слышу. Какà на меня тоска. Уведи хоть меня на печку, я сяду на лежаночку». Жена на радостях бежит за своим дружкой. Тот приходит, на нем новые сапоги на каблуках с медными подковками. Хозяйка поит его водкой, угощает блинами, однако не масляными, «чуть-чуть ему потрогала крылышком». Дружок наелся, напился, стал ходить по избе, подковками постукивать. Муж на лежанке жалуется на смертную тоску и просит: «С горя хоть ружье попестую». Жена с досадой сует ему ружье. Взяв ружье, «слепой» спрашивает, что это будто по избе ходит, постукивает? — «Да это корова отелилась, так бычок бегаёт по полу-то, без тебя веревочки свить-то некому». Муж стреляет. «Теленочек только каблуки-копыточки кверху взвернул». Муж «учит» жену нагайкой. «И после этой катастрофы стали жить в согласии, жить да поживать да добра наживать».

Вариант, рассказанный И. Ф. Ковалевым в обычной для него обстоятельной манере, отличается детальной разработкой как психологических, так и бытовых моментов. Сказка эта — одна из лучших в репертуаре Ковалева. Рассказывает он ее охотно, часто и каждый раз с видимым удовольствием. Подробно рисует сказочник притворство неверной жены, ее радостное оживление, когда, окрыленная надеждой, она бежит к новоявленной иконе, самодовольного счастливого любовника, актерское мастерство мужа, убедительно играющего роль слепого и глухого или говорящего «высоким штилем» за Николу. Традиционная сказочная схема в интерпретации Ковалева обрастает множеством бытовых подробностей, придающих ей ярко выраженный локальный

характер. Тут и описание обстановки крестьянского жилища, утвари, костюма, пищи, описание природы, труда (охоты и домашнего хозяйства) и т. п. Так как в этом прекрасном варианте интересующего нас сюжета особенно ярко выражены национальные черты, он взят нами как образец русской версии этого сюжета.

В большинстве русских вариантов муж выдает себя именно за Николу Дупленского¹⁹; лишь в записи М. Едемского читаем: «дуплёна богородица»; в слабом варианте, записанном В. Боровиком и С. Мирером, — «Дупленская божия мать», а в одной вологодской сказке записи советского времени — Егорий. В немногих, преимущественно слабых, вариантах, вместо Николы назван безымянный угодник или же исповедник.

Наличие в сказке именно Николы, наиболее популярного у русского крестьянства святого, не должно нас удивлять. О нем вообще в устном народном творчестве существует много легенд и сказок; он фигурирует и в былине о Садко, нередко упоминается в обрядовых песнях, встречается и в бурлацкой «Дубинушке»; о нем сложено много пословиц «Угоднику большое уважение на Руси, — пишет С. В. Максимов, — за то, что расселялась Русь по рекам, по озерам много плавала, подвергалась многим опасностям от воды»²⁰. Он же сообщает, что на Западной Двине 109 церквей в честь святого Николая. «От Холмогор до Колы тридцать три Николы», — говорится в русской пословице.

Эпитет «Дупленский» твердо держится в русском репертуаре, превращаясь лишь в тексте, записанном в Эстонии, в «Дублинского», а в тамбовской сказке в «Дубовинского». Связь мнимого святого с дуплом, с деревом, возможно, говорит о древних истоках этого сюжета, о связи его с культом растительности, с представлениями о священных деревьях. Эпитет «Дупленский» пародирует обычный для чудотворных икон эпитет Черниговская, Владимирская, Ростовская и другие и усиливает своей пародийностью комизм самого образа.

Большинство вариантов русских сказок совпадает со сказкой Ковалева по композиционной схеме. Меняются лишь — обычно в зависимости от местности — угощения, которыми «Никола» рекомендует неверной жене ослепить своего мужа: в Новгород-

¹⁹ См.: О. Э. О з а р о в с к а я. Пятиречье. Л., 1931, стр. 121, № 14 — «Никола Дупленьский»; В. П. Б и р ю к о в. Дореволюционный фольклор на Урале. Свердловск, 1936, стр. 244 — «Микола Дупленский»; Н. И. Р о ж д е с т в е н с к а я. Сказы и сказки Беломорья и Пинежья. Архангельск, 1941, стр. 109, № 29 — «Микола Дупленьской»; сб. «Тамбовский фольклор». Тамбов, 1941, стр. 189, № 35 — «Мощи» (Никола Дубовинский); А. М. С м и р н о в. Сборник великорусских сказок. Пг., 1917, № 77 — «Никола Дублинский»; Н. Е. О н ч у к о в. Северные сказки. СПб., 1908, № 50 — «Костя» (Дуплецкой Микола); И. В. К а р н а у х о в а. Сказки и предания Северного края. М.—Л., 1934, стр. 199, № 98 — «Никола Дупленской»; В. и Ю. С о к о л о в ы. Сказки и песни Белозерского края. М., 1915, стр. 3, № 1 — «Никола Дупленская», и многие другие.

²⁰ С. М а к с и м о в. Бродячая Русь Христа-ради, стр. 9.

ской губ. — это шаньги, в Олонецкой — колобы, на Урале и в Белозерье — олады, в Вологодской губ. — шаньжки, в Архангельской — шаньги и колоба, в центральных губерниях — блины и яйца, в Тамбовской и других южных областях — черная курица и полбутылки вина.

В части вариантов сказочниками особенно подчеркивается вся глупость и нелепость суеверности богомольной женщины. В одном варианте она несет святому холст²¹. В другом варианте муж иронически сообщает ей: «Могутний святитель, чего хошь цюдо учинит»²². Это усугубляется комической концовкой, когда жена трагически восклицает: «. . .Одного ослепил, другого блином задавил»²³. Антирелигиозные тенденции сказки усиливаются, например, таким эпизодом: жена, когда муж неожиданно «прозрел», прячет любовника в шкаф. «Кто это?» — спрашивает муж. — «Это святой Спас». — «Спас-то Спас, а все как у нас»²⁴.

Комизм основной ситуации сказки нарочито подчеркивается пародийной модернизацией речи, например: «Здравствуй, Никола Дубовинский!» — «Очень приятно»²⁵. В ряде вариантов в качестве неудачливого любовника выступает поп или дякон.

Правда, в некоторых, немногих в русском репертуаре, вариантах социальные тенденции сильнее, чем антирелигиозные: например, в уральской сказке «Про бедовую Федорку и хитрого мельника»²⁶ бедняк, которому поручили спрятать труп попадает в Сибирь по обвинению в убийстве. Мельник же «по-прежнему народ обманывает, а Федорка себе другого ухажора завела». В отдельных сказках особенно выразительно звучит осуждение распущенности неверной жены: «Старая старуха, а дружка держала»²⁷. Муж теряет доверие к жене: «Нельзя верить, потому русская пословица: баба черт, овечий хвост»²⁸. По-разному говорится в сказке и о наказании, которому подвергаются неверная жена и ее любовник. Большею частью наказан один любовник: его убивает муж. Лишь в немногих вариантах такая же кара постигает и жену: «Он и ее вместе с ним положил, этим и кончилось»²⁹. В большинстве же вариантов муж «учит» жену, и «после этой катастрофы»,

²¹ П. Б и р ю к о в. Дореволюционный фольклор на Урале, стр. 244.

²² И. В. К а р н а у х о в а. Сказки и предания Северного края, стр. 189.

²³ Архив Литературного музея г. Тарту. Е. Р. А. Vene (2)-стр. 587—677, «Никола Дубленский».

²⁴ Там же. Сказка про Николу Дубленского.

²⁵ Тамбовский фольклор, стр. 189, № 35.

²⁶ Русские народные сказки Урала. Редакторы-составители: П. Галкин, М. Китайник, Н. Куштум. Свердловск, 1959, стр. 64.

²⁷ М. Е д е м с к и й. Семнадцать сказок, записанных в Тотемском уезде Вологодской губ. в 1905—1908 гг. «Живая старина», 1912, вып. I—IV, стр. 234, № 8.

²⁸ Е. А. Ч у д и н с к и й. Русские народные сказки, прибаутки и побасенки. М., 1864, стр. 64, № 11.

²⁹ Тамбовский фольклор, стр. 189, № 35.

как говорит Ковалев, все идет у них по-хорошему³⁰. Муж высказывает «да нарвал вицы, да настегал ее. Дак она и про дьякона забыла»³¹. Часто рассказывается о том, как муж помогает жене убрать, спрятать, «сбагрить» мертвое тело, в результате чего он с удовольствием и с полным добродушием замечает: «Ну, старуха, пропал твой полюбовник, а я за него триста рублей нажил»³².

В большинстве же русских вариантов, повторяю, на первом месте — эпизод подмены бога или святого. Недаром и в указателе сказочных сюжетов Н. П. Андреева сюжет назван не «Неверная жена», а именно «Никола Дупленский», т. е. так, как его чаще всего называют и сами русские сказочники, подчеркивая этим, какой эпизод сказки им представляется основным.

Различия в деталях, не нарушающие единства общерусской версии сюжета, определяются творческой индивидуальностью того или другого сказочника, зависят от степени его мастерства, его творческой манеры, отношения к данному сюжету. Так, Ковалев не забывает сказать о крылышке, которым жена маслит блины, подковках, которыми подбиты сапоги любовника, сарафана, который второпях подбирает женщина. Один из уральских сказочников рассказывает о том, что «миляш — бодрый пришел, рубаха новая, сапоги — лаковы голяшки»³³. Вологодский сказочник М. Д. Третьяков вводит в сказку яркий бытовой диалог³⁴ и т. д.

Многие русские сказочники контаминируют этот сюжет с сюжетом о злополучном мертвце, которого многократно «убивают» (А.-А. № 1537). Контаминация эта органически вытекает из создавшегося положения: муж убил любовника, надо скрыть следы преступления. Эпизод с подкидыванием мертвца рассказан во всех вариантах довольно единообразно (его подкидывают попу, кабатчику, пивовару, рыбакам и т. д.), причем обычно при этом подчеркивается хитрость и ловкость мужа, что оправдано и основным эпизодом сказки. Сказочники и здесь проявляют себя по-разному: самарский сказочник Абрам Новопольцев вводит в этот эпизод антипоповскую сатиру; северный сказочник старик Дитяшев, в прошлом морской охотник, показывает свое знание рыболовного промысла; вятский сказочник, вариант которого не знает мотива бога или святого, а только лишь хитрого мужа, делает основной акцент именно на этой второй части сказки и в конце своего повествования шутливо замечает: «Так наш любовник и кончил свое путешествие»³⁵.

³⁰ Сказки И. Ф. Ковалева, стр. 210, № 38.

³¹ И. В. Карнаухова. Сказки и предания Северного края, стр. 199, № 98.

³² М. Едемский. Указ. соч., № 8.

³³ В. П. Бирюков. Дореволюционный фольклор на Урале, стр. 245.

³⁴ М. Едемский. Указ. соч., стр. 234, № 8.

³⁵ Д. К. Зеленин. Великорусские сказки Вятской губернии, Пг., 1915, стр. 200, № 62.

Эпизод с подкидыванием трупа дает основание сказочникам присоединить к повествованию еще один сюжет «Солдат и отрубленная нога» (А.-А. № 1537, I), который тянет за собой эпизод с «теленком-людоедом».

Великолепно этот эпизод разработан в тексте, записанном В. П. Бирюковым. Исключительно живо в этой сказке передана суэта с подкидыванием трупа, объясняется, почему солдат отрезает ногу у трупа («сапоги больно хороши, а у солдата худы»), ярко описаны ужас хозяев, обнаруживших, что теленок съел солдата, и испуг земского начальника, «который стал ни жив, ни мертв» перед теленком³⁶. Таким образом, мы видим, что сказка о Николе Дусленском живет творческой и активной жизнью в репертуаре русских сказочников вплоть до наших дней, твердо сохраняя при этом основную сюжетную схему и варьируясь лишь во второстепенных эпизодах и деталях. Насыщенность сказки локальными чертами и бытовыми деталями, яркость характеристик персонажей, живость диалога, закономерность и логичность контаминации — все это говорит, что сказка о Николе Дусленском — характерное и органически развивающееся явление русского фольклора не только XIX в., но и советского времени. Она и в наши дни еще не потеряла своего значения в борьбе с отсталостью, суеверностью, религиозными предрассудками.

Основная ситуация нашего сюжета — кто-то выдает себя за бога или святого — широко распространена в мировом фольклоре и у ряда народов находит воплощение в сюжетной схеме, близкой русской сказке.

За пределами русского репертуара, как уже говорилось выше, немало сказок, близких к нашему сюжету или даже целиком по своей фабуле совпадающих со сказкой о Николе Дусленском. Однако в этих сказках, за исключением карельских, не встречается не только имени Николы Дусленского, но и вообще святого Николая. Лишь в одной украинской сказке о неверной жене есть упоминание о нем: муж учит неверную жену дубинками, которые якобы подает ему святой Николай³⁷.

За немногими исключениями сюжет № 1380 в сказках других народов предстает перед нами в несколько ином аспекте, чем в русских сказках. Это естественно, ибо сказки живут во времени и пространстве и во многом определяются бытом, жизнью и историей того или иного народа.

Остановимся сначала на славянских вариантах этой сказки, прежде всего — на украинских и белорусских. Великолепный, исключительно яркий по своей насыщенности антирелигиозными мотивами текст записан, например, П. В. Линтуром от выдающе-

³⁶ В. П. Бирюков. Дореволюционный фольклор на Урале, стр. 245—246.

³⁷ В. Гнатюк. Галицько-руські анекдоти. «Етнографічний збірник», т. 6, Львов, 1899, стр. 58, № 166.

гося закарпатского сказочника-сатирика Юры Гедряна, в большом репертуаре которого много антипоповских сказок. В этой остроумной сказке муж выдает себя за «господа-бога» и приказывает жене кормить его черной курицей. Муж «слепнет» и убивает любовника-попа. Сказка, как и многие русские варианты, контаминирована с сюжетом о злополучном мертвце³⁸.

В сборнике П. В. Шейна есть следующая белорусская сказка: дед находит в лесу глубокое дупло, говорит бабе о святом, который живет в дереве и скажет обо всем, что хочешь. Святой советует бабе печь сухие блины, от которых муж ее удавится. Удавился же любовник бабы Хома³⁹. Сказка явно несколько разрушена, так как сухие блины, которые губят неудачливого и жадного любовника попали в совет святого, где они явно неуместны. В этом варианте сюжет № 1380 также контаминирован с историей злополучного мертвеца и теленка-людоеда. К этому тексту близка сказка «Дьяк и неверная жена»⁴⁰, опубликованная Н. Ф. Сумцовым. Однако в большинстве белорусских и украинских вариантов этого сюжета обличение суеверия дано несколько приглушенно, как, например, в украинской сказке «Баба, четыре раза похороненная»⁴¹. В русском репертуаре сказка о Николе Дупленском, как указывалось выше, чаще всего либо исполняется как законченная самостоятельная сказка, либо контаминируется с сюжетом злополучного мертвеца, что воспринимается как органическое развитие эпизода убийства любовника и поэтому не заслоняет собой основного эпизода. В белорусских же и украинских сказках сюжет № 1380 чаще всего является лишь одним из многих, притом отнюдь не самых важных эпизодов сказок о хозяине и работнике. В этих сказках антирелигиозная тенденция уступает место социальной сатире, в связи с чем и основным действующим лицом, героем сказки, взамен обманутого мужа становится работник. Эпизод мнимого ослепления в украинских и белорусских вариантах нередко включается в сказки «Поп и работник». Такова, например, большая белорусская сказка «Як папоў батрак пупадыю проучил і дьякона, яе спалюбоўніка і папа нащот пупадыі абразуміў»⁴². Интересно, что в этой сказке нет эпизода с советом святого, а фигурируют какие-то капли, от которых поп и работник «ослепли, оглохли и завалились». Такая замена была бы невозможна в сказке, где в центре стояло бы осуждение суеверия. В очень яркой, вырази-

³⁸ Личный архив П. В. Линтура.

³⁹ П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, т. II. СПб., 1893, стр. 219, № 102.

⁴⁰ Н. Ф. Сумцов. Малорусские сказки по сборникам Кольберга и Машинской. Из XXII кн. «Этнографического обозрения». М., 1894, стр. 117, № 67.

⁴¹ Там же, № 69.

⁴² В. Н. Добровольский. Смоленский этнографический сборник, т. I, стр. 696, № 12.

тельной по языку, насыщенной великолепными диалогами украинской сказке «Дьяк Тит Григорьевич» наш сюжет — лишь один из многочисленных эпизодов: работник выдает себя за знахаря, советует кормить мужа борщом с салом, кашей с молоком, варениками, «щоб у масли да в сметани плавали»⁴³. Такова и непристойная сказка «Слуга-вещун», в которой работник, под видом ворожейки, советует попадье, с целью ослепления попа, сделать порошок из черного петуха и насыпать его в похлебку, приготовить яишницу, пироги с сыром и не жалеть сметаны и масла. Поп и работник избегают попадью и ее любовника кузнеца⁴⁴. Аналогична и большая сказка «Планетник», в которой встречается такой эпизод: работник, сидя в дупле старой ивы, советует жене своего хозяина кормить мужа и работника варениками, сметаной, салом, колбасой и поить их водкой⁴⁵. Включение нашего сюжета в качестве даже не первостепенного сплошь и рядом эпизода в многосюжетную сказку притуляет антирелигиозную направленность, дает основание воспринимать его в плане только социальных тенденций как любую сказку цикла «Хозяин и работник», а не как острую антирелигиозную сатиру, какой является большинство русских вариантов.

Встречаются в украинских и белорусских сказках, так же как и в русских, и отдельные мотивы сюжета № 1380. Так, в одной из зарпатских сказок — «Как дьякон молился» муж притворяется умершим. Любовник-дьякон приходит читать над ним отходную. Муж убивает его и затыкает ему рот курицей. Сказка эта контаминирована с сюжетом подбрасывания трупа⁴⁶ попу, корчмарю, хлопцам на гулянке. Так как здесь нет эпизода с богом или святым, подающим совет неверной жене, эта сказка находится за пределами интересующего нас сюжета. В какой-то мере это относится и к композиционно спутанной сказке «Як чоловік утопив жінку». Эпизод с исповедником, сидящим на елке, появляется в сказке явно не на месте — уже после эпизода убийства любовника. Кончается сказка тем, что муж топит обманщицу-жену⁴⁷.

Итак, наш сюжет известен украинским и белорусским сказочникам, однако, очевидно, не пользуется у них столь широкой популярностью, как у русских сказочников. Многие украинские и белорусские варианты этого сюжета довольно далеки от русских: они либо лишь перекликаются с ним отдельными мотивами, либо явно спутаны или использованы в качестве второстепенного эпизода в сказках о хозяине и работнике. Поэтому при относи-

⁴³ М. Драгоманов. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876, стр. 166, № 51.

⁴⁴ W. N a t j u k. Das Geschlechtsleben des ukrainischen Bauernvolkes in Österreich-Ungarn, II. Leipzig, 1912, S. 338—342, № 237.

⁴⁵ Там же, стр. 342—349, № 328.

⁴⁶ Сказки Верховины. Закарпатские украинские народные сказки. Сост. Иван Чендей, Ужгород, 1959, стр. 51.

⁴⁷ В. Г н а т ю к. Указ. соч., ч. II, стр. 326—327, № 338.

тельной близости отдельных русских, украинских и белорусских текстов друг другу мы все же можем легко ощутить и их различия, не только в локальных деталях, но и в ведущих тенденциях сказки, т. е. в той роли, которую этот сюжет играет в сказочной традиции, а следовательно, и в культуре каждого из этих народов.

Сюжет № 1380 хорошо известен и южным и западным славянам, причем в очень близких к русской сказке вариантах (например, болгарский текст «Наказана изменница», опубликованный Георги Поп Ивановым)⁴⁸. В сказке, записанной в Боснии, рассказывается, как муж внушает своей распутной жене, что в саду на дубе находится бог. Она спрашивает у бога, как отравить мужа, узнает, что надо каждый день кормить его лепешками и петухом. Через месяц муж «слепнет». Приходит любовник. Муж убивает его и жену. Любопытно, что составитель указывает, что согласно местному обычному праву муж может безнаказанно убить любовника жены, застав его на месте преступления⁴⁹.

В словацкой сказке об ослеплении мужа⁵⁰ «чернокнижник» на высоком буке советует обратившейся к нему женщине хорошо кормить мужа, не давать ему работать и держать его, «аки дрозда в клетке». В словацкой же сказке муж выступает в роли «пана бога», приказывает кормить его получше, жена готовит паленки, галушки, дает ему целый котел мяса, поит вином. Кончается сказка утоплением жены — эпизодом, неизвестным в русском репертуаре в данном контексте, но часто встречающимся в вариантах других славянских и неславянских народов. В сборнике словацких же сказок Кубина мы находим сказку о купце⁵¹, также являющуюся модернизированным вариантом нашего сюжета — вместо святого в роли советчика выступает доктор.

Вацлав Тилле в своем указателе чешских сказок приводит три варианта нашего сюжета, в которых мы находим его основные эпизоды: 1) муж дает советы под видом проповедника, 2) «слепнет», 3) убивает любовника, 4) топит жену⁵².

Наряду с такими близкими к русской версии вариантами у южных и западных славян встречаются и такие, в которых нет осмеяния суеверности: муж не выдает себя за бога или святого, а симулирует слепоту при содействии врача или соседки. Так, в хорватской сказке соседка, по наущению мужа, советует неверной жене давать ему каждый день по две курочки, а потом утку. Муж «слепнет», просит жену помочь ему утопиться и топит ее⁵³.

⁴⁸ Сборник за народни umotvorjenja i narodopis, кн. XLIV, София, 1949, стр. 501, № 22.

⁴⁹ Fr. Krauss. Anthropolyteia. Jahrbücher für folkloristische Erhebungen und Forschungen, Bd. 1. Leipzig, 1904, S. 448, S. 449, N 329.

⁵⁰ J. Polivka. Soupis slovenských Rozpravok, t. IV, str. 265.

⁵¹ J. Kubin. Kladske pohadki, str. 187, № 81.

⁵² V. Tille. Soupis českých Pohadek. Praha, 1929—1937.

⁵³ J. Polivka. Soupis slovenských Rozpravok, t. IV, str. 262, № 102.

Большинство западно- и южнославянских текстов кончается, как и закарпатская сказка из Верховины, утоплением жены. Мотив этот, не встречающийся в русских вариантах сюжета № 1380, но известный белорусским и украинским сказочникам, столь же органично контаминируется с нашим сюжетом, как и мотив злополучного мертвеца; жена готова погубить слепого мужа, помочь ему утопиться, но сама становится жертвой своего злого умысла.

Таким образом, хотя сюжет № 1380 контаминируется с разными сюжетами, принцип контаминации один и тот же — она вызвана необходимостью композиционно завершить конфликт между мужем и женой. Контаминация в обоих случаях не случайная, не механическая, а логически оправданная, закономерная и может считаться типологической для данного сюжета.

Итак, варианты сюжета № 1380, живущие в репертуаре других славянских народов, имеют настолько много общего с русской его редакцией, что мы, казалось бы, имеем возможность говорить о славянской его версии. Однако сюжет этот известен, как уже говорилось, отнюдь не только славянскому миру. Он записан и у ближайших соседей славян, в Прибалтике, Бессарабии, Поволжье, на Кавказе. Нет необходимости в данном случае перечислять все известные неславянские варианты нашего сюжета. Приведу некоторые из них в доказательство широкой популярности нашего сюжета у неславянских народов. Так, своеобразные тексты, записанные В. Мошковицем у бессарабских гагаузов, опубликованы В. Радловым⁵⁴. В одной из этих сказок муж выдает себя за ворожейку, в другой — за попа. Жена кормит его пирожками. В одном варианте любовник — дьячок, в другом — причетник. Оба варианта кончаются убийством любовника и контаминируются с сюжетом подбрасываемого трупа, причем сказочники основное внимание уделяют именно этой, второй части, что подчеркивается и названиями сказок: «Причетник, умерший четыре раза», «Муж, притворяющийся слепым, и дьячок, три раза убитый». Как в осетинском фольклоре, так и в узбекском наш сюжет фигурирует как эпизод, включенный в многосюжетные сказки о хозяине и работнике. В осетинской сказке «Учитель хатинского языка» работник выдает себя за знахаря и рекомендует кормить мужа и работника шашлыком и пить сладким пивом⁵⁵. В другой осетинской сказке, записанной в 1939 г., любовников разоблачает спрятавшийся в дубе и затем притворяющийся слепым племянник мужа⁵⁶. Возможно, это определяется родовыми

⁵⁴ Образцы народной литературы тюркских племен. Изд. В. Радлов, ч. 10. СПб., 1904, стр. 151—153, № 84, 84а.

⁵⁵ Осетинские народные сказки. Сост. С. Бритаев и Г. Калоев. Цхинвали, 1959, стр. 404.

⁵⁶ А. Х. Базыров. Опыт классификации осетинских сказок. «Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского ин-та», 1960, вып. 10, стр. 107, № 213.

отношениями на Кавказе. В узбекской сказке о работнике и о богатом хозяине (имаме) «Мамат плешивый» мачеха молится на могиле святого, который рекомендует ей кормить ненавистного пасынка мясом трех баранов. Интересно, что одним из эпизодов сказки становится раскрытие обмана: «В гробнице сидел я. Это я, мачеха, велел принести мне барана»⁵⁷. В удмуртской сказке муж выдает себя за знахаря под плакучей ивой и советует жене кормить его бараниной, яйцами, лепешками. Исключительно широко сюжет № 1380 распространен в современном карельском фольклоре; в архиве Карельского филиала АН СССР имеется одиннадцать его вариантов, записанных в разных районах Карелии. Варианты эти неравнокачественны, часть из них явно полузабыта и разрушена. В большинстве из них муж, сидя на елке или в дупле, выдает себя за бога, святого или попа, в одном же — за «дуплового». Во всех вариантах наличествует эпизод «ослепления» при помощи блинов или каши; большинство из них контаминируется с сюжетом злополучного мертвеца. Интересно, что в двух карельских вариантах муж выдает себя за святого Мийкулу, что, очевидно, говорит о влиянии русского фольклора.

Широко распространен наш сюжет и в латышском фольклоре — мне известны девять опубликованных и шесть рукописных его вариантов. Во всех этих вариантах муж выдает себя за духа, обитающего в старом дубе, и сатира направлена именно на суеверность глупой женщины, верящей в духов. Лишь в одном из этих вариантов, записанном в Латгалии, фигурирует св. Мэйкулс, возможно перекликающийся, как и в карельской сказке, с русским Миколой.

Ярко выраженные антирелигиозные тенденции сближают эти сказки с многочисленными сказками, распространенными в латышском фольклоре, сказкой «Как хорек святого духа съел»⁵⁸ или «Поп, дьякон и лавочник»⁵⁹ и многими другими остро сатирическими сказками.

Как известно, в фольклоре прибалтийских народов бытовало, а частично бытует и сейчас множество преданий о священных камнях, деревьях и источниках. Не случайно поэтому одна из литовских сказок на интересующий нас сюжет называется «О чудотворном дубе» и начинается не как сказка, а именно как предание: «Еще и сегодня стоит на поле Рахимкес Каловяйкского прихода Тракайского уезда большой и очень ветвистый дуб, который люди называют чудотворным»⁶⁰. В этой сказке муж легкомысленной Марюте выдает себя за ее ангела-хранителя, ушедшего от нее из-за ее распутной жизни на вершину дуба. «С того времени, говорит сказка, пошла поговорка: — Не гони бога на дерево,

⁵⁷ Узбекские народные сказки, т. II. Ташкент, 1961, стр. 358.

⁵⁸ Латышские народные сказки, Рига, 1957, стр. 487.

⁵⁹ Там же, стр. 481.

⁶⁰ Записал Н. Каскерявичус в 1910 г (Архив Литературного научного общества. Институт языка и литературы Литовской Академии наук).

назад не допросишься». В другой литовской сказке речь идет о женщине, которая изображает из себя больную и якобы ничего не ест. Она отправляется к своей матери. Муж прячется в лесу на дереве и, когда она проезжает мимо, обращается к ней: «Святая Неедящая, куда ты едешь?» — «Я ем, пан бог, — говорит испуганная женщина, — когда мужа дома нет, я ем, по два фунта сала съедаю, и сейчас у меня в кармане сыр»⁶¹.

Обе эти литовские сказки по своей фабуле далеки от нашего сюжета, но вместе с тем близки по наиболее значительному в них моменту — один из персонажей выдает себя за бога, святого, ангела; в них обличается суеверность и глупость, высмеивается вера в «чудо», в могущество святых, отшельников, ангела-хранителя и т. д.

Этих примеров достаточно для того, чтобы убедиться в широком распространении интересующего нас сюжета за пределами славянского мира, причем в репертуаре каждого из рассмотренных нами народов он является не случайным, наносным элементом, а связан в той или иной мере с национальной традицией, с мировоззренческими, бытовыми, историческими моментами. Так, литовские сказки связаны с древними преданиями о чудотворных деревьях, латышские — с многочисленными антирелигиозными сказками о циничных проделках духовенства. Узбекская сказка делает своим героем традиционный образ восточной сказки — Плешивого и т. д. Я уже не говорю о том, что бытовые детали, и опять же прежде всего описания блюд (баранина — в узбекской сказке, лепешки-табани — в удмуртской, клецки — в латышской, блины — в карельской и т. д.), в каждой из сказок создают столь насыщенный локальный колорит, что он дает основание говорить, несмотря на интернациональный сюжет, о наличии в каждой из них национальной специфики.

Таким образом, мы видим, что в фольклоре славянских и неславянских народов не только живет один и тот же сюжет, но что он и контаминируется со сходными сказочными эпизодами и является звеном одного и того же закономерно развивающегося ряда.

Мы убедились, что русская сказка о Николе Дупленском может считаться как бы развитием в новом качестве преданий о чудотворных иконах, и указали промежуточные звенья между этими двумя фольклорными жанрами в русской традиции. То же самое мы можем увидеть и на неславянском материале, т. е. говорить уже не только об общности сюжета, ситуации, мотива, образа в фольклоре разных народов, но и об общности самого устно-поэтического процесса.

⁶¹ Записал М. Соаняускас в 1914 г (там же). Своеобразную параллель к этой сказке мы находим в цейлонской сказке: жена при муже не ест; он прячется, наблюдает за ней и затем разоблачает ее. Утверждает, что узнал об ее поведении от мух (H. P a r k e r. Village Folktales of Ceylon, vol. III. London, 1914, p. 99).

Обратимся с этой целью к западноевропейским версиям нашего сюжета. Так, в сказке, записанной в итальянском Тироле, «О человеке, которого пять раз убили» жена идет к «исповеднику», сидящему в старом дуплистом дубе за ручьем. Муж «слепнет» от курятины и убивает любовника, которого затем «убивают» еще несколько раз»⁶².

Наиболее близок (даже, можно сказать, целиком совпадает) сюжетной схеме русской сказки немецкий шванк, опубликованный в сборнике шванков Мартина Монтануса. Шванк этот облачен в форму мейстерлид и сочинен Гансом Фогелем в 1541 г. Краткое содержание его следующее: жена, стремясь избавиться от мужа, обращается к колдунье. Та советует ей помолиться святому Ленгарту. Спрятанный в алтаре муж велит ей кормить его цыплятами и поить вином. Муж «слепнет», сидит за печкой, затем убивает любовника. Кончается сказка потоплением жены.

Как и русская сказка о Николе Дупленском, этот шванк связан с различными фольклорными религиозными и полурелигиозными рассказами. При этом мы можем наметить тот же путь, как и в русском фольклоре: от благочестивого рассказа к антирелигиозной сатирической сказке.

Невозможно твердо установить хронологическую последовательность и конкретную связь между отдельными текстами этого сюжета даже у одного народа. Однако закономерность типологического развития несомненна. Шванкам XVI в., естественно, предшествовали религиозные рассказы о чудотворных, говорящих изображениях бога или святого. Известны средневековые рассказы о том, как изображение младенца Христа приглашает на трапезу мальчика, или о том, как статуя Мадонны удерживает надетое ей на палец кольцо или движением колена защищает от выстрела приникшего к ней беглеца, спасает падающего с лесов живописца, свидетельствует, что деньги вовремя внесены должником, отвечает на приветствия благочестивого монаха и т. д.⁶³

Таковы и рассказы о святом Бернарде. В немецкой хронике XVII в.⁶⁴ дается несколько вариантов рассказа о беседе святого Бернарда с изображением Мадонны. Святой Бернард обращается к изображению Мадонны в Шпейере: «O clemens, o pia, o dulcis Maria». В ответ слышится голос, приветствующий и благословляющий его. При этом подчеркивается, что голос идет именно от изображения: «Ward eines Weibes Stimme gehört als ob sie aus eines

⁶² Ch. Sch n e l l e r. Märchen und Sagen aus Wälschtirol. Innsbruck, 1867, S. 168, № 58.

⁶³ Одну из таких легенд и ее многочисленные варианты исследовал американский ученый Joseph Szöveffy в работе «A medial Story and its Irish version», опубликованной в сборнике в честь Ст. Томпсона «Studies in Folklore» (Bloomington, 1957).

⁶⁴ Ch. L e h m a n n i. Chronica Spirense, 1698, S. 438a.

Bildnis Mariae auf dem Altar stehend kommen, die ihn wiederum grüßet und empfangen».

Однако уже один из этих вариантов говорит о том, что святой возмутился ответом Мадонны и сделал ей грубое замечание: «Bernhardus aber hat sich mit Verwunderung über diese Stimme entsetzt und dem Bild untersagt, dass die Weiber in der Kirch und gemeiner christlichen Versammlung schweigen sollen»⁶⁵. Интересно, что хронист XVII в. уже пускается в рассуждения о невероятности этих рассказов раннего Средневековья и намекает на возможность того, что отвечало святому Бернарду не изображение Мадонны, а говорил кто-то другой: «Dieser Bericht geht auf hinkenden Füßen, zweifelt selbst, ob das Bild oder jemand anders geredt».

Следующей ступенью развития этих религиозных рассказов являются шванки, опубликованные А. Весельским в сборнике шванков, связанных с именем итальянского священника Арлотто, жившего в XVI в. В одном из них повествуется о портном, который двадцать пять лет молился перед изображением младенца Иисуса. У него заболевает сын. Он просит Иисуса избавить его сына от смерти, напоминая, как он его чтит в течение долгих лет. Когда сын портного умирает, тот с яростью упрекает Иисуса, жалеет, что молился изображению младенца, а не распятого Христа, и зарекается впредь иметь дело с детьми⁶⁶.

Намечающаяся в этом рассказе комическая интерпретация отношения благочестивого портного к изображению божества еще более ощутима в ряде других средневековых текстов. В рассказе, относящемся к 1548 г., сапожник спрашивает Иоанна Крестителя, верна ли ему жена, и просит предсказать дальнейшую судьбу своего сына. Скрывшийся за изображением святого служка отвечает, что жена его распутница, а сына ожидает виселица. Рассерженный сапожник бранит святого и говорит, что, очевидно, не зря его обезглавил Ирод⁶⁷.

А. Весельский в примечаниях к этим рассказам приводит ряд аналогичных: французский — о портном, который упрекает Иоанна Крестителя, что у него «une méchante langue»; немецкий — о баварском крестьянине, который в ответ на слова святого Леонгарда: «Pfui dich, Bayer!» отвечает: «Pfui dich und abermals pfui dich, lieber Liendel»; немецкий, французский, испанский тексты о старухе, рассерженной дерзким ответом младенца Христа и грубо приказывающей ему не вмешиваться в разговоры взрослых: «Du halschst Maul, wenn i mit deiner Muatter schwätz»⁶⁸.

⁶⁵ Вариант последнего рассказа, как указывают Больте и Поливка, приведен Justi в «Vorzeit» (1820).

⁶⁶ A. Wesselsky. Die Schwänke und Schnurren des Pfarrers Arlotto. Berlin, 1910, № XXIII, S. 56.

⁶⁷ Там же, стр. 57, № XXIV.

⁶⁸ Там же, стр. 196.

А. Весельский приводит также интересное обращение к читателю, компрометирующее достоверность этих рассказов, из 4-й части «Aprophetmata» (изд. Weidner'a, стр. 257): «Merke, Leser, was die alten Papisten selber von Anbetung der Bilder gehalten»⁶⁹.

От этих средневековых рассказов один шаг к рассказу о скульпторе, кастрирующем любовника своей жены, принявшего вид скульптурного изображения святого, или к рассказу о жене, которая, спрятавшись в дупле дерева, приказывает своему молодому мужу выполнить свой долг и сделать ее женщиной, и наконец к интересующему нас сюжету.

Не ставя себе цель изучения взаимоотношений русского и западноевропейского варианта сюжета № 1380 или славянских и неславянских его редакций, я пытаюсь показать, что как в русской редакции, так и в остальных европейских версиях — в славянских, германских, финских, романских — эта сказка является звеном длинной сюжетной цепи и возникает на основе благочестивых рассказов о религиозном чуде в результате утраты веры в это чудо. Хронологически это происходит, естественно, в разное время. В Западной Европе эти рассказы — выражение протеста против католического почитания святых и их изображений. Возможно, что в распространении этой сказки на Руси сыграли некоторую роль наши средневековые ереси и иконоборческие тенденции таких старообрядческих толков, как немоляки, дырники, лучинковцы и др. Однако широко распространилась она в народном репертуаре на русской почве лишь в XIX—XX вв. и особенной популярностью стала пользоваться в наши дни.

Я не имею оснований утверждать, что сказка эта всегда появлялась самостоятельно в устно-поэтической традиции разных народов, однако утверждаю, что появление ее или освоение, включение в репертуар каждый раз являлось закономерностью в развитии фольклорной традиции любого из этих народов. Если бы сюжет № 1380 не заимствовали из сюжетного запаса другого народа, его должны были бы выдумать, так как он являлся естественным, органичным развитием предшествующей самостоятельной фольклорной традиции, с которой он связан законами диалектики, синтезируя в шутливом анекдоте противоборство веры в чуда и страстного отрицания ее.

В заключение обратимся к древнейшему из известных нам вариантов сюжета № 1380 и посмотрим, подтверждает ли он или опровергает наше положение о связи этого сюжета с предшествующими ему религиозными рассказами, а именно к варианту «Панчатантры».

«Жил в одном селении брахман по имени Яджнядатта. Его распутная жена, привязанная всем сердцем к другому, постоянно готовила для своего любовника пирожки с сахаром и маслом

⁶⁹ Там же, стр. 200.

и за спиной супруга относил их к нему. И как-то муж заметил это и спросил: «Дорогая! Что ты готовишь и кому ты постоянно относишь это? Скажи правду». А она, сохранив присутствие духа, ответила супругу лживыми словами: «Есть здесь неподалеку храм блаженной Дэви. Совершая пост, я отношу туда жертвенные подношения, состоящие из изысканных и превосходных кушаний». И, взяв это, она на его глазах отправилась к храму Дэви, потому что думала: «Благодаря этому рассказу о Дэви мой муж решит: «Моя брахманка постоянно относит блаженной отборную пищу». И затем, придя к храму Дэви, она спустилась к реке для омовения. Когда же она совершила омовения, муж ее, придя туда другой дорогой, стал незамеченный за статуей Дэви. А брахманка, искупавшись, подошла к храму Дэви, совершила омовение, воскурения, жертвоприношения и другие обряды и, поклонившись Дэви, сказала: «Блаженная! Как сделать, чтобы муж мой ослеп?» Услышав это, брахман, стоявший за спиной Дэви, сказал, изменив голос: «Если ты постоянно будешь кормить его маслянистыми пирожками и другими кушаньями, он скоро ослепнет». Тогда развратница, с сердцем, обманутым его лживой речью, стала постоянно угощать брахмана. И вот однажды брахман сказал: «Дорогая! Я плохо вижу». Услышав это, она подумала: «Вот — награда Дэви!». И тогда милый ее сердцу любовник, думая: «Что сделает мне этот слепой брахман?», стал безбоязненно приходить к ней каждый день. И вот однажды, видя, что тот вошел и приблизился к ней, брахман схватил его за волосы и до тех пор избивал дубинкой и ногами, пока тот не отошел в небытие. А ту порочную жену он прогнал, отрезав у нее нос»⁷⁰.

Сюжет этого древнеиндийского рассказа полностью совпадает не только со средневековым шванком, но и с русской сказкой, рассказанной советским сказочником и послужившей исходным пунктом нашего исследования: муж раскрывает неверность жены, прячется за изображение божества, советует жене, мечтающей его ослепить, кормить его вкусной пищей, притворяется слепым, убивает любовника и наказывает жену. Различия между этими рассказами сводятся к тому, что герой русской сказки — русский крестьянин, а индийской — брахман, что вместо иконы Николы Дупленского в индийском тексте статуя блаженной Дэви, что неверная жена в индийской сказке вместо крестного знамения и земных поклонов совершает ритуальные омовения, умащивания, воскурения, жертвоприношения и другие обряды, что кормит она мужа не блинами, а пирожками. Естественно, что и самый стиль рассказа в индийском литературном памятнике иной, чем в русской сказке, рассказанной колхозным конюхом. В основном же оба эти рассказа совпадают не только тематически, не только

⁷⁰ Панчатантра. Перевод с санскрита и примечания А. Я. Сыркина, М.—Л., 1958, кн. 3, рассказ 19, стр. 239.

в основной фабуле, но и во всей композиционной схеме, в точной последовательности мотивов, во многих деталях. Попытаемся нащупать в индийском фольклоре ту же закономерность, как и в западноевропейском или русском. Оказывается, что рассказ этот имеется не только в «Панчатантре»; на основании поздних публикаций индийского фольклора мы убеждаемся, что он широко распространен в устной традиции. Приведу несколько поздних вариантов. В сборнике цейлонских сказок Х. Паркера мы находим сказку о том, как неверная жена идет к дереву, о котором думает, что в нем Дэватава, просит ослепить мужа. Муж прослеживает ее, прячется в дереве, советует кормить мужа мясом черной курицы и особым рисом. Муж притворяется слепым и убивает любовника. Сюжет контаминируется с историей подкинутого трупа: любовника вторично «убивает» отец женщины, затем продавец соли. Когда его, наконец, хоронят, нанимают плакальщиц. Среди них и любовница убитого. Она причитает над ним и содержанием своего причета выдает себя. В наказание ее казнят⁷¹.

Х. Паркер приводит многочисленные параллели к этому тексту из которых я считаю нужным упомянуть о двух, чтобы показать, насколько четко на протяжении тысячелетий этот сюжет сохранился в восточной сказочной традиции. Так, в одном из них муж проследил, что жена у гроба факира молится о том, чтобы ее муж ослеп. Он дает ей совет кормить его сладкой кашей и жареной курицей. Муж «слепнет». Приходит любовник. Когда муж внезапно прозревает, жена прячет любовника в тюк циновок. Муж кладет его на плечо и уходит в Мекку. По дороге он встречает собрата по несчастью; поговорив, они решают отпустить с миром обоих любовников. В другом рассказывается о жене, которая молится перед статуей богини и просит о смерти мужа. Спрятанный за статуей муж отвечает, что ее молитва услышана. Он «слепнет», убивает любовника, труп относит в сад соседа, затем в стадо, наконец, бросает в водоём.

Итак, сюжет этот не только распространен в индийском фольклоре, но и контаминируется с той же историей мертвеца. Таким образом, подтверждается наше рассуждение о закономерности контаминации сюжета № 1380 с этим органически связанным с ним эпизодом, подготовленным мотивом убийства любовника.

В индийской фольклорной традиции мы нащупываем ту же закономерность появления сюжета № 1380 на базе религиозных рассказов, как в средневековой Европе и в России. Мы видели, что в фольклорной традиции разных европейских народов эта сказка является естественным продолжением линии, восходящей к христианским легендам, а порой даже к чрезвычайно древним, дохристианским верованиям. Очевидно, генезис

⁷¹ Н. P a r k e r. Village Folk-Tales of Ceylon, vol. III, London, 1914, p. 212.

этого сюжета в индийском фольклоре таков же. Доказательством наличия в Индии предпосылок для появления сюжета № 1380, аналогичных западноевропейским и русским, могут служить следующие рассказы из «Джатаки»: в первом брамин приносит почести дереву, дух дерева вступает с ним в разговор и награждает его кладом ⁷²; во втором дух дерева приказывает спрятавшемуся под его сенью разбойнику уйти ⁷³.

Развитием этих рассказов о духах деревьев являются сказки из сборника Х. Паркера: два купца спорят, как разделить прибыль. Один из них прячет своего отца в дупло дерева. Спорщики обращаются к дереву с тем, чтобы его дух их рассудил. Отец отвечает, исходя из интересов сына. Обиженный купец поджигает дерево, и отец его противника еле спасается. Обман обнаружен ⁷⁴. Такова же и следующая сказка, приводимая Паркером в нескольких вариантах. Один из двух братьев ворует общий клад и обвиняет в этом другого. Спор должен решить дух дерева. В дупло дерева прячется отец, свидетельствующий в пользу своего любимца. Обиженный поджигает дерево, отец чуть не сгорает ⁷⁵.

Вера разрушена. Благочестивый рассказ превращен в анекдот. Отсюда многочисленные версии рассказов о святотатственном замещении бога, духа или святого, а затем и веселый анекдот об остроумной проделке хитрого мужа богомольной, но распутной женщины.

Итак, мы убеждаемся в единстве самого фольклорного процесса, дающего в результате своего развития один и тот же сюжет в Индии, в Западной и Восточной Европе ⁷⁶. Схема этого процесса: такова: благочестивый рассказ о чудесах, творимых священным деревом или изображением божества; шуточный рассказ, ставящий под сомнение чудо; рассказ о заместителе; наконец, сказка о неверной жене, использующая эпизод с подменой бога или святого. Каждый народ рассказывает эту сказку по-своему. Каждый делает ее «своей», полной национальных деталей, иной по стилю. Вместе с тем в основном сказка остается все той же. Она осуждает неверную жену, сочувствует мужу, оправдывает его поведение и, главное, смеется над легковерием богомольной глупой женщины. Сказка несет в себе антирелигиозную сатирическую направленность, стимулированную связью ее с религиозными рассказами, которые она пародирует. Мы рассмотрели судьбы одного сюжета; однако можно привести множество аналогичных примеров не только совпадения отдельных сюжетов в фольклоре разных народов,

⁷² The Yataka or Stories of the Buddhas Former Births. Ed. by E. W. Cowell, vol. III. Cambridge, p. 15.

⁷³ Там же, стр. 22.

⁷⁴ H. Parker. Village Folk-Tales of Ceylon, p. 212, № 228.

⁷⁵ Там же. Примечания, стр. 213.

⁷⁶ По свидетельству Больте и Поливки, а также Ст. Томпсона, сюжет этот не был известен народам Африки и Америки.

но всего процесса их генезиса и развития. Таковы сказки об императоре и аббате, изученные Вальтером Андерсеном, сказки о знахаре Жучке, исследованные Вс. Миллером, и многие другие. К аналогичным выводам относительно стабильности самой сути международных сюжетов пришел в свое время и Н. Ф. Сумцов, исследуя варианты сюжета «Как черт рассорил супругов»: «На длинном многовековом историческом пути сказка о злой бабе и черте прошла без существенных изменений и проявилась у разных народов в весьма сходном содержании, как любопытный образчик интернациональности литературного содержания и существенной важности национальной особляющей литературной формы»⁷⁷.

Наша сказка, высмеивающая религиозное чудо, у самых различных народов типологически появляется как завершающее звено процесса трансформации религиозного рассказа в антирелигиозную сказку. Интернациональное начало в фольклорной традиции неизменно проявляется в национальных формах, по существу оставаясь единым. Это характерно не только для данного сюжета, но и для сказки в целом, как для жанра, для которого не существует этнических, географических, государственных и языковых границ.

История народной сказки как жанра складывается из конкретных историй сказок отдельных народов. В этом плане существенны и судьбы каждого отдельного сюжета.

Сопоставление живущих в репертуаре разных народов вариантов одного сюжета дает нам возможность не только определить историю этого сюжета или национальные особенности каждой из его версий, но и, нацупав предпосылки его возникновения или освоения фольклорной традицией того или иного народа, наметить некоторые закономерности в сложном процессе, каким является жизнь устной сказки как части мирового фольклора.

ON THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CHARACTER OF THE FOLK-TALE

Summary

One of the most essential problems of the study of folklore is that of its national character. The determination of the national character of the folk-tale which is the most «international» kind of oral popular lore presents some special difficulties.

This determination must be based on the historical-typological comparison explaining the similarity of genetically different phenomena by similar conditions of social development. The existence

⁷⁷ Сборник в честь В. Ф. Миллера. М., 1900, стр. 171.

of cultural contacts and interaction as well as mutual borrowing does not remove the question of the typological regularity of the folklore process.

A comparative study of tale-type No. 1380¹ in the folklore of different peoples offers ground for judging the historical evolution of the plot and the dependences governing the evolution of similar motifs in the folklore of different peoples.

Censure of the unfaithful wife in Russian folk-tales of the No. 1380 type is inseparably connected with satirical ridiculing of her bigotry and superstitions.

These tales still live today in the repertoire of Russian folk-tale-tellers, the main plot pattern remaining intact with the exception of some variations in details. The Russian folk-tales of the type No. 1380 are genetically related to superstitions about miracle-working icons and numerous stories about them.

Outside Russian lore there are many popular tales whose plot is identical with that of the Russian folk-tale about Nikola Duplensky: the tale-type No. 1380 is wide-spread in the world folklore. Variants of plot No. 1380 current in the repertoire of the Slav peoples have so much in common that one may speak of its Slavic version.

The tale-type No. 1380 is known not only in the Slavic world. It is common among the nearest neighbours of the Slavs in the Baltic countries, Bessarabia, Volga Valley, the Caucasus, Karelia and throughout Western Europe as well.

In each case the plot is not a casual, exogenetic element but is closely connected with the national tradition and with the world-outlook, living conditions and the history of the given people.

Just as the Russian tale of Nikola Duplensky may be regarded as an extension of the legends about «miracle-working» icons, so the West-European *Schwank* with a similar plot are closely related to medieval religious and antireligious stories. Both in the Russian reading and other European — Slavonic, Finnish, Germanic, Romanic versions the text is a link in the long chain of the plot and appears against the background of pious stories about a religious miracle as the outcome of flagging faith in this miracle.

We find the most ancient variant of plot No. 1380 which is known to us in the «Panchatantra». It is essentially identical with German *Schwank* of the Middle Ages, with the Russian tale as told by Soviet folk-tale-tellers and with many other European versions as well.

The same relationship between this story and the religious stories which are its source can be traced in the Indian popular tradition as in medieval Western Europe and in Russia.

¹ The unfaithful wife asks a tree how to get rid of the husband; the husband answers her out of the hollow of the tree; she gives him some pancakes etc.; he feigns blindness and then kills the paramour (Andreev, p. 84).

The process of the emergence and development of plot No. 1380 is the same in India and in Eastern and Western Europe. The outline of this process is as follows. At first a pious story of miracles performed by a sacred tree or by the image of a deity, then a humorous story doubting the miracle, then a story of a substitute and finally a tale of an unfaithful wife using the motif of the substitution of a deity or saint. A folktale ridiculing a religious miracle as the final natural stage in the plot's life, in the process of transformation of a religious story into an antireligious tale, is a typological feature in the folklore of quite different peoples.

A comparative study of variants of one and the same plot current in the folklore of different peoples enables us not only to trace the history of the plot or to determine the national features of each version but also to outline certain dependences governing the life of the oral folk-tale as a part of the world popular lore.

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь 1963)

Б. Н. Путилов

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В СЛАВЯНСКИХ ПЕСНЯХ-БАЛЛАДАХ О БОРЬБЕ С ТАТАРСКИМ И ТУРЕЦКИМ ИГОМ

1

В богатом и разнообразном балладном творчестве славянских народов выделяется обширный круг так называемых исторических баллад, связанных в своем содержании преимущественно с эпохой борьбы против татарского и турецкого нашествия на славянские земли. Баллады эти представляют в историко-фольклорном отношении большой интерес. Изучение их может многое дать для понимания характера и особенностей историзма славянской народной поэзии в феодальную эпоху, для установления типов фольклорного историзма этой эпохи. Изучение их важно также для выяснения характера и конкретных форм межславянских фольклорных отношений и связей, для установления некоторых общих закономерностей развития народной поэзии славян, генезиса и истории отдельных жанров.

Термин «историческая баллада» постепенно получил известное распространение в славянской фольклористике, хотя и не может считаться достаточно закрепившимся в научной практике и тем более — вполне определившимся с точки зрения более или менее общепринятой научной классификации жанров. Определенности в данном случае мешают по крайней мере два существенных обстоятельства. Во-первых, в славянской фольклористике нет единого, признанного определения народной баллады как жанра; понимание ее художественной природы и сущности различно, а отсюда не совпадают и представления о границах данного жанра и о его конкретном составе. Во-вторых, выделение собственно исторических баллад затрудняется необходимостью определить их место среди других историко-песенных жанров, прежде всего —

песен эпических и исторических, которые сами по себе не до конца изучены в жанровом отношении и относительно которых также существует немало спорного.

В науке накоплен, хотя до сих пор и недостаточно систематизирован, значительный материал по историческим балладам отдельных славянских народов и — частично — по связям между ними. Это позволяет не только подвести некоторые итоги и попытаться обобщить полученные результаты, но и приступить к более углубленному исследованию ряда проблем в свете современной научной методологии.

Основательный интерес к названным проблемам может быть отмечен в болгарской фольклористике. В силу известных исторических обстоятельств болгарская народная поэзия дала особенно много произведений, в которых отразились события и переживания эпохи турецкого владычества и борьбы с ним. Наряду с песнями юнацкими, гайдуцкими и собственно историческими, здесь сложилось много песен специфического характера, которые Б. Ангелов в специальном цикле статей выделяет в группу «так называемых исторических народных баллад или легенд»¹.

К этой группе Б. Ангелов относит «баллады об исторических лицах с конца XIV до XVIII в.» и «баллады из общей жизни болгарского народа в исторических условиях турецкого владычества в Болгарии с конца XIV до XIX в.»².

По словам болгарского исследователя «историческая народная баллада занимает у нас достаточно широкое место в кругу народной баллады и вообще народной песни»³.

Впервые в болгарских фольклорных изданиях исторические баллады были выделены в самостоятельный раздел в известной антологии Б. Ангелова и Хр. Вакарелского⁴. Однако полной ясности здесь не было достигнуто, так как в данный раздел были включены произведения, с большим основанием относимые обычно к историческим песням, а с другой стороны некоторые песни — типичные исторические баллады — сюда не вошли и были напечатаны позднее в антологии, посвященной народной исторической эпике⁵. С характерной тенденцией — рассматривать исторические баллады как исторические песни — можно встретиться в ряде

¹ Б. Ангелов. Българската народна историческа балада. «Училищен преглед», г. XXXI, 1932, кн. 1, стр. 37. Эта и цитируемая ниже статьи переизданы в кн.: Б. Ангелов. Литературни статии. София, 1960.

² Е го же. Българската народна балада из живота на народа под турци от края на XIII в. до половината на XIX в. «Училищен преглед», г. XXXII, 1933, кн. 2, стр. 118.

³ Е го же. Литературни статии, стр. 38.

⁴ Сенки из невиделица. Книга на българската народна балада. Съставили Божан Ангелов и Христо Вакарелски. София, 1936 (далее — Ангелов — Вакарелски. Сенки из невиделица).

⁵ Трем на българската народна историческа епика. Съставили Божан Ангелов и Хр. Вакарелски. София, 1939 (далее — Ангелов — Вакарелски. Трем).

работ и сборников по болгарскому фольклору, что, конечно, связано с определенным пониманием песенного историзма⁶.

С этим связано также стремление некоторых болгарских ученых соотнести содержание отдельных баллад с конкретными фактами истории, найти для балладных персонажей реальных прототипов. На мой взгляд, применительно к балладам штудии в духе исторической школы не могут дать убедительных результатов: баллады обладают особой мерой и особым характером историзма. Было бы неверно вообще отрицать наличие в иных из них отголосков конкретных событий и судеб реальных лиц. Но в эстетической системе баллад такие отголоски не определяют песенного историзма, они сами как бы растворяются в этой системе и служат специфическим художественным задачам жанра⁷.

Вопрос о принципиальном и конкретном разграничении в болгарском фольклоре исторических баллад и исторических песен как двух самостоятельных жанров, выражающих различные типы народнопесенного историзма, нуждается в дальнейшем исследовании. При этом следует учитывать переходные случаи, свидетельствующие о том, что отдельные произведения несут на себе отпечаток постоянно происходящего процесса взаимодействий и взаимовлияний между отдельными жанрами, особенно смежными.

Исторические баллады взаимодействуют не только с песнями историческими, но и с жанрами бытовой лирики. Тесная связь между ними позволяет исследователям относить некоторые баллады (особенно с ослабленными эпическими признаками) к области бытовых песен⁸.

Плодотворным представляется стремление исследователей выяснить в широком плане те реальные исторические отношения и

⁶ Ср., например: За правда и за свобода. Юнашки, хайдушки, исторически и партизански народни песни. Увод, избор и бележки от Генчо Керемедчиев, София, 1947; Български народни песни. Лирика и епос. Избрал и подредил Генчо Керемедчиев. Изд-во «Български писател» [1948]; Л. П а ц о л о в. Исторически спомени в народната поезия. «Българска литература. Основни въпроси», част първа, София, 1947; Исторически песни. Отбрал и редактирал Хр. Вакарелски. Българско народно творчество в дванадесет тома, т. 3, София, 1961 (далее — В а к а р е л с к и. Исторически песни).

⁷ Обширный материал по историческим сопоставлениям болгарских народных песен имеется в названных выше работах. Новейшую сводку данных по историческому приурочению песенных имен см. в статье: А. Д и м и т р о в а и М. Я н а к и е в. Предания за исторически лица в българските народни умотворения. «Известия на Семинара по славянска филология при Университета в София», кн. VIII—IX, 1948. Там же библиография по теме (далее — Д и м и т р о в а — Я н а к и е в).

⁸ См., например: А. П. С т о и л о в. Показалец на печатаните през XIX век български народни песни. I. 1815—1860. София, 1916, стр. 150—159, 178—183; II. 1861—1878. София, 1918, стр. 96, 208—211 (далее — С т о и л о в. Показалец, I, II); Преглед на българските народни песни. Под редакцията на Ст. Романски. «Известия на Семинара по славянска филология при Университета в София», кн. V, VI, 1925, 1929 (далее — Преглед на българските песни, I, II).

коллизии, которые были характерны для народной жизни в продолжение ряда веков и получили устойчивое отражение в песнях. Ученые справедливо рассматривают исторические баллады в их основном составе как продукт многовекового творчества народных масс, падающего главным образом на период XIV—XVIII вв. Основное ядро болгарских исторических баллад сложилось в первую половину этого периода. В балладах предстает — изображенная преимущественно с одной стороны, но чрезвычайно широко и сильно — жизнь народа в тягчайшую для него эпоху. «Судьба народа под рабством и борьба за освобождение — это основная тема наших исторических песен (имеются в виду также и исторические баллады. — Б. П.) в продолжение пяти веков. Они раскрывают картины ужасов и насилия, исключительных страданий и скорби, которые потрясают, но одновременно — они свидетельство твердости и решительности народных масс, которые никогда не примирились с рабством, никогда не теряли веры в свои силы и в лучшее будущее. Отсюда — вопреки глубокому трагизму — оптимизм этих песен, которые ярко показывают передовое историческое сознание народа»⁹.

Болгарские исторические баллады отличаются богатством художественного содержания, совершенством формы. Среди них преобладают песни с остро драматическим содержанием, которое развернуто чаще всего в хорошо разработанных повествовательных, сюжетных формах. Вместе с тем есть немало песен по своей структуре лиро-эпических и лирических; в них собственно рассказ о событиях остается за пределами текста, сюжетная сторона сведена к какой-то одной ситуации, и все внимание сосредоточено на переживаниях, на внутреннем состоянии героев. Во многих балладах драматические коллизии прочно связаны с картинами народного быта; густой бытовой фон и обилие бытовых подробностей придают песням особую жизненную полноту. Подчеркнутое внимание в них к внутреннему миру героев, резкость и драматизм человеческих характеристик делает их произведениями большого психологического настроения.

Многие исторические баллады могут быть с полным основанием отнесены к классике болгарского (и шире — славянского) фоль-

⁹ П. Д и н е к о в. Български фолклор. Част първа. София, 1959, стр. 522; ср.: е го ж е. Фолклорът и историята на българската литература. «Литературна мисъл», 1957, кн. 6, стр. 18—19. Общую характеристику этих песен см. также в работах последнего времени: И, И в а н о в. Българските народни песни. София, 1959; Л. Н и ц о л о в. Народната съпротива през турското владичество в народната поезия. В кн.: Българска литература. Основни вопросы, част първа, София, 1947; Ц. Р о м а н с к а - В р а н с к а. Българско народно поетично творчество. Хрестоматия. София, 1958; В а к а р е л с к и. Исторически песни, стр. 27—42; см. также советские работы: Эпос славянских народов. Хрестоматия. Под общей ред. П. Г. Богатырева, М., 1959 (автор раздела «Болгарский эпос» — И. М. Шептунов); Антология болгарской поэзии. Сост. и вступит. статья В. Злыднева, Д. Маркова и А. Собковича, М., 1956.

лора: это «Три синджира рабов», «Царь и белая Рада», «Рабыня и Стара Планина», «Янычар и его первая любовь» и др. Исследователи справедливо подчеркивают, что песни эти, проникнутые стойким и горячим чувством патриотизма и свободы, ярко выразили самосознание болгарского народа, не смирившегося с порабощениями.

Македонские исторические баллады в большинстве своем близки к болгарским, а часть сюжетов тех и других совпадает. В записях из Македонии дошли превосходные тексты песен о белой Раде из Будим-града, о рабыне, оставляющей в лесу своего ребенка, о браке между братом и сестрой и др. Как и в болгарском фольклоре, балладные мотивы нередко встречаются в македонских юнацких песнях, например в песне об освобождении Марко полона.

В современном сборнике македонских песен песни о народных страданиях под турецким игом составляют особый раздел¹⁰. По словам современного исследователя, «одной из наиболее характерных черт македонских народных песен является их историзм», который с большой силой проявляется уже в фольклоре начала XIV в. Своеобразие этого историзма заключается, в частности, в том, что ему в значительной степени присущи балладные формы выражения¹¹.

В сербско-хорватском фольклоре тема страданий народа под турецким игом и сопротивления турецким насильникам получила преимущественное развитие в юнацких песнях. Можно заметить, что целый ряд коллизий, характерных именно для исторических баллад, получает реализацию у сербо-хорватов преимущественно в эпической поэзии¹². Правда, трудно говорить с полной уверенностью, в какой степени данное наблюдение отражает реальные соотношения в фольклоре: повышенный интерес к собиранию, публикации и изучению в первую очередь юнацких песен, видимо, сказался на отборе и издании произведений других жанров. Характерно, что целый ряд образцов типичной исторической баллады отмечен в сборниках сербско-хорватского фольклора в крайне незначительном числе записей. Видимо это обусловлено не столько степенью их популярности, сколько интересами собирателей¹³.

¹⁰ Македонски народни песни. Текст и мелодии записал Коста Църнушанов, София, 1956.

¹¹ Хр. В а к а р е л с к и. Дух и съдържание на македонската народна песен. «Македонска мисъл», 1946, № 3-4.

¹² Ср. сходное замечание об этом в рецензии Й. Горака на сборник хорватских народных песен: «Národopisný věstník československý». roč. V, Praha, 1910, str. 176.

¹³ А. Гаврилович отмечает, например, большую популярность у сербо-хорватов песен с мотивом возвращения домой брата и сестры, уведенных турками (Историја српске и хрватске књижевности усменога постања. Београд, 1912, стр. 125). Между тем в публикациях известны единичные тексты песен с этим мотивом. Ср. также: О. Delorko. Nekoliko misli

Интересующие нас песни редко получают в предлагаемых учебными и издателями схемах жанровой классификации самостоятельное место. Чаще они рассеиваются по различным рубрикам «епске», «епско-лирске» и «лирске» «песме». Те из них, которые по своему характеру не могут быть отнесены к собственно эпическим, помещаются среди баллад и романсов¹⁴, «причалиц»¹⁵, песен собственно лирических, по традиционной терминологии — «женских»¹⁶. Известный издатель народных песен Н. Андрич часть исторических баллад отнес к причалицам, «которые рассказывают (pričaaju) и описывают женские события (dogadjaaj) без трагического и тяжелого финала», а часть — к романсам и балладам, которым такие финалы как раз свойственны. Андричу принадлежит интересное общее определение этих песен — «ženska ju-paška»¹⁷.

Сербско-хорватские песни также отличаются драматизмом содержания: в них преимущественно говорится о набегах турок, о зверствах янычаров, об уводе полона, о надругательствах над беззащитными людьми. С той же силой, что и в болгарских песнях, выражено здесь непримиримое отношение народа к поработителям. Обостренное внимание к драматическим коллизиям, возникающим в семейных отношениях вследствие вмешательства в народную жизнь чуждых ей жестоких иноземных сил, — внимание, вообще свойственное балладам, в песнях сербско-хорватских особенно значительно.

Украинский материал по исторической балладе — не столь значительный в количественном отношении, как южнославянский, — в большой мере учтен и систематизирован, хотя некоторые существенные историко-фольклорные проблемы, с ним связанные, недостаточно прояснены. В частности, требует дальнейшего изучения вопрос о жанровом выделении исторических баллад из обширного круга произведений украинского историко-песенного фольклора, особенно — вопрос о разграничении баллад

o našoj narodnoj poeziji. «Zbornik za narodni život i običaje», knj. 40, Zagreb, 1962.

¹⁴ См., например: Антологија народне поезије. Приредио Винко Витезица. Београд, 1937; Narodne pjesme otokarka. Prikupio o biljež kama popratio Viskoslav Štefanić, Zagreb, 1944 (далее — Štefanić); Српске народне pjesme. Уредили В. Поповић и Н. Симић. Загреб, 1946; Naše narodne pjesme. Romanse i balade. Pjesme o narodno-oslobodilačkoj borbi i izgradnji. Uredio Gubelic, Zagreb, 1955; Др. А. Стефановић, В. Станислављевић. Преглед југословенске књижевности. Приручник за средње школе, књ. I. Београд, 1959; Z. Jabuka. Hrvatske narodne balade i romanse. II knjiga. Uredio Olinko Delorko. Zagreb, 1956.

¹⁵ Hrvatske narodne pjesme. Skupila i izdala Matica Hrvatska. Uredio Nikola Andrić. Knj. 6, Pričalice i lakrdije. Zagreb, 1914 (далее — Andrić, кн. 6).

¹⁶ Ср., например: Женске народне песме. Антологија. Приредио Јаша М. Продановић. Београд, 1925; Преглед народне књижевности с примјерима и теоријом. Sostavio M. Sova, Zagreb, 1955.

¹⁷ Andrić, кн. 6, стр. V—VI.

и исторических песен. Включение типичных баллад в общий ряд исторических песен обычно для многих сборников и исследований по украинскому фольклору¹⁸.

В новейшей обобщающей работе часть исторических баллад рассматривается в разделе, посвященном историческим песням, а часть — в связи с жанром баллад¹⁹. Следует признать верным указание исследователей на преимущественно балладный характер большинства песен о татарской и турецкой неволе²⁰. Песни эти обычно относят к XV—XVII вв., хотя иногда не отрицается возможность зарождения «многих из песен о татарских набегах и в раннюю пору», т. е. в XIII—XIV вв.²¹ С таким решением проблемы исторического приурочения сохранившегося материала в принципе можно согласиться. Однако вопрос о времени возникновения отдельных песен еще нуждается в дальнейшем изучении.

Украинские песни отличаются крепким художественным единством: повествовательное начало в них ослаблено; обычно это песни лиро-эпического склада, с преобладанием лирических монологов, плачей, диалогов, с незавершенностью сюжетной развязки.

В прошлом украинские исследователи уделили много внимания сопоставлениям украинских исторических баллад с песнями других славянских народов. В результате накоплен порядочный фактический материал и сделаны некоторые существенные выводы. Проблема нуждается в пересмотре в свете более широких данных и с точки зрения современных принципов сравнительно-исторического изучения фольклора²².

В белорусском фольклоре песен рассматриваемого нами типа немного, большинство их близко к украинским балладам — как в сюжетном плане, так и по своим общим художественным особенностям. Нет достаточных оснований рассматривать эту небольшую

¹⁸ См., например: Исторические песни малорусского народа. С объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова, т. 1. Киев, 1874 (далее — Антонович — Драгоманов); Я. П. Новицкий. Малорусские исторические песни, собранные в Екатеринославщине. 1874—1903. «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии». Год третий, вып. IV, 1908 (далее — Новицкий); Українські народні думи та історичні пісні. Упорядкували: П. Д. Павлій, М. С. Родіна, М. П. Стельмах, Київ, 1955; Історичні пісні. Упорядкували: І. П. Березовський, М. С. Родіна, В. Г. Хоменко. Київ, 1961.

¹⁹ Українська народна поетична творчість, т. I, Дожовтневий період. Київ, 1958; ср. стр. 521 и 588.

²⁰ Ф. Колесса. Українська усна словесність. Львів, 1938, стр. 88; Народні балади Закарпаття. Запис та впорядкування текстів, вступна стаття і примітки А. В. Лінтура. Ужгород, 1959, стр. 7 и др.

²¹ Антонович — Драгоманов, стр. XIII.

²² См.: Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство, т. I. Львов, 1899; Антонович — Драгоманов (комментарии к отдельным песням); І. Франко. Студії над українськими народними піснями (ч. I). «Записки Наукового товариства ім. Шевченка», т. 75—76, 78, 83, Львів, 1908 (далее — Франко. Студии).

группу песен как специфическую форму белорусского эпоса, как это делается в некоторых работах последнего времени. Удельный вес их в белорусском фольклоре определяется историческими обстоятельствами жизни белорусского народа — иными, чем у украинцев или русских, не говоря уже о южных славянах²³. Изучение белорусских исторических баллад в сравнительном плане должно определить их место среди славянских баллад.

В русской науке также нет полной ясности в определении жанровой принадлежности песен рассматриваемого нами типа. Их помещают среди баллад²⁴ и среди исторических песен²⁵. В последнее время намечается тенденция к тому, чтобы более четко указать их место в русском историко-песенном фольклоре²⁶.

Практически нетрудно отделить исторические баллады о татарском иге от исторических песен XIII—XVIII вв., если в основу положить соображения относительно различных форм народно-песенного историзма. В балладах нет тех внутренних элементов конкретно-исторической системы изображения действительности, которая характеризует исторические песни; они, как правило, не содержат и внешних показателей этой системы — в виде исторических имен и реалий, конкретных приурочений. У баллад и исторических песен — различный круг сюжетов. В то же время есть случаи переходные, свидетельствующие о взаимодействии двух жанров и о связи их с некоторыми общими традициями. Наиболее яркий пример здесь — «Авдотья Рязаночка», в которой несомненные признаки исторической песни своеобразно переплетены с яркими балладными мотивами²⁷. Есть также произведения, занимающие промежуточное положение между героическими эпическими песнями и балладами: «Михайло Козарин» — это былина,

²³ Образцы белорусских исторических баллад приведены в изданиях последнего времени: Р. Р. Шырма. Беларускія народныя песні, загадкі і прыказкі, т. I. Мінск, 1947; Беларускі эпос. Складальнікі: С. I. Васілёнак, М. Я. Грыблат, К. П. Кабашнікаў. 1959; Эпос славянских народов. Хрестоматия. Под общей редакцией П. Г. Богатырева. М., 1959. Там же содержатся краткие характеристики песен. См. также: К. П. Кабашников. Традиции героического эпоса в белорусском народном творчестве. «Основные проблемы эпоса восточных славян». М., 1958.

²⁴ Русская баллада. Предисловие, редакция и примечания В. И. Чернышева. Вступительная статья Н. П. Андреева. Л., 1936.

²⁵ Исторические песни. Вступительная статья, подготовка текстов и примечания В. И. Чичерова. Л., 1956. В. И. Чичеров называет здесь песни о татарском полоне песнями «типа народных баллад» (стр. 13). Жанровая принадлежность этих песен к балладам оговаривается в изданиях: Исторические песни XIII—XVI веков. Издание подготовили Б. Н. Путилов, Б. М. Добровольский. М.—Л., 1960 (далее—Исторические песни XIII—XVI веков); Исторические песни. Вступительная статья, подготовка текстов и примечания Б. Н. Путилова. Л., 1962.

²⁶ См.: Б. Н. Путилов. Русский историко-песенный фольклор XIII—XVI веков. М.—Л., 1960.

²⁷ Ср. там же, стр. 67—73.

в основе которой лежит хорошо знакомая славянской народной поэзии балладная тема («Брат спасает сестру из плена»); «Князь Роман и Марья Юрьевна» — типичная баллада, оформленная в стилистической и композиционной манере былин.

До недавнего времени в науке господствовало убеждение в том, что русские песни о татарском полоне принадлежат временам татаро-монгольского ига, хотя за время своей долгой жизни они претерпели известные изменения. Недавно была предпринята попытка пересмотреть это традиционное приурочение. В. И. Чичеров и вслед за ним В. К. Соколова предложили рассматривать песни о полоне в связи с набегами на Русь крымских татар и турок в XVI—XVIII вв.²⁸ Однако выдвинутая ими аргументация не является достаточно убедительной и не подтверждается при фактической проверке²⁹. Прежняя точка зрения должна быть признана вполне основательной, и широкое сопоставление русских исторических баллад с балладами других славянских народов может подтвердить ее правильность.

В фольклоре чешском (Чехия и Моравия) и словацком исторические баллады составляют вполне органическую часть балладного репертуара. Материал здесь не очень обширен, но он хорошо учтен, систематизирован, и о его значении и месте в истории народной поэзии западных славян имеются многочисленные высказывания.

К. А. Медвецкий в своей известной антологии выделил, наряду с балладами легендарными, семейными, любовными, разбойничьими и другими, также исторические баллады и привел семь их образцов. Он отнес исторические баллады к числу старейших, опираясь не только на их содержание, но и на некоторые особенности их поэтической формы и напева³⁰.

Крупнейший знаток славянской баллады И. Горак характеризует словацкие исторические баллады как замечательный поэтический памятник эпохи борьбы с турками. В них «народ по-своему изобразил неизъяснимые страдания отдельных людей, личные печали и горести турецких времен. . .» «Это исторический документ. . . важный как свидетельство непримиримости славян к турецкому игу»³¹.

²⁸ Исторические песни. Вступительная статья, подготовка текстов и примечания В. И. Чичерова. Л., 1956; В. К. Соколова. Русские исторические песни XVI—XVIII вв. М., 1960.

²⁹ См. об этом: Б. Путилов. Російсько-українські фольклорні взаємозв'язки. «Народна творчість та етнографія», 1960, кн. I.

³⁰ Sto slovenských ľudových balád. Sossbieral a upravil K. A. Medvecký. Bratislava, 1923 (далее — Медвецкий. Sto slovenských balád). Помещенные в разделе «Historické» песни не все, на мой взгляд, могут быть отнесены к историческим балладам.

³¹ Slovenské ľudové balady. Balady zozbieral a štúdiu napísal Jiří Horák, Bratislava, 1956, str. 45, 48; изд. 2, 1958 (далее — Горак. Slovenské ľudové balady).

Песни этого типа И. Горак относит к XVI—XVIII вв.³² Словацкие баллады, как пишет А. Мелихерчик, составляют «ядро исторического фольклора с тематикой противотурецкой борьбы»³³. Некоторые сохранившиеся песни могут быть отнесены еще ко времени борьбы с татарами, т. е. к периоду до XV столетия³⁴.

«В этих произведениях наш народ изображал прежде всего всю жестокость турецкого порабощения, глубину личного несчастья и страдания, которые ему — слабому и беззащитному — приходилось испытывать в течение долгого времени. В памятниках показаны личные несчастья, но в них отражена участь целого народа. Но наш народ в этих балладах изображал не только свою скорбь и страдания, но и свое величие, которое рождалось в борьбе с турками»³⁵.

В словацкой научной литературе проводится довольно четкая дифференциация между историческими балладами и историческими песнями, поскольку жанровые черты тех и других выделяются обычно с достаточной резкостью³⁶. Правда, и здесь встречаются произведения переходного типа.

К классическим образцам чешской (моравской) и словацкой баллады ученые справедливо относят сюжеты о девушке, насильно отдаваемой отцом замуж за турка; о возвращении брата и сестры из турецкого плена; о нападении турок на замок.

Недавно записан цикл преданий о турках, которые возникли в Восточной Моравии в XVII—XVIII вв. и в ряде моментов содержания соприкасаются с историческими балладами. Это выдвигает перед исследователями некоторые новые проблемы³⁷.

Польский материал по славянской исторической балладе сравнительно невелик. Со стороны сюжетной он в основном сходен частью с западнославянским, частью с украинским. Кроме того, у поляков, как и у других славян, есть ряд песен — бытовых и обрядовых, иногда близких к балладам, — с отголосками татарских и турецких мотивов³⁸.

Песни о возвращении брата и сестры из плена, о нападении турок на замок, «Теща в плену у зятя», «Плач девушки поло-

³² Там же. И. Горак помещает эти песни в разделе «Piesne z Tureckých čias» (№ 29—34).

³³ См.: Dejiny staršej slovenskej literatúry. Bratislava, 1958, str. 140.

³⁴ А. Melicherčík. Bojové a revolučné tradície v poézii slovenského ľudu. В сб.: Perečko belavé, červený dolomán. Praha, 1955, str. 13.

³⁵ Там же, стр. 24; ср. также: А. Melicherčík. Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava, 1959, str. 578—579.

³⁶ I. Horák. Slovenské ľudové balady, str. 45; Historické piesme. Texty a komentáre pripravil Rudo Brtáň. Úvod napísal Andrej Melicherčík. Bratislava, 1953, str. 28—31; ср. также: Эпос славянских народов. Хрестоматия, стр. 359—362.

³⁷ D. Rychnová. Turecké války v lidovém podání východní Moravy. Národopisný věstník československý, roč. XXXIII, 1953, № 1-2.

³⁸ См. об этом: J. St. Bystron. Historja w pieśni ludu polskiego. Kraków, 1925, str. 22—24.

нянки» и другие песни польские ученые характеризуют обычно как баллады, хотя иногда некоторые тексты включаются в число песен исторических³⁹. Возникновение их относится обычно ко времени не позже XVII в.

Исследователями отмечено, что балладные песни о татарском полоне на территории Польши зафиксированы только в Силезии. Полагая, что песни такого содержания не могли возникнуть самостоятельно в местах, не подвергавшихся непосредственно набегам врагов, ученые предполагают, что известные полякам сюжеты — словацко-украинского происхождения. Вместе с тем анализ обнаруживает в этих произведениях несомненный польский колорит⁴⁰.

По богатству балладного творчества в фольклоре славян выделяется народная поэзия словенцев. Однако собственно исторических баллад с типичной для них тематикой в словенском материале не так много. В этом отношении фольклор словенцев существенно отличается от поэзии других южных славян. Имеющийся репертуар частью состоит из сюжетов, хорошо знакомых славянам, частью не имеет близких параллелей⁴¹.

Кроме того, в словенском фольклоре есть произведения, занимающие промежуточное положение между балладами и историческими песнями (песни о короле Матияше), а также между балладами и песнями юнацкими. Вопросам возникновения истории словенской баллады посвящены новейшие работы И. Графенауера⁴².

2

Сравнительный анализ славянских исторических баллад позволяет выявить в них общие особенности и дать первоначальный опыт их жанровой характеристики.

Песни эти принадлежат к области историко-песенного фольклора, т. е. к той области народного творчества, в которой получила непосредственное отражение историческая деятельность народных масс, преломилась отношения и коллизии, непосредственно порожденные историческими обстоятельствами отдель-

³⁹ См., например: *Polska pieśń ludowa*. Wybór opracował Jan St. Bystron. Kraków, 1925; *Pieśni lidowe z polskiego Śląska*. Wydał i komentarzem zaopatrzył Jan St. Bystron, t. I. Kraków, 1934 (далее — *Bystron*), *Pieśni z polskiego Śląska*; *Polska epika ludowa*. Opracował Stanisław Czernik. Wrocław—Kraków, 1958; *Jabłoneczka*. Antologia polskiej pieśni ludowej. Włożył Julian Przyboś. Warszawa, 1957.

⁴⁰ См. статьи Быстро́ня, Черника в названных работах и др. Подробнее об этом см. ниже.

⁴¹ Основной состав словенских баллад собран в книге: *Slovenske narodne pesmi*. . . Zbral in vredil Karol Štrekelj, zv. I. Ljubljana, 1895 (далее — *Štrekelj*).

⁴² I. Grafenauer, *L. Vida. Študija o izvoru, razvoju in razkroju narodne balade o Lepi Vidi*. Ljubljana, 1943; его же. *Narodno pesništvo*. «Narodopisje slovencev», D. II, Ljubljana, 1952; его же. *Turki pred Dunajem*. «Slavistična Revija», 1951, № 1—2.

ных эпох. Жанровые особенности баллад обусловлены характером их историзма, который и должен быть прежде всего подвергнут изучению. Наиболее типичные черты этого историзма делают балладу художественным явлением, существенно отличающимся от таких жанров, как былины и юнацкие песни, исторические, гайдуцкие песни, думы.

В отличие от героических эпических песен, баллады не изображают военных столкновений, боевых подвигов, не заключают в себе широких эпических картин общенародной борьбы; события в балладах не получают общегосударственного масштаба и не прикрепляются к известным крупным национальным центрам и к историческим (в эпическом смысле) лицам. Юнак, богатырь — главный герой эпических песен — отсутствует в балладах.

В отличие от исторических песен, содержание баллад чаще всего не связано с конкретными политическими событиями; в них нет обязательной эстетической установки на конкретность содержания; герои их, как правило, не соотносятся с реальными историческими лицами и эстетически не воспринимаются в такой их реальности.

В своем обращении к исторической действительности историческая баллада обнаруживает эстетические признаки, присущие вообще народной балладе как жанру. Главной сферой ее интересов является частная жизнь, семья, но уже не в их внутренних (всегда обусловленных социально) отношениях, а как место приложения исторических (политических) коллизий.

Для баллады бытовые аспекты столь же важны, как и аспекты исторические. Тем не менее они не делают историческую балладу песней собственно бытовой, так как в ней народный быт предстает не просто в его внутренних процессах, с типичными для него отношениями; быт здесь выведен на орбиту истории и насыщен историческими коллизиями.

Как мы уже видели, содержание исторических баллад сосредоточено вокруг темы татарского или турецкого полона. Набег татар или турок на город, село, замок, уничтожение одной части населения и увод в плен другой, дележ живой добычи, горестная участь уводимых в рабство, судьба их в неволе, гибель или спасение или возвращение домой — вот те типичные ситуации, которые — каждая в отдельности и в различных сочетаниях между собой — составляют сюжетную основу баллад. Внутренняя основная их тема — изображение страданий, испытаний, выпадающих на долю народа, и стойкости и непримиримости его перед лицом врага.

Из всех видов славянского историко-песенного фольклора историческая баллада отличается наибольшим драматизмом содержания. Драматизм этот — одно из существенных слагаемых эстетики жанра баллады в целом — получает выражение в напряженности и предельной заостренности сюжетных коллизий; в тра-

гических финалах; в преимущественном внимании к конфликтам и ситуациям, в которых исключена возможность благополучных развязок. В балладах резко нарушено цельное по-своему эпическое представление о действительности — с характерной для него убежденностью в безграничные возможности эпического героя и верой в его неодолимость. Балладу пронизывает ощущение трагической неустроенности жизни, резких противоречий, жестокой силы исторических обстоятельств, которым повседневная жизнь народа не может успешно противостоять. Мотивы неожиданной беды, непоправимых случайностей, ужасных совпадений обычны для баллад.

В исторических балладах почти обязательно присутствует героическое начало, но оно проявляется здесь по-иному, чем в былинах, в юнацких или исторических песнях. Врагам в балладах редко противостоит открыто какая-либо реальная сила. Народ здесь чаще всего предстает незащищенным перед чужеземными поработителями и лишенным эпической монолитности. Баллада делает обычно своими героями слабейших — тех, кто менее всего защищен от самоуправства и кто, казалось бы, более всего нуждается в защите: мать, которую уводят с младенцем в рабство; девушку-невесту, малолетних детей, старуху-мать, ставших добычей похитителей; юношу, брошенного в темницу, и т. п. Но именно в них обнаруживаются крепость духа, способность и готовность пройти через тяжчайшие испытания, бескомпромиссная решимость отстаивать честь и свободу. Преданность семейным, кровнородственным связям, борьба за сохранение или восстановление семьи возводятся балладой на ступень подвига. Нарушение семейного единства, измена родственным связям — равно как и измена своей вере — трактуется в балладах как тяжкое преступление, которое не только безусловно осуждается, но и неизбежно получает должное возмездие. Судьба семьи представляет собою как бы концентрированное выражение судьбы целого народа, нравственные позиции балладных героев воплощают существенные стороны морального кодекса народа, противостоящего врагам.

Конфликты, которые развиваются в балладах, в конечном счете всегда исторически реальны, но они далеко не всегда совпадают с реальностью быта, они в значительной степени освобождены от обязательного соответствия эмпирической достоверности. Балладные конфликты представляют собою как бы доведенные до логического предела, художественно преобразованные в рамках определенной поэтической системы и соотнесенные с общими художественными задачами и принципами жанра реальные исторические конфликты.

Глубокая внутренняя общность баллад, принадлежащих разным славянским народам, выражается не только в принципиальном единстве эстетических (жанровых по существу) качеств, но и в их конкретном художественном воплощении. Сравнительный

анализ обнаруживает единство тематики, близость и многочисленные совпадения в типовых ситуациях, в сюжетике, повторяемость ряда мотивов, внутреннее родство героев. Хотя исторические баллады у славян не отличились — подобно героическому эпосу — в единую (для фольклора каждого народа) поэтическую форму, их в целом характеризует значительная общность поэтики — ряда типовых композиционных приемов и схем, средств изображения, поэтических образов и формул. Многие в этой общности выходят за рамки поэтики одного жанра и связано с более широкими проявлениями славянской фольклорной и языковой общности. Целый ряд поэтических тем, сюжетов и мотивов, из которых складывается основной фонд славянских исторических баллад, может рассматриваться как общеславянский (либо межславянский) художественный материал.

В рамках настоящего доклада могут быть показаны лишь некоторые существенные стороны, характеризующие единство этого материала:

1. Значительное место в исторических балладах занимает круг песен о девушке, становящейся добычей татар или турок. История ее увода или похищения, пребывания в неволе, ее борьбы за возвращение домой, ее спасения или гибели в этой борьбе составляет основу содержания многих песен. Песни часто начинаются эпизодами увода девушки или молодой женщины. Предваряющие иногда эти эпизоды сжатые картины набега, захвата села или города, разгрома, учиняемого врагами, представляют собой экспозицию песни.

Девушку угоняют из села или города, схватывают в поле, забирают во время жатвы; она отстает от подруг в лесу и попадает в руки похитителей; ее уводят во время свадьбы и т. д.⁴³

⁴³ Здесь и далее, учитывая рамки доклада, автор вынужден ограничиться чаще всего ссылками на издания, содержащие типовые варианты и имеющие библиографию. *Болгарские*: Сборник за народни умотворения и народопис, кн. 49, София, 1958, стр. 107—108 (далее — СБНУ). Народни песни от Тимок до Вита. Редактира Васил Стоин, София, 1928, № 437, 2873—2874, 2879, 2890, 2892 и др. (далее — Стоин, 1928); Вакарелски. Исторические песни, стр. 240 и др. *Македонские*: Български народни песни. Собрани от братя Миладиновци. София, 1961, № 70, 87 и др. (далее — Миладиновци); Балгарски народни песни от Македония. Събрал Панчо Михайлов, София, 1924, № 267 и др. (далее — Михайлов). *Сербо-хорватские*: Hrvatske narodne pjesme. Sabrao Stjepan Mažuranić, sv. 1. 2. Izd. U Senju, 1880, str. 179—181 (далее — Маžураић); Narodne pripovietke i pjesme iz hrvatskoga primorja. Pobilježio ih čakavštinom Fran Mikuličić. U Kraljevici, 1876, str. 151—153 (далее — Микүлиčić); Песме и обичаи укуног народа србског. Скупио и издао М. С. Милојевић. III књ., Београд, 1875, № 518 (далее — Милојевић); Štefanić, стр. 100. *Украинские*: Антонович-Драгоманов, стр. 75 и др.; Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Зібрав В. Гнатюк, т. III, Львов, 1900, стр. 145—146 (далее — Гнатюк. Етнографічні матеріали). *Русские*: Исторические песни XIII—XVI веков, № 5—12.

В некоторых песнях турки (татары) нападают на город или на замок, чтобы увести дочь или жену знатного человека: в болгарской и македонской песнях это белая Рада из Будим-града ⁴⁴; в сене словацкой и польской — панна, хозяйка замка ⁴⁵; в русской — боярская дочь из Чернигова ⁴⁶; в сербско-хорватской — прекрасная Мара ⁴⁷. Такое развитие сюжета, когда набег совершается ради одной женщины, заставляет предполагать его связь с более ранними фольклорными сюжетами о борьбе за женщину, характерными для героического эпоса различных стадий.

Нередко песни начинаются сразу с изображения того, как ведут полон. Через многие исторические баллады проходит образ трех синджиров невольников (синджир — цепь, связка, веревница), особенно характерный для болгарского, македонского, сербско-хорватского фольклора. Три синджира составлены обычно из девушек-невест, молодых женщин и парней. Когда они идут через лес, лес сохнет, будто бы от пожара или от засухи. Синджирам соответствуют в других песнях три полонянки (иногда они сестры). Главное содержание таких песен составляют жалобы невольниц, их скорбь о самом дорогом и привычном, что оставлено дома, их горестные думы о предстоящих испытаниях ⁴⁸.

2. С историей похищения или увода девушки связывается история ее брака с одним из похитителей. Уже в песнях рассмотренного типа могут появиться мотивы понуждения полонянки к такому браку ⁴⁹.

В песнях, как правило, возникает остро драматическая ситуация: девушка воспринимает возможность подобного брака как тягчайшее несчастье, отвергает его и ищет пути избавления.

Отношение полонянки к браку с турком или с татаринном часто выражено в форме плача, в который могут вплетаться мотивы свадебного причета: полонянка плачет, обращаясь к своей косе. Этот чрезвычайно эмоциональный мотив отмечен мною в русской

⁴⁴ Преглед на българските песни, II, стр. 181; Димитрова — Янакиев, стр. 467; СбНУ, кн. 46, стр. 97; Вакарелски. Исторически песни, стр. 203—206; Миладиновци, № 107; Михайлов, № 221.

⁴⁵ Med veský. Sto slovenských balad, str. 28—29 (Hogák. Slovenské ľudové balady, N 29); Polska epika ludowa, str. 63—64.

⁴⁶ Исторические песни XIII—XVI веков, № 5, 7, 9—12.

⁴⁷ Andrić, кн. 7 (1929), № 358; Српске народне песме (женске). Скупио Ђорђе Рајковић. Нови Сад, 1869, № 221 (далее — Рајковић).

⁴⁸ Преглед на българските песни, I, стр. 617; II, стр. 214—215; Стоин, 1928, № 2867—2871; Ангелов — Вакарелски. Сени из невиделица, № 150; Ангелов — Вакарелски. Трем, № 43; Andrić, кн. 6, № 403; Српске народне песме (герзавске и ђевојачке) из Босне. Скупио их П. Мирковић, Панчево, 1886, № 168 (далее — Мирковић); Антонович — Драгоманов, стр. 84—87; Р. Р. Шырма. Беларуска народныя песни, стр. 47.

⁴⁹ Стоин, 1928, № 2856, 2865—2866, 2873; СбНУ, кн. 46, стр. 106; Српске народне песме из Босне (женске). По казивању своје жене прибиљежно С. Н. Давидовић, Панчево, 1884, № 12 (далее — Давидовић).

былине-балладе «Михайло Козарин»⁵⁰, в украинских песнях о полонянке⁵¹, в сербско-хорватских песнях о трех невольниках⁵², в песнях болгарских и македонских⁵³, словацких⁵⁴, словенских⁵⁵. Мотив обращения к косе в этих сюжетно не одинаковых песнях всюду встречается в сходных ситуациях и дается в очень близкой стилистической разразботке. В данном случае мы имеем дело со схождением историко-типологического порядка: в основе этого общего мотива лежит общая традиция — бытовая (один из моментов свадебного обряда, связанный с расплетением косы невесты) и поэтическая (отражение этого момента в свадебных песнях)⁵⁶.

Девушку, сопротивляющуюся браку, бросают в темницу, где она проводит много лет; здесь ее находит суженый, хочет выкупить ее и т. д.⁵⁷ Девушка хитростью добывает нож и закаляется, бросается в Дунай⁵⁸, убивает своего владельца⁵⁹. Чтобы не стать женой царя, Мара, по совету родных, ставит ему невыполнимые условия⁶⁰. В русских и украинских песнях полонянка упрашивает владельца отпустить ее домой, отказывается от подарков, убегает и т. д.⁶¹

Различные драматические ситуации возникают, когда брак все же совершается: полонянка не может примириться, она ищет

⁵⁰ Древние росийские стихотворения, собранные Киршеем Даниловым. Издание подготовили А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. М.—Л., 1958, стр. 140—148.

⁵¹ Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким, ч. I. Думы и думки, М., 1878 (далее — Головацкий, I); Політичні пісні українського народу XVIII—XIX ст. з увагами М. Драгоманова, ч. I, разд. II. Женева, 1885, стр. 135—137; Антонович-Драгоманов, стр. 138.

⁵² Andrić, кн. 7, № 403; Давидовић, № 12.

⁵³ Народне песме македонски бугара. Скупно Стефан П. Верковић. Књ. прва. Женске песме. Београд, 1860, стр. 227; ср.: А. Потебня. Объяснения малорусских и сродных народных песен. II. Колядки и щедровки. Варшава, 1887, стр. 290—292.

⁵⁴ Národné zpievanky... Od Jana Kollára D. II. Budapest, 1855, стр. 20—24 (далее — Kollár); Slovenske ľudové balady. Usporiadala Mária Kolečánu. [б. м., 1948], стр. 28—30 (далее — Kolečánu).

⁵⁵ Štrekelj, № 104.

⁵⁶ См. характеристику обряда расплетания косы и песенных его отражений: Хр. Вакарелски. Свадебната песень. Местото и службата ѝ в сватбения обред. «Известия на народния Етнографския Музей в София», г. XIII, 1939, стр. 42—50.

⁵⁷ Народни песни от средна северна България. Редактира Васил Стоин, София, 1931, № 218—221 (далее — Стоин, 1931); Mažuranić, стр. 179—181; Mikuličić, стр. 151—153; Štefanić, стр. 110.

⁵⁸ Димитрова — Янакиев, стр. 467; Миладиновци, № 107.

⁵⁹ Давидовић, № 12; Архив АН СССР, ф. 104, оп. 1, № 327 (белор.)

⁶⁰ Димитрова — Янакиев, стр. 431—432; Стоин, 1931, 150—153.

⁶¹ Исторические песни XIII—XVI вв., № 13—17; Антонович — Драгоманов, стр. 138; Новицкий, стр. 139.

возможности вернуться домой; случайно попав в родное хоро, она открывается братьям и ее отбирают у татарина ⁶². В словенской песне полонянка, которую муж-турок не отпускает домой, умирает от горя ⁶³.

Особо должны быть выделены песни, в которых девушка, просватанная против своей воли родными за турка, ведет отчаянную борьбу с ненавистными ей сватами и женихом. Наиболее полную и законченную разработку этой темы дают словацкие и чешские (Чехия и Моравия) баллады. По характеру финала здесь выделяются две версии: в одной невеста убивает себя, в другой — притворяется мертвой, обманывает сватов и избавляется от них ⁶⁴. С первой версией почти полностью совпадают сюжетно украинские баллады; есть также украинские версии, имеющие специфическую развязку ⁶⁵.

У южных славян сравнительно близкую параллель составляет баллада «Nesrečna nevesta», заканчивающаяся обычно самоубийством девушки ⁶⁶. Близкие мотивы, не всегда приуроченные к туркам, есть в сербско-хорватских песнях; девушка, не желая выйти за нелюбимого (старого), притворяется мертвой, стойко переносит жестокие испытания и остается свободной ⁶⁷. В одной русской песне сохранились следы сюжета о девушке, скрывающейся от жениха ⁶⁸.

Мотиву принуждения к браку с похитителем в ряде песен соответствует (а нередко соединяется с ним) мотив принуждения к вере. Песни о сопротивлении девушки навязыванию ей чужой веры характерны для фольклора южных славян: девушка девять лет находится в заточении, не поддается на уговоры матери; она готова пробыть там еще девять лет, но веры не переменит; узнав, что ее хотят силой заставить переменить веру, она бросается с башни и т. д. ⁶⁹

⁶² СБНУ, кн. 49, стр. 107—108.

⁶³ Štrekelj, № 90—91.

⁶⁴ Kollár, стр. 20—21; Medvecký. Sto slovenských balád, стр. 32—36. Kolečány, стр. 28—30; Horák. Slovenské ľudové balady, N 34; Narodni písně Moravské. Sebral František Bartoš. Sešit I, Praha, 1899, N 17—19 (далее — Bartoš); Moravské národní písně. Sebral i vydal František Sušil. Pr., 1951, N 310—313 (далее — Sušil).

⁶⁵ Антонович—Драгоманов, стр. 302—312; Головацкий, I, стр. 37—42; Буковина в піснях. Чернівці, 1957, стр. 37.

⁶⁶ Štrekelj, № 103—106; Narodne pjesni ilirske... Skupio i na svét izdao Stanko Vraz. Razd. I, Zagreb, 1839, стр. 50—52.

⁶⁷ Narodne pjesme. Izdanje Lavoslava Župana. Knj. 1—4. Zagreb, 1848, № 727 (далее — Župan); Rajkoviћ, № 211; Српске народне песме. Скупио их у Срему В. М. Панчево, 1875, № 5 (далее — В. М. Српске народне песме).

⁶⁸ Исторические песни XIII—XVI веков, № 4.

⁶⁹ СБНУ, кн. 46, стр. 96; Rajkoviћ, № 252; Сербские народные песни. Переложены с сербского М. Касторским. Связка вторая. Лейпциг, 1838, № 358.

3. Значительное место в исторических балладах занимают сюжеты, основанные на драматических коллизиях между близкими родственниками в обстановке турецкого (или татарского) владычества.

Имеется группа песен об уходе в полон брата и сестры: девушку берет в жены или в прислужницы хозяин, юношу заточают в темницу; проходит много лет, пока сестра вспоминает о брате, проникает к нему. Различные версии имеют свою развязку: в сербско-хорватских — сестра выпускает брата на волю (он умирает, встретив ее)⁷⁰; в болгарской — сестра освобождает двух братьев⁷¹. Словацкая баллада «Rabovali Turci» — одна из замечательнейших и популярнейших. Для нее характерны эпизоды повествующие о несчастном возвращении сестры и брата домой: мать не узнает их, не дает им поест, не пускает в дом и разрешает им переночевать на гнилой соломе; брат ночью умирает, сестра причитает над ним, мать узнает, что это ее дети, горюет⁷². Моравская баллада отличается лишь некоторыми подробностями⁷³; в очень близких польских песнях ~~смягчен финал~~: брат не умирает⁷⁴. Единственный известный мне украинский текст, соответствующий первой части западнославянских версий, не знает эпизода возвращения⁷⁵.

Особенным драматизмом отличаются песни о кровосмесительном браке, в который вступают брат и сестра, не узнавшие друг друга.

В болгарских и македонских песнях брата и сестру разлучают в плену; когда они вырастают, юноша отправляется искать себе невесту и женится на сестре; у них рождается ребенок, для него покупают няньку, которая узнает в супругах своих детей. Тайна их родства открывается в колыбельной, которую поет женщина. Супруги решают разойтись «на край земли» и т. д.⁷⁶ Прямая параллель к этой балладе встретила мне только один раз в сборнике

⁷⁰ Б. М. Српске народne pesme, № 1; Српске народne pesme. Скупио их по Срему Лазар Николић. Нови Сад, [б. г.], отд. II, стр. 41—43; Hrvatske narodne pjesme i plesovi. Uredili Vinko Žganec i Nada Sremec. Zagreb, 1951, str. 160 (далее — *Žganec—Sremec*).

⁷¹ Преглед на българските песни, II, стр. 200.

⁷² Ho g á k. Slovenské ľudové balády, № 30; Ko le č á n u, стр. 23—27; Medvecký. Sto slovenských balád, str. 31. Горак указывает на венгерские параллели и замечает: «Баллада служила как бы предупреждающим примером, чтобы люди не затворяли двери перед путниками, бежавшими из турецкого плена» (стр. 45—46).

⁷³ Sušil, № 2339.

⁷⁴ Bystroń. Pieśni z polskiego Śląska, N 33a; Polska epika ludowa, str. 67—71.

⁷⁵ Гнатюк. Етнографічні матеріали, III, стр. 145—146.

⁷⁶ Стоилов. Показалец, I, стр. 69; Преглед на българските песни, II, стр. 150—151, 206—207, 515—516; СбНУ, кн. 49, стр. 146; Миладиновци, № 110; Антологија на македонската лирика. Редактори Д. Митрев и Б. Конески. Београд, 1951, стр. 93—95.

сербских песен ⁷⁷. У сербо-хорватов известна иная сюжетная разработка: юноша привозит домой девушку, которую нашел в пути; во время возвращения либо в первую брачную ночь молодые видят тревожные знамения (кровавый град и др.); из расспросов выясняется, что она сестра, некогда угнанная турками ⁷⁸. По другой версии — девять братьев встречают девушку, младший (обычно названный брат) становится ее женихом; венчанье нарушается грозными знаменьями и т. д. ⁷⁹ Обе эти версии есть также у болгар и македонцев, но со значительными отличиями в подробностях ⁸⁰.

У южных славян распространены баллады на тему: «Иноверец берет в плен девушку и узнает в ней свою сестру» ⁸¹. Образцом здесь может служить песня «Янычар и русая Драгана»: после набега турки делят добычу, одному янычару достается русая Драгана; он ведет ее в свой шатер; в полночь янычар видит в небе грозные знаки — синий огонь, кровавый дождь; девушка рассказывает о брате, когда-то взятом турками в плен, по знакам на теле янычара она узнает в нем брата. Они едут домой ⁸².

В сербско-хорватских песнях отличия (помимо особенностей изложения) касаются главным образом обстоятельств захвата девушки; здесь нет мотива грозных знамений, узнавание происходит через обычные расспросы. Мотив узнавания брата по знакам здесь также встречается ⁸³.

Драматическая ситуация, с которой мы сталкиваемся в южнославянских песнях, имеет своей историко-бытовой основой такое явление, как отуречение и увод юношей в янычары из славянских семей. В фольклоре восточных славян подобный сюжет не имел достаточной реальной почвы. Поэтому очень немногочисленные украинские песни дают схематичную разработку этой темы ⁸⁴, а в русских песнях сохранились лишь смутные следы ее ⁸⁵. Можно, однако, предполагать, что песни о девушке, ставшей пленницей брата-иноверца и едва избежавшей инцеста, принадлежат также к общеславянскому сюжетному материалу.

⁷⁷ Милојевић, III, № 419.

⁷⁸ Мирковић, № 32; Рајковић, № 215; Štefanić, стр. 192.

⁷⁹ Anđrić, кн. 6, № 20; Рајковић, № 216; Српске народне pjesme из Лике и Баније, које је сакупио и за штампу приредио Никола Беговић. Књига прва, Загреб, 1885, № 28.

⁸⁰ Стоилов. Показалец, I, стр. 516—517; II, стр. 128—129; Преглед на българските песни, I, стр. 516—517; II, стр. 206.

⁸¹ Преглед на българските песни, II, стр. 206.

⁸² СбНУ, кн. 46, стр. 77; Стоин, 1931, № 161, 197, 1231; Миладиновци, № 87; Димитрова—Янакиев, стр. 508, 512, 516.

⁸³ Anđrić, кн. 6, № 30; Мирковић, № 12; Štefanić, стр. 179—180; Žganeš—Sremes, стр. 70—71.

⁸⁴ Антонович—Драгоманов, стр. 277; Франко. Студии, кн. СХI, стр. 26.

⁸⁵ Исторические песни XIII—XVI веков, № 5, 31—33, 35.

К песням «Девушка в плену у брата-иноверца» примыкают (но не совпадают с ними) песни «Брат покупает сестру». В украинской балладе турок покупает на рынке полонянку, приводит ее к себе, велит стлать постель. Девушка плачет, владелец спрашивает ее о родных, она рассказывает о трех братьях, один из которых ушел «в Туреччину». Происходит узнавание⁸⁶. Мне известны один сербско-хорватский и один болгарский текст со сходной разработкой сюжета, но и с рядом отличий⁸⁷. Наиболее типична для южнославянского фольклора и широко распространена здесь песня с явно поздней ситуацией: муж продает жену, чтобы рассчитаться с долгами, ее покупает турок (арапчин и др.); в эпизоде узнавания обычные мотивы примет на теле брата. Есть также и другие способы узнавания родства⁸⁸.

Мотив несостоявшегося инцеста включается иногда также в песни на тему о спасении братом девушки из неволи. У южных славян — это различные версии песни «Марко освобождает полон». Среди невольниц, которых спасает Марко, оказывается его сестра либо посестрима. Мотив инцеста здесь редок⁸⁹. По ряду моментов близкую параллель составляет русская былина-баллада «Михайло Козарин».

Характерный для песен о кровосмесительном браке мотив покупки супругами матери-няньки встречается в других балладах в иных сюжетных связях. У восточных славян и у поляков известна песня «Теща в плену у зятя»: татарину (турку) после набега достается старая женщина; она становится нянькой в его доме; в колыбельной, которую она поет, раскрываются родственные отношения между нею и ее владельцами. Мать либо остается с дочерью, либо уезжает домой⁹⁰.

⁸⁶ Антонович — Драгоманов, стр. 275—280; Головацкий I, стр. 45—46; III, стр. 15; Франко. Студии, кн. СХI, стр. 25.

⁸⁷ Сборник от български народни умотворения, вып. I. Събирателъ — издатель А. П. Стоилов. София, 1894, № 17; «Посебна издава Српска Академија наука», кн. ССХII. Музиколошки институт, кн. 6, Београд, 1953, № 232. Указание на подобные песни, но, к сожалению, без ссылок есть у Д. Матова (СБНУ, кн. 13, стр. 17).

⁸⁸ Andrić, кн. 6, № 29; Давидовић, № 67; Župan, № 725; Српске народне пјесме из Херцеговине (женске). За штампу из приредило Вук Стеф. Караџић. У Бечу, 1866, № 139. Преглед на българските песни, II, стр. 148—150, 207; Димитрова — Янакиев, стр. 425, 463; Милadinovič, № 137; СБНУ, кн. 35, № 143—145.

⁸⁹ Преглед на българските песни, II, стр. 206, 215; Димитрова — Янакиев, стр. 443; В. Бончов. Израсло дърво високо. Народни песни. Записал и редактировал Димитър Н. Осинин. София, 1950, № 52; Српске народне пјесме. Скупно их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић. II, Београд, 1958, № 62; Т. Р. Ђорђевић. Белешке о нашај народној поезији. Београд, 1939, стр. 154.

⁹⁰ Исторические песни XIII—XVI веков, № 24—38; Антонович — Драгоманов, стр. 286—291; Беларуски эпас, стр. 175—176; Polska epika ludowa, str. 71—72.

Можно предположить, что этот сюжет находится в генетических связях с сюжетом «Мать в неволе у детей-супругов». Возможно, что в более поздних песнях мотив кровосмесительного брака уступил место мотиву брака полонянки и ее похитителя⁹¹.

Как промежуточный этап в этом переосмыслении может быть отмечена болгарская песня о воеводе, которому досталась при набеде девушка с матерью: на девушке он женился, мать взял в няньки; в колыбельной песне женщина рассказала, что он ее сын; воевода не поверил и ударил мать, у него тотчас же отсохла рука⁹². Начало этой болгарской песни как будто объясняет встречающиеся в русских и украинских вариантах песни «Теща в плену у зятя» упоминания о том, что татарин (турок) берет в плен вместе с тещей также сестру, которую он тут же отпускает⁹³.

Ряд мотивов, общих с песнями о матери (теще) в плену у своих детей-супругов (у зятя), есть в моравских преданиях на тему «Мать в плену у сына-янычара»: турки уводят мальчика; спустя много лет в неволе попадает его мать, ее берет в няньки к своему ребенку один из участников набега. Однажды он слышит колыбельную, в которой нянька называет ребенка своим внуком. Мать узнает в хозяине сына (по знакам на теле), сын радостно принимает ее⁹⁴. Можно думать, что предание является одной из поздних трансформаций комплекса мотивов, хорошо знакомых славянскому фольклору.

Сюда же могут быть отнесены песни на тему «Девушка в плену у сестры» с мотивами покупки няньки, пения колыбельной, с эпизодами узнавания по воспоминаниям об общем доме и т. д.⁹⁵

Последняя из тем, которая должна быть отмечена здесь — «Женщина узнает в янычаре своего мужа (свою первую любовь)»⁹⁶.

3

Рамки доклада не позволяют ни умножить число фактов, показывающих широту сюжетных и иных соответствий в славянском балладном материале, ни развернуть сколько-нибудь обстоятельный их анализ. Однако и привлеченные факты дают возможность

⁹¹ Ср. Антонович — Драгоманов, стр. 293; Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство, т. IV. Львов, 1907, стр. 175.

⁹² Димитрова — Янакиев, стр. 734, 975; СБНУ, кн. 42, стр. 28, 128—129.

⁹³ См., например: Исторические песни XIII—XVI веков, № 31—33, 35; Антонович — Драгоманов, стр. 286—287.

⁹⁴ D. R u s h n o v á. Turecké války v lidovém podání východní Moravy, str. 48—54.

⁹⁵ Српске народne pjesme из Херцеговине, № 140; Ангелов — Вакарелски. Сенки из невиделица, № 146.

⁹⁶ Ангелов — Вакарелски. Сенки из невиделица, № 159; Вакарелски. Исторически песни, стр. 260—265.

не только говорить о значительной и многосторонней общности, какую обнаруживают славянские исторические баллады, но и выдвинуть предположение, что в основе этой общности лежат определенные закономерности.

Вполне очевидно, что почвой, питавшей балладное творчество славянских народов, была историческая и бытовая действительность — векá напряженной и самоотверженной борьбы против татарского и турецкого ига и против турецкой и татарской экспансии на славянские земли. Было много сходного и просто общего в исторических переживаниях народов этой эпохи: в тягчайших испытаниях, какие выпали на их долю; в социально-бытовых формах чужеземного владычества; в характере борьбы народов, отстаивавших свою свободу, честь и самое право на существование. Все это не могло не обуславливать значительной общности содержания, идейного звучания, общей направленности славянских исторических баллад.

Основные темы, сюжетные ситуации, многие мотивы баллад могут быть непосредственно возведены к типичным, многократно повторявшимся моментам народной истории и народного быта: угон в рабство молодых людей составлял одну из самых трагических сторон жизни славянства в условиях чужеземного ига; славянские девушки были живым товаром на азиатских рынках в течение столетий; политика отуречивания (насильственного либо происходившего путем обмана, подкупа и т. д.) части населения создавала немало трагических коллизий в жизни народов.

Нетрудно видеть, что историческая действительность во многом определяла и особенности содержания, наличие или отсутствие каких-либо тем, которые характеризуют балладный репертуар каждого народа.

Мы обязаны видеть всю сложность отношений баллад к той действительности, на почве которой они возникали и изображению которой были посвящены. Отношения эти далеки от простого воспроизведения происходившего в действительности, от эмпирического повторения жизни в ее натуральных формах. Балладное творчество есть прежде всего результат отбора жизненного материала. Несомненно, что в отборе этом была своя закономерность, были свои внутренние принципы и установки, иначе он не совершался бы в фольклоре разных народов с такой последовательностью и повторяемостью. Балладное творчество есть также результат определенных художественных преобразований, эстетической обработки фактов действительности. Сложный и пестрый поток явлений действительности трансформируется в балладах в ряд поэтических коллизий, которые получают необычайную типическую силу. В этом художественном процессе переплавки фактов жизни и народных представлений о ней большую роль приобретает поэтический вымысел. Как всегда в классическом фольклоре, вымысел здесь не является вполне свободным, он подчинен

некоторым закономерностям, он обязательно связан с фольклорными традициями, во многом вырастает на основе переработки, переосмысления и отрицания этих традиций. Художественный процесс, его своеобразие и его результаты в конечном счете обусловлены закономерностями самой действительности.

В исторических балладах мы встречаемся с большими художественными обобщениями, в которых сконцентрирован значительный исторический опыт народа и воплощены характернейшие черты его поэтического творчества. Одним из таких крупных обобщений является образ девушки-полонянки. Песни, рисующие ее судьбу, ее борьбу, передающие ее переживания, составляют ядро исторических баллад. Сквозь эти песни открывается нам нечто более значительное — судьба народа, внутренний мир народа, не смирившегося с чужеземным игом. Специфические пути раскрытия этой большой темы обуславливают и некоторые существенные моменты ее художественной трактовки — повышенную эмоциональность, особый лиризм песен. Свообразный идейный подтекст в этих песнях создают две непрерывно переплетающихся темы: тема полной внешней незащищенности народа и тема его непреодолимой решимости отстаивать себя. Полны большого обобщающего смысла и проникнуты необычайным лиризмом мотивы насильственного сватовства и отчаянного сопротивления невесты.

Балладный образ полонянки — одно из замечательнейших достижений славянской народной поэзии. Созданный в своем поэтическом ключе и развернутый в песнях своеобразного лиро-эпического и лирического склада, он в некоторых отношениях не менее значителен, чем образ богатыря, юнака, в котором воплотилась активность народных сил.

Создание образа девушки-полонянки и песен о ней связано с творческим использованием традиций эпоса. Целый ряд поэтических соответствий указывает на то, что художественным источником для этих баллад были эпические песни о борьбе за женщину, частью сохранившиеся в позднейшем бытовании у славян, а частью исчезнувшие либо подвергнувшиеся переработке.

Другой значительный цикл славянских баллад, составленный из сюжетов об ужасных, непоправимых совпадениях, о случайных встречах родных, разлученных рабством, о необычных и страшных отношениях, в которые они вступают, и т. д. — лишь в общих своих моментах может быть соотнесен с реальными семейными коллизиями той эпохи. Весь этот цикл построен путем заострения, доведения до крайних пределов драматизма и трагического сгущения тех жизненных ситуаций, возможность которых порождалась условиями ига. В вымышленных коллизиях баллад с исключительной силой получили выражение народные представления о том, как чужеземное иго, бесчеловечные формы его господства уродовали отношения людей, вносили непоправимые искажения

в бытовые и нравственные основы народной жизни, в семью, как разрушали веками налаженные семейные связи, ставили людей, связанных узами кровного родства, в отношения непримиримых врагов.

Этот цикл баллад также имеет свои художественные истоки в фольклорной традиции. Несомненно, что еще в фольклоре эпохи, предшествующей борьбе славян с чужеземным игом, существовали песни об инцесте, которые могут быть возведены к определенным бытовым отношениям родового строя. Проблема внутрисемейных отношений всегда была одной из основных в фольклоре. Произведения, в которых изображались кризисные моменты этих отношений, раскрывались основные конфликты, для них характерные, составляют едва ли не главное ядро фольклора любого народа. В исторических балладах выявлены те конфликты в семейных отношениях, которые непосредственно порождены игом. Но это вместе с тем конфликты, которые занимали народное творчество и раньше. Здесь есть непосредственная преемственность, в том числе — преемственность проблематики и сюжетно-образных форм.

Общность славянских исторических баллад основывается, таким образом, прежде всего на общности исторических переживаний народов, на общности их отношения к чужеземному игу и чужеземной экспансии, на общих закономерностях художественного восприятия и преобразования явлений действительности. Характер и масштабы балладной общности таковы, что мы с полным основанием можем говорить в данном случае об историко-типологической общности.

В своих трудах, посвященных сравнительно-историческому изучению фольклора, В. М. Жирмунский подробно обосновал тезис о господствующем преобладании типологического сходства в героическом эпосе разных народов. На основе признания этого же тезиса строится ряд исследований последнего времени по эпосу и сказке⁹⁷.

«Основной предпосылкой историко-типологического сравнения явлений литературы или фольклора является единство и закономерность процесса социально-исторического развития человечества, которым в свою очередь обусловлено развитие литературы как одной из идеологических надстроек. . . Типологическое сравнение, недостаточно представленное в предшествующей литературе, имеет чрезвычайно важное значение, так как в повторяющихся явлениях сюжетики и стиля эпоса позволяет раскрыть

⁹⁷ В. И. Жирмунский. Сказанные об Алпамыше и богатырская сказка. М., 1960; В. Я. Пропп. Русский героический эпос. Изд. 2, М., 1958; его же. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946; Е. М. Мелетинский. Герой волшебной сказки. М., 1958; В. Я. Евсеев. Исторические основы карело-финского эпоса, т. I—II. М.—Л., 1957—1960.

социально обусловленные закономерности их развития»⁹⁸. Выделяя чрезвычайно важную мысль о том, что «черты сходства между героическим эпосом разных народов имеют почти всегда типологический характер», В. М. Жирмунский считает характерным для «позднего эпоса» (в том числе для баллады) широкое распространение международных сюжетов и преобладающую роль заимствований⁹⁹. Последнее положение, видимо, нуждается в оговорках применительно к историческим балладам: их героический характер, патриотический пафос, связь с существенными моментами национальной истории сближают их с героическим эпосом.

Встает вопрос о границах типологической общности в исторических балладах: распространяется ли она только на общие черты содержания и образности, на характер основных ситуаций и т. д. или касается также конкретного сюжетного сходства, совпадений в отдельных мотивах, сюжетах и художественных подробностях. В современной фольклористике установлено, что возможности типологических схождений в повествовательной части произведений не ограничены одночленными мотивами¹⁰⁰.

До недавнего времени большинство исследователей склонно было объяснять сюжетные параллели и тем более сюжетные совпадения в исторических балладах не вызывавшими у них сомнений фактами заимствования. При этом выводы делались относительно отдельных сюжетов либо небольших циклов — главным образом на основании сюжетных сопоставлений, — а весь сложный комплекс схождений в идеологии, содержании, образности, в жанровых особенностях исторических баллад в целом не учитывался.

Сравнительный анализ художественного содержания исторических баллад показывает, что в сюжетных схождениях преобладают не совпадения, а хотя и близкие, но не идентичные разработки сходных или общих ситуаций. Такого рода схождения нам представляется не обоснованным объяснять непременно заимствованием. Как правило, мы можем говорить здесь о типологической близости: перед нами различные формы, различные исторические ступени и различные национальные версии разработок общих тем и идей, выросших на общей исторической почве, сходных ситуаций, порожденных сходством явлений действительности, а также близостью художественных источников и поэтических традиций. Большую роль при этом играет то обстоятельство, что мы имеем дело с фольклором народов, которым присуща широкая культурная и языковая общность.

⁹⁸ В. М. Жирмунский. Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса. [Доклад на IV Международном съезде славистов.] М., 1958, стр. 15, 144.

⁹⁹ Там же, стр. 144—145.

¹⁰⁰ Ср. там же, стр. 24.

При таком понимании природы сюжетной близости встречающиеся повторения отдельных подробностей и эпизодов (в рамках близких, но все же не одинаковых сюжетов) могут быть легко объяснены также не заимствованием, а типологическим совпадением, «внутренней логикой» развертывания повествования.

Наличие в балладах различных славянских народов таких общих узловых моментов, определяющих содержание песен, как, например, понуждение полонянки к браку с похитителем, сестра — пленница брата, теща — пленница зятя носит несомненно типологический характер. Поэтому, например, украинская песня «Брат покупает сестру полонянку» и сербско-хорватская песня «Муж продает жену за долги; ее покупает брат», — т. е. песни, в основе которых лежит сходная ситуация, по-разному сюжетно развернутая, — не связаны между собой генетически и не являются примером заимствования, вопреки мнению прежних исследователей¹⁰¹. Точно так же неверно было бы утверждать факт заимствования на основании сопоставления восточно-славянских песен «Теща в плену у зятя» с моравскими преданиями «Мать в плену у сына». В данном случае, как и в ряде других, доказательством не может служить ни близость сюжетов, ни частные совпадения отдельных ситуаций и подробностей. Характерный для этих песен и преданий, а также для некоторых болгарских, македонских и сербско-хорватских песен общий мотив раскрытия тайны родственных отношений через колыбельную песню принадлежит к числу общеславянских (если не шире) поэтических мотивов, а возникающие в песнях в связи с появлением этого мотива сходные подробности (подслушивание, требование повторить песню, первоначальная враждебная реакция слушающих и т. д.) порождены скорее всего опять-таки внутренней логикой повествования.

Характерный для ряда песен эпизод спасения братом сестры-полонянки и предотвращенного incesta окружается в различных песнях сходными либо одинаковыми подробностями (причитание девушки, оплакивание ею косы, грозные знамения в природе, узнавание по знакам на теле и т. д.), которые обычно могут быть объяснены исходя из признания их типологической природы.

Немало сходных элементов может быть обнаружено в композиционных принципах, в образности и стилистике славянских исторических баллад. Так, в балладах большое место занимают монологи и диалоги персонажей. Нередко именно в них сосредоточено основное содержание. Обычно они приобретают форму плачей, лирических жалоб или воспоминаний, риторических обращений. В песнях различных народов они нередко очень близки (даже стилистически), поскольку они создаются с опорой на сходные (иногда общие) фольклорные традиции (свадебные плачи не-

¹⁰¹ См., например: Антонович — Драгоманов, стр. 283.

весты, например); близость еще более усиливается от того, что сходные образы выражены в родственных языковых формах.

Вообще можно указать на целый ряд параллелей стилистического, образно-поэтического порядка, которые встречаются между песнями как близкими сюжетно, так и разными по содержанию: таковы, например, образы увядшего леса, через который провели невольников; пташки, рассказывающей о полоне, о судьбе одной из полонянок, и т. д.; реки, в которой гибнет или благодаря которой спасается девушка; таковы поэтические формулы для изображения набега врагов, захвата полона и др.

В ряде случаев сходство здесь не может быть ограничено пределами данной жанровой разновидности; оно ведет нас к более широкой общности изобразительных средств славянской народной поэзии в целом ¹⁰².

Особого рассмотрения заслуживают те случаи, когда мы имеем дело с одинаковыми сюжетами: совпадение может быть либо полным (при несущественных отличиях), либо преобладающим.

Случаев, когда бы один и тот же сюжет повторялся в балладах если не всех, то большинства славянских народов, мною отмечено очень немного. Чаще всего отмечается наличие одинаковых сюжетов в фольклоре двух-трех народов — либо принадлежащих к одной группе, либо находящихся в непосредственном соседстве друг с другом. При этом внимательный анализ показывает в разработке сюжета, его отдельных эпизодов те или другие своеобразные черты. Иногда эти черты несомненно имеют национальный колорит, характеризуют данную национальную версию, иногда же бывает затруднительно определить их смысл и природу.

До недавнего прошлого все такие случаи безусловно трактовались в свете различных миграционных теорий. На основании сравнительного анализа локального материала были выдвинуты и некоторые концепции относительно конкретных путей миграции, основных очагов, откуда распространялись сюжеты, и т. п. Так, например, получила распространение теория о так называемом «Карпатском цикле», объяснявшая балладную общность репертуара западной Украины, Словакии, Моравии, Польши ¹⁰³. Украинские исследователи пришли к выводу о большой роли южных славян, в первую очередь сербов, в появлении некоторых сюжетов на Украине, а также выдвинули предположение, что сама Украина явилась посредником в миграции западно- и южнославянских

¹⁰² См.: П. Г. Богатырев. Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славянских народов. [Доклад на IV Международном съезде славистов] М., 1958.

¹⁰³ Ф. Колесса. Карпатський цикл народних пісень (спільних українцям, словакам, чехам і полякам). Zvláštni otisk ze zborníku prací I sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. Svazek II, Praha, 1931; В у с т р о і њ. Pieśni z polskiego Śląska.

сюжетов в фольклор восточных славян¹⁰⁴. В исследованиях последнего времени миграционные теории встречают критическое отношение, более подчеркивается национальное творческое начало, которое определенно проявляется и в общих сюжетах¹⁰⁵.

В ряде случаев может быть поставлен вопрос о совместном творчестве непосредственно соприкасавшихся славянских групп. Результатом этого творчества могли явиться некоторые песни, отмеченные без существенных различий и одинаково распространенные у болгар и македонцев, у болгар, македонцев и сербохорватов, у чехов и словаков. В отдельных случаях можно объяснить общность сюжета возникновением его на почве исторической общности, предшествовавшей выделению отдельных народностей. Так, русская и украинская песни «Теща в плену у зятя» восходят, вероятно, к общей песне, уже существовавшей в эпоху древнерусской народности. Проблема выявления фактов историко-генетической общности в балладах ждет глубокого изучения.

В ряде случаев вполне закономерно предполагать творческое усвоение отдельных песен одними славянскими народами у других. При этом необходимо учитывать совокупность вероятных аргументов. Чтобы более или менее надежно обосновать заимствование, необходимо, в частности, указать на факты, которые подтверждали бы первичность сюжета в фольклоре данного народа и вторичность — в фольклоре другого народа. Часто здесь приходится ограничиваться предположениями. Так, можно допустить, что баллада «Рабыня и Стара Планина» — болгарско-македонского происхождения: здесь она зафиксирована в большом количестве полных, хороших вариантов¹⁰⁶. Песня эта всего дважды встречалась мне в сербских сборниках, причем в незавершенном виде¹⁰⁷. Вполне вероятно, что к сербам она попала от соседей. Скорее всего в результате творческого усвоения появилась эта песня в моравском фольклоре: здесь ее сюжет также неполон и в некоторых моментах отражает более поздние отношения¹⁰⁸.

Одна из характерных для болгаро-македонского репертуара баллад — о браке брата и сестры, уведенных в плен, — скорее

¹⁰⁴ Антонович — Драгоманов, комментарии к отдельным песням; Франко. Студии; Колесса. Українська усна словесність. Львів, 1938 и др.

¹⁰⁵ Ср., например: O. Zilinskyi. O vzájemných vzťahoch ukrajinských, českých a slovenských lidových písní. В кн.: Z dejin československo-ukrajinských vztahov. Slovanske štúdie, I, Bratislava, 1957; то же в сб. 3 історії чехословацько-українських зв'язків, Братислава, 1959.

¹⁰⁶ См., например: Ангелов — Вакарелски. Сенки из невиделица, № 147—149; СБНУ, кн. 47, стр. 226—227 и др.; Михайлов, № 226.

¹⁰⁷ Посебна издања Српска Академија наука. Музиколошки институт, кн. 6, № 209; Песме народне, ч. I, скупіо и издао М. Милиславлевић. Београд, 1869, № 42.

¹⁰⁸ Sušil, № 44; Batroš, № 16.

всего перешла в сербский фольклор, не получив здесь, по-видимому, широкого распространения.

Уже **прежними** исследователями была выдвинута мысль о том, что заимствование можно предполагать тогда, когда в сюжете находят такие отношения и явления действительности, которые для жизни данного народа не характерны. Пользуясь этим доводом, И. Франко сделал вывод, что украинская песня о девушке, **проданной** отцом турку, — заимствованного происхождения: по его словам, нет никаких следов, чтобы «у нас отцы продавали дочек туркам»¹⁰⁹.

Он же, анализируя ряд баллад, приходил к более широкому выводу — что обстоятельства народной жизни, в них отразившиеся, не характерны для Галиции ни XV—XVI, ни XVII—XVIII вв., но обычны для Сербии и Болгарии XV—XVII вв.; отсюда делались заключения о путях прихода некоторых исторических баллад в украинский фольклор. Не касаясь здесь фактической стороны вопроса, замечу, что было бы неосторожным судить о близости народных песен к народной жизни по степени прямых отражений в них фактов действительности. Но, конечно, в тех случаях, когда сюжет непосредственно может быть возведен к конкретным историческим обстоятельствам, это служит аргументацией при выяснении возможности его миграции.

Есть сюжеты, которые представляют особенно большой интерес с точки зрения установления природы их межславянской общности. Одной из задач дальнейшего изучения исторических баллад является монографическое изучение некоторых таких сюжетов. Здесь могут быть названы сюжеты о девушке, насильно просватанной родными за турка (чешско-моравские, словацкие, украинские версии; независимые, вероятно, от них версии сербско-хорватские и словенские); «Брат и сестра в плену» (моравские, украинские, польские) и др.

Несомненно, что в славянских исторических балладах получили реализацию постоянные, достаточно сложные и мало наукой исследованные творческие взаимосвязи между славянами. Факты заимствования, творческого усвоения и переработки заимствованного несомненны, хотя их и трудно обосновать. Тем не менее для истории данной жанровой разновидности такие факты не являются решающими. Общность славянских исторических баллад, характер их взаимосвязей определяются в первую очередь типологической природой этой общности. Более того, творческий обмен, миграция отдельных балладных сюжетов имеет в своей основе, скорее всего, типологическую общность. Творчески воспринимались и **становились** частью национального репертуара такие баллады, которые в своем содержании заключали характерные черты типологической общности. Вновь воспринимаемые песни

¹⁰⁹ И. Франко. Студии, стр. 39.

не обязательно должны были соответствовать эмпирически точно реальным моментам народной жизни. Они соответствовали тому кругу поэтических идей, представлений, мотивов, образов, который сложился в фольклоре данного народа на почве его истории, и в типологии которого запечатлелись многие существенные стороны его деятельности, борьбы, мировоззрения.

Рамки настоящего доклада, по вполне понятным причинам, ограничены материалом славянского фольклора. Одна из дальнейших задач исследователя данной темы заключается в собирании и анализе фактов, свидетельствующих о связях славянских исторических баллад с балладами неславянских народов. В научной литературе имеются указания на связи между балладами отдельных славянских народов и венгров, румын, албанцев. Приводятся также факты балладной общности в фольклоре народов балканских стран и Западной Европы. При этом исследователи допускают возможность не только распространения сходных балладных сюжетов в результате творческого усвоения и передачи от одного народа другому, но и самостоятельного возникновения их на основе сходных исторических условий и сходных черт народной жизни и народного характера¹¹⁰.

Изучение исторических баллад — отдельных циклов, основных идей и художественных особенностей — в широком сравнительно-историческом плане на основе современной научной методологии позволит в итоге представить картину возникновения, развития и судеб этого жанра, составляющего заметную часть фольклора многих народов.

THE TYPOLOGICAL COMMUNITY
AND THE HISTORICAL RELATION
IN THE SLAVIC FOLKLORE BALLADS
COMPOSED ABOUT THE STRUGGLE AGAINST
THE TATARS AND THE TURKS

S u m m a r y

In Slavic folklore under feudalism various genres were used to reflect historical reality and historical ideals of the people, each genre presenting its own principles of historical approach, its own

¹¹⁰ Ср., например, некоторые работы последнего времени: J. Horák. Feudální přežitky v slovenských baladách. «Rad kongresa folklorista Jugoslavije. VI. — Bled, 1959. Ljubljana, 1960; G. Ortutaу. Otázka mezinárodních styků ve folkloristice. «Československá etnografie», 1960, № 4; V. Lajos. Kutatások a népdalada középkori történetében. I. Francia eredelű réteg balladáinkban. «Etnographia», Budapest, 1960, № 2-3; M. János. A török háborúk emlékei a magyarországi srlovák népdalokban. «Etnographia», Budapest, 1956, № 3; Deutsche Volkslieder. Balladen. Herausgegeben von John Meier, Leipzig, 1935—1954 (примечания к отдельным балладам); J. C. Chitimia. Poezia populară narativă. Balada. «Studii și cercetări de istorie literară și folclor». 1957, № 3-4.

specific contents and its own specific poetics. The main genres used were epic songs («junac's», «bylina's» and «duma's»), historical songs and historical ballads.

This paper deals with the peculiarities of the Slavic historical ballad, a genre well known in Slavic folklore, and makes an attempt to prove the fact that this genre is common to all the Slavs. The main themes, the aesthetic principles, the principles of historical approach, some individual plots and heroes as well as some particularities of poetics are in most cases very much akin. All the historical ballads current among the Slavs are usually connected with the glorious fight of the Slav population against the Tatar and Turkish invaders; the hard life of the people under foreign invaders and the fate of those who were taken prisoners and driven into slavery form the main bulk of their contents. As a rule, historical (political) clashes are presented in terms of pictures of every day and family life, so that the personal experience of the hero and his family as well as the every day life of the people at large form the main topic of interest.

The main themes used in the Slavic ballads are the following: the story of a young girl abducted and carried off to a foreign country where she is forced to marry a Tatar (or a Turk); a raid to abduct a bride; the wooing of a Slav girl by a non-Christian (an «infidel»); a father (or a brother) forcing his daughter (or sister) to marry a Turk; a girl putting up a desperate resistance to escape a forced marriage or attempting to avoid it by suicide or by killing the bridegroom, and so on.

A great number of these ballads deal with happy (or tragic) meetings of relatives separated by captivity: a brother (a son) rescues his sister (or his mother) from slavery or pays the ransom to set her free; a brother (or a son), who has become a janissare abducts his sister (or mother) to make her a slave; incest or near-incest as a result of their not recognizing each other, and so on.

One of the main ideas propagated by these ballads is that the Slavs will never resign themselves to the lot of being slaves under foreign domination; moral courage and strong family attachment are glorified, while unfaithfulness to one's family is condemned, the family being considered as an embodiment of people's unity and solidarity in the fight against the enemy.

The fact that different Slav communities have historical ballads with common plots, many details being much the same, is to be explained by their common historical and typological character, though migration of some songs from one people to another is a possibility. This typological kinship of contents and form found in the ballads is due to the fact that during the period of their struggle against Tatar and Turk, the historical and cultural development of the Slavs as well as the languages they spoke had much in common. This kinship became so strong and close only as the result of common

traditions, which formed the basis for new creative developments and a common attitude to them among different Slav peoples.

Owing to this typological kinship a ballad created by one Slav people easily found its way to the others, and some of the international plots were remodelled according to the typical laws of the ballad genre.

Ballads created by individual Slav peoples out of their own history and social relationships, as well as those which they remodelled, possessed prominent national peculiarities: the plot is closely connected with the historical events while the form is typical for that used in the folklore of the concerned people. Historical ballads may be said to present a kind of fusion of common Slavic elements with those characteristic of a single nation.

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь 1963)

М. Г. Рабинович

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АТЛАС «РУССКИЕ»

(принципы и методы составления)

В результате многолетних систематических исследований советских этнографов не только накоплен огромный фактический материал, но и разработаны на основе марксистско-ленинской методологии многие общие проблемы, связанные с изучением развития народов.

Современное состояние этнографической науки позволяет поставить трудную, но важную задачу составления историко-этнографических атласов. При этом особое значение приобретают сама методика создания этнографических карт и принципы составления атласа. Этому и посвящен настоящий доклад.

Выработка и координация принципов и методов составления историко-этнографических атласов особенно важны сейчас, когда работа над такими атласами ведется в разных странах.

Картографирование тех или иных явлений представляет само по себе особый вид научного исследования. Оно не только фиксирует их распространение, но и выявляет новые проблемы, связывая изучаемый предмет с факторами географическими, а для исторических явлений — и с хронологическими и социально-экономическими.

В этнографии, как и вообще в исторической науке, картографирование представляет собой по существу графический метод изображения различных объектов и явлений в их пространственных взаимоотношениях, причем это — и метод изображения в пространстве различных аспектов исторического процесса (в данном случае — процесса образования и развития наций). Наряду с этническими картами, посвященными прежде всего современному и древнему расселению народов, большое значение приобретают карты собственно этнографические, отражающие различные стороны жизни народов, характерные черты их национальной

культуры. Этнографические карты позволяют конкретизировать наши представления об освоении народом определенной территории и тем самым делают немалый вклад в изучение этой важной комплексной проблемы этногеографии¹. Этнографические карты имеют огромное значение для изучения населения каждой страны в прошлом и настоящем.

Форма историко-этнографического атласа, состоящего из ряда карт, посвященных развитию культуры народов в определенные исторические периоды, наиболее удобна для обобщения некоторых важных результатов этнографических исследований. В этой форме могут быть четко показаны и общие черты, свойственные той или иной группе народов, и особенности каждого из этих народов, и этнические группы внутри одного народа, и развитие различных областей материальной и духовной культуры. При этнографическом картографировании выявляется также разнообразие, многогранность народной культуры.

Однако эта форма обобщающего научного исследования и наиболее трудоемка. Ведь каждый маленький участок, каждый значок на этнографической карте скрывает за собой огромную работу. Достаточно сказать, что для одних только карт атласа, посвященных русской народной одежде, потребовалось составить более двенадцати тысяч справочных карточек с поуздными, а в ряде случаев — и более подробными данными. При картографировании четко определяются и пробелы исследования, так называемые белые пятна, для заполнения которых необходима дальнейшая работа.

Советские этнографы работают в настоящее время над составлением ряда историко-этнографических атласов. Один из них — «Историко-этнографический атлас Сибири» — издан в позапрошлом году под редакцией профессоров М. Г. Левина и Л. П. Потапова². Ведется работа над атласами, посвященными Средней Азии, Казахстану, Кавказу и др.

Одним из важнейших в этой серии атласов является историко-этнографический атлас «Русские». В отличие от указанных выше атласов, этот атлас посвящен не определенной области, населенной несколькими или многими народами, а народу, населяющему многие области. Он задуман и как региональный атлас, который вместе с подобными атласами других славянских стран и их соседей позволит сделать ряд обобщений или разработать заново ряд вопросов славянской этнографии и этнографии Европы в це-

¹ С. И. Брук и В. И. Козлов. Основные проблемы этнической картографии. «Сов. этнография», 1961, № 5, стр. 9; Ю. Г. Сушкин. География населения и смежные науки. «Материалы I Межведомственного совещания по географии». М., 1961; А. Л. Монгайт. Задачи и возможности археологической картографии. «Сов. археология», 1962, № 1, стр. 6.

² «Историко-этнографический атлас Сибири», М.—Л., 1961.

лом. Ведь историко-этнографический атлас славянских народов можно создать лишь в результате большой предварительной работы по составлению национальных атласов славянских стран. Разумеется, славянские народы не могут рассматриваться изолированно от соседних неславянских народов Центральной и Восточной Европы. И уже сейчас, работая над региональными атласами (один из них — польский — начали выпускать в свет³, а над этнографическими атласами Чехословакии, Югославии, Венгрии и других стран ведется работа), необходимо выделить те общие темы, при разработке которых сопоставление картографических материалов по различным странам дает наибольший эффект для освещения культуры славянских народов в целом, ее общих черт, региональных особенностей и взаимоотношений с культурами соседних народов. Необходимо также разработать хотя бы в главных чертах общую методику составления атласов.

Атлас «Русские» готовится в течение ряда лет коллективным восточнославянского сектора Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР. Инициатором этой работы является проф. П. И. Кушнер⁴. Главный редактор Атласа — чл.-корр. АН СССР С. П. Толстов. В настоящее время подготовлены несколько выпусков атласа, посвященные земледелию, народному жилищу и народной одежде русского населения Европейской части РСФСР в период капитализма и империализма (с середины XIX в. до Великой Октябрьской социалистической революции). В работе над этими выпусками принимали участие В. А. Александров, Е. Э. Бломквист, О. А. Ганцкая, В. А. Горелов, Н. А. Дворникова, В. И. Козлов, П. И. Кушнер, Н. И. Лебедева, Г. С. Маслова, Д. В. Найдич, М. Г. Рабинович, Л. М. Сабурова, М. Я. Салманович, А. П. Смирнов, Т. В. Станюкович, Л. В. Тазихина, П. Е. Терлецкий, М. Д. Торэн, Л. Н. Чижилова, В. И. Чичеров, М. Н. Шмелева, Н. А. Юсов и др.

³ «Polski atlas etnograficzny». Zeszyt próbny. Mapy 1—17, Wrocław, 1958. См. также «Konferenz für volkskundliche Kartographie in Linz a. d. Donau 11—13 Dezember 1958» Linz a. d. Donau, 1959 (ректографированное издание) ins besondere Bericht über die volkskundliche Kartographie in der Slowakei» (Dr. I. Podolak); «Der Stand der Arbeit an der Volkskunde-Atlas in der CSR» (Dr. V. Karbusický); «Bericht über die volkskundliche Kartographie in Jugoslavien» (Prof. Dr. B. Bratanić); «Bericht über die Arbeiten am Ungarischen Etnographischen Atlas» (Dr. J. Barabas); см. также Arbeitstagung über Fragen des Atlas der deutschen Volkskunde in Bonn . . . 1961. Protokollmanuskript. Bonn, 1961 (ректографированное издание).

⁴ П. И. Кушнер (Кнышев), О русском историко-этнографическом атласе. «Краткие сообщения Института этнографии АН СССР», XXII, 1955; О. А. Ганцкая, Г. С. Маслова и Д. В. Найдич. Русский историко-этнографический атлас. «Доклады советской делегации на VI Международном конгрессе антропологов и этнографов», М., 1960 (на французском языке).

Атлас «Русские» строится тематически, раскрывая важнейшие области русской народной культуры в их историческом развитии.

Вначале выявляются условия, в которых живут русские, и расселение русских в различные периоды. Специальный раздел атласа, разработка которого начата, будет посвящен проблемам этнической истории русского народа. В нем предполагается показать расселение славян (в частности — восточных славян) в древности и образование древнерусской народности, как общего предка русских, украинцев и белорусов, ее основные этнографические особенности, а также создание великорусской народности и характерные черты ее развития в период феодализма. Раздел этот, который предполагается построить на исторических, археологических, диалектологических и иных материалах, имеет важное значение для понимания происхождения и многих особенностей материальной и духовной культуры русских. Он должен быть, однако, довольно краток, так как основная часть атласа посвящается развитию русской нации, сначала буржуазной, а в дальнейшем — социалистической.

Раздел атласа, посвященный периоду капитализма и империализма, хронологически охватывает лишь немногим более полувека, в то время как предыдущий — почти два тысячелетия. Но по своей тематике и по материалам, привлекаемым для разработки, второй раздел, разумеется, значительно шире. Здесь предполагается показать монографически все основные разделы материальной культуры русских — особенности их сельского хозяйства (земледелия, скотоводства, охоты и рыболовства, садоводства и огородничества), ремесел и промыслов, народного жилища, одежды, транспортных средств, пищи и утвари. Труднее поддается картографированию духовная культура народа. Но и в этой области могут быть разработаны важные темы, например, календарная земледельческая обрядность, особенности свадебного обряда, распространение определенных видов фольклора и пр.

В будущем, по мере накопления материала, будет составлен новый раздел атласа, посвященный русскому народу в период социализма.

Территориально атлас должен охватывать всю область расселения русских. Естественно, что границы картографирования будут для разных периодов неодинаковы. Если для X в. это будет лишь Поднепровье, Приильменье и верхнее Поволжье, то в конечном итоге нужно будет охватить не только всю Европейскую часть СССР, но и Сибирь, и Казахстан, и Среднюю Азию и все другие районы страны с русским населением. По одним из них уже имеется нужный материал, по другим он еще должен быть

сбран. В настоящее время карты атласа составляются в границах Европейской части РСФСР.

Основной базой для составления этнографических карт является массивный этнографический материал и прежде всего вещевые памятники. Подлинные древние вещи, хранящиеся в музеях и у населения, занимают здесь важное место наряду с сохранившимися еще или ранее зафиксированными старыми постройками и записями исследователей-очевидцев о разных сторонах народной жизни. Однако богатейшие фонды наших музеев как центральных (Государственный музей этнографии народов СССР в Ленинграде, Государственный исторический музей в Москве), так и областных краеведческих музеев (в Костроме, Рязани, Перми, Свердловске, Воронеже, Смоленске, Красноярске, Иркутске и др.), а также Московского музея художественной промышленности, Музея игрушки в г. Загорске и др., можно было использовать лишь после серьезной критической оценки. Эти коллекции, собранные в течение ряда десятилетий, в значительной своей части не отражали достаточно разносторонне жизнь народа. Зачастую, например, в них были представлены только предметы праздничного обихода, а не те, которыми пользовались повседневно. Ощущалась и неравномерность обследования территории. Из одних районов в музеи попало много материалов, из других — почти ничего. Необходимо было значительное пополнение сведений, сбор новых коллекций. Эта работа была проделана экспедициями Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, которые не только собрали значительные коллекции, но привезли также подробные записи, рисунки, фотографии и иные материалы, заполнившие основные пробелы в источниках для составления атласа.

Используя все сведения, имевшиеся в этнографической литературе, вплоть до отрывочных заметок, появившихся время от времени в местных изданиях — «Губернских ведомостях», «Памятных книжках» по губерниям, списках населенных мест Российской империи и т. п., составители атласа обратились к архивам, которые также дали обильный и при том хорошо датированный материал. Были изучены архивы Вольного экономического общества, Русского географического общества, Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Этнографического бюро В. П. Тенишева, Государственного исторического музея, Института этнографии Академии наук СССР, архивы краеведческих музеев и отдельных этнографов. Архивы эти разнообразны по своему составу. Если архив Вольного экономического общества содержит сведения по тематике атласа, относящиеся в основном к первой половине XIX в., то архив Русского географического общества расширяет эти рамки до второго десятилетия XX в., архив же Этнографического бюро Тенишева дает наиболее подробные материалы по 1890-м годам, а архивы Государственного музея этнографии народов СССР, Государственного

исторического музея и Института этнографии АН СССР содержат материалы не только по дореволюционному, но и по советскому периодам.

Наконец, при составлении атласа были использованы опубликованные уже разными авторами отдельные этнографические и историко-культурные карты. Но таких карт немного, и они по большей части уже устарели.

Весьма важные материалы для историко-этнографического атласа дает разрабатываемый сейчас Институтом русского языка АН СССР русский диалектологический атлас, часть которого уже выпущена в свет⁵.

Основным принципом составления атласа является показ различных областей жизни русского народа не статично, а в их историческом развитии. Это относится к каждой затрагиваемой атласом теме. Авторы ставят перед собой задачу не просто зафиксировать каждое явление в определенный исторический период, а выяснить взаимосвязь этих явлений, смену их форм, вытеснение одних форм другими и обусловленность этих изменений в жизни народа его историей.

Для этого важно наметить исторические периоды, которые могут быть рубежами при отборе материалов и картографирования. В жизни русского народа таковы, с нашей точки зрения, время сложения восточнославянских племен и племенных союзов (середина и вторая половина I тысячелетия нашей эры), создание древнерусской народности и феодального государства (IX—XII вв.), формирование и развитие великорусской народности (XIV—XVII вв.), развитие капитализма и переход его в высшую стадию — империализм (XIX—начало XX в.), построение социализма и строительство коммунизма в СССР. Как уже говорилось выше, эти периоды неравнозначны для этнической истории русского народа. Дофеодальный и феодальный периоды могут рассматриваться лишь как вводная часть атласа, а основной его материал посвящается периодам капитализма и социализма. При подготовке раздела атласа, характеризующего русских в период капитализма, в качестве рубежей были взяты середина XIX в. (до и после реформы 1861 г.), 1880-е годы и канун Великой Октябрьской социалистической революции, т. е. периоды ломки феодально-крепостнического строя, бурного развития капитализма и империализма. При этом исследователь может изучить основные формы русского народного быта практически за целое столетие, а иногда и еще дальше проникнуть в глубь истории. Ведь еще накануне крестьянской реформы 1861 г. в России, особенно в крестьянской среде, сохранялись и даже искусственно консервировались такие формы жизни, которые мало отличались от существовавших

⁵ «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», под ред. Р. И. Аванесова, М., 1957.

в XVIII и даже в XVII столетиях. И в материальной, и в духовной культуре русского народа еще доживали старые формы хозяйства, жилища, одежды, пищи и утвари, выработанные в течение веков и отразившие как долгий путь развития самого русского народа, так и влияния других народов, с которыми русские сталкивались в разные времена. Лишь в последующие десятилетия эти формы быстро изменились, а то и вовсе исчезли.

Картографирование всех этих явлений позволяет очертить территорию их распространения, а сопоставив несколько таких районов, можно определить этнические области, имеющие специфические формы культуры. Анализ причин образования таких областей чрезвычайно важен для изучения проблем происхождения русского народа и его связей с другими народами. Этнографические различия внутри русского народа могут быть не только результатом местных географических условий, не только пережитками обособленности славянских племен, из которых он образовался, но и результатом включения в него на каком-то этапе неславянских племен и народов. В одних местах это происходило в древности, в других — уже в XIX в.

Процесс активного культурного общения русских с другими народами идет и в настоящее время. Поэтому особое внимание нужно обратить на те области, где русские длительное время проживают в соседстве с другими народами. Здесь в материальной и духовной культуре неизбежно выявятся взаимные влияния, будут видны как ведущая роль русской культуры среди других народов, так и обогащение ее лучшими достижениями соседей. Это в особенности относится к тем областям, где русское население живет среди старожилых местного нерусского населения, издавна выработавшего наивыгоднейшие в данных географических и хозяйственных условиях формы ведения хозяйства, построек, одежды (например, на севере Сибири, в Средней Азии).

Для дальнейшей работы по составлению раздела атласа «Русские», посвященного периоду социализма, отправным рубежом будет, разумеется, второе десятилетие XX в. Последующими рубежами могут служить тридцатые годы (коллективизация и первые пятилетки) и современность — 50-е—60-е годы (переход от социализма к коммунизму).

Стремясь отразить динамику всех явлений русской культуры, коллектив авторов атласа отказался от методов показа одного и того же явления в разные исторические периоды на одной карте. В самом деле, распространение с юга на север плуга и вытеснение им из ряда районов сохи могло бы быть показано на одной карте, например стрелками соответствующего направления. Однако при всей кажущейся наглядности такой метод чрезмерно схематичен. Он может быть применен преимущественно на картах, отражающих конкретные и при том кратковременные события (например,

военные походы, сражения). При картографировании событий более длительных, например передвижений племен и народов, которые тянутся десятилетиями и даже столетиями, схематизм этого способа уже дает себя чувствовать, так как при помощи его невозможно отразить все многообразие и сложность миграционного процесса. Еще менее он пригоден для историко-этнографических карт.

То же явление можно было бы показать на одной карте и иначе, например методом «динамических ареалов» — с помощью различной штриховки территорий, на которые распространялся, скажем, плуг в то или иное время. Но в этом случае карта была бы наглядной только в отношении одного этого явления. Такая дробность показа потребовала бы значительного увеличения числа карт и не позволила бы совместить различные одновременные явления даже в одной области культуры.

В нашем атласе принята иная методика. Каждая карта показывает распространение нескольких явлений и их взаимоотношения в определенный отрезок времени.

Динамика же этнографических явлений будет видна при сравнении карт разных периодов. По главным темам атласа, например, дается две карты, отражающих их разные этапы развития капитализма: одна для периода с середины до 80-х годов XIX в., другая — для конца XIX—начала XX в. Так, деревянные бороны с деревянными же зубьями в середине XIX в. еще преобладали, а в конце XIX в. они были во многих местах вытеснены деревянными боронами с железными зубьями (плетенками и рамочными). К началу XX в. бороны с деревянными зубьями сохранились лишь в некоторых губерниях на севере (в Олонецкой, Костромской, Архангельской и Вологодской) и отчасти на юге (в Рязанской и Калужской). Деревянные бороны с железными зубьями распространились в связи с переходом от пахоты сохой к пахоте косулями и плугами. В юго-восточных, южных и западных губерниях особенно распространилась плужная пахота, а с ней и целиком железные бороны. Все это выявляется путем сравнения двух карт распространения типов пахотных и разрыхляющих орудий.

На этих же картах и в особенности на картах, посвященных орудиям и способам уборки урожая, можно увидеть постепенное распространение сельскохозяйственных машин — жнеек, молотилок и т. п.

Карты основных комплексов крестьянской одежды показывают, как сокращается территория, где женщины носят поневу, какую носили еще в период существования племен, и как расширяется территория, где носят сарафан. Но интенсивнее всего идет распространение по городской моде кофты с юбкой, усиливается влияние городского костюма на крестьянский. Эти карты чрезвычайно важны не только для тех, кто занимается историей XIX—XX вв.

Они много дают исследователю и более древних периодов. По распространению понева определенного покроя и расцветки можно наметить территорию древних племен — вятичей, кривичей и др. Отдельные «островки», где уже в древности появился сарафан, хотя женщины окрестного населения носили поневу, указывают места, куда московское правительство переселяло в XVI—XVII вв. служилых людей для защиты границ государства.

Процесс развития каждого этнографического явления должен быть показан во всей его многогранности. Ведь почти никогда не бывает так, чтобы какое-либо явление (будь то орудие труда, постройка, костюм или обряд) сразу и совершенно вытеснило из обихода то, что бытовало до него. Это обычно сложный и иногда весьма длительный процесс. И качественные изменения хозяйства, материальной и духовной культуры народа проявляются в возникновении и постепенном развитии одних этнографических форм и отмирании других. Лишь в отдельных случаях удается зафиксировать в этом процессе резкие сдвиги. И они более характерны для периода социализма, чем для периода капитализма, так как в России переход к капитализму произошел без революционной ломки, путем весьма ограниченных реформ.

Крайне редко бывает и так, что тот или иной тип орудий, построек, одежды или фольклорных произведений безраздельно господствует на данной территории в определенный период, а других типов не встречается вовсе.

Все это создает большие трудности при картографировании. Было бы неправильно показывать, например, территорию занятой в середине XIX в. только одним видом пахотных орудий, а в конце XIX—начале XX в. — уже только другим. Тогда создалось бы впечатление резкой смены этих видов орудий. Но было бы также неправильно показать все встречающиеся на этой территории виды орудий с одинаковой интенсивностью (например, покрыв ее чередующимися полосами разных цветов, соответствующих каждому виду орудий). В этом случае карты обоих периодов не отличались бы одна от другой, и мы не получили бы никакого представления о развитии хозяйства.

Составители атласа «Русские» уделили большое внимание определению значимости каждого явления, его количественной характеристике. В результате обработки материалов оказалось возможным разбить все явления в этом плане на три категории: преобладающие по численности, бытующие наряду с другими и встречающиеся сравнительно редко или даже единичные. При картографировании по периодам видно, что многие явления, которые в середине XIX в. редко встречались на тех или иных территориях, в конце XIX—начале XX в. здесь уже устойчиво бытуют или даже преобладают, а те формы, которые в этих местах в середине XIX в. преобладали, к началу XX в. редко встречаются или даже вовсе исчезают.

Таково, например, вытеснение русской беструбной духовой печи («курной», или «черной») «белой» русской печью с трубой. Этот процесс почти полностью завершился к началу XX в. Курные печи, которые в середине XIX в. еще часто встречались, в этот период наблюдаются редко и при том лишь в немногих местах. В тот же период все шире распространяются различные дополнительные печи, так называемые «голландки», в горницах Поволжья и средней полосы Европейской России, печи типа лежанки, которые пристраивали к основной русской печи в южновеликорусских районах, и т. п.

Из сравнения соответствующих карт можно также увидеть, что строительство из глины, камня, самана и обожженного кирпича заметно увеличилось в конце XIX—начале XX в. Причиной этого была хищническая эксплуатация (прежде всего капиталистами и помещиками) лесных богатств страны, в силу чего хороший строевой лес стал в некоторых губерниях почти недоступен крестьянам. Но на большей части территории, заселенной русскими, преобладали по-прежнему постройки из дерева.

Обзор накопленных для атласа материалов показал, что в результате мер, принятых для их пополнения, они распределяются в общем равномерно по всей Европейской части РСФСР. Эти материалы настолько подробны, что за основную территориальную единицу при картографировании может быть принят уезд, а не губерния, как это делалось ранее. В дореволюционной России статистические и иные материалы фиксировались и издавались в лучшем случае по уездам. Эта территориальная единица и является, пожалуй, наименьшей, какую можно положить в основу картографирования для дореволюционного времени на карте Европейской России. Дело в том, что центральные русские уезды были зачастую очень невелики по площади, и дробление административной сетки на более мелкие участки создало бы трудности, едва ли преодолимые при нанесении множества условных знаков, как того требует принятая для составления атласа методика. В дальнейшем для карт периода социализма основной территориальной единицей должен стать район.

При работе над атласом исследователи столкнулись прежде всего с огромным разнообразием всех этнографических явлений. Почти не было случаев, чтобы в каждом уезде не оказалось каких-нибудь местных особенностей конструкции сельскохозяйственных орудий, построек, комплекса одежды и покроя отдельных ее частей, приготовления пищи, празднеств и т. п. Однако попытки картографировать все эти различия в деталях привели бы к полной невозможности отразить в картах процесс развития культуры русского народа в целом. Необходимо было выделить типичные черты, позволяющие определенным образом сгруппировать сходные явления. В некоторых областях русской народной культуры такие типы выделены уже давно (например, типы жилища или

типы народного костюма) ⁶. В других областях, менее разработанных этнографами, типы явлений выделялись в самом процессе работы над атласом. Так, была разработана классификация пахотных орудий по месту прикрепления тяговой силы ⁷. Соотношение распространенности этих типов на картах различных периодов позволяет проследить направление развития культуры русского народа как в общих ее чертах, так и в деталях. Таким образом, работа по классификации этнографических явлений сыграла при составлении атласа весьма существенную роль.

* * *

Из изложенного видно, что атлас «Русские» представляет собой большой обобщающий научный труд, какого еще не знала русская и советская этнографическая наука. Он будет построен на всех материалах, имеющихся в распоряжении ученых, как этнографии, так и смежных наук — географии, археологии, истории, лингвистики.

Подготовленным в настоящее время разделам атласа предпосланы карты, характеризующие природные условия европейской России (почвы, зоны растительности), расселение на этой территории русских в конце XIX—начале XX в., административное деление на губернии и уезды. Далее следуют карты распространения различных типов пахотных и разрыхляющих орудий, способов и орудий уборки хлебов, молотьбы и веяния, сельскохозяйственных построек (сушилен, гумен, мельниц).

Следующая серия карт посвящена жилым домам — их строительному материалу, высоте, форме и материалу покрытия крыши, внутренней планировке, домашним вещам. В этой серии имеются и карты, характеризующие крестьянскую усадьбу — типы двора и связи жилых и хозяйственных построек, расположение домов по отношению к улице, наличие отдельной бани. Как итог даются обобщающие карты типов жилого дома и комплексов жилища.

Третья серия карт касается традиционной народной одежды. В ней также имеются карты распространения отдельных частей женской и мужской одежды и обуви — их материала и покроя, названий и итоговые карты распространения комплексов русского костюма.

Карты поясняет большой иллюстративный материал. К каждой серии, состоящей обычно из двадцати карт, делаются десятки таблиц, показывающих рассматриваемые в ней явления — реальные

⁶ См. «Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX—начале XX в.». Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, т. XXXI, М., 1956.

⁷ Д. В. Найдич-Москаленко. О принципах классификации русских пахотных орудий (место прикрепления тяговой силы, как основной принцип классификации). «Сов. этнография», 1959, № 1.

вещи, способы производства работ и т. п. Как бы подводят итог этим таблицам особые таблицы типов явлений, где показано в основном то общее, что эти явления объединяет, их мы назвали типологическими таблицами. Типологические таблицы являются как бы своеобразным дополнением к легендам карт.

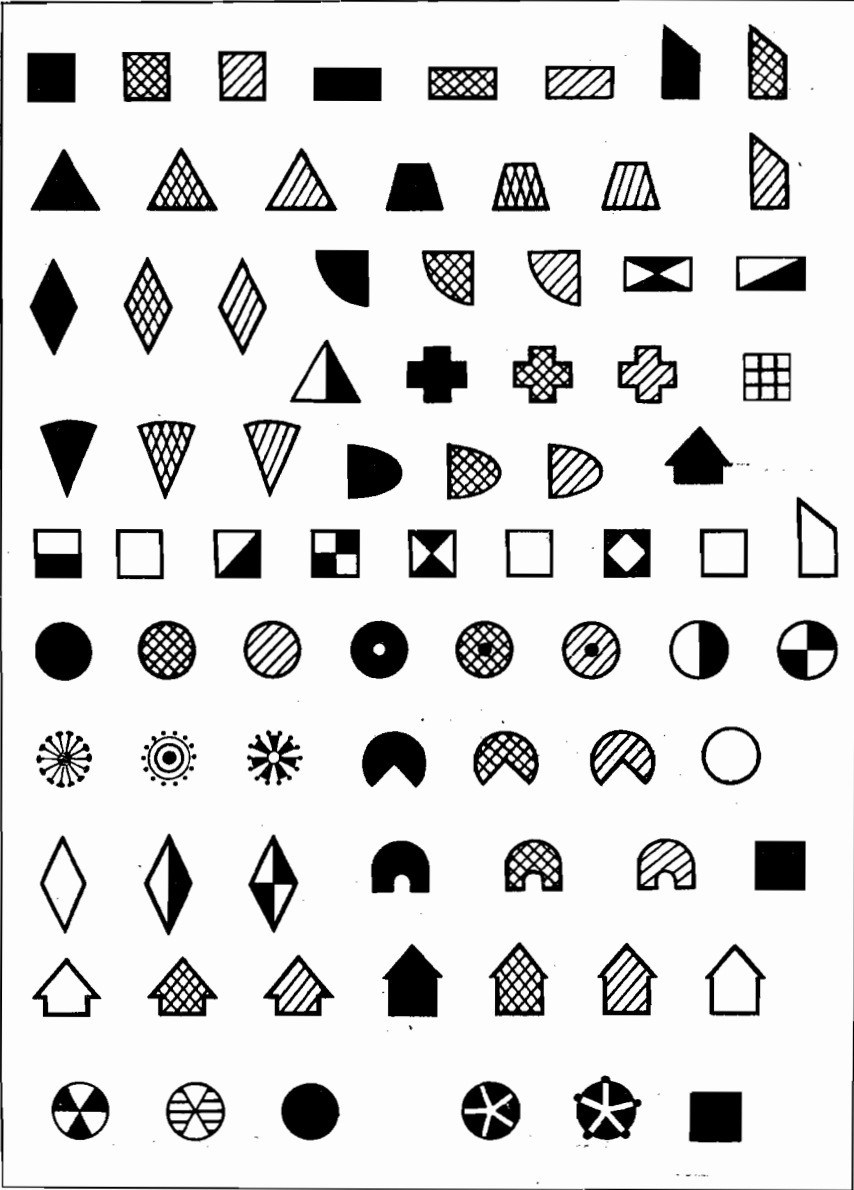
Кроме иллюстративного материала, каждой серии карт предпослано несколько небольших статей — о системах земледелия и сельскохозяйственных культурах, пахотных и разрыхляющих орудиях, способах и орудиях уборки урожая, молотьбы и веяния, о сельскохозяйственных постройках, строительной технике у русских крестьян, о типах жилищ, их внутренней планировке и украшениях, о типах русского народного костюма и украшениях на одежде. Статьи также снабжены рисунками, дающими в основном сравнительный материал.

При оформлении карт перед этнографами и картографами встал ряд задач, связанных непосредственно с методикой нанесения собранных сведений на карты. Здесь были применены и способы сплошной заливки или штриховки территорий и способ значков. Последний оказался наиболее эффективным для карт, посвященных частным вопросам — распространению тех или иных деталей конструкции построек или покроя отдельных частей одежды и т. п. Но самый выбор значков оказался весьма трудным. Ведь с их помощью предстояло показать на карте не только ареалы распространения нескольких явлений, но и дать, как говорилось выше, их количественную характеристику, т. е. показать явления, преобладающие, бытующие наряду с другими и редко встречающиеся или единичные. Все это надо разместить на небольшой площади одного уезда, которая в нашем масштабе занимает всего несколько квадратных сантиметров. Чтобы при этом карта не утратила своего главного качества — наглядности, нужно было немало поработать над самой формой значков. Мы пришли к выводу, что при показе значками явления преобладающие, бытующие и единичные, должны различаться только величиной значков, причем разница между значками всех трех градаций должна быть резкой, ясно ощутимой. Поэтому размер значка для преобладающих явлений должен быть максимальным, какой только допустим при данном масштабе карты, а для единичных явлений минимальным, при котором ясно воспринимается его конфигурация. В некоторых случаях применялся комбинированный метод показа явлений заливкой или штриховкой и значками. Тогда, разумеется, заливкой или штриховкой обозначались явления преобладающие. Это оказалось особенно удобным для таких карт, на которых одновременно нужно было показать немного явлений, компактно сгруппированных на определенных территориях. В районах, где явление, преобладающее на основной территории, только бытует, оно может быть показано значками соответствующего цвета или покрытыми той же штриховкой.

Способ значков не так нагляден, как способ заливки или штриховки, но имеет то преимущество, что с его помощью можно показать на одной карте больше явлений. Тем больше становится значение выбора самой формы значков. Первоначально нам казалось заманчивым выбирать значки, которые самой формой своей напоминают о картографируемом явлении (например, для сохи — знаки напоминающие сошник, для плуга — лемех и т. п.). Однако от этой мысли пришлось сразу же отказаться, потому что такие значки могут быть применены лишь при картографировании незначительного числа сильно различающихся между собой явлений. Когда же на карте будут сотни значков, обозначающих, например, различные виды сох, значки описанного выше типа будут только путать читателя благодаря своему неизбежному сходству. Необходимо, чтобы значки на карте как можно резче различались между собой. Только при этом условии карта будет хорошо читаться. Все вышесказанное побудило нас остановиться на значках геометрической формы (квадрат, круг, треугольник и т. п. — см. прилагаемую таблицу на стр. 458). При этом, однако, в ряде случаев оказывается возможным подобрать для явлений и сходные значки (например, треугольник может обозначать плуг, а квадрат — борону). Нужно, кроме того, выбирать такие значки, разница между которыми одинаково легко воспринимается и при больших и при малых размерах значка. Так, треугольник, четырехугольник и круг вполне удовлетворяют этому требованию, а многоугольник и круг или квадрат и прямоугольник могут при малом размере значка легко быть спутаны читателем. По этой же причине не обязательно (хотя и весьма желательно) сохранять за каким-либо явлением, изображаемым на разных картах, один и тот же значок. Идентичность значков необходима лишь на картах, посвященных одной и той же теме, но разным периодам. Она обеспечивает в этих случаях легкость сравнения карт и не создает никаких дополнительных трудностей.

Если способ значков оказался, как сказано выше, наиболее эффективным для карт, посвященных частным вопросам, то способ заливки или штриховки безусловно наиболее выгоден для карт обобщающих (например, типов жилища, комплексов костюма и т. п.). Эти карты суммируют почти все данные карт частных, позволяют учесть все отраженные там особенности и выделить то общее, что характеризует тип. А типы явлений группируются на вполне определенных территориях. Заливка или штриховка этих территорий помогает с наибольшей наглядностью показать распространение типа, охарактеризовать, таким образом, особенности культуры более или менее значительной области.

Первые выпуски атласа «Русские» вскоре увидят свет. Но работа над атласом в Институте этнографии АН СССР продолжается. Она рассчитана на ряд лет, ибо пример подобных изданий за



рубежом показал, что над этнографическими атласами работают десятилетиями даже в небольших странах (как, например, Швейцария). Ближайшей задачей является подготовка карт, таблиц и статей по пище и утвари, некоторым промыслам, отходничеству, средствам передвижения середины XIX—начала XX в. Атлас должен быть еще дополнен впоследствии материалами по культуре русского населения Сибири, Украины, Белоруссии, Казахстана, Средней Азии и т. д. В настоящее время материал по большинству этих областей еще недостаточен для картографирования. Чтобы заполнить имеющиеся в нем пробелы, понадобятся еще экспедиционные и архивные исследования. Во время этих экспедиций, конечно, будет собран и обильный материал по современности, который послужит в дальнейшем для работы над разделом атласа, посвященным периоду социализма. Разрабатывается, как было сказано, вводный раздел, посвященный образованию древнерусской народности и периоду феодализма. Главными здесь являются проблемы этногенеза и развития русской нации. Обращено особое **внимание** и на те областные особенности древнерусской культуры, которые оказались очень устойчивыми и сказывались в некоторых областях жизни народа еще в XIX в.

Наконец, предстоит еще разработать и картографировать материалы по духовной культуре русских. В этой области, возможно, далеко не все явления удастся показать на картах в их развитии. Однако при собирании и изучении материалов не следует заранее отказываться от включения в атлас тех явлений духовной и материальной народной культуры, которые трудно картографировать. Нужно собирать и изучать материалы по этим разделам и публиковать их на первых порах не в виде атласа, а в виде сборников научных исследований «Материалы к атласу», куда войдут и первые опыты картографирования. Такие материалы помогут будущим исследователям использовать наши работы и, быть может, найти методы картографирования тех явлений, которые не удастся достаточно удовлетворительно показать нам.

THE HISTORIC-ETHNOGRAPHICAL ATLAS «THE RUSSIANS» (Principles and methods of composing)

Summary

The present state of Soviet ethnography makes it possible to undertake the difficult, but highly rewarding task of compiling up historical-ethnographical atlases. This kind of work is carried on by the Mickluho-Macklay Ethnography Institute of the Academy of Sciences of the U. S. S. R. The historical ethnographical atlas of Siberia is already printed; it will be followed by the atlases of Middle Asia, the Caucasus and some others.

Unlike the atlases mentioned above the atlas under the title «Russians» is not devoted to the description of an area inhabited by several peoples; it deals with one people, only the Russian people, which forms the population of a vast area. It is planned as a regional atlas, which, together with other atlases of Slavic peoples and their neighbours, will help to solve many problems of both Slavic and European ethnography, and, later, those of Asian ethnography (i. e. Siberia, the Caucasus and Middle Asia) as well. The atlas will sum up the results of the research carried out in various fields of Russian material and spiritual culture. Its basic principle is to view the phenomena of Russian culture in their development. The method consists in presenting such fact in a number of maps to show how widely the phenomenon in question was spread at different periods of time — under feudalism, capitalism, during socialism and the period of building up communism. Within each of the historical periods, special indications mark on the development of this or that phenomenon of Russian material and spiritual culture during shorter lapses of time. The compilers of the atlas were careful to proportion the different modifications of the same phenomenon — such as different forms of agricultural implements, dwellings clothing, rites, etc., on this way the dominant and isolated form stand out clearly.

The working on the historical-ethnographical atlases representing the development of Russian culture in a series of maps may be of great assistance in solving a number of problems connected with the ethnogenesis of the Russian people, its relations with other peoples and its national character.

The atlas is based on extensive results of both fieldwork and studies of our rich museum- and archive-collections, as well as on the available scientific literature.

At present the parts of the atlas that dealing with the agriculture, the dwellings and the clothing of the Russian peasantry under capitalism and imperialism, i. e. (from the middle of the 19th century up to the nineteen twenties) are ready for print. The remaining part of the atlas will be completed in a few years.

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь 1963)

В. К. Соколова

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА У СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Историческая поэзия славянских народов не случайно привлекала и привлекает как ученых разных стран (фольклористов, историков), так и писателей. Южнославянские народы и русские сохранили почти до наших дней в живом бытовании богатейший героический эпос, большинством европейских народов давно утраченный; широкое развитие получили у славянских народов и более поздние песни, отразившие важнейшие моменты их истории. Сейчас, когда в качестве одной из основных задач фольклористики выдвигается создание истории фольклора отдельных народов, а затем и всех славянских народов в целом, изучение историко-песенного фольклора приобретает особое значение. Благодаря специфичности своего содержания произведения с исторической тематикой легче датируются; установление же характерных для разных исторических периодов идейных и художественных особенностей помогает в известной степени и хронологическому приурочению жанров неисторических, в частности лирических песен, датировка которых наиболее трудна. Особенно ценные наблюдения в этом плане содержат исследования последних лет, в которых различные виды и жанры историко-песенного фольклора отдельных славянских народов рассматриваются в развитии. Сопоставив выводы этих исследований, можно установить общие закономерности развития славянской исторической поэзии и особенности ее в разные периоды.

Настоящий доклад и ставит своей целью сделать некоторые обобщения, которые в дальнейшем должны быть расширены и углублены. Построен он преимущественно на восточнославянском и южнославянском материале, обнаруживающем во многих отношениях значительную близость. Восточные и южные славянские

народы сохранили историко-песенный фольклор разных исторических периодов, что дает возможность наиболее отчетливо проследить основные закономерности его развития. Исторические же песни западнославянских народов, имеющие свои отличительные особенности, привлекаются лишь частично; я не касаюсь ряда их специфических жанров (например, своеобразных литературно-фольклорных крамаржских песен, бытовавших у чехов). В дальнейших исследованиях все виды западнославянских исторических песен и баллад, разумеется, должны быть рассмотрены.

Содержание историко-песенного фольклора обусловлено конкретной историей. Отсюда его большое своеобразие у разных народов, в том числе и славянских. Даже у таких близко родственных и тесно связанных исторически народов, как русские и украинцы, основной фонд историко-песенного фольклора различен по содержанию. Украинцы не сохранили древнерусского героического эпоса — былин¹, нет у них и широко распространенных в свое время у русских песен об Иване Грозном, «Смутном времени» и др. Украинцы в XVI—XVII вв. создавали свои думы и песни о том, что их особенно волновало, — о борьбе с турками и польской шляхтой, о воссоединении с Россией. Наибольшая близость в этот период наблюдается между историко-песенным творчеством донских и запорожских казаков, живших в сходной обстановке и нередко совместно выступавших против общих врагов. После воссоединения Украины с Россией у русских и украинцев распространяются некоторые общие исторические песни, преимущественно военно-исторические (о 1812 г. и др.), а позже — с конца XIX в. — об эпизодах революционной борьбы пролетариата; но каждым народом продолжали создаваться и свои песни. Наиболее различны песни о социальной борьбе. Очень показательно, что у украинцев нет песен о Степане Разине, столь характерных для русского фольклора; у них свои герои антифеодальной борьбы — Кармелюк, Довбуш и др.

При большой близости историко-песенного фольклора болгар и народов Югославии каждый южнославянский народ имеет и

¹ Древнерусский героический эпос был общим достоянием трех восточнославянских народов, и исследователи ставят вопрос об его остатках у украинцев и белорусов. Так, еще Н. И. Костомаров, а затем В. Л. Антонович и М. Т. Драгоманов (Исторические песни малорусского народа, т. 1, Киев, 1874) отмечали эпический характер ряда украинских колядок и указывали на известное сходство их поэтики с былинной. Украинские фольклористы говорят о генетической связи дум и исторических песен с былинами (см., например: М. Ф. Рылский. Героический эпос украинского народа. Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике. [Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов.] М., 1960, стр. 312—313), о сохранении в них некоторых былинных образов (Олексий Попович и др.), мотивов и художественных приемов. Последнее исследование, в котором ставится и эта проблема — М. М. Плисецкий. Взаимосвязи русского и украинского героического эпоса. М., 1963.

свои исторические темы и образы, причем по мере приближения к современности их песни по содержанию все более различаются.

Вместе с тем в исторической поэзии славянских народов есть такие характерные особенности, которые дают основание говорить об общих закономерностях ее развития: определенная последовательность в смене художественных форм; особые для каждого периода принципы изображения действительности, определяющие отбор и оформление фактического материала и приемы построения образов. Основное направление развития историко-песенного фольклора славянских народов (как и всего фольклора в целом) совпадает с развитием фольклора у других народов, так как оно обусловлено закономерностями единого исторического процесса. Но у каждого народа этот общий процесс протекает своеобразно, что отражается на степени развития и формах народного поэтического творчества. Имеет свою специфику и славянский историко-песенный фольклор.

Героический эпос доклассового и раннеклассового общества у славянских народов не сохранился. Наиболее древним пластом славянской исторической поэзии являются русские былины и южнославянские старшие юнацкие песни. Возникшие в период раннего феодализма, они существенно отличаются от созданных еще в родовом или раннеклассовом обществе героических эпосов восточных, сибирских и ряда европейских народов. Стадиально былины и юнацкие песни могут быть сопоставлены с произведениями романского средневекового эпоса («Песнь о Роланде», испанский эпос о Сиде и др.). Условия, в которых складывался и развивался славянский героический эпос, определили его основные черты.

Былины и юнацкие песни начали формироваться, когда возникли крупные раннефеодальные славянские государства — древнерусское Киевское государство, Сербское и Болгарское царства. Вместе с этим росло и крепло национальное самосознание, чувство единства государства и народа, пришедшее на смену родоплеменному сознанию. Идея государственности, невозможная в более ранний период, является одной из ведущих и отличительных идей славянского героического эпоса. Богатыри, юнаки свой основной долг видят в защите родины и народа, причем идея служения родине понимается и как служба великому князю или царю, в образах которых на этом этапе воплощалось представление о единстве государства. И позже — в условиях феодальной раздробленности, в период борьбы русских против монгольского нашествия и многовековой борьбы южнославянских народов против турецких поработителей — Киевская Русь времени Владимира Святославича, Сербия при Неманичах и царе Лазаре, Болгарское царство до турецкого завоевания, воспетые в эпических песнях, оставались для народа символом независимого могучего

государства, побуждали к борьбе за восстановление его единства и независимости.

Характерную особенность славянского героического эпоса составляет ярко выраженный историзм, отличающий его от ранних героических эпопей и сближающий до известной степени с более поздними историческими песнями. Нет сомнения, что поводом к созданию многих былин и юнацких песен послужили действительные факты. Одним из ярких примеров связи эпоса с конкретной историей могут служить замечательные песни о Косовской битве, запечатлевшие трагическое для истории сербов и всех южных славян событие. Такая же связь с историей прослеживается в других юнацких песнях и в русских былинах. Есть исторические прототипы и у ряда эпических героев². Отсюда своеобразие содержания, сюжетов и образов восточнославянского и южнославянского эпосов. Понимание же исторического процесса и приемы его изображения в былинах и юнацких песнях имеют много общего, что дает основание рассматривать эти произведения как явления, стадияльно совпадающие.

История изображается в славянском эпосе особыми приемами и предстает в обобщенном плане. Историзм былин и юнацких песен не в том, что они передают отдельные факты и детали, а в том, что они верно отображают исторические ситуации, социальные и бытовые отношения описываемой эпохи. Так, цикл о Марке Кралевице мог сложиться только у южных славян и в определенных условиях: он запечатлел обстановку, сложившуюся на Балканах после турецкого нашествия, выразил надежды и стремления попавших в рабство, но не сломленных и продолжавших борьбу народов. По существу своему цикл этот глубоко историчен, но, как показали исследователи южнославянского эпоса, немногое в его содержании может быть сопоставлено с реальной биографией македонского царя Марка,

² Следует отметить, что соотношение с действительными историческими событиями разных сюжетов былин и юнацких песен различное, и изображает в них действительность своеобразно. Это давало возможность одну и ту же былинку (или юнацкую песню) связывать с разными событиями и лицами. Единого мнения об историзме героического эпоса и о соотношении его с действительными фактами нет и сейчас. Показателем этого является дискуссия об историзме русских былин, развернувшаяся в советской фольклористике в последние годы. Проф. В. Я. Пропп в капитальном исследовании «Русский героический эпос» (изд. 1, Л., 1955; изд. 2, М., 1958) утверждает, что былины не связаны с конкретными историческими фактами и лицами, а отражают вековые идеалы народа. Эту точку зрения разделяет проф. Б. Н. Путилов (см., например, его статью «Концепция», с которой нельзя согласиться. «Вопросы литературы», 1962, № 11) и некоторые другие фольклористы. Противоположного взгляда придерживаются акад. Б. А. Рыбаков в работе «Исторический взгляд на русские былины» («История СССР», 1961, № 5 и 6), считающий, что былины достаточно точно отражают отдельные события истории древней Руси. Фактическую основу былин признает и М. М. Плисецкий, который в ряде случаев по-новому и достаточно убедительно приурочивает отдельные былины (о Дюке, Чуриле Пленковиче).

послужившего прототипом популярного эпического образа. Народные певцы, воссоздавая событие или образ исторического деятеля, отмечали в них не частное и индивидуальное, а общее, типическое, характерное для эпохи, используя при их изображении готовые картины и формулы.

Установка на выявление общего, типического делает не только возможным, но и необходимым широкое использование в эпосе «общих мест» («loci communes»), которые занимают как в былинах, так и юнацких песнях весьма значительное место, являясь одним из основных средств типизации. Они помогают также оформить содержание, давая готовые описания наиболее часто встречающихся ситуаций, создают особый эпический стиль.

Стремление к типизации проявляется также в сюжетах и мотивах эпических песен. При значительных различиях содержания былин и юнацких песен, в них есть общие или близкие мотивы и даже сюжеты. Некоторые из них представляют типичные для раннефеодального общества ситуации; другие же восходят к более древнему, общему для всех славян устно-поэтическому фонду и характерны для ранних героических эпопей (например, чудесное рождение героя и богатырское детство, змеборство, героическое сватовство, богатырский конь и т. д.)³. Наличие их и характер использования показательны для той ступени развития народной исторической поэзии, какую представляют былины и юнацкие песни. Раннефеодальный эпос еще тесно связан с предшествующим родоплеменным и раннеклассовым эпосом и многое от него сохраняет; представления, отразившиеся в нем, были близки народу, еще сохранявшему в сознании (а в какой-то мере и в быту) пережитки родового строя. Привычные традиционные мотивы и образы, как и «общие места», помогали отобрать и оформить жизненный материал, представить его в наиболее понятной, доходчивой форме.

Но в славянский эпос традиционные эпические сюжеты и мотивы вошли уже значительно переработанными. Используются обычно не сюжеты в целом, а отдельные компоненты их и в разных произведениях (так, эпическая биография героя не излагается полностью, а в разных песнях даются отдельные ее эпизоды:

³ Общие мотивы и сюжеты славянского героического эпоса отмечались учеными разных направлений и служили предметом специальных исследований. Обзор и систематизация общих для славян эпических мотивов как типичных для раннефеодального общества, так и восходящих к эпосу ранних общественных формаций были даны чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунским в докладе на IV Международном съезде славистов «Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса» (М., 1958; то же в его книге «Народный героический эпос», М.—Л., 1962, стр. 75—194).

Детальный анализ общих для русского и южнославянских эпосов мотивов и сюжетов должен послужить предметом специальных исследований. Он поможет выявить представления и художественные образы, существовавшие у славян еще в период их общности, и раскроет в какой-то степени пути формирования раннефеодального эпоса.

чудесное рождение, быстрый рост богатыря, приобретение богатырского коня и пр.). При этом старые мотивы часто изменяются, получают новый смысл, приурочиваются исторически. Фантастика, играющая в раннем эпосе значительную роль, все более отходит на задний план; появляется стремление к реальному истолкованию событий, представлявшихся ранее чудесными; решающую роль в событиях играют не сверхъестественные силы, а сами люди. Образы, по происхождению мифологические, утрачивают частично или полностью свои чудесные свойства и приобретают человеческий облик (так Тугарин Змеевич в русской былине об Алеше Поповиче и Тугарине уже не змей и, чтобы подняться в воздух, должен подвязать бумажные крылья — любопытная деталь, говорящая о желании дать реальное истолкование облику мифического змея).

В главном сходны и принципы построения образов былин и юнацких песен. Богатыри и юнаки многим напоминают героев ранних эпосов, и в то же время им присущи уже такие черты, которые определяют дальнейшее развитие исторических образов. Эпические образы типичны, в них подчеркиваются только основные черты; у богатырей, юнаков — положительные, у их врагов — отрицательные, что создает контрастность. Основной прием построения образов — гиперболизация (в первую очередь их физической силы), благодаря чему герои песен представляются порою исполинами, возвышающимися над обычными людьми. Под стать им богатырское оружие (палица в девяносто пудов, буздован «в девятьсот ок»), конь, чара, из которой они пьют, и т. п. Такая обрисовка образов связывает их с ранними эпическими героями. И свою силу богатыри и юнаки получают нередко чудесным образом: от вилы, от святых — калик перехожих или благодаря необычному рождению и т. п. Но сверхъестественными способностями юнак и богатырь не обладают (или обладают лишь в особых случаях); их сила, хотя и исключительная, но естественная, и именно благодаря ей, в сочетании с ловкостью, находчивостью, а порою и хитростью, они справляются с врагами. Герои славянского эпоса — люди, хотя им и приписываются еще некоторые черты, свойственные их эпическим предкам.

Важная отличительная особенность образов былин и юнацких песен — их подлинный историзм, заключающийся не только и не столько в том, что многие из них, как отмечалось, имеют реальных прототипов, а в том, что это люди своего времени и среды, действующие в определенной политической и социальной обстановке. И враги, с которыми им приходится бороться, — реальные исторические враги их народа. Отсюда своеобразие этих образов, их неповторимый национальный колорит.

Богатыри и юнаки во многом сходны по своему характеру. Это образы идеализированные, наделенные теми положительными чертами, которые надо было воспитывать в массах, — верность

своему долгу и товарищам-побратимам, помощь слабым, стойкость в борьбе с врагом. Но исторические судьбы русского и южнославянских народов сложились по-разному, и это сказалось и на героях эпоса. Так, русский богатырь ни при каких обстоятельствах не может стать слугой татарского хана (если бы он это сделал, он был бы заклеймен как предатель); основной же герой южнославянского эпоса Марко Кралевич рисуется вассалом турецкого султана, хотя одновременно выступает против турок. И это трагическое противоречие исторически объяснимо — южнославянские народы, века жившие в турецком рабстве и борющиеся против него, поставили своего любимого героя в условия, верные действительности, выразили в его образе мечту об освобождении ⁴.

Былины и юнацкие песни имеют свою поэтическую форму и стиль, выдерживаемые певцами достаточно строго (устойчивые начала и концовки, определенные приемы разветвления сюжета, свой арсенал художественных средств и свои напевы, отличающие их от последующих песен с исторической тематикой). Эта отлившаяся форма дальше не развивалась и сохранялась по традиции очень устойчиво. Так, даже на позднем этапе жизни русских былин, когда сказители их уже забывали, сокращали, путали и контаминировали их сюжеты и мотивы, каких-либо заметных изменений в их поэтике отмечено не было. И в лексике былин, украинских дум и юнацких песен отмечается значительное количество архаизмов, в последующих исторических песнях почти отсутствующих ⁵.

Отмеченные особенности дают основание рассматривать славянский раннефеодальный исторический эпос как переходное звено между ранним героическим эпосом и более поздними, собственно историческими песнями. Его промежуточный характер сказался и в том, что он не сложился в целостные эпопеи, а был создан и сохранился в виде отдельных песен, излагающих один сюжет (произошла лишь некоторая циклизация).

Исторические песни ⁶, имеющиеся в той или иной форме у всех славянских народов, представляют следующий этап развития

⁴ Противоречивость образа Марко Кралевича правильно объяснил Войслав Джурич в работе о сербско-хорватской народной эпике (В. Ђурић. Српскохрватска народна епика. Београд—Сарајево—Загреб, 1955, стр. 57—59).

⁵ Вопрос о разных закономерностях развития художественной формы эпоса и последующих исторических песен поставил проф. П. Г. Богатырев в докладе на IV Международном съезде славистов «Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славянских народов» (Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике, М., 1960, стр. 226 и др.).

⁶ Термин «исторические песни» я употребляю здесь в широком смысле, объединяя разные виды славянской историко-песенной поэзии: собственно исторические песни, южнославянские гайдуцкие и усюкские песни, словацкие «збойницькие» песни, некоторые западнославянские баллады с исторической тематикой, солдатские военно-исторические песни и пр.

народной исторической поэзии (период позднего феодализма и зарождения капиталистических отношений). От раннефеодальной исторической поэзии их отличает принципиально иной подход к изображению действительности, связанный с изменившимися воззрениями на историю и роль в ней народа. Это определило новые идейно-художественные качества исторической поэзии.

Исторические песни разнообразны по содержанию и форме. Они возникали в разных условиях и отражали особенности социально-политических воззрений и эстетических вкусов той среды, какая их создавала. Интерес к происходящим событиям, желание осмыслить и художественно запечатлеть их и тем сохранить в памяти потомства были присущи прежде всего участникам этих событий, активным борцам против иноземных поработителей и феодального гнета.

В разные периоды и в разных условиях выделялись определенные группы населения, в творчестве которых историческая тематика получала наибольшее развитие и песни которых на более или менее длительное время становились основной формой (или одной из основных форм) историко-песенной поэзии данного народа. Так, у русских весьма значительную роль в создании исторических песен сыграла военная среда — служилые люди, казаки, с начала же XVIII в., когда была создана регулярная армия, военно-историческая тематика стала достоянием солдатских песен, которым принадлежит ведущее место в русском историко-песенном фольклоре XVIII—XIX вв. Песни же социального протеста, об антифеодальной борьбе и народных восстаниях творились бунтарской, активно борющейся за свои права частью крепостного крестьянства и казачества. Каждая из этих групп песен имеет свои особенности. У украинцев почвой, взрастившей историко-песенный фольклор — исторические песни и думы, были запорожские казаки. Идейное отличие их от русских обусловило то, что для украинцев до воссоединения с Россией (а в областях, не вошедших в состав России, и позже) борьба против внешних врагов была и борьбой национально-освободительной. Военная среда так же сыграла, по-видимому, значительную роль в создании и распространении исторических песен у чехов и словаков⁷, у которых были и более поздние солдатские песни. У южных славян до освобождения солдатская песня, естественно, не могла развиваться. Основной формой активного сопротивления поработителям в период турецкого владычества у них было гайдучество

⁷ Так, характеризуя исторические песни, появившиеся у словаков в XVI в., А. Мелихерчик замечает, что «historické piesne najmä v XVI storočí, ako to ešte dotvrdí ich obsahová a ideová analýza, boli podistým vojenskej táborovej piesne, ktoré vznikali bezprostredne v súvisi s bojovými udalost'ami na protitureckom fronte» (А. Мелихерčíк. Slovenská historická pieseň XVI a XVII storočia. «Československá ethnografie», Ror. II. Praha, 1954, № 3, стр. 237).

(в пограничных юго-западных районах нынешней Югославии и ускочество) и гайдуцкая песня стала у них ведущей формой народной исторической поэзии.

Богатство и разнообразие исторических песен, яркий национальный колорит их содержания и формы затрудняет их сопоставление. Даже для песен одного народа далеко не всегда можно установить единые жанровые признаки⁸. И все же основные принципы изображения действительности у них общие и развивались они в одном направлении.

Историзм, уже заметно проявляющийся в былинах и юнацких песнях, становится в исторических песнях ведущим принципом и приобретает новое качество. Установка на достоверность характерна для всех их видов. Они воспринимаются как повествования о действительных событиях, приурочиваются исторически и географически, связываются с конкретными лицами. Это не значит, что песни — летопись или хроника, точно излагающая факты (есть и такие, но их немного); сюжеты, основные эпизоды большинства песен — художественный вымысел, но этот вымысел (точнее, домысел) вытекает из самой сущности события, помогает ярче представить его, раскрыть его смысл. Приемы обобщения здесь другие, нежели в былинах и юнацких песнях.

Защита родины, борьба с внешними врагами, с поработителями остается одной из основных тем исторических песен, но в них все большее место начинает занимать социальная проблематика. Конфликты внешнеполитические часто сочетаются с конфликтами социальными; большую группу составляют песни на социально-экономические темы и о классовой борьбе. Интерес к явлениям социального порядка составляет отличительную особенность исторических пе-

⁸ Русские исторические песни разного времени, циклов и видов рассматриваются в работах Б. Н. Путилова («Русский историко-песенный фольклор». М.—Л., 1960; статья «О некоторых проблемах изучения исторической песни», в кн.: «Русский фольклор. Материалы и исследования», вып. I. М.—Л., 1956 и др.), А. Н. Лозановой, Э. С. Лытвин, Л. С. Шептаева и других исследователей. Попытка определить жанровые особенности исторических песен XVI—начала XVIII в. и выделить их типы сделана в моей монографии (В. К. Соколова. Русские исторические песни XVI—XVIII вв. М., 1960).

Болгарские ученые, уделяющие большое внимание историко-песенному фольклору, говорят о жанровом многообразии гайдуцких и собственно исторических песен, во многом близких по форме к песням лирическим. Из последних работ, являющихся в известной мере обобщающими, можно назвать вступительные статьи к соответствующим томам Антологии «Българско народно творчество»: Д. Осипин. Хайдутството в народните песни (т. II. «Хайдушки песни», София, 1961) и Хр. В а к а р е л с к и. Българската историческа народна песен (т. III. Исторически песни, София, 1961).

Художественные особенности сербско-хорватских исторических песен позднего времени, отличающие их от юнацких песен, анализируются в указанной работе В. Джурича, в исследованиях проф. Н. И. Кравцова и др.

сен, свидетельствующую о значительных сдвигах в мировоззрении трудящихся, которые начали задумываться над причинами социального неравенства и искать выхода из своего тяжелого положения. Социальные конфликты нередко показаны во всей остроте; в ряде песен уже достаточно отчетливо выражается сознание непримиримости классовых противоречий. Так, в большинстве русских исторических песен положительные образы представителей народа противопоставляются представителям господствующего класса; такое противопоставление характерно и для песен военно-исторических, повествующих о борьбе с внешними врагами. С наибольшей же отчетливостью социальные противоречия раскрываются в песнях разинского цикла и «разбойничьих» (так, в песне об убийстве астраханского губернатора казаки-повстанцы действуют как сознательные социальные мстители):

Борцами за правду, за социальную справедливость осознают себя и словацкие «збойники», горные хлопцы, которых заставила уйти в горы неправда панов:

Pánovia, pánovia, za čo my vam robíme?
Či to len za tú čiernu zem, čo po nej chodíme?
Hej, ja musím byť zbojník, bo krivda veľiká,
nepravosť u pánov, pravda u zbojníka⁹.

Уже в ранних украинских песнях и думах, повествующих о борьбе за национальное освобождение, подчеркиваются противоречия между богачами, которые порою оказываются в одном лагере с поработителями, и беднотой. Яркий образ казака-бедняка, выступающего против «дуків-срібляників», создан в думе о Ганже Андыбере. Болгарские и сербские гайдуки борются не только против турецких завоевателей, но и против местных богачей — чорбаджиев.

Таким образом, в исторических песнях в ряде случаев обнаруживается достаточно глубокое понимание социальных отношений, дающее возможность уяснить сущность описываемых явлений и событий и вызвавшие их причины. В южнославянских песнях, например, ярко и убедительно показано, почему крестьяне оставляли хозяйство и семьи и шли в леса, чтобы вести борьбу с врагами, — они не могли вынести произвола и притеснений турок, феодальных правителей и чорбаджиев. Так, Старина Новак (Караджич, III, № 1) в ответ на вопрос, что заставило его пойти в гайдуки, рисует картину тяжелой жизни в Смедереве при Ерине, заслужившей у народа прозвище «проклятая»; Новак не мог вынести непосильной работы и не в состоянии был заплатить наложенной подати. О произволе турок, разоривших его и тем заставивших пойти в гайдуки, пишет Байё Пивлянин Хаджи Ришнянину

⁹ Цит. по кн.: А. Melicherčík. Jánošíkovská tradícia na Slovensku. Bratislava, 1952, str. 181.

(Караджич, III, № 67), о притеснениях чорбаджиев повествуется в песне «Настас чорбаджи» (Хайдушки песни, стр. 502). Подобные мотивы встречаются во многих болгарских и сербско-хорватских песнях, и не надо, кроме них, никаких документов, чтобы понять социальную базу, причины и смысл гайдуцкого движения. Однако понимания основных движущих сил исторического процесса в песнях даже поздних нет и, разумеется, не могло быть; в них правдиво вскрываются лишь причины, непосредственно вызвавшие тот или иной поступок героев. Когда же речь идет о явлениях общего порядка, о крупных исторических событиях, то здесь причиной может оказаться злая или добрая воля отдельных людей, обладающих властью (война, например, начинается по замыслу царя), и т. п. Но важно, что причину уже ищут в человеке, в обществе, а не в сверхъестественном; фантастика в исторических песнях появляется в редких случаях и не играет какой-либо существенной роли, не объясняет действительности.

Отмеченные важнейшие особенности идейного содержания, проявляющиеся в том или ином виде в исторических песнях разных типов, дают основание рассматривать эти песни как новый этап в развитии народной исторической поэзии. У них и новый художественный метод, в основе реалистический.

Говоря об отличиях сербско-хорватских песен «нового времени» (об освобождении Черногории и Сербии) от ранних юнацких, В. Джурич указывает такие их основные черты: краткость и простота, трезвый реализм, отсутствие пространных эпических описаний и фантастических мотивов; в песнях воспеваются только реальные люди, причем речь идет обычно лишь об одном их подвиге; точно выдерживается топография; язык близок к разговорному, архаизмов, свойственных юнацким песням, почти нет. Такая характеристика полностью применима и к русским песням; все это — особенности не только сербско-хорватских песен, но и исторических песен других славянских народов.

С большой точностью рисуется в исторических песнях социально-политическая и бытовая обстановка, на фоне которой разворачивается действие. Немногими, но характерными и выразительными деталями показывается в них жизнь изображаемой среды. В русских солдатских песнях, например, верно, со знанием всех деталей предстает солдатская служба. Южнославянские гайдуцкие песни показывают жизнь гайдуков в течение года: организация дружин (четы), сбор их весной на Юрьев день, клятва верности, суровая, полная лишений их жизнь в горах и уход осенью, когда лес теряет листву, в деревни, где они вынуждены скрываться до весны.

Новые идейные и художественные качества исторических песен отчетливо проявляются в характере и приемах построения их образов. В песнях действуют не богатыри и юнаки, а простые

люди; герой — и это особенно важно — тесно связан с массами, со своими товарищами и соратниками, выступает не один, а вместе с ними. Образ героя демократизируется. В раннефеодальном историческом эпосе многие герои — представители господствующего класса или приближаются к нему по своему положению, это естественно для времени, когда феодальные государства еще только создавались и народ связывал с феодальными правителями многие свои надежды. Демократизация некоторых эпических образов (крестьянство Ильи Муромца, Марко Краевич пашет пашню отца, Милош Обилич рожден служанкой, царь Лазарь был сначала слугою царя Стефана и др.) — явление позднейшее, результат развития этих образов в новых условиях. Демократизм героев исторических песен — исконная и самая главная черта, определяющая их сущность. Положительные образы представителей господствующих классов появляются в песнях лишь в случаях, когда они возглавляют справедливую борьбу народа или проявляют себя как опытные полководцы, хорошо знающие солдат (таковы в русских песнях образы Суворова, Кутузова и др.). Сами массы начинают играть в песнях все большую роль; подлинным героем многих песен является коллектив: солдаты, казаки, «сила-армия», «війско запорізьке», «војске три хиљаде», «дружина вярна, сговорна», четы гайдуков, отряды «збойников» и т. п. Выдвижение на первый план коллектива показывает, что народ начал интуитивно сознавать свою роль в истории.

С вводом в действие масс, вооруженных огнестрельным оружием, эпические картины избиения богатырем неприятельской силы и богатырских поединков уступают место описаниям сражений отрядов и целых армий (хотя в гайдуцких песнях встречаются и мейданы — поединки, что является не простой данью традиции, а отражает жизненные факты; о мейданах говорится и в письменных источниках). Победу приносит не исполинская сила одного человека, а организованность, умение, стойкость, надежное оружие. Народ сам чувствовал несовместимость образа юнака с новыми жизненными условиями и, в частности, с новыми видами оружия. В преданиях о Марке Краевиче есть интересный мотив: Марко скрывается, когда появилось огнестрельное оружие, так как нечего делать ему на этом свете, когда даже ребенок может легко убить самого лучшего юнака¹⁰. Это предание прямо переключи-

¹⁰ Эти предания приводит, например, М. Арнаутов в исследовании «Крали Марко в народния епос» (в кн.: Очерки на българския фолклор. София, 1934, стр. 311). В. М. Жирмунский отмечает сходство этого предания с азербайджанской легендой о Кёроглы, который, увидев на старости лет ружье и узнав о его свойствах, решил больше не воевать. «Оба рассказа, — замечает В. М. Жирмунский, — порождены одинаковой общественной ситуацией, сделавшей неизбежным столкновение между старым, отживающим идеалом личной богатырской доблести и силы и реальными условиями воинского быта и „техники“ нового времени» (В. М. Ж и р м у н с к и й. Народный героический эпос. М.—Л., 1962, стр. 106).

кается с известным высказыванием К. Маркса во «Введении к Критике политической экономии» о невозможности существования Ахилла в эпоху пороха и свинца и Юпитера — рядом с громоводом.

Центральным образом исторических песен славянских народов остается образ патриота, защитника родины. Разработанный уже в эпических песнях, образ этот получает теперь новое качество: герои песен выступают не только против внешних врагов, но борются с классовыми врагами. Образ «благородного» разбойника — социального мстителя очень характерен для позднефеодального фольклора: он есть почти у всех европейских и ряда других народов. Каждый народ придавал ему особые черты, воплощая в нем мечту о расправе с феодалами. Разное развитие получил он и в историческом (песенном и прозаическом) фольклоре славянских народов. У русских это прежде всего образ Разина, обрисованного как атаман восставших казаков, а потом и предводитель всей бедноты. В словацкой народной поэзии борцами против феодалов выступают «збойники»; центральным образом «збойничьего» фольклора является Яношик. У южных славян в гайдуцких песнях темы национально-освободительной и социальной борьбы, как уже отмечалось, сливаются: гайдук прежде всего активный борец против турок, но он одновременно выступает и против «своих» притеснителей. Такое же сочетание мотивов социальной и классовой борьбы есть и в украинских песнях (например, о гайдамаках), так как польское панство воплощало здесь и национальный, и социальный гнет. В украинской народной поэзии более позднего времени — XVIII—XIX вв. — есть яркие образы борцов за социальную справедливость (Кармелюк, Довбуш, песни и предания о котором были широко распространены в Закарпатье, и др.).

И в идейном и в художественном плане песни о социальной борьбе у всех славян имеют много сходного; встречаются в них и общие мотивы, близки между собою и образы борцов «за правду и свободу».

Положительные герои песен в известной мере идеализированы и наделены высокими моральными достоинствами. Особенно ярко проявляются их мужество и сила духа в критические моменты: перед лицом опасности, в руках у врагов. Образ человека, стойко переносящего плен и пытки, но не изменяющего своему долгу, и не выдающего соратников, есть в песнях всех славянских народов. Например, гайдук Вуядин в сербской песне «Стари Вуядин» (Жараджич, III, № 50), попав в руки турок, заклинает сыновей иметь сердце «не вдовье, а юнацкое» и не выдавать тех, кто им помогал. Сам он ничего не говорит туркам, которые перебивают ему руки, ноги, а затем выкалывают глаза. Лишается ног, рук и глаз и болгарин Иво, но не отдает свою сестру, красавицу Яну, в турецкую веру (Исторически песни, стр. 331). Стойко, ничем

не выдав себя, переносит пытки молодой Радоица, притворившийся мертвым, чтобы спасти сидящих в тюрьме товарищей (Караджич, III, № 54). Русский воин проявляет такую же стойкость и мужество во вражеском плену. Таков Краснощек, которого шведы

Разными муками его мучили:
А правды из него не вывели.
(Хоть с живого с него кожу содрали,
Но души его не вынули)¹¹.

В украинских песнях такие качества приданы образу Байды: он отвергает предложение турецкого султана жениться на его дочери и, уже будучи повешенным за ребро на крюк, убивает султана, его жену и дочку.

Ой, як стрілив — царя вцілив,
А царя в потилицю,
Його доньку в головоцьку.
«Отто ж тобі, царю,
За Байдину кару!»¹².

Приведенные примеры (количество их можно умножить) — одно из доказательств сходства и в то же время различия образов исторических песен разных славянских народов.

Наряду с образом «благородного разбойника» для исторического фольклора позднего средневековья типичен образ идеального монарха, возникающий в период создания абсолютных монархий. У славянских народов этот образ наибольшее развитие получил в русском историко-песенном и прозаическом фольклоре (Иван Грозный, отчасти Петр I), что и понятно: русские первыми из всех славянских народов создали мощное централизованное государство. У чехов и словаков образ этот больше разработан в преданиях (о короле Вацлаве, Матвее Корвине и др.), словацкие же песни, упоминающие короля Матвея, малозначительны по содержанию и не имеют исторических деталей. У южных славянских народов некоторые черты «хорошего» царя приданы образам правителей Болгарского и Сербского царств (дотурецкого периода); для развития же этих образов история болгар и югославов не дала материала (в старых записях сербских песен из Поморья есть песня об избрании угорским королем Матьяша — Матвея Корвина); нет этого образа у украинцев. Образ идеального государя в поэзии славянских народов — один из нагляднейших примеров теснейшей связи народной исторической поэзии

¹¹ Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 9, М., 1872, стр. 180 (из песенника М. Д. Чулкова).

¹² «Історичні пісні». «Українська народна творчість», Київ, 1961, стр. 117.

с конкретной историей. Типологически сходные, характернейшие для определенной общественной стадии образы развивались у каждого народа только тогда, когда для этого были необходимые условия.

Исторические песни не имеют единой свойственной только им и отличающей их от других песенных жанров художественной формы (подобной форме былин и юнацких песен); они, как уже говорилось, разнообразны по жанровым признакам, причем художественная форма их все время изменялась. Большая часть исторических песен художественно мало отличается от разных видов песен неисторических, и в своем развитии они все более сближаются с песнями лирическими. Процесс этот отчетливо прослеживается на русских исторических песнях; из них особым лиризмом отличаются песни казачьи, разинские и «разбойничьи», а из поздних — солдатские. Украинские фольклористы отмечают лиризм как одну из основных особенностей не только исторических песен, но и ряда дум (особенно дум о турецкой неволе).

Характеризуя болгарские гайдуцкие песни, Д. Осинин пишет: «Същинските хайдушки песни нямат формалната отлика в изграждането, каквато имат юнашките: десетеричен размер на стиха и епична разработка на сюжета. В това отношение хайдушките песни не се отделят от общия сбор лироепични народни песни»¹³. Лирический характер и разнообразие формы и стихосложения отмечает Хр. Вакарельский и в песнях исторических. Характерно, что в болгарском фольклоре, так же как в русском и украинском, наиболее лиричны песни о турецком рабстве и на социально-экономические темы¹⁴. У западнославянских народов эпических песен в полном смысле этого слова нет (хотя, возможно, они и были); все песни с исторической тематикой у них лироэпические или лирические.

Сближение исторических песен с разного типа лирическими и лироэпическими песнями — наиболее общий процесс их развития. Не везде, однако, этот процесс был одинаковым, создавались и песни эпические, но нового типа, отличные от былин и юнацкого эпоса. Так, в сербско-хорватском фольклоре исключительно стойкой оказалась традиция юнацких песен; она воздействовала в сильной степени на гайдуцкие и ускокские песни, которые по сравнению с болгарскими менее лиричны. И собственно исторические песни, создававшиеся уже в XIX в., отличаются эпическим складом и фактичностью содержания; порою это своего рода песенные исторические хроники. Таковы, например, некоторые песни об освобождении Черногории, про которые еще Вук Караджич говорил, что это больше история, чем поэзия. То же можно сказать

¹³ Д. Осинин. Указ. соч., стр. 40—41.

¹⁴ См.: Хр. Вакарелски. Указ. соч., стр. 35 и 62.

о некоторых поздних болгарских песнях. У русских такого же типа песня о Григории Отрепьеве и некоторые другие. Достаточно точно рассказывается о действительных фактах в некоторых украинских песнях и думах, в частности в думах о Богдане Хмельницком («Хмельницький та Барабаш», «Повстання після Білоцерківської угоди» и др.). Песни этого типа порою начинаются, подобно летописям и историческим хроникам, указанием точной даты события:

В шестом году восьмой тысяче . . .¹⁵
Ой тисяча сімсот дев'яносто першого року,
Гей, вийшов указ від нашої цариці
З Петербурга-города

«Історичні пісні», стр. 584.

На хильаду и осме стотине
И педесет и осме године . . .

К а р а д ж и ч , V , стр. 308. . . .

Слушайте, мало и голямо,
какъв е золум станало
в хильада деветстотини
и тринайстата година . . .

Исторически песни, стр. 586.

Чаще же в песнях точно определяется место действия, хронологию же указывают само событие и его участники.

Все эти особенности, присущие историческим песням разных славянских народов, показывают, что близкое, развивающееся на определенном историческом этапе отношение к исторической действительности вызывает сходные художественные приемы ее изображения.

В исторических песнях различных славянских народов встречаются и общие или сходные мотивы и поэтические образы. В этом плане соотношение песен разного типа разное.

Меньше всего, как это и естественно ожидать, совпадений в содержании у песен, связанных с крупными историческими событиями, основой сюжета которых послужили конкретные факты. В отношении их можно говорить об одинаковом в основном подходе к действительности, близости художественного метода, о сходстве некоторых типических описаний и формул (например, описание подготовки к сражению и самого сражения, характерное для военно-исторических песен).

Больше типологических сюжетных совпадений, похожих ситуаций в песнях, отразивших характерные для определенного

¹⁵ В. Ф. М и л л е р: Исторические песни русского народа XVI—XVII вв. Пг., 1915, стр. 606.

времени внешнеполитические и социальные отношения. Таковы имеющиеся у всех славянских народов песни о татарских или турецких набегах и порабощении. В них яркими красками нарисованы картины бедствий народа, подвергавшегося вражеским нападением: турки (татары) грабят и жгут села и замки, убивают людей и угоняют их в рабство. Значительное место в этом цикле занимают песни о турецких и татарских пленниках; в них немало сходных ситуаций: молодец сидит в тюрьме; турок принуждает плененную девушку стать его женой; в плену встречаются родные (мать с дочерью или сыном, брат с сестрой), которые часто не узнают друг друга, так как были давно разлучены¹⁶; в разных версиях разработана тема освобождения пленников, бегства из плена. Не связанные с конкретными историческими событиями, песни эти жили, пока случаи, подобные описанным в них, повторялись. Они относились к разному времени и местности и могли прикрепляться к историческим лицам (так, в отдельных вариантах русской песни об азовском пленнике в азовской темнице оказываются Ермак или Разин; угоняемых в рабство болгар освобождает Марко Краевич и т. п.) — принципы историзации и локализации подобных песен у всех народов одни. По форме это в большинстве лироэпические произведения, стоящие на грани между песнями собственно историческими и лироэпическими балладами и лирическими песнями. Такого же характера в основной массе песни о социальных отношениях и социальной борьбе, об идейной и образной близости которых уже говорилось.

Много сходного имеют солдатские песни. Русские солдатские песни показывают разные стороны жизни солдат, раскрывают их психологию. В них говорится как о походах, отдельных сражениях и победах, так и о тяжести подневольной долголетней службы; обычные для солдатских песен темы: прощание рекрута с родными и милой, тоска по дому, смерть на чужбине и пр.

¹⁶ В монографии «Русские исторические песни XVI—XVIII вв.» (стр. 143—149) я рассматриваю один из общих для ряда славянских сюжетов этого типа: захваченная турками старая женщина попадает в рабство к дочери или сыну и нянчит внука. Сравнительный материал приведен также в статье Д. Рыхновой «Турецкие войны в народной традиции восточной Моравии» (D. R u c h n o v a. Turecké války v lidovém podání východní Moravy. «Narodopisný věstník Československý». Praha, 1953, № 1—2), исследующей чешские и словацкие предания на этот сюжет. Основываясь на работе Рыхновой, я говорила о существовании чешских и словацких песен предположительно, после же выхода моей книги д-р О. Сыроватка любезно сообщил мне обнаруженный им в архиве Института фольклора и этнографии в Брно текст песни, записанной в 1910 г. Песни и предания разных народов совпадают не только сюжетно, но и в некоторых деталях (колыбельная; «знамечко», по которому мать узнает сына или дочь), что дает основание говорить не только о типологическом сходстве, но и о взаимосвязях славянских народов в области историко-песенного творчества.

Аналогичные темы развиваются также в солдатских песнях чешских, словацких¹⁷ и польских.

У гайдуцких песен есть черты, сближающие их с песнями социального протеста и солдатскими. Так, во многом близки по художественно-образной структуре русские песни разинского цикла и болгарские гайдуцкие песни. Главное действующее лицо в них коллектив, одинаковы отношения атамана и воевод со своими соратниками. Песни эмоционально насыщены, одним из основных средств раскрытия центральных образов служат их собственные высказывания: призывная речь, обращенная к товарищам, лирический монолог (обращение к природе, раздумье о своей судьбе), отповедь противникам. Действие разворачивается на широком природном фоне: на Волге-матушке, тихом Дону, синем море — в разинских песнях; в лесу зеленом — в гайдуцких. Природа живет с казаками и гайдуками одной жизнью, вместе с ними радуется или печалится. Часты обращения к природе, иногда служащие их лирическим запевом: «Вы леса, наши лесочки», «Ты взойди, взойди, солнце красное», «Горо, рле, горо, зелена!» и т. п.

Близость содержания и характера исторических песен разных славянских народов приводит к использованию в них сходных мотивов, сравнений, символов. Некоторые из них связаны еще с древними представлениями и являются общим для всех славян поэтическим фондом, используемым в разных жанрах народной поэзии, например: вещей сон с его традиционной символикой; черная туча — символ надвигающихся врагов; ворон — вестник несчастья; конь, чуя недоброе, спотыкается, предупреждает хозяина ржаньем; сопоставления: битва — пашня и посев; смерть — свадьба (умирающий воин, гайдук, которого ведут на казнь, просят сказать родным, что они женятся на сырой (черной) земле) и др. В исторических песнях традиционная образность получает новое истолкование. Так, новый смысл получил древний мотив похорон на перекрестке: Разин, Богдан-юнак и Велкобайрактар просят похоронить их на перекрестке дорог для того, чтобы прохожие вспоминали о них, взяли их знамя и оружие и продолжали борьбу. Смертельно раненый Гоце Делчев сознает, что он «женится» на черной земле «за тая Македония, за тая Серска Баница» (Исторически песни, стр. 581).

Есть общие мотивы и типические картинки, появившиеся уже в исторических песнях. Примером их может служить поэтический образ, имеющийся в песнях почти всех славянских народов: оружие героев — их семья. «Наши жены — пушки заряжены» и т. д., — поется в русской солдатской песне. Тот же образ: ружье — жена, мелкие пули — детки и пр. развивается в бол-

¹⁷ Анализ чешских и словацких солдатских песен сделан В. Карбузицким (см.: V. Karbusický. Datování lidových písní vojenských. (Příspěvek k dějinám naší lidové písně). «Český lid», 45, 1958, № 5.

гарской песне «Ангел-войвода»; любопытно, что эта песня имеет такую же форму вопросов и ответов, как и русская песня: «Солдатушки, браво ребятушки». В сербской песне Пивлянин Байо собирает в гайдуки тех,

Који нема ни оца, ни мајке,
а за вјерну љубу и не знаде;
ком е кућа диван-кабаница
мач и пушка — и отац и мајка,
два пиштоља — два брата рођена...

Караджич, III, № 69.

Словацкий крестьянин, завербованный в гусары, чтобы избавиться от панской неволи, заявляет, что теперь

Šablička brúsená, to je moja Žena,
Karabin, pištrole, to sú deti moje.

Melicherčik. Jánošíkowská tradícia... , стр. 179.

Переход от традиционных форм исторического эпоса к новым формам исторических песен происходит не сразу, новые качества накапливаются постепенно. Такая постепенность развития наглядно прослеживается на южнославянских гайдуцких песнях. Ранние песни по художественной форме и приемам повествования почти не отличаются от юнацких и образы гайдуков в них гиперболичны (например, образы Стояна-воеводы, Татунчо, Дамяна, Манолчо и др.). Отличает их от юнацких песен содержание (другая историческая и общественно-бытовая обстановка, большая социальная острота, демократический характер образов героев). Рядом своих особенностей связаны с былинами русские исторические песни XVI в. («Кострюк», «Гнев Ивана Грозного на сына»). То же наблюдается в украинском историко-песенном фольклоре. В ранних думах есть богатырские образы казаков — «лицарей», вроде атамана Матяша старого, победившего шесть тысяч турок-янычаров и освободившего взятых ими в плен казаков, или Иваса Коновченко, который

Не багато Коновченко по долині Черкень
погуляв, —
Самих найстарших п'ятсот чоловік рицарів
під меч пускав,
Шести живйом піймав,
На аркан зв'язав...¹⁸

Используются в этих думах и некоторые эпические формулы (описание боя и др.).

В разных исторических условиях развитие новых историко-песенных жанров происходило не в одно время и с разной степенью интенсивности. У русских характерные особенности историче-

¹⁸ Українські народні думи та історичні пісні. Упорядкували П. Д. Павлій, М. С. Родина, М. П. Стельмах, Київ, 1955, стр. 27—28.

ских песен, отличающие их от былин, явственно проявились в песнях XVI в. (об Иване Грозном и Ермаке). Появление новых историко-песенных жанров в период борьбы за создание централизованного государства — не случайность, а общая закономерность, проявляющаяся в фольклоре ряда народов. Из других славянских народов можно назвать словаков, у которых исторические песни появляются в XVI в., в период борьбы с феодальной раздробленностью Венгрии (в состав которой тогда входили словаки). У украинцев стимулом к созданию исторических песен и дум явилась борьба за национальное освобождение и воссоединение с братским русским народом. У южных славян юнацкий эпос сохранился особенно долго и оказывал воздействие на стиль вновь создаваемых песен (особенно сильным это воздействие было в фольклоре народов Югославии). Причиной этого послужила не только экономическая и культурная отсталость, явившаяся следствием турецкого владычества, а и то значение, которое имел юнацкий эпос в течение всего периода турецкого рабства: юнацкие песни воспитывали непримиримость к поработителям, призывали к борьбе и вселяли веру в освобождение. Но несмотря на все эти весьма существенные различия, развитие историко-песенного фольклора у всех славянских народов шло в одном направлении и приводило к созданию новых его видов, своих у каждого народа, но имеющих общие типологические особенности.

Старые и новые песни обычно различают и сами народные певцы. Так, М. Мурко отмечает, что югославские певцы различают старинные песни (*starinske* — «о *starini*, *od starine*, *od starih godina*, *od starih junaka*) и другие подобные названия) и новые, характеризуемые как воинские («*novе о ratu*», «*novе ratne*») ¹⁹, что верно определяет их основное содержание.

В русском фольклоре былины («старины», «старинки») отделяются от песен и исполняются особыми сказителями (на Севере к «старинам» относят и некоторые ранние исторические песни, распеты здесь как былины).

В настоящем докладе отмечены в самом общем плане основные черты, свойственные историческим песням как произведениям, характеризующим одну стадию историко-песенного народного творчества; все богатство и разнообразие их национальных форм здесь раскрыть было невозможно. Следует отметить, что в сравнительно-историческом плане славянские исторические песни изучены очень слабо, и детальное сопоставление их, выявление и анализ общих типологически сходных мотивов и художественных приемов остается одной из актуальных задач славянской фольклористики. Должна быть дана и периодизация развития самих исторических песен.

¹⁹ М. Мурко. *Tragom srpsko-hrvatske narodne epike*, kn. I. Zagreb, 1951, стр. 220.

Исторические песни (в различных их видах) в массе своей выражали крестьянское, исторически ограниченное мировоззрение и сохранялись они в основном в крестьянской среде. Они развивались, изменяясь по содержанию и форме, но сохраняли основные принципиальные особенности и оставались ведущей формой народной исторической поэзии до того времени, когда сформировавшийся с развитием капитализма пролетариат создал свои историко-революционные песни. Новые идейно-художественные качества проявляются и в крестьянской песне (прежде всего в солдатской — ее особой ветви). Так, русские исторические песни в XIX в. начинают сближаться с песнями литературного происхождения, более четко показывается в них различие и непримиримость интересов господствующих классов и народа, появляется критическое отношение к самодержавию. Гайдуцкие песни во многом приближаются к песням революционным «борческим», так же как и последние болгарские гайдуцкие воеводы (такие, как Панайот Житов, Хаджи Димитър, Стефан Караджа) стали уже сознательными борцами за свободу и демократические права народа. Однако качественно совершенно новое явление, знаменующее новую стадию в развитии историко-песенного фольклора (периода развитого капитализма), представляют пролетарские историко-революционные песни, выразившие наиболее передовые исторические взгляды.

A PROPOS DE QUELQUES REGULARITÉS DU DEVELOPPEMENT DES «CHANSONS HISTORIQUES» CHEZ LES PEUPLES SLAVES

R é s u m é

Le folklore historique de chaque peuple slave en ce qui concerne ses chansons populaires (comme d'ailleurs chez tous les peuples) porte un caractère tout à fait particulier. En outre, dans la poésie historique des peuples slaves on trouve des particularités qui nous donnent le droit de discuter la question sur la régularité de son développement: la suite logique dans le changement des formes poétiques, principes spéciaux pour chaque période de la représentation de la vie réelle, déterminant la sélection et la présentation du matériel effectif.

La poésie épique des temps avant l'existence des classes sociales chez les peuples slaves n'est pas conservée jusqu'à nos jours. Les plus anciennes formes de la poésie historiques des slaves, i. e. les «bylines» russes ainsi que les chansons des slaves du sud («yunacs»), commençaient apparaître dans le temps de la formation des grands états slaves au début du régime féodal. Ils contiennent encore plusieurs traits, qui les rapprochent des premières épopées heroïques (surtout dans la formation des images et utilisant quelques

anciens motifs). En même temps nous voyons apparaître quelques traits, qui se développent dans les chansons historiques: c'est tout d'abord l'historicité bien prononcée. Par conséquent, il nous est possible d'examiner la poésie épique historique (du début du régime féodal) des peuples slaves de l'Est et du Sud, comme un chaînon transitoir entre épopées, créées dans la société, basée sur le clan et à la limite d'une transition dans une société divisée en classes, et chansons historiques de la période féodale avancée.

Les chansons historiques se développent dans différentes formes (cosaques, militaires, gaydouks, «brigands») et présentent l'étape suivante dans le développement du folklore historique chez tous les peuples slaves. Ils possèdent des traits caractéristiques communs, malgré la variété des sujets et des formes, ainsi que du coloris national bien prononcé: relation avec des événements concrets, problèmes sociaux, démocratisation d'images centraux, avancement des masses des peuples comme héros, simplicité du style et de la langue etc. Le changement des genres des chansons historiques chez différents peuples slaves, en vertu des raisons historiques concrètes, se produit dans des périodes différentes, mais leur développement suit la même direction.

Les chansons historiques (dans des formes différentes) expriment dans leur masse la conception des paysans. Elles restaient toujours comme forme principale de la poésie populaire jusqu'à le temps, quand le prolétariat, achevant sa formation avec le développement du capitalisme, était en train de créer ses chansons historiques révolutionnaires, qui exprimaient la conception historique la plus avancée. Elles représentent qualitativement un fait nouveau, qui signifie un nouveau stade dans le développement du folklore historique (du période de développement de capitalisme).

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР И ИСКУССТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

V *Международный съезд славистов*

(София, сентябрь 1963)

К. В. Чистов

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СОЦИАЛЬНО-УТОПИЧЕСКИЕ ЛЕГЕНДЫ XVII—XIX вв.

Социально-утопические идеи и учения возникали в различные эпохи и при самых разнообразных исторических обстоятельствах. Однако вплоть до возникновения научного социализма они были важнейшей формой выражения положительных идеалов, концентрацией социально-преобразующей энергии классов или общественных слоев, не удовлетворенных существующей системой.

История социально-утопических идей постоянно привлекает внимание историков, философов, социологов, литературоведов. Написаны десятки книг и сотни статей, в которых исследуются самые разнообразные проблемы, с ними связанные, — генезис, взаимосвязи и взаимовлияния, общественная роль, воздействие на литературу и искусство и т. д. В Советском Союзе особенно значительные работы в этой области вышли из-под пера академика В. П. Волгина, его сотрудников и учеников¹. Исследователи сосредоточивают свое внимание главным образом на утопических системах, созданных известными философами и учеными, и, к сожалению, мало интересуются историей народного утопизма, т. е. утопических идей, стихийно возникавших в народных массах.

История народных социально-утопических идей и их выражения в фольклоре сложна и длительна. Ее восстановление требует усилий многих ученых, имеющих опыт исследования самых различных фольклорных жанров.

Приблизиться к правильному истолкованию утопических мотивов, присущих сказкам, былинам, историческим песням или другим фольклорным жанрам, можно было бы при помощи предварительного изучения народных политических движений прошлого

¹ См.: В. П. Волгин. Очерки по истории социализма. М.—Л., 1935, и др.

и связанных с ними социально-утопических легенд и преданий. К сожалению, русские народные социально-утопические легенды (как и легенды других европейских народов) изучены слабо. Большинство из них записано случайно, их сюжетный состав не выяснен, исторические обстоятельства их возникновения не исследовались систематически.

Мы намеренно выделяем XVII—XIX вв. Опыт изучения утопических систем привел В. П. Волгина к выводу, что социально-утопические идеи, настроения, движения возникают особенно активно и играют наиболее значительную роль в периоды кризиса общественных систем, на сломе исторических формаций. Утопические легенды различных народов имеют много общих черт, но, вместе с тем, их конкретные формы и особенности всегда глубоко национальны и определяются своеобразным характером развития каждого народа.

Кризис феодализма в России растянулся на два с лишним столетия: его развитие было как бы многоступенчатым и скачкообразным. Начиная с так называемого Смутного времени, ознаменованного восстанием под предводительством Болотникова, через многочисленные бунты XVII в. вплоть до крестьянской войны под руководством Разина, от стрелецких и казачьих движений конца XVII—начала XVIII в. до крестьянской войны под руководством Пугачева и серии крестьянских возмущений первой половины XIX в. шла линия открытых столкновений народных масс с крепостниками и крепостническим правительством. Расшатывая основу феодальной системы, народные движения то вспыхивали, то затухали, то порождали надежды, то повергали в отчаяние. С другой стороны, история попыток правительства разрешить назревшие противоречия тоже растянулась почти на целое столетие — от «Комиссии для сочинения нового Уложения» (1767) до реформ 60—70-х годов XIX в.

Подобно этому и крестьянские социально-утопические легенды создавались в России в XVII—XIX вв. почти непрерывно и имели между собой много общего. И в то же время большинство из них, так же как и открытые политические выступления масс, возникало каждый раз как бы заново и самостоятельно, обладало определенной локальной ограниченностью и отличалось разобщенностью.

В связи с этим попытаемся наметить основные типы легенд, расположив их не в хронологическом порядке, а по способу выражения в них социально-политических идей.

К первому типу можно отнести легенды, в которых социально-утопические идеалы проецируются в прошлое и тесно переплетаются с социальной или поэтической идеализацией его. Их можно было бы условно назвать легендами о «золотом веке».

Как и всюду, развитие феодализма в России сопровождалось непрерывным нарастанием классового гнета, ростом экономической и личной зависимости крестьян от помещиков и государства.

Процесс закрепощения крестьян, начавшийся еще во времена «Русской правды», т. е. в XI в., завершился в XVII—XVIII вв. Уложение 1649 г. юридически закрепило вполне сложившееся крепостное рабство, просуществовавшее в России до 1861 г. В XVII—XVIII вв. были почти полностью ликвидированы частичные привилегии различных групп крестьян, сохранявшиеся до этого времени. Вполне естественно, что в ту пору возникает устойчивое представление о некоем «золотом веке» идеальных социальных отношений в сравнительно недавнем прошлом.

Знакомясь с политическими и юридическими документами того времени, с памятниками художественной литературы, мы постоянно ощущаем существование этого представления в различных слоях тогдашнего общества. Вместе с тем в нашем распоряжении сравнительно мало фольклорных произведений, возникших на его почве. Это объясняется, вероятно, тем, что основная масса фольклорных записей была произведена во второй половине XIX в. и позже, когда «прошлым временем» была уже не старая Русь, а крепостная эпоха, не дававшая ни реального материала, ни поводов для поэтической и социальной идеализации.

Представление о «золотом веке» иногда приобретало не социальный, а как бы чисто экономический характер. Природа в прошлом была будто бы более изобильна и щедра к человеку. Отсюда легенды — о больших зернах, об изобилии зверей и рыб, о невероятных рудных богатствах и т. п.

Наконец, утопические идеи в значительных слоях русского крестьянства XVII в. получили религиозную или полурелигиозную форму или окраску. Завершающий этап закрепощения крестьян и возникновение абсолютистской монархии совпали в России с некоторыми мерами государства и церковной верхушки, направленными на централизацию русской церкви и унификацию ее обрядности. Одновременно церковниками была сделана попытка захватить руководящие позиции в политической и экономической системе феодализма (патриарх Никон), особенно ясно обнаружившая феодальную природу церкви. Все это привело к возникновению своеобразного религиозно-общественного антицерковного и антиправительственного (т. е. в конечном счете антифеодального) движения — раскола (старообрядчества).

Раскол отличался пестротой классового состава и пережил в дальнейшем сложную историю. Возникло множество разнохарактерных ответвлений; некоторые из них отличались фанатической непримиримостью к социальным и религиозным порядкам России XVII—XIX вв. Своеобразная старообрядческая окраска была свойственна даже великим крестьянским войнам под руководством Разина и Пугачева. Старообрядчество сыграло определенную роль в истории казачества и разнообразных колонизационных движений (европейский Север, Заволжье, Сибирь). Оно

оказало влияние и на процесс формирования иллюзорных представлений о сравнительно недавнем возникновении всех социальных бед и несчастий, о вольной и праведной жизни «до Никона».

Крайнее напряжение социальных отношений в период затянувшегося кризиса феодализма приводит к тому, что определенные слои крепостных крестьян начинают воспринимать современность в эсхатологических категориях. Политические и церковные события толкуются как свидетельства наступления «последних времен» перед концом мира. Наиболее радикальные ответвления раскола превращают представление об «антихристе» в синоним всей отвергаемой государственной системы («бегуны», «неплательщики» и др.). До воцарения «антихриста», т. е. в дониконовские времена, учат они, жизнь была правильной и праведной во всех отношениях — «божецкой» в социальном, политическом, экономическом и религиозном смысле.

Общее свойство легенд о «золотом веке» состоит в воплощении социально-утопических идей в идеализируемом прошлом; поэтому их с равным основанием можно было бы называть преданиями. Нам уже приходилось писать о легенде о Горе и «новгородской» легенде². В первой из них, переданной в известном «Плаче о писаре» заонежской сказительницы И. А. Федосовой, рисуется традиционный для русского фольклора образ Горя, властвующего на земле и преследующего людей. Однако, согласно этой легенде, так было не всегда. Люди еще помнят о времени идеальной социальной организации. Горе тогда пряталось в море «под колодиной». Только случайная оплошность привела к тому, что оно вырвалось наружу и стало бесчинствовать на земле. Нетрудно заметить сюжетное сходство этой легенды с популярным международным сюжетом типа мифа о Пандоре³.

Переход от идеального прошлого к осуждаемой современности рисуется в легендах подобного типа не как результат действия определенных законов исторического развития, а как некая случайность, которую можно было бы избежать (излишнее любопытство, неосторожность и т. д.).

В «новгородской» легенде те же идеи воплощаются в исторической или, точнее, условно-исторической форме. Характерная неосвоенность Севера Новгородом, а в XVI—XVII вв. — русским централизованным государством в сочетании с усилением социального гнета по мере развития феодальных отношений создавала почву для возникновения иллюзорного представления о некоей древней новгородской вольности.

² См.: К. В. Чистов. Народная поэтесса И. А. Федосова. Очерк жизни и творчества. Петрозаводск, 1955, стр. 188—193, 201—209; Причитания. Большая серия «Библиотека поэта». Л., 1960, стр. 30, 395—397.

³ Ср. также сказки типа: *735 (ВР II 99), *790, (1416) (ВР III, 223, стр. 543—544, сноски). — Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929.

С наибольшей полнотой «новгородская» легенда оказалась выраженной в сравнительно недавно обнаруженных строках, которые Е. В. Барсов вынужден был по цензурным соображениям исключить из «Плача о старосте»⁴. Здесь гибель «золотого века» связывается с разорением Новгорода и бегством его обитателей на Север. Нет нужды подвергать эту утопическую легенду исторической критике. Основания ее весьма относительны. Важнее подчеркнуть, что резко отрицательная оценка социальных отношений настоящего и здесь приобретает форму социально-утопической легенды исторического характера.

Несомненно, что Федосовой принадлежит только стихотворное изложение легенд, бытовавших на русском Севере. В заметках путешественников, этнографов, в фольклористических сборниках рассеяны многочисленные свидетельства того, что крестьяне многих северных областей, особенно Прионежья, хорошо помнили свое новгородское происхождение и неизменно идеализировали староновгородские времена⁵.

В некоторых народных легендах-преданиях идеализируемое прошлое имеет чисто местное значение и неясные исторические очертания. Такова, например, легенда о древнем «Берендеевом граде» на Берендеевом болоте, недалеко от Переславля-Залеского.

Она широко известна благодаря А. Н. Островскому, использовавшему ее в «Снегурочке». Однако сама легенда, многократно записанная в своем натуральном, традиционном виде, значительно менее определена и развита⁶. Рассказывается о том, что на месте современного болота был город, в котором царствовал Берендей. Жители этого города — берендей — жили будто бы очень счастливо и богато. Причины гибели города неясны. По некоторым записям это произошло в то время, когда Берендей уходил со своим войском на войну. Предание бытовало на ограниченной

⁴ Подробнее см. в нашей статье «К истории публикации „Плача о старосте“ И. А. Федосовой». «Советская этнография», 1962, № 2, стр. 120—124.

⁵ Самый ранний документ, зафиксировавший эту идеализацию, — крестьянская челобитная 1631 г. (см.: История Карелии с древнейших времен до середины XVIII века, т. I, Петрозаводск, 1952, стр. 234). «Новгородская» легенда откликнулась в творчестве многих русских поэтов, от романтиков и романтиков, поэтов-декабристов до славянофилов и почвенников 1860-х годов и получила самое различное истолкование — от революционного до крайне реакционного.

⁶ См.: М. Н. М. к. р. в. [М. Н. Макаров]. Журнал пешеходцев от Москвы до Ростова и обратно в Москву. М., 1830, стр. 135—138; е г о ж е. Русские предания. М., 1938; К. Т и х о н р а в о в. Некоторые народные предания и поверья во Владимирской губернии. Ежегодник Владимирского губернского статистического комитета, т. II, 1878, стб. 99; М. И. С м и р н о в. Переславщина. Источники и материалы краеведения, их систематизация и обзор. Переславль-Залесский, 1921, стр. 55; А. А. Б а у э р. Владимирский край. Труды Владимирского губернского научного общества по изучению местного края, вып. II. Владимир, 1921, стр. 135—136 и др.

территории — в районе Переславля-Залесского, но, по-видимому, очень устойчиво. Датировать его возникновение трудно, — в нем не содержится деталей, которые позволили бы высказать какое-нибудь определенное предположение. Имя Берендей воспроизводит название одной из тюркских групп, известной на Руси в XI—XII вв. и позже, видимо ассимилированной русским населением. Этноним «берендей» отложился в ряде географических названий. Так, известны были в XIV в. «Берендеева слобода» в Звенигородском уезде, в XV—XVI вв. — «Берендеева волость», в XVI в. — «Берендеев стан». С XV в. в этих же местах был основан небольшой Пятницкий Берендеев монастырь, упраздненный в XVIII в. В актах древней Руси встречается имя собственное Берендей (Торчин Берендей в рассказе об ослеплении Василька Теребовльского); позднее известны перевязи и шапки «берендейки». Имя царя Берендея встречается в русской сказке, но вполне вероятно, что оно попало в устную традицию под воздействием популярной сказки Жуковского. Не исключено, что предание возникло давно (разумеется, не в XI—XII вв., а на одно-два столетия позже, когда реальные воспоминания об исторических «берендях» достаточно потускнели). До нас дошла сравнительно поздняя топонимическая переработка легенды, возникшая в связи со стремлением объяснить происхождение и название городища, находящегося в пределах Берендеева болота и неоднократно привлекавшая внимание археологов XIX—XX вв.⁷

Близка к «берендеевой» народная легенда о Рахкое из Рагнозера. Это тоже местное топонимическое предание, распространенное главным образом в окрестностях Рагнозера в Пудожском районе Карелии. История предания сложна и связана с этническими процессами, развивавшимися в Прионежье в IX—XIV вв.⁸ Основные мотивы его сложились, по-видимому, не раньше середины XVII в. В центре предания — богатырь-крестьянин. В награду за подвиг он получает личную свободу и озеро Рагнозеро с прилегающими к нему землями. Предание не рассказывает о том, как жил Рахой после обретения воли и земли. Вероятно, оно возникло не в процессе идеализации реальных исторических воспоминаний, а каким-то иным путем.

Форма, которую приобрел здесь крестьянский социально-утопический идеал, легко объяснима из своеобразных исторических условий первой половины XVII в., когда в Карелии появляются

⁷ См.: Е. И. Горюнова. Этническая история Волго-Окского междуречья. «Материалы и исследования по археологии СССР», № 94. М., 1961 (глава «Курганы Суздальского ополя и их датировка», стр. 192—194). О роли тюркского этнического элемента в формировании русского населения этого района археологи ничего не говорят.

⁸ Подробное см.: К. В. Чистов. Былина «Рахта Рагнозерский» и предание о Рахкое из Рагнозера. Сб. «Славянская филология» (IV Международный съезд славистов). М., 1958, III, стр. 358—388.

небольшие группки «обельных», т. е. освобожденных от всех феодальных повинностей крестьян. «Обеление» производилось за особенные заслуги. Факты «дарования» и «обеления» не могли не приобрести популярности в крестьянской среде, — они и определили формы поэтического воплощения социально-утопического идеала. Севернорусская особенность этого предания — пожалование Рахкоя озером с его берегами. Эта легенда заставляет вспомнить многочисленные казачьи предания о грамотах, по которым казакам за особенные заслуги (участие во взятии Казани и т. п.) были дарованы реки Дон, Урал, Терек. Грамоты, гарантировавшие вольность и казачье самоуправление, были, согласно преданиям, потеряны, и поэтому век вольности сменился веком борьбы казаков за свои права и превращением вольного казачества в служилое сословие. Подобные представления отразились и в целом ряде казачьих песен.

Несколько иного происхождения «Никитина вотчина» в известной песне «Гнев Грозного на сына». Это тоже своеобразное государство в государстве, выключенное из общей феодальной системы и тоже дарованное за особые заслуги,

Итак, легенды первого типа распадаются на две разновидности: 1) о всеобщем «золотом веке» в прошлом и 2) более ограниченные и местные по своему значению и содержанию: о землях, в которых вольность удерживалась какое-то время на сравнительно небольшой территории (Берендеев град, Рагнозеро, казачьи области и др.) в связи с какими-то особыми обстоятельствами, чаще всего благодаря подвигу, заслугам перед государствами т. д. Во всех легендах первого типа речь идет об утраченном «золотом веке», однако характерно, что в легендах об обеленных или дарованных землях причины наступления худших времен обычно мало занимают рассказчиков. Для них важнее утверждение основной утопической идеи — вольность достижима при помощи подвига, исключительного поступка. Сам случай, о котором рассказывается, становится как бы иллюстрацией, примером, притчей, при помощи которой эта идея выражается.

Легенды второго типа можно было бы назвать легендами о «далекой земле». Прошлое рисуется в них лишь для объяснения возникновения и существования в настоящем страны, города или каких-то менее определенных по своим очертаниям земель, являющихся живым воплощением социально-утопических идеалов. Фантастическая страна (земля), о которой говорится в легендах этого типа, лежит за пределами феодального мира и не подвержена действию ее законов. Она не знает ни аграрной тесноты, ни помещиков, ни чиновников, ни царского суда, ни армии, ни податей, ни налогов.

Социальные идеалы осуществляются здесь не путем исторически закономерного преобразования действительности, а выключением из нее, чудесной приостановкой действия ее законов, кото-

рые толкуются как крайне несправедливые. Силы феодального мира не могут достичь эту землю — она предельно удалена⁹.

Одна из важнейших особенностей русской истории периода феодализма заключалась в том, что классовые противоречия на Руси развивались в специфических условиях постоянного наличия резервных пространств. Известно, что и в других европейских странах овладение новыми территориями было не только важным фактором процесса первоначального накопления, но и служило средством ослабления социальных конфликтов в метрополиях. Однако, как правило, это были сравнительно труднодоступные заморские территории, и миграция не могла стать столь массовой, как в России.

Окончательное закрепощение крестьян в XVII—XVIII вв. и экономическое наступление помещиков на крестьянское хозяйство и земли устремило массы недовольных крестьян за пределы территорий, освоенных феодальным государством. Необыкновенно быстрое заселение запустевших было пространств «дикого поля», возникновение донского, тёрского и уральского казачества, быстрое освоение Заволжья и южного Приуралья, завершение колонизации европейского Севера, наконец, не имеющее прецедентов в мировой истории «прохождение» Сибири от Урала до Тихого океана почти за одно столетие (1581—1648), главным образом посредством вольной, стихийной, мужицкой колонизации, — все эти факты русской истории могут быть объяснены только стремлением народных масс столь своеобразным способом ликвидировать все усиливавшийся феодальный гнет.

Вместе с тем наличие резервных пространств и постоянная возможность или, по крайней мере, надежда выйти на «вольные земли» были одной из причин, обусловивших затянутость периода кризиса феодализма в России, неравномерность и временами относительно вялость его развития. Пока нельзя установить, когда именно начали возникать социально-утопические легенды,¹⁰

⁹ Указатель Р. Христиансена («The migratori legends». Helsinki, 1958, FFC, № 175) не учитывает легенд подобного типа. Некоторые близкие сюжеты см. в указателе С. Томпсона (Motif-Index of Folks-Literature) в разделах: F (111; 111 · 2, 116, 979 · 10), X (1503), D (1653 · 1—2, 2157 · 1), V (511 · 4, 1653 · 1—2), Q (111 · 8) и др.; в указателе Aarne — Андреева № 1930; в комментариях И. Больге и И. Поливки к сказкам бр. Grimm (Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Bd. 3. Leipzig, 1918, N 158).

¹⁰ В памятниках древней русской письменности легко отыскать свидетельства того, что легенды о вольных, богатых, праведных, идеальных землях издавна бытовали на Руси, видимо, в самых различных слоях населения. Еще в XIV в. в послании архиепископа новгородского Василия Калики к тверскому епископу Федору обсуждался вопрос о «мыслённом» и «сущем» рае. Василий утверждал существование рая, который можно увидеть и в который можно проникнуть, и ссылался при этом на неких новгородцев, которые видели его во время одного из путешествий (см.: Н. А. К а з а к о в а и Я. С. Л у р ь е. Антифеодальные и еретические движения на Руси XIV—начала XVI в. М.—Л., 1955, стр. 35—37 и др.). Западные параллели при-

связанные со всеми этими обстоятельствами. Несомненно, что они существовали и до XVII в. — выходы крестьян на вольные земли (например, в неосвоенные районы европейского Севера) известны и в значительно более ранние времена, по крайней мере в XI—XII вв. В XVI в. возникают первые казачьи районы, которые были чрезвычайно своеобразным результатом все тех же крестьянских «выходов» в специфические области, лежавшие между русскими оборонительными линиями и соседними государствами или народами.

В XVII—XIX вв., когда волны крестьянской колонизации и переселенчества, то нарастая, то затихая, сменяли одна другую и стали одним из ярчайших проявлений кризиса всей общественной системы, подобные легенды не могли не возникать особенно интенсивно и не пользоваться особенной популярностью.

И действительно, в XVI—XVII и последующие века непрерывно возникали легенды о существовании за пределами освоенных земель (в Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии, Китае, на Курилах, Сахалине, в Японии) каких-то чудесно богатых, вместе с тем вольных, далеких от «начальства» мест (Мангазея, река Нерога, Погыч, Анадырь, Даурия, «земля Андреева», «серебряные и золотые острова», «земля Гамы», Еркеть и др.). Им предшествовали «Сказание о человецех незнаемых в восточной стороне»¹¹ и легенды о «земле бородатых людей» и «зеленой земле», воспринятые русскими промышленниками и землепроходцами от сибирских народностей¹². Параллельно с устными слухами и легендами, возможно уже в XVI в. и наверное в XVII в., существовали «скаски» и «дорожники», т. е. письменные описания маршрутов и путей в эти чудесные края. Ранний образец такого документа, в котором причудливо сочетается реальное и фантастическое, достоверное и легендарное, дошел до нас в переводе С. Гер-

водились А. Н. Веселовским (Сборник ОРЯС, т. 53). На протяжении ряда столетий популярностью пользовалось «Сказание об Индийском царстве», восходящее к хорошо известному в Европе «Посланию пресвитера Иоанна» и оставившее заметный след в устной традиции. Переписывались и распространялись такие памятники, как «Космография Козьмы Индикоплова», «Хожделение игумена Даниила», «Александрия» Псевдо-Каллисфена, в которых обсуждалась проблема существования подобной страны где-то на востоке и рая где-то за морем, за пределами обитаемой земли («Хождение Зосимы к рахаманам», «Слово о Макарии» и др.).

¹¹ См.: Д. Н. Анучин. К истории ознакомления с Сибирью до Ермака. Древнее русское сказание «О человецех незнаемых в восточней стране». «Древности» «Труды Московского археологического общества», т. 14. 1890, стр. 227—313; А. П. П. и н. Первые известия о Сибири и русское ее заселение. «Вестник Европы», СПб., 1891, кн. 8, стр. 742—789.

¹² См.: А. П. Окладников. «Земля бородатых». «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом)», т. 14, М.—Л., 1958, стр. 516—524.

берштейна, побывавшего в России в 1516—1518 и 1526—1528 гг.¹³ В XVII в. традиция «скасок» и «подорожников» была уже настолько популярна, что появились даже пародии на «дорожник» в утопическую страну необыкновенного благоденствия. Одна из них хорошо известна. Это — «Сказание о роскошном житии и веселии»¹⁴.

Наибольший интерес из легенд этой группы по обилию сохранившихся материалов и широте распространения представляет легенда о Беловодье. Ее бытование фиксируется на протяжении всего XIX столетия; корнями своими она уходит во вторую половину XVIII в., а некоторые мотивы и обстоятельства ее возникновения заставляют думать, что в процессе ее сложения сыграли какую-то роль и некоторые события XVII в.¹⁵ Беловодье — по представлениям создателей легенды — страна, лежащая далеко на Востоке, за высокими горами, за Сибирью, и Китаем, на семидесяти больших островах океана, а «малых» и исчислить невозможно. Островное положение легендарной страны не случайно. Остров — географическое и вместе с тем поэтическое выражение идеи отдаленности и отъединенности, жизни ~~за пределами~~ ~~государства~~.

Поэтический образ страны благополучия, расположенной на острове, известен фольклору многих народов и генетически восходит, вероятно, к представлению об острове, на который переселяются души умерших предков, либо, первоначально, к представлению о параллельном существовании двух, трех и более миров, которые эпизодически сообщаются друг с другом. В дальнейшем своем развитии представление об острове — другом мире — в ряде случаев дает материал как для поэтического оформления социально-утопических легенд, так и для изложения социально-утопических учений (ср. Офир, Венета, Туле, Рунхольд, Атлантида и т. д. до «Острова Утопий» Томаса Мора¹⁶).

Однако утопическая островная страна, созданная воображением русских крестьян, отличается характерными чертами — она покрыта густым, вековым лесом; климат ее суров — зимы бывают

¹³ См.: С. Герберштейн. Записки о московитских делах. Введение, перевод и примечания А. И. Малеина. СПб., 1908. О «подорожниках» у Герберштейна см.: М. О. Косвен. Материалы к истории ранней русской этнографии (XII—XVII вв.). Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии, I. «Труды Института этнографии АН СССР», т. 30. М., 1956, стр. 36—38; ср.: Д. М. Лебедев. География в России XVII в. М.—Л., 1949, стр. 96.

¹⁴ См.: Русская демократическая сатира XVII века. Серия «Литературные памятники», М.—Л., 1954, стр. 39—42, 239—241.

¹⁵ Подробнее см. в нашей статье «Легенда о Беловодье» («Труды Карельского филиала АН СССР», вып. 35. Петрозаводск, 1962, стр. 116—181).

¹⁶ См.: J. Z e m m e r i c h. Toteninseln und verwandte geographische Mythen. Leipzig, 1891; В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946 (глава «За тридевять земель», разделы «Тридевятое царство в сказке» и «Тот свет»), стр. 260—276. Обзор близких легенд при ином понимании их социальной природы и содержания см.: R. Hennig. Von rätselhaften Ländern. München, 1925; ег о же. Terrae incognitae, Bd. 1—4. Zürich, 1944.

такие, что трескается земля. Вместе с тем она плодородна и исполнена всяческих богатств. Жители Беловодья оберегают ее от тех, кто может нарушить ее порядки. В этой стране нет царя, нет помещиков, чиновников, армии, нет паспортов, налогов и податей, более того — вообще нет никакой светской власти, никакой государственной организации. Крестьяне живут вольно на вольной и богатой земле.

Беловодье — вместе с тем и праведная земля. Там нет официальной церкви и никонианских попов; русские люди, ушедшие туда после разгрома Соловецкого восстания, хранят там «древнее благочестие». Антифеодальные социально-утопические идеи получают тем самым религиозное оправдание. Этот оттенок делал легенду особенно популярной в старообрядческой среде. В ее развитии (так же как, например, китежской легенды), несомненно, сыграли значительную роль «бегуны» — крайнее анархистское ответвление старообрядчества, фанатически непримиримое с феодальными порядками и возводившее «бегство» в религиозную догму. Вместе с тем изучение истории легенды показывает, что бытование ее было широким. В распоряжении исследователей в связи с этим оказываются не только записи легенды, произведенные этнографами или фольклористами (Ядринцев, Принтц, Белослюдов, Бломквист и др.), но и любопытнейший памятник низовой, крестьянской письменности XIX в. — «Путешественник Марка Топозерского» и многочисленные документы полицейского и судебного преследования крестьян, бежавших в Беловодье.

«Путешественник»¹⁷ призывает бежать в чудесную страну, сообщает о ней важнейшие сведения, рассказывает историю поисков ее неким Марком из Топозера и сообщает, по какому маршруту следует двигаться. Примечательно, что этот маршрут ведет от Казани на Екатеринбург, Тюмень до Бийска и затем в предгорья Алтая, заставляя вспомнить одно из классических направлений русского крестьянского переселенческого движения XVIII—XX вв.

Судебные документы, в сочетании со сведениями, которые можно извлечь из периодической печати, рисуют чрезвычайно примечательную картину. С начала XIX в. (1807 г.) и до последнего предреволюционного десятилетия русскими крестьянами из самых различных губерний было предпринято несколько десятков попыток найти Беловодье, причем в отдельных отрядах искателей насчитывалось до 300 человек, а некоторые из участников поисков пускались в путь по три, четыре и даже пять раз (Хрисанф Бобров и его братья и др.).

Что же гнало крестьян, столь привязанных к земле, за тысячи верст в неизвестное Беловодье? Отчаяние и решимость, убежденность в том, что на родине, на которой сотни лет прожили их

¹⁷ Выявлено семь списков «Путешественника» и сохранились свидетельства о существовании, по крайней мере, еще трех списков.

предки, кровью и потом полившие свой клочок земли, справедливость невозможна, что бездействие приведет к гибели. Вместе с тем надежда найти землю, где справедливость не погублена помещиками и царскими чиновниками, надежда не превратиться в гулящих людей, бродников, гультаев, ватажников, разбойников, а где-то там в далеком Беловодье снова сделаться крестьянином, срубить избу и пахать землю. Именно энергия отчаяния и энергия надежды, смыкаясь, породили поэтическую вспышку — легенду о Беловодье. Легенда не только призывала идти, она показывала направление, была поэтической санкцией бегства от помещиков, чиновников, рекрутчины, как «бегунское» учение было санкцией религиозной (косвенным подтверждением популярности беловодской легенды может служить история авантюриста А. С. Пигулевского, около тридцати лет курсировавшего по северным и центральным губерниям России и выдававшего себя за «архиепископа беловодского поставления»).

В легенде о Беловодье, как и во ~~всякой~~ подобной легенде, вымысел самым причудливым образом переплетается с реальностью и почти каждый мотив ее может получить историческое объяснение.

Маршрут «Путешественника» приводит на Алтай, в плодородную Бухтарминскую долину и Уймон, отделенный от нее горным хребтом. Сразу же вслед за этим он теряет географическую определенность, и дальнейшие названия представляют одну загадку за другой (Губань, Лове, Кукания¹⁸, Буран-река и т. д.) пока, наконец, не называются «семьдесят островов в океан-море» (т. е. в Тихом океане). Сибирские краеведы XIX в. утверждают, что Беловодьем называлась некоторое время (XVIII в.) часть Алтая, находившаяся на нейтральной земле между русской оборонительной линией и китайской границей. В это время здесь возникло своеобразное мужицкое государство без государства, населенное беглецами из европейских и сибирских губерний. В отличие от казачьих районов, здесь не было необходимости в военной организации для защиты от соседей. В конце XVIII в. Бухтарма и Уймон были присоединены к русскому государству, но бухтарминцы почти целое столетие сохраняли еще некоторые привилегии, отличавшие их от общей массы российских крестьян: они числились «ясажными инородцами» и сохраняли в известной мере общинное самоуправление. Естественно, что с конца XVIII в. Бухтарма перестает считаться Беловодьем, поиски направляются дальше на восток. Термин «Беловодье» вообще, видимо, никогда не был именем собственным, географическим названием, а всегда служил обозначением некоей белой, обеленной, свободной от помещиков и податей страны.

¹⁸ Нет достаточных оснований считать, что творцам легенды были известны западноевропейские рассказы о Кукании (ВР, № 158, STh. — X, 1503). Заметим, что в Читинской области есть село Кукан (Улетовский район).

В дальнейшем развитии легенды отразились какие-то воспоминания о богатствах и вольностях Даурии в начальную пору ее колонизации (конец XVII в.), длительная история поисков русскими Японии и выход к ней русских землепроходцев через Курильские острова. Сказались в легенде и некоторые другие периоды и обстоятельства продвижения вольной колонизации на восток.

Беловодская легенда показывает, как народная мысль исчерпывает то, что мы условно называли резервными пространствами Сибири и Дальнего Востока.

Очень близка к беловодской легенда казаков-некрасовцев о «городе Игната»¹⁹. Судьба самих некрасовцев представляет любопытнейший материал для изучения развития социально-утопического мышления русского крестьянства. Некрасовцы — казаки, участвовавшие в восстании, возглавленном Кондратием Булавиным, а после его гибели — Игнатом Некрасовым (1707—1708 гг.). Восстание Булавина—Некрасова было одной из многих попыток донских казаков отстоять свою независимость. Когда они потерпели поражение, наиболее непримиримая часть казаков ушла в свободные еще тогда кубанские степи (1708 г.), находившиеся под формальным контролем турецкого султана. Вольное поселение некрасовцев на Кубани стало привлекать беглых людей со всей России, а особенно с Дона. Началась тянувшаяся более 30 лет борьба некрасовцев с правительством, неоднократно посылавшим карательные экспедиции (1711, 1720 гг. и др.). Некрасовцы отвечали на них походами в глубь России (1711, 1713, 1717 гг. и др.). В 1740 г. некрасовцы, потерявшие надежду на вольное житье на Кубани, бегут на Дунай, где и поселяются с разрешения турецкого правительства. Утопическая надежда уйти за пределы феодальной системы потерпела поражение. Оставался другой традиционный выход — сменить сюзерена, выговорив себе некоторые свободы. И снова казачьи поселения на Дунае начинают привлекать к себе беженцев. У нас нет документов, прямо говорящих о том, в какой форме распространялись на Руси слухи о «некрасовских» поселениях на Кубани и Дунае. Однако известно, что в середине XIX в. (когда часть некрасовцев в новых и новых поисках вольного житья по договоренности с турецким правительством поселилась на озере Майнос и частично на острове Маду на Бейшеирском озере) по Руси ходили «Путешественники», очевидно, беловодского типа, с призывом уходить к некрасовцам,

¹⁹ По сообщению собирателя и исследователя этой легенды Ф. В. Тумилевича в его распоряжении находится около двух десятков записей. В составленном им сборнике (Сказки и предания казаков-некрасовцев. Ростов-на-Дону, 1961) опубликовано пять текстов за № 42, 44—46, 49; сходные мотивы встречаются в текстах № 37, 47, 50, 53. См. также: Русские народные сказки казаков-некрасовцев. Собраны Ф. В. Тумилевичем. Ростов-на-Дону, 1958, № 36.

которые живут в Турции вольной жизнью²⁰. Следовательно, в это время сами некрасовцы, непрерывно искавшие «вольную землю», стали объектом социальной идеализации.

Одновременно в среде некрасовцев складывается легенда о том, что Игнат Некрасов жив, что он с частью казаков ушел (или уплыл на чудесном корабле) за Песчаное море (Аравийскую пустыню) и построил там, в «Адалии» вольный «город Игната». Не осуществленные в действительности социально-утопические идеи некрасовцев получили легендарное, поэтическое выражение.

Так же как Беловодье, «город Игната» далеко не просто фантастическая выдумка. Некрасовцы горячо верили в его существование; подобно искателям Беловодья они долго и упорно искали этот город. Их ходки побывали в Египте, Эфиопии, в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, доходили даже до Индии и Китая. Здесь тоже были выдающиеся энтузиасты, такие, как Е. И. Семутин, который около сорока лет искал чудесный город²¹. Однако легенда о «городе Игната» бытовала в сравнительно замкнутой среде и приобрела характерные казачьи и ближневосточные черты («Адалия», «Песчаное море»), что, вероятно, и было известным препятствием для более широкого ее распространения. Маршруты поисков здесь были не связаны с привычными для сознания крестьян европейских и сибирских губерний направлениями вольной колонизации и стихийного переселенчества XVII—XIX вв.

К этой же группе следует отнести некоторые другие легенды, имевшие также локальный характер и бытовавшие, видимо, относительно короткое время (легенда о «реке Дарье», об «Открытогорode», об «Анапе», о «Самарской губернии», об «ореховой земле» и др.). Все они еще менее изучены. Остановимся кратко на наиболее примечательной из них — легенде о «реке Дарье».

В 20—60-х годах XIX в. в некоторых приволжских и центральных губерниях бытовала легенда о «реке Дарье», на которую будто бы вышла какая-то группа русских людей (по некоторым вариантам — во главе с великим князем Константином, отстраненным от престола будто бы за сочувствие крестьянам) и живет там вольно. Сведения об этой легенде относительно скупы, но достаточно выразительны. Так же как и «Беловодье» и «город Игната», «река Дарья» привлекала к себе сотни крестьян, срывавшихся со своих мест и пытавшихся найти легендарную страну. Легенда звала их в путь, давала направление их поискам, была оправданием их решительных действий.

В августе 1825 г. нижегородским гражданским губернатором было разослано циркулярное предписание, в котором говорилось

²⁰ См., например: А. П. Щ а п о в. Земство и раскол. Бегуны. «Время», 1862, № 10, стр. 277.

²¹ Ф. В. Т у м и л е в и ч. Сказки и предания казаков-некрасовцев, стр. 28, 159 и др.

о том, что среди крестьян этой губернии распространился слух о «реке Дарье», и целые группы крестьян отправились на ее поиски. Губернские власти прибегли к помощи воинских частей. В воложских уездах был установлен заслон. Крестьян останавливали, секли и поворачивали назад. П. И. Мельников-Печерский, обнаруживший этот документ в Нижегородском архиве, писал 1854 г.: «Уверенность в действительном существовании реки Дарьи, в которой осетров руками ловят и на берегах которой растут всякого рода хлеб и овощи на земле не паханной, не бороненной и не засеянной — уверенность в этом до сих пор есть между крестьянами нагорных (т. е. расположенных на правом берегу Волги. К. Ч.) уездов Нижегородской губернии»²². Свидетельство П. И. Мельникова-Печерского подтверждается другими источниками, анализ которых приводит к выводу, что легенда бытовала по крайней мере до начала 1860-х годов, т. е. лет 30—35²³.

Мы считаем легенды о «далекой земле» утопическими не только потому, что подобный идеал не согласуется с нашим пониманием хода истории. Известны многочисленные попытки осуществления этого идеала и столь же многочисленные неудачи, в которых нельзя не усмотреть общей причины и общей закономерности. Нам памятно, как сложилась история казачества, судьба районов вольной колонизации, старообрядческих общежителств и сектантских братств и колоний. Их ожидала не только длительная борьба с государством, как бы далеко они не уходили, но и поражение в этой борьбе или, в лучшем случае, временное удержание некоторых привилегий (казаки, бухтарминские «ясашные инородцы», «беломестные казаки», старообрядцы-«двоеданы», обельные крестьяне, однодворцы и т. д.). Даже и в тех случаях, когда правительство по каким-то причинам не успевало освоить новый район колонизации или привилегии сохранялись достаточно долго, сама крестьянская среда не могла избежать внутреннего раскола, социального расслоения. Появлялись домовитые и старожилые казаки, казачья старшина, кулачество и даже купечество, выделялась религиозная верхушка, подчинявшая низшую братию, и — на другом полюсе — трудники, голытьба, иногородние батраки, «расейские». Крестьянский идеал социального равенства и благо-

²² Отчет о современном состоянии раскола по Нижегородской губернии (1854), составленный Мельниковым. Сборник в память П. И. Мельникова (Андрея Печерского); Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, т. 9, Н.-Новгород, 1910, ч. 2, стр. 237, прим.

²³ См.: Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект, как в религиозном, так и в политическом их значении. Сост. Липранди. Лейпциг, 1883, стр. 58; А. Н. Пыпин. Мои заметки. М., 1910, стр. 12—13; Ф. В. Ливанов. Раскольники и острожники, т. 2. СПб., 1870, стр. 666; Д. [Н. Демерт]. Наши общественные дела. «Отечественные записки», 1872, № 6, стр. 259; Д. Л. Мордовцев. Самозванцы и пониговая вольница. Собр. соч., т. 17, ч. 1. СПб., 1901, стр. 154 (впервые напечатано в 1884 г.).

получия оказывался неосуществимым не только по внешним, но и по чисто внутренним причинам. Мелкая собственность рождала стремление к ее увеличению за счет соседа, родственника, общинника, единоверца.

Чрезвычайно характерна в этом отношении история «белопашцев», или «белян», потомков Ивана Сусанина — жителей села Коробова, за заслуги предка поставленных в совершенно исключительное положение. Они были освобождены от каких бы то ни было податей, поборов, налогов и обложений; чиновникам и полицейским был разрешен въезд в Коробово только по специальному указанию правительства. Эти права неоднократно подтверждались царскими грамотами и указами (1631, 1644, 1691, 1767, 1837 гг.) и действительно не нарушались. Тем не менее Коробово не процветало. В 1834 г. Николай I при объезде Костромской губ. не мог не обратить внимания на исключительную бедность жителей этой деревни. Специальная комиссия, которой было поручено расследование дела, полностью подтвердила это впечатление. Жалованная земля дробилась на меньшие и меньшие участки, едва прокармливавшие владельцев. В роде Сусаниных-Сабининых выделилось кулачество, которое, опираясь на общинные традиции, закабалило своих родственников. Староста деревни Коробово и два его брата владели четвертью всей жалованной земли²⁴.

Третий тип социально-утопических легенд можно было бы условно назвать легендами «об избавителях». В легендах этого типа социально-утопический идеал не мыслится еще воплощенным в действительность, однако сила, которой предназначено реализовать это воплощение, уже существует, и она-то привлекает внимание создателей и носителей легенд.

Мы не будем касаться религиозно-мессианских легенд; они требуют специального исследования. И христианские, и магометанские, и иудейские, и буддийские мессианские учения возникли в разные, но в равной степени переломные и переходные эпохи и особенно оживлялись в пору созревания общественных или политических кризисов, соединяясь иной раз с представлениями об избранничестве того или иного народа. Так, в России в первые десятилетия татаро-монгольского нашествия и в последующие века, особенно в XVII—XIX вв., периодически возникало напряженное ожидание конца света. Назывались определенные приметы его приближения, даты осуществления и т. д. По «Откровению Иоанна Богослова» близкий конец света толковался как приход в мир божественного избавителя, который установит тысячелетнее

²⁴ См.: В. И. Вешняков. Материалы для истории и статистики государственных крестьян разных наименований. Белопашцы и обельные вотчинники и крестьяне. «Журнал Министерства государственных имуществ», ч. 71, 1859, май, стр. 103—114; июнь, стр. 143—157.

царство справедливости²⁵. Однако крестьян не удовлетворяло отвлеченно-мистическое толкование легенды, идущей от Апокалипсиса. Они вносили в легенду свои поправки и конкретизировали ее; например, тысячелетнее царство будет в районе Каспийского моря; поэтому надо, не дожидаясь событий, бежать в Астраханскую губ., чтобы быть поближе к его будущей территории и одновременно уйти из-под опеки «начальства»²⁶. Вместе с тем для русской истории XVII—XIX вв. не менее характерно возникновение множества новых мессианских учений, появление нескольких десятков хлыстовских и скопческих «христов» и «богородиц». Все эти учения были религиозно-мистическим выражением самых различных по своему социальному и политическому характеру антицерковных и антигосударственных, т. е. в конечном счете антифеодальных, настроений. Религиозные мотивы проникали и в легенды об «избавителях» социально-политического характера.

Сравнительно позднее утверждение абсолютной монархии в России, а, главное, совпадение этого этапа развития феодального государства с началом кризиса феодальной системы, чрезвычайно резкие формы столкновения центральной власти с местными феодалами в XVI в., династическая борьба вокруг русского престола в первые десятилетия XVII столетия и в конце его, а особенно в XVIII в., причины и мотивы которой были непонятны народу, — все это поддерживало иллюзии о надклассовом характере царской власти, надежды на возможность ликвидации феодализма властью царя и даже утверждения «мужицкого царя». Именно поэтому XVII—XVIII вв. в России отмечены чрезвычайно своеобразным разгулом самозванчества.

Самозванчество встречается в различные века и у разных народов, однако без преувеличения можно сказать, что нигде оно не было столь многократным и значительным во всех отношениях, как в русской истории этих трех столетий. Самозванчество в России было одним из своеобразных идеологических и политических проявлений феодального кризиса и антифеодального движения.

Нет нужды перечислять всех самозванцев, анализировать все субъективные мотивы их выступлений и историю появления и гибели каждого из них. В XVII—XIX вв. едва можно отыскать два-три десятилетия, не отмеченные появлением нового самозванца. Только в последней трети XVIII в. историки насчитывают 21 слу-

²⁵ Об аналогичных настроениях в западноевропейских странах см.: Ф. Энгельс. Книга Откровения. В сб.: К. Маркс и Ф. Энгельс о религии. М., 1955, стр. 159—164.

²⁶ См. свидетельства А. Щапова, П. Мельникова-Печерского, Л. Трефолева, А. Розова, Ф. Ливанова и др. Эта идея была еще в XVII в. подхвачена «бегунами» и пользовалась среди них популярностью по крайней мере до 50—60-х годов XIX в. См. также: Полное собрание законов Российской империи с 1758 по 1762. СПб., 1830, стр. 154, № 10791 и др.

чай самозванчества, не считая Пугачева и «княжны Таракановой»²⁷. Первые самозванцы появляются в начале XVII в., последние — в конце XIX в. Среди самозванцев были крестьяне, однодворцы, казаки, дворяне, солдаты, офицеры и пр. Они выдавали себя за царевича Дмитрия, царевича Петра (сына Федора Иоанновича), Михаила Федоровича, Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, Алексея Петровича, Петра Петровича, Иоанна Антоновича, Петра Федоровича, Павла Петровича, Константина Павловича, Константина Константиновича и др. Известно несколько случаев женского самозванчества.

Легенды об избавителях, а вслед за ними самозванчество возникали каждый раз, когда кто-то оказывался свергнутым, отстраненным или недопущенным до престола. Сверженный царь и отстраненный престолонаследник неизбежно осмыслился как потенциальный и несостоявшийся «избавитель». Династическая и политическая борьба вокруг престола — вне зависимости от ее реального содержания — понималась как борьба за крепостничество или против него²⁸.

Самозванцы появлялись один за другим, судьба их была различна. Одни из них сыграли значительную роль в русской истории, другие действовали сравнительно непродолжительное время. Некоторых из них арестовывали почти сразу же после «объявления». И все же большинство из них получало немедленную поддержку в народе. Такая готовность откликнуться на попытку любого самозванца утвердиться на российском престоле, разумеется, вовсе не объясняется легковерностью и темнотой русского крестьянина, его особенной склонностью к авантюрам, к фантастике и уж тем более его природным монархизмом, как это пытался доказать, например, С. Соловьев²⁹. Правильная и широко распространенная в нашей науке формула «царистские иллюзии» (или «царистские настроения») должна применяться с большой осмотрительностью и точностью. Для того круга явлений, которых мы

²⁷ Самой полной сводкой сведений о самозванцах этих десятилетий является статья К. В. Сивкова «Самозванчество в России в последней трети 18 в.» «Исторические записки», т. 31, М., 1950, стр. 88—135. Однако автор не учитывает самозванцев хлыстов и скопцов (Селиванов, Шилов и др.), тоже выдававших себя за Петра III.

²⁸ Эту сторону крестьянской психологии хорошо понимали декабристы, призывавшие солдат на Сенатской площади остаться верными «отстраненному» Константину. Известны и более поздние попытки использования легенд об избавителе в политических целях (см., например: П. Г. Щеголев. Алексеевский равелин. М., 1929, стр. 98—100 и др. — о Бейдемане, издавшем манифест от имени Константина Константиновича).

²⁹ С. Соловьев. Заметки о самозванцах в России. Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке библиотекарем Петром Бартевым, год шестой, 1868, стр. 266—281.

³⁰ Разумеется, имели место и иные царистские иллюзии: например, убеждение в том, что царю неизвестно положение народа, он находится под влиянием окружающих его крепостников, но если бы он узнал, все переменялось бы

касаемся ³⁰, эти настроения представляют собой сочетание решимости свергнуть существующего царя, как царя крепостнического, с представлением о том, что если уже государство неизбежно должно возглавляться каким-то царем, то он должен быть по крайней мере «мужицким», способным ликвидировать феодальное угнетение и дать народу землю и свободу. Даже в периоды, когда крестьянское движение приобретало наибольший размах и, казалось бы, не только раздвигало, но и ломало рамки царистской политической концепции, вопрос о хорошем царе не снимался вовсе, а отодвигался на второй план. Так, в войсках Болотникова приводили к присяге царю Дмитрию, хотя отвергали Отрепьева и не знали, где именно скрывается этот царь; среди разинских стругов был специальный, на котором в глубокой тайне возили «царевича и патриарха»; среди участников булавинско-некрасовского движения был распространен слух о том, что царя Петра подменили (при рождении, в Швеции и т. д.). Политическая мысль крестьянства не могла вырваться за пределы традиционной государственной системы, не ощущала ее как исчерпавшую себя, не могла открыть неизвестную еще русскому крестьянству республиканскую форму правления. Идеалом оставалось оказаченное государство во главе с «хорошим» царем.

Нет сомнений в том, что легенды не создавались самозванцами; наоборот, самозванцы пользовались широко бытовавшими легендами, лишь несколько варьируя или детализируя их. Появление самозванцев воспринималось народом обычно как нечто естественное, потому что их ждали, верили в их появление, связывали с этим моментом главнейшие жизненные надежды. Доказывается это прежде всего чрезвычайным сходством всех известных нам легенд об «избавителях». В основе их лежит устойчивая сюжетная схема, и варьирование происходит главным образом за счет выключения отдельных мотивов. Схему эту можно передать следующим образом: царь или претендент на престол хочет освободить крестьян или внести какое-то очень существенное улучшение в их жизнь. В связи с этим крепостники решают убить его или свергнуть с престола и заточить в тюрьму, либо препятствуют его коронации и хотят его каким-нибудь способом устранить. Верный ему солдат (или слуга, адъютант) подменяет его, гибнет сам и спасает «избавителя». «Избавитель» вынужден скрываться; он ходит по русской земле, нищий и непризнанный, замечает все обиды народа и запоминает всех обидчиков и притеснителей или сидит в пещере, в далеком городе и т. п. Правящий царь пытается разыскать его и предлагает ему компромисс, но «избавитель» отказывается. Его час еще не пришел, но он придет, когда чаша терпения переполнится, или этот срок уже назначен. Тогда он объявится и его

и т. д. Эта линия тянется от походов к «царскому крыльцу» в XVII в. до январских событий 1905 г. в Петербурге.

узнают по царским отметинам на теле, либо по какому-то знаку царской власти, который ему удалось сохранить. Он поведет народ на Москву и воссядет на отчем престоле. После этого все будет по-другому. Крестьяне будут освобождены от помещиков, наделены землей, освобождены от податей, либо вознаграждены каким-то другим способом, особенно те, кто помогал ему отвоевать трон. Помещики, чиновники и другие обидчики будут наказаны.

В сохранившихся записях или документах подобные легенды встречаются то в более или менее полном, развитом или законченном виде, то в виде отдельных мотивов, которые при сопоставлении дают представление о легенде в целом ³¹.

Отметим попутно, что отзвуки легенды содержатся не только в архивных документах, связанных с делом Пугачева и пугачевцев, но и в именных указах и манифестах Пугачева, его полковников и военной коллегии. Так, в одном из полковничьих указов прямо говорится, что Петра III согнали с престола за его попытки заступиться за крестьян и после этого он 11 лет странствовал. Сам Пугачев писал о себе: «А ныне ж я для вас всех един ис потеренных объявился и всю землю своими ногами исходил и для дарования вам милосердия от создателя создан» ³² или «ис потерянных объявился, своими ногами всю землю исходил» ³³.

К легендам об «избавителях» примыкают легенды о подмененных царях, в которых рассказывается о том, что царствующий царь — не истинный, настоящего подменили при рождении или позже (Петра I — в Швеции, Александра I — во Франции и пр.), — отсюда все беды и несчастья народа. Иногда эти легенды утверждают, что подмененный царь еще появится и восстановит правду.

Легенды об «избавителях» смыкаются с широкой областью самых разнообразных легенд и преданий о царях, народных вож-

³¹ См.: К. В. Сивков. Указ. соч.; Д. Л. Мордовцев. Самозванцы и понизовая вольница. Собр. соч., т. XVII. СПб., 1901; его же. Политические движения русского народа. СПб., 1871, стр. 125—179 (см. особенно глава «Один из Лже-Константинов»); ср.: его же. Собр. соч., т. XIX. СПб., 1901, стр. 3—36; С. В. Соловьев. Тимошка Анкидинов. XI самозванец. «Финский вестник», СПб., 1874, № 1, стр. 1—38; № 2, стр. 34; его же. Самозванец Ивашка Клеонин (1671). «Архив исторических и практических сведений, относящихся до России». СПб., 1860, кн. первая, отд. IX, стр. 1—2; его же. О самозванцах, являвшихся при Екатерине II в Воронежской губернии; Е. Г. Ковалевский. Граф Блудов и его время. СПб., 1866, стр. 191—192 (приложение); С. Н. Чернов. Слухи 1825—1926 годов. В сб.: «Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности 1882—1932», Л., 1934, стр. 565—584; С. Лашкевич. Исторические замечания о смертной казни самозванца Александра Семикова, выдававшего себя за царевича Алексея Петровича. «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1860, книга первая, стр. 141—146 и др.; кроме того, см. публикации документов о крестьянских движениях XVII—XIX вв.

³² Русская проза 18 века. Вступительная статья Г. П. Макогоненко, т. I, М.—Л., 1950, стр. 249—250.

³³ Там же, стр. 251.

дах, военачальниках, «благородных разбойников» и других, сидящих до известного времени в пещере, горе, вообще в каком-нибудь укрытии и ожидающих своего часа (Разин, Петр I, Суворов, вплоть до адмирала Макарова)³⁴. Действительный утопизм легенд этого типа не нуждается в доказательствах. Несмотря на страстное и устойчивое желание крестьянства, русская история не знала крестьянского царя, стремившегося преобразовать феодальное общество в соответствии с крестьянскими идеалами.

Итак, мы наметили три основных типа социально-утопических легенд: о «золотом веке», о «далеких землях» и об «избавителях». Деление это, разумеется, условно. Известны легенды, содержание которых настолько сложно и эволюция столь длительна, что было бы затруднительно без всяких оговорок отнести их целиком к какому-нибудь из этих трех типов. Такова, например, известная «китежская» легенда³⁵. В ней переплетается легенда о городе, погруженном в озеро и тем самым спасшемся от нашествия татар, с поверьем о том, что этот город продолжает существовать, сохраняя исконную праведность и социальное благополучие. Легенда имеет конкретное приращение — исполнители связывали ее с заволжским озером Светлояр. Известно, что эти места, по крайней мере, с 20-х годов XIX в., привлекали массу паломников, религиозный элемент в составе легенды ширился и рос, что свидетельствует о ее вырождении. Китеж из города, когда-то спасенного от врага и еще существующего, с течением времени превратился в сокровенный монастырь, достигнуть который дано только безгрешным.

Если в вере в существование Беловодья или «города Игната» был своеобразный наивный реализм, превращавший вымысел в действительность, то вера в существование Китежа все более и более проникалась мистицизмом, а Светлояр превращался в святое место, вокруг которого якобы творились всяческие чудеса — главным образом образом духовные прозрения и исцеление от физических недугов. К концу XIX в. на Светлояре стали собираться последователи различных ответвлений раскола и сектанты самых разнообразных направлений. Здесь устраивались теологические диспуты, богомольцы по традиции оползали на коленах вокруг озера, совершали омовения в его воде, молились на святых могилах и т. п.

³⁴ В западноевропейском фольклоре ср. легенды о Карле Великом, Барбароссе и т. д. до Андреаса Хофера — вождя тирольского восстания 1809 г. и Роберта Блюма — одного из руководителей немецкой революции 1848 г. (см.: W. Steinitz. Das Lied von Robert Blüm. «Deutsches Jahrbuch für Volkskunde», Bd. 7, Berlin, 1961); в южнославянском фольклоре — легенды о Марко Краевиче и др.

³⁵ Об ее истории и связанной с ней рукописной традиции см.: В. Л. К о м а р о в и ч. Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд. М.—Л., 1936.

Итак, легенды исчерпывают все мыслимые варианты выключения из феодальной действительности в прошлом и настоящем. Это, разумеется, не значит, что они возникали на почве отвлеченных теоретических идей. Мы расставили их в последовательный логический ряд лишь для того, чтобы показать, сколь напряженными были поиски народной мысли, как она дорожила каждой, даже слабо блеснувшей, надеждой. В действительности же, легенды, как это было показано, создавались в связи с совершенно конкретными историческими обстоятельствами.

Легенды, которые можно со всем основанием отнести к одному из трех названных типов, трактовались исполнителями по-разному. Во всех легендах ядро социально-утопических идей образуется из трех основных элементов: социального, экономического и религиозного. Легендарная земля (страна или город) — это обычно земля социально благоустроенная, богатая и праведная. «Избавитель» также обещает социальную справедливость, богатство или религиозную свободу. Сочетание этих трех элементов может быть самым различным в зависимости от настроенности той среды, в которой бытовала легенда. Нередко один из них как будто заслоняет остальные. Это видимое противоречие может быть правильно понято, если учесть два обстоятельства: во-первых, речь идет о крестьянском мировоззрении, средневековом по своей природе, для которого чрезвычайно характерно восприятие социальной действительности в религиозных категориях, выражение социального протеста в религиозной форме и т. д.; во-вторых, в любом случае экономическое благополучие практически мыслилось со всеми его социальными последствиями и, наоборот, социальная справедливость была желаемой не только сама по себе, но и как необходимое условие преодоления нищеты и разорения.

Основная функция социально-утопических легенд — выражение положительных идеалов крестьянства. Однако обзор легенд показывает, что именно позитивные идеи выступают в легендах в чрезвычайно элементарном, неразвитом виде. Феодальному государству и обществу противопоставлено общество вне и без государства, мир равных мелких производителей. Это как бы общество без всякого внутреннего устройства. Простое отсутствие светских властей, помещиков, армии, податей и поборов представляется создателям легенд гарантией социального и экономического благополучия. Именно поэтому в легендах отсутствует описание жизни в «далекой земле», или в пору «золотого века», или после того, как «избавитель» воцарится. В этом сказанась специфическая незрелость общественной мысли крестьянства, его «политическая невоспитанность»³⁶, неспособность создавать законченные политические теории. Элементарная уравнительная идея, воль-

³⁶ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 212.

ный труд на вольной земле — были пределом мечтаний крестьянства. В. И. Ленин, отмечая реакционную роль уравнительных идей в ходе революции 1905 г., как «попытки искать позади, а не впереди, решения задач социалистической революции»³⁷, одновременно указывал: «При борьбе крестьян с крепостниками-помещиками самым сильным идейным импульсом в борьбе за землю является идея равенства, — и самым полным устранением всех и всяких остатков крепостничества является создание равенства между мелкими производителями. Поэтому идея равенства является самой революционной для крестьянского движения идеей не только в смысле стимула к политической борьбе, но и в смысле стимула к экономическому очищению сельского хозяйства от крепостнических пережитков»³⁸.

Революционным характером уравнительных идей, лежащих в основе социально-утопического идеала, выраженного в легендах, в сочетании со смутностью политических очертаний этого идеала, его теоретической незавершенностью объясняются и основные поэтические качества легенд. Они чрезвычайно поэтичны и в то же время расплывчаты, неопределенны; эмоциональны и вместе с тем логически неясны. При огромной внутренней энергии, они оставляют большой простор фантазии исполнителей и слушателей.

Вымысел, без которого социально-утопические легенды не существовали бы, — не праздная игра поэтической фантазии, а способ объяснения и дополнения действительности. Мысль крестьянина как бы не может допустить того, что отвергаемые им социальные отношения существовали всегда и существуют везде. Исторический оптимизм заставляет его воспринимать всеобщие закономерности эпохи феодализма как частные, случайные, временные, местные, т. е. измышлять хронологические и географические пределы существующей несправедливости. В противовес официальной крепостнической и церковной теории, утверждавшей изначальность и извечность феодализма, социальную и даже биологическую фатальность и всеобщность, легенды утверждают переходящий и ограниченный характер его, выражают страстную надежду отыскать за его пределами справедливость, вольность и богатство.

Вымысел, неизменно присутствующий в легендах, обнаруживается нами путем их сопоставления с данными истории и географии. Создатели и исполнители легенд не сомневались в их достоверности. Легенды были знаменем и поэтической санкцией целого ряда политических движений — от поддержки самозванцев в их борьбе с правительством до поисков Беловодья, «города Игната», «реки Дарьи». В этом важнейшее отличие утопических

³⁷ Там же, т. 15, стр. 225.

³⁸ Там же, стр. 226—227.

легенд от сказок, преданий и топонимических легенд. Эстетическая и познавательная функция здесь как бы приглушается политическими, экономическими и религиозными интересами. Таким образом, утопические легенды — своеобразный вид народной публицистики, в котором поэтическое начало сливается с началом политическим, бытовым, мировоззренческим.

В литературном отношении легенды образуют довольно сложную систему, в центре которой стоит некое представление или образ, передающийся иногда и вне какого-либо сюжета, просто как слух, весть, новость — «было новгородское время», «существует Беловодье», «Петр III жив». Вокруг этого ядра может возникнуть сюжет, который как бы разъясняет и обосновывает, чем отличалось новгородское время от нынешнего и почему оно кончилось, что это за Беловодье и кто туда попал впервые, как и когда оно возникло, как случилось, что Петр III остался жив и что с ним будет дальше.

Кроме того, вокруг легенд второго и третьего типа обычно образовывался более или менее обширный цикл «дочерних» устных рассказов — о том, как искали «далекую землю» и не нашли ее, о встрече с выходцами из этой земли или людьми, побывавшими в ней, о встрече со скрывающимся «избавителем» и т. д.

Строение легенд определяется формами их бытования. Может передаваться ядро, рассказываться основной сюжет, какая-то его часть, либо «дочерние» рассказы. Если слушатель уже знает ядро легенды, но жаждет его разъяснения, может быть рассказан основной сюжет; если слушателем усвоен и основной образ и сюжет, могут передаваться только рассказы о поисках и встречах. Обязательной последовательности и цельности рассказа, вне зависимости от обстоятельств, характерной для сказки или былины, легенды-утопии не знают. Это роднит их с обширной областью импровизационной устной прозы — другими видами легенд, преданиями и устными рассказами. Так же, как и эти жанры, утопические легенды не знают устойчивого традиционного текста. Текст импровизируется по мере необходимости и в процессе исполнения. Это, разумеется, не исключает использования некоторых выработанных словесных формул, ходовых мотивов и пр., как в любом другом фольклорном жанре.

Все это обуславливает своеобразное срединное положение утопических легенд (впрочем, так же как и других прозаических импровизационных жанров) между бытовой повседневной народной прозой и теми жанрами, в которых эстетическое или познавательное начало (конечно, тоже в сплетении с элементами социальными, этическими и др.) играет решающую роль, т. е. сказкой, песней, былиной, исторической песней.

Даже беглый обзор утопических легенд выявляет в них не только общие идеи, но и сходные мотивы. Так, жители легендарного «города Игната», Беловодья и Китежа пускают пришед-

ших с определенными ограничениями (политическими, социальными или религиозными). Искатели легендарной страны или города слышат издали звон колоколов; они не достигают своей цели потому, что не выполняют каких-то требований. В связи с легендами возникает определенная литературная традиция («Китежский летописец», «Путешественник Марка Топозерского», некрассовские «путешественники» и т. д.). Особенно много сходных мотивов в легендах об «избавителях». Именно это и позволило нам наметить сюжетную схему, общую для подавляющего большинства известных нам легенд этого типа.

Однако это не значит, что существовала непрерывная традиция и идеи, сюжеты и мотивы обязательно переходили из одной легенды в другую. Это особенно ясно на примере легенд об «избавителях». При всей их сходности невозможно предположить, чтобы мотивы легенды о царевице Дмитриии перешли на всех последующих «избавителей» вплоть до Петра III и Константина. Несомненно, что каждая из этих легенд возникала самостоятельно. Их близость объясняется не столько непрерывностью поэтической традиции, сколько общностью исторической и социально-психологической почвы, на которой они возникли. Таким образом, сюжет легенд о царе-«избавителе» — не «бродячий», а исторически неизбежный, связанный со всем строем крестьянского мировоззрения XVII—XIX вв. Вполне вероятно, что передатчики легенды о «городе Игната» могли не слышать о Беловодье, а исполнители беловодской легенды — о «реке Дарье». Их объединяли общая надежда и общие идеалы; их поэтический вымысел не мог не развиваться в одном и том же направлении. Вместе с тем известны и случаи сплетения отдельных легенд второго и третьего типа. Так, зафиксированы варианты легенды о Беловодье, в которых говорится об уходе в эту страну Константина Павливича в связи с тем, что ему не удалось освободить на Руси крестьян; есть сведения о том, что вольные земли на «реке Дарье» тоже связывались с именем Константина. Таким образом, легенды о «далекой земле» и об «избавителях» вполне могли сочетаться и дополнять друг друга. Известны и случаи контаминации легенд первого (о «золотом веке») и второго (о «далекой земле») типа. Элементы легенды о «золотом веке» есть в легенде о Китеже, о Беловодье, о «городе Игната». Такая возможность сочетания легенд разного типа объясняется тем, что в их основе лежат общие социально-утопические идеалы. Именно это и побудило нас выделить группу социально-утопических легенд для специального изучения и трактовать их как особую жанровую разновидность.

В социально-утопических легендах можно выделить элементы, сближающие их с другими жанрами. Мы уже говорили о том, что легенды о «золотом веке» можно с равным основанием считать историческими преданиями. Легенды о Рахкое, «Берендеева» и «китежская» легенда по своей функции и прикреплению к определенным

местностям являются в то же время топонимическими преданиями. Легенды об «избавителях» смыкаются с преданиями о «благородных разбойниках», часть которых поднимается традицией до степени всеобщего «избавителя». Мотивы социально-утопического характера проникают в исторические песни и причитания. Но особенно много общих мотивов социально-утопические легенды имеют со сказками.

Сказка в свете истории социально-утопических идей русского крестьянства — специальная и обширная тема. В сказке, так же как в легенде, происходит преодоление несправедливости, «социально обездоленный компенсируется высшими силами, воплощающими, в конечном счете, силы самого народного коллектива»³⁹. Однако в легенде эта несправедливость не изображается, как в сказке, а подразумевается. Сказочный сюжет — это обычно индивидуальный путь героя, преодолевающего все препятствия и саму несправедливость. В отличие от легенды, сказка рисует как бы отдельные фантастические случаи преодоления социальной или нравственной несправедливости. Однако утопические элементы сказки не сливаются в представление о стране, о социальной системе; они разобщены и не имеют прямого политического характера.

Сказка обычно кончается воздаянием герою за его добродетель, мужество, ловкость или смекалку. В легендах об «обеленных землях» также обычен мотив дарения земли за подвиг, однако содержание этих дарений различно: в сказке это полцарства, рука царской дочери, воцарение. Мужик может в сказке стать царем, но становится ли он при этом «мужицким царем» — остается неизвестным; это его личное достижение, которое только в очень поздних записях иногда связывается сказочниками с изменением социальной системы. Это и отличает сказочного героя от легендарного «избавителя».

Общие черты с утопическими легендами есть и в финале сказки. Классическая формула сказки — «стали жить-поживать да добра наживать» — предполагает, что после достижения справедливости или, вернее, после преодоления ситуации несправедливости, с которой начинается большинство сказок, действие дурных закономерностей как бы приостанавливается. Объясняется это тем, что в основе сказки лежит мировоззрение, которое предполагает такую возможность, и по своей природе неизбежно включает в себя элементы социального утопизма.

Итак, русские социально-утопические легенды образуют особую область русского фольклора, тесно связанную с историей народного мировоззрения и важнейшими политическими движениями крестьянства XVII—XIX вв. Их изучение только начи-

³⁹ См.: Е. М. Мелетинский. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 1958, стр. 263.

нается. На этой стадии нам казалось важным выявить основные типы легенд, специфические особенности их содержания и поэтической формы и путем демонстрации избранных примеров привлечь внимание фольклористов-славистов к этой столь мало изученной проблеме фольклора славянских народов.

RUSSIAN FOLK LEGENDS OF SOCIAL-UTOPIC CHARACTER OF THE XVII—XIX CENTURIES

Summary

The history of folk utopism, i. e. utopic ideas that sprang spontaneously into existence amidst common people, has been paid but little attention to. Socially-utopic folk legends have been almost entirely neglected.

Such problems as the genesis, the nature and the limits of the genre proper, the relation of the latter to other kinds of folk prose, its plot composition a. s. o. remain unsolved yet.

As to the utopic ideas the Russian folklore legends of XVII—XIX centuries express they may be divided into three main groups:

a) The legends of the «golden age» bordering on historical traditional stories;

b) The legends of «remote land» advocating the existence of some land (town, country etc.) which symbolizes the ideal of social organization of mankind;

c) the legends of the «saviour» (избавитель).

The utopic legends of different nations having much in common, their concrete form and peculiarities are determined by the specific historical development each nation undergoes. Russian legends of social-utopic character in XVII—XIX centuries are created by peasants chiefly, the coming into existence of the legends being closely connected with the social world outlook of this class at the period of its formation and the further crisis of the feudal system.

The feudal yoke being exceedingly hard and becoming still harder and more intensified in the XVIII and in the first part of the XIX centuries, the existence of vast territories in reserve and the rapid process of spontaneous colonizing, various forms of «whitening» («обеление»); the efflorescence of absolute monarchy going alongside with the beginning of the general crisis of feudalism, and finally, the intensity of the religious and social upheavals determine the specific features of the social-utopic legends of Russia — their political acuteness and lyricism.

The main function of the legends is the rendering of positive ideals. At the same time these positive ideals find a most primitive expression.

To the feudal state and society one opposes a society without state, rather amorphous, consisting of independent petty manufacturers.

The utopic character of these ideals is seen when comparing the ideas expressed in the legends with the real historical lots of some groups of peasantry which escaped for some time the yoke of official feudalism: the Northern and Siberian colonizing, the Cossacks, old-believers (староверы) communities, some groups of the so called «whitened» etc.

At the same time the utopic legends are not a mere product of the imagination, being a means of explaining and enriching the reality by expressing passionate and most cherished hopes of finding justice, freedom, richness, religious «righteousness» etc. beyond the historical and geographical borders of feudalism.

The report deals with the most important poetical peculiarities of the folk social-utopic legends (their improvisation, the grouping of separate stories about the central **image or concept**, their aesthetical merits being of secondary importance, the **treatment** of the image of hero etc.) as contrasted with the poetical peculiarities of other folk-lore genres: fairy-tales, historical songs, bylinas.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне в области верхнего течения Днепра и Волги	3
Б. А. Рыбаков. Русская эпиграфика X—XIV вв. (состояние, возможности, задачи)	34
Ю. В. Бромлей. К вопросу о сотне, как общественной ячейке у восточных и южных славян в середине века	73
А. А. Зими н. Основные проблемы реформационно-гуманистического движения в России в XIV—XVI вв.	91
И. С. Миллер. Русско-польские революционные связи в период восстания 1863 г.	120
С. А. Никитин. Русская дипломатия и национальное движение южных славян в 50—70 годы XIX в	159
Л. Б. Валев, Ф. Г. Зуев, В. И. Клоков, П. И. Резанов, Г. М. Славин. Основные этапы антифашистского движения сопротивления в славянских странах в годы второй мировой войны	187
В. А. Александров, С. А. Токарев. Основные проблемы славянской этнографии	218
В. Г. Базанов. Обряд и поэзия	233
И. Ф. Бэлза. Музыкальная культура западнославянских народов, ее международные связи и мировое значение	253
В. Е. Гусев. Партизанская народная поэзия у славян в годы второй мировой войны	291
Н. И. Кравцов. Роль народного эпоса в развитии сербской литературы	348
Э. В. Померанцева. К вопросу о национальном и интернациональном начале в народных сказках	386
Б. Н. Путилов. Типологическая общность и исторические связи в славянских песнях-балладах о борьбе с татарским и турецким игом	413
М. Г. Рабинович. Историко-этнографический атлас «Русские» (принципы и методы составления)	445
В. К. Соколова. О некоторых закономерностях развития историко-песенного фольклора у славянских народов	461
К. В. Чистов. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв.	483

История, фольклор, искусство славянских народов

*Утверждено к печати
Отделением литературы и языка
Академии наук СССР*

Редакторы Издательства *В. П. Бутт* и *Е. М. Фомберг*
Художник *Н. А. Савенко*
Технический редактор *В. Г. Лаут*

Сдано в набор 25/IV 1963 г. Подписано к печати 20/VI 1963 г.
Формат 60 × 90/16. Печ. л. 32,0. Уч.-изд. л. 33,6
Тираж 2800. Т-04658. Изд. № 1911. Тип. зак. № 189

Цена 2 р. 22 к.

Издательство Академии наук СССР, Москва, Б-64, Подсосенский пер., 21

1-я тип. Изд. Академии наук СССР, Ленинград, В-34, 9 линия, дом 12

История, фольклор, искусство славянских народов

*Утверждено к печати
Отделением литературы и языка
Академии наук СССР*

Редакторы Издательства *В. П. Бутт* и *Е. М. Фомберг*
Художник *Н. А. Савенко*
Технический редактор *В. Г. Лаут*

Сдано в набор 25/IV 1963 г. Подписано к печати 20/VI 1963 г.
Формат 60 × 90/16. Печ. л. 32,0. Уч.-изд. л. 33,6
Тираж 2800. Т-04658. Изд. № 1911. Тип. зак. № 189

Цена 2 р. 22 к.

Издательство Академии наук СССР, Москва, Б-64, Подсосенский пер., 21

1-я тип. Изд. Академии наук СССР, Ленинград, В-34, 9 линия, дом 12

УСТАВЪ ПРАВОСЛАВНАГО КРАСНОГО РАЙОНА

ВЪ СТОЛЫЦАХЪ ПРАВОСЛАВНАГО
КАРЯЖСКОГО РАЙОНА